VISIT…

Annotation

В десятом томе Собрания сочинений Достоевского печатается окончание (четвертая часть и эпилог) романа «Братья Карамазовы». Кроме того, в данном томе публикуются наброски и планы романов, повестей и рассказов, которые Достоевский задумывал в разные годы жизни, но которые не были им осуществлены (или в ходе дальнейшей творческой работы замыслы их претерпели существенную эволюцию, в результате чего их темы, образы и ситуации были использованы писателем в модифицированном виде в других его романах и повестях). Особый раздел составляют немногочисленные стихотворения, сатирические и шутливые наброски Достоевского.

http://rulitera.narod.ru

- Федор Михайлович Достоевский
  - Братья Карамазовы. Том 2
    - Часть четвертая
      - Книга десятая
      - Книга одиннадцатая
      - Книга двенадцатая
    - Эпилог
    - Приложение
      - (Вступительное слово, сказанное на литературном утре в пользу студентов С.-Петербургского Университета 30 декабря 1879 г. Перед чтением главы «Великий инквизитор»)
  - Незаконченные повествовательные произведения, наброски и планы
    - Новые идеи романов, драм, повестей
    - «Брак» (Роман, вместо «Совр<еменного> человека»)
    - Ростовщик
    - <роман о помещике>
    - План для рассказа (В «зарю»)
    - <Nb. После Библии зарезал>
    - <поиски, повесть>

        - Из повести о молодом человеке
        - Смерть поэта (Идея)
        - (Роман о князе и ростовщике)
        - <Житие великого грешника>
        - Великолепная мысль. Иметь в виду
        - Мысль на лету
        - Мысли новых повестей
        - Новые повести
        - Идея
        - <заметки, планы, наброски>
        - <Драма. В Тобольске…>
        - <Композитор>
        - Козлову
        - Сороковины
        - Отцы и дети
        - Мечтатель
        - В повесть Некрасову
        - <Слесарек>
        - <История Карла Ивановича>
        - <отрывки>
        - <перечни тем>
    - Стихотворения и стихотворные наброски
        - На европейские события в 1854 году
        - На первое июля 1855 года
        - <На коронацию и заключение мира>
    - Шуточные стихи, пародии, эпиграммы
        - Эпиграмма на баварского полковника
        - <Описывать все сплошь одних попов…>
        - <Борьба нигилизма с честностью (Офицер и нигилистка.)>
        - <Крах конторы Баймакова…>
        - <Дорого стоят детишки…>
        - <Не разбойничай, Федул…>
    - Примечания
        -
        - Вступительное слово
        - Незаконченные повествовательные произведения,

наброски и планы
    - Стихотворения и стихотворные наброски
    - Шуточные стихи, пародии, эпиграммы
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29
    - 30
    - 31
    - 32
    - 33

- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70

- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107

    - 108
    - 109
    - 110
    - 111
    - 112
    - 113
- comments
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29
    - 30

- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67

- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104

- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141

- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178

- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215

- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252

- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276

Федор Михайлович Достоевский
Собрание сочинений в пятнадцати томах
Том 10. Братья Карамазовы. Неоконченное. Стихотворения

Братья Карамазовы. Том 2

Часть четвертая

Книга десятая
Мальчики

I

Коля Красоткин

Ноябрь в начале. У нас стал мороз градусов в одиннадцать, а с ним гололедица. На мерзлую землю упало в ночь немного сухого снегу, и ветер «сухой и острый»* подымает его и метет по скучным улицам нашего городка и особенно по базарной площади. Утро мутное, но снежок перестал. Недалеко от площади, поблизости от лавки Плотниковых, стоит небольшой, очень чистенький и снаружи и снутри домик вдовы чиновника Красоткиной. Сам губернский секретарь Красоткин помер уже очень давно, тому назад почти четырнадцать лет, но вдова его, тридцатилетняя и до сих пор еще весьма смазливая собою дамочка, жива и живет в своем чистеньком домике «своим капиталом». Живет она честно и робко, характера нежного, но довольно веселого. Осталась она после мужа лет восемнадцати, прожив с ним всего лишь около году и только что родив ему сына. С тех пор, с самой его смерти, она посвятила всю себя воспитанию этого своего нещечка* мальчика Коли, и хоть любила его все четырнадцать лет без памяти, но уж, конечно, перенесла с ним несравненно больше страданий, чем выжила радостей, трепеща и умирая от страха чуть не каждый день, что он заболеет, простудится, нашалит, полезет на стул и свалится, и проч., и проч. Когда же Коля стал ходить в школу и потом в нашу прогимназию, то мать бросилась изучать вместе с ним все науки, чтобы помогать ему и репетировать с ним уроки, бросилась знакомиться с учителями и с их женами, ласкала даже товарищей Коли, школьников, и лисила пред ними, чтобы не трогали Колю, не насмехались над ним, не прибили его. Довела до того, что мальчишки и в самом деле стали было чрез нее над

ним насмехаться и начали дразнить его тем, что он маменькин сынок. Но мальчик сумел отстоять себя. Был он смелый мальчишка, «ужасно сильный», как пронеслась и скоро утвердилась молва о нем в классе, был ловок, характера упорного, духа дерзкого и предприимчивого. Учился он хорошо, и шла даже молва, что он и из арифметики, и из всемирной истории собьет самого учителя Дарданелова. Но мальчик хоть и смотрел на всех свысока, вздернув носик, но товарищем был хорошим и не превозносился. Уважение школьников принимал как должное, но держал себя дружелюбно. Главное, знал меру, умел при случае сдержать себя самого, а в отношениях к начальству никогда не переступал некоторой последней и заветной черты, за которою уже проступок не может быть терпим, обращаясь в беспорядок, бунт и в беззаконие. И однако, он очень, очень не прочь был пошалить при всяком удобном случае, пошалить как самый последний мальчишка, и не столько пошалить, сколько что-нибудь намудрить, начудесить, задать «экстрафеферу»[*], шику, порисоваться. Главное, был очень самолюбив. Даже свою маму сумел поставить к себе в отношения подчиненные, действуя на нее почти деспотически. Она и подчинилась, о, давно уже подчинилась, и лишь не могла ни за что перенести одной только мысли, что мальчик ее «мало любит». Ей беспрерывно казалось, что Коля к ней «бесчувствен», и бывали случаи, что она, обливаясь истерическими слезами, начинала упрекать его в холодности. Мальчик этого не любил, и чем более требовали от него сердечных излияний, тем как бы нарочно становился неподатливее. Но происходило это у него не нарочно, а невольно — таков уж был характер. Мать ошибалась: маму свою он очень любил, а не любил только «телячьих нежностей», как выражался он на своем школьническом языке. После отца остался шкап, в котором хранилось несколько книг; Коля любил читать и про себя прочел уже некоторые из них. Мать этим не смущалась и только дивилась иногда, как это мальчик, вместо того чтоб идти играть, простаивает у шкапа по целым часам над какою-нибудь книжкой. И таким образом Коля прочел кое-что, чего бы ему нельзя еще было давать читать в его возрасте. Впрочем, в последнее время хоть мальчик и не любил переходить в своих шалостях известной черты, но начались шалости испугавшие мать не на шутку, — правда, не безнравственные какие-нибудь, зато отчаянные, головорезные. Как раз в это лето, в июле месяце, во время вакаций[*], случилось так, что маменька с сынком отправились погостить

на недельку в другой уезд, за семьдесят верст, к одной дальней родственнице, муж которой служил на станции железной дороги (той самой, ближайшей от нашего города станции, с которой Иван Федорович Карамазов месяц спустя отправился в Москву). Там Коля начал с того, что оглядел железную дорогу в подробности, изучил распорядки, понимая, что новыми знаниями своими может блеснуть, возвратясь домой, между, школьниками своей прогимназии. Но нашлись там как раз в то время и еще несколько мальчиков, с которыми он и сошелся; одни из них проживали на станции, другие по соседству — всего молодого народа от двенадцати до пятнадцати лет сошлось человек шесть или семь, а из них двое случились и из нашего городка. Мальчики вместе играли, шалили, и вот на четвертый или на пятый день гощения на станции состоялось между глупою молодежью одно преневозможное пари в два рубля, именно: Коля, почти изо всех младший, а потому несколько презираемый старшими, из самолюбия или из беспардонной отваги, предложил, что он, ночью, когда придет одиннадцатичасовой поезд, ляжет между рельсами ничком и пролежит недвижимо, пока поезд пронесется над ним на всех парах. Правда, сделано было предварительное изучение, из которого оказалось, что действительно можно так протянуться и сплющиться вдоль между рельсами, что поезд, конечно, пронесется и не заденет лежащего, но, однако же, каково пролежать! Коля стоял твердо, что пролежит. Над ним сначала смеялись, звали лгунишкой, фанфароном, но тем пуще его подзадорили. Главное, эти пятнадцатилетние слишком уж задирали пред ним нос и сперва даже не хотели считать его товарищем, как «маленького», что было уже нестерпимо обидно. И вот решено было отправиться с вечера за версту от станции, чтобы поезд, снявшись со станции, успел уже совсем разбежаться. Мальчишки собрались. Ночь настала безлунная, не то что темная, а почти черная. В надлежащий час Коля лег между рельсами. Пятеро остальных, державших пари, с замиранием сердца, а наконец в страхе и сраскаянием, ждали внизу насыпи подле дороги в кустах. Наконец загремел вдали поезд, снявшийся со станции. Засверкали из тьмы два красные фонаря, загрохотало приближающееся чудовище. «Беги, беги долой с рельсов!» — закричали Коле из кустов умиравшие от страха мальчишки, но было уже поздно: поезд наскакал и промчался мимо. Мальчишки бросились к Коле: он лежал недвижимо. Они стали его теребить, начали подымать.

Он вдруг поднялся и молча сошел с насыпи. Сойдя вниз, он объявил, что нарочно лежал как без чувств, чтоб их испугать, но правда была в том, что он и в самом деле лишился чувств, как и признался потом сам, уже долго спустя, своей маме. Таким образом слава «отчаянного» за ним укрепилась навеки. Воротился он домой на станцию бледный как полотно. На другой день заболел слегка нервною лихорадкой, но духом был ужасно весел, рад и доволен. Происшествие огласилось не сейчас, а уже в нашем городе, проникло в прогимназию и достигло до ее начальства. Но тут маменька Коли бросилась молить начальство за своего мальчика и кончила тем, что его отстоял и упросил за него уважаемый и влиятельный учитель Дарданелов, и дело оставили втуне, как не бывшее вовсе. Этот Дарданелов, человек холостой и нестарый, был страстно и уже многолетне влюблен в госпожу Красоткину и уже раз, назад тому с год, почтительнейше и замирая от страха и деликатности, рискнул было предложить ей свою руку; но она наотрез отказала, считая согласие изменой своему мальчику, хотя Дарданелов, по некоторым таинственным признакам, даже, может быть, имел бы некоторое право мечтать, что он не совсем противен прелестной, но уже слишком целомудренной и нежной вдовице. Сумасшедшая шалость Коли, кажется, пробила лед, и Дарданелову за его заступничество сделан был намек о надежде, правда отдаленный, но и сам Дарданелов был феноменом чистоты и деликатности, а потому с него и того было покамест довольно для полноты его счастия. Мальчика он любил, хотя считал бы унизительным пред ним заискивать, и относился к нему в классах строго и требовательно. Но Коля и сам держал его на почтительном расстоянии, уроки готовил отлично, был в классе вторым учеником, обращался к Дарданелову сухо, и весь класс твердо верил, что во всемирной истории Коля так силен, что «собьет» самого Дарданелова. И действительно, Коля задал ему раз вопрос: «Кто основал Трою?» — на что Дарданелов отвечал лишь вообще про народы, их движения и переселения, про глубину времен, про баснословие, но на то, кто именно основал Трою, то есть какие именно лица, ответить не мог, и даже вопрос нашел почему-то праздным и несостоятельным. Но мальчики так и остались в уверенности, что Дарданелов не знает, кто основал Трою. Коля же вычитал об основателях Трои у Смарагдова[*], хранившегося в шкапе с книгами, который остался после родителя. Кончилось тем, что всех даже

мальчиков стало наконец интересовать: кто ж именно основал Трою, но Красоткин своего секрета не открывал, и слава знания оставалась за ним незыблемо.

После случая на железной дороге у Коли в отношениях к матери произошла некоторая перемена. Когда Анна Федоровна (вдова Красоткина) узнала о подвиге сынка, то чуть не сошла с ума от ужаса. С ней сделались такие страшные истерические припадки, продолжавшиеся с перемежками несколько дней, что испуганный уже серьезно Коля дал ей честное и благородное слово, что подобных шалостей уже никогда не повторится. Он поклялся на коленях пред образом и поклялся памятью отца, как потребовала сама госпожа Красоткина, причем «мужественный» Коля сам расплакался, как шестилетний мальчик, от «чувств», и мать и сын во весь тот день бросались друг другу в объятия и плакали сотрясаясь. На другой день Коля проснулся по-прежнему «бесчувственным», однако стал молчаливее, скромнее, строже, задумчивее. Правда, месяца чрез полтора он опять было попался в одной шалости, и имя его сделалось даже известным нашему мировому судье, но шалость была уже совсем в другом роде, даже смешная и глупенькая, да и не сам он, как оказалось, совершил ее, а только очутился в нее замешанным. Но об этом как-нибудь после. Мать продолжала трепетать и мучиться, а Дарданелов по мере тревог ее всё более и более воспринимал надежду. Надо заметить, что Коля понимал и разгадывал с этой стороны Дарданелова и, уж разумеется, глубоко презирал его за его «чувства»; прежде даже имел неделикатность выказывать это презрение свое пред матерью, отдаленно намекая ей, что понимает, чего добивается Дарданелов. Но после случая на железной дороге он и на этот счет изменил свое поведение: намеков себе уже более не позволял, даже самых отдаленных, а о Дарданелове при матери стал отзываться почтительнее, что тотчас же с беспредельною благодарностью в сердце своем поняла чуткая Анна Федоровна, но зато при малейшем, самом нечаянном слове даже от постороннего какого-нибудь гостя о Дарданелове, если при этом находился Коля, вдруг вся вспыхивала от стыда, как роза. Коля же в эти мгновения или смотрел нахмуренно в окно, или разглядывал, не просят ли у него сапоги каши, или свирепо звал Перезвона, лохматую, довольно большую и паршивую собаку, которую с месяц вдруг откуда-то приобрел, втащил в дом и держал почему-то в секрете в комнатах,

никому ее не показывая из товарищей. Тиранил же ужасно, обучая ее всяким штукам и наукам, и довел бедную собаку до того, что та выла без него, когда он отлучался в классы, а когда приходил, визжала от восторга, скакала как полоумная, служила, валилась на землю и притворялась мертвою и проч., словом, показывала все штуки, которым ее обучили, уже не по требованию, а единственно от пылкости своих восторженных чувств и благодарного сердца.

Кстати: я и забыл упомянуть, что Коля Красоткин был тот самый мальчик, которого знакомый уже читателю мальчик Илюша, сын отставного штабс-капитана Снегирева, пырнул перочинным ножичком в бедро, заступаясь за отца, которого школьники задразнили «мочалкой».

II

Детвора

Итак, в то морозное и сиверкое[*] ноябрьское утро мальчик Коля Красоткин сидел дома. Было воскресенье, и классов не было. Но пробило уже одиннадцать часов, а ему непременно надо было идти со двора «по одному весьма важному делу», а между тем он во всем доме оставался один и решительно как хранитель его, потому что так случилось, что все его старшие обитатели, по некоторому экстренному и оригинальному обстоятельству, отлучились со двора. В доме вдовы Красоткиной, чрез сени от квартиры, которую занимала она сама, отдавалась еще одна и единственная в доме квартирка из двух маленьких комнат внаймы, и занимала ее докторша с двумя малолетними детьми. Эта докторша была одних лет с Анной Федоровной и большая ее приятельница, сам же доктор вот уже с год заехал куда-то сперва в Оренбург, а потом в Ташкент, и уже с полгода как от него не было ни слуху ни духу, так что если бы не дружба с госпожою Красоткиной, несколько смягчавшая горе оставленной докторши, то она решительно бы истекла от этого горя слезами. И вот надобно же было так случиться к довершению всех угнетений судьбы, что в эту же самую ночь, с субботы на воскресенье, Катерина, единственная служанка докторши, вдруг и совсем неожиданно для

своей барыни объявила ей, что намерена родить к утру ребеночка. Как случилось, что никто этого не заметил заранее, было для всех почти чудом. Пораженная докторша рассудила, пока есть еще время, свезти Катерину в одно приспособленное к подобным случаям в нашем городе заведение у повивальной бабушки. Так как служанкою этой она очень дорожила, то немедленно и исполнила свой проект, отвезла ее и, сверх того, осталась там при ней. Затем уже утром понадобилось почему-то всё дружеское участие и помощь самой госпожи Красоткиной, которая при этом случае могла кого-то о чем-то попросить и оказать какое-то покровительство. Таким образом, обе дамы были в отлучке, служанка же самой госпожи Красоткиной, баба Агафья, ушла на базар, и Коля очутился таким образом на время хранителем и караульщиком «пузырей», то есть мальчика и девочки докторши, оставшихся одинешенькими. Караулить дом Коля не боялся, с ним к тому же был Перезвон, которому повелено было лежать ничком в передней под лавкой «без движений» и который именно поэтому каждый раз, как входил в переднюю расхаживавший по комнатам Коля, вздрагивал головой и давал два твердые и заискивающие удара хвостом по полу, но увы, призывного свиста не раздавалось. Коля грозно взглядывал на несчастного пса, и тот опять замирал в послушном оцепенении. Но если что смущало Колю, то единственно «пузыри». На нечаянное приключение с Катериной он, разумеется, смотрел с самым глубоким презрением, но осиротевших пузырей он очень любил и уже снес им какую-то детскую книжку. Настя, старшая девочка, восьми уже лет, умела читать, а младший пузырь, семилетний мальчик Костя, очень любил слушать, когда Настя ему читает. Разумеется, Красоткин мог бы их занять интереснее, то есть поставить обоих рядом и начать с ними играть в солдаты или прятаться по всему дому. Это он не раз уже делал прежде и не брезгал делать, так что даже в классе у них разнеслось было раз, что Красоткин у себя дома играет с маленькими жильцами своими в лошадки, прыгает за пристяжную и гнет голову, но Красоткин гордо отпарировал это обвинение, выставив на вид, что со сверстниками, с тринадцатилетними, действительно было бы позорно играть «в наш век» в лошадки, но что он делает это для «пузырей», потому что их любит, а в чувствах его никто не смеет у него спрашивать отчета. Зато и обожали же его оба «пузыря». Но на сей раз было не до игрушек. Ему предстояло одно очень важное собственное дело, и на вид какое-то

почти даже таинственное, между тем время уходило, а Агафья, на которую можно бы было оставить детей, всё еще не хотела возвратиться с базара. Он несколько раз уже переходил чрез сени, отворял дверь к докторше и озабоченно оглядывал «пузырей», которые, по его приказанию, сидели за книжкой, и каждый раз, как он отворял дверь, молча улыбались ему во весь рот, ожидая, что вот он войдет и сделает что-нибудь прекрасное и забавное. Но Коля был в душевной тревоге и не входил. Наконец пробило одиннадцать, и он твердо и окончательно решил, что если чрез десять минут «проклятая» Агафья не воротится, то он уйдет со двора, ее не дождавшись, разумеется взяв с «пузырей» слово, что они без него не струсят, не нашалят и не будут от страха плакать. В этих мыслях он оделся в свое ватное зимнее пальтишко с меховым воротником из какого-то котика, навесил через плечо свою сумку и, несмотря на прежние неоднократные мольбы матери, чтоб он по «такому холоду», выходя со двора, всегда надевал калошки, только с презрением посмотрел на них, проходя чрез переднюю, и вышел в одних сапогах. Перезвон, завидя его одетым, начал было усиленно стучать хвостом по полу, нервно подергиваясь всем телом, и даже испустил было жалобный вой, но Коля, при виде такой страстной стремительности своего пса, заключил, что это вредит дисциплине, и хоть минуту, а выдержал его еще под лавкой и, уже отворив только дверь в сени, вдруг свистнул его. Пес вскочил как сумасшедший и бросился скакать пред ним от восторга. Перейдя сени, Коля отворил дверь к «пузырям». Оба по-прежнему сидели за столиком, но уже не читали, а жарко о чем-то спорили. Эти детки часто друг с другом спорили о разных вызывающих житейских предметах, причем Настя, как старшая, всегда одерживала верх; Костя же, если не соглашался с нею, то всегда почти шел апеллировать к Коле Красоткину, и уж как тот решал, так оно и оставалось в виде абсолютного приговора для всех сторон. На этот раз спор «пузырей» несколько заинтересовал Красоткина, и он остановился в дверях послушать. Детки видели, что он слушает, и тем еще с большим азартом продолжали свое препирание.

— Никогда, никогда я не поверю, — горячо лепетала Настя, — что маленьких деток повивальные бабушки находят в огороде, между грядками с капустой. Теперь уж зима, и никаких грядок нет, и бабушка не могла принести Катерине дочку.

— Фью! — присвистнул про себя Коля.

— Или вот как: они приносят откуда-нибудь, но только тем, которые замуж выходят.

Костя пристально смотрел на Настю, глубокомысленно слушал и соображал.

— Настя, какая ты дура, — произнес он наконец твердо и не горячась, — какой же может быть у Катерины ребеночек, когда она не замужем?

Настя ужасно загорячилась.

— Ты ничего не понимаешь, — раздражительно оборвала она, — может, у нее муж был, но только в тюрьме сидит, а она вот и родила.

— Да разве у нее муж в тюрьме сидит? — важно осведомился положительный Костя.

— Или вот что, — стремительно перебила Настя, совершенно бросив и забыв свою первую гипотезу, — у нее нет мужа, это ты прав, но она хочет выйти замуж, вот и стала думать, как выйдет замуж, и всё думала, всё думала и до тех пор думала, что вот он у ней и стал не муж, а ребеночек.

— Ну разве так, — согласился совершенно побежденный Костя, — а ты этого раньше не сказала, так как же я мог знать.

— Ну, детвора, — произнес Коля, шагнув к ним в комнату, — опасный вы, я вижу, народ!

— И Перезвон с вами? — осклабился Костя и начал прищелкивать пальцами и звать Перезвона.

— Пузыри, я в затруднении, — начал важно Красоткин, — и вы должны мне помочь; Агафья, конечно, ногу сломала, потому что до сих пор не является, это решено и подписано, мне же необходимо со двора. Отпустите вы меня али нет?

Дети озабоченно переглянулись друг с другом, ослабившиеся лица их стали выражать беспокойство. Они, впрочем, еще не понимали вполне, чего от них добиваются.

— Шалить без меня не будете? Не полезете на шкап, не сломаете ног? Не заплачете от страха одни?

На лицах детей выразилась страшная тоска.

— А я бы вам за то мог вещицу одну показать, пушечку медную, из которой можно стрелять настоящим порохом.

Лица деток мгновенно прояснились.

— Покажите пушечку, — весь просиявший, проговорил Костя.

Красоткин запустил руку в свою сумку и, вынув из нее маленькую бронзовую пушечку, поставил ее на стол.

— То-то покажите! Смотри, на колесках, — прокатил он игрушку по столу, — и стрелять можно. Дробью зарядить и стрелять.

— И убьет?

— Всех убьет, только стоит навести, — и Красоткин растолковал, куда положить порох, куда вкатить дробинку, показал на дырочку в виде затравки и рассказал, что бывает откат. Дети слушали со страшным любопытством. Особенно поразило их воображение, что бывает откат.

— А у вас есть порох? — осведомилась Настя.

— Есть.

— Покажите и порох, — протянула она с просящею улыбкой.

Красоткин опять слазил в сумку и вынул из нее маленький пузырек, в котором действительно было насыпано несколько настоящего пороха, а в свернутой бумажке оказалось несколько крупинок дроби. Он даже откупорил пузырек и высыпал немножко пороху на ладонь.

— Вот, только не было бы где огня, а то так и взорвет и нас всех перебьет, — предупредил для эффекта Красоткин.

Дети рассматривали порох с благоговейным страхом, еще усилившим наслаждение. Но Косте больше понравилась дробь.

— А дробь не горит? — осведомился он.

— Дробь не горит.

— Подарите мне немножко дроби, — проговорил он умоляющим голоском.

— Дроби немножко подарю, вот, бери, только маме своей до меня не показывай, пока я не приду обратно, а то подумает, что это порох, и так и умрет от страха, а вас выпорет.

— Мама нас никогда не сечет розгой, — тотчас же заметила Настя.

— Знаю, я только для красоты слога сказал. И маму вы никогда не обманывайте, но на этот раз — пока я приду. Итак, пузыри, можно мне идти или нет? Не заплачете без меня от страха?

— За-пла-чем, — протянул Костя, уже приготовляясь плакать.

— Заплачем, непременно заплачем! — подхватила пугливою скороговоркой и Настя.

— Ох, дети, дети, как опасны ваши лета[*]. Нечего делать, птенцы, придется с вами просидеть не знаю сколько. А время-то, время-то, ух!

— А прикажите Перезвону мертвым притвориться, — попросил

Костя.

— Да уж нечего делать, придется прибегнуть и к Перезвону. Иси, Перезвон! — И Коля начал повелевать собаке, а та представлять всё, что знала. Это была лохматая собака, величиной с обыкновенную дворняжку, какой-то серо-лиловой шерсти. Правый глаз ее был крив, а левое ухо почему-то с разрезом. Она взвизгивала и прыгала, служила, ходила на задних лапах, бросалась на спину всеми четырьмя лапами вверх и лежала без движения как мертвая. Во время этой последней штуки отворилась дверь, и Агафья, толстая служанка госпожи Красоткиной, рябая баба лет сорока, показалась на пороге, возвратясь с базара с кульком накупленной провизии в руке. Она стала и, держа в левой руке на отвесе кулек, принялась глядеть на собаку. Коля, как ни ждал Агафьи, представления не прервал и, выдержав Перезвона определенное время мертвым, наконец-то свистнул ему: собака вскочила и пустилась прыгать от радости, что исполнила свой долг.

— Вишь, пес! — проговорила назидательно Агафья.

— А ты чего, женский пол, опоздала? — спросил грозно Красоткин.

— Женский пол, ишь пупырь![*]

— Пупырь?

— И пупырь. Что тебе, что я опоздала, значит так надо, коли опоздала, — бормотала Агафья, принимаясь возиться около печки, но совсем не недовольным и не сердитым голосом, а, напротив, очень довольным, как будто радуясь случаю позубоскалить с веселым барчонком.

— Слушай, легкомысленная старуха, — начал, вставая с дивана, Красоткин, — можешь ты мне поклясться всем, что есть святого в этом мире, и сверх того чем-нибудь еще, что будешь наблюдать за пузырями в мое отсутствие неустанно? Я ухожу со двора.

— А зачем я тебе клястись стану? — засмеялась Агафья, — и так присмотрю.

— Нет, не иначе как поклявшись вечным спасением души твоей. Иначе не уйду.

— И не уходи. Мне како дело, на дворе мороз, сиди дома.

— Пузыри, — обратился Коля к деткам, — эта женщина останется с вами до моего прихода или до прихода вашей мамы, потому что и той давно бы воротиться надо. Сверх того, даст вам позавтракать. Дашь

чего-нибудь им, Агафья?

— Это возможно.

— До свидания, птенцы, ухожу со спокойным сердцем. А ты, бабуся, — вполголоса и важно проговорил он, проходя мимо Агафьи, — надеюсь, не станешь им врать обычные ваши бабьи глупости про Катерину, пощадишь детский возраст. Иси, Перезвон!

— И ну тебя к богу, — огрызнулась уже с сердцем Агафья. — Смешной! Выпороть самого-то, вот что, за такие слова.

III

Школьник

Но Коля уже не слушал. Наконец-то он мог уйти. Выйдя за ворота, он огляделся, передернул плечиками и, проговорив: «Мороз!», направился прямо по улице и потом направо по переулку к базарной площади. Не доходя одного дома до площади, он остановился у ворот, вынут из кармашка свистульку и свистнул изо всей силы, как бы подавая условный знак. Ему пришлось ждать не более минуты, из калитки вдруг выскочил к нему румяненький мальчик, лет одиннадцати, тоже одетый в теплое, чистенькое и даже щегольское пальтецо. Это был мальчик Смуров, состоявший в приготовительном классе (тогда как Коля Красоткин был уже двумя классами выше), сын зажиточного чиновника и которому, кажется, не позволяли родители водиться с Красоткиным, как с известнейшим отчаянным шалуном, так что Смуров, очевидно, выскочил теперь украдкой. Этот Смуров, если не забыл читатель, был один из той группы мальчиков, которые два месяца тому назад кидали камнями через канаву в Илюшу и который рассказывал тогда про Илюшу Алеше Карамазову.

— Я вас уже целый час жду, Красоткин, — с решительным видом проговорил Смуров, и мальчики зашагали к площади.

— Запоздал, — ответил Красоткин. — Есть обстоятельства. Тебя не выпорют, что ты со мной?

— Ну полноте, разве меня порют? И Перезвон с вами?

— И Перезвон!

— Вы и его туда?

— И его туда.

— Ах, кабы Жучка.

— Нельзя Жучку. Жучка не существует. Жучка исчезла во мраке неизвестности.

— Ах, нельзя ли бы так, — приостановился вдруг Смуров, — ведь Илюша говорит, что Жучка тоже была лохматая и тоже такая же седая, дымчатая, как и Перезвон, — нельзя ли сказать, что это та самая Жучка и есть, он, может быть, и поверит?

— Школьник, гнушайся лжи, это раз; даже для доброго дела, два. А главное, надеюсь, ты там не объявлял ничего о моем приходе.

— Боже сохрани, я ведь понимаю же. Но Перезвоном его не утешишь, — вздохнул Смуров. — Знаешь что: отец этот, капитан, мочалка-то, говорил нам, что сегодня щеночка ему принесет, настоящего меделянского*, с черным носом; он думает, что этим утешит Илюшу, только вряд ли?

— А каков он сам, Илюша-то?

— Ах, плох, плох! Я думаю, у него чахотка. Он весь в памяти, только так дышит-дышит, нехорошо он дышит. Намедни попросил, чтоб его поводили, обули его в сапожки, пошел было, да и валится. «Ах, говорит, я говорил тебе, папа, что у меня дурные сапожки, прежние, в них и прежде было неловко ходить». Это он думал, что он от сапожек с ног валится, а он просто от слабости. Недели не проживет. Герценштубе ездит. Теперь они опять богаты, у них много денег.

— Шельмы.

— Кто шельмы?

— Доктора, и вся медицинская сволочь, говоря вообще, и, уж, разумеется, в частности. Я отрицаю медицину. Бесполезное учреждение. Я, впрочем, всё это исследую. Что это у вас там за сентиментальности, однако, завелись? Вы там всем классом, кажется, пребываете?

— Не всем, а так человек десять наших ходит туда, всегда, всякий день. Это ничего.

— Удивляет меня во всем этом роль Алексея Карамазова: брата его завтра или послезавтра судят за такое преступление, а у него столько времени на сентиментальничанье с мальчиками!

— Совсем тут никакого нет сентиментальничанья. Сам же вот идешь теперь с Илюшей мириться.

— Мириться? Смешное выражение. Я, впрочем, никому не позволяю анализировать мои поступки.

— А как Илюша будет тебе рад! Он и не воображает, что ты придешь. Почему, почему ты так долго не хотел идти? — воскликнул вдруг с жаром Смуров.

— Милый мальчик, это мое дело, а не твое. Я иду сам по себе, потому что такова моя воля, а вас всех притащил туда Алексей Карамазов, значит, разница. И почем ты знаешь, я, может, вовсе не мириться иду? Глупое выражение.

— Вовсе не Карамазов, совсем не он. Просто наши сами туда стали ходить, конечно сперва с Карамазовым. И ничего такого не было, никаких глупостей. Сначала один, потом другой. Отец был ужасно нам рад. Ты знаешь, он просто с ума сойдет, коль умрет Илюша. Он видит, что Илюша умрет. А нам-то как рад, что мы с Илюшей помирились. Илюша о тебе спрашивал, ничего больше не прибавил. Спросит и замолчит. А отец с ума сойдет или повесится. Он ведь и прежде держал себя как помешанный. Знаешь, он благородный человек, и тогда вышла ошибка. Всё этот отцеубийца виноват, что избил его тогда.

— А все-таки Карамазов для меня загадка. Я мог бы и давно с ним познакомиться, но я в иных случаях люблю быть гордым. Притом я составил о нем некоторое мнение, которое надо еще проверить и разъяснить.

Коля важно примолк; Смуров тоже. Смуров, разумеется, благоговел пред Колей Красоткиным и не смел и думать равняться с ним. Теперь же был ужасно заинтересован, потому что Коля объяснил, что идет «сам по себе», и была тут, стало быть, непременно какая-то загадка в том, что Коля вдруг вздумал теперь и именно сегодня идти. Они шли по базарной площади, на которой на этот раз стояло много приезжих возов и было много пригнанной птицы. Городские бабы торговали под своими навесами бубликами, нитками и проч. Такие воскресные съезды, наивно называются у нас в городке ярмарками, и таких ярмарок бывает много в году. Перезвон бежал в веселейшем настроении духа, уклоняясь беспрестанно направо и налево где-нибудь что-нибудь понюхать. Встречаясь с другими собачонками, с необыкновенною охотой с ними обнюхивался по всем собачьим правилам.

— Я люблю наблюдать реализм, Смуров, — заговорил вдруг

Коля. — Заметил ты, как собаки встречаются и обнюхиваются? Тут какой-то общий у них закон природы.

— Да, какой-то смешной.

— То есть не смешной, это ты неправильно. В природе ничего нет смешного, как бы там ни казалось человеку с его предрассудками. Если бы собаки могли рассуждать и критиковать, то наверно бы нашли столько же для себя смешного, если не гораздо больше, в социальных отношениях между собою людей, их повелителей, — если не гораздо больше; это я повторяю потому, что я твердо уверен, что глупостей у нас гораздо больше. Это мысль Ракитина, мысль замечательная. Я социалист, Смуров.

— А что такое социалист? — спросил Смуров.

— Это коли все равны, у всех одно общее имение, нет браков, а религия и все законы как кому угодно*, ну и там всё остальное. Ты еще не дорос до этого, тебе рано. Холодно, однако.

— Да. Двенадцать градусов. Давеча отец смотрел на термометре.

— И заметил ты, Смуров, что в средние зимы, если градусов пятнадцать или даже восемнадцать, то кажется не так холодно, как например теперь, в начале зимы, когда вдруг нечаянно ударит мороз, как теперь, в двенадцать градусов, да еще когда снегу мало. Это значит, люди еще не привыкли. У людей всё привычка, во всем, даже в государственных и в политических отношениях. Привычка — главный двигатель. Какой смешной, однако, мужик.

Коля указал на рослого мужика в тулупе, с добродушною физиономией, который у своего воза похлопывал от холода ладонями в рукавицах. Длинная русая борода его вся заиндевела от мороза.

— У мужика борода замерзла! — громко и задирчиво крикнул Коля, проходя мимо него.

— У многих замерзла, — спокойно и сентенциозно промолвил в ответ мужик.

— Не задирай его, — заметил Смуров.

— Ничего, не осердится, он хороший. Прощай, Матвей.

— Прощай.

— А ты разве Матвей?

— Матвей. А ты не знал?

— Не знал; я наугад сказал.

— Ишь ведь. В школьниках небось?

— В школьниках.

— Что ж тебя, порют?

— Не то чтобы, а так.

— Больно?

— Не без того!

— Эх, жисть! — вздохнул мужик от всего сердца.

— Прощай, Матвей.

— Прощай. Парнишка ты милый, вот что.

Мальчики пошли дальше.

— Это хороший мужик, — заговорил Коля Смурову. — Я люблю поговорить с народом и всегда рад отдать ему справедливость.

— Зачем ты ему соврал, что у нас секут? — спросил Смуров.

— Надо же было его утешить?

— Чем это?

— Видишь, Смуров, не люблю я, когда переспрашивают, если не понимают с первого слова. Иного и растолковать нельзя. По идее мужика, школьника порют и должны пороть: что, дескать, за школьник, если его не порют? И вдруг я скажу ему, что у нас не порют, ведь он этим огорчится. А впрочем, ты этого не понимаешь. С народом надо умеючи говорить.

— Только не задирай, пожалуйста, а то опять выйдет история, как тогда с этим гусем.

— А ты боишься?

— Не смейся, Коля, ей-богу, боюсь. Отец ужасно рассердится. Мне строго запрещено ходить с тобой.

— Не беспокойся, нынешний раз ничего не произойдет. Здравствуй, Наташа, — крикнул он одной из торговок под навесом.

— Какая я тебе Наташа, я Марья, — крикливо ответила торговка, далеко еще не старая женщина.

— Это хорошо, что Марья, прощай.

— Ах ты пострелёнок, от земли не видать, а туда же!

— Некогда, некогда мне с тобой, в будущее воскресенье расскажешь, — замахал руками Коля, точно она к нему приставала, а не он к ней.

— А что мне тебе рассказывать в воскресенье? Сам привязался, а не я к тебе, озорник, — раскричалась Марья, — выпороть тебя, вот что, обидчик ты известный, вот что!

Между другими торговками, торговавшими на своих лотках рядом с Марьей, раздался смех, как вдруг из-под аркады городских лавок выскочил ни с того ни с сего один раздраженный человек вроде купеческого приказчика и не наш торговец, а из приезжих, в длиннополом синем кафтане, в фуражке с козырьком, еще молодой, в темно-русых кудрях и с длинным, бледным, рябоватым лицом. Он был в каком-то глупом волнении и тотчас принялся грозить Коле кулаком.

— Я тебя знаю, — восклицал он раздраженно, — я тебя знаю!

Коля пристально поглядел на него. Он что-то не мог припомнить, когда он с этим человеком мог иметь какую-нибудь схватку. Но мало ли у него было схваток на улицах, всех и припомнить было нельзя.

— Знаешь? — иронически спросил он его.

— Я тебя знаю! Я тебя знаю! — наладил как дурак мещанин.

— Тебе же лучше. Ну, некогда мне, прощай!

— Чего озорничаешь? — закричал мещанин. — Ты опять озорничать? Я тебя знаю! Ты опять озорничать?

— Это, брат, не твое теперь дело, что я озорничаю, — произнес Коля, остановясь и продолжая его разглядывать.

— Как не мое?

— Так, не твое.

— А чье же? Чье же? Ну, чье же?

— Это, брат, теперь Трифона Никитича дело, а не твое.

— Какого такого Трифона Никитича? — с дурацким удивлением, хотя всё так же горячась, уставился на Колю парень. Коля важно обмерил его взглядом.

— К Вознесенью ходил? — строго и настойчиво вдруг спросил он его.

— К какому Вознесенью? Зачем? Нет, не ходил, — опешил немного парень.

— Сабанеева знаешь? — еще настойчивее и еще строже продолжал Коля.

— Какого те Сабанеева? Нет, не знаю.

— Ну и черт с тобой после этого! — отрезал вдруг Коля и, круто повернув направо, быстро зашагал своею дорогой, как будто и говорить презирая с таким олухом, который Сабанеева даже не знает.

— Стой ты, эй! Какого те Сабанеева? — опомнился парень, весь опять заволновавшись. — Это он чего такого говорил? — повернулся он

вдруг к торговкам, глупо смотря на них.

Бабы рассмеялись.

— Мудреный мальчишка, — проговорила одна.

— Какого, какого это он Сабанеева? — всё неистово повторял парень, махая правою рукой.

— А это, надоть быть, Сабанеева, который у Кузьмичевых служил, вот как, надоть быть, — догадалась вдруг одна баба.

Парень дико на нее уставился.

— Кузь-ми-чева? — переговорила другая баба, — да какой он Трифон? Тот Кузьма, а не Трифон, а парнишка Трифоном Никитичем называл, стало, не он.

— Это, вишь, не Трифон и не Сабанеев, это Чижов, — подхватила вдруг третья баба, доселе молчавшая и серьезно слушавшая, — Алексей Иванычем звать его. Чижов, Алексей Иванович.

— Это так и есть, что Чижов, — настойчиво подтвердила четвертая баба.

Ошеломленный парень глядел то на ту, то на другую.

— Да зачем он спрашивал, спрашивал-то он зачем, люди добрые? — восклицал он уже почти в отчаянии, — «Сабанеева знаешь?» А черт его знает, какой он есть таков Сабанеев!

— Бестолковый ты человек, говорят те — не Сабанеев, а Чижов, Алексей Иванович Чижов, вот кто! — внушительно крикнула ему одна торговка.

— Какой Чижов? Ну, какой? Говори, коли знаешь.

— А длинный, возгривый, летось на базаре сидел.

— А на кой ляд мне твово Чижова, люди добрые, а?

— А я почем знаю, на кой те ляд Чижова.

— А кто тебя знает, на что он тебе, — подхватила другая, — сам должен знать, на что его тебе надо, коли галдишь. Ведь он тебе говорил, а не нам, глупый ты человек. Аль правду не знаешь?

— Кого?

— Чижова.

— А черт его дери, Чижова, с тобой вместе! Отколочу его, вот что! Смеялся он надо мной!

— Чижова-то отколотишь? Либо он тебя! Дурак ты, вот что!

— Не Чижова, не Чижова, баба ты злая, вредная, мальчишку отколочу, вот что! Давайте его, давайте его сюда, смеялся он надо мной!

Бабы хохотали. А Коля шагал уже далеко с победоносным выражением в лице. Смуров шел подле, оглядываясь на кричащую вдали группу. Ему тоже было очень весело, хотя он всё еще опасался, как бы не попасть с Колей в историю.

— Про какого ты его спросил Сабанеева? — спросил он Колю, предчувствуя ответ.

— А почем я знаю, про какого? Теперь у них до вечера крику будет. Я люблю расшевелить дураков во всех слоях общества. Вот и еще стоит олух, вот этот мужик. Заметь себе, говорят: «Ничего нет глупее глупого француза», но и русская физиономия выдает себя. Ну не написано ль у этого на лице, что он дурак, вот у этого мужика, а?

— Оставь его, Коля, пройдем мимо.

— Ни за что не оставлю, я теперь поехал. Эй! здравствуй, мужик!

Дюжий мужик, медленно проходивший мимо и уже, должно быть, выпивший, с круглым простоватым лицом и с бородой с проседью, поднял голову и посмотрел на парнишку.

— Ну, здравствуй, коли не шутишь, — неторопливо проговорил он в ответ.

— А коль шучу? — засмеялся Коля.

— А шутишь, так и шути, бог с тобой. Ничего, это можно. Это всегда возможно, чтоб пошутить.

— Виноват, брат, пошутил.

— Ну и бог те прости.

— Ты-то прощаешь ли?

— Оченно прощаю. Ступай.

— Вишь ведь ты, да ты, пожалуй, мужик умный.

— Умней тебя, — неожиданно и по-прежнему важно ответил мужик.

— Вряд ли, — опешил несколько Коля.

— Верно говорю.

— А пожалуй что и так.

— То-то, брат.

— Прощай, мужик.

— Прощай.

— Мужики бывают разные, — заметил Коля Смурову после некоторого молчания. — Почем же я знал, что нарвусь на умника. Я всегда готов признать ум в народе.

Вдали на соборных часах пробило половину двенадцатого. Мальчики заспешили и остальной довольно еще длинный путь до жилища штабс-капитана Снегирева прошли быстро и почти уже не разговаривая. За двадцать шагов до дома Коля остановился и велел Смурову пойти вперед и вызвать ему сюда Карамазова.

— Надо предварительно обнюхаться, — заметил он Смурову.

— Да зачем вызывать, — возразил было Смуров, — войди и так, тебе ужасно обрадуются. А то что же на морозе знакомиться?

— Это уж я знаю, зачем мне его надо сюда на мороз, — деспотически отрезал Коля (что ужасно любил делать с этими «маленькими»), и Смуров побежал исполнять приказание.

IV

Жучка

Коля с важною миной в лице прислонился к забору и стал ожидать появления Алеши. Да, с ним ему давно уже хотелось встретиться. Он много наслышался о нем от мальчиков, но до сих пор всегда наружно выказывал презрительно равнодушный вид, когда ему о нем говорили, даже «критиковал» Алешу, выслушивая то, что о нем ему передавали. Но про себя очень, очень хотел познакомиться: что-то было во всех выслушанных им рассказах об Алеше симпатическое и влекущее. Таким образом, теперешняя минута была важная; во-первых, надо было себя в грязь лицом не ударить, показать независимость: «А то подумает, что мне тринадцать лет, и примет меня за такого же мальчишку, как и эти. И что ему эти мальчишки? Спрошу его, когда сойдусь. Скверно, однако же то, что я такого маленького роста. Тузиков моложе меня, а на полголовы выше. Лицо у меня, впрочем, умное; я не хорош, я знаю, что я мерзок лицом, но лицо умное. Тоже надо не очень высказываться, а то сразу-то с объятиями, он и подумает… Тьфу, какая будет мерзость, если подумает!..»

Так волновался Коля, изо всех сил стараясь принять самый независимый вид. Главное, его мучил маленький его рост, не столько «мерзкое» лицо, сколько рост. У него дома, в углу на стене, еще с прошлого года была сделана карандашом черточка, которою он отметил

свой рост, и с тех пор каждые два месяца он с волнением подходил опять мериться: на сколько успел вырасти? Но увы! вырастал он ужасно мало, и это приводило его порой просто в отчаяние. Что же до лица, то было оно вовсе не «мерзкое», напротив, довольно миловидное, беленькое, бледненькое, с веснушками. Серые, небольшие, но живые глазки смотрели смело и часто загорались чувством. Скулы были несколько широки, губы маленькие, не очень толстые, но очень красные; нос маленький и решительно вздернутый: «Совсем курносый, совсем курносый!» — бормотал про себя Коля, когда смотрелся в зеркало, и всегда отходил от зеркала с негодованием. «Да вряд ли и лицо умное?» — подумывал он иногда, даже сомневаясь и в этом. Впрочем, не надо полагать, что забота о лице и о росте поглощала всю его душу. Напротив, как ни язвительны были минуты пред зеркалом, но он быстро забывал о них, и даже надолго, «весь отдаваясь идеям и действительной жизни», как определял он сам свою деятельность.

Алеша появился скоро и спеша подошел к Коле; за несколько шагов еще тот разглядел, что у Алеши было какое-то совсем радостное лицо. «Неужели так рад мне?» — с удовольствием подумал Коля. Здесь кстати заметим, что Алеша очень изменился с тех пор, как мы его оставили: он сбросил подрясник и носил теперь прекрасно сшитый сюртук, мягкую круглую шляпу и коротко обстриженные волосы. Всё это очень его скрасило, и смотрел он совсем красавчиком. Миловидное лицо его имело всегда веселый вид, но веселость эта была какая-то тихая и спокойная. К удивлению Коли, Алеша вышел к нему в том, в чем сидел в комнате, без пальто, видно, что поспешил. Он прямо протянул Коле руку.

— Вот и вы наконец, как мы вас все ждали.

— Были причины, о которых сейчас узнаете. Во всяком случае, рад познакомиться. Давно ждал случая и много слышал, — пробормотал, немного задыхаясь Коля.

— Да мы с вами и без того бы познакомились, я сам о вас много слышал, но здесь-то, сюда-то вы запоздали.

— Скажите, как здесь?

— Илюша очень плох, он непременно умрет.

— Что вы! Согласитесь, что медицина подлость, Карамазов, — с жаром воскликнул Коля.

— Илюша часто, очень часто поминал об вас, даже, знаете, во сне,

в бреду. Видно, что вы ему очень, очень были дороги прежде… до того случая… с ножиком. Тут есть и еще причина… Скажите, это ваша собака?

— Моя. Перезвон.

— А не Жучка? — жалостно поглядел Алеша в глаза Коле. — Та уже так и пропала?

— Знаю, что вам хотелось бы всем Жучку, слышал всё-с, — загадочно усмехнулся Коля. — Слушайте, Карамазов, я вам объясню всё дело, я, главное, с тем и пришел, для этого вас и вызвал, чтобы вам предварительно объяснить весь пассаж, прежде чем мы войдем, — оживленно начал он. — Видите, Карамазов, весной Илюша поступает в приготовительный класс. Ну, известно, наш приготовительный класс: мальчишки, детвора. Илюшу тотчас же начали задирать. Я двумя классами выше и, разумеется, смотрю издали, со стороны. Вижу, мальчик маленький, слабенький, но не подчиняется, даже с ними дерется, гордый, глазенки горят. Я люблю этаких. А они его пуще. Главное, у него тогда было платьишко скверное, штанишки наверх лезут, а сапоги каши просят. Они его и за это. Унижают. Нет, это уж я не люблю, тотчас заступился и экстрафеферу задал. Я ведь их бью, а они меня обожают, вы знаете ли это, Карамазов? — экспансивно похвастался Коля. — Да и вообще люблю детвору. У меня и теперь на шее дома два птенца сидят, даже сегодня меня задержали. Таким образом, Илюшу перестали бить, и я взял его под мою протекцию. Вижу, мальчик гордый, это я вам говорю, что гордый, но кончил тем, что предался мне рабски, исполняет малейшие мои повеления, слушает меня как бога, лезет мне подражать. В антрактах между классами сейчас ко мне, и мы вместе с ним ходим. По воскресеньям тоже. У нас в гимназии смеются, когда старший сходится на такую ногу с маленьким, но это предрассудок. Такова моя фантазия, и баста, не правда ли? Я его учу, развиваю — почему, скажите, я не могу его развивать, если он мне нравится? Ведь вот вы же, Карамазов, сошлись со всеми этими птенцами, значит, хотите действовать на молодое поколение, развивать, быть полезным? И признаюсь, эта черта в вашем характере, которую я узнал понаслышке, всего более заинтересовала меня. Впрочем, к делу: примечаю, что в мальчике развивается какая-то чувствительность, сентиментальность, а я, знаете, решительный враг всяких телячьих нежностей, с самого моего рождения. И к тому же противоречия: горд, а

мне предан рабски, — предан рабски, а вдруг засверкают глазенки и не хочет даже соглашаться со мной, спорит, на стену лезет. Я проводил иногда разные идеи: он не то что с идеями не согласен, а просто вижу, что он лично против меня бунтует, потому что я на его нежности отвечаю хладнокровием. И вот, чтобы его выдержать, я, чем он нежнее, тем становлюсь еще хладнокровнее, нарочно так поступаю, таково мое убеждение. Я имел в виду вышколить характер, выровнять, создать человека… ну и там… вы, разумеется, меня с полслова понимаете. Вдруг замечаю, он день, другой, третий смущен, скорбит, но уж не о нежностях, а о чем-то другом, сильнейшем, высшем. Думаю, что за трагедия? Наступаю на него и узнаю штуку: каким-то он образом сошелся с лакеем покойного отца вашего (который тогда еще был в живых) Смердяковым, а тот и научи его, дурачка, глупой шутке, то есть зверской шутке, подлой шутке — взять кусок хлеба, мякишу, воткнуть в него булавку и бросить какой-нибудь дворовой собаке, из таких, которые с голодухи кусок, не жуя, глотают, и посмотреть, что из этого выйдет. Вот и смастерили они такой кусок и бросили вот этой самой лохматой Жучке, о которой теперь такая история, одной дворовой собаке из такого двора, где ее просто не кормили, а она-то весь день на ветер лает. (Любите вы этот глупый лай, Карамазов? Я терпеть не могу). Так и бросилась, проглотила и завизжала, завертелась и пустилась бежать, бежит и всё визжит, и исчезла — так мне описывал сам Илюша. Признается мне, а сам плачет-плачет, обнимает меня, сотрясается: «Бежит и визжит, бежит и визжит» — только это и повторяет, поразила его эта картина. Ну, вижу, угрызения совести. Я принял серьезно. Мне, главное, и за прежнее хотелось его прошколить, так что, признаюсь, я тут схитрил, притворился, что в таком негодовании, какого, может, и не было у меня вовсе: «Ты, говорю, сделал низкий поступок, ты подлец, я, конечно, не разглашу, но пока прерываю с тобою сношения. Дело это обдумаю и дам тебе знать через Смурова (вот этого самого мальчика, который теперь со мной пришел и который всегда мне был предан): буду ли продолжать с тобою впредь отношения, или брошу тебя навеки, как подлеца». Это страшно его поразило. Я, признаюсь, тогда же почувствовал, что, может быть, слишком строго отнесся, но что делать, такова была моя тогдашняя мысль. День спустя посылаю к нему Смурова и чрез него передаю, что я с ним больше «не говорю», то есть это так у нас называется, когда два товарища прерывают между собой

сношения. Тайна в том, что я хотел его выдержать на фербанте[*] всего только несколько дней, а там, видя раскаяние, опять протянуть ему руку. Это было твердое мое намерение. Но что же вы думаете: выслушал от Смурова, и вдруг у него засверкали глаза. «Передай, — закричал он, — от меня Красоткину, что я всем собакам буду теперь куски с булавками кидать, всем, всем!» — «А, думаю, вольный душок завелся, его надо выкурить», — и стал ему выказывать полное презрение, при всякой встрече отвертываюсь или иронически улыбаюсь. И вдруг тут происходит этот случай с его отцом, помните, мочалка-то? Поймите, что он таким образом уже предварительно приготовлен был к страшному раздражению. Мальчики, видя, что я его оставил, накинулись на него, дразнят: «Мочалка, мочалка». Вот тут-то у них и начались баталии, о которых я страшно сожалею, потому что его, кажется, очень больно тогда раз избили. Вот раз он бросается на всех на дворе, когда выходили из классов, а я как раз стою в десяти шагах и смотрю на него. И клянусь, я не помню, чтоб я тогда смеялся, напротив, мне тогда очень, очень стало жалко его, и еще миг, и я бы бросился его защищать. Но он вдруг встретил мой взгляд: что ему показалось — не знаю, но он выхватил перочинный ножик, бросился на меня и ткнул мне его в бедро, вот тут, у правой ноги. Я не двинулся, я, признаюсь, иногда бываю храбр, Карамазов, я только посмотрел с презрением, как бы говоря взглядом: «Не хочешь ли, мол, еще, за всю мою дружбу, так я к твоим услугам». Но он другой раз не пырнул, он не выдержал, он сам испугался, бросил ножик, заплакал в голос и пустился бежать. Я, разумеется, не фискалил и приказал всем молчать, чтобы не дошло до начальства, даже матери сказал, только когда всё зажило, да и ранка была пустая, царапина. Потом слышу, в тот же день он бросался камнями и вам палец укусил, — но, понимаете, в каком он был состоянии! Ну что делать, я сделал глупо: когда он заболел, я не пошел его простить, то есть помириться, теперь раскаиваюсь. Но тут уж у меня явились особые цели. Ну вот и вся история… только, кажется, я сделал глупо…

— Ах, как это жаль, — воскликнул с волнением Алеша, — что я не знал ваших этих с ним отношений раньше, а то бы я сам давно уже пришел к вам вас просить пойти к нему со мной вместе. Верите ли, в жару, в болезни, он бредил вами. Я и не знал, как вы ему дороги! И неужели, неужели вы так и не отыскали эту Жучку? Отец и все

мальчики по всему городу разыскивали. Верите ли, он, больной, в слезах, три раза при мне уж повторял отцу: «Это оттого я болен, папа, что я Жучку тогда убил, это меня бог наказал», — не собьешь его с этой мысли! И если бы только достали теперь эту Жучку и показали, что она не умерла, а живая, то, кажется, он бы воскрес от радости. Все мы на вас надеялись.

— Скажите, с какой же стати надеялись, что я отыщу Жучку, то есть что именно я отыщу? — с чрезвычайным любопытством спросил Коля, — почему именно на меня рассчитывали, а не на другого?

— Какой-то слух был, что вы ее отыскиваете и что когда отыщете ее, то приведете. Смуров что-то говорил в этом роде. Мы, главное, всё стараемся уверить, что Жучка жива, что ее где-то видели. Мальчики ему живого зайчика откуда-то достали, только он посмотрел, чуть-чуть улыбнулся и попросил, чтобы выпустили его в поле. Так мы и сделали. Сию минуту отец воротился и ему щенка меделянского принес, тоже достал откуда-то, думал этим утешить, только хуже еще, кажется, вышло…

— Еще скажите, Карамазов: что такое этот отец? Я его знаю, но что он такое по вашему определению: шут, паяц?

— Ах нет, есть люди глубоко чувствующие, но как-то придавленные. Шутовство у них вроде злобной иронии на тех, которым в глаза они не смеют сказать правды от долговременной унизительной робости пред ними. Поверьте, Красоткин, что такое шутовство чрезвычайно иногда трагично. У него всё теперь, всё на земле совокупилось в Илюше, и умри Илюша, он или с ума сойдет с горя, или лишит себя жизни. Я почти убежден в этом, когда теперь на него смотрю!

— Я вас понимаю, Карамазов, я вижу, вы знаете человека, — прибавил проникновенно Коля.

— А я, как увидал вас с собакой, так и подумал, что вы это привели ту самую Жучку.

— Подождите, Карамазов, может быть, мы ее и отыщем, а эта — это Перезвон. Я впущу ее теперь в комнату и, может быть, развеселю Илюшу побольше, чем меделянским щенком. Подождите, Карамазов, вы кой-что сейчас узнаете. Ах, боже мой, что ж я вас держу! — вскричал вдруг стремительно Коля. — Вы в одном сюртучке на таком холоде, а я вас задерживаю; видите, видите, какой я эгоист! О, все мы

эгоисты, Карамазов![*]

— Не беспокойтесь; правда, холодно, но я не простудлив. Пойдемте, однако же. Кстати: как ваше имя, я знаю, что Коля, а дальше?

— Николай, Николай Иванов Красоткин, или, как говорят по-казенному, сын Красоткин, — чему-то засмеялся Коля, но вдруг прибавил: — Я, разумеется, ненавижу мое имя Николай.

— Почему же?

— Тривиально, казенно…

— Вам тринадцатый год? — спросил Алеша.

— То есть четырнадцатый, через две недели четырнадцать, весьма скоро. Признаюсь пред вами заранее в одной слабости, Карамазов, это уж так пред вами, для первого знакомства, чтобы вы сразу увидели всю мою натуру: я ненавижу, когда меня спрашивают про мои года, более чем ненавижу… и наконец… про меня, например, есть клевета, что я на прошлой неделе с приготовительными в разбойники играл. То, что я играл, это действительность, но что *я* для себя играл, для доставления себе самому удовольствия, то это решительно клевета. Я имею основание думать, что до вас это дошло, но я не для себя играл, а для детворы играл, потому что они ничего без меня не умели выдумать. И вот у нас всегда вздор распустят. Это город сплетен, уверяю вас.

— А хоть бы и для своего удовольствия играли, что ж тут такого?

— Ну для себя… Не станете же вы в лошадки играть?

— А вы рассуждайте так, — улыбнулся Алеша, — в театр, например, ездят же взрослые, а в театре тоже представляют приключения всяких героев, иногда тоже с разбойниками и с войной — так разве это не то же самое, в своем, разумеется, роде? А игра в войну у молодых людей, в рекреационное[*] время, или там в разбойники — это ведь тоже зарождающееся искусство, зарождающаяся потребность искусства в юной душе, и эти игры иногда даже сочиняются складнее, чем представления на театре, только в том разница, что в театр ездят смотреть актеров, а тут молодежь сами актеры. Но это только естественно.

— Вы так думаете? Таково ваше убеждение? — пристально смотрел на него Коля. — Знаете, вы довольно любопытную мысль сказали; я теперь приду домой и шевельну мозгами на этот счет. Признаюсь, я так и ждал, что от вас можно кой-чему поучиться. Я пришел у вас учиться, Карамазов, — проникновенным и экспансивным

голосом заключил Коля.

— А я у вас, — улыбнулся Алеша, пожав ему руку. Коля был чрезвычайно доволен Алешей. Его поразило то, что с ним он в высшей степени на ровной ноге и что тот говорит с ним как с «самым большим».

— Я вам сейчас один фортель покажу, Карамазов, тоже одно театральное представление, — нервно засмеялся он, — я с тем и пришел.

— Зайдем сначала налево к хозяевам, там все ваши свои пальто оставляют, потому что в комнате тесно и жарко.

— О, ведь я на мгновение, я войду и просижу в пальто. Перезвон останется здесь в сенях и умрет: «Иси, Перезвон, куш и умри!» — видите, он и умер. А я сначала войду, высмотрю обстановку и потом, когда надо будет, свистну: «Иси, Перезвон!» — и вы увидите, он тотчас же влетит как угорелый. Только надо, чтобы Смуров не забыл отворить в то мгновение дверь. Уж я распоряжусь, и вы увидите фортель…

V

У илюшиной постельки

В знакомой уже нам комнате, в которой обитало семейство известного нам отставного штабс-капитана Снегирева, было в эту минуту и душно, и тесно от многочисленной набравшейся публики. Несколько мальчиков сидели в этот раз у Илюши, и хоть все они готовы были, как и Смуров, отрицать, что помирил и свел их с Илюшей Алеша, но это было так. Всё искусство его в этом случае состояло в том, что свел он их с Илюшей, одного за другим, без «телячьих нежностей», а совсем как бы не нарочно и нечаянно. Илюше же это принесло огромное облегчение в его страданиях. Увидев почти нежную дружбу и участие к себе всех этих мальчиков, прежних врагов своих, он был очень тронут. Одного только Красоткина недоставало, и это лежало на его сердце страшным гнетом. Если было в горьких воспоминаниях Илюшечки нечто самое горьчайшее, то это именно весь этот эпизод с Красоткиным, бывшим единственным другом его и защитником, на которого он бросился тогда с ножиком. Так думал и умненький мальчик

Смуров (первый пришедший помириться с Илюшей). Но сам Красоткин, когда Смуров отдаленно сообщил ему, что Алеша хочет к нему прийти «по одному делу», тотчас же оборвал и отрезал подход, поручив Смурову немедленно сообщить «Карамазову», что он сам знает, как поступать, что советов ни от кого не просит и что если пойдет к больному, то сам знает, когда пойти, потому что у него «свой расчет». Это было еще недели за две до этого воскресенья. Вот почему Алеша и не пошел к нему сам, как намеревался. Впрочем, он хоть и подождал, но, однако же, послал Смурова к Красоткину еще раз и еще раз. Но в оба эти раза Красоткин ответил уже самым нетерпеливым и резким отказом, передав Алеше, что если тот придет за ним сам, то он за это никогда не пойдет к Илюше, и чтоб ему больше не надоедали. Даже до самого этого последнего дня сам Смуров не знал, что Коля решил отправиться к Илюше в это утро, и только накануне вечером, прощаясь со Смуровым, Коля вдруг резко объявил ему, чтоб он ждал его завтра утром дома, потому что пойдет вместе с ним к Снегиревым, но чтобы не смел, однако же, никого уведомлять о его прибытии, так как он хочет прийти нечаянно. Смуров послушался. Мечта же о том, что он приведет пропавшую Жучку, явилась у Смурова на основании раз брошенных мельком слов Красоткиным, что «ослы они все, коли не могут отыскать собаку, если только она жива». Когда же Смуров робко, выждав время, намекнул о своей догадке насчет собаки Красоткину, тот вдруг ужасно озлился: «Что я за осел, чтоб искать чужих собак по всему городу, когда у меня свой Перезвон? И можно ли мечтать, чтобы собака, проглотившая булавку, осталась жива? Телячьи нежности, больше ничего!»

Между тем Илюша уже недели две как почти не сходил с своей постельки, в углу, у образов. В классы же не ходил с самого того случая, когда встретился с Алешей и укусил ему палец. Впрочем, он с того же дня и захворал, хотя еще с месяц мог кое-как ходить изредка по комнате и в сенях, изредка вставая с постельки. Наконец совсем обессилел, так что без помощи отца не мог двигаться. Отец трепетал над ним, перестал даже совсем пить, почти обезумел от страха, что умрет его мальчик, и часто, особенно после того, как проведет, бывало, его по комнате под руку и уложит опять в постельку, — вдруг выбегал в сени, в темный угол и, прислонившись лбом к стене, начинал рыдать каким-то заливчатым, сотрясающимся плачем, давя свой голос, чтобы рыданий

его не было слышно у Илюшечки.

Возвращаясь же в комнату, начинал обыкновенно чем-нибудь развлекать и утешать своего дорогого мальчика, рассказывал ему сказки, смешные анекдоты или представлял из себя разных смешных людей, которых ему удавалось встречать, даже подражал животным, как они смешно воют или кричат. Но Илюша очень не любил, когда отец коверкался и представлял из себя шута. Мальчик хоть и старался не показывать, что ему это неприятно, но с болью сердца сознавал, что отец в обществе унижен, и всегда, неотвязно, вспоминал о «мочалке» и о том «страшном дне». Ниночка, безногая, тихая и кроткая сестра Илюшечки, тоже не любила, когда отец коверкался (что же до Варвары Николаевны, то она давно уже отправилась в Петербург слушать курсы), зато полоумная маменька очень забавлялась и от всего сердца смеялась, когда ее супруг начнет, бывало, что-нибудь представлять или выделывать какие-нибудь смешные жесты. Этим только ее и можно было утешить, во всё же остальное время она беспрерывно брюзжала и плакалась, что теперь все ее забыли, что ее никто не уважает, что ее обижают и проч., и проч. Но в самые последние дни и она вдруг как бы вся переменилась. Она часто начала смотреть в уголок на Илюшу и стала задумываться. Стала гораздо молчаливее, притихла, и если принималась плакать, то тихо, чтобы не слыхали. Штабс-капитан с горьким недоумением заметил эту в ней перемену. Посещения мальчиков ей сначала не понравились и только сердили ее, но потом веселые крики и рассказы детей стали развлекать и ее и до того под конец ей понравились, что, перестань ходить эти мальчики, она бы затосковала ужасно. Когда дети что рассказывали или начинали играть, она смеялась и хлопала в ладошки. Иных подзывала к себе и целовала. Мальчика Смурова полюбила особенно. Что же до штабс-капитана, то появление в его квартире детей, приходивших веселить Илюшу, наполнило душу его с самого начала восторженною радостью и даже надеждой, что Илюша перестанет теперь тосковать и, может быть, оттого скорее выздоровеет. Он ни одной минуты, до самого последнего времени, не сомневался, несмотря на весь свой страх за Илюшу, что его мальчик вдруг выздоровеет. Он встречал маленьких гостей с благоговением, ходил около них, услуживал, готов был их на себе возить, и даже впрямь начал было возить, но Илюше эти игры не понравились и были оставлены. Стал для них покупать гостинцев,

пряничков, орешков, устраивал чай, намазывал бутерброды. Надо заметить, что во всё это время деньги у него не переводились. Тогдашние двести рублей от Катерины Ивановны он принял точь-в-точь по предсказанию Алеши. А потом Катерина Ивановна, разузнав подробнее об их обстоятельствах и о болезни Илюши, сама посетила их квартиру, познакомилась со всем семейством и даже сумела очаровать полоумную штабс-капитаншу. С тех пор рука ее не оскудевала, а сам штабс-капитан, подавленный ужасом при мысли, что умрет его мальчик, забыл свой прежний гонор и смиренно принимал подаяние. Всё это время доктор Герценштубе, по приглашению Катерины Ивановны, ездил постоянно и аккуратно через день к больному, но толку от его посещений выходило мало, а пачкал он его лекарствами ужасно. Но зато в этот день, то есть в это воскресенье утром, у штабс-капитана ждали одного нового доктора, приезжего из Москвы и считавшегося в Москве знаменитостью. Его нарочно выписала и пригласила из Москвы Катерина Ивановна за большие деньги — не для Илюшечки, а для другой одной цели, о которой будет сказано ниже и в своем месте, но уж так как он прибыл, то и попросила его навестить и Илюшечку, о чем штабс-капитан был заранее предуведомлен. О прибытии же Коли Красоткина он не имел никакого предчувствия, хотя уже давно желал, чтобы пришел наконец этот мальчик, по котором так мучился его Илюшечка. В то самое мгновение, когда Красоткин отворил дверь и появился в комнате, все, штабс-капитан и мальчики, столпились около постельки больного и рассматривали только что принесенного крошечного меделянского щенка, вчера только родившегося, но еще за неделю заказанного штабс-капитаном, чтобы развлечь и утешить Илюшечку, всё тосковавшего об исчезнувшей и, конечно, уже погибшей Жучке. Но Илюша, уже слышавший и знавший еще за три дня, что ему подарят маленькую собачку, и не простую, а настоящую меделянскую (что, конечно, было ужасно важно), хотя и показывал из тонкого и деликатного чувства, что рад подарку, но все, и отец и мальчики, ясно увидели, что новая собачка, может быть, только еще сильнее шевельнула в его сердечке воспоминание о несчастной, им замученной Жучке. Щеночек лежал и копошился подле него, и он, болезненно улыбаясь, гладил его своею тоненькою, бледненькою, высохшею ручкой; даже видно было, что собачка ему понравилась, но… Жучки всё же не было, всё же это не Жучка, а вот если бы Жучка и щеночек

вместе, тогда бы было полное счастие!

— Красоткин! — крикнул вдруг один из мальчиков, первый завидевший вошедшего Колю. Произошло видимое волнение, мальчики расступились и стали по обе стороны постельки, так что вдруг открыли всего Илюшечку. Штабс-капитан стремительно бросился навстречу Коле.

— Пожалуйте, пожалуйте… дорогой гость! — залепетал он ему. — Илюшечка, господин Красоткин к тебе пожаловал…

Но Красоткин, наскоро подав ему руку, мигом выказал и чрезвычайное свое знание светских приличий. Он тотчас же и прежде всего обратился к сидевшей в своем кресле супруге штабс-капитана (которая как раз в ту минуту была ужасно как недовольна и брюзжала на то, что мальчики заслонили собою постельку Илюши и не дают ей поглядеть на новую собачку) и чрезвычайно вежливо шаркнул пред нею ножкой, а затем, повернувшись к Ниночке, отдал и ей, как даме, такой же поклон. Этот вежливый поступок произвел на больную даму необыкновенно приятное впечатление.

— Вот и видно сейчас хорошо воспитанного молодого человека, — громко произнесла она, разводя руками, — а то что прочие-то наши гости: один на другом приезжают.

— Как же, мамочка, один-то на другом, как это так? — хоть и ласково, но опасаясь немного за «мамочку», пролепетал штабс-капитан.

— А так и въезжают. Сядет в сенях один другому верхом на плечи да в благородное семейство и въедет, сидя верхом. Какой же это гость?

— Да кто же, кто же, мамочка, так въезжал, кто же?

— Да вот этот мальчик на этом мальчике сегодня въехал, а вот тот на том…

Но Коля уже стоял у постельки Илюши. Больной видимо побледнел. Он приподнялся на кроватке и пристально-пристально посмотрел на Колю. Тот не видал своего прежнего маленького друга уже месяца два и вдруг остановился пред ним совсем пораженный: он и вообразить не мог, что увидит такое похудевшее и пожелтевшее личико, такие горящие в лихорадочном жару и как будто ужасно увеличившиеся глаза, такие худенькие ручки. С горестным удивлением всматривался он, что Илюша так глубоко и часто дышит и что у него так ссохлись губы. Он шагнул к нему, подал руку и, почти совсем потерявшись, проговорил:

— Ну что, старик… как поживаешь?

Но голос его пресекся, развязности не хватило, лицо как-то вдруг передернулось, и что-то задрожало около его губ. Илюша болезненно ему улыбался, все еще не в силах сказать слова. Коля вдруг поднял руку и провел для чего-то своею ладонью по волосам Илюши.

— Ни-че-го! — пролепетал он ему тихо, не то ободряя его, не то сам не зная, зачем это сказал. С минутку опять помолчали.

— Что это у тебя, новый щенок? — вдруг самым бесчувственным голосом спросил Коля.

— Да-а-а! — ответил Илюша длинным шепотом, задыхаясь.

— Черный нос, значит, из злых, из цепных, — важно и твердо заметил Коля, как будто всё дело было именно в щенке и в его черном носе. Но главное было в том, что он всё еще изо всех сил старался побороть в себе чувство, чтобы не заплакать как «маленький», и всё еще не мог побороть. — Подрастет, придется посадить на цепь, уж я знаю.

— Он огромный будет! — воскликнул один мальчик из толпы.

— Известно, меделянский, огромный, вот этакий, с теленка, — раздалось вдруг несколько голосков.

— С теленка, с настоящего теленка-с, — подскочил штабс-капитан, — я нарочно отыскал такого, самого-самого злющего, и родители его тоже огромные и самые злющие, вот этакие от полу ростом… Присядьте-с, вот здесь на кроватке у Илюши, а не то здесь на лавку. Милости просим, гость дорогой, гость долгожданный… С Алексеем Федоровичем изволили прибыть-с?

Красоткин присел на постельке, в ногах у Илюши. Он хоть, может быть, и приготовил дорогой, с чего развязно начать разговор, но теперь решительно потерял нитку.

— Нет… я с Перезвоном… У меня такая собака теперь, Перезвон. Славянское имя. Там ждет… свистну, и влетит. Я тоже с собакой, — оборотился он вдруг к Илюше, — помнишь, старик, Жучку? — вдруг огрел он его вопросом.

Личико Илюшечки перекосилось. Он страдальчески посмотрел на Колю. Алеша, стоявший у дверей, нахмурился и кивнул было Коле украдкой, чтобы тот не заговаривал про Жучку, но тот не заметил или не захотел заметить.

— Где же… Жучка? — надорванным голоском спросил Илюша.

— Ну, брат, твоя Жучка — фью! Пропала твоя Жучка!

Илюша смолчал, но пристально-пристально посмотрел еще раз на Колю. Алеша, поймав взгляд Коли, изо всех сил опять закивал ему, но тот снова отвел глаза, сделав вид, что и теперь не заметил.

— Забежала куда-нибудь и пропала. Как не пропасть после такой закуски, — безжалостно резал Коля, а между тем сам как будто стал от чего-то задыхаться. — У меня зато Перезвон… Славянское имя… Я к тебе привел…

— Не на-до! — проговорил вдруг Илюшечка.

— Нет, нет, надо, непременно посмотри… Ты развлечешься. Я нарочно привел… такая же лохматая, как и та… Вы позволите, сударыня, позвать сюда мою собаку? — обратился он вдруг к госпоже Снегиревой в каком-то совсем уже непостижимом волнении.

— Не надо, не надо! — с горестным надрывом в голосе воскликнул Илюша. Укор загорелся в глазах его.

— Вы бы-с… — рванулся вдруг штабс-капитан с сундука у стенки, на котором было присел, — вы бы-с… в другое время-с… — пролепетал он, но Коля, неудержимо настаивая и спеша, вдруг крикнул Смурову: «Смуров, отвори дверь!» — и только что тот отворил, свистнул в свою свистульку. Перезвон стремительно влетел в комнату.

— Прыгай, Перезвон, служи! Служи! — завопил Коля, вскочив с места, и собака, став на задние лапы, вытянулась прямо пред постелькой Илюши. Произошло нечто никем не ожиданное: Илюша вздрогнул и вдруг с силой двинулся весь вперед, нагнулся к Перезвону и, как бы замирая, смотрел на него.

— Это… Жучка! — прокричал он вдруг надтреснутым от страдания и счастия голоском.

— А ты думал кто? — звонким, счастливым голосом изо всей силы завопил Красоткин и, нагнувшись к собаке, обхватил ее и приподнял к Илюше.

— Гляди, старик, видишь, глаз кривой и левое ухо надрезано, точь-в-точь те приметы, как ты мне рассказал. Я его по этим приметам и разыскал! Тогда же разыскал, вскорости. Она ведь ничья была, она ведь была ничья! — пояснял он, быстро оборачиваясь к штабс-капитану, к супруге его, к Алеше и потом опять к Илюше, — она была у Федотовых на задворках, прижилась было там, но те ее не кормили, а она беглая, она забеглая из деревни… Я ее и разыскал… Видишь, старик, она тогда твой кусок, значит, не проглотила. Если бы проглотила, так уж конечно

бы померла, ведь уж конечно! Значит, успела выплюнуть, коли теперь жива. А ты и не заметил, что она выплюнула. Выплюнула, а язык себе все-таки уколола, вот отчего тогда и завизжала. Бежала и визжала, а ты и думал, что она совсем проглотила. Она должна была очень визжать, потому что у собаки очень нежная кожа во рту… нежнее, чем у человека, гораздо нежнее! — восклицал неистово Коля, с разгоревшимся и с сияющим от восторга лицом.

Илюша же и говорить не мог. Он смотрел на Колю своими большими и как-то ужасно выкатившимися глазами, с раскрытым ртом и побледнев как полотно. И если бы только знал не подозревавший ничего Красоткин, как мучительно и убийственно могла влиять такая минута на здоровье больного мальчика, то ни за что бы не решился выкинуть такую штуку, какую выкинул. Но в комнате понимал это, может быть, лишь один Алеша. Что же до штабс-капитана, то он весь как бы обратился в самого маленького мальчика.

— Жучка! Так это-то Жучка? — выкрикивал он блаженным голосом. — Илюшечка, ведь это Жучка, твоя Жучка! Маменька, ведь это Жучка! — Он чуть не плакал.

— А я-то и не догадался! — горестно воскликнул Смуров. — Ай да Красоткин, я говорил, что он найдет Жучку, вот и нашел!

— Вот и нашел! — радостно отозвался еще кто-то.

— Молодец Красоткин! — прозвенел третий голосок.

— Молодец, молодец! — закричали все мальчики и начали аплодировать.

— Да стойте, стойте, — силился всех перекричать Красоткин, — я вам расскажу, как это было, штука в том, как это было, а не в чем другом! Ведь я его разыскал, затащил к себе и тотчас же спрятал, и дом на замок, и никому не показывал до самого последнего дня. Только один Смуров узнал две недели назад, но я уверил его, что это Перезвон, и он не догадался, а я в антракте научил Жучку всем наукам, вы посмотрите, посмотрите только, какие он штуки знает! Для того и учил, чтоб уж привесть к тебе, старик, обученного, гладкого: вот, дескать, старик, какая твоя Жучка теперь! Да нет ли у вас какого-нибудь кусочка говядинки, он вам сейчас одну такую штуку покажет, что вы со смеху упадете, — говядинки, кусочек, ну неужели же у вас нет?

Штабс-капитан стремительно кинулся через сени в избу к хозяевам, где варилось и штабс-капитанское кушанье. Коля же, чтобы не терять

драгоценного времени, отчаянно спеша, крикнул Перезвону: «Умри!» И тот вдруг завертелся, лег на спину и замер неподвижно всеми четырьмя своими лапками вверх. Мальчики смеялись, Илюша смотрел с прежнею страдальческою своею улыбкой, но всех больше понравилось, что умер Перезвон, «маменьке». Она расхохоталась на собаку и принялась щелкать пальцами и звать:

— Перезвон, Перезвон!

— Ни за что не подымется, ни за что, — победоносно и справедливо гордясь, прокричал Коля, — хоть весь свет кричи, а вот я крикну, и в один миг вскочит! Иси, Перезвон!

Собака вскочила и принялась прыгать, визжа от радости. Штабс-капитан вбежал с куском вареной говядины.

— Не горяча? — торопливо и деловито осведомился Коля, принимая кусок, — нет, не горяча, а то собаки не любят горячего. Смотрите же все, Илюшечка, смотри, да смотри же, смотри, старик, что же ты не смотришь? Я привел, а он не смотрит!

Новая штука состояла в том, чтобы неподвижно стоящей и протянувшей свой нос собаке положить на самый нос лакомый кусочек говядины. Несчастный пес, не шевелясь, должен был простоять с куском на носу сколько велит хозяин, не двинуться, не шевельнуться, хоть полчаса. Но Перезвона выдержали только самую маленькую минутку.

— Пиль! — крикнул Коля, и кусок в один миг перелетел с носу в рот Перезвона. Публика, разумеется, выразила восторженное удивление.

— И неужели, неужели вы из-за того только, чтоб обучить собаку, всё время не приходили! — воскликнул с невольным укором Алеша.

— Именно для того, — прокричал простодушнейшим образом Коля. — Я хотел показать его во всем блеске!

— Перезвон! Перезвон! — защелкал вдруг своими худенькими пальчиками Илюша, маня собаку.

— Да чего тебе! Пусть он к тебе на постель сам вскочит. Иси, Перезвон! — стукнул ладонью по постели Коля, и Перезвон как стрела влетел к Илюше. Тот стремительно обнял его голову обеими руками, а Перезвон мигом облизал ему за это щеку. Илюшечка прижался к нему, протянулся на постельке и спрятал от всех в его косматой шерсти свое лицо.

— Господи, господи! — восклицал штабс-капитан. Коля присел опять на постель к Илюше.

— Илюша, я тебе могу еще одну штуку показать. Я тебе пушечку принес. Помнишь, я тебе еще тогда говорил про эту пушечку, а ты сказал: «Ах, как бы и мне ее посмотреть!» Ну вот, я теперь и принес.

И Коля, торопясь, вытащил из своей сумки свою бронзовую пушечку. Торопился он потому, что уж сам был очень счастлив: в другое время так выждал бы, когда пройдет эффект, произведенный Перезвоном, но теперь поспешил, презирая всякую выдержку: «уж и так счастливы, так вот вам и еще счастья!» Сам уж он был очень упоен.

— Я эту штучку давно уже у чиновника Морозова наглядел — для тебя, старик, для тебя. Она у него стояла даром, от брата ему досталась, я и выменял ему на книжку*, из папина шкафа: «Родственник Магомета, или Целительное дурачество». Сто лет книжке, забубенная, в Москве вышла, когда еще цензуры не было, а Морозов до этих штучек охотник. Еще поблагодарил…

Пушечку Коля держал в руке пред всеми, так что все могли видеть и наслаждаться. Илюша приподнялся и, продолжая правою рукой обнимать Перезвона, с восхищением разглядывал игрушку. Эффект дошел до высокой степени, когда Коля объявил, что у него есть и порох и что можно сейчас же и выстрелить, «если это только не обеспокоит дам». «Маменька» немедленно попросила, чтоб ей дали поближе посмотреть на игрушку, что тотчас и было исполнено. Бронзовая пушечка на колесках ей ужасно понравилась, и она принялась ее катать на своих коленях. На просьбу о позволении выстрелить отвечала самым полным согласием, не понимая, впрочем, о чем ее спрашивают. Коля показал порох и дробь. Штабс-капитан, как бывший военный человек, сам распорядился зарядом, всыпав самую маленькую порцию пороху, дробь же попросил отложить до другого раза. Пушку поставили на пол, дулом в пустое место, втиснули в затравку три порошинки и зажгли спичкой. Произошел самый блистательный выстрел. Маменька вздрогнула было, но тотчас же засмеялась от радости. Мальчики смотрели с молчаливым торжеством, но более всего блаженствовал, смотря на Илюшу, штабс-капитан. Коля поднял пушечку и немедленно подарил ее Илюше, вместе с дробью и с порохом.

— Это я для тебя, для тебя! Давно приготовил, — повторил он еще раз, в полноте счастья.

— Ах, подарите мне! Нет, подарите пушечку лучше мне! — вдруг, точно маленькая, начала просить маменька. Лицо ее изобразило горестное беспокойство от боязни, что ей не подарят. Коля смутился. Штабс-капитан беспокойно заволновался.

— Мамочка, мамочка! — подскочил он к ней, — пушечка твоя, твоя, но пусть она будет у Илюши, потому что ему подарили, но она всё равно что твоя, Илюшечка всегда тебе даст поиграть, она у вас пусть будет общая, общая…

— Нет, не хочу, чтоб общая, нет, чтобы совсем моя была, а не Илюшина, — продолжала маменька, приготовляясь уже совсем заплакать.

— Мама, возьми себе, вот возьми себе! — крикнул вдруг Илюша. — Красоткин, можно мне ее маме подарить? — обратился он вдруг с молящим видом к Красоткину, как бы боясь, чтобы тот не обиделся, что он его подарок другому дарит.

— Совершенно возможно! — тотчас же согласился Красоткин и, взяв пушечку из рук Илюши, сам и передал ее с самым вежливым поклоном маменьке. Та даже расплакалась от умиления.

— Илюшечка, милый, вот кто мамочку свою любит! — умиленно воскликнула она и немедленно опять принялась катать пушку на своих коленях.

— Маменька, дай я тебе ручку поцелую, — подскочил к ней супруг и тотчас же исполнил намерение.

— И кто еще самый милый молодой человек, так вот этот добрый мальчик! — проговорила благодарная дама, указывая на Красоткина.

— А пороху я тебе, Илюша, теперь сколько угодно буду носить. Мы теперь сами порох делаем. Боровиков узнал состав: двадцать четыре части селитры, десять серы и шесть березового угля, всё вместе столочь, влить воды, смешать в мякоть и протереть через барабанную шкуру — вот и порох.

— Мне Смуров про ваш порох уже говорил, а только папа говорит, что это не настоящий порох, — отозвался Илюша.

— Как не настоящий? — покраснел Коля, — у нас горит. Я, впрочем, не знаю…

— Нет-с, я ничего-с, — подскочил вдруг с виноватым видом штабс-капитан. — Я, правда, говорил, что настоящий порох не так составляется, но это ничего-с, можно и так-с.

— Не знаю, вы лучше знаете. Мы в помадной каменной банке зажгли, славно горел, весь сгорел, самая маленькая сажа осталась. Но ведь это только мякоть, а если протереть через шкуру… А впрочем, вы лучше знаете, я не знаю… А Булкина отец выдрал за наш порох, ты слышал? — обратился он вдруг к Илюше.

— Слышал, — ответил Илюша. Он с бесконечным интересом и наслаждением слушал Колю.

— Мы целую бутылку пороху заготовили, он под кроватью и держал. Отец увидал. Взорвать, говорит, может. Да и высек его тут же. Хотел в гимназию на меня жаловаться. Теперь со мной его не пускают, теперь со мной никого не пускают. Смурова тоже не пускают, у всех прославился; говорят, что я «отчаянный», — презрительно усмехнулся Коля. — Это всё с железной дороги здесь началось.

— Ах, мы слышали и про этот ваш пассаж! — воскликнул штабс-капитан, — как это вы там пролежали? И неужели вы так ничего совсем и не испугались, когда лежали под поездом. Страшно вам было-с?

Штабс-капитан ужасно лисил пред Колей.

— Н-не особенно! — небрежно отозвался Коля. — Репутацию мою пуще всего здесь этот проклятый гусь подкузьмил, — повернулся он опять к Илюше. Но хоть он и корчил, рассказывая, небрежный вид, а всё еще не мог совладать с собою и продолжал как бы сбиваться с тону.

— Ах, я и про гуся слышал! — засмеялся, весь сияя, Илюша, — мне рассказывали, да я не понял, неужто тебя у судьи судили?

— Самая безмозглая штука, самая ничтожная, из которой целого слона, по обыкновению, у нас сочинили, — начал развязно Коля. — Это я раз тут по площади шел, а как раз пригнали гусей. Я остановился и смотрю на гусей. Вдруг один здешний парень, Вишняков, он теперь у Плотниковых рассыльным служит, смотрит на меня да и говорит: «Ты чего на гусей глядишь?» Я смотрю на него: глупая, круглая харя, парню двадцать лет, я, знаете, никогда не отвергаю народа. Я люблю с народом… Мы отстали от народа — это аксиома — вы, кажется, изволите смеяться, Карамазов?

— Нет, боже сохрани, я вас очень слушаю, — с самым простодушнейшим видом отозвался Алеша, и мнительный Коля мигом ободрился.

— Моя теория, Карамазов, ясна и проста, — опять радостно заспешил он тотчас же. — Я верю в народ и всегда рад отдать ему

справедливость,* но отнюдь не балуя его, это sine qua…[1] Да, ведь я про гуся. Вот обращаюсь я к этому дураку и отвечаю ему: «А вот думаю, о чем гусь думает». Глядит он на меня совершенно глупо: «А об чем, говорит, гусь думает?» — «А вот видишь, говорю, телега с овсом стоит. Из мешка овес сыплется, а гусь шею протянул под самое колесо и зерно клюет — видишь?» — «Это я оченно вижу, говорит». — «Ну так вот, говорю, если эту самую телегу чуточку теперь тронуть вперед — перережет гусю шею колесом или нет?» — «Беспременно, говорит, перережет», — а сам уж ухмыляется во весь рот, так весь и растаял. «Ну так пойдем, говорю, парень, давай». — «Давай, говорит». И недолго нам пришлось мастерить: он этак неприметно около узды стал, а я сбоку, чтобы гуся направить. А мужик на ту пору зазевался, говорил с кем-то, так что совсем мне и не пришлось направлять: прямо гусь сам собой так и вытянул шею за овсом, под телегу, под самое колесо. Я мигнул парню, он дернул и — к-крак, так и переехало гусю шею пополам! И вот надо ж так, что в ту ж секунду все мужики увидали нас, ну и загалдели разом: «Это ты нарочно!» — «Нет, не нарочно». — «Нет, нарочно!» Ну, галдят: «К мировому!» Захватили и меня: «И ты тут, дескать, был, ты подсоблял, тебя весь базар знает!» А меня действительно почему-то весь базар знает, — прибавил самолюбиво Коля. — Потянулись мы все к мировому, несут и гуся. Смотрю, а парень мой струсил и заревел, право, ревет как баба. А гуртовщик кричит: «Этаким манером их, гусей, сколько угодно передавить можно!» Ну, разумеется, свидетели. Мировой мигом кончил: за гуся отдать гуртовщику рубль, а гуся пусть парень берет себе. Да впредь чтобы таких шуток отнюдь не позволять себе. А парень всё ревет как баба: «Это не я, говорит, это он меня наустил», — да на меня и показывает. Я отвечаю с полным хладнокровием, что я отнюдь не учил, что я только выразил основную мысль и говорил лишь в проекте. Мировой Нефедов усмехнулся, да и рассердился сейчас на себя за то, что усмехнулся: «Я вас, — говорит мне, — сейчас же вашему начальству аттестую, чтобы вы в такие проекты впредь не пускались, вместо того чтобы за книгами сидеть и уроки ваши учить». Начальству-то он меня не аттестовал, это шутки, но дело действительно разнеслось и достигло ушей начальства: уши-то ведь у нас длинные! Особенно поднялся классик Колбасников, да Дарданелов опять отстоял. А Колбасников зол теперь у нас на всех, как зеленый осел. Ты, Илюша, слышал, он ведь женился, взял у

Михайловых приданого тысячу рублей, а невеста рыловорот первой руки и последней степени. Третьеклассники тотчас же эпиграмму сочинили:

Поразила весть третьеклассников,
Что женился неряха Колбасников.

Ну и там дальше, очень смешно, я тебе потом принесу. Я про Дарданелова ничего не говорю: человек с познаниями, с решительными познаниями. Этаких я уважаю и вовсе не из-за того, что меня отстоял…

— Однако ж ты сбил его на том, кто основал Трою! — ввернул вдруг Смуров, решительно гордясь в эту минуту Красоткиным. Очень уж ему понравился рассказ про гуся.

— Неужто так и сбили-с? — льстиво подхватил штабс-капитан. — Это про то, кто основал Трою-с? Это мы уже слышали, что сбили-с. Илюшечка мне тогда же и рассказал-с…

— Он, папа, всё знает, лучше всех у нас знает! — подхватил и Илюшечка, — он ведь только прикидывается, что он такой, а он первый у нас ученик по всем предметам…

Илюша с беспредельным счастием смотрел на Колю.

— Ну это о Трое вздор, пустяки. Я сам этот вопрос считаю пустым, — с горделивою скромностью отозвался Коля. Он уже успел вполне войти в тон, хотя, впрочем, был и в некотором беспокойстве: он чувствовал, что находится в большом возбуждении и что о гусе, например, рассказал слишком уж от всего сердца, а между тем Алеша молчал всё время рассказа и был серьезен, и вот самолюбивому мальчику мало-помалу начало уже скрести по сердцу: «Не оттого ли де он молчит, что меня презирает, думая, что я его похвалы ищу? В таком случае, если он осмеливается это думать, то я…»

— Я считаю этот вопрос решительно пустым, — отрезал он еще раз горделиво.

— А я знаю, кто основал Трою, — вдруг проговорил совсем неожиданно один доселе ничего почти еще не сказавший мальчик, молчаливый и видимо застенчивый, очень собою хорошенький, лет одиннадцати, по фамилии Карташов. Он сидел у самых дверей. Коля с удивлением и важностию поглядел на него. Дело в том, что вопрос:

«Кто именно основал Трою?» — решительно обратился во всех классах в секрет, и чтобы проникнуть его, надо было прочесть у Смарагдова. Но Смарагдова ни у кого, кроме Коли, не было. И вот раз мальчик Карташов потихоньку, когда Коля отвернулся, поскорей развернул лежащего между его книгами Смарагдова и прямо попал на то место, где говорилось об основателях Трои. Случилось это довольно уже давно, но он всё как-то конфузился и не решался открыть публично, что и он знает, кто основал Трою, опасаясь, чтобы не вышло чего-нибудь и чтобы не сконфузил его как-нибудь за это Коля. А теперь вдруг почему-то не утерпел и сказал. Да и давно ему хотелось.

— Ну, кто же основал? — надменно и свысока повернулся к нему Коля, уже по лицу угадав, что тот действительно знает и, разумеется, тотчас же приготовившись ко всем последствиям. В общем настроении произошел, что называется, диссонанс.

— Трою основали Тевкр, Дардан, Иллюс и Трос, — разом отчеканил мальчик и в один миг весь покраснел, так покраснел, что на него жалко стало смотреть. Но мальчики все на него глядели в упор, глядели целую минуту, и потом вдруг все эти глядящие в упор глаза разом повернулись к Коле. Тот с презрительным хладнокровием всё еще продолжал обмеривать взглядом дерзкого мальчика.

— То есть как же это они основали? — удостоил он наконец проговорить, — да и что значит вообще основать город или государство? Что ж они: пришли и по кирпичу положили, что ли?

Раздался смех. Виноватый мальчик из розового стал пунцовым. Он молчал, он готов был заплакать. Коля выдержал его так еще с минутку.

— Чтобы толковать о таких исторических событиях, как основание национальности, надо прежде всего понимать, что это значит, — строго отчеканил он в назидание. — Я, впрочем, не придаю всем этим бабьим сказкам важности, да и вообще всемирную историю не весьма уважаю, — прибавил он вдруг небрежно, обращаясь уже ко всем вообще.

— Это всемирную-то историю-с? — с каким-то вдруг испугом осведомился штабс-капитан.

— Да, всемирную историю. Изучение ряда глупостей человеческих, и только.* Я уважаю одну математику и естественные,*— сфорсил Коля и мельком глянул на Алешу: его только одного мнения он здесь и боялся. Но Алеша всё молчал и был всё по-прежнему серьезен. Если бы

сказал что-нибудь сейчас Алеша, на том бы оно и покончилось, но Алеша смолчал, а «молчание его могло быть презрительным», и Коля раздражился уже совсем.

— Опять эти классические теперь у нас языки: одно сумасшествие, и ничего больше… Вы опять, кажется, не согласны со мной, Карамазов?

— Не согласен, — сдержанно улыбнулся Алеша.

— Классические языки, если хотите всё мое о них мнение, — это полицейская мера,* вот для чего единственно они заведены, — мало-помалу начал вдруг опять задыхаться Коля, — они заведены потому, что скучны, и потому, что отупляют способности. Было скучно, так вот как сделать, чтоб еще больше было скуки? Было бестолково, так как сделать, чтобы стало еще бестолковее? Вот и выдумали классические языки. Вот мое полное о них мнение, и надеюсь, что я никогда не изменю его, — резко закончил Коля. На обеих щеках его показалось по красной точке румянца.

— Это правда, — звонким и убежденным голоском согласился вдруг прилежно слушавший Смуров.

— А сам первый по латинскому языку! — вдруг крикнул из толпы один мальчик.

— Да, папа, он сам говорит, а сам у нас первый по латинскому в классе, — отозвался и Илюша.

— Что ж такое? — счел нужным оборониться Коля, хотя ему очень приятна была и похвала. — Латынь я зубрю, потому что надо, потому что я обещался матери кончить курс, а по-моему, за что взялся, то уж делать хорошо, но в душе глубоко презираю классицизм и всю эту подлость… Не соглашаетесь, Карамазов?

— Ну зачем же «подлость»? — усмехнулся опять Алеша.

— Да помилуйте, ведь классики все переведены на все языки, стало быть, вовсе не для изучения классиков понадобилась им латынь, а единственно для полицейских мер и для отупления способностей. Как же после того не подлость?

— Ну кто вас этому всему научил? — воскликнул удивленный наконец Алеша.

— Во-первых, я и сам могу понимать, без научения, а во-вторых, знайте, вот это же самое, что я вам сейчас толковал про переведенных классиков, говорил вслух всему третьему классу сам преподаватель Колбасников…*

— Доктор приехал! — воскликнула вдруг всё время молчавшая Ниночка.

Действительно, к воротам дома подъехала принадлежавшая госпоже Хохлаковой карета. Штабс-капитан, ждавший всё утро доктора, сломя голову бросился к воротам встречать его. Маменька подобралась и напустила на себя важности. Алеша подошел к Илюше и стал оправлять ему подушку. Ниночка, из своих кресел, с беспокойством следила за тем, как он оправляет постельку. Мальчики торопливо стали прощаться, некоторые из них пообещались зайти вечером. Коля крикнул Перезвона, и тот соскочил с постели.

— Я не уйду, не уйду! — проговорил впопыхах Коля Илюше, — я пережду в сенях и приду опять, когда уедет доктор, приду с Перезвоном.

Но уже доктор входил — важная фигура в медвежьей шубе, с длинными темными бакенбардами и с глянцевито выбритым подбородком. Ступив через порог, он вдруг остановился, как бы опешив: ему, верно, показалось, что он не туда зашел: «Что это? Где я?» — пробормотал он, не скидая с плеч шубы и не снимая котиковой фуражки с котиковым же козырьком с своей головы. Толпа, бедность комнаты, развешанное в углу на веревке белье сбили его с толку Штабс-капитан согнулся перед ним в три погибели.

— Вы здесь-с, здесь-с, — бормотал он подобострастно, — вы здесь-с, у меня-с, вам ко мне-с…

— Сне-ги-рев? — произнес важно и громко доктор. — Господин Снегирев — это вы?

— Это я-с!

— А!

Доктор еще раз брезгливо оглядел комнату и сбросил с себя шубу. Всем в глаза блеснул важный орден на шее. Штабс-капитан подхватил на лету шубу, а доктор снял фуражку.

— Где же пациент? — спросил он громко и настоятельно.

VI

Раннее развитие

— Как вы думаете, что ему скажет доктор? — скороговоркой проговорил Коля, — какая отвратительная, однако же, харя, не правда ли? Терпеть не могу медицину!

— Илюша умрет. Это, мне кажется, уж наверно, — грустно ответил Алеша.

— Шельмы! Медицина шельма! Я рад, однако, что узнал вас, Карамазов. Я давно хотел вас узнать. Жаль только, что мы так грустно встретились…

Коле очень бы хотелось что-то сказать еще горячее, еще экспансивнее, но как будто что-то его коробило. Алеша это заметил, улыбнулся и пожал ему руку.

— Я давно научился уважать в вас редкое существо, — пробормотал опять Коля, сбиваясь и путаясь. — Я слышал, вы мистик и были в монастыре. Я знаю, что вы мистик, но… это меня не остановило. Прикосновение к действительности вас излечит…* С натурами, как вы, не бывает иначе.

— Что вы называете мистиком? От чего излечит? — удивился немного Алеша.

— Ну там бог и прочее.

— Как, да разве вы в бога не веруете?

— Напротив, я ничего не имею против бога. Конечно, бог есть только гипотеза… но… я признаю, что он нужен, для порядка… для мирового порядка и так далее… и если б его не было, то надо бы его выдумать*,— прибавил Коля, начиная краснеть. Ему вдруг вообразилось, что Алеша сейчас подумает, что он хочет выставить свои познания и показать, какой он «большой». «А я вовсе не хочу выставлять пред ним мои познания», — с негодованием подумал Коля. И ему вдруг стало ужасно досадно.

— Я, признаюсь, терпеть не могу вступать во все эти препирания, — отрезал он, — можно ведь и не веруя в бога любить человечество, как вы думаете? Вольтер же не веровал в бога, а любил человечество?* («Опять, опять!» — подумал он про себя).

— Вольтер в бога верил, но, кажется, мало и, кажется, мало любил и человечество, — тихо, сдержанно и совершенно натурально произнес Алеша, как бы разговаривая с себе равным по летам или даже со старшим летами человеком. Колю именно поразила эта как бы неуверенность Алеши в свое мнение о Вольтере и что он как будто

именно ему, маленькому Коле, отдает этот вопрос на решение.

— А вы разве читали Вольтера? — заключил Алеша.

— Нет, не то чтобы читал… Я, впрочем, «Кандида» читал, в русском переводе… в старом, уродливом переводе, смешном…* (Опять, опять!)

— И поняли?

— О да, всё… то есть… почему же вы думаете, что я бы не понял? Там, конечно, много сальностей… Я, конечно, в состоянии понять, что это роман философский и написан, чтобы провести идею… — запутался уже совсем Коля. — Я социалист, Карамазов, я неисправимый социалист*,— вдруг оборвал он ни с того ни с сего.

— Социалист? — засмеялся Алеша, — да когда это вы успели? Ведь вам еще только тринадцать лет, кажется?

Колю скрючило.

— Во-первых, не тринадцать, а четырнадцать, через две недели четырнадцать*,— так и вспыхнул он, — а во-вторых, совершенно не понимаю, к чему тут мои лета? Дело в том, каковы мои убеждения, а не который мне год, не правда ли?

— Когда вам будет больше лет, то вы сами увидите, какое значение имеет на убеждение возраст. Мне показалось тоже, что вы не свои слова говорите, — скромно и спокойно ответил Алеша, но Коля горячо его прервал.

— Помилуйте, вы хотите послушания и мистицизма. Согласитесь в том, что, например, христианская вера послужила лишь богатым и знатным, чтобы держать в рабстве низший класс, не правда ли?*

— Ах, я знаю, где вы это прочли, и вас непременно кто-нибудь научил! — воскликнул Алеша.

— Помилуйте, зачем же непременно прочел? И никто ровно не научил. Я и сам могу… И если хотите, я не против Христа. Это была вполне гуманная личность, и живи он в наше время, он бы прямо примкнул к революционерам и, может быть, играл бы видную роль… Это даже непременно.

— Ну где, ну где вы этого нахватались! С каким это дураком вы связались? — воскликнул Алеша.

— Помилуйте, правды не скроешь. Я, конечно, по одному случаю, часто говорю с господином Ракитиным, но… Это еще старик Белинский тоже, говорят, говорил.*

— Белинский? Не помню. Он этого нигде не написал.

— Если не написал, то, говорят, говорил. Я это слышал от одного… впрочем, черт…

— А Белинского вы читали?

— Видите ли… нет… я не совсем читал, но… место о Татьяне, зачем она не пошла с Онегиным, я читал.*

— Как не пошла с Онегиным? Да разве вы это уж… понимаете?

— Помилуйте, вы, кажется, принимаете меня за мальчика Смурова, — раздражительно осклабился Коля. — Впрочем, пожалуйста, не думайте, что я уж такой революционер. Я очень часто не согласен с господином Ракитиным. Если я о Татьяне, то я вовсе не за эманципацию женщин. Я признаю, что женщина есть существо подчиненное и должна слушаться. Les femmes tricottent,[2] как сказал Наполеон, — усмехнулся почему-то Коля, — и по крайней мере в этом я совершенно разделяю убеждение этого псевдовеликого человека. Я тоже, например, считаю, что бежать в Америку из отечества — низость, хуже низости — глупость. Зачем в Америку, когда и у нас можно много принести пользы для человечества?* Именно теперь. Целая масса плодотворной деятельности. Так я и отвечал.

— Как отвечали? Кому? Разве вас кто-нибудь уже приглашал в Америку?

— Признаюсь, меня подбивали, но я отверг. Это, разумеется, между нами, Карамазов, слышите, никому ни слова. Это я вам только. Я совсем не желаю попасть в лапки Третьего отделения и брать уроки у Цепного моста*,

Будешь помнить здание
У Цепного моста!*

Помните? Великолепно! Чему вы смеетесь? Уж не думаете ли вы, что я вам всё наврал? («А что, если он узнает, что у меня в отцовском шкафу всего только и есть один этот нумер „Колокола“*, а больше я из этого ничего не читал?» — мельком, но с содроганием подумал Коля).

— Ох, нет, я не смеюсь и вовсе не думаю, что вы мне налгали. Вот то-то и есть, что этого не думаю, потому что всё это, увы, сущая правда! Ну скажите, а Пушкина-то вы читали, «Онегина» — то… Вот вы сейчас

говорили о Татьяне?

— Нет, еще не читал, но хочу прочесть. Я без предрассудков, Карамазов. Я хочу выслушать и ту и другую сторону. Зачем вы спросили?

— Так.

— Скажите, Карамазов, вы ужасно меня презираете? — отрезал вдруг Коля и весь вытянулся пред Алешей, как бы став в позицию. — Сделайте одолжение, без обиняков.

— Презираю вас? — с удивлением посмотрел на него Алеша. — Да за что же? Мне только грустно, что прелестная натура, как ваша, еще и не начавшая жить, уже извращена всем этим грубым вздором.

— Об моей натуре не заботьтесь, — не без самодовольства перебил Коля, — а что я мнителен, то это так. Глупо мнителен, грубо мнителен. Вы сейчас усмехнулись, мне и показалось, что вы как будто…

— Ах, я усмехнулся совсем другому. Видите, чему я усмехнулся: я недавно прочел один отзыв одного заграничного немца, жившего в России, об нашей теперешней учащейся молодежи: «Покажите вы, — он пишет, — русскому школьнику карту звездного неба, о которой он до тех пор не имел никакого понятия, и он завтра же возвратит вам эту карту исправленною». Никаких знаний и беззаветное самомнение — вот что хотел сказать немец про русского школьника.

— Ах, да ведь это совершенно верно! — захохотал вдруг Коля, — верниссимо, точь-в-точь! Браво, немец! Однако ж чухна не рассмотрел и хорошей стороны, а, как вы думаете? Самомнение — это пусть, это от молодости, это исправится, если только надо, чтоб это исправилось, но зато и независимый дух, с самого чуть не детства, зато смелость мысли и убеждения, а не дух ихнего колбаснического раболепства пред авторитетами… Но все-таки немец хорошо сказал! Браво, немец! Хотя все-таки немцев надо душить. Пусть они там сильны в науках, а их все-таки надо душить…

— За что же душить? — улыбнулся Алеша.

— Ну я соврал, может быть, соглашаюсь. Я иногда ужасный ребенок, и когда рад чему, то не удерживаюсь и готов наврать вздору. Слушайте, мы с вами, однако же, здесь болтаем о пустяках, а этот доктор там что-то долго застрял. Впрочем, он, может, там и «мамашу» осмотрит и эту Ниночку безногую. Знаете, эта Ниночка мне понравилась. Она вдруг мне прошептала, когда я выходил: «Зачем вы не

приходили раньше?» И таким голосом, с укором! Мне кажется, она ужасно добрая и жалкая.

— Да, да! Вот вы будете ходить, вы увидите, что это за существо. Вам очень полезно узнавать вот такие существа, чтоб уметь ценить и еще многое другое, что узнаете именно из знакомства с этими существами, — с жаром заметил Алеша. — Это лучше всего вас переделает.

— О, как я жалею и браню всего себя, что не приходил раньше! — с горьким чувством воскликнул Коля.

— Да, очень жаль. Вы видели сами, какое радостное вы произвели впечатление на бедного малютку! И как он убивался, вас ожидая!

— Не говорите мне! Вы меня растравляете. А впрочем, мне поделом: я не приходил из самолюбия, из эгоистического самолюбия и подлого самовластия, от которого всю жизнь не могу избавиться, хотя всю жизнь ломаю себя. Я теперь это вижу, я во многом подлец, Карамазов.

— Нет, вы прелестная натура, хотя и извращенная, и я слишком понимаю, почему вы могли иметь такое влияние на этого благородного и болезненно восприимчивого мальчика! — горячо ответил Алеша.

— И это вы говорите мне! — вскричал Коля, — а я, представьте, я думал — я уже несколько раз, вот теперь как я здесь, думал, что вы меня презираете! Если б вы только знали, как я дорожу вашим мнением!

— Но неужели вы вправду так мнительны? В таких летах! Ну представьте же себе, я именно подумал там в комнате, глядя на вас, когда вы рассказывали, что вы должны быть очень мнительны.

— Уж и подумали? Какой, однако же, у вас глаз, видите, видите! Бьюсь об заклад, что это было на том месте, когда я про гуся рассказывал. Мне именно в этом месте вообразилось, что вы меня глубоко презираете за то, что я спешу выставиться молодцом, и я даже вдруг возненавидел вас за это и начал нести ахинею. Потом мне вообразилось (это уже сейчас, здесь) на том месте, когда я говорил: «Если бы не было бога, то его надо выдумать», что я слишком тороплюсь выставить мое образование, тем более что эту фразу я в книге прочел. Но клянусь вам, я торопился выставить не от тщеславия, а так, не знаю отчего, от радости, ей-богу как будто от радости… хотя это глубоко постыдная черта, когда человек всем лезет на шею от радости. Я это знаю. Но я зато убежден теперь, что вы меня не презираете, а всё

это я сам выдумал. О Карамазов, я глубоко несчастен. Я воображаю иногда бог знает что, что надо мной все смеются, весь мир, и я тогда, я просто готов тогда уничтожить весь порядок вещей.

— И мучаете окружающих, — улыбнулся Алеша.

— И мучаю окружающих, особенно мать. Карамазов, скажите, я очень теперь смешон?

— Да не думайте же про это, не думайте об этом совсем! — воскликнул Алеша. — Да и что такое смешон? Мало ли сколько раз бывает или кажется смешным человек? Притом же нынче почти все люди со способностями ужасно боятся быть смешными и тем несчастны. Меня только удивляет, что вы так рано стали ощущать это, хотя, впрочем, я давно уже замечаю это и не на вас одних. Нынче даже почти дети начали уж этим страдать. Это почти сумасшествие. В это самолюбие воплотился черт и залез во всё поколение, именно черт, — прибавил Алеша, вовсе не усмехнувшись, как подумал было глядевший в упор на него Коля. — Вы, как и все, — заключил Алеша, — то есть как очень многие, только не надо быть таким, как все, вот что.

— Даже несмотря на то, что все такие?

— Да, несмотря на то, что все такие. Один вы и будьте не такой. Вы и в самом деле не такой, как все: вы вот теперь не постыдились же признаться в дурном и даже в смешном. А нынче кто в этом сознается? Никто, да и потребность даже перестали находить в самоосуждении. Будьте же не такой, как все; хотя бы только вы один оставались не такой, а все-таки будьте не такой.

— Великолепно! Я в вас не ошибся. Вы способны утешить. О, как я стремился к вам, Карамазов, как давно уже ищу встречи с вами! Неужели и вы обо мне тоже думали? Давеча вы говорили, что вы обо мне тоже думали?

— Да, я слышал об вас и об вас тоже думал… и если отчасти и самолюбие заставило вас теперь это спросить, то это ничего.

— Знаете, Карамазов, наше объяснение похоже на объяснение в любви, — каким-то расслабленным и стыдливым голосом проговорил Коля. — Это не смешно, не смешно?

— Совсем не смешно, да хоть бы и смешно, так это ничего, потому что хорошо, — светло улыбнулся Алеша.

— А знаете, Карамазов, согласитесь, что и вам самим теперь немного со мною стыдно… Я вижу по глазам, — как-то хитро, но и с

каким-то почти счастьем усмехнулся Коля.

— Чего же это стыдно?

— А зачем вы покраснели?

— Да это вы так сделали, что я покраснел! — засмеялся Алеша и действительно весь покраснел. — Ну да, немного стыдно, бог знает отчего, не знаю отчего… — бормотал он, почти даже сконфузившись.

— О, как я вас люблю и ценю в эту минуту, именно за то, что и вам чего-то стыдно со мной! Потому что и вы точно я! — в решительном восторге воскликнул Коля. Щеки его пылали, глаза блестели.

— Послушайте, Коля, вы, между прочим, будете и очень несчастный человек в жизни, — сказал вдруг отчего-то Алеша.

— Знаю, знаю. Как вы это всё знаете наперед! — тотчас же подтвердил Коля.

— Но в целом все-таки благословите жизнь.

— Именно! Ура! Вы пророк! О, мы сойдемся, Карамазов. Знаете, меня всего более восхищает, что вы со мной совершенно как с ровней. А мы не ровня, нет, не ровня, вы выше! Но мы сойдемся. Знаете, я весь последний месяц говорил себе: «Или мы разом с ним сойдемся друзьями навеки, или с первого же разу разойдемся врагами до гроба!»

— И говоря так, уж, конечно, любили меня! — весело смеялся Алеша.

— Любил, ужасно любил, любил и мечтал об вас! И как это вы знаете всё наперед? Ба, вот и доктор. Господи, что-то скажет, посмотрите, какое у него лицо!

VII

Илюша

Доктор выходил из избы опять уже закутанный в шубу и с фуражкой на голове. Лицо его было почти сердитое и брезгливое, как будто он всё боялся обо что-то запачкаться. Мельком окинул он глазами сени и при этом строго глянул на Алешу и Колю. Алеша махнул из дверей кучеру, и карета, привезшая доктора, подъехала к выходным дверям. Штабс-капитан стремительно выскочил вслед за доктором и, согнувшись, почти извиваясь пред ним, остановил его для последнего

слова. Лицо бедняка было убитое, взгляд испуганный:

— Ваше превосходительство, ваше превосходительство… неужели?.. — начал было он и не договорил, а лишь всплеснул руками в отчаянии, хотя всё еще с последнею мольбой смотря на доктора, точно в самом деле от теперешнего слова доктора мог измениться приговор над бедным мальчиком.

— Что делать! Я не бог, — небрежным, хотя и привычно внушительным голосом ответил доктор.

— Доктор… Ваше превосходительство… и скоро это, скоро?

— При-го-товь-тесь ко всему, — отчеканил, ударяя по каждому слогу, доктор и, склонив взор, сам приготовился было шагнуть за порог к карете.

— Ваше превосходительство, ради Христа! — испуганно остановил его еще раз штабс-капитан, — ваше превосходительство!.. так разве ничего, неужели ничего, совсем ничего теперь не спасет?..

— Не от меня теперь за-ви-сит, — нетерпеливо проговорил доктор, — и, однако же, гм, — приостановился он вдруг, — если б вы, например, могли… на-пра-вить… вашего пациента… сейчас и нимало не медля (слова «сейчас и нимало не медля» доктор произнес не то что строго, а почти гневно, так что штабс-капитан даже вздрогнул) в Си-ра-ку-зы, то… вследствие новых бла-го-при-ятных кли-ма-ти-ческих условий… могло бы, может быть, произойти…

— В Сиракузы! — вскричал штабс-капитан, как бы ничего еще не понимая.

— Сиракузы — это в Сицилии*,— отрезал вдруг громко Коля, для пояснения. Доктор поглядел на него.

— В Сицилию! Батюшка, ваше превосходительство, — потерялся штабс-капитан, — да ведь вы видели! — обвел он обеими руками кругом, указывая на свою обстановку, — а маменька-то, а семейство-то?

— Н-нет, семейство не в Сицилию, а семейство ваше на Кавказ, раннею весной… дочь вашу на Кавказ, а супругу… продержав курс вод тоже на Кав-ка-зе ввиду ее ревматизмов… немедленно после того на-пра-вить в Париж, в лечебницу доктора пси-хи-атра Ле-пель-летье я бы мог вам дать к нему записку, и тогда… могло бы, может быть, произойти…

— Доктор, доктор! Да ведь вы видите! — размахнул вдруг опять руками штабс-капитан, указывая в отчаянии на голые бревенчатые

стены сеней.

— А, это уж не мое дело, — усмехнулся доктор, — я лишь сказал то, что могла сказать на-у-ка на ваш вопрос о последних средствах, а остальное… к сожалению моему…

— Не беспокойтесь, лекарь, моя собака вас не укусит, — громко отрезал Коля, заметив несколько беспокойный взгляд доктора на Перезвона, ставшего на пороге. Гневная нотка прозвенела в голосе Коли. Слово же «лекарь», вместо доктор, он сказал *нарочно* и, как сам объявил потом, «для оскорбления сказал».

— Что та-ко-е? — вскинул головой доктор, удивленно уставившись на Колю. — Ка-кой это? — обратился он вдруг к Алеше, будто спрашивая у того отчета.

— Это хозяин Перезвона, лекарь, не беспокойтесь о моей личности, — отчеканил опять Коля.

— Звон? — переговорил доктор, не поняв, что такое Перезвон.

— Да не знает, где он. Прощайте, лекарь, увидимся в Сиракузах.

— Кто эт-то? Кто, кто? — вдруг закипятился ужасно доктор.

— Это здешний школьник, доктор, он шалун, не обращайте внимания, — нахмурившись и скороговоркой проговорил Алеша. — Коля, молчите! — крикнул он Красоткину. — Не надо обращать внимания, доктор, — повторил он уже несколько нетерпеливее.

— Выс-сечь, выс-сечь надо, выс-сечь! — затопал было ногами слишком уже почему-то взбесившийся доктор.

— А знаете, лекарь, ведь Перезвон-то у меня пожалуй что и кусается! — проговорил Коля задрожавшим голоском, побледнев и сверкнув глазами. — Иси, Перезвон!

— Коля, если вы скажете еще одно только слово, то я с вами разорву навеки! — властно крикнул Алеша.

— Лекарь, есть только одно существо в целом мире, которое может приказывать Николаю Красоткину, это вот этот человек, — Коля указал на Алешу, — ему повинуюсь, прощайте!

Он сорвался с места и, отворив дверь, быстро прошел в комнату Перезвон бросился за ним Доктор постоял было еще секунд пять как бы в столбняке, смотря на Алешу, потом вдруг плюнул и быстро пошел к карете, громко повторяя: «Этта, этта, этта, я не знаю, что этта!» Штабс-капитан бросился его подсаживать. Алеша прошел в комнату вслед за Колей. Тот стоял уже у постельки Илюши. Илюша держал его за руку и

звал папу. Чрез минуту воротился и штабс-капитан.

— Папа, папа, поди сюда… мы… — пролепетал было Илюша в чрезвычайном возбуждении, но, видимо не в силах продолжать, вдруг бросил свои обе исхудалые ручки вперед и крепко, как только мог, обнял их обоих разом, и Колю и папу, соединив их в одно объятие и сам к ним прижавшись. Штабс-капитан вдруг весь так и затрясся от безмолвных рыданий, а у Коли задрожали губы и подбородок.

— Папа, папа! Как мне жалко тебя, папа! — горько простонал Илюша.

— Илюшечка… голубчик… доктор сказал… будешь здоров… будем счастливы… доктор… — заговорил было штабс-капитан.

— Ах, папа! Я ведь знаю, что тебе новый доктор про меня сказал… Я ведь видел! — воскликнул Илюша и опять крепко, изо всей силы прижал их обоих к себе, спрятав на плече у папы свое лицо.

— Папа, не плачь… а как я умру, то возьми ты хорошего мальчика, другого… сам выбери из них из всех, хорошего, назови его Илюшей и люби его вместо меня…

— Молчи, старик, выздоровеешь! — точно осердившись, крикнул вдруг Красоткин.

— А меня, папа, меня не забывай никогда, — продолжал Илюша, — ходи ко мне на могилку… да вот что, папа, похорони ты меня у нашего большого камня, к которому мы с тобой гулять ходили, и ходи ко мне туда с Красоткиным, вечером[*]…И Перезвон… А я буду вас ждать… Папа, папа!

Его голос пресекся, все трое стояли обнявшись и уже молчали. Плакала тихо на своем кресле и Ниночка, и вдруг, увидав всех плачущими, залилась слезами и мамаша.

— Илюшечка! Илюшечка! — восклицала она. Красоткин вдруг высвободился из объятий Илюши.

— Прощай, старик, меня ждет мать к обеду, — проговорил он скороговоркой. — Как жаль, что я ее не предуведомил! Очень будет беспокоиться… Но после обеда я тотчас к тебе, на весь день, на весь вечер, и столько тебе расскажу, столько расскажу! И Перезвона приведу, а теперь с собой уведу, потому что он без меня выть начнет и тебе мешать будет; до свиданья!

И он выбежал в сени. Ему не хотелось расплакаться, но в сенях он таки заплакал. В этом состоянии нашел его Алеша.

— Коля, вы должны непременно сдержать слово и прийти, а то он будет в страшном горе, — настойчиво проговорил Алеша.

— Непременно! О, как я кляну себя, что не приходил раньше, — плача и уже не конфузясь, что плачет, пробормотал Коля. В эту минуту вдруг словно выскочил из комнаты штабс-капитан и тотчас затворил за собою дверь. Лицо его было исступленное, губы дрожали. Он стал пред обоими молодыми людьми и вскинул вверх обе руки.

— Не хочу хорошего мальчика! Не хочу другого мальчика! — прошептал он диким шепотом, скрежеща зубами. — Аще забуду тебе, Иерусалиме, да прильпнет…*

Он не договорил, как бы захлебнувшись, и опустился в бессилии пред деревянною лавкой на колени. Стиснув обоими кулаками свою голову, он начал рыдать, как-то нелепо взвизгивая, изо всей силы крепясь, однако, чтобы не услышали его взвизгов в избе. Коля выскочил на улицу.

— Прощайте, Карамазов! Сами-то придете? — резко и сердито крикнул он Алеше.

— Вечером непременно буду.

— Что он это такое про Иерусалим… Это что еще такое?

— Это из Библии: «Аще забуду тебе, Иерусалиме», то есть если забуду всё, что есть самого у меня драгоценного, если променяю на что, то да поразит…

— Понимаю, довольно! Сами-то приходите! Иси, Перезвон! — совсем уже свирепо прокричал он собаке и большими, скорыми шагами зашагал домой.

Книга одиннадцатая
Брат Иван Федорович

I

У Грушеньки

Алеша направился к Соборной площади, в дом купчихи Морозовой, к Грушеньке. Та еще рано утром присылала к нему Феню с

настоятельною просьбой зайти к ней. Опросив Феню, Алеша узнал, что барыня в какой-то большой и особливой тревоге еще со вчерашнего дня. Во все эти два месяца после ареста Мити Алеша часто захаживал в дом Морозовой и по собственному побуждению, и по поручениям Мити. Дня три после ареста Мити Грушенька сильно заболела и хворала чуть не пять недель. Одну неделю из этих пяти пролежала без памяти. Она сильно изменилась в лице, похудела и пожелтела, хотя вот уже почти две недели как могла выходить со двора. Но, на взгляд Алеши, лицо ее стало как бы еще привлекательнее, и он любил, входя к ней, встречать ее взгляд. Что-то как бы укрепилось в ее взгляде твердое и осмысленное. Сказывался некоторый переворот духовный, являлась какая-то неизменная, смиренная, но благая и бесповоротная решимость. Между бровями на лбу появилась небольшая вертикальная морщинка, придававшая милому лицу ее вид сосредоточенной в себе задумчивости, почти даже суровой на первый взгляд. Прежней, например, ветрености не осталось и следа. Странно было для Алеши и то, что, несмотря на всё несчастие, постигшее бедную женщину, невесту жениха, арестованного по страшному преступлению, почти в тот самый миг, когда она стала его невестой, несмотря потом на болезнь и на угрожающее впереди почти неминуемое решение суда, Грушенька все-таки не потеряла прежней своей молодой веселости. В гордых прежде глазах ее засияла теперь какая-то тихость, хотя… хотя, впрочем, глаза эти изредка опять-таки пламенели некоторым зловещим огоньком, когда ее посещала одна прежняя забота, не только не заглохнувшая, но даже и увеличившаяся в ее сердце. Предмет этой заботы был все тот же: Катерина Ивановна, о которой Грушенька, когда еще лежала больная, поминала даже в бреду. Алеша понимал, что она страшно ревнует к ней Митю, арестанта Митю, несмотря на то, что Катерина Ивановна ни разу не посетила того в заключении, хотя бы и могла это сделать когда угодно. Всё это обратилось для Алеши в некоторую трудную задачу, ибо Грушенька только одному ему доверяла свое сердце и беспрерывно просила у него советов; он же иногда совсем ничего не в силах был ей сказать.

Озабоченно вступил он в ее квартиру. Она была уже дома; с полчаса как воротилась от Мити, и уже по тому быстрому движению, с которым она вскочила с кресел из-за стола к нему навстречу, он заключил, что ждала она его с большим нетерпением. На столе лежали карты и была сдана игра в дурачки. На кожаном диване с другой

стороны стола была постлана постель, и на ней полулежал, в халате и в бумажном колпаке, Максимов, видимо больной и ослабевший, хотя и сладко улыбавшийся. Этот бездомный старичок, как воротился тогда, еще месяца два тому, с Грушенькой из Мокрого, так и остался у ней и при ней с тех пор неотлучно. Приехав тогда с ней в дождь и слякоть, он, промокший и испуганный, сел на диван и уставился на нее молча, с робкою просящею улыбкой. Грушенька, бывшая в страшном горе и уже в начинавшейся лихорадке, почти забывшая о нем в первые полчаса по приезде за разными хлопотами, — вдруг как-то пристально посмотрела на него: он жалко и потерянно хихикнул ей в глаза. Она кликнула Феню и велела дать ему покушать. Весь этот день он просидел на своем месте, почти не шелохнувшись; когда же стемнело и заперли ставни, Феня спросила барыню:

— Что ж, барыня, разве они ночевать останутся?

— Да, постели ему на диване, — ответила Грушенька.

Опросив его подробнее, Грушенька узнала от него, что действительно ему как раз теперь некуда деться совсем и что «господин Калганов, благодетель мой, прямо мне заявили-с, что более меня уж не примут, и пять рублей подарили». «Ну, бог с тобой, оставайся уж», — решила в тоске Грушенька, сострадательно ему улыбнувшись. Старика передернуло от ее улыбки, и губы его задрожали от благодарного плача. Так с тех пор и остался у ней скитающийся приживальщик. Даже в болезни ее он не ушел из дома. Феня и ее мать, кухарка Грушеньки*, его не прогнали, а продолжали его кормить и стлать ему постель на диване. Впоследствии Грушенька даже привыкла к нему и, приходя от Мити (к которому, чуть оправившись, тотчас же стала ходить, не успев даже хорошенько выздороветь), чтоб убить тоску, садилась и начинала разговаривать с «Максимушкой» о всяких пустяках, только чтобы не думать о своем горе. Оказалось, что старичок умел иногда кое-что и порассказать, так что стал ей наконец даже и необходимым. Кроме Алеши, заходившего, однако, не каждый день, и всегда ненадолго, Грушенька никого почти и не принимала. Старик же ее, купец, лежал в это время уже страшно больной, «отходил», как говорили в городе, и действительно умер всего неделю спустя после суда над Митей. За три недели до смерти, почувствовав близкий финал, он кликнул к себе наконец наверх сыновей своих, с их женами и детьми, и повелел им уже более не отходить от себя. Грушеньку же с этой самой минуты строго

заказал слугам не принимать вовсе, а коли придет, то говорить ей: «Приказывает, дескать, вам долго в веселии жить, а их совсем позабыть». Грушенька, однако ж, посылала почти каждый день справляться об его здоровье.

— Наконец-то пришел! — крикнула она, бросив карты и радостно здороваясь с Алешей, — а Максимушка так пугал, что, пожалуй, уж и не придешь. Ах, как тебя нужно! Садись к столу; ну что тебе, кофею?

— А пожалуй, — сказал Алеша, подсаживаясь к столу, — очень проголодался.

— То-то; Феня, Феня, кофею! — крикнула Грушенька. — Он у меня уж давно кипит, тебя ждет, да пирожков принеси, да чтобы горячих. Нет, постой, Алеша, у меня с этими пирогами сегодня гром вышел. Понесла я их к нему в острог, а он, веришь ли, назад мне их бросил, так и не ел. Один пирог так совсем на пол кинул и растоптал. Я и сказала: «Сторожу оставлю; коли не съешь до вечера, значит тебя злость ехидная кормит!» — с тем и ушла. Опять ведь поссорились, веришь тому. Что ни приду, так и поссоримся.

Грушенька проговорила всё это залпом, в волнении. Максимов, тотчас же оробев, улыбался, потупив глазки.

— Этот-то раз за что же поссорились? — спросил Алеша.

— Да уж совсем и не ожидала! Представь себе, к «прежнему» приревновал: «Зачем, дескать, ты его содержишь. Ты его, значит, содержать начала?» Всё ревнует, всё меня ревнует! И спит и ест — ревнует. К Кузьме даже раз на прошлой неделе приревновал.

— Да ведь он же знал про «прежнего»-то?

— Ну вот поди. С самого начала до самого сегодня знал, а сегодня вдруг встал и начал ругать. Срамно только сказать, что говорил. Дурак! Ракитка к нему пришел, как я вышла. Может, Ракитка-то его и уськает, а? Как ты думаешь? — прибавила она как бы рассеянно.

— Любит он тебя, вот что, очень любит. А теперь как раз и раздражен.

— Еще бы не раздражен, завтра судят. И шла с тем, чтоб об завтрашнем ему мое слово сказать, потому, Алеша, страшно мне даже и подумать, что завтра будет! Ты вот говоришь, что он раздражен, да я-то как раздражена! А он об поляке! Экой дурак! Вот к Максимушке небось не ревнует.

— Меня супруга моя очень тоже ревновала-с, — вставил свое

словцо Максимов.

— Ну уж тебя-то, — рассмеялась нехотя Грушенька, — к кому тебя и ревновать-то?

— К горничным девушкам-с.

— Э, молчи, Максимушка, не до смеху мне теперь, даже злость берет. На пирожки-то глаз не пяль, не дам, тебе вредно, и бальзамчику тоже не дам. Вот с ним тоже возись; точно у меня дом богадельный, право, — рассмеялась она.

— Я ваших благодеяний не стою-с, я ничтожен-с, — проговорил слезящимся голоском Максимов. — Лучше бы вы расточали благодеяния ваши тем, которые нужнее ме-ня-с.

— Эх, всякий нужен, Максимушка, и по чему узнать, кто кого нужней. Хоть бы и не было этого поляка вовсе, Алеша, тоже ведь разболеться сегодня вздумал. Была и у него. Так вот нарочно же и ему пошлю пирогов, я не посылала, а Митя обвинил, что посылаю, так вот нарочно же теперь пошлю, нарочно! Ах, вот и Феня с письмом! Ну, так и есть, опять от поляков, опять денег просят!

Пан Муссялович действительно прислал чрезвычайно длинное и витиеватое, по своему обыкновению, письмо, в котором просил ссудить его тремя рублями. К письму была приложена расписка в получении с обязательством уплатить в течение трех месяцев; под распиской подписался и пан Врублевский. Таких писем и всё с такими же расписками Грушенька уже много получила от своего «прежнего». Началось это с самого выздоровления Грушеньки, недели две назад. Она знала, однако, что оба пана и во время болезни ее приходили наведываться о ее здоровье. Первое письмо, полученное Грушенькой, было длинное, на почтовом листе большого формата, запечатанное большою фамильною печатью и страшно темное и витиеватое, так что Грушенька прочла только половину и бросила, ровно ничего не поняв. Да и не до писем ей тогда было. За этим первым письмом последовало на другой день второе, в котором пан Муссялович просил ссудить его двумя тысячами рублей на самый короткий срок. Грушенька и это письмо оставила без ответа. Затем последовал уже целый ряд писем, по письму в день, всё так же важных и витиеватых, но в которых сумма, просимая взаймы, постепенно спускаясь, дошла до ста рублей, до двадцати пяти, до десяти рублей, и наконец вдруг Грушенька получила письмо, в котором оба пана просили у ней один только рубль и

приложили расписку, на которой оба и подписались. Тогда Грушеньке стало вдруг жалко, и она, в сумерки, сбегала сама к пану. Нашла она обоих поляков в страшной бедности, почти в нищете, без кушанья, без дров, без папирос, задолжавших хозяйке. Двести рублей, выигранные в Мокром у Мити, куда-то быстро исчезли. Удивило, однако же, Грушеньку, что встретили ее оба пана с заносчивою важностью и независимостью, с величайшим этикетом, с раздутыми речами. Грушенька только рассмеялась и дала своему «прежнему» десять рублей. Тогда же, смеясь, рассказала об этом Мите, и тот вовсе не приревновал. Но с тех пор паны ухватились за Грушеньку и каждый день ее бомбардировали письмами с просьбой о деньгах, а та каждый раз посылала понемножку. И вот вдруг сегодня Митя вздумал жестоко приревновать.

— Я, дура, к нему тоже забежала, всего только на минутку, когда к Мите шла, потому разболелся тоже и он, пан-то мой прежний, — начала опять Грушенька, суетливо и торопясь, — смеюсь я это и рассказываю Мите-то: представь, говорю, поляк-то мой на гитаре прежние песни мне вздумал петь, думает, что я расчувствуюсь и за него пойду. А Митя-то как вскочит с ругательствами… Так вот нет же, пошлю панам пирогов! Феня, что они там девчонку эту прислали? Вот, отдай ей три рубля да с десяток пирожков в бумагу им уверни и вели снести, а ты, Алеша, непременно расскажи Мите, что я им пирогов послала.

— Ни за что не расскажу, — проговорил, улыбнувшись, Алеша.

— Эх, ты думаешь, что он мучается; ведь он это нарочно приревновал, а ему самому всё равно, — горько проговорила Грушенька.

— Как так нарочно? — спросил Алеша.

— Глупый ты, Алешенька, вот что, ничего ты тут не понимаешь при всем уме, вот что. Мне не то обидно, что он меня, такую, приревновал, а то стало бы мне обидно, коли бы вовсе не ревновал. Я такова. Я за ревность не обижусь, у меня у самой сердце жестокое, я сама приревную. Только мне то обидно, что он меня вовсе не любит и теперь *нарочно* приревновал, вот что. Слепая я, что ли, не вижу? Он мне об той, об Катьке, вдруг сейчас и говорит: такая-де она и сякая, доктора из Москвы на суд для меня выписала, чтобы спасти меня выписала, адвоката самого первого, самого ученого тоже выписала. Значит, ее любит, коли мне в глаза начал хвалить, бесстыжие его глаза! Предо

мной сам виноват, так вот ко мне и привязался, чтобы меня прежде себя виноватой сделать да на меня на одну и свалить: «ты, дескать, прежде меня с поляком была, так вот мне с Катькой и позволительно это стало». Вот оно что! На меня на одну всю вину свалить хочет. Нарочно он привязался, нарочно, говорю тебе, только я…

Грушенька не договорила, что она сделает, закрыла глаза платком и ужасно разрыдалась.

— Он Катерину Ивановну не любит, — сказал твердо Алеша.

— Ну, любит не любит, это я сама скоро узнаю, — с грозною ноткой в голосе проговорила Грушенька, отнимая от глаз платок. Лицо ее исказилось. Алеша с горестью увидел, как вдруг из кроткого и тихо-веселого лицо ее стало угрюмым и злым.

— Об этих глупостях полно! — отрезала она вдруг, — не затем вовсе я и звала тебя. Алеша, голубчик, завтра-то, завтра-то что будет? Вот ведь что меня мучит! Одну только меня и мучит! Смотрю на всех, никто-то об том не думает, никому-то до этого и дела нет никакого. Думаешь ли хоть ты об этом? Завтра ведь судят! Расскажи ты мне, как его там будут судить? Ведь это лакей, лакей убил, лакей! Господи! Неужто ж его за лакея осудят, и никто-то за него не заступится? Ведь и не потревожили лакея-то вовсе, а?

— Его строго опрашивали, — заметил Алеша задумчиво, — но все заключили, что не он. Теперь он очень больной лежит. С тех пор болен, с той падучей. В самом деле болен, — прибавил Алеша.

— Господи, да сходил бы ты к этому адвокату сам и рассказал бы дело с глазу на глаз. Ведь из Петербурга за три тысячи, говорят, выписали.

— Это мы втроем дали три тысячи, я, брат Иван и Катерина Ивановна, а доктора из Москвы выписала за две тысячи уж она сама. Адвокат Фетюкович больше бы взял*, да дело это получило огласку по всей России, во всех газетах и журналах о нем говорят, Фетюкович и согласился больше для славы приехать, потому что слишком уж знаменитое дело стало. Я его вчера видел.

— Ну и что ж? Говорил ему? — вскинулась торопливо Грушенька.

— Он выслушал и ничего не сказал. Сказал, что у него уже составилось определенное мнение. Но обещал мои слова взять в соображение.

— Как это в соображение! Ах они мошенники! Погубят они его!

Ну, а доктора-то, доктора зачем та выписала?

— Как эксперта. Хотят вывести, что брат сумасшедший и убил в помешательстве, себя не помня, — тихо улыбнулся Алеша, — только брат не согласится на это.

— Ах, да ведь это правда, если б он убил! — воскликнула Грушенька. — Помешанный он был тогда, совсем помешанный, и это я, я, подлая, в том виновата! Только ведь он же не убил, не убил! И все-то на него, что он убил, весь город. Даже Феня и та так показала, что выходит, будто он убил. А в лавке-то, а этот чиновник, а прежде в трактире слышали! Все, все против него, так и галдят.

— Да, показания ужасно умножились, — угрюмо заметил Алеша.

— А Григорий-то, Григорий-то Васильич, ведь стоит на своем, что дверь была отперта, ломит на своем, что видел, не собьешь его, я к нему бегала, сама с ним говорила. Ругается еще!

— Да, это, может быть, самое сильное показание против брата, — проговорил Алеша.

— А про то, что Митя помешанный, так он и теперь точно таков, — с каким-то особенно озабоченным и таинственным видом начала вдруг Грушенька. — Знаешь, Алешенька, давно я хотела тебе про это сказать: хожу к нему каждый день и просто дивлюсь. Скажи ты мне, как ты думаешь: об чем это он теперь начал всё говорить? Заговорит, заговорит — ничего понимать не могу, думаю, это он об чем умном, ну я глупая, не понять мне, думаю; только стал он мне вдруг говорить про дитё, то есть про дитятю какого-то, «зачем, дескать, бедно дитё?» «За дитё-то это я теперь и в Сибирь пойду, я не убил, но мне надо в Сибирь пойти!» Что это такое, какое такое дитё — ничегошеньки не поняла. Только расплакалась, как он говорил, потому очень уж он хорошо это говорил, сам плачет, и я заплакала, он меня вдруг и поцеловал и рукой перекрестил. Что это такое, Алеша, расскажи ты мне, какое это «дитё»?

— Это к нему Ракитин почему-то повадился ходить, — улыбнулся Алеша, — впрочем… это не от Ракитина. Я у него вчера не был, сегодня буду.

— Нет, это не Ракитка, это его брат Иван Федорович смущает, это он к нему ходит, вот что… — проговорила Грушенька и вдруг как бы осеклась. Алеша уставился на нее как пораженный.

— Как ходит? Да разве он ходил к нему? Митя мне сам говорил, что Иван ни разу не приходил!

— Ну… ну, вот я какая! Проболталась! — воскликнула Грушенька в смущении, вся вдруг зарумянившись. — Стой, Алеша, молчи, так и быть, коль уж проболталась, всю правду скажу: он у него два раза был, первый раз только что он тогда приехал — тогда же ведь он сейчас из Москвы и прискакал, я еще и слечь не успела, а другой раз приходил неделю назад. Мите-то он не велел об том тебе сказывать, отнюдь не велел, да и никому не велел сказывать, потаенно приходил.

Алеша сидел в глубокой задумчивости и что-то соображал. Известие видимо его поразило.

— Брат Иван об Митином деле со мной не говорит, — проговорил он медленно, — да и вообще со мною он во все эти два месяца очень мало говорил, а когда я приходил к нему, то всегда бывал недоволен, что я пришел, так что я три недели к нему уже не хожу. Гм… Если он был неделю назад, то… за эту неделю в Мите действительно произошла какая-то перемена…

— Перемена, перемена! — быстро подхватила Грушенька. — У них секрет, у них был секрет! Митя мне сам сказал, что секрет, и, знаешь, такой секрет, что Митя и успокоиться не может. А ведь прежде был веселый, да он и теперь веселый, только, знаешь, когда начнет этак головой мотать, да по комнате шагать, а вот этим правым пальцем себе тут на виске волосы теребить, то уж я и знаю, что у него что-то беспокойное на душе… я уж знаю!.. А то был веселый; да и сегодня веселый!

— А ты сказала: раздражен?

— Да он и раздражен, да веселый. Он и всё раздражен, да на минутку, а там веселый, а потом вдруг опять раздражен. И знаешь, Алеша, всё я на него дивлюсь: впереди такой страх, а он даже иной раз таким пустякам хохочет, точно сам-то дитя.

— И это правда, что он мне не велел говорить про Ивана? Так и сказал: не говори?

— Так и сказал: не говори. Тебя-то он, главное, и боится, Митя-то. Потому тут секрет, сам сказал, что секрет… Алеша, голубчик, сходи, выведай: какой это такой у них секрет, да и приди мне сказать, — вскинулась и взмолилась вдруг Грушенька, — пореши ты меня, бедную, чтоб уж знала я мою участь проклятую! С тем и звала тебя.

— Ты думаешь, что это про тебя что-нибудь? Так ведь тогда бы он не сказал при тебе про секрет.

— Не знаю. Может, мне-то он и хочет сказать, да не смеет. Предупреждает. Секрет, дескать, есть, а какой секрет — не сказал.

— Ты сама-то что же думаешь?

— А что думаю? Конец мне пришел, вот что думаю. Конец мне они все трое приготовили, потому что тут Катька. Всё это Катька, от нее и идет. «Такая она и сякая», значит, это я не такая. Это он вперед говорит, вперед меня предупреждает. Бросить он меня замыслил, вот и весь тут секрет! Втроем это и придумали — Митька, Катька да Иван Федорович. Алеша, хотела я тебя спросить давно: неделю назад он мне вдруг и открывает, что Иван влюблен в Катьку, потому что часто к ней ходит. Правду он это мне сказал или нет? Говори по совести, режь меня.

— Я тебе не солгу. Иван в Катерину Ивановну не влюблен, так я думаю.

— Ну, так и я тогда же подумала! Лжет он мне, бесстыжий, вот что! И приревновал он теперь меня, чтобы потом на меня свалить. Ведь он дурак, ведь он не умеет концов хоронить, откровенный он ведь такой… Только я ж ему, я ж ему! «Ты, говорит, веришь, что я убил», — это мне-то он говорит, мне-то, это меня-то он тем попрекнул! Бог с ним! Ну постой, плохо этой Катьке будет от меня на суде! Я там одно такое словечко скажу… Я там уж всё скажу!

И опять она горько заплакала.

— Вот что я тебе могу твердо объявить, Грушенька, — сказал, вставая с места, Алеша, — первое то, что он тебя любит, любит более всех на свете, и одну тебя, в этом ты мне верь. Я знаю. Уж я знаю. Второе то скажу тебе, что я секрета выпытывать от него не хочу, а если сам мне скажет сегодня, то прямо скажу ему, что тебе обещался сказать. Тогда приду к тебе сегодня же и скажу. Только… кажется мне… нет тут Катерины Ивановны и в помине, а это про другое про что-нибудь этот секрет. И это наверно так. И не похоже совсем, чтобы про Катерину Ивановну, так мне сдается. А пока прощай!

Алеша пожал ей руку. Грушенька всё еще плакала. Он видел, что она его утешениям очень мало поверила, но и то уж было ей хорошо, что хоть горе сорвала, высказалась. Жалко ему было оставлять ее в таком состоянии, но он спешил. Предстояло ему еще много дела.

II

Больная ножка

Первое из этих дел было в доме госпожи Хохлаковой, и он поспешил туда, чтобы покончить там поскорее и не опоздать к Мите. Госпожа Хохлакова уже три недели как прихварывала: у ней отчего-то вспухла нога, и она хоть не лежала в постели, но всё равно, днем, в привлекательном, по пристойном дезабилье[*] полулежала у себя в будуаре[*] на кушетке. Алеша как-то раз заметил про себя с невинною усмешкой, что госпожа Хохлакова, несмотря на болезнь свою, стала почти щеголять: явились какие-то наколочки, бантики, распашоночки, и он смекал, почему это так, хотя и гнал эти мысли как праздные. В последние два месяца госпожу Хохлакову стал посещать, между прочими ее гостями, молодой человек Перхотин. Алеша не заходил уже дня четыре и, войдя в дом, поспешил было прямо пройти к Лизе, ибо у ней и было его дело, так как Лиза еще вчера прислала к нему девушку с настоятельною просьбой немедленно к ней прийти «по очень важному обстоятельству», что, по некоторым причинам, заинтересовало Алешу. Но пока девушка ходила к Лизе докладывать, госпожа Хохлакова уже узнала от кого-то о его прибытии и немедленно прислала попросить его к себе «на одну только минутку». Алеша рассудил, что лучше уж удовлетворить сперва просьбу мамаши, ибо та будет поминутно посылать к Лизе, пока он будет у той сидеть. Госпожа Хохлакова лежала на кушетке, как-то особенно празднично одетая и видимо в чрезвычайном нервическом возбуждении. Алешу встретила криками восторга.

— Века, века, целые века не видала вас! Целую неделю, помилуйте, ах, впрочем вы были всего четыре дня назад, в среду. Вы к Lise, я уверена, что вы хотели пройти к ней прямо на цыпочках, чтоб я не слыхала. Милый, милый Алексей Федорович, если б вы знали, как она меня беспокоит! Но это потом. Это хоть и самое главное, но это потом. Милый Алексей Федорович, я вам доверяю мою Лизу вполне. После смерти старца Зосимы — упокой господи его душу! (Она перекрестилась), — после него я смотрю на вас как на схимника, хотя вы и премило носите ваш новый костюм. Где это вы достали здесь такого портного? Но нет, нет, это не главное, это потом. Простите, что я вас называю иногда Алешей, я старуха, мне всё позволено, — кокетливо

улыбнулась она, — но это тоже потом. Главное, мне бы не забыть про главное. Пожалуйста, напомните мне сами, чуть я заговорюсь, а вы скажите: «А главное?» Ах, почему я знаю, что теперь главное! С тех пор как Lise взяла у вас назад свое обещание, — свое детское обещание, Алексей Федорович, — выйти за вас замуж, то вы, конечно, поняли, что всё это была лишь детская игривая фантазия больной девочки, долго просидевшей в креслах, — слава богу, она теперь уже ходит. Этот новый доктор, которого Катя выписала из Москвы для этого несчастного вашего брата, которого завтра… Ну что об завтрашнем! Я умираю от одной мысли об завтрашнем! Главное же, от любопытства… Одним словом, этот доктор вчера был у нас и видел Lise… Я ему пятьдесят рублей за визит заплатила. Но это всё не то, опять не то… Видите, я уж совсем теперь сбилась. Я тороплюсь. Почему я тороплюсь? Я не знаю. Я ужасно перестаю теперь знать. Для меня всё смешалось в какой-то комок. Я боюсь, что вы возьмете и выпрыгнете от меня от скуки, и я вас только и видела. Ах, боже мой! Что же мы сидим, и во-первых — кофе, Юлия, Глафира, кофе!

Алеша поспешно поблагодарил и объявил, что он сейчас только пил кофе.

— У кого?

— У Аграфены Александровны.

— Это… это у этой женщины! Ах, это она всех погубила, а впрочем, я не знаю, говорят, она стала святая, хотя и поздно. Лучше бы прежде, когда надо было, а теперь что ж, какая же польза? Молчите, молчите, Алексей Федорович, потому что я столько хочу сказать, что, кажется, так ничего и не скажу. Этот ужасный процесс… я непременно поеду, я готовлюсь, меня внесут в креслах, и притом я могу сидеть, со мной будут люди, и вы знаете ведь, я в свидетелях. Как я буду говорить, как я буду говорить! Я не знаю, что я буду говорить. Надо ведь присягу принять, ведь так, так?

— Так, но не думаю, чтобы вам можно было явиться.

— Я могу сидеть; ах, вы меня сбиваете! Этот процесс, этот дикий поступок, и потом все идут в Сибирь, другие женятся, и всё это быстро, быстро, и всё меняется, и, наконец, ничего, все старики и в гроб смотрят. Ну и пусть, я устала. Эта Катя — cette charmante personne,[3] она разбила все мои надежды, теперь она пойдет за одним вашим братом в Сибирь, а другой ваш брат поедет за ней и будет жить в

соседнем городе, и все будут мучить друг друга. Меня это с ума сводит, а главное, эта огласка: во всех газетах в Петербурге и в Москве миллион раз писали. Ах да, представьте себе, и про меня написали, что я была «милым другом» вашего брата, я не хочу проговорить гадкое слово, представьте себе, ну представьте себе!

— Этого быть не может! Где же и как написали?

— Сейчас покажу. Вчера получила — вчера и прочла… Вот здесь в газете «Слухи», в петербургской. Эти «Слухи» стали издаваться с нынешнего года*, я ужасно люблю слухи, и подписалась, и вот себе на голову: вот они какие оказались слухи. Вот здесь, вот в этом месте, читайте.

И она протянула Алеше газетный листок, лежавший у ней под подушкой.

Она не то что была расстроена, она была как-то вся разбита, и действительно, может быть, у ней всё в голове свернулось в комок. Газетное известие было весьма характерное и, конечно, должно было на нее очень щекотливо подействовать, но она, к своему счастью может быть, не способна была в сию минуту сосредоточиться на одном пункте, а потому чрез минуту могла забыть даже и о газете и перескочить совсем на другое. Про то же, что повсеместно по всей России уже прошла слава об ужасном процессе, Алеша знал давно, и, боже, какие дикие известия и корреспонденции успел он прочесть за эти два месяца среди других, верных, известий о своем брате, о Карамазовых вообще и даже о себе самом. В одной газете даже сказано было, что он от страху после преступления брата посхимился и затворился; в другой это опровергали и писали, напротив, что он вместе со старцем своим Зосимой взломали монастырский ящик и «утекли из монастыря». Теперешнее же известие в газете «Слухи» озаглавлено было: «Из Скотопригоньевска (увы, так называется наш городок*, я долго скрывал его имя), к процессу Карамазова». Оно было коротенькое, и о госпоже Хохлаковой прямо ничего не упоминалось, да и вообще все имена были скрыты. Извещалось лишь, что преступник, которого с таким треском собираются теперь судить, отставной армейский капитан, нахального пошиба, лентяй и крепостник, то и дело занимался амурами и особенно влиял на некоторых «скучающих в одиночестве дам». Одна-де такая дама из «скучающих вдовиц», молодящаяся, хотя уже имеющая взрослую дочь, до того им прельстилась, что всего только за два часа до

преступления предлагала ему три тысячи рублей с тем, чтоб он тотчас же бежал с нею на золотые прииски. Но злодей предпочел-де лучше убить отца и ограбить его именно на три же тысячи, рассчитывая сделать это безнаказанно, чем тащиться в Сибирь с сорокалетними прелестями своей скучающей дамы. Игривая корреспонденция эта, как и следует, заканчивалась благородным негодованием насчет безнравственности отцеубийства и бывшего крепостного права.* Прочтя с любопытством, Алеша свернул листок и передал его обратно госпоже Хохлаковой.

— Ну как же не я? — залепетала она опять, — ведь это я, я почти за час предлагала ему золотые прииски, и вдруг «сорокалетние прелести»! Да разве я затем? Это он нарочно! Прости ему вечный судья за сорокалетние прелести, как и я прощаю, но ведь это… ведь это знаете кто? Это ваш друг Ракитин.

— Может быть, — сказал Алеша, — хотя я ничего не слыхал.

— Он, он, а не «может быть»! Ведь я его выгнала… Ведь вы знаете всю эту историю?

— Я знаю, что вы его пригласили не посещать вас впредь, но за что именно — этого я… от вас по крайней мере, не слыхал.

— А стало быть, от него слышали! Что ж он, бранит меня, очень бранит?

— Да, он бранит, но ведь он всех бранит. Но за что вы ему отказали — я и от него не слыхал. Да и вообще я очень редко с ним встречаюсь. Мы не друзья.

— Ну, так я вам это всё открою и, нечего делать, покаюсь, потому что тут есть одна черта, в которой я, может быть, сама виновата. Только маленькая, маленькая черточка, самая маленькая, так что, может быть, ее и нет вовсе. Видите, голубчик мой, — госпожа Хохлакова вдруг приняла какой-то игривый вид, и на устах ее замелькала милая, хотя и загадочная улыбочка, — видите, я подозреваю… вы меня простите, Алеша, я вам как мать… о нет, нет, напротив, я к вам теперь как к моему отцу… потому что мать тут совсем не идет… Ну, всё равно как к старцу Зосиме на исповеди, и это самое верное, это очень подходит: назвала же я вас давеча схимником, — ну так вот этот бедный молодой человек, ваш друг Ракитин (о боже, я просто на него не могу сердиться! Я сержусь и злюсь, но не очень), одним словом, этот легкомысленный молодой человек вдруг, представьте себе, кажется, вздумал в меня

влюбиться. Я это потом, потом только вдруг приметила, но вначале, то есть с месяц назад, он стал бывать у меня чаще, почти каждый день, хотя и прежде мы были знакомы. Я ничего не знаю… и вот вдруг меня как бы озарило, и я начинаю, к удивлению, примечать. Вы знаете, я уже два месяца тому назад начала принимать этого скромного, милого и достойного молодого человека, Петра Ильича Перхотина, который здесь служит. Вы столько раз его встречали сами. И не правда ли, он достойный, серьезный. Приходит он в три дня раз, а не каждый день (хотя пусть бы и каждый день), и всегда так хорошо одет, и вообще я люблю молодежь, Алеша, талантливую, скромную, вот как вы, а у него почти государственный ум, он так мило говорит, и я непременно, непременно буду просить за него. Это будущий дипломат. Он в тот ужасный день меня почти от смерти спас, придя ко мне ночью. Ну, а ваш друг Ракитин приходит всегда в таких сапогах и протянет их по ковру… одним словом, он начал мне даже что-то намекать, а вдруг один раз, уходя, пожал мне ужасно крепко руку. Только что он мне пожал руку, как вдруг у меня разболелась нога. Он и прежде встречал у меня Петра Ильича и, верите ли, всё шпыняет его, всё шпыняет, так и мычит на него за что-то. Я только смотрю на них обоих, как они сойдутся, а внутри смеюсь. Вот вдруг я сижу одна, то есть нет, я тогда уж лежала, вдруг я лежу одна, Михаил Иванович и приходит и, представьте, приносит свои стишки, самые коротенькие, на мою больную ногу, то есть описал в стихах мою больную ногу. Постойте, как это:

Эта ножка, эта ножка
Разболелася немножко —*

или как там, — вот никак не могу стихов запомнить, — у меня тут лежат, — ну я вам потом покажу, только прелесть, прелесть, и, знаете, не об одной только ножке, а и нравоучительное, с прелестною идеей, только я ее забыла, одним словом, прямо в альбом. Ну, я, разумеется, поблагодарила, и он был видимо польщен. Не успела поблагодарить, как вдруг входит и Петр Ильич, а Михаил Иванович вдруг насупился как ночь. Я уж вижу, что Петр Ильич ему в чем-то помешал, потому что Михаил Иванович непременно что-то хотел сказать сейчас после стихов, я уж предчувствовала, а Петр Ильич и вошел. Я вдруг Петру

Ильичу стихи и показываю, да и не говорю, кто сочинил. Но я уверена, я уверена, что он сейчас догадался, хотя и до сих пор не признается, а говорит, что не догадался; но это он нарочно. Петр Ильич тотчас захохотал и начал критиковать: дрянные, говорит, стишонки, какой-нибудь семинарист написал, — да, знаете, с таким азартом, с таким азартом! Тут ваш друг, вместо того чтобы рассмеяться, вдруг совсем и взбесился… Господи, я думала, они подерутся: «Это я, говорит, написал. Я, говорит, написал в шутку, потому что считаю за низость писать стихи… Только стихи мои хороши. Вашему Пушкину за женские ножки монумент хотят ставить*, а у меня с направлением, а вы сами, говорит, крепостник; вы, говорит, никакой гуманности не имеете, вы никаких теперешних просвещенных чувств не чувствуете, вас не коснулось развитие, вы, говорит, чиновник и взятки берете!» Тут уж я начала кричать и молить их. А Петр Ильич, вы знаете, такой не робкий, и вдруг принял самый благородный тон: смотрит на него насмешливо, слушает и извиняется: «Я, говорит, не знал. Если б я знал, я бы не сказал, я бы, говорит, похвалил… Поэты, говорит, все так раздражительны…» Одним словом, такие насмешки под видом самого благородного тона. Это он мне сам потом объяснил, что это всё были насмешки, а я думала, он и в самом деле. Только вдруг я лежу, как вот теперь пред вами, и думаю: будет или не будет благородно, если я Михаила Ивановича вдруг прогоню за то, что неприлично кричит у меня в доме на моего гостя? И вот верите ли: лежу, закрыла глаза и думаю: будет или не будет благородно, и не могу решить, и мучаюсь, мучаюсь, и сердце бьется: крикнуть аль не крикнуть? Один голос говорит: кричи, а другой говорит: нет, не кричи! Только что этот другой голос сказал, я вдруг и закричала и вдруг упала в обморок. Ну, тут, разумеется, шум. Я вдруг встаю и говорю Михаилу Ивановичу: мне горько вам объявить, но я не желаю вас более принимать в моем доме. Так и выгнала. Ах, Алексей Федорович! Я сама знаю, что скверно сделала, я всё лгала, я вовсе на него не сердилась, но мне вдруг, главное вдруг, показалось, что это будет так хорошо, эта сцена… Только верите ли, эта сцена все-таки была натуральна, потому что я даже расплакалась и несколько дней потом плакала, а потом вдруг после обеда всё и позабыла. Вот он и перестал ходить уже две недели, я и думаю: да неужто ж он совсем не придет? Это еще вчера, а вдруг к вечеру приходят эти «Слухи». Прочла и ахнула, ну кто же написал, это он

написал, пришел тогда домой, сел — и написал; послал — и напечатали. Ведь это две недели как было. Только, Алеша, ужас я что говорю, а вовсе не говорю, об чем надо? Ах, само говорится!

— Мне сегодня ужасно как нужно поспеть вовремя к брату, — пролепетал было Алеша.

— Именно, именно! Вы мне всё напомнили! Послушайте, что такое аффект?

— Какой аффект? — удивился Алеша.

— Судебный аффект. Такой аффект, за который всё прощают.* Что бы вы ни сделали — вас сейчас простят.

— Да вы про что это?

— А вот про что: эта Катя… Ах, это милое, милое существо, только я никак не знаю, в кого она влюблена. Недавно сидела у меня, и я ничего не могла выпытать. Тем более что сама начинает со мною теперь так поверхностно, одним словом, всё об моем здоровье и ничего больше, и даже такой тон принимает, а я и сказала себе: ну и пусть, ну и бог с вами… Ах да, ну так вот этот аффект: Этот доктор и приехал. Вы знаете, что приехал доктор? Ну как вам не знать, который узнает сумасшедших, вы же и выписали, то есть не вы, а Катя. Всё Катя! Ну так видите: сидит человек совсем не сумасшедший, только вдруг у него аффект. Он и помнит себя и знает, что делает, а между тем он в аффекте. Ну так вот и с Дмитрием Федоровичем, наверно, был аффект. Это как новые суды открыли, так сейчас и узнали про аффект. Это благодеяние новых судов. Доктор этот был и расспрашивает меня про тот вечер, ну про золотые прииски: каков, дескать, он тогда был? Как же не в аффекте — пришел и кричит: денег, денег, три тысячи, давайте три тысячи, а потом пошел и вдруг убил. Не хочу, говорит, не хочу убивать, и вдруг убил. Вот за это-то самое его и простят, что противился, а убил.

— Да ведь он же не убил, — немного резко прервал Алеша. Беспокойство и нетерпение одолевали его всё больше и больше.

— Знаю, это убил тот старик Григорий…

— Как Григорий? — вскричал Алеша.

— Он, он, это Григорий. Дмитрий Федорович как ударил его, так он лежал, а потом встал, видит, дверь отворена, пошел и убил Федора Павловича.

— Да зачем, зачем?

— А получил аффект. Как Дмитрий Федорович ударил его по

голове, он очнулся и получил аффект, пошел и убил. А что он говорит сам, что не убил, так этого он, может, и не помнит. Только видите ли: лучше, гораздо лучше будет, если Дмитрий Федорович убил. Да это так и было, хоть я и говорю, что Григорий, но это наверно Дмитрий Федорович, и это гораздо, гораздо лучше! Ах, не потому лучше, что сын отца убил, я не хвалю, дети, напротив, должны почитать родителей, а только все-таки лучше, если это он, потому что вам тогда и плакать нечего, так как он убил, себя не помня или, лучше сказать, всё помня, но не зная, как это с ним сделалось. Нет, пусть они его простят; это так гуманно, и чтобы видели благодеяние новых судов, а я-то и не знала, а говорят, это уже давно, и как я вчера узнала, то меня это так поразило, что я тотчас же хотела за вами послать; и потом, коли его простят, то прямо его из суда ко мне обедать, а я созову знакомых, и мы выпьем за новые суды. Я не думаю, чтоб он был опасен, притом я позову очень много гостей, так что его можно всегда вывести, если он что-нибудь, а потом он может где-нибудь в другом городе быть мировым судьей или чем-нибудь, потому что те, которые сами перенесли несчастие, всех лучше судят. А главное, кто ж теперь не в аффекте, вы, я — все в аффекте, и сколько примеров: сидит человек, поет романс, вдруг ему что-нибудь не понравилось, взял пистолет и убил кого попало, а затем ему все прощают. Я это недавно читала, и все доктора подтвердили. Доктора теперь подтверждают, всё подтверждают. Помилуйте, у меня Lise в аффекте, я еще вчера от нее плакала, третьего дня плакала, а сегодня и догадалась, что это у ней просто аффект. Ох, Lise меня так огорчает! Я думаю, она совсем помешалась. Зачем она вас позвала? Она вас позвала, или вы сами к ней пришли?

— Да, она звала, и я пойду сейчас к ней, — встал было решительно Алеша.

— Ах, милый, милый Алексей Федорович, тут-то, может быть, и самое главное, — вскрикнула госпожа Хохлакова, вдруг заплакав. — Бог видит, что я вам искренно доверяю Lise, и это ничего, что она вас тайком от матери позвала. Но Ивану Федоровичу, вашему брату, простите меня, я не могу доверить дочь мою с такою легкостью, хотя и продолжаю считать его за самого рыцарского молодого человека. А представьте, он вдруг и был у Lise, а я этого ничего и не знала.

— Как? Что? Когда? — ужасно удивился Алеша. Он уж не садился и слушал стоя.

— Я вам расскажу, я для этого-то, может быть, вас и позвала, потому что я уж и не знаю, для чего вас позвала. Вот что: Иван Федорович был у меня всего два раза по возвращении своем из Москвы, первый раз пришел как знакомый сделать визит, а в другой раз, это уже недавно, Катя у меня сидела, он и зашел, узнав, что она у меня. Я, разумеется, и не претендовала на его частые визиты, зная, сколько у него теперь и без того хлопот, — vous comprenez, cette affaire et la mort terrible de votre papa,[4] — только вдруг узнаю, что он был опять, только не у меня, а у Lise, это уже дней шесть тому, пришел, просидел пять минут и ушел. А узнала я про это целых три дня спустя от Глафиры, так что это меня вдруг фраппировало*. Тотчас призываю Lise, а она смеется: он, дескать, думал, что вы спите, и зашел ко мне спросить о вашем здоровье. Конечно, оно так и было. Только Lise, Lise, о боже, как она меня огорчает! Вообразите, вдруг с ней в одну ночь — это четыре дня тому, сейчас после того, как вы в последний раз были и ушли, — вдруг с ней ночью припадок, крик, визг, истерика! Отчего у меня никогда не бывает истерики? Затем на другой день припадок, а потом и на третий день, и вчера, и вот вчера этот аффект. А она мне вдруг кричит: «Я ненавижу Ивана Федоровича, я требую, чтобы вы его не принимали, чтобы вы ему отказали от дома!» Я обомлела при такой неожиданности и возражаю ей: с какой же стати буду я отказывать такому достойному молодому человеку и притом с такими познаниями и с таким несчастьем, потому что все-таки все эти истории — ведь это несчастье, а не счастие, не правда ли? Она вдруг расхохоталась над моими словами и так, знаете, оскорбительно. Ну я рада, думаю, что рассмешила ее, и припадки теперь пройдут, тем более что я сама хотела отказать Ивану Федоровичу за странные визиты без моего согласия и потребовать объяснения. Только вдруг сегодня утром Лиза проснулась и рассердилась на Юлию и, представьте, ударила ее рукой по лицу. Но ведь это монструозно*, я с моими девушками на *вы*. И вдруг чрез час она обнимает и целует у Юлии ноги. Ко мне же прислала сказать, что не придет ко мне вовсе и впредь никогда не хочет ходить, а когда я сама к ней потащилась, то бросилась меня целовать и плакать и, целуя, так и выпихнула вон, ни слова не говоря, так что я так ничего и не узнала. Теперь, милый Алексей Федорович, на вас все мои надежды, и, конечно, судьба всей моей жизни в ваших руках. Я вас просто прошу пойти к Lise, разузнать у ней всё, как вы только один умеете это сделать, и

прийти рассказать мне, — мне, матери, потому что, вы понимаете, я умру, я просто умру, если всё это будет продолжаться, или убегу из дома. Я больше не могу, у меня есть терпение, но я могу его лишиться, и тогда… и тогда будут ужасы. Ах, боже мой, наконец-то Петр Ильич! — вскрикнула, вся вдруг просияв, госпожа Хохлакова, завидя входящего Петра Ильича Перхотина. — Опоздали, опоздали! Ну что, садитесь, говорите, решайте судьбу, ну что ж этот адвокат? Куда же вы, Алексей Федорович?

— Я к Lise.

— Ах, да! Так вы не забудете, не забудете, о чем я вас просила? Тут судьба, судьба!

— Конечно, не забуду, если только можно… но я так опоздал, — пробормотал, поскорее ретируясь Алеша.

— Нет, наверно, наверно заходите, а не «если можно», иначе я умру! — прокричала вслед ему госпожа Хохлакова, но Алеша уже вышел из комнаты.

III

Бесенок[*]

Войдя к Лизе, он застал ее полулежащею в ее прежнем кресле, в котором ее возили, когда она еще не могла ходить. Она не тронулась к нему навстречу, но зоркий, острый ее взгляд так и впился в него. Взгляд был несколько воспаленный, лицо бледно-желтое. Алеша изумился тому, как она изменилась в три дня, даже похудела. Она не протянула ему руки. Он сам притронулся к ее тонким, длинным пальчикам, неподвижно лежавшим на ее платье, затем молча сел против нее.

— Я знаю, что вы спешите в острог, — резко проговорила Лиза, — а вас два часа задержала мама, сейчас вам про меня и про Юлию рассказала.

— Почему вы узнали? — спросил Алеша.

— Я подслушивала. Чего вы на меня уставились? Хочу подслушивать и подслушиваю, ничего тут нет дурного. Прощенья не прошу.

— Вы чем-то расстроены?

— Напротив, очень рада. Только что сейчас рассуждала опять, в тридцатый раз: как хорошо, что я вам отказала и не буду вашей женой. Вы в мужья не годитесь: я за вас выйду, и вдруг дам вам записку, чтобы снести тому, которого полюблю после вас, вы возьмете и непременно отнесете, да еще ответ принесете. И сорок лет вам придет, и вы всё так же будете мои такие записки носить.

Она вдруг засмеялась.

— В вас что-то злобное и в то же время что-то простодушное, — улыбнулся ей Алеша.

— Простодушное это то, что я вас не стыжусь. Мало того, что не стыжусь, да и не хочу стыдиться, именно пред вами, именно вас. Алеша, почему я вас не уважаю? Я вас очень люблю, но я вас не уважаю. Если б уважала, ведь не говорила бы не стыдясь, ведь так?

— Так.

— А верите вы, что я вас не стыжусь?

— Нет, не верю.

Лиза опять нервно засмеялась; говорила она скоро, быстро.

— Я вашему брату Дмитрию Федоровичу конфет в острог послала. Алеша, знаете, какой вы хорошенький! Я вас ужасно буду любить за то, что вы так скоро позволили мне вас не любить.

— Вы для чего меня сегодня звали, Lise?

— Мне хотелось вам сообщить одно мое желание. Я хочу, чтобы меня кто-нибудь истерзал, женился на мне, а потом истерзал, обманул, ушел и уехал. Я не хочу быть счастливою!

— Полюбили беспорядок?

— Ах, я хочу беспорядка. Я всё хочу зажечь дом. Я воображаю, как это я подойду и зажгу потихоньку, непременно чтобы потихоньку. Они-то тушат, а он-то горит. А я знаю, да молчу. Ах, глупости! И как скучно!

Она с отвращением махнула ручкой.

— Богато живете, — тихо проговорил Алеша.

— Лучше, что ль, бедной-то быть?

— Лучше.

— Это вам ваш монах покойный наговорил. Это неправда. Пусть я богата, а все бедные, я буду конфеты есть и сливки пить, а тем никому не дам. Ах, не говорите, не говорите ничего, — замахала она ручкой, хотя Алеша и рта не открывал, — вы мне уж прежде всё это говорили, я

всё наизусть знаю. Скучно. Если я буду бедная, я кого-нибудь убью, — да и богата если буду, может быть, убью, — что сидеть-то! А знаете, я хочу жать, рожь жать. Я за вас выйду, а вы станьте мужиком, настоящим мужиком, у нас жеребеночек, хотите? Вы Калганова знаете?

— Знаю.

— Он всё ходит и мечтает. Он говорит: зачем взаправду жить, лучше мечтать. Намечтать можно самое веселое, а жить скука. А ведь сам скоро женится, он уж и мне объяснялся в любви. Вы умеете кубари* спускать?

— Умею.

— Вот это он, как кубарь: завертеть его и спустить и стегать, стегать, стегать кнутиком: выйду за него замуж, всю жизнь буду спускать. Вам не стыдно со мной сидеть?

— Нет.

— Вы ужасно сердитесь, что я не про святое говорю. Я не хочу быть святою. Что сделают на том свете за самый большой грех? Вам это должно быть в точности известно.

— Бог осудит, — пристально вглядывался в нее Алеша.

— Вот так я и хочу. Я бы пришла, а меня бы и осудили, а я бы вдруг всем им и засмеялась в глаза. Я ужасно хочу зажечь дом, Алеша, наш дом, вы мне всё не верите?

— Почему же? Есть даже дети, лет по двенадцати, которым очень хочется зажечь что-нибудь*, и они зажигают. Это вроде болезни.

— Неправда, неправда, пусть есть дети, но я не про то.

— Вы злое принимаете за доброе: это минутный кризис, в этом ваша прежняя болезнь, может быть, виновата.

— А вы таки меня презираете! Я просто не хочу делать доброе, я хочу делать злое, а никакой тут болезни нет.

— Зачем делать злое?

— А чтобы нигде ничего не осталось. Ах, как бы хорошо, кабы ничего не осталось! Знаете, Алеша, я иногда думаю наделать ужасно много зла и всего скверного, и долго буду тихонько делать, и вдруг все узнают. Все меня обступят и будут показывать на меня пальцами, а я буду на всех смотреть. Это очень приятно. Почему это так приятно, Алеша?

— Так. Потребность раздавить что-нибудь хорошее али вот, как вы говорили, зажечь. Это тоже бывает.

— Я ведь не то что говорила, я ведь и сделаю.

— Верю.

— Ах, как я вас люблю за то, что вы говорите: верю. И ведь вы вовсе, вовсе не лжете. А может быть, вы думаете, что я вам все это нарочно, чтобы вас дразнить?

— Нет, не думаю… хотя, может быть, и есть немного этой потребности.

— Немного есть. Никогда пред вами не солгу, — проговорила она со сверкнувшими каким-то огоньком глазами.

Алешу всего более поражала ее серьезность: ни тени смешливости и шутливости не было теперь в ее лице, хотя прежде веселость и шутливость не покидали ее в самые «серьезные» ее минуты.

— Есть минуты, когда люди любят преступление, — задумчиво проговорил Алеша.

— Да, да! Вы мою мысль сказали, любят, все любят и всегда любят, а не то что «минуты». Знаете, в этом все как будто когда-то условились лгать и все с тех пор лгут. Все говорят, что ненавидят дурное, а про себя все его любят.

— А вы всё по-прежнему дурные книги читаете?

— Читаю. Мама читает и под подушку прячет, а я краду.

— Как вам не совестно разрушать себя?

— Я хочусебя разрушать. Тут есть один мальчик, он под рельсами пролежал, когда над ним вагоны ехали. Счастливец! Послушайте, теперь вашего брата судят за то, что он отца убил, и все любят, что он отца убил.

— Любят, что отца убил?

— Любят, все любят! Все говорят, что это ужасно, но про себя ужасно любят. Я первая люблю.

— В ваших словах про всех есть несколько правды, — проговорил тихо Алеша.

— Ах, какие у вас мысли! — взвизгнула в восторге Лиза, — это у монаха-то! Вы не поверите, как я вас уважаю, Алеша, за то, что вы никогда не лжете. Ах, я вам один мой смешной сон расскажу: мне иногда во сне снятся черти, будто ночь, я в моей комнате со свечкой, и вдруг везде черти, во всех углах, и под столом, и двери отворяют, а их там за дверями толпа, и им хочется войти и меня схватить. И уж подходят, уж хватают. А я вдруг перекрещусь, и они все назад, боятся,

только не уходят совсем, а у дверей стоят и по углам, ждут. И вдруг мне ужасно захочется вслух начать бога бранить, вот и начну бранить, а они-то вдруг опять толпой ко мне, так и обрадуются, вот уж и хватают меня опять, а я вдруг опять перекрещусь — а они все назад. Ужасно весело, дух замирает.

— И у меня бывал этот самый сон, — вдруг сказал Алеша.

— Неужто? — вскрикнула Лиза в удивлении. — Послушайте, Алеша, не смейтесь, это ужасно важно: разве можно, чтоб у двух разных был один и тот же сон?

— Верно, можно.

— Алеша, говорю вам, это ужасно важно, — в каком-то чрезмерном уже удивлении продолжала Лиза. — Не сон важен, а то, что вы могли видеть этот же самый сон, как и я. Вы никогда мне не лжете, не лгите и теперь: это правда? Вы не смеетесь?

— Правда

Лиза была чем-то ужасно поражена и на полминутку примолкла.

— Алеша, ходите ко мне, ходите ко мне чаще, — проговорила она вдруг молящим голосом.

— Я всегда, всю жизнь буду к вам приходить, — твердо ответил Алеша.

— Я ведь одному вам говорю, — начала опять Лиза. — Я себе одной говорю, да еще вам. Вам одному в целом мире. И вам охотнее, чем самой себе говорю. И вас совсем не стыжусь. Алеша, почему я вас совсем не стыжусь, совсем? Алеша, правда ли, что жиды на пасху детей крадут и режут?

— Не знаю.

— Вот у меня одна книга, я читала про какой-то где-то суд, и что жид четырехлетнему мальчику сначала все пальчики обрезал на обеих ручках, а потом распял на стене[*], прибил гвоздями и распял, а потом на суде сказал, что мальчик умер скоро, чрез четыре часа. Эка скоро! Говорит: стонал, всё стонал, а тот стоял и на него любовался. Это хорошо!

— Хорошо?

— Хорошо. Я иногда думаю, что это я сама распяла. Он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный компот есть. Я очень люблю ананасный компот. Вы любите?

Алеша молчал и смотрел на нее. Бледно-желтое лицо ее вдруг

исказилось, глаза загорелись.

— Знаете, я про жида этого как прочла, то всю ночь так и тряслась в слезах. Воображаю, как ребеночек кричит и стонет (ведь четырехлетние мальчики понимают), а у меня всё эта мысль про компот не отстает. Утром я послала письмо к одному человеку, чтобы *непременно* пришел ко мне. Он пришел, а я ему вдруг рассказала про мальчика и про компот, *всё* рассказала, *всё,* и сказала, что «это хорошо». Он вдруг засмеялся и сказал, что это в самом деле хорошо. Затем встал и ушел. Всего пять минут сидел. Презирал он меня, презирал? Говорите, говорите, Алеша, презирал он меня или нет? — выпрямилась она на кушетке, засверкав глазами.

— Скажите, — проговорил в волнении Алеша, — вы сами его позвали, этого человека?

— Сама.

— Письмо ему послали?

— Письмо.

— Собственно про это спросить, про ребенка?

— Нет, совсем не про это, совсем. А как он вошел, я сейчас про это и спросила. Он ответил, засмеялся, встал и ушел.

— Этот человек честно с вами поступил, — тихо проговорил Алеша.

— А меня презирал? Смеялся?

— Нет, потому что он сам, может, верит ананасному компоту. Он тоже очень теперь болен, Lise.

— Да, верит! — засверкала глазами Лиза.

— Он никого не презирает, — продолжал Алеша. — Он только никому не верит. Коль не верит, то, конечно, и презирает.

— Стало быть, и меня? Меня?

— И вас.

— Это хорошо, — как-то проскрежетала Лиза. — Когда он вышел и засмеялся, я почувствовала, что в презрении быть хорошо. И мальчик с отрезанными пальчиками хорошо, и в презрении быть хорошо…

И она как-то злобно и воспаленно засмеялась Алеше в глаза.

— Знаете, Алеша, знаете, я бы хотела… Алеша, спасите меня! — вскочила она вдруг с кушетки, бросилась к нему и крепко обхватила его руками. — Спасите меня, — почти простонала она. — Разве я кому-нибудь в мире скажу, что вам говорила? А ведь я правду, правду, правду

говорила! Я убью себя, потому что мне все гадко! Я не хочу жить, потому что мне всё гадко! Мне всё гадко, всё гадко! Алеша, зачем вы меня совсем, совсем не любите! — закончила она в исступлении.

— Нет, люблю! — горячо ответил Алеша.

— А будете обо мне плакать, будете?

— Буду.

— Не за то, что я вашею женой не захотела быть, а просто обо мне плакать, просто?

— Буду.

— Спасибо! Мне только ваших слез надо. А все остальные пусть казнят меня и раздавят ногой, все, все, не исключая *никого!* Потому что я не люблю никого. Слышите, ни-ко-го! Напротив, ненавижу! Ступайте, Алеша, вам пора к брату! — оторвалась она от него вдруг.

— Как же вы останетесь? — почти в испуге проговорил Алеша.

— Ступайте к брату, острог запрут, ступайте, вот ваша шляпа! Поцелуйте Митю, ступайте, ступайте!

И она с силой почти выпихнула Алешу в двери. Тот смотрел с горестным недоумением, как вдруг почувствовал в своей правой руке письмо, маленькое письмецо, твердо сложенное и запечатанное. Он взглянул и мгновенно прочел адрес: Ивану Федоровичу Карамазову. Он быстро поглядел на Лизу. Лицо ее сделалось почти грозно.

— Передайте, непременно передайте! — исступленно, вся сотрясаясь, приказывала она, — сегодня, сейчас! Иначе я отравлюсь! Я вас затем и звала!

И быстро захлопнула дверь. Щелкнула щеколда. Алеша положил письмо в карман и пошел прямо на лестницу, не заходя к госпоже Хохлаковой, даже забыв о ней. А Лиза, только что удалился Алеша, тотчас же отвернула щеколду, приотворила капельку дверь, вложила в щель свой палец и, захлопнув дверь, изо всей силы придавила его. Секунд через десять, высвободив руку, она тихо, медленно прошла на свое кресло, села, вся выпрямившись, и стала пристально смотреть на свой почерневший пальчик и на выдавившуюся из-под ногтя кровь. Губы ее дрожали, и она быстро, быстро шептала про себя:

— Подлая, подлая, подлая, подлая!

IV

Гимн и секрет

Было уже совсем поздно (да и велик ли ноябрьский день), когда Алеша позвонил у ворот острога. Начинало даже смеркаться. Но Алеша знал, что его пропустят к Мите беспрепятственно. Всё это у нас, в нашем городке, как и везде. Сначала, конечно, по заключении всего предварительного следствия, доступ к Мите для свидания с родственниками и с некоторыми другими лицами всё же был обставлен некоторыми необходимыми формальностями, но впоследствии формальности не то что ослабели, но для иных лиц, по крайней мере приходивших к Мите, как-то сами собой установились некоторые исключения. До того что иной раз даже и свидания с заключенным в назначенной для того комнате происходили почти между четырех глаз. Впрочем, таких лиц было очень немного: всего только Грушенька, Алеша и Ракитин. Но к Грушеньке очень благоволил сам исправник Михаил Макарович. У старика лежал на сердце его окрик на нее в Мокром. Потом, узнав всю суть, он изменил совсем о ней свои мысли. И странное дело: хотя был твердо убежден в преступлении Мити, но со времени заключения его всё как-то более и более смотрел на него мягче: «С хорошею, может быть, душой был человек, а вот пропал, как швед, от пьянства и беспорядка![*]» Прежний ужас сменился в сердце его какою-то жалостью. Что же до Алеши, то исправник очень любил его и давно уже был с ним знаком, а Ракитин, повадившийся впоследствии приходить очень часто к заключенному, был одним из самых близких знакомых «исправничьих барышень», как он называл их, и ежедневно терся в их доме. У смотрителя же острога, благодушного старика, хотя и крепкого служаки, он давал в доме уроки. Алеша же опять-таки был особенный и стародавний знакомый и смотрителя, любившего говорить с ним вообще о «премудрости». Ивана Федоровича, например, смотритель не то что уважал, а даже боялся, главное, его суждений, хотя сам был большим философом, разумеется «своим умом дойдя». Но к Алеше в нем была какая-то непобедимая симпатия. В последний год старик как раз засел за апокрифические евангелия[*] и поминутно сообщал о своих впечатлениях своему молодому другу. Прежде даже заходил к нему в монастырь и толковал с ним и с иеромонахами по целым часам. Словом, Алеше, если бы даже он и запоздал в острог,

стоило пройти к смотрителю, и дело всегда улаживалось. К тому же к Алеше все до последнего сторожа в остроге привыкли. Караул же, конечно, не стеснял, было бы лишь дозволение начальства. Митя из своей каморки, когда вызывали его, сходил всегда вниз в место, назначенное для свиданий. Войдя в комнату, Алеша как раз столкнулся с Ракитиным, уже уходившим от Мити. Оба они громко говорили. Митя, провожая его, чему-то очень смеялся, а Ракитин как будто ворчал. Ракитин, особенно в последнее время, не любил встречаться с Алешей, почти не говорил с ним, даже и раскланивался с натугой. Завидя теперь входящего Алешу, он особенно нахмурил брови и отвел глаза в сторону, как бы весь занятый застегиванием своего большого теплого с меховым воротником пальто. Потом тотчас же принялся искать свой зонтик.

— Своего бы не забыть чего, — пробормотал он, единственно чтобы что-нибудь сказать.

— Ты чужого-то чего не забудь! — сострил Митя и тотчас же сам расхохотался своей остроте. Ракитин мигом вспылил.

— Ты это своим Карамазовым рекомендуй, крепостничье ваше отродье, а не Ракитину! — крикнул он вдруг, так и затрясшись от злости.

— Чего ты? Я пошутил! — вскрикнул Митя, — фу, черт! Вот они все таковы, — обратился он к Алеше, кивая на быстро уходившего Ракитина, — то всё сидел, смеялся и весел был, а тут вдруг и вскипел! Тебе даже и головой не кивнул, совсем, что ли, вы рассорились? Что ты так поздно? Я тебя не то что ждал, а жаждал всё утро. Ну да ничего! Наверстаем.

— Что он к тебе так часто повадился? Подружился ты с ним, что ли? — спросил Алеша, кивая тоже на дверь, в которую убрался Ракитин.

— С Михаилом-то подружился? Нет, не то чтоб. Да и чего, свинья! Считает, что я… подлец. Шутки тоже не понимают — вот что в них главное. Никогда не поймут шутки. Да и сухо у них в душе, плоско и сухо, точно как я тогда к острогу подъезжал и на острожные стены смотрел. Но умный человек, умный. Ну, Алексей, пропала теперь моя голова!

Он сел на скамейку и посадил с собою рядом Алешу.

— Да, завтра суд. Что ж, неужели же ты так совсем не надеешься, брат? — с робким чувством проговорил Алеша.

— Ты это про что? — как-то неопределенно глянул на него

Митя, — ах, ты про суд! Ну, черт! Мы до сих пор всё с тобой о пустяках говорили, вот всё про этот суд, а я об самом главном с тобою молчал. Да, завтра суд, только я не про суд сказал, что пропала моя голова. Голова не пропала, а то, что в голове сидело, то пропало. Что ты на меня с такою критикой в лице смотришь?

— Про что ты это, Митя?

— Идеи, идеи, вот что. Эфика. Это что такое эфика?*

— Эфика? — удивился Алеша.

— Да, наука, что ли, какая?

— Да, есть такая наука… только… я, признаюсь, не могу тебе объяснить, какая наука.

— Ракитин знает. Много знает Ракитин, черт его дери! В монахи не пойдет. В Петербург собирается. Там, говорит, в отделение критики, но с благородством направления. Что ж, может пользу принесть и карьеру устроить. Ух, карьеру они мастера! Черт с эфикой! Я-то пропал, Алексей, я-то, божий ты человек! Я тебя больше всех люблю. Сотрясается у меня сердце на тебя, вот что. Какой там был Карл Бернар?

— Карл Бернар? — удивился опять Алеша.

— Нет, не Карл, постой, соврал: Клод Бернар*. Это что такое? Химия, что ли?

— Это, должно быть, ученый один, — ответил Алеша, — только, признаюсь тебе, и о нем много не сумею сказать. Слышал только, ученый, а какой, не знаю.

— Ну и черт его дери, и я не знаю, — обругался Митя. — Подлец какой-нибудь, всего вероятнее, да и все подлецы. А Ракитин пролезет, Ракитин в щелку пролезет, тоже Бернар. Ух, Бернары! Много их расплодилось!

— Да что с тобою? — настойчиво спросил Алеша.

— Хочет он обо мне, об моем деле статью написать, и тем в литературе свою роль начать, с тем и ходит, сам объяснял. С направлением что-то хочет: «дескать, нельзя было ему не убить, заеден средой», и проч., объяснял мне. С оттенком социализма, говорит, будет. Ну и черт его дери, с оттенком так с оттенком, мне всё равно. Брата Ивана не любит, ненавидит, тебя тоже не жалует. Ну, а я его не гоню, потому что человек умный. Возносится очень, однако. Я ему сейчас вот говорил: «Карамазовы не подлецы, а философы, потому что все

настоящие русские люди философы, а ты хоть и учился, а не философ, ты смерд». Смеется, злобно так. А я ему: де мыслибус non est disputandum[*],[5] хороша острота? По крайней мере и я в классицизм вступил, — захохотал вдруг Митя.

— Отчего ты пропал-то? Вот ты сейчас сказал? — перебил Алеша.

— Отчего пропал? Гм! В сущности… если всё целое взять — бога жалко, вот отчего!

— Как бога жалко?

— Вообрази себе: это там в нервах, в голове, то есть там в мозгу эти нервы (ну черт их возьми!)… есть такие этакие хвостики, у нервов этих хвостики, ну, и как только они там задрожат… то есть видишь, я посмотрю на что-нибудь глазами, вот так, и они задрожат, хвостики-то… а как задрожат, то и является образ, и не сейчас является а там какое-то мгновение, секунда такая пройдет, и является такой будто бы момент, то есть не момент, — черт его дери момент, — а образ, то есть предмет али происшествие, ну там черт дери — вот почему я и созерцаю, а потом мыслю… потому что хвостики, а вовсе не потому, что у меня душа и что я там какой-то образ и подобие, всё это глупости. Это, брат, мне Михаил еще вчера объяснял, и меня точно обожгло. Великолепна, Алеша, эта наука! Новый человек пойдет, это-то я понимаю… А все-таки бога жалко!

— Ну и то хорошо, — сказал Алеша.

— Что бога-то жалко? Химия, брат, химия! Нечего делать, ваше преподобие, подвиньтесь немножко, химия идет! А не любит бога Ракитин, ух не любит! Это у них самое больное место у всех! Но скрывают. Лгут. Представляются. «Что же, будешь это проводить в отделении критики?» — спрашиваю. «Ну, явно-то не дадут», — говорит, смеется. «Только как же, спрашиваю, после того человек-то? Без бога-то и без будущей жизни? Ведь это, стало быть, теперь всё позволено, всё можно делать?» «А ты и не знал?» — говорит. Смеется. «Умному, говорит, человеку всё можно, умный человек умеет раков ловить, ну а вот ты, говорит, убил и влопался и в тюрьме гниешь!» Это он мне-то говорит. Свинья естественная! Я этаких прежде вон вышвыривал, ну а теперь слушаю. Много ведь и дельного говорит. Умно тоже пишет. Он мне с неделю назад статью одну начал читать, я там три строки тогда нарочно выписал, вот постой, вот здесь.

Митя, спеша, вынул из жилетного кармана бумажку и прочел:

— «Чтоб разрешить этот вопрос, необходимо прежде всего поставить свою личность в разрез со своею действительностью». Понимаешь иль нет?

— Нет, не понимаю, — сказал Алеша.

Он с любопытством приглядывался к Мите и слушал его.

— И я не понимаю. Темно и неясно, зато умно. «Все, говорит, так теперь пишут, потому что такая уж среда»… Среды боятся.* Стихи тоже пишет, подлец, Хохлаковой ножку воспел, ха-ха-ха!

— Я слышал, — сказал Алеша.

— Слышал? А стишонки слышал?

— Нет.

— У меня они есть, вот, я прочту. Ты не знаешь, я тебе не рассказывал, тут целая история. Шельма! Три недели назад меня дразнить вздумал: «Ты вот, говорит, влопался как дурак из-за трех тысяч, а я полтораста их тяпну, на вдовице одной женюсь и каменный дом в Петербурге куплю». И рассказал мне, что строит куры Хохлаковой, а та и смолоду умна не была, а в сорок-то лет и совсем ума решилась. «Да чувствительна, говорит, уж очень, вот я ее на том и добью. Женюсь, в Петербург ее отвезу, а там газету издавать начну». И такая у него скверная сладострастная слюна на губах, — не на Хохлакову слюна, а на полтораста эти тысяч. И уверил меня, уверил; всё ко мне ходит, каждый день: поддается, говорит. Радостью сиял. А тут вдруг его и выгнали: Перхотин Петр Ильич взял верх, молодец! То есть так бы и расцеловал эту дурищу за то, что его прогнала! Вот он как ходил-то ко мне, тогда и сочинил эти стишонки. «В первый раз, говорит, руки мараю, стихи пишу, для обольщения значит, для полезного дела.* Забрав капитал у дурищи, гражданскую пользу потом принести могу». У них ведь всякой мерзости гражданское оправдание есть! «А все-таки, говорит, лучше твоего Пушкина написал, потому что и в шутовской стишок сумел гражданскую скорбь всучить». Это что про Пушкина-то — я понимаю. Что же, если в самом деле способный был человек, а только ножки описывал! Да ведь гордился-то стишонками как! Самолюбие-то у них, самолюбие! «На выздоровление больной ножки моего предмета» — это он такое заглавие придумал — резвый человек!

Уж какая ж эта ножка,

Ножка, вспухшая немножко!
Доктора к ней ездят, лечат,
И бинтуют, и калечат.
Не по ножкам я тоскую, —
Пусть их Пушкин воспевает:
По головке я тоскую,
Что идей не понимает.
Понимала уж немножко,
Да вот ножка помешала!
Пусть же вылечится ножка,
Чтоб головка понимала.*

Свинья, чистая свинья, а игриво у мерзавца вышло! И действительно «гражданскую»-то всучил. А как рассердился, когда его выгнали. Скрежетал!

— Он уже отмстил, — сказал Алеша. — Он про Хохлакову корреспонденцию написал.

И Алеша рассказал ему наскоро о корреспонденции в газете «Слухи».

— Это он, он! — подтвердил Митя нахмурившись, — это он! Эти корреспонденции… я ведь знаю… то есть сколько низостей было уже написано, про Грушу, например!.. И про ту тоже, про Катю… Гм!

Он озабоченно прошелся по комнате.

— Брат, мне нельзя долго оставаться, — сказал, помолчав, Алеша. — Завтра ужасный, великий день для тебя: божий суд над тобой совершится… и вот я удивляюсь, ходишь ты и вместо дела говоришь бог знает о чем.

— Нет, не удивляйся, — горячо перебил Митя. — Что же мне о смердящем этом псе говорить, что ли? Об убийце? Довольно мы с тобой об этом переговорили. Не хочу больше о смердящем, сыне Смердящей!* Его бог убьет, вот увидишь, молчи!

Он в волнении подошел к Алеше и вдруг поцеловал его. Глаза его загорелись.

— Ракитин этого не поймет, — начал он весь как бы в каком-то восторге, — а ты, ты всё поймешь. Оттого и жаждал тебя. Видишь, я давно хотел тебе многое здесь, в этих облезлых стенах выразить, но

молчал о главнейшем: время как будто всё еще не приходило. Дождался теперь последнего срока, чтобы тебе душу вылить. Брат, я в себе в эти два последние месяца нового человека ощутил, воскрес во мне новый человек! Был заключен во мне, но никогда бы не явился, если бы не этот гром. Страшно! И что мне в том, что в рудниках буду двадцать лет молотком руду выколачивать, не боюсь я этого вовсе, а другое мне страшно теперь: чтобы не отошел от меня воскресший человек! Можно найти и там, в рудниках, под землею, рядом с собой, в таком же каторжном и убийце человеческое сердце и сойтись с ним, потому что и там можно жить, и любить, и страдать! Можно возродить и воскресить в этом каторжном человеке замершее сердце, можно ухаживать за ним годы и выбить наконец из вертепа на свет уже душу высокую, страдальческое сознание, возродить ангела, воскресить героя! А их ведь много, их сотни, и все мы за них виноваты! Зачем мне тогда приснилось «дитё» в такую минуту? «Отчего бедно дитё?» Это пророчество мне было в ту минуту! За «дитё» и пойду. Потому что все за всех виноваты. За всех «дитё», потому что есть малые дети и большие дети. Все — «дитё». За всех и пойду, потому что надобно же кому-нибудь и за всех пойти. Я не убил отца, но мне надо пойти. Принимаю! Мне это здесь всё пришло… вот в этих облезлых стенах. А их ведь много, их там сотни, подземных-то, с молотками в руках. О да, мы будем в цепях, и не будет воли, но тогда, в великом горе нашем, мы вновь воскреснем в радость, без которой человеку жить невозможно, а богу быть, ибо бог дает радость, это его привилегия, великая… Господи, истай человек в молитве! Как я буду там под землей без бога? Врет Ракитин: если бога с земли изгонят, мы под землей его сретим! Каторжному без бога быть невозможно, невозможнее даже, чем некаторжному! И тогда мы, подземные человеки, запоем из недр земли трагический гимн богу, у которого радость! Да здравствует бог и его радость! Люблю его!

Митя, произнося свою дикую речь, почти задыхался. Он побледнел, губы его вздрагивали, из глаз катились слезы.

— Нет, жизнь полна, жизнь есть и под землею! — начал он опять. — Ты не поверишь, Алексей, как я теперь жить хочу, какая жажда существовать и сознавать именно в этих облезлых стенах во мне зародилась! Ракитин этого не понимает, ему бы только дом выстроить да жильцов пустить, но я ждал тебя. Да и что такое страдание? Не боюсь его, хотя бы оно было бесчисленно. Теперь не боюсь, прежде боялся.

Знаешь, я, может быть, не буду и отвечать на суде… И, кажется, столько во мне этой силы теперь, что я всё поборю, все страдания, только чтобы сказать и говорить себе поминутно: я есмь! В тысяче мук — я есмь, в пытке корчусь — но есмь! В столпе сижу, но и я существую, солнце вижу, а не вижу солнца, то знаю, что оно есть. А знать, что есть солнце, — это уже вся жизнь. Алеша, херувим ты мой, меня убивают разные философии, черт их дери! Брат Иван…

— Что брат Иван? — перебил было Алеша, но Митя не расслышал.

— Видишь, я прежде этих всех сомнений никаких не имел, но всё во мне это таилось. Именно, может, оттого, что идеи бушевали во мне неизвестные, я и пьянствовал, и дрался, и бесился. Чтоб утолить в себе их, дрался, чтоб их усмирить, сдавить. Брат Иван не Ракитин, он таит идею. Брат Иван сфинкс и молчит, всё молчит. А меня бог мучит. Одно только это и мучит. А что, как его нет? Что, если прав Ракитин, что это идея искусственная в человечестве? Тогда, если его нет, то человек шеф земли, мироздания. Великолепно! Только как он будет добродетелен без богато? Вопрос! Я всё про это. Ибо кого же он будет тогда любить, человек-то? Кому благодарен-то будет, кому гимн-то воспоет? Ракитин смеется. Ракитин говорит, что можно любить человечество и без бога. Ну это сморчок сопливый может только так утверждать, а я понять не могу. Легко жить Ракитину: «Ты, — говорит он мне сегодня, — о расширении гражданских прав человека хлопочи лучше али хоть о том, чтобы цена на говядину не возвысилась; этим проще и ближе человечеству любовь окажешь, чем философиями». Я ему на это и отмочил: «А ты, говорю, без богато, сам еще на говядину цену набьешь, коль под руку попадет, и наколотишь рубль на копейку».* Рассердился. Ибо что такое добродетель? — отвечай ты мне, Алексей. У меня одна добродетель, а у китайца другая — вещь, значит, относительная. Или нет? Или не относительная? Вопрос коварный! Ты не засмеешься, если скажу, что я две ночи не спал от этого. Я удивляюсь теперь только тому, как люди там живут и об этом ничего не думают. Суета! У Ивана бога нет. У него идея. Не в моих размерах. Но он молчит. Я думаю, он масон. Я его спрашивал — молчит. В роднике у него хотел водицы испить — молчит. Один только раз одно словечко сказал.

— Что сказал? — поспешно поднял Алеша.

— Я ему говорю: стало быть, всё позволено, коли так? Он нахмурился: «Федор Павлович, говорит, папенька наш, был поросенок,

но мыслил он правильно». Вот ведь что отмочил. Только всего и сказал. Это уже почище Ракитина.

— Да, — горько подтвердил Алеша. — Когда он у тебя был?

— Об этом после, теперь другое. Я об Иване не говорил тебе до сих пор почти ничего. Откладывал до конца. Когда эта штука моя здесь кончится и скажут приговор, тогда тебе кое-что расскажу, всё расскажу. Страшное тут дело одно… А ты будешь мне судья в этом деле. А теперь и не начинай об этом, теперь молчок. Вот ты говоришь об завтрашнем, о суде, а веришь ли, я ничего не знаю.

— Ты с этим адвокатом говорил?

— Что адвокат! Я ему про всё говорил. Мягкая шельма, столичная. Бернар! Только не верит мне ни на сломанный грош. Верит, что я убил, вообрази себе, — уж я вижу. «Зачем же, спрашиваю, в таком случае вы меня защищать приехали?» Наплевать на них. Тоже доктора выписали, сумасшедшим хотят меня показать. Не позволю! Катерина Ивановна «свой долг» до конца исполнить хочет. С натуги! — Митя горько усмехнулся. — Кошка! Жестокое сердце! А ведь она знает, что я про нее сказал тогда в Мокром, что она «великого гнева» женщина! Передали. Да, показания умножились, как песок морской! Григорий стоит на своем. Григорий честен, но дурак. Много людей честных благодаря тому, что дураки. Это — мысль Ракитина. Григорий мне враг. Иного выгоднее иметь в числе врагов, чем друзей. Говорю это про Катерину Ивановну. Боюсь, ох боюсь, что она на суде расскажет про земной поклон после четырех-то тысяч пятисот! До конца отплатит, последний кодрант. Не хочу ее жертвы![*] Устыдят они меня на суде! Как-то вытерплю. Сходи к ней, Алеша, попроси ее, чтобы не говорила этого на суде. Аль нельзя? Да черт, всё равно, вытерплю! А ее не жаль. Сама желает. Поделом вору мука. Я, Алексей, свою речь скажу. — Он опять горько усмехнулся. — Только… только Груша-то, Груша-то, господи! Она-то за что такую муку на себя теперь примет! — воскликнул он вдруг со слезами. — Убивает меня Груша, мысль о ней убивает меня, убивает! Она давеча была у меня…

— Она мне рассказывала. Она очень была сегодня тобою огорчена.

— Знаю. Черт меня дери за характер. Приревновал! Отпуская раскаялся, целовал ее. Прощенья не попросил.

— Почему не попросил? — воскликнул Алеша.

Митя вдруг почти весело рассмеялся.

— Боже тебя сохрани, милого мальчика, когда-нибудь у любимой женщины за вину свою прощения просить! У любимой особенно, особенно, как бы ни был ты пред ней виноват! Потому женщина — это, брат, черт знает что такое, уж в них-то я по крайней мере знаю толк! Ну попробуй пред ней сознаться в вине, «виноват, дескать, прости, извини»: тут-то и пойдет град попреков! Ни за что не простит прямо и просто, а унизит тебя до тряпки, вычитает, чего даже не было, всё возьмет, ничего не забудет, своего прибавит, и тогда уж только простит. И это еще лучшая, лучшая из них! Последние поскребки выскребет и всё тебе на голову сложит — такая, я тебе скажу, живодерность в них сидит, во всех до единой, в этих ангелах-то, без которых жить-то нам невозможно! Видишь, голубчик, я откровенно и просто скажу: всякий порядочный человек должен быть под башмаком хоть у какой-нибудь женщины. Таково мое убеждение; не убеждение, а чувство. Мужчина должен быть великодушен, и мужчину это не замарает. Героя даже на замарает, Цезаря не замарает![*] Ну, а прощения все-таки не проси, никогда и ни за что. Помни правило: преподал тебе его брат твой Митя, от женщин погибший. Нет, уж я лучше без прощения Груше чем-нибудь заслужу. Благоговею я пред ней, Алексей, благоговею! Не видит только она этого, нет, всё ей мало любви. И томит она меня, любовью томит. Что прежде! Прежде меня только изгибы инфернальные томили, а теперь я всю ее душу в свою душу принял и через нее сам человеком стал! Повенчают ли нас? А без того я умру от ревности. Так и снится что-нибудь каждый день… Что она тебе обо мне говорила?

Алеша повторил все давешние речи Грушеньки. Митя выслушал подробно, многое переспросил и остался доволен.

— Так не сердится, что ревную, — воскликнул он. — Прямо женщина! «У меня у самой жестокое сердце». Ух, люблю таких, жестоких-то, хотя и не терплю, когда меня ревнуют, не терплю! Драться будем. Но любить, — любить ее буду бесконечно. Повенчают ли нас? Каторжных разве венчают? Вопрос. А без нее я жить не могу…

Митя нахмуренно прошелся по комнате. В комнате становилось почти темно. Он вдруг стал страшно озабочен.

— Так секрет, говорит, секрет? У меня, дескать, втроем против нее заговор, и «Катька», дескать, замешана? Нет, брат Грушенька, это не то. Ты тут маху дала, своего глупенького женского маху! Алеша, голубчик, эх, куда ни шло! Открою я тебе наш секрет!

Он оглянулся во все стороны, быстро вплоть подошел к стоявшему пред ним Алеше и зашептал ему с таинственным видом, хотя по-настоящему их никто не мог слышать: старик сторож дремал в углу на лавке, а до караульных солдат ни слова не долетало.

— Я тебе всю нашу тайну открою! — зашептал спеша Митя. — Хотел потом открыть, потому что без тебя разве могу на что решиться? Ты у меня всё. Я хоть и говорю, что Иван над нами высший, но ты у меня херувим. Только твое решение решит. Может, ты-то и есть высший человек, а не Иван. Видишь, тут дело совести, дело высшей совести — тайна столь важная, что я справиться сам не смогу и всё отложил до тебя. А все-таки теперь рано решать, потому надо ждать приговора: приговор выйдет, тогда ты и решишь судьбу. Теперь не решай; я тебе сейчас скажу, ты услышишь, но не решай. Стой и молчи. Я тебе не всё открою. Я тебе только идею скажу, без подробностей, а ты молчи. Ни вопроса, ни движения, согласен? А впрочем, господи, куда я дену глаза твои? Боюсь, глаза твои скажут решение, хотя бы ты и молчал. Ух, боюсь! Алеша, слушай: брат Иван мне предлагает *бежать.* Подробностей не говорю: всё предупреждено, всё может устроиться. Молчи, не решай. В Америку с Грушей. Ведь я без Груши жить не могу! Ну как ее ко мне там не пустят? Каторжных разве венчают? Брат Иван говорит, что нет. А без Груши что я там под землей с молотком-то? Я себе только голову раздроблю этим молотком! А с другой стороны, совесть-то? От страдания ведь убежал! Было указание — отверг указание, был путь очищения — поворотил налево кругом. Иван говорит, что в Америке «при добрых наклонностях» можно больше пользы принести, чем под землей. Ну, а гимн-то наш подземный где состоится? Америка что, Америка опять суета! Да и мошенничества тоже, я думаю, много в Америке-то. От распятья убежал! Потому ведь говорю тебе, Алексей, что ты один понять это можешь, а больше никто, для других это глупости, бред, вот всё то, что я тебе про гимн говорил. Скажут, с ума сошел аль дурак. А я не сошел с ума, да и не дурак. Понимает про гимн и Иван, ух понимает, только на это не отвечает, молчит. Гимну не верит. Не говори, не говори: я ведь вижу, как ты смотришь: ты уж решил! Не решай, пощади меня, я без Груши жить не могу, подожди суда!

Митя кончил как исступленный. Он держал Алешу обеими руками за плечи и так и впился в его глаза своим жаждущим, воспаленным

взглядом.

— Каторжных разве венчают? — повторил он в третий раз, молящим голосом.

Алеша слушал с чрезвычайным удивлением и глубоко был потрясен.

— Скажи мне одно, — проговорил он, — Иван очень настаивает, и кто это выдумал первый?

— Он, он выдумал, он настаивает! Он ко мне всё не ходил и вдруг пришел неделю назад и прямо с этого начал. Страшно настаивает. Не просит, а велит. В послушании не сомневается, хотя я ему всё мое сердце, как тебе, вывернул и про гимн говорил. Он мне рассказал, как и устроит, все сведения собрал, но это потом. До истерики хочет. Главное деньги: десять тысяч, говорит, тебе на побег, а двадцать тысяч на Америку, а на десять тысяч, говорит, мы великолепный побег устроим.

.— И мне отнюдь не велел передавать? — переспросил снова Алеша.

— Отнюдь, никому, а главное, тебе: тебе ни за что! Боится, верно, что ты как совесть предо мной станешь. Не говори ему, что я тебе передал. Ух, не говори!

— Ты прав, — решил Алеша, — решить невозможно раньше приговора суда. После суда сам и решишь; тогда сам в себе нового человека найдешь, он и решит.

— Нового человека аль Бернара, тот и решит по-бер-наровски! Потому, кажется, я и сам Бернар презренный! — горько осклабился Митя.

— Но неужели, неужели, брат, ты так уж совсем не надеешься оправдаться?

Митя судорожно вскинул вверх плечами и отрицательно покачал головой.

— Алеша, голубчик, тебе пора! — вдруг заспешил он. — Смотритель закричал на дворе, сейчас сюда будет. Нам поздно, беспорядок. Обними меня поскорей, поцелуй, перекрести меня, голубчик, перекрести на завтрашний крест…

Они обнялись и поцеловались.

— А Иван-то, — проговорил вдруг Митя, — бежать-то предложил, а сам ведь верит, что я убил!

Грустная усмешка выдавилась на его губах.

— Ты спрашивал его: верит он или нет? — спросил Алеша.

— Нет, не спрашивал. Хотел спросить, да не смог, силы не хватило. Да всё равно, я ведь по глазам вижу. Ну, прощай!

Еще раз поцеловались наскоро, и Алеша уже было вышел, как вдруг Митя кликнул его опять:

— Становись предо мной, вот так.

И он опять крепко схватил Алешу обеими руками за плечи. Лицо его стало вдруг совсем бледно, так что почти в темноте это было страшно заметно. Губы перекосились, взгляд впился в Алешу.

— Алеша, говори мне полную правду, как пред господом богом: веришь ты, что я убил, или не веришь? Ты-то, сам-то ты, веришь или нет? Полную правду, не лги! — крикнул он ему исступленно.

Алешу как бы всего покачнуло, а в сердце его, он слышал это, как бы прошло что-то острое.

— Полно, что ты… — пролепетал было он как потерянный.

— Всю правду, всю, не лги! — повторил Митя.

— Ни единой минуты не верил, что ты убийца, — вдруг вырвалось дрожащим голосом из груди Алеши, и он поднял правую руку вверх, как бы призывая бога в свидетели своих слов. Блаженство озарило мгновенно всё лицо Мити.

— Спасибо тебе! — выговорил он протяжно, точно испуская вздох после обморока. — Теперь ты меня возродил… Веришь ли: до сих пор боялся спросить тебя, это тебя-то, тебя! Ну иди, иди! Укрепил ты меня на завтра, благослови тебя бог! Ну, ступай, люби Ивана! — вырвалось последним словом у Мити.

Алеша вышел весь в слезах. Такая степень мнительности Мити, такая степень недоверия его даже к нему, к Алеше, — всё это вдруг раскрыло пред Алешей такую бездну безвыходного горя и отчаяния в душе его несчастного брата, какой он и не подозревал прежде. Глубокое, бесконечное сострадание вдруг охватило и измучило его мгновенно. Пронзенное сердце его страшно болело. «Люби Ивана!» — вспомнились ему вдруг сейчашние слова Мити. Да он и шел к Ивану Ему еще утром страшно надо было видеть Ивана. Не менее, как Митя, его мучил Иван, а теперь, после свидания с братом, более чем когда-нибудь.

V

Не ты, не ты!

По дороге к Ивану пришлось ему проходить мимо дома, в котором квартировала Катерина Ивановна. В окнах был свет. Он вдруг остановился и решил войти. Катерину Ивановну он не видал уже более недели. Но ему теперь пришло на ум, что Иван может быть сейчас у ней, особенно на кануне такого дня. Позвонив и войдя на лестницу тускло освещенную китайским фонарем, он увидал спускавшегося сверху человека, в котором, поравнявшись, узнал брата. Тот, стало быть, выходил уже от Катерины Ивановны.

— Ах, это только ты, — сказал сухо Иван Федорович. — Ну, прощай. Ты к ней?

— Да.

— Не советую, она «в волнении», и ты еще пуще ее расстроишь.

— Нет, нет! — прокричал вдруг голос сверху из отворившейся мигом двери. — Алексей Федорович, вы от него?

— Да, я был у него.

— Мне что-нибудь прислал сказать? Войдите, Алеша, и вы, Иван Федорович, непременно, непременно воротитесь. Слы-ши-те!

В голосе Кати зазвучала такая повелительная нотка, что Иван Федорович, помедлив одно мгновение, решился, однако же, подняться опять вместе с Алешей.

— Подслушивала! — раздражительно прошептал он про себя, но Алеша расслышал.

— Позвольте мне остаться в пальто, — проговорил Иван Федорович, вступая в залу. — Я и не сяду. Я более одной минуты не останусь.

— Садитесь, Алексей Федорович, — проговорила Катерина Ивановна, сама оставаясь стоя. Она изменилась мало за это время, но темные глаза ее сверкали зловещим огнем. Алеша помнил потом, что она показалась ему чрезвычайно хороша собой в ту минуту.

— Что ж он велел передать?

— Только одно, — сказал Алеша, прямо смотря ей в лицо, — чтобы вы щадили себя и не показывали ничего на суде о том… — он несколько замялся, — что было между вами… во время самого первого вашего знакомства… в том городе…

— А, это про земной поклон за те деньги! — подхватила она,

горько рассмеявшись. — Что ж, он за себя или за меня боится — а? Он сказал, чтоб я щадила — кого же? Его иль себя? Говорите, Алексей Федорович.

Алеша всматривался пристально, стараясь понять ее.

— И себя, и его, — проговорил он тихо.

— То-то, — как-то злобно отчеканила она и вдруг покраснела. — Вы не знаете еще меня, Алексей Федорович, — грозно сказала она, — да и я еще не знаю себя. Может быть, вы захотите меня растоптать ногами после завтрашнего допроса.

— Вы покажете честно, — сказал Алеша, — только этого и надо.

— Женщина часто бесчестна, — проскрежетала она. — Я еще час тому думала, что мне страшно дотронуться до этого изверга… как до гада… и вот нет, он всё еще для меня человек! Да убил ли он? Он ли убил? — воскликнула она вдруг истерически, быстро обращаясь к Ивану Федоровичу. Алеша мигом понял, что этот самый вопрос она уже задавала Ивану Федоровичу, может, всего за минуту пред его приходом, и не в первый раз, а в сотый, и что кончили они ссорой.

— Я была у Смердякова… Это ты, ты убедил меня, что он отцеубийца. Я только тебе и поверила! — продолжала она, всё обращаясь к Ивану Федоровичу. Тот как бы с натуги усмехнулся. Алеша вздрогнул, услышав это *ты*. Он и подозревать не мог таких отношений.

— Ну, однако, довольно, — отрезал Иван. — Я пойду. Приду завтра. — И тотчас же повернувшись, вышел из комнаты и прошел прямо на лестницу. Катерина Ивановна вдруг с каким-то повелительным жестом схватила Алешу за обе руки.

— Ступайте за ним! Догоните его! Не оставляйте его одного ни минуты, — быстро зашептала она. — Он помешанный. Вы не знаете, что он помешался? У него горячка, нервная горячка! Мне доктор говорил, идите, бегите за ним…

Алеша вскочил и бросился за Иваном Федоровичем. Тот не успел отойти и пятидесяти шагов.

— Чего тебе? — вдруг обернулся он к Алеше, видя, что тот его догоняет, — велела тебе бежать за мной, потому что я сумасшедший. Знаю наизусть, — раздражительно прибавил он.

— Она, разумеется, ошибается, но она права, что ты болен, — сказал Алеша. — Я сейчас смотрел у ней на твое лицо; у тебя очень

больное лицо, очень, Иван!

Иван шел не останавливаясь. Алеша за ним.

— А ты знаешь, Алексей Федорович, как сходят с ума? — спросил Иван совсем вдруг тихим, совсем уже не раздражительным голосом, в котором внезапно послышалось самое простодушное любопытство.

— Нет, не знаю; полагаю, что много разных видов сумасшествия.

— А над самим собой можно наблюдать, что сходишь с ума?

— Я думаю, нельзя ясно следить за собой в таком случае, — с удивлением отвечал Алеша. Иван на полминутки примолк.

— Если ты хочешь со мной о чем говорить, то перемени, пожалуйста, тему, — сказал он вдруг.

— А вот, чтобы не забыть, к тебе письмо, — робко проговорил Алеша и, вынув из кармана, протянул к нему письмо Лизы. Они как раз подошли к фонарю. Иван тотчас же узнал руку.

— А, это от того бесенка! — рассмеялся он злобно и, не распечатав конверта, вдруг разорвал его на несколько кусков и бросил на ветер. Клочья разлетелись.

— Шестнадцати лет еще нет, кажется, и уж предлагается! — презрительно проговорил он, опять зашагав по улице.

— Как предлагается? — воскликнул Алеша.

— Известно, как развратные женщины предлагаются.

— Что ты, Иван, что ты? — горестно и горячо заступился Алеша. — Это ребенок, ты обижаешь ребенка! Она больна, она сама очень больна, она тоже, может быть, с ума сходит… Я не мог тебе не передать ее письма… Я, напротив, от тебя хотел что услышать… чтобы спасти ее.

— Нечего тебе от меня слышать. Коль она ребенок, то я ей не нянька. Молчи, Алексей. Не продолжай. Я об этом даже не думаю.

Помолчали опять с минуту.

— Она теперь всю ночь молить божию матерь будет, чтоб указала ей, как завтра на суде поступить, — резко и злобно заговорил он вдруг опять.

— Ты… ты об Катерине Ивановне?

— Да. Спасительницей или губительницей Митеньки ей явиться? О том молить будет, чтоб озарило ее душу. Сама еще, видите ли, не знает, приготовиться не успела. Тоже меня за няньку принимает, хочет, чтоб я ее убаюкал!

— Катерина Ивановна любит тебя, брат, — с грустным чувством проговорил Алеша.

— Может быть. Только я до нее не охотник.

— Она страдает. Зачем же ты ей говоришь… иногда… такие слова, что она надеется? — с робким упреком продолжал Алеша, — ведь я знаю, что ты ей подавал надежду, прости, что я так говорю, — прибавил он.

— Не могу я тут поступить как надо, разорвать и ей прямо сказать! — раздражительно произнес Иван. — Надо подождать, пока скажут приговор убийце. Если я разорву с ней теперь, она из мщения ко мне завтра же погубит этого негодяя на суде, потому что его ненавидит и знает, что ненавидит. Тут всё ложь, ложь на лжи! Теперь же, пока я с ней не разорвал, она все еще надеется и не станет губить этого изверга, зная, как я хочу вытащить его из беды. И когда только придет этот проклятый приговор!

Слова «убийца» и «изверг» больно отозвались в сердце Алеши.

— Да чем таким она может погубить брата? — спросил он, вдумываясь в слова Ивана. — Что она может показать такого, что прямо могло бы сгубить Митю?

— Ты этого еще не знаешь. У нее в руках один документ есть, собственноручный, Митенькин, математически доказывающий, что он убил Федора Павловича.

— Этого быть не может! — воскликнул Алеша.

— Как не может? Я сам читал.

— Такого документа быть не может! — с жаром повторил Алеша. — Не может быть, потому что убийца не он. Не он убил отца, не он!

Иван Федорович вдруг остановился.

— Кто же убийца, по-вашему, — как-то холодно по-видимому спросил он, и какая-то даже высокомерная нотка прозвучала в тоне вопроса.

— Ты сам знаешь кто, — тихо и проникновенно проговорил Алеша.

— Кто? Эта басня-то об этом помешанном идиоте эпилептике? Об Смердякове?

Алеша вдруг почувствовал, что весь дрожит.

— Ты сам знаешь кто, — бессильно вырвалось у него. Он

задыхался.

— Да кто, кто? — уже почти свирепо вскричал Иван. Вся сдержанность вдруг исчезла.

— Я одно только знаю, — всё так же почти шепотом проговорил Алеша. — Убил отца *не ты.*

— «Не ты»! Что такое не ты? — остолбенел Иван.

— Не ты убил отца, не ты! — твердо повторил Алеша. С полминуты длилось молчание.

— Да я и сам знаю, что не я, ты бредишь? — бледно и искривленно усмехнувшись, проговорил Иван. Он как бы впился глазами в Алешу. Оба опять стояли у фонаря.

— Нет, Иван, ты сам себе несколько раз говорил, что убийца ты.

— Когда я говорил?.. Я в Москве был… Когда я говорил? — совсем потерянно пролепетал Иван.

— Ты говорил это себе много раз, когда оставался один в эти страшные два месяца, — по-прежнему тихо и раздельно продолжал Алеша. Но говорил он уже как бы вне себя, как бы не своею волей, повинуясь какому-то непреодолимому велению. — Ты обвинял себя и признавался себе, что убийца никто как ты. Но убил не ты, ты ошибаешься, не ты убийца, слышишь меня, не ты! Меня бог послал тебе это сказать.

Оба замолчали. Целую длинную минуту протянулось это молчание. Оба стояли и всё смотрели друг другу в глаза. Оба были бледны. Вдруг Иван весь затрясся и крепко схватил Алешу за плечо.

— Ты был у меня! — скрежущим шепотом проговорил он. — Ты был у меня ночью, когда он приходил… Признавайся… ты его видел, видел?

— Про кого ты говоришь… про Митю? — в недоумении спросил Алеша.

— Не про него, к черту изверга! — исступленно завопил Иван. — Разве ты знаешь, что он ко мне ходит? Как ты узнал, говори!

— Кто *он?* Я не знаю, про кого ты говоришь, — пролепетал Алеша уже в испуге.

— Нет, ты знаешь… иначе как же бы ты… не может быть, чтобы ты не знал…

Но вдруг он как бы сдержал себя. Он стоял и как бы что-то обдумывал. Странная усмешка кривила его губы.

— Брат, — дрожащим голосом начал опять Алеша, — я сказал тебе это потому, что ты моему слову поверишь, я знаю это. Я тебе на всю жизнь это слово сказал: *не ты!* Слышишь, на всю жизнь. И это бог положил мне на душу тебе это сказать, хотя бы ты с сего часа навсегда возненавидел меня…

Но Иван Федорович, по-видимому, совсем уже успел овладеть собой.

— Алексей Федорович, — проговорил он с холодною усмешкой, — я пророков и эпилептиков не терплю; посланников божиих особенно, вы это слишком знаете. С сей минуты я с вами разрываю и, кажется, навсегда. Прошу сей же час, на этом же перекрестке, меня оставить. Да вам и в квартиру по этому проулку дорога. Особенно поберегитесь заходить ко мне сегодня! Слышите?

Он повернулся и, твердо шагая, пошел прямо, не оборачиваясь.

— Брат, — крикнул ему вслед Алеша, — если что-нибудь сегодня с тобой случится, подумай прежде всего обо мне!..

Но Иван не ответил. Алеша стоял на перекрестке у фонаря, пока Иван не скрылся совсем во мраке. Тогда он повернул и медленно направился к себе по переулку. И он, и Иван Федорович квартировали особо, на разных квартирах: ни один из них не захотел жить в опустевшем доме Федора Павловича. Алеша нанимал меблированную комнату в семействе одних мещан; Иван же Федорович жил довольно от него далеко и занимал просторное и довольно комфортное помещение во флигеле одного хорошего дома, принадлежавшего одной небедной вдове чиновнице. Но прислуживала ему в целом флигеле всего только одна древняя, совсем глухая старушонка, вся в ревматизмах, ложившаяся в шесть часов вечера и вставшая в шесть часов утра. Иван Федорович стал до странности в эти два месяца нетребователен и очень любил оставаться совсем один. Даже комнату, которую занимал, он сам убирал, а в остальные комнаты своего помещения даже и заходил редко. Дойдя до ворот своего дома и уже взявшись за ручку звонка, он остановился. Он почувствовал, что весь еще дрожит злобною дрожью. Вдруг он бросил звонок, плюнул, повернул назад и быстро пошел опять совсем на другой, противоположный конец города, версты за две от своей квартиры, в один крошечный, скосившийся бревенчатый домик, в котором квартировала Марья Кондратьевна, бывшая соседка Федора Павловича, приходившая к Федору Павловичу на кухню за

супом и которой Смердяков пел тогда свои песни и играл на гитаре. Прежний домик свой она продала и теперь проживала с матерью почти в избе, а больной, почти умирающий Смердяков, *с* самой смерти Федора Павловича поселился у них. Вот к нему-то и направился теперь Иван Федорович, влекомый одним внезапным и непобедимым соображением.

VI

Первое свидание со Смердяковым

Это уже в третий раз шел Иван Федорович говорить со Смердяковым по возвращении своем из Москвы. В первый раз после катастрофы он видел его и говорил с ним сейчас же в первый день своего приезда, затем посетил его еще раз две недели спустя. Но после этого второго раза свидания свои со Смердяковым прекратил, так что теперь с лишком месяц, как он уже не видал его и почти ничего не слыхал о нем. Воротился же тогда Иван Федорович из Москвы уже на пятый только день после смерти родителя, так что не застал и гроба его: погребение совершилось как раз накануне его приезда. Причина замедления Ивана Федоровича заключалась в том, что Алеша, не зная в точности его московского адреса, прибегнул, для посылки телеграммы, к Катерине Ивановне, а та, тоже в неведении настоящего адреса, телеграфировала к своей сестре и тетке, рассчитывая, что Иван Федорович сейчас же по прибытии в Москву к ним зайдет. Но он к ним зашел лишь на четвертый день по приезде и, прочтя телеграмму, тотчас же, конечно, сломя голову полетел к нам. У нас первого встретил Алешу, но, переговорив с ним, был очень изумлен, что тот даже и подозревать не хочет Митю, а прямо указывает на Смердякова как на убийцу, что было вразрез всем другим мнениям в нашем городе. Повидав затем исправника, прокурора, узнав подробности обвинения и ареста, он еще более удивился на Алешу и приписал его мнение лишь возбужденному до последней степени братскому чувству и состраданию его к Мите, которого Алеша, как и знал это Иван, очень любил. Кстати, промолвим лишь два слова раз навсегда о чувствах Ивана к брату Дмитрию Федоровичу: он его решительно не любил и много-много что чувствовал к нему иногда сострадание, но и то смешанное с большим

презрением, доходившим до гадливости. Митя весь, даже всею своею фигурой, был ему крайне несимпатичен. На любовь к нему Катерины Ивановны Иван смотрел с негодованием. С подсудимым Митей он, однако же, увиделся тоже в первый день своего прибытия, и это свидание не только не ослабило в нем убеждения в его виновности, а даже усилило его. Брата он нашел тогда в беспокойстве, в болезненном волнении. Митя был многоречив, но рассеян и раскидчив, говорил очень резко, обвинял Смердякова и страшно путался. Более всего говорил всё про те же три тысячи, которые «украл» у него покойник. «Деньги мои, они были мои, — твердил Митя, — если б я даже украл их, то был бы прав». Все улики, стоявшие против него, почти не оспаривал и если толковал факты в свою пользу, то опять-таки очень сбивчиво и нелепо — вообще как будто даже и не желая оправдываться вовсе пред Иваном или кем-нибудь, напротив, сердился, гордо пренебрегал обвинениями, бранился и кипятился. Над свидетельством Григория об отворенной двери лишь презрительно смеялся и уверял, что это «черт отворил». Но никаких связных объяснений этому факту не мог представить. Он даже успел оскорбить в это первое свидание Ивана Федоровича, резко сказав ему, что не тем его подозревать и допрашивать, которые сами утверждают, что «всё позволено». Вообще на этот раз с Иваном Федоровичем был очень недружелюбен. Сейчас после этого свидания с Митей Иван Федорович и направился тогда к Смердякову.

Еще в вагоне, летя из Москвы, он всё думал про Смердякова и про последний свой разговор с ним вечером накануне отъезда. Многое смущало его, многое казалось подозрительным. Но давая свои показания судебному следователю, Иван Федорович до времени умолчал о том разговоре. Всё отложил до свидания со Смердяковым. Тот находился тогда в городской больнице. Доктор Герценштубе и встретившийся Ивану Федоровичу в больнице врач Варвинский на настойчивые вопросы Ивана Федоровича твердо отвечали, что падучая болезнь Смердякова несомненна, и даже удивились вопросу: «Не притворялся ли он в день катастрофы?» Они дали ему понять, что припадок этот был даже необыкновенный, продолжался и повторялся несколько дней, так что жизнь пациента была в решительной опасности, и что только теперь, после принятых мер, можно уже сказать утвердительно, что больной останется в живых, хотя очень возможно

(прибавил доктор Герценштубе), что рассудок его останется отчасти расстроен «если не на всю жизнь, то на довольно продолжительное время». На нетерпеливый спрос Ивана Федоровича, что, «стало быть, он теперь сумасшедший?», ему ответили, что «этого в полном смысле еще нет, но что замечаются некоторые ненормальности». Иван Федорович положил сам узнать, какие это ненормальности. В больнице его тотчас же допустили к свиданию. Смердяков находился в отдельном помещении и лежал на койке. Тут же подле него была еще койка, которую занимал один расслабленный городской мещанин, весь распухший от водяной, видимо готовый завтра или послезавтра умереть; разговору он помешать не мог. Смердяков осклабился недоверчиво, завидев Ивана Федоровича, и в первое мгновение как будто даже сробел. Так по крайней мере мелькнуло у Ивана Федоровича. Но это было лишь мгновение, напротив, во все остальное время Смердяков почти поразил его своим спокойствием. С самого первого взгляда на него Иван Федорович несомненно убедился в полном и чрезвычайном болезненном его состоянии: он был очень слаб, говорил медленно и как бы с трудом ворочая языком: очень похудел и пожелтел. Во все минут двадцать свидания жаловался на головную боль и на лом во всех членах. Скопческое, сухое лицо его стало как будто таким маленьким, височки были всклочены, вместо хохолка торчала вверх одна только тоненькая прядка волосиков. Но прищуренный и как бы на что-то намекающий левый глазок выдавал прежнего Смердякова. «С умным человеком и поговорить любопытно», — тотчас же вспомнилось Ивану Федоровичу. Он уселся у него в ногах на табурете. Смердяков со страданием пошевельнулся всем телом на постели, но не заговорил первый, молчал, да и глядел уже как бы не очень любопытно.

— Можешь со мной говорить? — спросил Иван Федорович, — очень не утомлю.

— Очень могу-с, — промямлил Смердяков слабым голосом. — Давно приехать изволили? — прибавил он снисходительно, как бы поощряя сконфузившегося посетителя.

— Да вот только сегодня… Кашу вашу здешнюю расхлебывать.

— Смердяков вздохнул.

— Чего вздыхаешь, ведь ты знал? — прямо брякнул Иван Федорович.

Смердяков солидно помолчал.

— Как же это было не знать-с? Наперед ясно было. Только как же было и знать-с, что так поведут?

— Что поведут? Ты не виляй! Ведь вот ты же предсказал, что с тобой падучая будет тотчас, как в погреб полезешь? Прямо так на погреб и указал.

— Вы это уже в допросе показали? — спокойно полюбопытствовал Смердяков.

Иван Федорович вдруг рассердился.

— Нет, еще не показал, но покажу непременно. Ты мне, брат, многое разъяснить сейчас должен, и знай, голубчик, что я с собою играть не позволю!

— А зачем бы мне такая игра-с, когда на вас все мое упование, единственно как на господа бога-с! — проговорил Смердяков, все так же совсем спокойно и только на минутку закрыв глазки.

— Во-первых, — приступил Иван Федорович, — я знаю, что падучую нельзя наперед предсказать. Я справлялся, ты не виляй. День и час нельзя предсказать. Как же ты мне тогда предсказал и день и час, да еще и с погребом? Как ты мог наперед узнать, что провалишься именно в этот погреб в припадке, если не притворился в падучей нарочно?

— В погреб надлежало и без того идти-с, в день по нескольку даже раз-с, — не спеша протянул Смердяков. — Так точно год тому назад я с чердака полетел-с. Беспременно так, что падучую нельзя предсказать вперед днем и часом, но предчувствие всегда можно иметь.

— А ты предсказал день и час!

— Насчет моей болезни падучей-с осведомьтесь всего лучше, сударь, у докторов здешних: истинная ли была со мной али не истинная, а мне и говорить вам больше на сей предмет нечего.

— А погреб? Погреб-то как ты предузнал?

— Дался вам этот самый погреб! Я тогда, как в этот погреб полез, то в страхе был и в сумлении; потому больше в страхе, что был вас лишимшись и ни от кого уже защиты не ждал в целом мире. Лезу я тогда в этот самый погреб и думаю: «Вот сейчас придет, вот она ударит, провалюсь али нет?», и от самого этого сумления вдруг схватила меня в горле эта самая неминучая спазма-с… ну и полетел. Всё это самое и весь разговор наш предыдущий с вами-с, накануне того дня вечером у ворот-с, как я вам тогда мой страх сообщил и про погреб-с, — всё это я в подробности открыл господину доктору Герценштубе и следователю

Николаю Парфеновичу, и всё они в протокол записали-с. А здешний доктор господин Варвинский так пред всеми ими особо настаивали, что так именно от думы оно и произошло, от самой то есть той мнительности, «что вот, дескать, упаду аль не упаду?» А она тут и подхватила. Так и записали-с, что беспременно этому так и надо было произойти, от единого то есть моего страху-с.

Проговорив это, Смердяков, как бы измученный утомлением, глубоко перевел дыхание.

— Так ты уж это объявлял в показании? — спросил несколько опешенный Иван Федорович. Он именно хотел было пугнуть его тем, что объявит про их тогдашний разговор, а оказалось, что тот уж и сам всё объявил.

— Чего мне бояться? Пускай всю правду истинную запишут, — твердо произнес Смердяков.

— И про наш разговор с тобой у ворот всё до слова рассказал?

— Нет, не то чтобы всё до слова-с.

— А что представляться в падучей умеешь, как хвастался мне тогда, тоже сказал?

— Нет, этого тоже не сказал-с.

— Скажи ты мне теперь, для чего ты меня тогда в Чермашню посылал?

— Боялся, что в Москву уедете, в Чермашню всё же ближе-с.

— Врешь, ты сам приглашал меня уехать: уезжайте, говорил, от греха долой!

— Это я тогда по единому к вам дружеству и по сердечной моей преданности, предчувствуя в доме беду-с, вас жалеючи. Только себя больше вашего сожалел-с. Потому и говорил: уезжайте от греха, чтобы вы поняли, что дома худо будет, и остались бы родителя защитить.

— Так ты бы прямее сказал, дурак! — вспыхнул вдруг Иван Федорович.

— Как же бы я мог тогда прямее сказать-с? Один лишь страх во мне говорил-с, да и вы могли осердиться. Я, конечно, опасаться мог, чтобы Дмитрий Федорович не сделали какого скандалу, и самые эти деньги не унесли, так как их всё равно что за свои почитали, а вот кто же знал, что таким убивством кончится? Думал, они просто только похитят эти три тысячи рублей, что у барина под тюфяком лежали-с, в пакете-с, а они вот убили-с. Где же и вам угадать было, сударь?

— Так если сам говоришь, что нельзя было угадать, как же я мог догадаться и остаться? Что ты путаешь? — вдумываясь, проговорил Иван Федорович.

— А потому и могли догадаться, что я вас в Чермашню направляю вместо этой Москвы-с.

— Да как тут догадаться!

Смердяков казался очень утомленным и опять помолчал с минуту.

— Тем самым-с догадаться могли-с, что коли я вас от Москвы в Чермашню отклоняю, то, значит, присутствия вашего здесь желаю ближайшего, потому что Москва далеко, а Дмитрий Федорович, знамши, что вы недалеко, не столь ободрены будут. Да и меня могли в большей скорости, в случае чего, приехать и защитить, ибо сам я вам на болезнь Григория Васильича к тому же указывал, да и то, что падучей боюсь. А объяснив вам про эти стуки, по которым к покойному можно было войти, и что они Дмитрию Федоровичу через меня все известны, думал, что вы уже сами тогда догадаетесь, что они что-нибудь непременно совершат, и не то что в Чермашню, а и вовсе останетесь.

«Он очень связно говорит, — подумал Иван Федорович, — хоть и мямлит; про какое же Герценштубе говорил расстройство способностей?»

— Хитришь ты со мной, черт тебя дери! — воскликнул он, осердившись.

— А я, признаться, тогда подумал, что вы уж совсем догадались, — с самым простодушным видом отпарировал Смердяков.

— Кабы догадался, так остался бы! — вскричал Иван Федорович, опять вспыхнув.

— Ну-с, а я-то думал, что вы, обо всем догадамшись, скорее как можно уезжаете лишь от греха одного, чтобы только убежать куда-нибудь, себя спасая от страху-с.

— Ты думал, что все такие же трусы, как ты?

— Простите-с, подумал, что и вы, как и я.

— Конечно, надо было догадаться, — волновался Иван, — да я и догадывался об чем-нибудь мерзком с твоей стороны… Только ты врешь, опять врешь, — вскричал он, вдруг припомнив. — Помнишь, как ты к тарантасу тогда подошел и мне сказал: «С умным человеком и поговорить любопытно». Значит, рад был, что я уезжаю, коль похвалил?

Смердяков еще и еще раз вздохнул. В лице его как бы показалась

краска.

— Если был рад, — произнес он, несколько задыхаясь, — то тому единственно, что не в Москву, а в Чермашню согласились. Потому всё же ближе; а только я вам те самые слова не в похвалу тогда произнес, а в попрек-с. Не разобрали вы этого-с.

— В какой попрек?

— А то, что, предчувствуя такую беду, собственного родителя оставляете-с и нас защитить не хотите, потому что меня за эти три тысячи всегда могли притянуть, что я их украл-с.

— Черт тебя дери! — опять обругался Иван. — Стой: ты про знаки, про стуки эти, следователю и прокурору объявил?

— Всё как есть объявил-с.

Иван Федорович опять про себя удивился.

— Если я подумал тогда об чем, — начал он опять, — то это про мерзость какую-нибудь единственно с твоей стороны. Дмитрий мог убить, но что он украдет — я тогда не верил… А с твоей стороны всякой мерзости ждал. Сам же ты мне сказал, что притворяться в падучей умеешь, для чего ты это сказал?

— По единому моему простодушию. Да и никогда я в жизни не представлялся в падучей нарочно, а так только, чтоб похвалиться пред вами, сказал. Одна глупость-с. Полюбил я вас тогда очень и был с вами по всей простоте.

— Брат прямо тебя обвиняет, что ты убил и что ты украл.

— Да им что же больше остается? — горько осклабился Смердяков, — и кто же им поверит после всех тех улик? Дверь-то Григорий Васильевич отпертую видели-с, после этого как же-с. Да что уж, бог с ними! Себя спасая, дрожат…

Он тихо помолчал и вдруг, как бы сообразив, прибавил:

— Ведь вот-с, опять это самое: они на меня свалить желают, что это моих рук дело-с, — это я уже слышал-с, — а вот хоть бы это самое, что я в падучей представляться мастер ну сказал ли бы я вам наперед, что представляться умею, если б у меня в самом деле какой замысел тогда был на родителя вашего? Коль такое убивство уж я замыслил, то можно ли быть столь дураком, чтобы вперед на себя такую улику сказать, да еще сыну родному помилуйте-с?! Похоже это на вероятие? Это, чтоб это могло быть-с, так, напротив, совсем никогда-с. Вот теперь этого нашего с вами разговору никто не слышит, кроме самого этого

провидения-с, а если бы вы сообщили прокурору и Николаю Парфеновичу, так тем самым могли бы меня вконец за щитить-с: ибо что за злодей за такой, коли заранее столь простодушен? Все это рассудить очень могут.

— Слушай, — встал с места Иван Федорович, пораженный последним доводом Смердякова и прерывая разговор, — я тебя вовсе не подозреваю и даже считаю смешным обвинять… напротив, благодарен тебе, что ты меня успокоил. Теперь иду, но опять зайду. Пока прощай, выздоравливай. Не нуждаешься ли в чем?

— Во всем благодарен-с Марфа Игнатьевна не забывает меня-с и во всем способствует, коли что мне надо, по прежней своей доброте. Ежедневно навещают добрые люди.

— До свидания. Я, впрочем, про то, что ты притвориться умеешь, не скажу… да и тебе советую не показывать, — проговорил вдруг почему-то Иван.

— Оченно понимаю-с. А коли вы этого не покажете, то и я-с всего нашего с вами разговору тогда у ворот не объявлю…

Тут случилось так, что Иван Федорович вдруг вышел и, только пройдя уже шагов десять по коридору, вдруг почувствовал, что в последней фразе Смердякова заключался какой-то обидный смысл. Он хотел было уже вернуться, но это только мелькнуло, и проговорив: «Глупости!» — он поскорее пошел из больницы. Главное, он чувствовал, что действительно был успокоен, и именно тем обстоятельством, что виновен не Смердяков, а брат его Митя, хотя, казалось бы, должно было выйти напротив. Почему так было — он не хотел тогда разбирать, даже чувствовал отвращение копаться в своих ощущениях. Ему поскорее хотелось как бы что-то забыть. Затем в следующие несколько дней он уже совсем убедился в виновности Мити, когда ближе и основательнее ознакомился со всеми удручавшими того уликами. Были показания самых ничтожных людей, но почти потрясающие, например Фени и ее матери. Про Перхотина, про трактир, про лавку Плотниковых, про свидетелей в Мокром и говорить было нечего. Главное, удручали подробности. Известие о тайных «стуках» поразило следователя и прокурора почти в той же степени, как и показание Григория об отворенной двери. Жена Григория, Марфа Игнатьевна, на спрос Ивана Федоровича, прямо заявила ему, что Смердяков всю ночь лежал у них за перегородкой, «трех шагов от

нашей постели не было», и что хоть и спала она сама крепко, но много раз пробуждалась, слыша, как он тут стонет: «Всё время стонал, беспрерывно стонал». Поговорив с Герценштубе и сообщив ему свое мнение о том, что Смердяков вовсе не кажется ему помешанным, а только слабым, он только вызвал у старика тоненькую улыбочку. «А вы знаете, чем он теперь особенно занимается? — спросил он Ивана Федоровича, — французские вокабулы наизусть учит; у него под подушкой тетрадка лежит и французские слова русскими буквами кем-то записаны, хе-хе-хе!» Иван Федорович оставил наконец все сомнения. О брате Дмитрии он уже и подумать не мог без омерзения. Одно было все-таки странно: что Алеша упорно продолжал стоять на том, что убил не Дмитрий, а «по всей вероятности» Смердяков. Иван всегда чувствовал, что мнение Алеши для него высоко, а потому теперь очень недоумевал на него. Странно было и то, что Алеша не искал с ним разговоров о Мите и сам не начинал никогда, а лишь отвечал на вопросы Ивана. Это тоже сильно заметил Иван Федорович. Впрочем, в то время он очень был развлечен одним совсем посторонним обстоятельством: приехав из Москвы, он в первые же дни весь и бесповоротно отдался пламенной и безумной страсти своей к Катерине Ивановне. Здесь не место начинать об этой новой страсти Ивана Федоровича, отразившейся потом на всей его жизни: это всё могло бы послужить канвой уже иного рассказа, другого романа, который и не знаю, предприму ли еще когда-нибудь. Но всё же не могу умолчать и теперь о том, что когда Иван Федорович, идя, как уже описал я, ночью с Алешей от Катерины Ивановны, сказал ему «Я-то до нее не охотник», — то страшно лгал в ту минуту: он безумно любил ее, хотя правда и то, что временами ненавидел ее до того, что мог даже убить. Тут сходилось много причин: вся потрясенная событием с Митей, она бросилась к возвратившемуся к ней опять Ивану Федоровичу как бы к какому своему спасителю. Она была обижена, оскорблена, унижена в своих чувствах. И вот явился опять человек, который ее и прежде так любил, — о, она слишком это знала, — и которого ум и сердце она всегда ставила столь высоко над собой. Но строгая девушка не отдала себя в жертву всю, несмотря на весь карамазовский безудерж желаний своего влюбленного и на всё обаяние его на нее. В то же время мучилась беспрерывно раскаянием, что изменила Мите, и в грозные, ссорные минуты с Иваном (а их было много) прямо высказывала это

ему. Это-то и назвал он, говоря с Алешей, «ложью на лжи». Тут, конечно, было и в самом деле много лжи, и это всего более раздражало Ивана Федоровича… но всё это потом. Словом, он на время почти забыл о Смердякове. И, однако, две недели спустя после первого к нему посещения начали его опять мучить всё те же странные мысли, как и прежде. Довольно сказать, что он беспрерывно стал себя спрашивать: для чего он тогда, в последнюю свою ночь, в доме Федора Павловича, пред отъездом своим, сходил тихонько, как вор, на лестницу и прислушивался, что делает внизу отец? Почему с отвращением вспоминал это потом, почему на другой день утром в дороге так вдруг затосковал, а въезжая в Москву, сказал себе: «Я подлец!» И вот теперь ему однажды подумалось, что из-за всех этих мучительных мыслей он, пожалуй, готов забыть даже и Катерину Ивановну, до того они сильно им вдруг опять овладели! Как раз, подумав это, он встретил Алешу на улице. Он тотчас остановил его и вдруг задал ему вопрос:

— Помнишь ты, когда после обеда Дмитрий ворвался в дом и избил отца, и я потом сказал тебе на дворе, что «право желаний» оставляю за собой, — скажи, подумал ты тогда, что я желаю смерти отца, или нет?

— Подумал, — тихо ответил Алеша.

— Оно, впрочем, так и было, тут и угадывать было нечего. Но не подумалось ли тебе тогда и то, что я именно желаю, чтоб «один гад съел другую гадину», то есть чтоб именно Дмитрий отца убил, да еще поскорее… и что и сам я поспособствовать даже не прочь?

Алеша слегка побледнел и молча смотрел в глаза брату.

— Говори же! — воскликнул Иван. — Я изо всей силы хочу знать, что ты тогда подумал. Мне надо; правду, правду! — Он тяжело перевел дух, уже заранее с какою-то злобой смотря на Алешу.

— Прости меня, я и это тогда подумал, — прошептал Алеша и замолчал, не прибавив ни одного «облегчающего обстоятельства».

— Спасибо! — отрезал Иван и, бросив Алешу, быстро пошел своею дорогой. С тех пор Алеша заметил, что брат Иван как-то резко начал от него отдаляться и даже как бы невзлюбил его, так что потом и сам он уже перестал ходить к нему. Но в ту минуту, сейчас после той с ним встречи, Иван Федорович, не заходя домой, вдруг направился опять к Смердякову.

VII

Второй визит к Смердякову

Смердяков к тому времени уже выписался из больницы. Иван Федорович знал его новую квартиру: именно в этом перекосившемся бревенчатом маленьком домишке в две избы, разделенные сенями. В одной избе поместилась Марья Кондратьевна с матерью, а в другой Смердяков, особливо Бог знает на каких основаниях он у них поселился, даром ли проживал или за деньги? Впоследствии полагали, что поселился он у них в качестве жениха Марьи Кондратьевны и проживал пока даром. И мать и дочь его очень уважали и смотрели на него как на высшего пред ними человека. Достучавшись, Иван Федорович вступил в сени и, по указанию Марьи Кондратьевны, прошел прямо налево в «белую избу», занимаемую Смердяковым. В этой избе печь стояла изразцовая и была сильно натоплена. По стенам красовались голубые обои, правда все изодранные, а под ними в трещинах копошились тараканы-прусаки в страшном количестве, так что стоял неумолкаемый шорох. Мебель была ничтожная: две скамьи по обеим стенам и два стула подле стола. Стол же, хоть и просто деревянный, был накрыт, однако, скатертью с розовыми разводами. На двух маленьких окошках помещалось на каждом по горшку с геранями. В углу киот с образами. На столе стоял небольшой, сильно помятый медный самоварчик и поднос с двумя чашками. Но чай Смердяков уже отпил, и самовар погас… Сам он сидел за столом на лавке и, смотря в тетрадь, что-то чертил пером. Пузырек с чернилами находился подле, равно как и чугунный низенький подсвечник со стеариновою, впрочем, свечкой. Иван Федорович тотчас заключил по лицу Смердякова, что оправился он от болезни вполне. Лицо его было свежее, полнее, хохолок взбит, височки примазаны. Сидел он в пестром ватном халате, очень, однако, затасканном и порядочно истрепанном. На носу его были очки, которых Иван Федорович не видывал у него прежде. Это пустейшее обстоятельство вдруг как бы вдвое даже озлило Ивана Федоровича: «Этакая тварь, да еще в очках!» Смердяков медленно поднял голову и пристально посмотрел в очки на вошедшего; затем тихо их снял и сам приподнялся на лавке, но как-то совсем не столь почтительно, как-то даже лениво, единственно чтобы соблюсти только лишь самую необходимейшую учтивость, без которой уже нельзя почти обойтись. Всё это мигом мелькнуло Ивану, и всё это он сразу обхватил и заметил,

а главное — взгляд Смердякова, решительно злобный, неприветливый и даже надменный: «чего, дескать, шляешься, обо всем ведь тогда сговорились, зачем же опять пришел?» Иван Федорович едва сдержал себя:

— Жарко у тебя, — сказал он, еще стоя, и расстегнул пальто.

— Снимите-с, — позволил Смердяков.

Иван Федорович снял пальто и бросил его на лавку, дрожащими руками взял стул, быстро придвинул его к столу и сел. Смердяков успел опуститься на свою лавку раньше его.

— Во-первых, одни ли мы? — строго и стремительно спросил Иван Федорович. — Не услышат нас оттуда?

— Никто ничего не услышит-с. Сами видели: сени.

— Слушай, голубчик: что ты такое тогда сморозил, когда я уходил от тебя из больницы, что если я промолчу о том, что ты мастер представляться в падучей, то и ты-де не объявишь всего следователю о нашем разговоре с тобой у ворот? Что это такое *всего?* Что ты мог тогда разуметь? Угрожал ты мне, что ли? Что я в союз, что ли, в какой с тобою вступал, боюсь тебя, что ли?

Иван Федорович проговорил это совсем в ярости, видимо и нарочно давая знать, что презирает всякий обиняк и всякий подход и играет в открытую. Глаза Смердякова злобно сверкнули, левый глазок замигал, и он тотчас же, хотя по обычаю своему сдержанно и мерно, дал и свой ответ: «Хочешь, дескать, начистоту, так вот тебе и эта самая чистота».

— А то самое я тогда разумел и для того я тогда это произносил, что вы, знамши наперед про это убивство родного родителя вашего, в жертву его тогда оставили, и чтобы не заключили после сего люди чего дурного об ваших чувствах, а может, и об чем ином прочем, — вот что тогда обещался я начальству не объявлять.

Проговорил Смердяков хоть и не спеша и обладая собою по-видимому, но уж в голосе его даже послышалось нечто твердое и настойчивое, злобное и нагло-вызывающее. Дерзко уставился он в Ивана Федоровича, а у того в первую минуту даже в глазах зарябило:

— Как? Что? Да ты в уме али нет?

— Совершенно в полном своем уме-с.

— Да разве я *знал* тогда про убийство? — вскричал наконец Иван Федорович и крепко стукнул кулаком по столу. — Что значит: «об чем

ином прочем»? — говори, подлец!

Смердяков молчал и всё тем же наглым взглядом продолжал осматривать Ивана Федоровича.

— Говори, смердящая шельма, об чем «ином прочем»? — завопил тот.

— А об том «ином прочем» я сею минутой разумел, что вы, пожалуй, и сами очень желали тогда смерти родителя вашего.

Иван Федорович вскочил и изо всей силы ударил его кулаком в плечо, так что тот откачнулся к стене. В один миг всё лицо его облилось слезами, и, проговорив: «Стыдно, сударь, слабого человека бить!», он вдруг закрыл глаза своим бумажным с синими клеточками и совершенно засморканным носовым платком и погрузился в тихий слезный плач. Прошло с минуту.

— Довольно! Перестань! — повелительно сказал наконец Иван Федорович, садясь опять на стул. — Не выводи меня из последнего терпения.

Смердяков отнял от глаз свою тряпочку. Всякая черточка его сморщенного лица выражала только что перенесенную обиду.

— Так ты, подлец, подумал тогда, что я заодно с Дмитрием хочу отца убить?

— Мыслей ваших тогдашних не знал-с, — обиженно проговорил Смердяков, — а потому и остановил вас тогда, как вы входили в ворота, чтобы вас на этом самом пункте испытать-с.

— Что испытать? Что?

— А вот именно это самое обстоятельство: хочется иль не хочется вам, чтобы ваш родитель был поскорее убит?

Всего более возмущал Ивана Федоровича этот настойчивый наглый тон, от которого упорно не хотел отступить Смердяков.

— Это ты его убил! — воскликнул он вдруг. Смердяков презрительно усмехнулся.

— Что не я убил, это вы знаете сами доподлинно. И думал я, что умному человеку и говорить о сем больше нечего.

— Но почему, почему у тебя явилось тогда такое на меня подозрение?

— Как уж известно вам, от единого страху-с. Ибо в таком был тогда положении, что, в страхе сотрясаясь, всех подозревал. Вас тоже положил испытать-с, ибо если и вы, думаю, того же самого желаете, что

и братец ваш, то и конец тогда всякому этому делу, а сам пропаду заодно, как муха.

— Слушай, ты две недели назад не то говорил.

— То же самое и в больнице, говоря с вами, разумел, а только полагал, что вы и без лишних слов поймете и прямого разговора не желаете сами, как самый умный человек-с.

— Ишь ведь! Но отвечай, отвечай, я настаиваю: с чего именно, чем именно я мог вселить тогда в твою подлую душу такое низкое для меня подозрение?

— Чтоб убить — это вы сами ни за что не могли-с, да и не хотели, а чтобы хотеть, чтобы другой кто убил, это вы хотели.

— И как спокойно, как спокойно ведь говорит! Да с чего мне хотеть, на кой ляд мне было хотеть?

— Как это так на кой ляд-с? — А наследство-то-с? — ядовито и как-то даже отмстительно подхватил Смердяков. — Ведь вам тогда после родителя вашего на каждого из трех братцев без малого по сорока тысяч могло прийтись, а может, и того больше-с, а женись тогда Федор Павлович на этой самой госпоже-с, Аграфене Александровне, так уж та весь бы капитал тотчас же после венца на себя перевела, ибо они очень не глупые-с, так что вам всем троим братцам и двух рублей не досталось бы после родителя. А много ль тогда до венца-то оставалось? Один волосок-с: стоило этой барыне вот так только мизинчиком пред ними сделать, и они бы тотчас в церковь за ними высуня язык побежали.

Иван Федорович со страданием сдержал себя.

— Хорошо, — проговорил он наконец, — ты видишь, я не вскочил, не избил тебя, не убил тебя. Говори дальше: стало быть, я, по-твоему, брата Дмитрия к тому и предназначал, на него и рассчитывал?

— Как же вам на них не рассчитывать было-с; ведь убей они, то тогда всех прав дворянства лишатся, чинов и имущества, и в ссылку пойдут-с.[*] Так ведь тогда ихняя часть-с после родителя вам с братцем Алексеем Федоровичем останется, поровну-с, значит, уже не по сороку, а по шестидесяти тысяч вам пришлось бы каждому-с. Это вы на Дмитрия Федоровича беспременно тогда рассчитывали!

— Ну терплю же я от тебя! Слушай, негодяй: если б я и рассчитывал тогда на кого-нибудь, так уж конечно бы на тебя, а не на Дмитрия, и, клянусь, предчувствовал даже от тебя какой-нибудь

мерзости… тогда… я помню мое впечатление!

— И я тоже подумал тогда, минутку одну, что и на меня тоже рассчитываете, — насмешливо осклабился Смердяков, — так что тем самым еще более тогда себя предо мной обличили, ибо если предчувствовали на меня и в то же самое время уезжали, значит, мне тем самым точно как бы сказали: это ты можешь убить родителя, а я не препятствую.

— Подлец! Ты так понял!

— А всё чрез эту самую Чермашню-с. Помилосердуйте! Собираетесь в Москву и на все просьбы родителя ехать в Чермашню отказались-с! И по одному только глупому моему слову вдруг согласились-с! И на что вам было тогда соглашаться на эту Чермашню? Коли не в Москву, а поехали в Чермашню без причины, по единому моему слову, то, стало быть, чего-либо от меня ожидали.

— Нет, клянусь, нет! — завопил, скрежеща зубами, Иван.

— Как же это нет-с? Следовало, напротив, за такие мои тогдашние слова вам, сыну родителя вашего, меня первым делом в часть представить и выдрать-с… по крайности по мордасам тут же на месте отколотить, а вы, помилуйте-с, напротив, нимало не рассердимшись, тотчас дружелюбно исполняете в точности по моему весьма глупому слову-с и едете, что было вовсе нелепо-с, ибо вам следовало оставаться, чтобы хранить жизнь родителя… Как же мне было не заключить?

Иван сидел насупившись, конвульсивно опершись обоими кулаками в свои колена.

— Да, жаль, что не отколотил тебя по мордасам, — горько усмехнулся он. — В часть тогда тебя тащить нельзя было: кто ж бы мне поверил и на что я мог указать, ну а по мордасам… ух, жаль не догадался; хоть и запрещены мордасы, а сделал бы я из твоей хари кашу.

Смердяков почти с наслаждение смотрел на него.

— В обыкновенных случаях жизни, — проговорил он тем самодовольно-доктринерским тоном, с которым спорил некогда с Григорием Васильевичем о вере и дразнил его, стоя за столом Федора Павловича, — в обыкновенных случаях жизни мордасы ноне действительно запрещены по закону, и все перестали бить-с, ну, а в отличительных случаях жизни, так не то что у нас, а и на всем свете, будь хоша бы самая полная французская республика, всё одно

продолжают бить, как и при Адаме и Еве-с, да и никогда того не перестанут-с, а вы и в отличительном случае тогда не посмели-с.

— Что это ты французские вокабулы учишь? — кивнул Иван на тетрадку, лежавшую на столе.

— А почему же бы мне их не учить-с, чтобы тем образованию моему способствовать, думая, что и самому мне когда в тех счастливых местах Европы, может, придется быть.

— Слушай, изверг, — засверкал глазами Иван и весь затрясся, — я не боюсь твоих обвинений, показывай на меня что хочешь, и если не избил тебя сейчас до смерти, то единственно потому, что подозреваю тебя в этом преступлении и притяну к суду. Я еще тебя обнаружу!

— А по-моему, лучше молчите-с. Ибо что можете вы на меня объявить в моей совершенной невинности и кто вам поверит? А только если начнете, то и я всё расскажу-с, ибо как же бы мне не защитить себя?

— Ты думаешь, я тебя теперь боюсь?

— Пусть этим всем моим словам, что вам теперь говорил, в суде не поверят-с, зато в публике поверят-с, и вам стыдно станет-с.

— Это значит опять-таки что: «с умным человеком и поговорить любопытно» — а? — проскрежетал Иван.

— В самую точку изволили-с. Умным и будьте-с.

Иван Федорович встал, весь дрожа от негодования, надел пальто и, не отвечая более Смердякову, даже не глядя на него, быстро вышел из избы. Свежий вечерний воздух освежил его. На небе ярко светила луна. Страшный кошмар мыслей и ощущений кипел в его душе. «Идти объявить сейчас на Смердякова? Но что же объявить: он все-таки невинен. Он, напротив, меня же обвинит. В самом деле, для чего я тогда поехал в Чермашню? Для чего, для чего? — спрашивал Иван Федорович. — Да, конечно, я чего-то ожидал, и он прав…» И ему опять в сотый раз припомнилось, как он в последнюю ночь у отца подслушивал к нему с лестницы, но с таким уже страданием теперь припомнилось, что он даже остановился на месте как пронзенный: «Да, я этого тогда ждал, это правда! Я хотел, я именно хотел убийства! Хотел ли я убийства, хотел ли?.. Надо убить Смердякова!.. Если я не смею теперь убить Смердякова, то не стоит и жить!..» Иван Федорович, не заходя домой, прошел тогда прямо к Катерине Ивановне и испугал ее своим появлением: он был как безумный. Он передал ей весь свой

разговор со Смердяковым, весь до черточки. Он не мог успокоиться, сколько та ни уговаривала его, всё ходил по комнате и говорил отрывисто, странно. Наконец сел, облокотился на стол, упер голову в обе руки и вымолвил странный афоризм:

— Если б убил не Дмитрий, а Смердяков, то, конечно, я тогда с ним солидарен, ибо я подбивал его. Подбивал ли я его — еще не знаю. Но если только он убил, а не Дмитрий, то, конечно, убийца и я.

Выслушав это, Катерина Ивановна молча встала с места, пошла к своему письменному столу, отперла стоявшую на нем шкатулку, вынула какую-то бумажку и положила ее пред Иваном. Эта бумажка была тот самый документ, о котором Иван Федорович потом объявил Алеше как о «математическом доказательстве», что убил отца брат Дмитрий. Это было письмо, написанное Митей в пьяном виде к Катерине Ивановне, в тот самый вечер, когда он встретился в поле с Алешей, уходившим в монастырь, после сцены в доме Катерины Ивановны, когда ее оскорбила Грушенька. Тогда, расставшись с Алешей, Митя бросился было к Грушеньке; неизвестно, видел ли ее, но к ночи очутился в трактире «Столичный город», где как следует и напился. Пьяный, он потребовал перо и бумагу и начертал важный на себя документ. Это было исступленное, многоречивое и бессвязное письмо, именно «пьяное». Похоже было на то, когда пьяный человек, воротясь домой, начинает с необычайным жаром рассказывать жене или кому из домашних, как его сейчас оскорбили, какой подлец его оскорбитель, какой он сам, напротив, прекрасный человек и как он тому подлецу задаст, — и всё это длинно-длинно, бессвязно и возбужденно, со стуком кулаками по столу, с пьяными слезами. Бумага для письма, которую ему подали в трактире, была грязненький клочок обыкновенной письменной бумаги, плохого сорта и на обратной стороне которого был написан какой-то счет. Пьяному многоречию, очевидно, недостало места, и Митя уписал не только все поля, но даже последние строчки были написаны накрест уже по написанному. Письмо было следующего содержания: «Роковая Катя! Завтра достану деньги и отдам тебе твои три тысячи, и прощай — великого гнева женщина, но прощай и любовь моя! Кончим! Завтра буду доставать у всех людей, а не достану у людей, то даю тебе честное слово, пойду к отцу и проломлю ему голову и возьму у него под подушкой, только бы уехал Иван. В каторгу пойду, а три тысячи отдам. А сама прощай. Кланяюсь до земли, ибо пред тобой

подлец. Прости меня. Нет, лучше не прощай: легче и мне и тебе! Лучше в каторгу, чем твоя любовь, ибо другую люблю, а ее слишком сегодня узнала, как же ты можешь простить? Убью вора моего! От всех вас уйду на Восток, чтоб никого не знать. *Ее* тоже, ибо не ты одна мучительница, а и она. Прощай!

P. S. Проклятие пишу, а тебя обожаю! Слышу в груди моей. Осталась струна и звенит. Лучше сердце пополам! Убью себя, а сначала все-таки пса. Вырву у него три и брошу тебе. Хоть подлец пред тобой, а не вор! Жди трех тысяч. У пса под тюфяком, розовая ленточка. Не я вор, а вора моего убью. Катя, не гляди презрительно: Димитрий не вор, а убийца! Отца убил и себя погубил, чтобы стоять и гордости твоей не выносить. И тебя не любить.

PP. S. Ноги твои целую, прощай!

PP. SS. Катя, моли бога, чтобы дали люди деньги. Тогда не буду в крови, а не дадут — в крови! Убей меня!

Раб и враг

Д. Карамазов».

Когда Иван прочел «документ», то встал убежденный. Значит, убил брат, а не Смердяков. Не Смердяков, то, стало быть, и не он, Иван. Письмо это вдруг получило в глазах его смысл математический. Никаких сомнений в виновности Мити быть для него не могло уже более. Кстати, подозрения о том, что Митя мог убить вместе со Смердяковым, у Ивана никогда не было, да это не вязалось и с фактами. Иван был вполне успокоен. На другое утро он лишь с презрением вспоминал о Смердякове и о насмешках его. Чрез несколько дней даже удивлялся, как мог он так мучительно обидеться его подозрениями. Он решился презреть его и забыть. Так прошел месяц. О Смердякове он не расспрашивал больше ни у кого, но слышал мельком, раза два, что тот очень болен и не в своем рассудке. «Кончит сумасшествием», — сказал раз про него молодой врач Варвинский, и Иван это запомнил. В последнюю неделю этого месяца Иван сам начал чувствовать себя очень худо. С приехавшим пред самым судом доктором из Москвы, которого выписала Катерина Ивановна, он уже ходил советоваться! И именно в это же время отношения его к Катерине Ивановне обострились до крайней степени. Это были какие-то два влюбленные друг в друга врага. Возвраты Катерины Ивановны к Мите, мгновенные, но сильные, уже приводили Ивана в совершенное исступление. Странно, что до самой

последней сцены, описанной нами у Катерины Ивановны, когда пришел к ней от Мити Алеша, он, Иван, не слыхал от нее ни разу во весь месяц сомнений в виновности Мити, несмотря на все ее «возвраты» к нему, которые он так ненавидел. Замечательно еще и то, что он, чувствуя, что ненавидит Митю с каждым днем всё больше и больше, понимал в то же время, что не за «возвраты» к нему Кати ненавидел его, а именно *за то, что он убил отца!* Он чувствовал и сознавал это сам вполне. Тем не менее дней за десять пред судом он ходил к Мите и предложил ему план бегства, — план, очевидно, еще задолго задуманный. Тут, кроме главной причины, побудившей его к такому шагу, виновата была и некоторая незаживавшая в сердце его царапина от одного словечка Смердякова, что будто бы ему, Ивану, выгодно, чтоб обвинили брата, ибо сумма по наследству от отца возвысится тогда для него с Алешей с сорока на шестьдесят тысяч. Он решился пожертвовать тридцатью тысячами с одной своей стороны, чтоб устроить побег Мити. Возвращаясь тогда от него, он был страшно грустен и смущен: ему вдруг начало чувствоваться, что он хочет побега не для того только, чтобы пожертвовать на это тридцать тысяч и заживить царапину, а и почему-то другому. «Потому ли, что в душе и я такой же убийца?» — спросил было он себя. Что-то отдаленное, но жгучее язвило его душу. Главное же, во весь этот месяц страшно страдала его гордость, но об этом потом… Взявшись за звонок своей квартиры после разговора с Алешей и порешив вдруг идти к Смердякову, Иван Федорович повиновался одному особливому, внезапно вскипевшему в груди его негодованию. Он вдруг вспомнил, как Катерина Ивановна сейчас только воскликнула ему при Алеше: «Это ты, только ты один уверил меня, что он (то есть Митя) убийца!» Вспомнив это, Иван даже остолбенел: никогда в жизни не уверял он ее, что убийца Митя, напротив, еще себя подозревал тогда пред нею, когда воротился от Смердякова. Напротив, это *она*, она ему выложила тогда «документ» и доказала виновность брата! И вдруг она же теперь восклицает: «Я сама была у Смердякова!» Когда была? Иван ничего не знал об этом. Значит, она совсем не так уверена в виновности Мити! И что мог ей сказать Смердяков? Что, что именно он ей сказал? Страшный гнев загорелся в его сердце. Он не понимал, как мог он полчаса назад пропустить ей эти слова и не закричать тогда же. Он бросил звонок и пустился к Смердякову. «Я убью его, может быть, в этот раз», — подумал он дорогой.

VIII

Третье, и последнее, свидание со Смердяковым

Еще на полпути поднялся острый, сухой ветер, такой же, как был в этот день рано утром, и посыпал мелкий, густой, сухой снег. Он падал на землю, не прилипая к ней, ветер крутил его, и вскоре поднялась совершенная метель. В той части города, где жил Смердяков, у нас почти и нет фонарей. Иван Федорович шагал во мраке, не замечая метели, инстинктивно разбирая дорогу. У него болела голова и мучительно стучало в висках. В кистях рук, он чувствовал это, были судороги. Несколько не доходя до домишка Марьи Кондратьевны, Иван Федорович вдруг повстречал одинокого пьяного, маленького ростом мужичонка, в заплатанном зипунишке, шагавшего зигзагами, ворчавшего и бранившегося и вдруг бросавшего браниться и начинавшего сиплым пьяным голосом песню:

Ах поехал Ванька в Питер,
Я не буду его ждать!

Но он всё прерывал на этой второй строчке и опять начинал кого-то бранить, затем опять вдруг затягивал ту же песню. Иван Федорович давно уже чувствовал страшную к нему ненависть, об нем еще совсем не думая, и вдруг его осмыслил. Тотчас же ему неотразимо захотелось пришибить сверху кулаком мужичонку. Как раз в это мгновение они поверстались рядом, и мужичонко, сильно качнувшись, вдруг ударился изо всей силы об Ивана. Тот бешено оттолкнул его. Мужичонко отлетел и шлепнулся, как колода, об мерзлую землю, болезненно простонав только один раз: о-о! и замолк. Иван шагнул к нему. Тот лежал навзничь, совсем неподвижно, без чувств. «Замерзнет!» — подумал Иван и зашагал опять к Смердякову.

Еще в сенях Марья Кондратьевна, выбежавшая отворить со свечкой в руках, зашептала ему, что Павел Федорович (то есть Смердяков) оченно больны-с, не то что лежат-с, а почти как не в своем уме-с и даже чай велели убрать, пить не захотели.

— Что ж он, буянит, что ли? — грубо спросил Иван Федорович.

— Какое, напротив, совсем тихие-с, только вы с ними не очень долго разговаривайте… — попросила Марья Кондратьевна.

Иван Федорович отворил дверь и шагнул в избу.

Натоплено было так же, как и в прежний раз, но в комнате заметны были некоторые перемены: одна из боковых лавок была вынесена, и на место ее явился большой старый кожаный диван под красное дерево. На нем была постлана постель с довольно чистыми белыми подушками. На постели сидел Смердяков всё в том же своем халате. Стол перенесен был пред диван, так что в комнате стало очень тесно. На столе лежала какая-то толстая в желтой обертке книга, но Смердяков не читал ее, он, кажется, сидел и ничего не делал. Длинным, молчаливым взглядом встретил он Ивана Федоровича и, по-видимому, нисколько не удивился его прибытию. Он очень изменился в лице, очень похудел и пожелтел. Глаза впали, нижние веки посинели.

— Да ты и впрямь болен? — остановился Иван Федорович. — Я тебя долго не задержу и пальто даже не сниму. Где у тебя сесть-то?

Он зашел с другого конца стола, придвинул к столу стул и сел.

— Что смотришь и молчишь? Я с одним только вопросом, и клянусь, не уйду от тебя без ответа: была у тебя барыня, Катерина Ивановна?

Смердяков длинно помолчал, по-прежнему всё тихо смотря на Ивана, но вдруг махнул рукой и отвернул от него лицо.

— Чего ты? — воскликнул Иван.

— Ничего.

— Что ничего?

— Ну, была, ну и всё вам равно. Отстаньте-с.

— Нет, не отстану! Говори, когда была?

— Да я и помнить об ней забыл, — презрительно усмехнулся Смердяков и вдруг опять, оборотя лицо к Ивану, уставился на него с каким-то исступленно-ненавистным взглядом, тем самым взглядом, каким глядел на него в то свидание, месяц назад.

— Сами, кажись, больны, ишь осунулись, лица на вас нет, — проговорил он Ивану.

— Оставь мое здоровье, говори, об чем спрашивают.

— А чего у вас глаза пожелтели, совсем белки желтые. Мучаетесь, что ли, очень?

Он презрительно усмехнулся и вдруг совсем уж рассмеялся.

— Слушай, я сказал, что не уйду от тебя без ответа! — в страшном раздражении крикнул Иван.

— Чего вы ко мне пристаете-с? Чего меня мучите? — со страданием проговорил Смердяков.

— Э, черт! Мне до тебя нет и дела. Ответь на вопрос, и я тотчас уйду.

— Нечего мне вам отвечать! — опять потупился Смердяков.

— Уверяю тебя, что я заставлю тебя отвечать!

— Чего вы всё беспокоитесь? — вдруг уставился на него Смердяков, но не то что с презрением, а почти *с* какою-то уже гадливостью, — это что суд-то завтра начнется? Так ведь ничего вам не будет, уверьтесь же наконец! Ступайте домой, ложитесь спокойно спать, ничего не опасайтесь.

— Не понимаю я тебя… чего мне бояться завтра? — удивленно выговорил Иван, и вдруг в самом деле какой-то испуг холодом пахнул на его душу. Смердяков обмерил его глазами.

— Не по-ни-маете? — протянул он укоризненно. — Охота же умному человеку этакую комедь из себя представлять!

Иван молча глядел на него. Один уже этот неожиданный тон, совсем какой-то небывало высокомерный, с которым этот бывший его лакей обращался теперь к нему, был необычен. Такого тона все-таки не было даже и в прошлый раз.

— Говорю вам, нечего вам бояться. Ничего на вас не покажу, нет улик. Ишь руки трясутся. С чего у вас пальцы-то ходят? Идите домой, *не вы убили*.

Иван вздрогнул, ему вспомнился Алеша.

— Я знаю, что не я… — пролепетал было он.

— Зна-е-те? — опять подхватил Смердяков.

Иван вскочил и схватил его за плечо:

— Говори всё, гадина! Говори всё!

Смердяков нисколько не испугался. Он только с безумною ненавистью приковался к нему глазами.

— Ан вот вы-то и убили, коль так, — яростно прошептал он ему.

Иван опустился на стул, как бы что рассудив. Он злобно усмехнулся.

— Это ты всё про тогдашнее? Про то, что и в прошлый раз?

— Да и в прошлый раз стояли предо мной и всё понимали, понимаете и теперь.

— Понимаю только, что ты сумасшедший.

— Не надоест же человеку! С глазу на глаз сидим, чего бы, кажется, друг-то друга морочить, комедь играть? Али всё еще свалить на одного меня хотите, мне же в глаза? Вы убили, вы главный убивец и есть, а я только вашим приспешником был, слугой Личардой верным[*], и по слову вашему дело это и совершил.

— Совершил? Да разве ты убил? — похолодел Иван.

Что-то как бы сотряслось в его мозгу, и весь он задрожал мелкою холодною дрожью. Тут уж Смердяков сам удивленно посмотрел на него: вероятно, его, наконец, поразил своею искренностью испуг Ивана.

— Да неужто ж вы вправду ничего не знали? — пролепетал он недоверчиво, криво усмехаясь ему в глаза.

Иван всё глядел на него, у него как бы отнялся язык.

Ах поехал Ванька в Питер,
Я не буду его ждать,—

прозвенело вдруг в его голове.

— Знаешь что: я боюсь, что ты сон, что ты призрак предо мной сидишь? — пролепетал он.

— Никакого тут призрака нет-с, кроме нас обоих-с, да еще некоторого третьего. Без сумления, тут он теперь, третий этот, находится, между нами двумя.

— Кто он? Кто находится? Кто третий? — испуганно проговорил Иван Федорович, озираясь кругом и поспешно ища глазами кого-то по всем углам

— Третий этот — бог-с, самое это провидение-с, тут оно теперь подле нас-с, только вы не ищите его, не найдете.

— Ты солгал, что ты убил! — бешено завопил Иван. Ты или сумасшедший, или дразнишь меня, как и в прошлый раз!

Смердяков, как и давеча, совсем не пугаясь, всё пытливо следил за ним. Всё еще он никак не мог победить своей недоверчивости, всё еще казалось ему, что Иван «всё знает», а только так представляется, чтоб «ему же в глаза на него одного свалить».

— Подождите-с, — проговорил он наконец слабым голосом и вдруг, вытащив из-под стола свою левую ногу, начал завертывать на ней наверх панталоны. Нога оказалась в длинном белом чулке и обута в туфлю. Не торопясь, Смердяков снял подвязку и запустил в чулок глубоко свои пальцы. Иван Федорович глядел на него и вдруг затрясся в конвульсивном испуге.

Сумасшедший! завопил он и, быстро вскочив с места, откачнулся назад, так что стукнулся спиной об стену и как будто прилип к стене, весь вытянувшись в нитку. Он в безумном ужасе смотрел на Смердякова. Тот, нимало не смутившись его испугом, всё еще копался в чулке, как будто всё силясь пальцами что-то в нем ухватить и вытащить. Наконец ухватил и стал тащить. Иван Федорович видел, что это были какие-то бумаги или какая-то пачка бумаг Смердяков вытащил ее и положил на стол.

— Вот-с! — сказал он тихо.

— Что? — ответил трясясь Иван.

— Извольте взглянуть-с, — так же тихо произнес Смердяков.

Иван шагнул к столу, взялся было за пачку и стал ее развертывать, но вдруг отдернул пальцы как будто от прикосновения какого-то отвратительного, страшного гада.

— Пальцы-то у вас всё дрожат-с, в судороге, — заметил Смердяков и сам не спеша развернул бумагу. Под оберткой оказались три пачки сторублевых радужных кредиток.

— Все здесь-с, все три тысячи, хоть не считайте. Примите-с, — пригласил он Ивана, кивая на деньги. Иван опустился на стул. Он был бледен как платок.

— Ты меня испугал… с этим чулком… — проговорил он, как-то странно ухмыляясь.

— Неужто же, неужто вы до сих пор не знали? — спросил еще раз Смердяков.

— Нет, не знал. Я всё на Дмитрия думал. Брат! Брат! Ах! — Он вдруг схватил себя за голову обеими руками. — Слушай: ты один убил? Без брата или с братом?

— Всего только вместе с вами-с; с вами вместе убил-с, а Дмитрий Федорович как есть безвинны-с.

— Хорошо, хорошо… Обо мне потом. Чего это я всё дрожу… Слова не могу выговорить.

— Всё тогда смелы были-с, «всё, дескать, позволено», говорили-с, а теперь вот так испугались! — пролепетал, дивясь, Смердяков. — Лимонаду не хотите ли, сейчас прикажу-с. Очень освежить может. Только вот это бы прежде накрыть-с.

И он опять кивнул на пачки. Он двинулся было встать кликнуть в дверь Марью Кондратьевну, чтобы та сделала и принесла лимонаду, но, отыскивая чем бы накрыть деньги, чтобы та не увидела их, вынул было сперва платок, но так как тот опять оказался совсем засморканным, то взял со стола ту единственную лежавшую на нем толстую желтую книгу, которую заметил, войдя, Иван, и придавил ею деньги. Название книги было: «Святого отца нашего Исаака Сирина слова». Иван Федорович успел машинально прочесть заглавие.

— Не хочу лимонаду, — сказал он. — Обо мне потом. Садись и говори: как ты это сделал? Всё говори…

— Вы бы пальто хоть сняли-с, а то весь взопреете.

Иван Федорович, будто теперь только догадавшись, сорвал пальто и бросил его, не сходя со стула, на лавку.

— Говори же, пожалуйста, говори!

Он как бы утих. Он уверенно ждал, что Смердяков *всё* теперь скажет.

— Об том, как это было сделано-с? — вздохнул Смердяков. — Самым естественным манером сделано было-с, с ваших тех самых слов…

— Об моих словах потом, — прервал опять Иван, но уже не крича, как прежде, твердо выговаривая слова и как бы совсем овладев собою. — Расскажи только в подробности, как ты это сделал. Всё по порядку. Ничего не забудь. Подробности, главное подробности.[*] Прошу.

— Вы уехали, я упал тогда в погреб-с…

— В падучей или притворился?

— Понятно, что притворился-с. Во всем притворился. С лестницы спокойно сошел-с, в самый низ-с, и спокойно лег-с, а как лег, тут и завопил. И бился, пока вынесли.

— Стой! И всё время, и потом, и в больнице всё притворялся?

— Никак нет-с. На другой же день, наутро, до больницы еще, ударила настоящая, и столь сильная, что уже много лет таковой не бывало. Два дня был в совершенном беспамятстве.

— Хорошо, хорошо. Продолжай дальше.

— Положили меня на эту койку-с, я так и знал, что за перегородку-с, потому Марфа Игнатьевна во все разы, как я болен, всегда меня на ночь за эту самую перегородку у себя в помещении клали-с. Нежные они всегда ко мне были с самого моего рождения-с. Ночью стонал-с, только тихо. Всё ожидал Дмитрия Федоровича.

— Как ждал, к себе?

— Зачем ко мне. В дом их ждал, потому сумления для меня уже не было никакого в том, что они в эту самую ночь прибудут, ибо им, меня лишимшись и никаких сведений не имемши, беспременно приходилось самим в дом влезть через забор-с, как они умели-с, и что ни есть совершить.

— А если бы не пришел?

— Тогда ничего бы и не было-с. Без них не решился бы.

— Хорошо, хорошо… говори понятнее, не торопись, главное — ничего не пропускай!

— Я ждал, что они Федора Павловича убьют-с… это наверно-с. Потому я их уже так приготовил… в последние дни-с… а главное — те знаки им стали известны. При ихней мнительности и ярости, что в них за эти дни накопилась, беспременно через знаки в самый дом должны были проникнуть-с. Это беспременно. Я так их и ожидал-с.

— Стой, — прервал Иван, — ведь если б он убил, то взял бы деньги и унес; ведь ты именно так должен был рассуждать? Что ж тебе-то досталось бы после него? Я не вижу.

— Так ведь деньги-то бы они никогда и не нашли-с. Это ведь их только я научил, что деньги под тюфяком. Только это была неправда-с. Прежде в шкатунке лежали, вот как было-с. А потом я Федора Павловича, так как они мне единственно во всем человечестве одному доверяли, научил пакет этот самый с деньгами в угол за образа перенесть, потому что там совсем никто не догадается особенно коли спеша придет. Так он там, пакет этот, у них в углу за образами и лежал-с. А под тюфяком так и смешно бы их было держать вовсе, в шкатунке по крайней мере под ключом. А здесь все теперь поверили, что будто бы под тюфяком лежали. Глупое рассуждение-с. Так вот если бы Дмитрий Федорович совершили это самое убивство, то, ничего не найдя, или бы убежали-с поспешно, всякого шороху боясь, как и всегда бывает с убивцами, или бы арестованы были-с. Так я тогда всегда мог-с, на

другой день али даже в ту же самую ночь-с за образа слазить и деньги эти самые унести-с, всё бы на Дмитрия Федоровича и свалилось. Это я всегда мог надеяться.

— Ну, а если б он не убил, а только избил?

— Если бы не убил, то я бы денег, конечно, взять не посмел и осталось бы втуне. Но был и такой расчет, что изобьют до бесчувствия, а я в то время и поспею взять, а там потом Федору-то Павловичу отлепартую, что это никто как Дмитрий Федорович, их избимши, деньги похитили.

— Стой… я путаюсь. Стало быть, всё же Дмитрий убил, а ты только деньги взял?

— Нет, это не они убили-с. Что ж, я бы мог вам и теперь сказать, что убивцы они… да не хочу я теперь пред вами лгать, потому… потому что если вы действительно, как сам вижу, не понимали ничего доселева и не притворялись предо мной, чтоб явную вину свою на меня же в глаза свалить, то всё же вы виновны во всем-с, ибо про убивство вы знали-с и мне убить поручили-с, а сами, всё знамши, уехали. Потому и хочу вам в сей вечер это в глаза доказать, что главный убивец во всем здесь единый вы-с, а я только самый не главный, хоть это и я убил. А вы самый законный убивец и есть!

— Почему, почему я убийца? О боже! — не выдержал наконец Иван, забыв, что всё о себе отложил под конец разговора. — Это всё та же Чермашня-то? Стой, говори, зачем тебе было надо мое согласие, если уж ты принял Чермашню за согласие? Как ты теперь-то растолкуешь?

— Уверенный в вашем согласии, я уж знал бы, что вы за потерянные эти три тысячи, возвратись, вопля не подымете, если бы почему-нибудь меня вместо Дмитрия Федоровича начальство заподозрило али с Дмитрием Федоровичем в товарищах; напротив, от других защитили бы… А наследство получив, так и потом когда могли меня наградить, во всю следующую жизнь, потому что всё же вы через меня наследство это получить изволили, а то, женимшись на Аграфене Александровне, вышел бы вам один только шиш.

— А! Так ты намеревался меня и потом мучить, всю жизнь! — проскрежетал Иван. — А что, если б я тогда не уехал, а на тебя заявил?

— А что же бы вы могли тогда заявить? Что я вас в Чермашню подговаривал? Так ведь это глупости-с. К тому же вы после разговора

нашего поехали бы али остались. Если б остались, то тогда бы ничего не произошло, я бы так и знал-с, что вы дела этого не хотите, и ничего бы не предпринимал. А если уж поехали, то уж меня, значит, заверили в том, что на меня в суд заявить не посмеете и три эти тысячи мне простите. Да и не могли вы меня потом преследовать вовсе, потому что я тогда всё и рассказал бы на суде-с, то есть не то, что я украл аль убил, — этого бы я не сказал-с, — а то, что вы меня сами подбивали к тому, чтоб украсть и убить, а я только не согласился. Потому-то мне и надо было тогда ваше согласие, чтобы вы меня ничем не могли припереть-с, потому что где же у вас к тому доказательство, я же вас всегда мог припереть-с, обнаружив, какую вы жажду имели к смерти родителя, и вот вам слово — в публике все бы тому поверили и вам было бы стыдно на всю вашу жизнь.

— Так имел, так имел я эту жажду, имел? — проскрежетал опять Иван.

— Несомненно имели-с и согласием своим мне это дело молча тогда разрешили-с, — твердо поглядел Смердяков на Ивана. Он был очень слаб и говорил тихо и устало, но что-то внутреннее и затаенное поджигало его, у него, очевидно, было какое-то намерение. Иван это предчувствовал.

— Продолжай дальше, — сказал он ему, — продолжай про ту ночь.

— Дальше что же-с! Вот я лежу и слышу, как будто вскрикнул барин. А Григорий Васильич пред тем вдруг поднялись и вышли и вдруг завопили, потом всё тихо, мрак. Лежу это я, жду, сердце бьется, вытерпеть не могу. Встал наконец и пошел-с — вижу налево окно в сад у них отперто, я и еще шагнул налево-то-с, чтобы прислушаться, живы ли они там сидят или нет, и слышу, что барин мечется и охает, стало быть, жив-с. Эх, думаю! Подошел к окну, крикнул барину: «Это я, дескать». А он мне: «Был, был, убежал!» То есть Дмитрий Федорович, значит, были-с. «Григория убил!» — «Где?» — шепчу ему. «Там, в углу», — указывает, сам тоже шепчет. «Подождите», — говорю. Пошел я в угол искать и у стены на Григория Васильевича лежащего и наткнулся, весь в крови лежит, в бесчувствии. Стало быть, верно, что был Дмитрий Федорович, вскочило мне тотчас в голову и тотчас тут же порешил всё это покончить внезапно-с, так как Григорий Васильевич если и живы еще, то, лежа в бесчувствии, пока ничего не увидят. Один только риск и был-с, что вдруг проснется Марфа Игнатьевна.

Почувствовал я это в ту минуту, только уж жажда эта меня всего захватила, ажио дух занялся. Пришел опять под окно к барину и говорю: «Она здесь, пришла, Аграфена Александровна пришла, просится». Так ведь и вздрогнул весь, как младенец: «Где здесь? Где?» — так и охает, а сам еще не верит. «Там, говорю, стоит, отоприте!» Глядит на меня в окно-то и верит и не верит, а отпереть боится, это уж меня-то боится, думаю. И смешно же: вдруг я эти самые знаки вздумал им тогда по раме простучать, что Грушенька, дескать, пришла, при них же в глазах: словам-то как бы не верил, а как знаки я простучал, так тотчас же и побежали дверь отворить. Отворили. Я вошел было, а он стоит, телом-то меня и не пускает всего. «Где она, где она?» — смотрит на меня и трепещет. Ну, думаю: уж коль меня так боится — плохо! и тут у меня даже ноги ослабели от страху у самого, что не пустит он меня в комнаты-то, или крикнет, али Марфа Игнатьевна прибежит, али что ни есть выйдет, я уж не помню тогда, сам, должно быть, бледен пред ним стоял. Шепчу ему: «Да там, там она под окном, как же вы, говорю, не видели?» — «А ты ее приведи, а ты ее приведи!» — «Да боится, говорю, крику испугалась, в куст спряталась, подите крикните, говорю, сами из кабинета». Побежал он, подошел к окну, свечку на окно поставил. «Грушенька, кричит, Грушенька, здесь ты?» Сам-то это кричит, а в окно-то нагнуться не хочет, от меня отойти не хочет, от самого этого страху, потому забоялся меня уж очень, а потому отойти от меня не смеет. «Да вон она, говорю (подошел я к окну, сам весь высунулся), вон она в кусте-то, смеется вам, видите?» Поверил вдруг он, так и затрясся, больно уж они влюблены в нее были-с, да весь и высунулся в окно. Я тут схватил это самое пресс-папье чугунное, на столе у них, помните-с, фунта три ведь в нем будет, размахнулся, да сзади его в самое темя углом. Не крикнул даже. Только вниз вдруг осел, а я в другой раз и в третий. На третьем-то почувствовал, что проломил. Они вдруг навзничь и повалились, лицом кверху, все-то в крови. Осмотрел я: нет на мне крови, не брызнуло, пресс-папье обтер, положил, за образа сходил, из пакета деньги вынул, а пакет бросил на пол и ленточку эту самую розовую подле. Сошел в сад, весь трясусь. Прямо к той яблоньке, что с дуплом, — вы дупло-то это знаете, а я его уж давно наглядел, в нем уж лежала тряпочка и бумага, давно заготовил; обернул всю сумму в бумагу, а потом в тряпку и заткнул глубоко. Так она там с лишком две недели оставалась, сумма-то эта самая-с, потом уж после больницы

вынул. Воротился к себе на кровать, лег да и думаю в страхе: «Вот коли убит Григорий Васильевич совсем, так тем самым очень худо может произойти, а коли не убит и очнется, то оченно хорошо это произойдет, потому они будут тогда свидетелем, что Дмитрий Федорович приходили, а стало быть, они и убили, и деньги унесли-с». Начал я тогда от сумления и нетерпения стонать, чтобы Марфу Игнатьевну разбудить поскорей. Встала она наконец, бросилась было ко мне, да как увидала вдруг, что нет Григория Васильевича, выбежала и, слышу, завопила в саду. Ну, тут-с всё это и пошло на всю ночь, я уж во всем успокоен был.

Рассказчик остановился. Иван всё время слушал его в мертвенном молчании, не шевелясь, не спуская с него глаз. Смердяков же, рассказывая, лишь изредка на него поглядывал, но больше косился в сторону. Кончив рассказ, он видимо сам взволновался и тяжело переводил дух. На лице его показался пот. Нельзя было, однако, угадать, чувствует ли он раскаяние или что.

— Стой, — подхватил, соображая, Иван. — А дверь-то? Если отворил он дверь только тебе, то как же мог видеть ее прежде тебя Григорий отворенною? Потому ведь Григорий видел прежде тебя?

Замечательно, что Иван спрашивал самым мирным голосом, даже совсем как будто другим тоном, совсем незлобным, так что если бы кто-нибудь отворил к ним теперь дверь и с порога взглянул на них, то непременно заключил бы, что они сидят и миролюбиво разговаривают о каком-нибудь обыкновенном, хотя и интересном предмете.

— Насчет этой двери и что Григорий Васильевич будто бы видел, что она отперта, то это ему только так почудилось, — искривленно усмехнулся Смердяков. — Ведь это, я вам скажу, не человек-с, а всё равно что упрямый мерин: и не видал, а почудилось ему, что видел, — вот его уж и не собьете-с. Это уж нам с вами счастье такое выпало, что он это придумал, потому что Дмитрия Федоровича несомненно после того вконец уличат.

— Слушай, — проговорил Иван Федорович, словно опять начиная теряться и что-то усиливаясь сообразить, — слушай… Я много хотел спросить тебя еще, но забыл… Я всё забываю и путаюсь… Да! Скажи ты мне хоть это одно: зачем ты пакет распечатал и тут же на полу оставил? Зачем не просто в пакете унес… Ты когда рассказывал, то мне показалось, что будто ты так говорил про этот пакет, что так и надо было поступить… а почему так надо — не могу понять…

— А это я так сделал по некоторой причине-с. Ибо будь человек знающий и привычный, вот как я, например, который эти деньги сам видел зараньше и, может, их сам же в тот пакет ввертывал и собственными глазами смотрел, как его запечатывали и надписывали, то такой человек-с с какой же бы стати, если примерно это он убил, стал бы тогда, после убивства, этот пакет распечатывать, да еще в таких попыхах, зная и без того совсем уж наверно, что деньги эти в том пакете беспременно лежат-с? Напротив, будь это похититель, как бы я, например, то он бы просто сунул этот пакет в карман, нисколько не распечатывая, и с ним поскорее утек-с. Совсем другое тут Дмитрий Федорович: они об пакете только понаслышке знали, его самого не видели, и вот как достали его примерно будто из-под тюфяка, то поскорее распечатали его тут же, чтобы справиться: есть ли в нем в самом деле эти самые деньги? А пакет тут же бросили, уже не успев рассудить, что он уликой им после них останется, потому что они вор непривычный-с и прежде никогда ничего явно не крали, ибо родовые дворяне-с, а если теперь украсть и решились, то именно как бы не украсть, а свое собственное только взять обратно пришли, так как всему городу об этом предварительно повестили и даже похвалялись зараньше вслух пред всеми, что пойдут и собственность свою от Федора Павловича отберут. Я эту самую мысль прокурору в опросе моем не то что ясно сказал, а, напротив, как будто намеком подвел-с, точно как бы сам не понимаючи, и точно как бы это они сами выдумали, а не я им подсказал-с, — так у господина прокурора от этого самого намека моего даже слюнки потекли-с…

— Так неужели, неужели ты всё это тогда же так на месте и обдумал? — воскликнул Иван Федорович вне себя от удивления. Он опять глядел на Смердякова в испуге.

— Помилосердуйте, да можно ли это всё выдумать в таких попыхах-с? Заранее всё обдумано было.

— Ну… ну, тебе значит сам черт помогал! — воскликнул опять Иван Федорович. — Нет, ты не глуп, ты гораздо умней, чем я думал…

Он встал с очевидным намерением пройтись по комнате. Он был в страшной тоске. Но так как стол загораживал дорогу и мимо стола и стены почти приходилось пролезать, то он только повернулся на месте и сел опять. То, что он не успел пройтись, может быть, вдруг и раздражило его, так что он почти в прежнем исступлении вдруг

завопил:

— Слушай, несчастный, презренный ты человек! Неужели ты не понимаешь, что если я еще не убил тебя до сих пор, то потому только, что берегу тебя на завтрашний ответ на суде. Бог видит, — поднял Иван руку кверху, — может быть, и я был виновен, может быть, действительно я имел тайное желание, чтоб… умер отец, но, клянусь тебе, я не столь был виновен, как ты думаешь, и, может быть, не подбивал тебя вовсе. Нет, нет, не подбивал! Но всё равно, я покажу на себя сам, завтра же, на суде, я решил! Я всё скажу, всё. Но мы явимся вместе с тобою! И что бы ты ни говорил на меня на суде, что бы ты ни свидетельствовал — принимаю и не боюсь тебя; сам всё подтвержу! Но и ты должен пред судом сознаться! Должен, должен, вместе пойдем! Так и будет!

Иван проговорил это торжественно и энергично, и видно было уже по одному сверкающему взгляду его, что так и будет.

— Больны вы, я вижу-с, совсем больны-с. Желтые у вас совсем глаза-с, — произнес Смердяков, но совсем без насмешки, даже как будто соболезнуя.

— Вместе пойдем! — повторил Иван, — а не пойдешь — всё равно я один сознаюсь.

Смердяков помолчал, как бы вдумываясь.

— Ничего этого не будет-с, и вы не пойдете-с, — решил он наконец безапелляционно.

— Не понимаешь ты меня! — укоризненно воскликнул Иван.

— Слишком стыдно вам будет-с, если на себя во всем признаетесь. А пуще того бесполезно будет, совсем-с, потому я прямо ведь скажу, что ничего такого я вам не говорил-с никогда, а что вы или в болезни какой (а на то и похоже-с), али уж братца так своего пожалели, что собой пожертвовали, а на меня выдумали, так как всё равно меня как за мошку считали всю вашу жизнь, а не за человека. Ну и кто ж вам поверит, ну и какое у вас есть хоть одно доказательство?

— Слушай, эти деньги ты показал мне теперь, конечно, чтобы меня убедить.

Смердяков снял с пачек ИсаакаСирина и отложил в сторону.

— Эти деньги с собою возьмите-с и унесите, — вздохнул Смердяков.

— Конечно, унесу! Но почему же ты мне отдаешь, если из-за них

убил? — с большим удивлением посмотрел на него Иван.

— Не надо мне их вовсе-с, — дрожащим голосом проговорил Смердяков, махнув рукой. — Была такая прежняя мысль-с, что с такими деньгами жизнь начну, в Москве али пуще того за границей, такая мечта была-с, а пуще всё потому, что «всё позволено». Это вы вправду меня учили-с, ибо много вы мне тогда этого говорили: ибо коли бога бесконечного нет, то и нет никакой добродетели, да и не надобно ее тогда вовсе. Это вы вправду. Так я и рассудил.

— Своим умом дошел? — криво усмехнулся Иван.

— Вашим руководством-с.

— А теперь, стало быть, в бога уверовал, коли деньги назад отдаешь?

— Нет-с, не уверовал-с, — прошептал Смердяков.

— Так зачем отдаешь?

— Полноте… нечего-с! — махнул опять Смердяков рукой. — Вы вот сами тогда всё говорили, что всё позволено, а теперь-то почему так встревожены, сами-то-с? Показывать на себя даже хотите идти… Только ничего того не будет! Не пойдете показывать! — твердо и убежденно решил опять Смердяков.

— Увидишь! — проговорил Иван.

— Не может того быть. Умны вы очень-с. Деньги любите, это я знаю-с, почет тоже любите, потому что очень горды, прелесть женскую чрезмерно любите, а пуще всего в покойном довольстве жить и чтобы никому не кланяться — это пуще всего-с. Не захотите вы жизнь навеки испортить, такой стыд на суде приняв. Вы как Федор Павлович, наиболее-с, изо всех детей наиболее на него похожи вышли, с одною с ними душой-с.

— Ты не глуп, — проговорил Иван, как бы пораженный; кровь ударила ему в лицо, — я прежде думал, что ты глуп. Ты теперь серьезен! — заметил он, как-то вдруг по-новому глядя на Смердякова.

— От гордости вашей думали, что я глуп. Примите деньги-то-с.

Иван взял все три пачки кредиток и сунул в карман, не обертывая их ничем.

— Завтра их на суде покажу, — сказал он.

— Никто вам там не поверит-с, благо денег-то у вас и своих теперь довольно, взяли из шкатунки да и принесли-с.

Иван встал с места.

— Повторяю тебе, если не убил тебя, то единственно потому, что ты мне на завтра нужен, помни это, не забывай!

— А что ж, убейте-с. Убейте теперь, — вдруг странно проговорил Смердяков, странно смотря на Ивана. — Не посмеете и этого-с, — прибавил он, горько усмехнувшись, — ничего не посмеете, прежний смелый человек-с!

— До завтра! — крикнул Иван и двинулся идти.

— Постойте… покажите мне их еще раз.

Иван вынул кредитки и показал ему. Смердяков поглядел на них секунд десять.

— Ну, ступайте, — проговорил он, махнув рукой. — Иван Федорович! — крикнул он вдруг ему вслед опять.

— Чего тебе? — обернулся Иван уже на ходу.

— Прощайте-с!

— До завтра! — крикнул опять Иван и вышел из избы. Метель всё еще продолжалась. Первые шаги прошел он бодро, но вдруг как бы стал шататься. «Это что-то физическое», — подумал он, усмехнувшись. Какая-то словно радость сошла теперь в его душу. Он почувствовал в себе какую-то бесконечную твердость: конец колебаниям его, столь ужасно его мучившим всё последнее время! Решение было взято, «и уже не изменится», — со счастьем подумал он. В это мгновение он вдруг на что-то споткнулся и чуть не упал. Остановясь, он различил в ногах своих поверженного им мужичонку, всё так же лежавшего на том же самом месте, без чувств и без движения. Метель уже засыпала ему почти всё лицо. Иван вдруг схватил его и потащил на себе. Увидав направо в домишке свет, подошел, постучался в ставни и откликнувшегося мещанина, которому принадлежал домишко, попросил помочь ему дотащить мужика в частный дом[*], обещая тут же дать за то три рубля. Мещанин собрался и вышел. Не стану в подробности описывать, как удалось тогда Ивану Федоровичу достигнуть цели и пристроить мужика в части, с тем чтобы сейчас же учинить и осмотр его доктором, причем он опять выдал и тут щедрою рукой «на расходы». Скажу только, что дело взяло почти целый час времени. Но Иван Федорович остался очень доволен. Мысли его раскидывались и работали. «Если бы не было взято так твердо решение мое на завтра, — подумал он вдруг с наслаждением, — то не остановился бы я на целый час пристраивать мужичонку, а прошел бы

мимо его и только плюнул бы на то, что он замерзнет… Однако как я в силах наблюдать за собой, — подумал он в ту же минуту еще с большим наслаждением, — а они-то решили там, что я с ума схожу!» Дойдя до своего дома, он вдруг остановился под внезапным вопросом: «А не надо ль сейчас, теперь же пойти к прокурору и всё объявить?» Вопрос он решил, поворотив опять к дому: «Завтра всё вместе!» — прошептал он про себя, и, странно, почти вся радость, всё довольство его собою прошли в один миг. Когда же он вступил в свою комнату, что-то ледяное прикоснулось вдруг к его сердцу, как будто воспоминание, вернее, напоминание о чем-то мучительном и отвратительном, находящемся именно в этой комнате теперь, сейчас, да и прежде бывшем. Он устало опустился на свой диван. Старуха принесла ему самовар, он заварил чай, но не прикоснулся к нему; старуху отослал до завтра. Он сидел на диване и чувствовал головокружение. Он чувствовал, что болен и бессилен. Стал было засыпать, но в беспокойстве встал и прошелся по комнате, чтобы прогнать сон. Минутами мерещилось ему, что как будто он бредит. Но не болезнь занимала его всего более; усевшись опять, он начал изредка оглядываться кругом, как будто что-то высматривая. Так было несколько раз. Наконец взгляд его пристально направился в одну точку. Иван усмехнулся, но краска гнева залила его лицо. Он долго сидел на своем месте, крепко подперев обеими руками голову и все-таки кося глазами на прежнюю точку, на стоявший у противоположной стены диван. Его видимо что-то там раздражало, какой-то предмет, беспокоило, мучило.

IX

Черт. Кошмар Ивана Федоровича

Я не доктор, а между тем чувствую, что пришла минута, когда мне решительно необходимо объяснить хоть что-нибудь в свойстве болезни Ивана Федоровича[*] читателю. Забегая вперед, скажу лишь одно: он был теперь, в этот вечер, именно как раз накануне белой горячки, которая наконец уже вполне овладела его издавна расстроенным, но упорно

сопротивлявшимся болезни организмом. Не зная ничего в медицине, рискну высказать предположение, что действительно, может быть, ужасным напряжением воли своей он успел на время отдалить болезнь, мечтая, разумеется, совсем преодолеть ее. Он знал, что нездоров, но ему с отвращением не хотелось быть больным в это время, в эти наступающие роковые минуты его жизни, когда надо было быть налицо, высказать свое слово смело и решительно и самому «оправдать себя пред собою». Он, впрочем, сходил однажды к новому, прибывшему из Москвы доктору, выписанному Катериной Ивановной вследствие одной ее фантазии, о которой я уже упоминал выше. Доктор, выслушав и осмотрев его, заключил, что у него вроде даже как бы расстройства в мозгу, и нисколько не удивился некоторому признанию, которое тот с отвращением, однако, сделал ему. «Галлюцинации в вашем состоянии очень возможны, — решил доктор, — хотя надо бы их и проверить… вообще же необходимо начать лечение серьезно, не теряя ни минуты, не то будет плохо». Но Иван Федорович, выйдя от него, благоразумного совета не исполнил и лечь лечиться пренебрег: «Хожу ведь, силы есть пока, свалюсь — дело другое, тогда пусть лечит кто хочет», — решил он, махнув рукой. Итак, он сидел теперь, почти сознавая сам, что в бреду, и, как уже и сказал я, упорно приглядывался к какому-то предмету у противоположной стены на диване. Там вдруг оказался сидящим некто, бог знает как вошедший, потому что его еще не было в комнате, когда Иван Федорович, возвратясь от Смердякова, вступил в нее. Это был какой-то господин или, лучше сказать, известного сорта русский джентльмен[*], лет уже не молодых, «qui frisait la cinquantaine»,[6] как говорят французы, с не очень сильною проседью в темных, довольно длинных и густых еще волосах и в стриженой бородке клином. Одет он был в какой-то коричневый пиджак, очевидно от лучшего портного, но уже поношенный, сшитый примерно еще третьего года и совершенно уже вышедший из моды, так что из светских достаточных людей таких уже два года никто не носил. Белье, длинный галстук в виде шарфа, всё было так, как и у всех шиковатых джентльменов, но белье, если вглядеться ближе, было грязновато, а широкий шарф очень потерт. Клетчатые панталоны гостя сидели превосходно, но были опять-таки слишком светлы и как-то слишком узки, как теперь уже перестали носить, равно как и мягкая белая пуховая шляпа, которую уже слишком не по сезону притащил с собою

гость. Словом, был вид порядочности при весьма слабых карманных средствах. Похоже было на то, что джентльмен принадлежит к разряду бывших белоручек-помещиков, процветавших еще при крепостном праве; очевидно, видавший свет и порядочное общество, имевший когда-то связи и сохранивший их, пожалуй, и до сих пор, но мало-помалу с обеднением после веселой жизни в молодости и недавней отмены крепостного права обратившийся вроде как бы в приживальщика хорошего тона, скитающегося по добрым старым знакомым, которые принимают его за уживчивый складный характер, да еще и ввиду того, что всё же порядочный человек, которого даже и при ком угодно можно посадить у себя за стол, хотя, конечно, на скромное место. Такие приживальщики, складного характера джентльмены, умеющие порассказать, составить партию в карты и решительно не любящие никаких поручений, если их им навязывают, — обыкновенно одиноки, или холостяки, или вдовцы, может быть и имеющие детей, но дети их воспитываются всегда где-то далеко, у каких-нибудь теток, о которых джентльмен никогда почти не упоминает в порядочном обществе, как бы несколько стыдясь такого родства. От детей же отвыкает мало-помалу совсем, изредка получая от них к своим именинам и к рождеству поздравительные письма и иногда даже отвечая на них. Физиономия неожиданного гостя была не то чтобы добродушная, а опять-таки складная и готовая, судя по обстоятельствам, на всякое любезное выражение. Часов на нем не было, но был черепаховый лорнет на черной ленте. На среднем пальце правой руки красовался массивный золотой перстень с недорогим опалом. Иван Федорович злобно молчал и не хотел заговаривать. Гость ждал и именно сидел как приживальщик, только что сошедший сверху из отведенной ему комнаты вниз к чаю составить хозяину компанию, но смирно молчавший ввиду того, что хозяин занят и об чем-то нахмуренно думает; готовый, однако, ко всякому любезному разговору, только лишь хозяин начнет его. Вдруг лицо его выразило как бы некоторую внезапную озабоченность.

— Послушай, — начал он Ивану Федоровичу, — ты извини, я только чтобы напомнить: ты ведь к Смердякову пошел с тем, чтоб узнать про Катерину Ивановну, а ушел ничего об ней не узнав, верно забыл…

— Ах да! — вырвалось вдруг у Ивана, и лицо его омрачилось

заботой, — да, я забыл… Впрочем, теперь всё равно, всё до завтра, — пробормотал он про себя. — А ты, — раздражительно обратился он к гостю, — это я сам сейчас должен был вспомнить, потому что именно об этом томило тоской! Что ты выскочил, так я тебе и поверю, что это ты подсказал, а не я сам вспомнил?

— А не верь, — ласково усмехнулся джентльмен. — Что за вера насилием? Притом же в вере никакие доказательства не помогают, особенно материальные.* Фома поверил* не потому, что увидел воскресшего Христа, а потому, что еще прежде желал поверить. Вот, например, спириты… я их очень люблю…* вообрази, они полагают, что полезны для веры, потому что им черти с того света рожки показывают. «Это, дескать, доказательство уже, так сказать, материальное, что есть тот свет». Тот свет и материальные доказательства, ай-люли! И наконец, если доказан черт, то еще неизвестно, доказан ли бог? Я хочу в идеалистическое общество записаться, оппозицию у них буду делать: «дескать реалист, а не материалист, хе-хе!»

— Слушай, — встал вдруг из-за стола Иван Федорович. — Я теперь точно в бреду… и, уж конечно, в бреду… ври что хочешь, мне всё равно! Ты меня не приведешь в исступление, как в прошлый раз. Мне только чего-то стыдно… Я хочу ходить по комнате… Я тебя иногда не вижу и голоса твоего даже не слышу, как в прошлый раз, но всегда угадываю то, что ты мелешь, потому что *это я, я сам говорю, а не ты!* Не знаю только, спал ли я в прошлый раз или видел тебя наяву? Вот я обмочу полотенце холодною водой и приложу к голове, и авось ты испаришься.

Иван Федорович прошел в угол, взял полотенце, исполнил, как сказал, и с мокрым полотенцем на голове стал ходить взад и вперед по комнате.

— Мне нравится, что мы с тобой прямо стали на *ты*, — начал было гость.

— Дурак, — засмеялся Иван, — что ж я *вы*, что ли, стану тебе говорить. Я теперь весел, только в виске болит… и темя… только, пожалуйста, не философствуй, как в прошлый раз. Если не можешь убраться, то ври что-нибудь веселое. Сплетничай, ведь ты приживальщик, так сплетничай. Навяжется же такой кошмар! Но я не боюсь тебя. Я тебя преодолею. Не свезут в сумасшедший дом!

— C'est charmant,[7] приживальщик. Да я именно в своем виде. Кто

ж я на земле, как не приживальщик? Кстати, я ведь слушаю тебя и немножко дивлюсь: ей-богу, ты меня как будто уже начинаешь помаленьку принимать за нечто и в самом деле, а не за твою только фантазию, как стоял на том в прошлый раз…

— Ни одной минуты не принимаю тебя за реальную правду, — как-то яростно даже вскричал Иван. — Ты ложь, ты болезнь моя, ты призрак. Я только не знаю, чем тебя истребить, и вижу, что некоторое время надобно прострадать. Ты моя галлюцинация. Ты воплощение меня самого, только одной, впрочем, моей стороны… моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых. С этой стороны ты мог бы быть даже мне любопытен, если бы только мне было время с тобой возиться…

— Позволь, позволь, я тебя уличу: давеча у фонаря, когда ты вскинулся на Алешу и закричал ему: «Ты от *него* узнал! Почему ты узнал, что он ко мне ходит?» Это ведь ты про меня вспоминал. Стало быть, одно маленькое мгновеньице ведь верил же, верил, что я действительно есмь, — мягко засмеялся джентльмен.

— Да, это была слабость природы… но я не мог тебе верить. Я не знаю, спал ли я или ходил прошлый раз. Я, может быть, тогда тебя только во сне видел, а вовсе не наяву…

— А зачем ты давеча с ним так сурово, с Алешей-то? Он милый; я пред ним за старца Зосиму виноват.

— Молчи про Алешу! Как ты смеешь, лакей! — опять засмеялся Иван.

— Бранишься, а сам смеешься — хороший знак. Ты, впрочем, сегодня гораздо со мной любезнее, чем в прошлый раз, и я понимаю отчего: это великое решение…

— Молчи про решение! — свирепо вскричал Иван.

— Понимаю, понимаю, c'est noble, c'est charmant,[8] ты идешь защищать завтра брата и приносишь себя в жертву… c'est chevaleresque.[9]

— Молчи, я тебе пинков надаю!

— Отчасти буду рад, ибо тогда моя цель достигнута: коли пинки, значит, веришь в мой реализм, потому что призраку не дают пинков. Шутки в сторону: мне ведь всё равно, бранись, коли хочешь, но всё же лучше быть хоть каплю повежливее, хотя бы даже со мной. А то дурак да лакей, ну что за слова!

— Браня тебя, себя браню! — опять засмеялся Иван, — ты — я, сам я, только с другою рожей. Ты именно говоришь то, что я уже мыслю… и ничего не в силах сказать мне нового!

— Если я схожусь с тобою в мыслях, то это делает мне только честь, — с деликатностью и достоинством проговорил джентльмен.

— Только всё скверные мои мысли берешь, а главное — глупые. Ты глуп и пошл. Ты ужасно глуп. Нет, я тебя не вынесу! Что мне делать, что мне делать! — проскрежетал Иван.

— Друг мой, я все-таки хочу быть джентльменом и чтобы меня так и принимали, — в припадке некоторой чисто приживальщицкой и уже вперед уступчивой и добродушной амбиции начал гость. — Я беден, но… не скажу, что очень честен, но… обыкновенно в обществе принято за аксиому, что я падший ангел. Ей-богу, не могу представить, каким образом я мог быть когда-нибудь ангелом. Если и был когда, то так давно, что не грешно и забыть. Теперь я дорожу лишь репутацией порядочного человека и живу как придется, стараясь быть приятным. Я людей люблю искренно — о, меня во многом оклеветали! Здесь, когда временами я к вам переселяюсь, моя жизнь протекает вроде чего-то как бы и в самом деле, и это мне более всего нравится. Ведь я и сам, как и ты же, страдаю от фантастического, а потому и люблю ваш земной реализм. Тут у вас всё очерчено, тут формула, тут геометрия, а у нас всё какие-то неопределенные уравнения! Я здесь хожу и мечтаю. Я люблю мечтать. К тому же на земле я становлюсь суеверен — не смейся, пожалуйста: мне именно это-то и нравится, что я становлюсь суеверен. Я здесь все ваши привычки принимаю: я в баню торговую полюбил ходить, можешь ты это представить, и люблю с купцами и попами париться. Моя мечта это — воплотиться, но чтоб уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху и всему поверить, во что она верит. Мой идеал — войти в церковь и поставить свечку от чистого сердца, ей-богу так. Тогда предел моим страданиям. Вот тоже лечиться у вас полюбил: весной оспа пошла, я пошел и в воспитательном доме себе оспу привил — если б ты знал, как я был в тот день доволен: на братьев славян десять рублей пожертвовал!.. Да ты не слушаешь. Знаешь, ты что-то очень сегодня не по себе, — помолчал немного джентльмен. — Я знаю, ты ходил вчера к тому доктору… ну, как твое здоровье? Что тебе доктор сказал?

— Дурак! — отрезал Иван.

— Зато ты-то как умен. Ты опять бранишься? Я ведь не то чтоб из участия, а так. Пожалуй, не отвечай. Теперь вот ревматизмы опять пошли…

— Дурак, — повторил опять Иван.

— Ты всё свое, а я вот такой ревматизм прошлого года схватил, что до сих пор вспоминаю.

— У черта ревматизм?

— Почему же и нет, если я иногда воплощаюсь. Воплощаюсь, так и принимаю последствия. Сатана sum et nihil humanum a me alienum puto.* [10]

— Как, как? Сатана sum et nihil humanum… это неглупо для черта!

— Рад, что наконец угодил.

— А ведь это ты взял не у меня, — остановился вдруг Иван как бы пораженный, — это мне никогда в голову не приходило, это странно…

— C'est du nouveau n'est ce pas?[11] На этот раз я поступлю честно и объясню тебе. Слушай: в снах, и особенно в кошмарах, ну, там от расстройства желудка или чего-нибудь, иногда видит человек такие художественные сны, такую сложную и реальную действительность, такие события или даже целый мир событий, связанный такою интригой, с такими неожиданными подробностями, начиная с высших ваших проявлений до последней пуговицы на манишке, что, клянусь тебе, Лев Толстой не сочинит,* а между тем видят такие сны иной раз вовсе не сочинители, совсем самые заурядные люди, чиновники, фельетонисты, попы… Насчет этого даже целая задача: один министр так даже мне сам признавался, что все лучшие идеи его приходят к нему, когда он спит. Ну вот так и теперь. Я хоть и твоя галлюцинация, но, как и в кошмаре, я говорю вещи оригинальные, какие тебе до сих пор в голову не приходили, так что уже вовсе не повторяю твоих мыслей, а между тем я только твой кошмар, и больше ничего.

— Лжешь. Твоя цель именно уверить, что ты сам по себе, а не мой кошмар, и вот ты теперь подтверждаешь сам, что ты сон.

— Друг мой, сегодня я взял особую методу, я потом тебе растолкую. Постой, где же я остановился? Да, вот я тогда простудился, только не у вас, а еще там…

— Где там? Скажи, долго ли ты у меня пробудешь, не можешь уйти? — почти в отчаянии воскликнул Иван. Он оставил ходить, сел на диван, опять облокотился на стол и стиснул обеими руками голову. Он

сорвал с себя мокрое полотенце и с досадой отбросил его: очевидно, не помогало.

— У тебя расстроены нервы, — заметил джентльмен с развязно-небрежным, но совершенно дружелюбным, однако, видом, — ты сердишься на меня даже за то, что я мог простудиться, а между тем произошло оно самым естественным образом. Я тогда поспешал на один дипломатический вечер к одной высшей петербургской даме, которая метила в министры. Ну, фрак, белый галстук, перчатки, и, однако, я был еще бог знает где, и, чтобы попасть к вам на землю, предстояло еще перелететь пространство… конечно, это один только миг, но ведь и луч света от солнца идет целых восемь минут, а тут, представь, во фраке и в открытом жилете. Духи не замерзают, но уж когда воплотился, то… словом, светренничал, и пустился, а ведь в пространствах-то этих, в эфире-то, в воде-то этой, яже бе над твердию[*], — ведь это такой мороз… то есть какое мороз — это уж и морозом назвать нельзя, можешь представить: сто пятьдесят градусов ниже нуля! Известна забава деревенских девок: на тридцатиградусном морозе предлагают новичку лизнуть топор; язык мгновенно примерзает, и олух в кровь сдирает с него кожу; так ведь это только на тридцати градусах, а на ста-то пятидесяти, да тут только палец, я думаю, приложить к топору, и его как не бывало, если бы… только там мог случиться топор…

— А там может случиться топор? — рассеянно и гадливо перебил вдруг Иван Федорович. Он сопротивлялся изо всех сил, чтобы не поверить своему бреду и не впасть в безумие окончательно.

— Топор? — переспросил гость в удивлении.

— Ну да, что станется там с топором? — с каким-то свирепым и настойчивым упорством вдруг вскричал Иван Федорович.

— Что станется в пространстве с топором? Quelle idée![12] Если куда попадет подальше, то примется, я думаю, летать вокруг Земли, сам не зная зачем, в виде спутника Астрономы вычислят восхождение и захождение топора, Гатцук внесет в календарь[*], вот и всё.

— Ты глуп, ты ужасно глуп! — строптиво сказал Иван, — ври умнее, а то я не буду слушать. Ты хочешь побороть меня реализмом, уверить меня, что ты есь, но я не хочу верить, что ты есь! Не поверю!!

— Да я и не вру, всё правда; к сожалению, правда почти всегда бывает неостроумна. Ты, я вижу, решительно ждешь от меня чего-то

великого, а может быть, и прекрасного.* Это очень жаль, потому что я даю лишь то, что могу.

— Не философствуй, осел!

— Какая тут философия, когда вся правая сторона отнялась, кряхчу и мычу? Был у всей медицины: распознать умеют отлично, всю болезнь расскажут тебе как по пальцам, ну а вылечить не умеют. Студентик тут один случился восторженный: если вы, говорит, и умрете, то зато будете вполне знать, от какой болезни умерли! Опять-таки эта их манера отсылать к специалистам: мы, дескать, только распознаем, а вот поезжайте к такому-то специалисту, он уже вылечит. Совсем, совсем, я тебе скажу, исчез прежний доктор, который ото всех болезней лечил, теперь только одни специалисты и всё в газетах публикуются. Заболи у тебя нос, тебя шлют в Париж: там, дескать, европейский специалист носы лечит. Приедешь в Париж, он осмотрит нос: я вам, скажет, только правую ноздрю могу вылечить, потому что левых ноздрей не лечу, это не моя специальность*, а поезжайте после меня в Вену, там вам особый специалист левую ноздрю долечит. Что будешь делать? Прибегнул к народным средствам, один немец-доктор посоветовал в бане на полке медом с солью вытереться. Я, единственно чтобы только в баню лишний раз сходить, пошел: выпачкался весь, и никакой пользы. С отчаяния графу Маттеи в Милан написал; прислал книгу и капли, бог с ним. И вообрази: мальц-экстракт* Гоффа помог! Купил нечаянно, выпил полторы стклянки, и хоть танцевать, всё как рукой сняло. Непременно положил ему «спасибо» в газетах напечатать, чувство благодарности заговорило, и вот вообрази, тут уже другая история пошла: ни в одной-то редакции не принимают! «Ретроградно очень будет, говорят, никто не поверит, le diable n'existe point.[13] Вы, советуют, напечатайте анонимно». Ну какое же «спасибо», если анонимно. Смеюсь с конторщиками: «Это в бога, говорю, в наш век ретроградно верить, а ведь я черт, в меня можно». — «Понимаем, говорят, кто же в черта не верит, а все-таки нельзя, направлению повредить может. Разве в виде шутки?» Ну в шутку-то, подумал, будет неостроумно. Так и не напечатали. И веришь ли, у меня даже на сердце это осталось. Самые лучшие чувства мои, как например благодарность, мне формально запрещены единственно социальным моим положением.

— Опять в философию въехал! — ненавистно проскрежетал Иван.

— Боже меня убереги, но ведь нельзя же иногда не пожаловаться. Я

человек оклеветанный. Вот ты поминутно мне, что я глуп. Так и видно молодого человека. Друг мой, не в одном уме дело! У меня от природы сердце доброе и веселое, «я ведь тоже разные водевильчики»[*]. Ты, кажется, решительно принимаешь меня за поседелого Хлестакова, и, однако, судьба моя гораздо серьезнее. Каким-то там довременным назначением, которого я никогда разобрать не мог, я определен «отрицать», между тем я искренно добр и к отрицанию совсем не способен. Нет, ступай отрицать, без отрицания-де не будет критики, а какой же журнал, если нет «отделения критики»? Без критики будет одна «осанна». Но для жизни мало одной «осанны», надо, чтоб «осанна»-то эта переходила через горнило сомнений[*], ну и так далее, в этом роде. Я, впрочем, во всё это не ввязываюсь, не я сотворил, не я и в ответе. Ну и выбрали козла отпущения, заставили писать в отделении критики, и получилась жизнь. Мы эту комедию понимаем: я, например, прямо и просто требую себе уничтожения. Нет, живи, говорят, потому что без тебя ничего не будет. Если бы на земле было всё благоразумно, то ничего бы и не произошло. Без тебя не будет никаких происшествий, а надо, чтобы были происшествия. Вот и служу скрепя сердце, чтобы были происшествия, и творю неразумное по приказу. Люди принимают всю эту комедию за нечто серьезное, даже при всем своем бесспорном уме. В этом их и трагедия. Ну и страдают, конечно, но… всё же зато живут, живут реально, не фантастически; ибо страдание-то и есть жизнь. Без страдания какое было бы в ней удовольствие — всё обратилось бы в один бесконечный молебен: оно свято, но скучновато. Ну а я? Я страдаю, а всё же не живу. Я икс в неопределенном уравнении. Я какой-то призрак жизни, который потерял все концы и начала, и даже сам позабыл наконец, как и назвать себя. Ты смеешься… нет, ты не смеешься, ты опять сердишься. Ты вечно сердишься, тебе бы всё только ума, а я опять-таки повторю тебе, что я отдал бы всю эту надзвездную жизнь, все чины и почести за то только, чтобы воплотиться в душу семипудовой купчихи и богу свечки ставить.

— Уж и ты в бога не веришь? — ненавистно усмехнулся Иван.

— То есть как тебе это сказать, если ты только серьезно…

— Есть бог или нет? — опять со свирепою настойчивостью крикнул Иван.

— А, так ты серьезно? Голубчик мой, ей-богу, не знаю, вот великое слово сказал.

— Не знаешь, а бога видишь? Нет, ты не сам по себе, ты — *я*, ты есть я и более ничего! Ты дрянь, ты моя фантазия!

— То есть, если хочешь, я одной с тобой философии, вот это будет справедливо. Je pense donc je suis[*], [14] это я знаю наверно, остальное же всё, что кругом меня, все эти миры, бог и даже сам сатана — всё это для меня не доказано, существует ли оно само по себе или есть только одна моя эманация, последовательное развитие моего *я*, существующего довременно и единолично… словом, я быстро прерываю, потому что ты, кажется, сейчас драться вскочишь.

— Лучше бы ты какой анекдот! — болезненно проговорил Иван.

— Анекдот есть и именно на нашу тему, то есть это не анекдот, а так, легенда. Ты вот укоряешь меня в неверии: «видишь-де, а не веришь». Но, друг мой, ведь не я же один таков, у нас там все теперь помутились, и всё от ваших наук. Еще пока были атомы, пять чувств, четыре стихии, ну тогда всё кое-как клеилось. Атомы-то и в древнем мире были. А вот как узнали у нас, что вы там открыли у себя «химическую молекулу», да «протоплазму», да черт знает что еще — так у нас и поджали хвосты. Просто сумбур начался; главное — суеверие, сплетни; сплетен ведь и у нас столько же, сколько у вас, даже капельку больше, а, наконец, и доносы, у нас ведь тоже есть такое одно отделение[*], где принимают известные «сведения». Так вот эта дикая легенда, еще средних наших веков — не ваших, а наших — и никто-то ей не верит даже и у нас, кроме семипудовых купчих, то есть опять-таки не ваших, а наших купчих. Всё, что у вас есть, — есть и у нас, это я уж тебе по дружбе одну тайну нашу открываю, хоть и запрещено. Легенда-то эта об рае. Был, дескать, здесь у вас на земле один такой мыслитель и философ, «всё отвергал, законы, совесть, веру»[*], а главное — будущую жизнь. Помер, думал, что прямо во мрак и смерть, ан перед ним — будущая жизнь. Изумился и вознегодовал: «Это, говорит, противоречит моим убеждениям». Вот его за это и присудили… то есть, видишь, ты меня извини, я ведь передаю сам, что слышал, это только легенда… присудили, видишь, его, чтобы прошел во мраке квадриллион километров (у нас ведь теперь на километры), и когда кончит этот квадриллион, то тогда ему отворят райские двери и всё простят…

— А какие муки у вас на том свете, кроме-то квадриллиона? — с каким-то странным оживлением прервал Иван.

— Какие муки? Ах, и не спрашивай: прежде было и так и сяк, а

ныне всё больше нравственные пошли, «угрызения совести» и весь этот вздор. Это тоже от вас завелось, от «смягчения ваших нравов»[*]. Ну и кто же выиграл, выиграли одни бессовестные, потому что ж ему за угрызения совести, когда и совести-то нет вовсе. Зато пострадали люди порядочные, у которых еще оставалась совесть и честь… То-то вот реформы-то на неприготовленную-то почву, да еще списанные с чужих учреждений, — один только вред! Древний огонек-то лучше бы. Ну, так вот этот осужденный на квадриллион постоял, посмотрел и лег поперек дороги: «Не хочу идти, из принципа не пойду!» Возьми душу русского просвещенного атеиста и смешай с душой пророка Ионы, будировавшего во чреве китове три дня и три ночи[*],— вот тебе характер этого улегшегося на дороге мыслителя.

— На чем же он там улегся?

— Ну, там, верно, было на чем. Ты не смеешься?

— Молодец! — крикнул Иван, всё в том же странном оживлении. Теперь он слушал с каким-то неожиданным любопытством. — Ну что ж, и теперь лежит?

— То-то и есть, что нет. Он пролежал почти тысячу лет, а потом встал и пошел.

— Вот осел-то! — воскликнул Иван, нервно захохотав, всё как бы что-то усиленно соображая. — Не всё ли равно, лежать ли вечно или идти квадриллион верст? Ведь это биллион лет ходу?

— Даже гораздо больше, вот только нет карандашика и бумажки, а то бы рассчитать можно. Да ведь он давно уже дошел, и тут-то и начинается анекдот.

— Как дошел! Да где ж он биллион лет взял?

— Да ведь ты думаешь всё про нашу теперешнюю землю! Да ведь теперешняя земля, может, сама-то биллион раз повторялась; ну, отживала, леденела, трескалась, рассыпалась, разлагалась на составные начала, опять вода, яже бе над твердию, потом опять комета, опять солнце, опять из солнца земля — ведь это развитие, может, уже бесконечно раз повторяется, и всё в одном и том же виде, до черточки. Скучища неприличнейшая…

— Ну-ну, что же вышло, когда дошел?

— А только что ему отворили в рай, и он вступил, то, не пробыв еще двух секунд — и это по часам, по часам (хотя часы его, по-моему, давно должны были бы разложиться на составные элементы у него в

кармане дорогой), — не пробыв двух секунд, воскликнул, что за эти две секунды не только квадриллион, но квадриллион квадриллионов пройти можно, да еще возвысив в квадриллионную степень! Словом, пропел «осанну», да и пересолил, так что иные там, с образом мыслей поблагороднее, так даже руки ему не хотели подать на первых порах: слишком-де уж стремительно в консерваторы перескочил. Русская натура. Повторяю: легенда. За что купил, за то и продал. Так вот еще какие там у нас обо всех этих предметах понятия ходят.

— Я тебя поймал! — вскричал Иван с какою-то почти детскою радостью, как бы уже окончательно что-то припомнив, — этот анекдот о квадриллионе лет — это я сам сочинил! Мне было тогда семнадцать лет, я был в гимназии… я этот анекдот тогда сочинил и рассказал одному товарищу, фамилия его Коровкин, это было в Москве… Анекдот этот так характерен, что я не мог его ниоткуда взять. Я его было забыл… но он мне припомнился теперь бессознательно — мне самому, а не ты рассказал! Как тысячи вещей припоминаются иногда бессознательно, даже когда казнить везут[*]…во сне припомнился. Вот ты и есть этот сон! Ты сон и не существуешь!

— По азарту, с каким ты отвергаешь меня, — засмеялся джентльмен, — я убеждаюсь, что ты все-таки в меня веришь.

— Нимало! На сотую долю не верю!

— Но на тысячную веришь. Гомеопатические-то доли ведь самые, может быть, сильные. Признайся, что веришь, ну на десятитысячную…

— Ни одной минуты! — яростно вскричал Иван. — Я, впрочем, желал бы в тебя поверить! — странно вдруг прибавил он.

— Эге! Вот, однако, признание! Но я добр, я тебе и тут помогу. Слушай: это я тебя поймал, а не ты меня! Я нарочно тебе твой же анекдот рассказал, который ты уже забыл, чтобы ты окончательно во мне разуверился.

— Лжешь! Цель твоего появления уверить меня, что ты есь.

— Именно. Но колебания, но беспокойство, но борьба веры и неверия — это ведь такая иногда мука для совестливого человека, вот как ты, что лучше повеситься. Я именно, зная, что ты капельку веришь в меня, подпустил тебе неверия уже окончательно, рассказав этот анекдот. Я тебя вожу между верой и безверием попеременно, и тут у меня своя цель. Новая метода-с: ведь когда ты во мне совсем разуверишься, то тотчас меня же в глаза начнешь уверять, что я не сон,

а есмь в самом деле, я тебя уж знаю; вот я тогда и достигну цели. А цель моя благородная. Я в тебя только крохотное семечко веры брошу, а из него вырастет дуб — да еще такой дуб, что ты, сидя на дубе-то, в «отцы пустынники и в жены непорочны» пожелаешь вступить[*]; ибо тебе оченно, оченно того втайне хочется, акриды кушать будешь, спасаться в пустыню потащишься!

— Так ты, негодяй, для спасения моей души стараешься?

— Надо же хоть когда-нибудь доброе дело сделать. Злишься-то ты, злишься, как я погляжу!

— Шут! А искушал ты когда-нибудь вот этаких-то, вот что акриды-то едят, да по семнадцати лет в голой пустыне молятся, мохом обросли?

— Голубчик мой, только это и делал. Весь мир и миры забудешь, а к одному этакому прилепишься, потому что бриллиант-то уж очень драгоценен; одна ведь такая душа стоит иной раз целого созвездия — у нас ведь своя арифметика. Победа-то драгоценна! А ведь иные из них, ей-богу, не ниже тебя по развитию, хоть ты этому и не поверишь: такие бездны веры и неверия могут созерцать в один и тот же момент, что, право, иной раз кажется, только бы еще один волосок — и полетит человек «вверх тормашки», как говорит актер Горбунов[*].

— Ну и что ж, отходил с носом?

— Друг мой, — заметил сентенциозно гость, — с носом всё же лучше отойти, чем иногда совсем без носа, как недавно еще изрек один болящий маркиз (должно быть, специалист лечил) на исповеди своему духовному отцу-иезуиту Я присутствовал — просто прелесть. «Возвратите мне, говорит, мой нос!» И бьет себя в грудь. «Сын мой, — виляет патер, — по неисповедимым судьбам провидения всё восполняется и видимая беда влечет иногда за собою чрезвычайную, хотя и невидимую выгоду. Если строгая судьба лишила вас носа, то выгода ваша в том, что уже никто во всю вашу жизнь не осмелится вам сказать, что вы остались с носом». — «Отец святой, это не утешение! — восклицает отчаянный, — я был бы, напротив, в восторге всю жизнь каждый день оставаться с носом, только бы он был у меня на надлежащем месте!» — «Сын мой, — вздыхает патер, — всех благ нельзя требовать разом, и это уже ропот на провидение, которое даже и тут не забыло вас; ибо если вы вопиете, как возопили сейчас, что с радостью готовы бы всю жизнь оставаться с носом, то и тут уже косвенно исполнено желание ваше: ибо, потеряв нос, вы тем самым всё

же как бы остались с носом…*»

— Фу, как глупо! — крикнул Иван.

— Друг мой, я хотел только тебя рассмешить, но, клянусь, это настоящая иезуитская казуистика, и, клянусь, всё эго случилось буква в букву, как я изложил тебе. Случай этот недавний и доставил мне много хлопот. Несчастный молодой человек, возвратясь домой, в ту же ночь застрелился; я был при нем неотлучно до последнего момента… Что же до исповедальных этих иезуитских будочек, то это воистину самое милое мое развлечение в грустные минуты жизни.* Вот тебе еще один случай, совсем уж на днях.* Приходит к старику патеру блондиночка, норманочка, лет двадцати, девушка. Красота, телеса, натура — слюнки текут. Нагнулась, шепчет патеру в дырочку свой грех. «Что вы, дочь моя, неужели вы опять уже пали?.. — восклицает патер. — O Sancta Maria,[15] что я слышу: уже не с тем. Но доколе же это продолжится, и как вам это не стыдно!» — «Ah mon père,[16] — отвечает грешница, вся в покаянных слезах. — Ça lui fait tant de plaisir et à moi si peu de peine!*»[17] Ну, представь себе такой ответ! Тут уж и я отступился: это крик самой природы, это, если хочешь, лучше самой невинности! Я тут же отпустил ей грех и повернулся было идти, но тотчас же принужден был и воротиться: слышу, патер в дырочку ей назначает вечером свидание, а ведь старик — кремень, и вот пал в одно мгновение! Природа-то, правда-то природы взяла свое! Что, опять воротишь нос, опять сердишься? Не знаю уж, чем и угодить тебе…

— Оставь меня, ты стучишь в моем мозгу как неотвязный кошмар, — болезненно простонал Иван, в бессилии пред своим видением, — мне скучно с тобою, невыносимо и мучительно! Я бы много дал, если бы мог прогнать тебя!

— Повторяю, умерь свои требования, не требуй от меня «всего великого и прекрасного» и увидишь, как мы дружно с тобой уживемся, — внушительно проговорил джентльмен. — Воистину ты злишься на меня за то, что я не явился тебе как-нибудь в красном сиянии, «гремя и блистая», с опаленными крыльями*, а предстал в таком скромном виде. Ты оскорблен, во-первых, в эстетических чувствах твоих, а во-вторых, в гордости: как, дескать, к такому великому человеку мог войти такой пошлый черт? Нет, в тебе таки есть эта романтическая струйка, столь осмеянная еще Белинским. Что

делать, молодой человек. Я вот думал давеча, собираясь к тебе, для шутки предстать в виде отставного действительного статского советника, служившего на Кавказе, со звездой Льва и Солнца на фраке[*], но решительно побоялся, потому ты избил бы меня только за то, как я смел прицепить на фрак Льва и Солнце, а не прицепил по крайней мере Полярную звезду али Сириуса[*]. И всё ты о том, что я глуп. Но бог мой, я и претензий не имею равняться с тобой умом. Мефистофель, явившись к Фаусту, засвидетельствовал о себе, что он хочет зла, а делает лишь добро. Ну, это как ему угодно, я же совершенно напротив. Я, может быть, единственный человек во всей природе, который любит истину и искренно желает добра.[*] Я был при том, когда умершее на кресте Слово восходило в небо, неся на персях своих душу распятого одесную разбойника[*], я слышал радостные взвизги херувимов, поющих и вопиющих: «Осанна», и громовый вопль восторга серафимов, от которого потряслось небо и всё мироздание.[*] И вот, клянусь же всем, что есть свято, я хотел примкнуть к хору и крикнуть со всеми: «Осанна!» Уже слетало, уже рвалось из груди… я ведь, ты знаешь, очень чувствителен и художественно восприимчив. Но здравый смысл — о, самое несчастное свойство моей природы — удержал меня и тут в должных границах, и я пропустил мгновение! Ибо что же, — подумал я в ту же минуту, — что же бы вышло после моей-то «осанны»? Тотчас бы всё угасло на свете и не стало бы случаться никаких происшествий. И вот единственно по долгу службы и по социальному моему положению я принужден был задавить в себе хороший момент и остаться при пакостях. Честь добра кто-то берет всю себе, а мне оставлены в удел только пакости. Но я не завидую чести жить на шаромыжку[*], я не честолюбив. Почему изо всех существ в мире только я лишь один обречен на проклятия ото всех порядочных людей и даже на пинки сапогами, ибо, воплощаясь, должен принимать иной раз и такие последствия? Я ведь знаю, тут есть секрет, но секрет мне ни за что не хотят открыть, потому что я, пожалуй, тогда, догадавшись в чем дело, рявкну «осанну», и тотчас исчезнет необходимый минус и начнется во всем мире благоразумие, а с ним, разумеется, и конец всему, даже газетам и журналам, потому что кто ж на них тогда станет подписываться. Я ведь знаю, в конце концов я помирюсь, дойду и я мой квадриллион и узнаю секрет. Но пока это произойдет, будирую и скрепя сердце исполняю мое назначение: губить тысячи, чтобы спасся один.

Сколько, например, надо была погубить душ и опозорить честных репутаций, чтобы получить одного только праведного Иова, на котором меня так зло поддели во время оно![*] Нет, пока не открыт секрет, для меня существуют две правды: одна тамошняя, ихняя, мне пока совсем неизвестная, а другая моя. И еще неизвестно, которая будет почище… Ты заснул?

— Еще бы, — злобно простонал Иван, — всё, что ни есть глупого в природе моей, давно уже пережитого, перемолотого в уме моем, отброшенного, как падаль, — ты мне же подносишь как какую-то новость!

— Не потрафил и тут! А я-то думал тебя даже литературным изложением прельстить: эта «осанна»-то в небе, право, недурно ведь у меня вышло? Затем сейчас этот саркастический тон à la Гейне[*], а, не правда ли?

— Нет, я никогда не был таким лакеем! Почему же душа моя могла породить такого лакея, как ты?

— Друг мой, я знаю одного прелестнейшего и милейшего русского барчонка: молодого мыслителя и большого любителя литературы и изящных вещей, автора поэмы, которая обещает, под названием: «Великий инквизитор»… Я его только и имел в виду!

— Я тебе запрещаю говорить о «Великом инквизиторе», — воскликнул Иван, весь покраснев от стыда.

— Ну, а «Геологический-то переворот»? Помнишь?[*] Вот это так уж поэмка!

— Молчи, или я убью тебя!

— Это меня-то убьешь? Нет, уж извини, выскажу. Я и пришел, чтоб угостить себя этим удовольствием. О, я люблю мечты пылких, молодых, трепещущих жаждой жизни друзей моих! «Там новые люди, — решил ты еще прошлою весной, сюда собираясь, — они полагают разрушить всё и начать с антропофагии[*]. Глупцы, меня не спросились! По-моему, и разрушать ничего не надо, а надо всего только разрушить в человечестве идею о боге, вот с чего надо приняться за дело! С этого, с этого надобно начинать — о слепцы, ничего не понимающие! Раз человечество отречется поголовно от бога (а я верю, что этот период — параллель геологическим периодам — совершится), то само собою, без антропофагии, падет всё прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность, и наступит всё новое. Люди

совокупятся, чтобы взять от жизни всё, что она может дать, но непременно для счастия и радости в одном только здешнем мире[*]. Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости и явится человеко-бог. Ежечасно побеждая уже без границ природу, волею своею и наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных. Всякий узнает, что он смертен весь, без воскресения, и примет смерть гордо и спокойно, как бог. Он из гордости поймет, что ему нечего роптать за то, что жизнь есть мгновение, и возлюбит брата своего уже безо всякой мзды. Любовь будет удовлетворять лишь мгновению жизни, но одно уже сознание ее мгновенности усилит огонь ее настолько, насколько прежде расплывалась она в упованиях на любовь загробную и бесконечную»… ну и прочее, и прочее в том же роде. Премило! Иван сидел, зажав себе уши руками и смотря в землю, но начал дрожать всем телом. Голос продолжал:

— Вопрос теперь в том, думал мой юный мыслитель: возможно ли, чтобы такой период наступил когда-нибудь или нет? Если наступит, то всё решено, и человечество устроится окончательно. Но так как, ввиду закоренелой глупости человеческой[*], это, пожалуй, еще и в тысячу лет не устроится, то всякому, сознающему уже и теперь истину, позволительно устроиться совершенно как ему угодно, на новых началах. В этом смысле ему «всё позволено». Мало того: если даже период этот и никогда не наступит, но так как бога и бессмертия все-таки нет, то новому человеку позволительно стать человеко-богом, даже хотя бы одному в целом мире, и, уж конечно, в новом чине, с легким сердцем перескочить всякую прежнюю нравственную преграду прежнего раба-человека, если оно понадобится. Для бога не существует закона! Где станет бог — там уже место божие! Где стану я, там сейчас же будет первое место… «всё дозволено», и шабаш! Всё это очень мило; только если захотел мошенничать, зачем бы еще, кажется, санкция истины? Но уж таков наш русский современный человечек: без санкции и смошенничать не решится, до того уж истину возлюбил…

Гость говорил, очевидно увлекаясь своим красноречием, всё более и более возвышая голос и насмешливо поглядывая на хозяина; но ему не удалось докончить: Иван вдруг схватил со стола стакан и с размаху пустил в оратора.

— Ah, mais c'est bête enfin![18] — воскликнул тот, вскакивая с

дивана и смахивая пальцами с себя брызги чаю, — вспомнил Лютерову чернильницу![*] Сам же меня считает за сон и кидается стаканами в сон! Это по-женски! А ведь я так и подозревал, что ты делал только вид, что заткнул свои уши, а ты слушал…

В раму окна вдруг раздался со двора твердый и настойчивый стук. Иван Федорович вскочил с дивана.

— Слышишь, лучше отвори, — вскричал гость, — это брат твой Алеша с самым неожиданным и любопытным известием, уж я тебе отвечаю!

— Молчи, обманщик, я прежде тебя знал, что это Алеша, я его предчувствовал, и, уж конечно, он недаром, конечно с «известием»!.. — воскликнул исступленно Иван.

— Отопри же, отопри ему. На дворе метель, а он брат твой. Monsieur, sait-il le temps qu'il fait? C'est à ne pas mettre un chien dehors[*]… [19]

Стук продолжался. Иван хотел было кинуться к окну; но что-то как бы вдруг связало ему ноги и руки. Изо всех сил он напрягался как бы порвать свои путы, но тщетно. Стук в окно усиливался всё больше и громче. Наконец вдруг порвались путы, и Иван Федорович вскочил на диване. Он дико осмотрелся. Обе свечки почти догорели, стакан, который он только что бросил в своего гостя, стоял пред ним на столе, а на противоположном диване никого не было. Стук в оконную раму хотя и продолжался настойчиво, но совсем не так громко, как сейчас только мерещилось ему во сне, напротив, очень сдержанно.

— Это не сон! Нет, клянусь, это был не сон, это всё сейчас было! — вскричал Иван Федорович, бросился к окну и отворил форточку.

— Алеша, я ведь не велел приходить! — свирепо крикнул он брату. — В двух словах: чего тебе надо? В двух словах, слышишь?

— Час тому назад повесился Смердяков, — ответил со двора Алеша.

— Пройди на крыльцо, сейчас отворю тебе, — сказал Иван и пошел отворять Алеше.

X

«Это он говорил!»

Алеша, войдя, сообщил Ивану Федоровичу, что час с небольшим назад прибежала к нему на квартиру Марья Кондратьевна и объявила, что Смердяков лишил себя жизни. «Вхожу этта к нему самовар прибрать, а он у стенки на гвоздочке висит». На вопрос Алеши: «Заявила ль она кому следует?» — ответила, что никому не заявляла, а «прямо бросилась к вам к первому и всю дорогу бежала бегом». Она была как помешанная, передавал Алеша, и вся дрожала как лист. Когда же Алеша прибежал вместе с ней в их избу, то застал Смердякова всё еще висевшим. На столе лежала записка: «Истребляю свою жизнь своею собственною волей и охотой, чтобы никого не винить». Алеша так и оставил эту записку на столе и пошел прямо к исправнику, у него обо всем заявил, «а оттуда прямо к тебе», — заключил Алеша, пристально вглядываясь в лицо Ивана. И всё время, пока он рассказывал, он не отводил от него глаз, как бы чем-то очень пораженный в выражении его лица.

— Брат, — вскричал он вдруг, — ты, верно, ужасно болен! Ты смотришь и как будто не понимаешь, что я говорю.

— Это хорошо, что ты пришел, — проговорил как бы задумчиво Иван и как бы вовсе не слыхав восклицания Алеши. — А ведь я знал, что он повесился.

— От кого же?

— Не знаю от кого. Но я знал. Знал ли я? Да, он мне сказал. Он сейчас еще мне говорил…

Иван стоял среди комнаты и говорил всё так же задумчиво и смотря в землю.

— Кто *он?* — спросил Алеша, невольно оглядевшись кругом.

— Он улизнул.

Иван поднял голову и тихо улыбнулся:

— Он тебя испугался, тебя, голубя. Ты «чистый херувим»[*]. Тебя Дмитрий херувимом зовет. Херувим… Громовый вопль восторга серафимов! Что такое серафим? Может быть, целое созвездие. А может быть, всё-то созвездие есть всего только какая-нибудь химическая молекула… Есть созвездие Льва и Солнца, не знаешь ли?

— Брат, сядь! — проговорил Алеша в испуге, — сядь, ради бога, на диван. Ты в бреду, приляг на подушку, вот так. Хочешь полотенце мокрое к голове? Может, лучше станет?

— Дай полотенце, вот тут на стуле, я давеча сюда бросил.

— Тут нет его. Не беспокойся, я знаю, где лежит; вот оно, — сказал Алеша, сыскав в другом углу комнаты, у туалетного столика Ивана, чистое, еще сложенное и не употребленное полотенце. Иван странно посмотрел на полотенце; память как бы вмиг воротилась к нему.

— Постой, — привстал он с дивана, — я давеча, час назад, это самое полотенце взял оттуда же и смочил водой. Я прикладывал к голове и бросил сюда… как же оно сухое? Другого не было.

— Ты прикладывал это полотенце к голове? — спросил Алеша.

— Да, и ходил по комнате, час назад… Почему так свечки сгорели? Который час?

— Скоро двенадцать.

— Нет, нет, нет! — вскричал вдруг Иван, — это был не сон![*] Он был, он тут сидел, вон на том диване. Когда ты стучал в окно, я бросил в него стакан… вот этот… Постой, я и прежде спал, но этот сон не сон. И прежде было. У меня, Алеша, теперь бывают сны… но они не сны, а наяву: я хожу, говорю и вижу… а сплю. Но он тут сидел, он был, вот на этом диване… Он ужасно глуп, Алеша, ужасно глуп, — засмеялся вдруг Иван и принялся шагать по комнате.

— Кто глуп? Про кого ты говоришь, брат? — опять тоскливо спросил Алеша.

— Черт! Он ко мне повадился. Два раза был, даже почти три. Он дразнил меня тем, будто я сержусь, что он просто черт, а не сатана с опаленными крыльями, в громе и блеске. Но он не сатана, это он лжет. Он самозванец. Он просто черт, дрянной, мелкий черт Он в баню ходит Раздень его и наверно отыщешь хвост, длинный, гладкий, как у датской собаки, в аршин длиной, бурый…[*] Алеша, ты озяб, ты в снегу был, хочешь чаю? Что? холодный? Хочешь, велю поставить? C'est à ne pas mettre un chien dehors.

Алеша быстро сбегал к рукомойнику, намочил полотенце, уговорил Ивана опять сесть и обложил ему мокрым полотенцем голову. Сам сел подле него.

— Что ты мне давеча говорил про Лизу? — начал опять Иван. (Он становился очень словоохотлив). — Мне нравится Лиза. Я сказал про нее тебе что-то скверное. Я солгал, мне она нравится… Я боюсь завтра за Катю, больше всего боюсь. За будущее. Она завтра бросит меня и растопчет ногами. Она думает, что я из ревности к ней гублю Митю! Да, она это думает! Так вот нет же! Завтра крест, но не виселица. Нет, я не

повешусь. Знаешь ли ты, что я никогда не могу лишить себя жизни, Алеша! От подлости, что ли? Я не трус. От жажды жить! Почему это я знал, что Смердяков повесился? Да, это *он* мне сказал…

— И ты твердо уверен, что кто-то тут сидел? — спросил Алеша.

— Вон на том диване, в углу. Ты бы его прогнал. Да ты же его и прогнал: он исчез, как ты явился. Я люблю твое лицо, Алеша. Знал ли ты, что я люблю твое лицо? *А он* — это я, Алеша, я сам. Всё мое низкое, всё мое подлое и презренное! Да, я «романтик», он это подметил… хоть это и клевета. Он ужасно глуп, но он этим берет. Он хитер, животно хитер, он знал, чем взбесить меня. Он всё дразнил меня, что я в него верю, и тем заставил меня его слушать. Он надул меня, как мальчишку. Он мне, впрочем, сказал про меня много правды. Я бы никогда этого не сказал себе. Знаешь, Алеша, знаешь, — ужасно серьезно и как бы конфиденциально прибавил Иван, — я бы очень желал, чтоб он в самом деле был *он, а* не я!

— Он тебя измучил, — сказал Алеша, с состраданием смотря на брата.

— Дразнил меня! И знаешь, ловко, ловко: «Совесть! Что совесть? Я сам ее делаю. Зачем же я мучаюсь? По привычке. По всемирной человеческой привычке за семь тысяч лет. Так отвыкнем и будем боги». Это он говорил, это он говорил!

— А не ты, не ты? — ясно смотря на брата, неудержимо вскричал Алеша. — Ну и пусть его, брось его и забудь о нем! Пусть он унесет с собою всё, что ты теперь проклинаешь, и никогда не приходит!

— Да, но он зол. Он надо мной смеялся. Он был дерзок, Алеша, — с содроганием обиды проговорил Иван. — Но он клеветал на меня, он во многом клеветал. Лгал мне же на меня же в глаза. «О, ты идешь совершить подвиг добродетели, объявишь, что убил отца, что лакей по твоему наущению убил отца…»

— Брат, — прервал Алеша, — удержись: не ты убил. Это неправда!

— Это он говорит, он, а он это знает: «Ты идешь совершить подвиг добродетели, а в добродетель-то и не веришь — вот что тебя злит и мучит, вот отчего ты такой мстительный». Это он мне про меня говорил, а он знает, что говорит…

— Это ты говоришь, а не он! — горестно воскликнул Алеша, — и говоришь в болезни, в бреду, себя мучая!

— Нет, он знает, что говорит. Ты, говорит, из гордости идешь, ты

станешь и скажешь: «Это я убил, и чего вы корчитесь от ужаса, вы лжете! Мнение ваше презираю, ужас ваш презираю». Это он про меня говорит, и вдруг говорит: «А знаешь, тебе хочется, чтоб они тебя похвалили: преступник, дескать, убийца, но какие у него великодушные чувства, брата спасти захотел и признался!» Вот это так уж ложь, Алеша! — вскричал вдруг Иван, засверкав глазами. — Я не хочу, чтобы меня смерды хвалили! Это он солгал, Алеша, солгал, клянусь тебе! Я бросил в него за это стаканом, и он расшибся об его морду.

— Брат, успокойся, перестань! — упрашивал Алеша.

— Нет, он умеет мучить, он жесток, — продолжал, не слушая, Иван. — Я всегда предчувствовал, зачем он приходит. «Пусть, говорит, ты шел из гордости, но ведь всё же была и надежда, что уличат Смердякова и сошлют в каторгу, что Митю оправдают, а тебя осудят лишь *нравственно* (слышишь, он тут смеялся!), а другие так и похвалят. Но вот умер Смердяков, повесился — ну и кто ж тебе там на суде теперь-то одному поверит? А ведь ты идешь, идешь, ты все-таки пойдешь, ты решил, что пойдешь. Для чего же ты идешь после этого?» Это страшно, Алеша, я не могу выносить таких вопросов. Кто смеет мне задавать такие вопросы!

— Брат, — прервал Алеша, замирая от страха, но всё еще как бы надеясь образумить Ивана, — как же мог он говорить тебе про смерть Смердякова до моего прихода, когда еще никто и не знал о ней, да и времени не было никому узнать?

— Он говорил, — твердо произнес Иван, не допуская и сомнения. — Он только про это и говорил, если хочешь. «И добро бы ты, говорит, в добродетель верил: пусть не поверят мне, для принципа иду. Но ведь ты поросенок, как Федор Павлович, и что тебе добродетель? Для чего же ты туда потащишься, если жертва твоя ни к чему не послужит? А потому что ты сам не знаешь, для чего идешь! О, ты бы много дал, чтоб узнать самому, для чего идешь! И будто ты решился? Ты еще не решился. Ты всю ночь будешь сидеть и решать: идти или нет? Но ты все-таки пойдешь и знаешь, что пойдешь, сам знаешь, что как бы ты ни решался, а решение уж не от тебя зависит. Пойдешь, потому что не смеешь не пойти. Почему не смеешь, — это уж сам угадай, вот тебе загадка!» Встал и ушел. Ты пришел, а он ушел. Он меня трусом назвал, Алеша! Le mot de l'énigme,[20] что я трус! «Не таким орлам воспарять над землей!» Это он прибавил, это он прибавил! И

Смердяков это же говорил. Его надо убить! Катя меня презирает, я уже месяц это вижу, да и Лиза презирать начнет! «Идешь, чтоб тебя похвалили» — это зверская ложь! И ты тоже презираешь меня, Алеша. Теперь я тебя опять возненавижу. И изверга ненавижу, и изверга ненавижу! Не хочу спасать изверга, пусть сгниет в каторге! Гимн запел! О, завтра я пойду, стану пред ними и плюну им всем в глаза!

Он вскочил в исступлении, сбросил с себя полотенце и принялся снова шагать по комнате. Алеша вспомнил давешние слова его: «Как будто я сплю наяву… Хожу, говорю и вижу, а сплю» Именно как будто это совершалось теперь Алеша не отходил от него Мелькнула было у него мысль бежать к доктору и привесть того, но он побоялся оставить брата одного: поручить его совсем некому было. Наконец Иван мало-помалу стал совсем лишаться памяти. Он всё продолжал говорить, говорил не умолкая, но уже совсем нескладно. Даже плохо выговаривал слова и вдруг сильно покачнулся на месте. Но Алеша успел поддержать его. Иван дал себя довести до постели, Алеша кое-как раздел его и уложил. Сам просидел над ним еще часа два. Больной спал крепко, без движения, тихо и ровно дыша. Алеша взял подушку и лег на диване не раздеваясь. Засыпая, помолился о Мите и об Иване. Ему становилась понятною болезнь Ивана: «Муки гордого решения, глубокая совесть!» Бог, которому он не верил, и правда его одолевали сердце, всё еще не хотевшее подчиниться «Да, неслось в голове Алеши, уже лежавшей на подушке, — да, коль Смердяков умер, то показанию Ивана никто уже не поверит; но он пойдет и покажет! — Алеша тихо улыбнулся — Бог победит! — подумал он. — Или восстанет в свете правды, или… погибнет в ненависти, мстя себе и всем за то, что послужил тому, во что не верит», — горько прибавил Алеша и опять помолился за Ивана.

Книга двенадцатая
Судебная ошибка

I

Роковой день

На другой день после описанных мною событий, в десять часов утра, открылось заседание нашего окружного суда и начался суд над Дмитрием Карамазовым.

Скажу вперед, и скажу с настойчивостью: я далеко не считаю себя в силах передать всё то, что произошло на суде, и не только в надлежащей полноте, но даже и в надлежащем порядке. Мне всё кажется, что если бы всё припомнить и всё как следует разъяснить, то потребуется целая книга, и даже пребольшая. А потому пусть не посетуют на меня, что я передам лишь то, что меня лично поразило и что я особенно запомнил. Я мог принять второстепенное за главнейшее, даже совсем упустить самые резкие необходимейшие черты… А впрочем, вижу, что лучше не извиняться. Сделаю как умею, и читатели сами поймут, что я сделал лишь как умел.

И во-первых, прежде чем мы войдем в залу суда, упомяну о том, что меня в этот день особенно удивило. Впрочем, удивило не одного меня, а, как оказалось впоследствии, и всех. Именно: все знали, что дело это заинтересовало слишком многих, что все сгорали от нетерпения, когда начнется суд, что в обществе нашем много говорили, предполагали, восклицали, мечтали уже целые два месяца. Все знали тоже, что дело это получило всероссийскую огласку, но все-таки не представляли себе, что оно до такой уже жгучей, до такой раздражительной степени потрясло всех и каждого*, да и не у нас только, а повсеместно, как оказалось это на самом суде в этот день. К этому дню к нам съехались гости не только из нашего губернского города, но и из некоторых других городов России, а наконец, из Москвы и из Петербурга. Приехали юристы, приехало даже несколько знатных лиц, а также и дамы. Все билеты были расхватаны. Для особенно почетных и знатных посетителей из мужчин отведены были даже совсем уже необыкновенные места сзади стола, за которым помещался суд: там появился целый ряд занятых разными особами кресел, чего никогда у нас прежде не допускалось. Особенно много оказалось дам — наших и приезжих, я думаю, даже не менее половины всей публики. Одних только съехавшихся отовсюду юристов оказалось так много, что даже не знали уж, где их и поместить, так как все билеты давно уже были розданы, выпрошены и вымолены. Я видел сам, как в конце залы, за эстрадой, была временно и наскоро устроена особая загородка, в которую впустили всех этих съехавшихся юристов, и они почли себя

даже счастливыми, что могли тут хоть стоять, потому что стулья, чтобы выгадать место, были из этой загородки совсем вынесены, и вся набравшаяся толпа простояла всё «дело» густо сомкнувшеюся кучей, плечом к плечу. Некоторые из дам, особенно из приезжих, явились на хорах залы чрезвычайно разряженные, но большинство дам даже и о нарядах забыло. На их лицах читалось истерическое, жадное, болезненное почти любопытство. Одна из характернейших особенностей всего этого собравшегося в зале общества и которую необходимо отметить, состояла в том, что, как и оправдалось потом по многим наблюдениям, почти все дамы, по крайней мере огромнейшее большинство их, стояли за Митю и за оправдание его. Может быть, главное, потому, что о нем составилось представление как о покорителе женских сердец. Знали, что явятся две женщины-соперницы. Одна из них, то есть Катерина Ивановна, особенно всех интересовала; про нее рассказывалось чрезвычайно много необыкновенного, про ее страсть к Мите, несмотря даже на его преступление, рассказывались удивительные анекдоты. Особенно упоминалось об ее гордости (она почти никому в нашем городе не сделала визитов), об «аристократических связях». Говорили, что она намерена просить правительство, чтоб ей позволили сопровождать преступника на каторгу и обвенчаться с ним где-нибудь в рудниках под землей. С не меньшим волнением ожидали появления на суде и Грушеньки, как соперницы Катерины Ивановны. С мучительным любопытством ожидали встречи пред судом двух соперниц— аристократической гордой девушки и «гетеры[*]»; Грушенька, впрочем, была известнее нашим дамам, чем Катерина Ивановна. Ее, «погубительницу Федора Павловича и несчастного сына его», видали наши дамы и прежде, и все, почти до единой, удивлялись, как в такую «самую обыкновенную, совсем даже некрасивую собой русскую мещанку» могли до такой степени влюбиться отец и сын. Словом, толков было много. Мне положительно известно, что собственно в нашем городе произошло даже несколько серьезных семейных ссор из-за Мити. Многие дамы горячо поссорились со своими супругами за разность взглядов на всё это ужасное дело, и естественно после того, что все мужья этих дам явились в залу суда уже не только нерасположенными к подсудимому, но даже озлобленными против него. И вообще положительно можно было сказать, что, в противоположность дамскому, весь мужской

элемент был настроен против подсудимого. Виднелись строгие, нахмуренные лица, другие даже совсем злобные, и это во множестве. Правда и то, что Митя многих из них сумел оскорбить лично во время своего у нас пребывания. Конечно, иные из посетителей были почти даже веселы и весьма безучастны собственно к судьбе Мити, но всё же опять-таки не к рассматривающемуся делу; все были заняты исходом его, и большинство мужчин решительно желало кары преступнику, кроме разве юристов, которым дорога была не нравственная сторона дела, а лишь, так сказать, современно-юридическая. Всех волновал приезд знаменитого Фетюковича. Талант его был известен повсеместно, и это уже не в первый раз, что он являлся в провинции защищать громкие уголовные дела. И после его защиты таковые дела всегда становились знаменитыми на всю Россию и надолго памятными. Ходило несколько анекдотов и о нашем прокуроре, и о председателе суда. Рассказывалось, что наш прокурор трепетал встречи с Фетюковичем, что это были старинные враги еще с Петербурга, еще с начала их карьеры, что самолюбивый наш Ипполит Кириллович, считавший себя постоянно кем-то обиженным еще с Петербурга, за то что не были надлежаще оценены его таланты, воскрес было духом над делом Карамазовых и мечтал даже воскресить этим делом свое увядшее поприще, но что пугал его лишь Фетюкович. Но насчет трепета пред Фетюковичем суждения были не совсем справедливы. Прокурор наш был не из таких характеров, которые падают духом пред опасностью, а, напротив, из тех, чье самолюбие вырастает и окрыляется именно по мере возрастания опасности. Вообще же надо заметить, что прокурор наш был слишком горяч и болезненно восприимчив. В иное дело он клал всю свою душу и вел его так, как бы от решения его зависела вся его судьба и всё его достояние. В юридическом мире над этим несколько смеялись, ибо наш прокурор именно этим качеством своим заслужил даже некоторую известность, если далеко не повсеместно, то гораздо большую, чем можно было предположить ввиду его скромного места в нашем суде. Особенно смеялись над его страстью к психологии. По-моему, все ошибались: наш прокурор, как человек и характер, кажется мне, был гораздо серьезнее, чем многие о нем думали. Но уж так не умел поставить себя этот болезненный человек с самых первых своих шагов еще в начале поприща, а затем и во всю свою жизнь.

Что же до председателя нашего суда, то о нем можно сказать лишь

то, что это был человек образованный, гуманный, практически знающий дело и самых современных идей. Был он довольно самолюбив, но о карьере своей не очень заботился. Главная цель его жизни заключалась в том, чтобы быть передовым человеком. Притом имел связи и состояние. На дело Карамазовых, как оказалось потом, он смотрел довольно горячо, но лишь в общем смысле. Его занимало явление, классификация его, взгляд на него как на продукт наших социальных основ как на характеристику русского элемента, и проч., и проч. К личному же характеру дела, к трагедии его, равно как и к личностям участвующих лиц, начиная с подсудимого, он относился довольно безразлично и отвлеченно, как, впрочем, может быть, и следовало.

Задолго до появления суда зала была уже набита битком. У нас зала суда лучшая в городе, обширная, высокая, звучная. Направо от членов суда, помещавшихся на некотором возвышении, был приготовлен стол и два ряда кресел для присяжных заседателей. Налево было место подсудимого и его защитника. На средине залы, близ помещения суда стоял стол с «вещественными доказательствами». На нем лежали окровавленный шелковый белый халат Федора Павловича, роковой медный пестик, коим было совершено предполагаемое убийство, рубашка Мити с запачканным кровью рукавом, его сюртук весь в кровавых пятнах сзади на месте кармана, в который он сунул тогда свой весь мокрый от крови платок, самый платок, весь заскорузлый от крови, теперь уже совсем пожелтевший, пистолет, заряженный для самоубийства Митей у Перхотина и отобранный у него тихонько в Мокром Трифоном Борисовичем, конверт с надписью, в котором были приготовлены для Грушеньки три тысячи, и розовая тоненькая ленточка, которою он был обвязан, и прочие многие предметы, которых и не упомню.* На некотором расстоянии дальше, в глубь залы, начинались места для публики, но еще пред балюстрадой стояло несколько кресел для тех свидетелей, уже давших свое показание, которые будут оставлены в зале. В десять часов появился суд в составе председателя, одного члена и одного почетного мирового судьи. Разумеется, тотчас же появился и прокурор. Председатель был плотный, коренастый человек, ниже среднего роста, с геморроидальным лицом, лет пятидесяти, с темными с проседью волосами, коротко обстриженными, и в красной ленте — не помню уж какого ордена. Прокурор же показался мне, да и не мне, а всем, очень уж как-то

бледным, почти с зеленым лицом, почему-то как бы внезапно похудевшим в одну, может быть, ночь, потому что я всего только третьего дня видел его совсем еще в своем виде. Председатель начал с вопроса судебному приставу: все ли явились присяжные заседатели?.. Вижу, однако, что так более продолжать не могу, уже потому даже, что многого не расслышал, в другое пропустил вникнуть, третье забыл упомнить, а главное, потому, что, как уже и сказал я выше, если всё припоминать, что было сказано и что произошло, то буквально недостанет у меня ни времени, ни места. Знаю только, что присяжных заседателей, тою и другою стороной, то есть защитником и прокурором, отведено было не очень много. Состав же двенадцати присяжных запомнил: четыре наших чиновника, два купца и шесть крестьян и мещан нашего города. У нас в обществе, я помню, еще задолго до суда, с некоторым удивлением спрашивали, особенно дамы: «Неужели такое тонкое, сложное и психологическое дело будет отдано на роковое решение каким-то чиновникам и, наконец, мужикам, и что-де поймет тут какой-нибудь такой чиновник, тем более мужик?» В самом деле, все эти четыре чиновника, попавшие в состав присяжных, были люди мелкие, малочиновные, седые — один только из них был несколько помоложе, — в обществе нашем малоизвестные, прозябавшие на мелком жалованье, имевшие, должно быть, старых жен, которых никуда нельзя показать, и по куче детей, может быть даже босоногих, много-много что развлекавшие свой досуг где-нибудь картишками и уж, разумеется, никогда не прочитавшие ни одной книги. Два же купца имели хоть и степенный вид, но были как-то странно молчаливы и неподвижны; один из них брил бороду и был одет по-немецки; другой, с седенькою бородкой, имел на шее, на красной ленте, какую-то медаль. Про мещан и крестьян и говорить нечего. Наши скотопригоньевские мещане почти те же крестьяне, даже пашут. Двое из них были тоже в немецком платье и оттого-то, может быть, грязнее и непригляднее на вид, чем остальные четверо. Так что действительно могла зайти мысль, как зашла и мне, например, только что я их рассмотрел: «Что могут такие постичь в таком деле?» Тем не менее лица их производили какое-то странно внушительное и почти грозящее впечатление, были строги и нахмурены.

Наконец председатель объявил к слушанию дело об убийстве отставного титулярного советника Федора Павловича Карамазова — не

помню вполне, как он тогда выразился. Судебному приставу велено было ввести подсудимого, и вот появился Митя. Всё затихло в зале, муху можно было услышать. Не знаю как на других, но вид Мити произвел на меня самое неприятное впечатление. Главное, он явился ужасным франтом, в новом с иголочки сюртуке. Я узнал потом, что он нарочно заказал к этому дню себе сюртук в Москве, прежнему портному, у которого сохранилась его мерка. Был он в новешеньких черных лайковых перчатках и в щегольском белье. Он прошел своими длинными аршинными шагами, прямо до неподвижности смотря пред собою, и сел на свое место с самым бестрепетным видом. Тут же сейчас же явился и защитник, знаменитый Фетюкович, и как бы какой-то подавленный гул пронесся в зале. Это был длинный, сухой человек, с длинными, тонкими ногами, с чрезвычайно длинными, бледными, тонкими пальцами, с обритым лицом, со скромно причесанными, довольно короткими волосами, с тонкими, изредка кривившимися не то насмешкой, не то улыбкой губами. На вид ему было лет сорок. Лицо его было бы и приятным, если бы не глаза его, сами по себе небольшие и невыразительные, но до редкости близко один от другого поставленные, так что их разделяла всего только одна тонкая косточка его продолговатого тонкого носа. Словом, физиономия эта имела в себе что-то резко птичье, что поражало. Он был во фраке и в белом галстуке. Помню первый опрос Мити председателем, то есть об имени, звании и проч. Митя ответил резко, но как-то неожиданно громко, так что председатель встряхнул даже головой и почти с удивлением посмотрел на него. Затем был прочитан список лиц, вызванных к судебному следствию, то есть свидетелей и экспертов. Список был длинный; четверо из свидетелей не явились: Миусов, бывший в настоящее время уже в Париже, но показание которого имелось еще в предварительном следствии, госпожа Хохлакова и помещик Максимов по болезни и Смердяков за внезапною смертью, причем было представлено свидетельство от полиции. Известие о Смердякове вызвало сильное шевеление и шепот в зале. Конечно, в публике многие еще вовсе не знали об этом внезапном эпизоде самоубийства. Но что особенно поразило, это — внезапная выходка Мити: только что донесли о Смердякове, как вдруг он со своего места воскликнул на всю залу:

— Собаке собачья смерть!

Помню, как бросился к нему его защитник и как председатель

обратился к нему с угрозой принять строгие меры, если еще раз повторится подобная этой выходка. Митя отрывисто и кивая головой, но как будто совсем не раскаиваясь, несколько раз повторил вполголоса защитнику:

— Не буду, не буду! Сорвалось! Больше не буду!

И уж, конечно, этот коротенький эпизод послужил не в его пользу во мнении присяжных и публики. Объявлялся характер и рекомендовал себя сам. Под этим-то впечатлением был прочитан секретарем суда обвинительный акт

Он был довольно краток, но обстоятелен. Излагались лишь главнейшие причины, почему привлечен такой-то, почему его должно было предать суду, и так далее. Тем не менее он произвел на меня сильное впечатление. Секретарь прочел четко, звучно, отчетливо. Вся эта трагедия как бы вновь появилась пред всеми выпукло, концентрично, освещенная роковым, неумолимым светом. Помню, как сейчас же по прочтении председатель громко и внушительно спросил Митю:

— Подсудимый, признаете ли вы себя виновным?

Митя вдруг встал с места:

— Признаю себя виновным в пьянстве и разврате, — воскликнул он каким-то опять-таки неожиданным, почти исступленным голосом, — в лени и в дебоширстве. Хотел стать навеки честным человеком именно в ту секунду, когда подсекла судьба! Но в смерти старика, врага моего и отца, — не виновен! Но в ограблении его — нет, нет, не виновен, да и не могу быть виновным: Дмитрий Карамазов подлец, но не вор!

Прокричав это, он сел на место, видимо весь дрожа. Председатель снова обратился к нему с кратким, но назидательным увещанием отвечать лишь на вопросы, а не вдаваться в посторонние и исступленные восклицания. Затем велел приступить к судебному следствию. Ввели всех свидетелей для присяги. Тут я увидел их всех разом. Впрочем, братья подсудимого были допущены к свидетельству без присяги. После увещания священника и председателя свидетелей увели и рассадили, по возможности, порознь. Затем стали вызывать их по одному.

II

Опасные свидетели

Не знаю, были ли свидетели прокурорские и от защиты разделены председателем как-нибудь на группы и в каком именно порядке предположено было вызывать их. Должно быть, всё это было. Знаю только, что первыми стали вызывать свидетелей прокурорских. Повторяю, я не намерен описывать все допросы и шаг за шагом. К тому же мое описание вышло бы отчасти и лишним, потому что в речах прокурора и защитника, когда приступили к прениям, весь ход и смысл всех данных и выслушанных показаний были сведены как бы в одну точку с ярким и характерным освещением, а эти две замечательные речи я, по крайней мере местами, записал в полноте и передам в свое время, равно как и один чрезвычайный и совсем неожиданный эпизод процесса, разыгравшийся внезапно еще до судебных прений и несомненно повлиявший на грозный и роковой исход его. Замечу только, что с самых первых минут суда выступила ярко некоторая особая характерность этого «дела», всеми замеченная, именно: необыкновенная сила обвинения сравнительно со средствами, какие имела защита. Это все поняли в первый миг, когда в этой грозной зале суда начали, концентрируясь, группироваться факты и стали постепенно выступать весь этот ужас и вся эта кровь наружу. Всем, может быть, стало понятно еще с самых первых шагов, что это совсем даже и не спорное дело, что тут нет сомнений, что, в сущности, никаких бы и прений не надо, что прения будут лишь только для формы, а что преступник виновен, виновен явно, виновен окончательно. Я думаю даже, что и все дамы, все до единой, с таким нетерпением жаждавшие оправдания интересного подсудимого, были в то же время совершенно уверены в полной его виновности. Мало того, мне кажется, они бы даже огорчились, если бы виновность его не столь подтвердилась, ибо тогда не было бы такого эффекта в развязке, когда оправдают преступника. А что его оправдают — в этом, странное дело, все дамы были окончательно убеждены почти до самой последней минуты: «виновен, но оправдают из гуманности, из новых идей, из новых чувств, которые теперь пошли», и проч., и проч. Для того-то они и сбежались сюда с таким нетерпением. Мужчины же наиболее интересовались борьбой прокурора и славного Фетюковича. Все удивлялись и спрашивали себя: что может сделать из такого потерянного дела, из такого выеденного

яйца даже и такой талант, как Фетюкович? — а потому с напряженным вниманием следили шаг за шагом за его подвигами. Но Фетюкович до самого конца, до самой речи своей остался для всех загадкой. Опытные люди предчувствовали, что у него есть система, что у него уже нечто составилось, что впереди у него есть цель, но какая она — угадать было почти невозможно. Его уверенность и самонадеянность бросались, однако же, в глаза. Кроме того, все с удовольствием сейчас же заметили, что он, в такое краткое пребывание у нас, всего в какие-нибудь три дня может быть, сумел удивительно ознакомиться с делом и «до тонкости изучил его». С наслаждением рассказывали, например, потом, как он всех прокурорских свидетелей сумел вовремя «подвести» и, по возможности, сбить, а главное, подмарать их нравственную репутацию, а стало быть, само собой подмарать и их показания.* Полагали, впрочем, что он делает это много-много что для игры, так сказать для некоторого юридического блеска, чтоб уж ничего не было забыто из принятых адвокатских приемов: ибо все были убеждены, что какой-нибудь большой и окончательной пользы он всеми этими «подмарываниями» не мог достичь и, вероятно, это сам лучше всех понимает, имея какую-то свою идею в запасе, какое-то еще пока припрятанное оружие защиты, которое вдруг и обнаружит, когда придет срок. Но пока все-таки, сознавая свою силу, он как бы играл и резвился. Так, например, когда опрашивали Григория Васильева, бывшего камердинера Федора Павловича, дававшего самое капитальное показание об «отворенной в сад двери», защитник так и вцепился в него, когда ему в свою очередь пришлось предлагать вопросы. Надо заметить, что Григорий Васильевич предстал в залу, не смутившись нимало ни величием суда, ни присутствием огромной слушавшей его публики, с видом спокойным и чуть не величавым. Он давал свои показания с такою уверенностью, как если бы беседовал наедине со своею Марфой Игнатьевной, только разве почтительнее. Сбить его было невозможно. Его сначала долго расспрашивал прокурор о всех подробностях семейства Карамазовых. Семейная картина ярко выставилась наружу. Слышалось, виделось, что свидетель был простодушен и беспристрастен. При всей глубочайшей почтительности к памяти своего бывшего барина, он все-таки, например, заявил, что тот был к Мите несправедлив и «не так воспитал детей. Его, малого мальчика, без меня вши бы заели, — прибавил он, повествуя о детских годах Мити. —

Тоже не годилось отцу сына в имении его материнском, родовом, обижать». На вопрос же прокурора о том, какие у него основания утверждать, что Федор Павлович обидел в расчете сына, Григорий Васильевич, к удивлению всех, основательных данных совсем никаких не представил, но все-таки стоял на том, что расчет с сыном был «неправильный» и что это точно ему «несколько тысяч следовало доплатить». Замечу кстати, что этот вопрос — действительно ли Федор Павлович недоплатил чего Мите? — прокурор с особенною настойчивостью предлагал потом и всем тем свидетелям, которым мог его предложить, не исключая ни Алеши, ни Ивана Федоровича, но ни от кого из свидетелей не получил никакого точного сведения; все утверждали факт, и никто не мог представить хоть сколько-нибудь ясного доказательства. После того как Григорий описал сцену за столом, когда ворвался Дмитрий Федорович и избил отца, угрожая воротиться убить его, — мрачное впечатление пронеслось по зале, тем более что старый слуга рассказывал спокойно, без лишних слов, своеобразным языком, а вышло страшно красноречиво. За обиду свою Митей, ударившим его тогда по лицу и сбившим его с ног, он заметил, что не сердится и давно простил. О покойном Смердякове выразился, перекрестясь, что малый был со способностью, да глуп и болезнью угнетен, а пуще безбожник, и что его безбожеству Федор Павлович и старший сын учили[*]. Но о честности Смердякова подтвердил почти с жаром и тут же передал, как Смердяков, во время оно, найдя оброненные барские деньги, не утаил их, а принес барину, и тот ему за это «золотой подарил» и впредь во всем доверять начал. Отворенную же дверь в сад подтвердил с упорною настойчивостью. Впрочем, его так много расспрашивали, что я всего и припомнить не могу. Наконец опросы перешли к защитнику, и тот первым делом начал узнавать о пакете, в котором «будто бы» спрятаны были Федором Павловичем три тысячи рублей для «известной особы». «Видели ли его сами — вы, столь многолетне приближенный к вашему барину человек?» Григорий ответил, что не видел, да и не слыхал о таких деньгах вовсе ни от кого, «до самых тех пор, как вот зачали теперь все говорить». Этот вопрос о пакете Фетюкович со своей стороны тоже предлагал всем, кого мог об этом спросить из свидетелей, с такою же настойчивостью, как и прокурор свой вопрос о разделе имения, и ото всех тоже получал лишь один ответ, что пакета никто не видал, хотя очень многие о нем

слышали. Эту настойчивость защитника на этом вопросе все с самого начала заметили.

— Теперь могу ли обратиться к вам с вопросом, если только позволите, — вдруг и совсем неожиданно спросил Фетюкович, — из чего состоял тот бальзам, или, так сказать, та настойка, посредством которой вы в тот вечер, перед сном, как известно из предварительного следствия, вытерли вашу страдающую поясницу, надеясь тем излечиться?

Григорий тупо посмотрел на опросчика и, помолчав несколько, пробормотал:

— Был шалфей* положен.

— Только шалфей? Не припомните ли еще чего-нибудь?

— Подорожник был тоже.

— И перец, может быть? — любопытствовал Фетюкович.

— И перец был.

— И так далее. И всё это на водочке?

— На спирту.

В зале чуть-чуть пронесся смешок.

— Видите, даже и на спирту. Вытерши спину, вы ведь остальное содержание бутылки, с некоею благочестивою молитвою, известной лишь вашей супруге, изволили выпить, ведь так?

— Выпил.

— Много ли примерно выпили? Примерно? Рюмочку, другую?

— Со стакан будет.

— Даже и со стакан. Может быть, и полтора стаканчика?

Григорий замолк. Он как бы что-то понял.

— Стаканчика полтора чистенького спиртику — оно ведь очень недурно, как вы думаете? Можно и «райские двери отверсты» увидеть*, не то что дверь в сад?

Григорий всё молчал. Опять прошел смешок в зале. Председатель пошевелился.

— Не знаете ли вы наверно, — впивался всё более и более Фетюкович, — почивали вы или нет в ту минуту, когда увидели отворенную в сад дверь?

— На ногах стоял.

— Это еще не доказательство, что не почивали (еще и еще смешок в зале). Могли ли, например, ответить в ту минуту, если бы вас кто

спросил о чем — ну, например, о том, который у нас теперь год?

— Этого не знаю.

— А который у нас теперь год, нашей эры, от рождества Христова, не знаете ли?

Григорий стоял со сбитым видом, в упор смотря на своего мучителя. Странно это, казалось, по-видимому, что он действительно не знает, какой теперь год.

— Может быть, знаете, однако, сколько у вас на руке пальцев?

— Я человек подневольный, — вдруг громко и раздельно проговорил Григорий, — коли начальству угодно надо мною надсмехаться, так я снести должен.

Фетюковича как бы немножко осадило, но ввязался и председатель и назидательно напомнил защитнику, что следует задавать более подходящие вопросы. Фетюкович, выслушав, с достоинством поклонился и объявил, что расспросы свои кончил. Конечно, и в публике, и у присяжных мог остаться маленький червячок сомнения в показании человека, имевшего возможность «видеть райские двери» в известном состоянии лечения и, кроме того, даже не ведающего, какой нынче год от рождества Христова; так что защитник своей цели все-таки достиг. Но пред уходом Григория произошел еще эпизод. Председатель, обратившись к подсудимому, спросил: не имеет ли он чего заметить по поводу данных показаний?

— Кроме двери, во всем правду сказал, — громко крикнул Митя. — Что вшей мне вычесывал — благодарю, что побои мне простил — благодарю; старик был честен всю жизнь и верен отцу как семьсот пуделей.

— Подсудимый, выбирайте ваши слова, — строго проговорил председатель.

— Я не пудель, — проворчал и Григорий.

— Ну так это я пудель, я! — крикнул Митя. — Коли обидно, то на себя принимаю, а у него прощения прошу: был зверь и с ним жесток! С Езопом тоже был жесток.

— С каким Езопом? — строго поднял опять председатель.

— Ну с Пьеро… с отцом, с Федором Павловичем.

Председатель опять и опять внушительно и строжайше уже подтвердил Мите, чтоб он осторожнее выбирал свои выражения.

— Вы сами вредите себе тем во мнении судей ваших.

Точно так же весьма ловко распорядился защитник и при спросе свидетеля Ракитина. Замечу, что Ракитин был из самых важных свидетелей и которым несомненно дорожил прокурор. Оказалось, что он всё знал, удивительно много знал, у всех-то он был, всё-то видел, со всеми-то говорил, подробнейшим образом знал биографию Федора Павловича и всех Карамазовых. Правда, про пакет с тремя тысячами тоже слышал лишь от самого Мити. Зато подробно описал подвиги Мити в трактире «Столичный город», все компрометирующие того слова и жесты и передал историю о «мочалке» штабс-капитана Снегирева. Насчет же того особого пункта, остался ли что-нибудь должен Федор Павлович Мите при расчете по имению — даже сам Ракитин не мог ничего указать и отделался лишь общими местами презрительного характера: «кто, дескать, мог бы разобрать из них виноватого и сосчитать, кто кому остался должен при бестолковой карамазовщине, в которой никто себя не мог ни понять, ни определить?» Всю трагедию судимого преступления он изобразил как продукт застарелых нравов крепостного права и погруженной в беспорядок России, страдающей без соответственных учреждений. Словом, ему дали кое-что высказать. С этого процесса господин Ракитин в первый раз заявил себя и стал заметен; прокурор знал, что свидетель готовит в журнал статью о настоящем преступлении и потом уже в речи своей (что увидим ниже) цитовал несколько мыслей из этой статьи, значит, уже был с нею знаком. Картина, изображенная свидетелем, вышла мрачною и роковою и сильно подкрепила «обвинение». Вообще же изложение Ракитина пленило публику независимостию мысли и необыкновенным благородством ее полета. Послышались даже два-три внезапно сорвавшиеся рукоплескания, именно в тех местах, где говорилось о крепостном праве и о страдающей от безурядицы России. Но Ракитин, всё же как молодой человек, сделал маленький промах, которым тотчас же отменно успел воспользоваться защитник. Отвечая на известные вопросы насчет Грушеньки, он, увлеченный своим успехом, который, конечно, уже сам сознавал, и тою высотой благородства, на которую воспарил, позволил себе выразиться об Аграфене Александровне несколько презрительно, как о «содержанке купца Самсонова». Дорого дал бы он потом, чтобы воротить свое словечко, ибо на нем-то и поймал его тотчас же Фетюкович. И всё потому, что Ракитин совсем не рассчитывал, что тот в

такой короткий срок мог до таких интимных подробностей ознакомиться с делом.

— Позвольте узнать, — начал защитник с самою любезною и даже почтительною улыбкой, когда пришлось ему в свою очередь задавать вопросы, — вы, конечно, тот самый и есть господин Ракитин, которого брошюру, изданную епархиальным начальством, «Житие в бозе почившего старца отца Зосимы», полную глубоких и религиозных мыслей, с превосходным и благочестивым посвящением преосвященному, я недавно прочел[*] с таким удовольствием?

— Я написал не для печати… это потом напечатали, — пробормотал Ракитин, как бы вдруг чем-то опешенный и почти со стыдом.

— О, это прекрасно! Мыслитель, как вы, может и даже должен относиться весьма широко ко всякому общественному явлению. Покровительством преосвященного ваша полезнейшая брошюра разошлась и доставила относительную пользу… Но я вот о чем, главное, желал бы у вас полюбопытствовать: вы только что заявили, что были весьма близко знакомы с госпожой Светловой? (Nota bene.[21] Фамилия Грушеньки оказалась «Светлова». Это я узнал в первый раз только в этот день, во время хода процесса.)

— Я не могу отвечать за все мои знакомства… Я молодой человек… и кто же может отвечать за всех тех, кого встречает, — так и вспыхнул весь Ракитин.

— Понимаю, слишком понимаю! — воскликнул Фетюкович, как бы сам сконфуженный и как бы стремительно спеша извиниться, — вы, как и всякий другой, могли быть в свою очередь заинтересованы знакомством молодой и красивой женщины, охотно принимавшей к себе цвет здешней молодежи, но… я хотел лишь осведомиться: нам известно, что Светлова месяца два назад чрезвычайно желала познакомиться с младшим Карамазовым, Алексеем Федоровичем, и только за то, чтобы вы привели его к ней, и именно в его тогдашнем монастырском костюме, она пообещала вам выдать двадцать пять рублей, только что вы его к ней приведете. Это, как и известно, состоялось именно в вечер того дня, который закончился трагическою катастрофой, послужившею основанием настоящему делу. Вы привели Алексея Карамазова к госпоже Светловой и — получили вы тогда эти двадцать пять рублей наградных от Светловой, вот что я желал бы от

вас услышать?

— Это была шутка… Я не вижу, почему вас это может интересовать. Я взял для шутки… и чтобы потом отдать…

— Стало быть, взяли. Но ведь не отдали же и до сих пор… или отдали?

— Это пустое… — бормотал Ракитин, — я не могу на этакие вопросы отвечать… Я, конечно, отдам.

Вступился председатель, но защитник возвестил, что он свои вопросы господину Ракитину кончил. Господин Ракитин сошел со сцены несколько подсаленный. Впечатление от высшего благородства его речи было-таки испорчено, и Фетюкович, провожая его глазами, как бы говорил, указывая публике: «вот, дескать, каковы ваши благородные обвинители!» Помню, не прошло и тут без эпизода со стороны Мити: взбешенный тоном, с каким Ракитин выразился о Грушеньке, он вдруг закричал со своего места: «Бернар!» Когда же председатель, по окончании всего опроса Ракитина, обратился к подсудимому: не желает ли он чего заметить со своей стороны, то Митя зычно крикнул:

— Он у меня, уже у подсудимого, деньги таскал взаймы! Бернар презренный и карьерист, и в бога не верует, преосвященного надул!

Митю, конечно, опять образумили за неистовство выражений, но господин Ракитин был докончен. Не повезло и свидетельству штабс-капитана Снегирева, но уже совсем от другой причины. Он предстал весь изорванный, в грязной одежде, в грязных сапогах, и, несмотря на все предосторожности и предварительную «экспертизу», вдруг оказался совсем пьяненьким. На вопросы об обиде, нанесенной ему Митей, вдруг отказался отвечать.

— Бог с ними-с. Илюшечка не велел. Мне бог там заплатит-с.

— Кто вам не велел говорить? Про кого вы упоминаете?

— Илюшечка, сыночек мой: «Папочка, папочка, как он тебя унизил!» У камушка произнес. Теперь помирает-с…

Штабс-капитан вдруг зарыдал и с размаху бухнулся в ноги председателю. Его поскорее вывели, при смехе публики. Подготовленное прокурором впечатление не состоялось вовсе.

Защитник же продолжал пользоваться всеми средствами и всё более и более удивлял своим ознакомлением с делом до мельчайших подробностей. Так, например, показание Трифона Борисовича произвело было весьма сильное впечатление и уж, конечно, было

чрезвычайно неблагоприятно для Мити. Он именно, чуть не по пальцам, высчитал, что Митя, в первый приезд свой в Мокрое, за месяц почти пред катастрофой, не мог истратить менее трех тысяч или «разве без самого только малого. На одних этих цыганок сколько раскидано! Нашим-то вшивым мужикам не то что „полтиною по улице шибали“, а по меньшей мере двадцатипятирублевыми бумажками дарили, меньше не давали. А сколько у них тогда просто украли-с! Ведь кто украл, тот руки своей не оставил, где же его поймать, вора-то-с, когда сами зря разбрасывали! Ведь у нас народ разбойник, душу свою не хранят. А девкам-то, девкам-то нашим деревенским что пошло! Разбогатели у нас с той поры, вот что-с, прежде бедность была». Словом, он припомнил всякую издержку и вывел всё точно на счетах. Таким образом, предположение о том, что истрачены были лишь полторы тысячи, а другие отложены в ладонку, становилось немыслимым. «Сам видел, в руках у них видел три тысячи как одну копеечку, глазами созерцал, уж нам ли счету не понимать-с!» — восклицал Трифон Борисович, изо всех сил желая угодить «начальству». Но когда опрос перешел к защитнику, тот, почти и не пробуя опровергать показание, вдруг завел речь о том, что ямщик Тимофей и другой мужик Аким подняли в Мокром, в этот первый кутеж, еще за месяц до ареста, сто рублей в сенях на полу, оброненные Митей в хмельном виде, и представили их Трифону Борисовичу, а тот дал им за это по рублю. «Ну так возвратили вы тогда эти сто рублей господину Карамазову или нет?» Трифон Борисович как ни вилял, но после допроса мужиков в найденной сторублевой сознался, прибавив только, что Дмитрию Федоровичу тогда же свято всё возвратил и вручил «по самой честности, и что вот только оне сами, будучи в то время совсем пьяными-с, вряд ли это могут припомнить». Но так как он все-таки до призыва свидетелей-мужиков в находке ста рублей отрицался, то и показание его о возврате суммы хмельному Мите, естественно, подверглось большому сомнению. Таким образом, один из опаснейших свидетелей, выставленных прокуратурой, ушел опять-таки заподозренным и в репутации своей сильно осаленным. То же приключилось и с поляками: те явились гордо и независимо. Громко засвидетельствовали, что, во-первых, оба «служили короне» и что «пан Митя» предлагал им три тысячи, чтобы купить их честь, и что они сами видели большие деньги в руках его. Пан Муссялович вставлял страшно много польских слов в свои фразы и, видя, что это только возвышает его

в глазах председателя и прокурора, возвысил наконец свой дух окончательно и стал уже совсем говорить по-польски. Но Фетюкович поймал и их в свои тенета: как ни вилял позванный опять Трифон Борисович, а все-таки должен был сознаться, что его колода карт была подменена паном Врублевским своею, а что пан Муссялович, меча банк, передернул карту. Это уже подтвердил Калганов, давая в свою очередь показание, и оба пана удалились с некоторым срамом, даже при смехе публики.

Затем точно так произошло почти со всеми наиболее опаснейшими свидетелями. Каждого-то из них сумел Фетюкович нравственно размарать и отпустить с некоторым носом. Любители и юристы только любовались и лишь недоумевали опять-таки, к чему такому большому и окончательному всё это могло бы послужить, ибо, повторяю, все чувствовали неотразимость обвинения, всё более и трагичнее нараставшего. Но по уверенности «великого мага» видели, что он был спокоен, и ждали: недаром же приехал из Петербурга «таков человек», не таков и человек, чтобы ни с чем назад воротиться.

III

Медицинская экспертиза и один фунт орехов

Медицинская экспертиза тоже не очень помогла подсудимому. Да и сам Фетюкович, кажется, не очень на нее рассчитывал, что и оказалось впоследствии В основании своем она произошла единственно по настоянию Катерины Ивановны, вызвавшей нарочно знаменитого доктора из Москвы. Защита, конечно, ничего не могла через нее проиграть, а в лучшем случае могла что-нибудь и выиграть. Впрочем, отчасти вышло даже как бы нечто комическое, именно по некоторому разногласию докторов. Экспертами явились: приехавший знаменитый доктор, затем наш доктор Герценштубе и, наконец, молодой врач Варвинский. Оба последние фигурировали тоже и как просто свидетели, вызванные прокурором.[*] Первым спрошен был в качестве эксперта доктор Герценштубе. Это был семидесятилетний старик, седой и плешивый, среднего роста, крепкого сложения. Его все у нас в городе

очень ценили и уважали. Был он врач добросовестный, человек прекрасный и благочестивый, какой-то гернгутер или «моравский брат»[*] уж не знаю наверно. Жил у нас уже очень давно и держал себя с чрезвычайным достоинством. Он был добр и человеколюбив, лечил бедных больных и крестьян даром, сам ходил в их конуры и избы и оставлял деньги на лекарство, но притом был и упрям, как мул. Сбить его с его идеи, если она засела у него в голове, было невозможно. Кстати, уже всем почти было известно в городе, что приезжий знаменитый врач в какие-нибудь два-три дня своего у нас пребывания позволил себе несколько чрезвычайно обидных отзывов насчет дарований доктора Герценштубе. Дело в том, что хоть московский врач и брал за визиты не менее двадцати пяти рублей, но всё же некоторые в нашем городе обрадовались случаю его приезда, не пожалели денег и кинулись к нему за советами. Всех этих больных лечил до него, конечно, доктор Герценштубе, и вот знаменитый врач с чрезвычайною резкостью окритиковал везде его лечение. Под конец даже, являясь к больному, прямо спрашивал: «Ну, кто вас здесь пачкал, Герценштубе? Хе-хе!» Доктор Герценштубе, конечно, всё это узнал. И вот все три врача появились один за другим для опроса. Доктор Герценштубе прямо заявил, что «ненормальность умственных способностей подсудимого усматривается сама собой». Затем, представив свои соображения, которые я здесь опускаю, он прибавил, что ненормальность эта усматривается, главное, не только из прежних многих поступков подсудимого, но и теперь, в сию даже минуту, и когда его попросили объяснить, в чем же усматривается теперь, в сию-то минуту, то старик доктор со всею прямотой своего простодушия указал на то, что подсудимый, войдя в залу, «имел необыкновенный и чудный по обстоятельствам вид, шагал вперед как солдат и держал глаза впереди себя, упираясь, тогда как вернее было ему смотреть налево, где в публике сидят дамы, ибо он был большой любитель прекрасного пола и должен был очень много думать о том, что теперь о нем скажут дамы», — заключил старичок своим своеобразным языком. Надо прибавить, что он говорил по-русски много и охотно, но как-то у него каждая фраза выходила на немецкий манер, что, впрочем, никогда не смущало его, ибо он всю жизнь имел слабость считать свою русскую речь за образцовую, «за лучшую, чем даже у русских», и даже очень любил прибегать к русским пословицам, уверяя каждый раз, что

русские пословицы лучшие и выразительнейшие изо всех пословиц в мире. Замечу еще, что он, в разговоре, от рассеянности ли какой, часто забывал слова самые обычные, которые отлично знал, но которые вдруг почему-то у него из ума выскакивали. То же самое, впрочем, бывало, когда он говорил по-немецки, и при этом всегда махал рукой пред лицом своим, как бы ища ухватить потерянное словечко, и уж никто не мог бы принудить его продолжать начатую речь, прежде чем он не отыщет пропавшего слова. Замечание его насчет того, что подсудимый, войдя, должен был бы посмотреть на дам, вызвало игривый шепот в публике. Старичка нашего очень у нас любили все дамы, знали тоже, что он, холостой всю жизнь человек, благочестивый и целомудренный, на женщин смотрел как на высшие и идеальные существа. А потому неожиданное замечание его всем показалось ужасно странным.

Московский доктор, спрошенный в свою очередь, резко и настойчиво подтвердил, что считает умственное состояние подсудимого за ненормальное, «даже в высшей степени». Он много и умно говорил про «аффект» и «манию» и выводил, что по всем собранным данным подсудимый пред своим арестом за несколько еще дней находился в несомненном болезненном аффекте и если совершил преступление, то хотя и сознавая его, но почти невольно, совсем не имея сил бороться с болезненным нравственным влечением, им овладевшим. Но кроме аффекта доктор усматривал и манию, что уже пророчило впереди, по его словам, прямую дорогу к совершенному уже помешательству. (NB. Я передаю своими словами, доктор же изъяснялся очень ученым и специальным языком). «Все действия его наоборот здравому смыслу и логике, — продолжал он. — Уже не говорю о том, чего не видал, то есть о самом преступлении и всей этой катастрофе, но даже третьего дня, во время разговора со мной, у него был необъяснимый неподвижный взгляд. Неожиданный смех, когда вовсе его не надо. Непонятное постоянное раздражение, странные слова: „Бернар, эфика“ и другие, которых не надо». Но особенно усматривал доктор эту манию в том, что подсудимый даже не может и говорить о тех трех тысячах рублей, в которых считает себя обманутым, без какого-то необычайного раздражения, тогда как обо всех других неудачах и обидах своих говорит и вспоминает довольно легко. Наконец, по справкам, он точно так же и прежде, всякий раз, когда касалось этих трех тысяч, приходил в какое-то почти исступление, а между тем свидетельствуют о нем, что он

бескорыстен и нестяжателен. «Насчет же мнения ученого собрата моего, — иронически присовокупил московский доктор, заканчивая свою речь, — что подсудимый, входя в залу, должен был смотреть на дам, а не прямо пред собою, скажу лишь то, что, кроме игривости подобного заключения, оно, сверх того, и радикально ошибочно; ибо хотя я вполне соглашаюсь, что подсудимый, входя в залу суда, в которой решается его участь, не должен был так неподвижно смотреть пред собой и что это действительно могло бы считаться признаком его ненормального душевного состояния в данную минуту, но в то же время я утверждаю, что он должен был смотреть не налево на дам, а, напротив, именно направо, ища глазами своего защитника, в помощи которого вся его надежда и от защиты которого зависит теперь вся его участь». Мнение свое доктор выразил решительно и настоятельно. Но особенный комизм разногласию обоих ученых экспертов придал неожиданный вывод врача Варвинского, спрошенного после всех. На его взгляд, подсудимый как теперь, так и прежде, находится в совершенно нормальном состоянии, и хотя действительно он должен был пред арестом находиться в положении нервном и чрезвычайно возбужденном, но это могло происходить от многих самых очевидных причин: от ревности, гнева, беспрерывно пьяного состояния и проч. Но это нервное состояние не могло заключать в себе никакого особенного «аффекта», о котором сейчас говорилось. Что же до того, налево или направо должен был смотреть подсудимый, входя в залу, то, «по его скромному мнению», подсудимый именно должен был, входя в залу, смотреть прямо пред собой, как и смотрел в самом деле, ибо прямо пред ним сидели председатель и члены суда, от которых зависит теперь вся его участь, «так что, смотря прямо пред собой, он именно тем самым и доказал совершенно нормальное состояние своего ума в данную минуту», — с некоторым жаром заключил молодой врач свое «скромное» показание.

— Браво, лекарь! — крикнул Митя со своего места, — именно так!

Митю, конечно, остановили, но мнение молодого врача имело самое решающее действие как на суд, так и на публику, ибо, как оказалось потом, все с ним согласились. Впрочем, доктор Герценштубе, спрошенный уже как свидетель, совершенно неожиданно вдруг послужил в пользу Мити. Как старожил города, издавна знающий семейство Карамазовых, он дал несколько показаний, весьма

интересных для «обвинения», и вдруг, как бы что-то сообразив, присовокупил:

— И, однако, бедный молодой человек мог получить без сравнения лучшую участь, ибо был хорошего сердца и в детстве, и после детства, ибо я знаю это. Но русская пословица говорит: «Если есть у кого один ум, то это хорошо, а если придет в гости еще умный человек, то будет еще лучше, ибо тогда будет два ума, а не один только…»

— Ум хорошо, а два — лучше, — в нетерпении подсказал прокурор, давно уже знавший обычай старичка говорить медленно, растянуто, не смущаясь производимым впечатлением и тем, что заставляет себя ждать, а, напротив, еще весьма ценя свое тугое, картофельное и всегда радостно-самодовольное немецкое остроумие. Старичок же любил острить.

— О, д-да, и я то же говорю, — упрямо подхватил он, — один ум хорошо, а два гораздо лучше. Но к нему другой с умом не пришел, а он и свой пустил… Как это, куда он его пустил? Это слово — куда он пустил свой ум, я забыл, — продолжал он, вертя рукой пред своими глазами, — ах да, шпацирен.

— Гулять?

— Ну да, гулять, и я то же говорю. Вот ум его и пошел прогуливаться и пришел в такое глубокое место, в котором и потерял себя. А между тем, это был благодарный и чувствительный юноша, о, я очень помню его еще вот таким малюткой, брошенным у отца в задний двор, когда он бегал по земле без сапожек и с панталончиками на одной пуговке.

Какая-то чувствительная и проникновенная нотка послышалась вдруг в голосе честного старичка. Фетюкович так и вздрогнул, как бы что-то предчувствуя, и мигом привязался.

— О да, я сам был тогда еще молодой человек… Мне… ну да, мне было тогда сорок пять лет, а я только что сюда приехал. И мне стало тогда жаль мальчика, и я спросил себя: почему я не могу купить ему один фунт… Ну да, чего фунт? Я забыл, как это называется… фунт того, что дети очень любят, как это — ну, как это… — замахал опять доктор руками, — это на дереве растет, и его собирают и всем дарят…

— Яблоки?

— О н-не-е-ет! Фунт, фунт, яблоки десяток, а не фунт… нет, их много и всё маленькие, кладут в рот и кр-р-рах!..

— Орехи?

— Ну да, орехи, и я то же говорю, — самым спокойным образом, как бы вовсе и не искал слова, подтвердил доктор, — и я принес ему один фунт орехов, ибо мальчику никогда и никто еще не приносил фунт орехов, и я поднял мой палец и сказал ему. «Мальчик! Gott der Vater», [22] — он засмеялся и говорит: «Gott der Vater. — Gott der Sohn».[23] Он еще засмеялся и лепетал: «Gott der Sohn. — Gott der heilige Geist».[24] Тогда он еще засмеялся и проговорил сколько мог: «Gott der heilige Geist». А я ушел. На третий день иду мимо, а он кричит мне сам: «Дядя, Gott der Vater, Gott der Sohn», и только забыл «Gott der heilige Geist», но я ему вспомнил, и мне опять стало очень жаль его. Но его увезли, и я более не видал его. И вот прошло двадцать три года, я сижу в одно утро в моем кабинете, уже с белою головой, и вдруг входит цветущий молодой человек, которого я никак не могу узнать, но он поднял палец и смеясь говорит: «Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der heilige Geist! Я сейчас приехал и пришел вас благодарить за фунт орехов; ибо мне никто никогда не покупал тогда фунт орехов, *а* вы один купили мне фунт орехов». И тогда я вспомнил мою счастливую молодость и бедного мальчика на дворе без сапожек, и у меня повернулось сердце, и я сказал: «Ты благодарный молодой человек, ибо всю жизнь помнил тот фунт орехов, который я тебе принес в твоем детстве» И я обнял его и благословил. И я заплакал. Он смеялся, но он и плакал… ибо русский весьма часто смеется там, где надо плакать. Но он и плакал, я видел это. А теперь, увы!..

— И теперь плачу, немец, и теперь плачу, божий ты человек! — крикнул вдруг Митя со своего места.

Как бы там ни было, а анекдотик произвел в публике некоторое благоприятное впечатление. Но главный эффект в пользу Мити произведен был показанием Катерины Ивановны, о котором сейчас скажу. Да и вообще, когда начались свидетели à décharge[*],[25] то есть вызванные защитником, то судьба как бы вдруг и даже серьезно улыбнулась Мите и — что всего замечательнее — неожиданно даже для самой защиты. Но еще прежде Катерины Ивановны спрошен был Алеша, который вдруг припомнил один факт, имевший вид даже как будто положительного уже свидетельства против одного важнейшего пункта обвинения.

IV

Счастье улыбается Мите

Случилось это вовсе нечаянно даже для самого Алеши. Он вызван был без присяги, и я помню, что к нему все стороны отнеслись с самых первых слов допроса чрезвычайно мягко и симпатично. Видно было, что ему предшествовала добрая слава Алеша показывал скромно и сдержанно, но в показаниях его явно прорывалась горячая симпатия к несчастному брату. Отвечая по одному вопросу, он очертил характер брата как человека, может быть и неистового, и увлеченного страстями, но тоже и благородного, гордого и великодушного, готового даже на жертву, если б от него потребовали. Сознавался, впрочем, что брат был в последние дни, из-за страсти к Грушеньке, из-за соперничества с отцом, в положении невыносимом. Но он с негодованием отверг даже предположение о том, что брат мог убить с целью грабежа, хотя и сознался, что эти три тысячи обратились в уме Мити в какую-то почти манию, что он считал их за недоданное ему, обманом отца, наследство и что, будучи вовсе некорыстолюбивым, даже не мог заговорить об этих трех тысячах без исступления и бешенства. Про соперничество же двух «особ», как выразился прокурор, то есть Грушеньки и Кати, отвечал уклончиво и даже на один или два вопроса совсем не пожелал отвечать.

— Говорил ли вам по крайней мере брат ваш, что намерен убить своего отца? — спросил прокурор. — Вы можете не отвечать, если найдете это нужным, — прибавил он.

— Прямо не говорил, — ответил Алеша.

— Как же? Косвенно?

— Он говорил мне раз о своей личной ненависти к отцу и что боится, что… в крайнюю минуту… в минуту омерзения… может быть, и мог бы убить его.

— И вы, услышав, поверили тому?

— Боюсь сказать, что поверил. Но я всегда был убежден, что некоторое высшее чувство всегда спасет его в роковую минуту, как и спасло в самом деле, потому что *не он* убил отца моего, — твердо закончил Алеша громким голосом и на всю залу. Прокурор вздрогнул, как боевой конь, заслышавший трубный сигнал.

— Будьте уверены, что я совершенно верю самой полной искренности убеждения вашего, не обусловливая и не ассимилируя его нисколько с любовью к вашему несчастному брату. Своеобразный взгляд ваш на весь трагический эпизод, разыгравшийся в вашем семействе, уже известен нам по предварительному следствию. Не скрою от вас, что он в высшей степени особлив и противоречит всем прочим показаниям, полученным прокуратурою. А потому и нахожу нужным спросить вас уже с настойчивостью: какие именно данные руководили мысль вашу и направили ее на окончательное убеждение в невинности брата вашего и, напротив, в виновности другого лица, на которого вы уже указали прямо на предварительном следствии?

— На предварительном следствии я отвечал лишь на вопросы, — тихо и спокойно проговорил Алеша, — а не шел сам с обвинением на Смердякова.

— И всё же на него указали?

— Я указал со слов брата Дмитрия. Мне еще до допроса рассказали о том, что произошло при аресте его и как он сам показал тогда на Смердякова. Я верю вполне, что брат невиновен. А если убил не он, то…

— То Смердяков? Почему же именно Смердяков? И почему именно вы так окончательно убедились в невиновности вашего брата?

— Я не мог не поверить брату. Я знаю, что он мне не солжет. Я по лицу его видел, что он мне не лжет.

— Только по лицу? В этом все ваши доказательства?

— Более не имею доказательств.

— И о виновности Смердякова тоже не основываетесь ни на малейшем ином доказательстве, кроме лишь слов вашего брата и выражения лица его?

— Да, не имею иного доказательства.

На этом прокурор прекратил расспросы. Ответы Алеши произвели было на публику самое разочаровывающее впечатление. О Смердякове у нас уже поговаривали еще до суда, кто-то что-то слышал, кто-то на что-то указывал, говорили про Алешу, что он накопил какие-то чрезвычайные доказательства в пользу брата и в виновности лакея, и вот — ничего, никаких доказательств, кроме каких-то нравственных убеждений, столь естественных в его качестве родного брата подсудимого.

Но начал спрашивать и Фетюкович. На вопрос о том: когда именно подсудимый говорил ему, Алеше, о своей ненависти к отцу и о том, что он мог бы убить его, и что слышал ли он это от него, например, при последнем свидании пред катастрофой, Алеша, отвечая, вдруг как бы вздрогнул, как бы нечто только теперь припомнив и сообразив:

— Я припоминаю теперь одно обстоятельство, о котором я было совсем и сам позабыл, но тогда оно было мне так неясно, а теперь…

И Алеша с увлечением, видимо сам только что теперь внезапно попав на идею, припомнил, как в последнем свидании с Митей, вечером, у дерева, по дороге к монастырю, Митя, ударяя себя в грудь, «в верхнюю часть груди», несколько раз повторил ему, что у него есть средство восстановить свою честь, что средство это здесь, вот тут, на его груди… «Я подумал тогда, что он, ударяя себя в грудь, говорил о своем сердце, — продолжал Алеша, — о том, что в сердце своем мог бы отыскать силы, чтобы выйти из одного какого-то ужасного позора, который предстоял ему и о котором он даже мне не смел признаться. Признаюсь, я именно подумал тогда, что он говорит об отце и что он содрогается, как от позора, при мысли пойти к отцу и совершить с ним какое-нибудь насилие, а между тем он именно тогда как бы на что-то указывал на своей груди, так что, помню, у меня мелькнула именно тогда же какая-то мысль, что сердце совсем не в той стороне груди, а ниже, а он ударяет себя гораздо выше, вот тут, сейчас ниже шеи, и всё указывает в это место. Моя мысль мне показалась тогда глупою, а он именно, может быть, тогда указывал на эту ладонку, в которой зашиты были эти полторы тысячи!..»

— Именно! — крикнул вдруг Митя с места. — Это так, Алеша, так, я тогда об нее стучал кулаком!

Фетюкович бросился к нему впопыхах, умоляя успокоиться, и в тот же миг так и вцепился в Алешу. Алеша, сам увлеченный своим воспоминанием, горячо высказал свое предположение, что позор этот, вероятнее всего, состоял именно в том, что, имея на себе эти тысячу пятьсот рублей, которые бы мог возвратить Катерине Ивановне, как половину своего ей долга, он все-таки решил не отдать ей этой половины и употребить на другое, то есть на увоз Грушеньки, если б она согласилась…

— Это так, это именно так, — восклицал во внезапном возбуждении Алеша, — брат именно восклицал мне тогда, что

половину, половину позора (он несколько раз выговорил: *половину!)* он мог бы сейчас снять с себя, но что до того несчастен слабостью своего характера, что этого не сделает… знает заранее, что этого не может и не в силах сделать!

— И вы твердо, ясно помните, что он ударял себя именно в это место груди? — жадно допрашивал Фетюкович.

— Ясно и твердо, потому что именно мне подумалось тогда, зачем это он ударяет так высоко, когда сердце ниже, и мне тогда же показалась моя мысль глупою… я это помню, что показалась глупою… это мелькнуло. Вот потому-то я сейчас теперь и вспомнил. И как я мог позабыть это до самых этих пор! Именно он на эту ладонку указывал как на то, что у него есть средства, но что он не отдаст эти полторы тысячи! А при аресте, в Мокром, он именно кричал, — я это знаю, мне передавали, — что считает самым позорным делом всей своей жизни, что, имея средства отдать половину (именно половину!) долга Катерине Ивановне и стать пред ней не вором, он все-таки не решился отдать и лучше захотел остаться в ее глазах вором, чем расстаться с деньгами! А как он мучился, как он мучился этим долгом! — закончил, восклицая, Алеша.

Разумеется, ввязался и прокурор. Он попросил Алешу еще раз описать, как это всё было, и несколько раз настаивал, спрашивая: точно ли подсудимый, бия себя в грудь, как бы на что-то указывал? Может быть, просто бил себя кулаком по груди?

— Да и не кулаком! — восклицал Алеша, — а именно указывал пальцами, и указывал сюда, очень высоко… Но как я мог это так совсем забыть до самой этой минуты!

Председатель обратился к Мите с вопросом, что может он сказать насчет данного показания. Митя подтвердил, что именно всё так и было, что он именно указывал на свои полторы тысячи, бывшие у него на груди, сейчас пониже шеи, и что, конечно, это был позор, «позор, от которого не отрекаюсь, позорнейший акт во всей моей жизни! — вскричал Митя. — Я мог отдать и не отдал. Захотел лучше остаться в ее глазах вором, но не отдал, а самый главный позор был в том, что и вперед знал, что не отдам! Прав Алеша! Спасибо, Алеша!»

Тем кончился допрос Алеши. Важно и характерно было именно то обстоятельство, что отыскался хоть один лишь факт, хоть одно лишь, положим самое мелкое, доказательство, почти только намек на

доказательство, но которое всё же хоть капельку свидетельствовало, что действительно существовала эта ладонка, что были в ней полторы тысячи и что подсудимый не лгал на предварительном следствии, когда в Мокром объявил, что эти полторы тысячи «были мои». Алеша был рад, весь раскрасневшись, он проследовал на указанное ему место. Он долго еще повторял про себя: «Как это я забыл! Как мог я это забыть! И как это так вдруг только теперь припомнилось!»

Начался допрос Катерины Ивановны. Только что она появилась, в зале пронеслось нечто необыкновенное. Дамы схватились за лорнеты и бинокли, мужчины зашевелились, иные вставали с мест, чтобы лучше видеть. Все утверждали потом, что Митя вдруг побледнел «как платок», только что она вошла. Вся в черном, скромно и почти робко приблизилась она к указанному ей месту. Нельзя было угадать по лицу ее, что она была взволнована, но решимость сверкала в ее темном, сумрачном взгляде. Надо заметить, потом весьма многие утверждали, что она была удивительно хороша собой в ту минуту. Заговорила она тихо, но ясно, на всю залу. Выражалась чрезвычайно спокойно или по крайней мере усиливаясь быть спокойною. Председатель начал вопросы свои осторожно, чрезвычайно почтительно, как бы боясь коснуться «иных струн» и уважая великое несчастие. Но Катерина Ивановна сама, с самых первых слов, твердо объявила на один из предложенных вопросов, что она была помолвленною невестой подсудимого «до тех пор, пока он сам меня не оставил…» — тихо прибавила она. Когда ее спросили о трех тысячах, вверенных Мите для отсылки на почту ее родственникам, она твердо проговорила: «Я дала ему не прямо на почту; я тогда предчувствовала, что ему очень нужны деньги… в ту минуту. Я дала ему эти три тысячи под условием, чтоб он отослал их, если хочет, в течение месяца. Напрасно он так потом себя мучил из-за этого долга…»

Я не передаю всех вопросов и в точности всех ее ответов, я только передаю существенный смысл ее показаний.

— Я твердо была уверена, что он всегда успеет переслать эти три тысячи, только что получит от отца, — продолжала она, отвечая на вопросы. — Я всегда была уверена в его бескорыстии и в его честности… высокой честности… в денежных делах. Он твердо был уверен, что получит от отца три тысячи рублей, и несколько раз мне говорил про это. Я знала, что у него с отцом распря, и всегда была и до

сих пор тоже уверена, что он был обижен отцом. Я не помню никаких угроз отцу с его стороны. При мне по крайней мере он ничего не говорил, никаких угроз. Если б он пришел тогда ко мне, я тотчас успокоила бы его тревогу из-за должных мне им этих несчастных трех тысяч, но он не приходил ко мне более… а я сама… я была поставлена в такое положение… что не могла его звать к себе… Да я и никакого права не имела быть к нему требовательною за этот долг, — прибавила она вдруг, и что-то решительное зазвенело в ее голосе, — я сама однажды получила от него денежное одолжение еще большее, чем в три тысячи, и приняла его, несмотря на то, что и предвидеть еще тогда не могла, что хоть когда-нибудь в состоянии буду заплатить ему долг мой.

В тоне голоса ее как бы почувствовался какой-то вызов. Именно в эту минуту вопросы перешли к Фетюковичу.

— Это было еще не здесь, а в начале вашего знакомства? — осторожно подходя, подхватил Фетюкович, вмиг запредчувствовав нечто благоприятное. (Замечу в скобках, что он, несмотря на то, что был вызван из Петербурга отчасти и самою Катериною Ивановной, — все-таки не знал ничего об эпизоде о пяти тысячах, данных ей Митей еще в том городе, и о «земном поклоне». Она этого не сказала ему и скрыла! И это было удивительно. Можно с уверенностию предположить, что она сама, до самой последней минуты, не знала: расскажет она этот эпизод на суде или нет и ждала какого-то вдохновения)

Нет, никогда я не могу забыть этих минут! Она начала рассказывать, она *всё* рассказала, весь этот эпизод, поведанный Митей Алеше, и «земной поклон», и причины, и про отца своего, и появление свое у Мити, и ни словом, ни единым намеком не упомянула о том, что Митя, чрез сестру ее, сам предложил «прислать к нему Катерину Ивановну за деньгами». Это она великодушно утаила и не устыдилась выставить наружу, что это она, она сама, прибежала тогда к молодому офицеру, своим собственным порывом, надеясь на что-то… чтобы выпросить у него денег. Это было нечто потрясающее. Я холодел и дрожал слушая, зала замерла, ловя каждое слово. Тут было что-то беспримерное, так что даже и от такой самовластной и презрительно-гордой девушки, как она, почти невозможно было ожидать такого высокооткровенного показания, такой жертвы, такого самозаклания И для чего, для кого? Чтобы спасти своего изменника и обидчика, чтобы послужить хоть чем-нибудь, хоть малым, к спасению его, произведя в

его пользу хорошее впечатление! И в самом деле: образ офицера, отдающего свои последние пять тысяч рублей — всё, что у него оставалось в жизни, — и почтительно преклонившегося пред невинною девушкой, выставился весьма симпатично и привлекательно, но… у меня больно сжалось сердце! Я почувствовал, что может выйти потом (да и вышла потом, вышла!) клевета! Со злобным смешком говорили потом во всем городе, что рассказ, может быть, не совсем был точен, именно в том месте, где офицер отпустил от себя девицу «будто бы только с почтительным поклоном». Намекали, что тут нечто «пропущено» «Да если б и не было пропущено, если б и всё правда была, говорили даже самые почтенные наши дамы, то и тогда еще неизвестно, очень ли благородно так поступить было девушке, даже хоть бы спасая отца?» И неужели Катерина Ивановна, с ее умом, с ее болезненною проницательностью, не предчувствовала заранее, что так заговорят? Непременно предчувствовала, и вот решилась же сказать всё! Разумеется, все эти грязненькие сомнения в правде рассказа начались лишь потом, а в первую минуту всё и все были потрясены. Что же до членов суда, то Катерину Ивановну выслушали в благоговейном, так сказать, даже стыдливом молчании. Прокурор не позволил себе ни единого дальнейшего вопроса на эту тему. Фетюкович глубоко поклонился ей. О, он почти торжествовал! Многое было приобретено: человек, отдающий, в благородном порыве, последние пять тысяч, и потом тот же человек, убивающий отца ночью с целью ограбить его на три тысячи, — это было нечто отчасти и несвязуемое. По крайней мере хоть грабеж-то мог теперь устранить Фетюкович. «Дело» вдруг облилось каким-то новым светом. Что-то симпатичное пронеслось в пользу Мити. Он же… про него рассказывали, что он раз или два во время показания Катерины Ивановны вскочил было с места, потом упал опять на скамью и закрыл обеими ладонями лицо. Но когда она кончила, он вдруг рыдающим голосом воскликнул, простирая к ней руки:

— Катя, зачем меня погубила!

И громко зарыдал было на всю залу. Впрочем, мигом сдержал себя и опять прокричал

— Теперь я приговорен!

А затем как бы закоченел на месте, стиснув зубы и сжав крестом на груди руки. Катерина Ивановна осталась в зале и села на указанный ей

стул. Она была бледна и сидела потупившись. Рассказывали бывшие близ нее, что она долго вся дрожала как в лихорадке. К допросу явилась Грушенька.

Я подхожу близко к той катастрофе, которая, разразившись внезапно, действительно, может быть, погубила Митю. Ибо я уверен, да и все тоже, все юристы после так говорили, что не явись этого эпизода, преступнику по крайней мере дали бы снисхождение. Но об этом сейчас. Два слова лишь прежде о Грушеньке.

Она явилась в залу тоже вся одетая в черное, в своей прекрасной черной шали на плечах. Плавно, своею неслышною походкой, с маленькою раскачкой, как ходят иногда полные женщины, приблизилась она к балюстраде, пристально смотря на председателя и ни разу не взглянув ни направо, ни налево. По-моему, она была очень хороша собой в ту минуту и вовсе не бледна, как уверяли потом дамы. Уверяли тоже, что у ней было какое-то сосредоточенное и злое лицо. Я думаю только, что она была раздражена и тяжело чувствовала на себе презрительно-любопытные взгляды жадной к скандалу нашей публики. Это был характер гордый, не выносящий презрения, один из таких, которые, чуть лишь заподозрят от кого презрение, — тотчас воспламеняются гневом и жаждой отпора. При этом была, конечно, и робость, и внутренний стыд за эту робость, так что немудрено, что разговор ее был неровен — то гневлив, то презрителен и усиленно груб, то вдруг звучала искренняя сердечная нотка самоосуждения, самообвинения. Иногда же говорила так, как будто летела в какую-то пропасть: «все-де равно, что бы ни вышло, а я все-таки скажу…» Насчет знакомства своего с Федором Павловичем она резко заметила: «Всё пустяки, разве я виновата, что он ко мне привязался?» А потом через минуту прибавила: «Я во всем виновата, я смеялась над тем и другим — и над стариком, и над этим — и их обоих до того довела. Из-за меня все произошло». Как-то коснулось дело до Самсонова: «Какое кому дело, — с каким-то наглым вызовом тотчас же огрызнулась она, — он был мой благодетель, он меня босоногую взял, когда меня родные из избы вышвырнули». Председатель, впрочем весьма вежливо, напомнил ей, что надо отвечать прямо на вопросы, не вдаваясь в излишние подробности. Грушенька покраснела, и глаза ее сверкнули.

Пакета с деньгами она не видала, а только слыхала от «злодея», что есть у Федора Павловича какой-то пакет с тремя тысячами. «Только это

все глупости, я смеялась, и ни за что бы туда не пошла…»

— Про кого вы сейчас упомянули как о «злодее»? — осведомился прокурор.

— А про лакея, про Смердякова, что барина своего убил, а вчера повесился.

Конечно, ее мигом спросили: какие же у ней основания для такого решительного обвинения, но оснований не оказалось тоже и у ней никаких.

— Так Дмитрий Федорович мне сам говорил, ему и верьте. Разлучница его погубила, вот что, всему одна она причиной, вот что, — вся как будто содрогаясь от ненависти, прибавила Грушенька, и злобная нотка зазвенела в ее голосе.

Осведомились, на кого она опять намекает.

— А на барышню, на эту вот Катерину Ивановну. К себе меня тогда зазвала, шоколатом потчевала, прельстить хотела. Стыда в ней мало истинного, вот что…

Тут председатель уже строго остановил ее, прося умерить свои выражения. Но сердце ревнивой женщины уже разгорелось, она готова была полететь хоть в бездну…

— При аресте в селе Мокром, — припоминая, спросил прокурор, — все видели и слышали, как вы, выбежав из другой комнаты, закричали: «Я во всем виновата, вместе в каторгу пойдем!» Стало быть, была уже и у вас в ту минуту уверенность, что он отцеубийца?

— Я чувств моих тогдашних не помню, — ответила Грушенька, — все тогда закричали, что он отца убил, я и почувствовала, что это я виновата и что из-за меня он убил. А как он сказал, что неповинен, я ему тотчас поверила, и теперь верю, и всегда буду верить: не таков человек, чтобы солгал.

Вопросы перешли к Фетюковичу. Между прочим, я помню, он спросил про Ракитина и про двадцать пять рублей «за то, что привел к вам Алексея Федоровича Карамазова».

— А что ж удивительного, что он деньги взял, — с презрительною злобой усмехнулась Грушенька, — он и всё ко мне приходил деньги канючить, рублей по тридцати, бывало, в месяц выберет, всё больше на баловство: пить-есть ему было на что и без моего.

— На каком же основании вы были так щедры к господину

Ракитину? — подхватил Фетюкович, несмотря на то, что председатель сильно шевелился.

— Да ведь он же мне двоюродный брат. Моя мать с его матерью родные сестры. Он только всё молил меня никому про то здесь не сказывать, стыдился меня уж очень.

Этот новый факт оказался совершенною неожиданностью для всех, никто про него до сих пор не знал во всем городе, даже в монастыре, даже не знал Митя. Рассказывали, что Ракитин побагровел от стыда на своем стуле. Грушенька еще до входа в залу как-то узнала, что он показал против Мити, а потому и озлилась. Вся давешняя речь господина Ракитина, всё благородство ее, все выходки на крепостное право, на гражданское неустройство России — всё это уже окончательно на этот раз было похерено и уничтожено в общем мнении. Фетюкович был доволен; опять бог на шапку послал. Вообще же Грушеньку допрашивали не очень долго, да и не могла она, конечно, сообщить ничего особенно нового. Оставила она в публике весьма неприятное впечатление. Сотни презрительных взглядов устремились на нее, когда она, кончив показание, уселась в зале довольно далеко от Катерины Ивановны. Всё время, пока ее спрашивали, Митя молчал, как бы окаменев, опустив глаза в землю.

Появился свидетелем Иван Федорович.

V

Внезапная катастрофа

Замечу, что его вызвали было еще до Алеши. Но судебный пристав доложил тогда председателю, что, по внезапному нездоровью или какому-то припадку, свидетель не может явиться сейчас, но только что оправится, то когда угодно готов будет дать свое показание. Этого, впрочем, как-то никто не слыхал, и узнали уже впоследствии. Появление его в первую минуту было почти не замечено: главные свидетели, особенно две соперницы, были уже допрошены; любопытство было пока удовлетворено. В публике чувствовалось даже утомление. Предстояло еще выслушать несколько свидетелей, которые, вероятно, ничего особенного не могли сообщить ввиду всего, что было

уже сообщено. Время же уходило. Иван Федорович приблизился как-то удивительно медленно, ни на кого не глядя и опустив даже голову, точно о чем-то нахмуренно соображая. Одет он был безукоризненно, но лицо его, на меня по крайней мере, произвело болезненное впечатление: было в этом лице что-то как бы тронутое землей, что-то похожее на лицо помирающего человека. Глаза были мутны; он поднял их и медленно обвел ими залу. Алеша вдруг вскочил было со своего стула и простонал: ах! Я помню это. Но и это мало кто уловил.

Председатель начал было с того, что он свидетель без присяги, что он может показывать или умолчать, но что, конечно, всё показанное должно быть по совести, и т. д., и т. д. Иван Федорович слушал и мутно глядел на него; но вдруг лицо его стало медленно раздвигаться в улыбку, и только что председатель, с удивлением на него смотревший, кончил говорить, он вдруг рассмеялся.

— Ну и что же еще? — громко спросил он

Всё затихло в зале, что-то как бы почувствовалось. Председатель забеспокоился.

— Вы… может быть, еще не так здоровы? — проговорил он было, ища глазами судебного пристава.

— Не беспокойтесь, ваше превосходительство, я достаточно здоров и могу вам кое-что рассказать любопытное, — ответил вдруг совсем спокойно и почтительно Иван Федорович.

— Вы имеете предъявить какое-нибудь особое сообщение? — всё еще с недоверчивостью продолжал председатель.

Иван Федорович потупился, помедлил несколько секунд и, подняв снова голову, ответил как бы заикаясь:

— Нет… не имею. Не имею ничего особенного.

Ему стали предлагать вопросы. Он отвечал совсем как-то нехотя, как-то усиленно кратко, с каким-то даже отвращением, всё более и более нараставшим, хотя, впрочем, отвечал все-таки толково. На многое отговорился незнанием. Про счеты отца с Дмитрием Федоровичем ничего не знал. «И не занимался этим», — произнес он. Об угрозах убить отца слышал от подсудимого. Про деньги в пакете слышал от Смердякова…

— Всё одно и то же, — прервал он вдруг с утомленным видом, — я ничего не могу сообщить суду особенного.

— Я вижу, вы нездоровы, и понимаю ваши чувства… — начал

было председатель.

Он обратился было к сторонам, к прокурору и защитнику, приглашая их, если найдут нужным, предложить вопросы, как вдруг Иван Федорович изнеможенным голосом попросил:

— Отпустите меня, ваше превосходительство, я чувствую себя очень нездоровым.

И с этим словом, не дожидаясь позволения, вдруг сам повернулся и пошел было из залы. Но, пройдя шага четыре, остановился, как бы что-то вдруг обдумав, тихо усмехнулся и воротился опять на прежнее место.

— Я, ваше превосходительство, как та крестьянская девка… знаете, как это: «Захоцу — вскоцу, захоцу — не вскоцу»*. За ней ходят с сарафаном али с паневой, что ли, чтоб она вскочила, чтобы завязать и венчать везти, а она говорит: «Захоцу — вскоцу, захоцу — не вскоцу»… Это в какой-то нашей народности…

— Что вы этим хотите сказать? — строго спросил председатель.

— А вот, — вынул вдруг Иван Федорович пачку денег, — вот деньги… те самые, которые лежали вот в том пакете, — он кивнул на стол с вещественными доказательствами, — и из-за которых убили отца. Куда положить? Господин судебный пристав, передайте.

Судебный пристав взял всю пачку и передал председателю.

— Каким образом могли эти деньги очутиться у вас… если это те самые деньги? — в удивлении проговорил председатель.

— Получил от Смердякова, от убийцы, вчера. Был у него пред тем, как он повесился. Убил отца он, а не брат. Он убил, а я его научил убить… Кто не желает смерти отца?..

— Вы в уме или нет? — вырвалось невольно у председателя.

— То-то и есть, что в уме… и в подлом уме, в таком же, как и вы, как и все эти… р-рожи! — обернулся он вдруг на публику. — Убили отца, а притворяются, что испугались, — проскрежетал он с яростным презрением. — Друг пред другом кривляются. Лгуны! Все желают смерти отца. Один гад съедает другую гадину… Не будь отцеубийства — все бы они рассердились и разошлись злые… Зрелищ! «Хлеба и зрелищ!» Впрочем, ведь и я хорош! Есть у вас вода или нет, дайте напиться, Христа ради!*— схватил он вдруг себя за голову.

Судебный пристав тотчас к нему приблизился. Алеша вдруг вскочил и закричал: «Он болен, не верьте ему, он в белой горячке!» Катерина Ивановна стремительно встала со своего стула и,

неподвижная от ужаса, смотрела на Ивана Федоровича. Митя поднялся и с какою-то дикою искривленною улыбкой жадно смотрел и слушал брата.

— Успокойтесь, не помешанный, я только убийца! — начал опять Иван. — С убийцы нельзя же спрашивать красноречия… — прибавил он вдруг для чего-то и искривленно засмеялся.

Прокурор в видимом смятении нагнулся к председателю. Члены суда суетливо шептались между собой. Фетюкович весь навострил уши, прислушиваясь. Зала замерла в ожидании. Председатель вдруг как бы опомнился.

— Свидетель, ваши слова непонятны и здесь невозможны. Успокойтесь, если можете, и расскажите… если вправду имеете что сказать. Чем вы можете подтвердить такое признание… если вы только не бредите?

— То-то и есть, что не имею свидетелей. Собака Смердяков не пришлет с того света вам показание… в пакете. Вам бы всё пакетов, довольно и одного. Нет у меня свидетелей… Кроме только разве одного, — задумчиво усмехнулся он.

— Кто ваш свидетель?

— С хвостом, ваше превосходительство, не по форме будет! Le diable n'existe point![26] Не обращайте внимания, дрянной, мелкий черт, — прибавил он, вдруг перестав смеяться и как бы конфиденциально, — он, наверно, здесь где-нибудь, вот под этим столом с вещественными доказательствами, где ж ему сидеть, как не там? Видите, слушайте меня: я ему сказал: не хочу молчать, а он про геологический переворот… глупости! Ну, освободите же изверга… он гимн запел, это потому, что ему легко! Всё равно что пьяная каналья загорланит, как «поехал Ванька в Питер», а я за две секунды радости отдал бы квадриллион квадриллионов. Не знаете вы меня! О, как это всё у вас глупо! Ну, берите же меня вместо него! Для чего же нибудь я пришел… Отчего, отчего это всё, что ни есть, так глупо!..

И он опять стал медленно и как бы в задумчивости оглядывать залу. Но уже всё заволновалось. Алеша кинулся было к нему со своего места, но судебный пристав уже схватил Ивана Федоровича за руку.

— Это что еще такое? — вскричал тот, вглядываясь в упор в лицо пристава, и вдруг, схватив его за плечи, яростно ударил об пол. Но стража уже подоспела, его схватили, и тут он завопил неистовым

воплем[*]. И всё время, пока его уносили, он вопил и выкрикивал что-то несвязное.

Поднялась суматоха. Я не упомню всего в порядке, сам был взволнован и не мог уследить. Знаю только, что потом, когда уже всё успокоилось и все поняли, в чем дело, судебному приставу таки досталось, хотя он и основательно объяснил начальству, что свидетель был всё время здоров, что его видел доктор, когда час пред тем с ним сделалась легкая дурнота, но что до входа в залу он всё говорил связно, так что предвидеть было ничего невозможно; что он сам, напротив, настаивал и непременно хотел дать показание. Но прежде чем хоть сколько-нибудь успокоились и пришли в себя, сейчас же вслед за этою сценой разразилась и другая: с Катериной Ивановной сделалась истерика. Она, громко взвизгивая, зарыдала, но не хотела уйти, рвалась, молила, чтоб ее не уводили, и вдруг закричала председателю:

— Я должна сообщить еще одно показание, немедленно… немедленно!.. Вот бумага, письмо… возьмите, прочтите скорее, скорее! Это письмо этого изверга, вот этого, этого! — она указывала на Митю. — Это он убил отца, вы увидите сейчас, он мне пишет, как он убьет отца! А тот больной, больной, тот в белой горячке! Я уже три дня вижу, что он в горячке!

Так вскрикивала она вне себя. Судебный пристав взял бумагу, которую она протягивала председателю, а она, упав на свой стул и закрыв лицо, начала конвульсивно и беззвучно рыдать, вся сотрясаясь и подавляя малейший стон в боязни, что ее вышлют из залы. Бумага, поданная ею, была то самое письмо Мити из трактира «Столичный город», которое Иван Федорович называл «математической» важности документом. Увы! за ним именно признали эту математичность, и, не будь этого письма, может быть и не погиб бы Митя, или по крайней мере не погиб бы так ужасно! Повторяю, трудно было уследить за подробностями. Мне и теперь всё это представляется в такой суматохе. Должно быть, председатель тут же сообщил новый документ суду, прокурору, защитнику, присяжным. Я помню только, как свидетельницу начали спрашивать. На вопрос: успокоилась ли она? мягко обращенный к ней председателем, Катерина Ивановна стремительно воскликнула:

— Я готова, готова! Я совершенно в состоянии вам отвечать, — прибавила она, видимо всё еще ужасно боясь, что ее почему-нибудь не выслушают. Ее попросили объяснить подробнее: какое это письмо и при

каких обстоятельствах она его получила?

— Я получила его накануне самого преступления, а писал он его еще за день из трактира, стало быть, за два дня до своего преступления — посмотрите, оно написано на каком-то счете! — прокричала она задыхаясь. — Он меня тогда ненавидел, потому что сам сделал подлый поступок и пошел за этою тварью… и потому еще, что должен был мне эти три тысячи… О, ему было обидно за эти три тысячи из-за своей же низости! Эти три тысячи вот как были — я вас прошу, я вас умоляю меня выслушать: еще за три недели до того, как убил отца, он пришел ко мне утром. Я знала, что ему надо деньги, и знала на что — вот, вот именно на то, чтобы соблазнить эту тварь и увезти с собой. Я знала тогда, что уж он мне изменил и хочет бросить меня, и я, я сама протянула тогда ему эти деньги, сама предложила будто бы для того, чтоб отослать моей сестре в Москве, — и когда отдавала, то посмотрела ему в лицо и сказала, что он может, когда хочет, послать, «хоть еще через месяц». Ну как же, как же бы он не понял, что я в глаза ему прямо говорила: «Тебе надо денег для измены мне с твоею тварью, так вот тебе эти деньги, я сама тебе их даю, возьми, если ты так бесчестен, что возьмешь!..» Я уличить его хотела, и что же? Он взял, он их взял, и унес, и истратил их с этою тварью там, в одну ночь… Но он понял, он понял, что я всё знаю, уверяю вас, что он тогда понял и то, что я, отдавая ему деньги, только пытаю его: будет ли он так бесчестен, что возьмет от меня, или нет? В глаза ему глядела, и он мне глядел в глаза и всё понимал, всё понимал, и взял, и взял, и унес мои деньги!

— Правда, Катя! — завопил вдруг Митя, — в глаза смотрел и понимал, что бесчестишь меня и все-таки взял твои деньги! Презирайте подлеца, презирайте все, заслужил!

— Подсудимый, — вскричал председатель, — еще слово — я вас велю вывесть.

— Эти деньги его мучили, — продолжала, судорожно торопясь, Катя, — он хотел мне их отдать, он хотел, это правда, но ему деньги нужны были и для этой твари. Вот он и убил отца, а денег все-таки мне не отдал, а уехал с ней в ту деревню, где его схватили. Там он опять прокутил эти деньги, которые украл у убитого им отца. А за день до того, как убил отца, и написал мне это письмо, написал пьяный, я сейчас тогда увидела, написал из злобы и зная, наверно зная, что я никому не покажу этого письма, даже если б он и убил. А то бы он не написал. Он

знал, что я не захочу ему мстить и его погубить! Но прочтите, прочтите внимательно, пожалуйста внимательнее, и вы увидите, что он в письме всё описал, всё заранее: как убьет отца и где у того деньги лежат. Посмотрите, пожалуйста не пропустите, там есть одна фраза: «Убью, только бы уехал Иван». Значит, он заранее уж обдумал, как он убьет, — злорадно и ехидно подсказывала суду Катерина Ивановна. О, видно было, что она до тонкости вчиталась в это роковое письмо и изучила в нем каждую черточку. — Не пьяный он бы мне не написал, но посмотрите, там всё описано вперед, всё точь-в-точь, как он потом убил, вся программа!

Так восклицала она вне себя и уж, конечно, презирая все для себя последствия, хотя, разумеется, их предвидела еще, может, за месяц тому, потому что и тогда еще, может быть, содрогаясь от злобы, мечтала: «Не прочесть ли это суду?» Теперь же как бы полетела с горы. Помню, кажется, именно тут же письмо было прочитано вслух секретарем и произвело потрясающее впечатление. Обратились к Мите с вопросом: «Признает ли он это письмо?»

— Мое, мое! — воскликнул Митя. — Не пьяный бы не написал!.. За многое мы друг друга ненавидели, Катя, но клянусь, клянусь, я тебя и ненавидя любил, а ты меня — нет!

Он упал на свое место, ломая руки в отчаянии. Прокурор и защитник стали предлагать перекрестные вопросы, главное в том смысле: «что, дескать, побудило вас давеча утаить такой документ и показывать прежде совершенно в другом духе и тоне?»

— Да, да, я давеча солгала, всё лгала, против чести и совести, но я хотела давеча спасти его, потому что он меня так ненавидел и так презирал, — как безумная воскликнула Катя. — О, он презирал меня ужасно, презирал всегда, и знаете, знаете — он презирал меня с самой той минуты, когда я ему тогда в ноги за эти деньги поклонилась. Я увидала это… Я сейчас тогда же это почувствовала, но я долго себе не верила. Сколько раз я читала в глазах его: «Все-таки ты сама тогда ко мне пришла». О, он не понял, он не понял ничего, зачем я тогда прибежала, он способен подозревать только низость! Он мерил на себя, он думал, что и все такие, как он, — яростно проскрежетала Катя, совсем уже в исступлении. — А жениться он на мне захотел потому только, что я получила наследство, потому, потому! Я всегда подозревала, что потому! О, это зверь! Он всю жизнь был уверен, что я

всю жизнь буду пред ним трепетать от стыда за то, что тогда приходила, и что он может вечно за это презирать меня, а потому первенствовать, — вот почему он на мне захотел жениться! Это так, это всё так! Я пробовала победить его моею любовью, любовью без конца, даже измену его хотела снести, но он ничего, ничего не понял. Да разве он может что-нибудь понять! Это изверг! Это письмо я получила только на другой день вечером, мне из трактира принесли, а еще утром, еще утром в тот день, я хотела было всё простить ему, всё, даже его измену!

Конечно, председатель и прокурор ее успокоивали. Я уверен, что им всем было даже, может быть, самим стыдно так пользоваться ее исступлением и выслушивать такие признания. Я помню, я слышал, как они говорили ей: «Мы понимаем, как вам тяжело, поверьте, мы способны чувствовать», и проч., и проч., — а показания-то все-таки вытянули от обезумевшей женщины в истерике. Она, наконец, описала с чрезвычайною ясностью, которая так часто, хотя и мгновенно, мелькает даже в минуты такого напряженного состояния, как Иван Федорович почти сходил с ума во все эти два месяца на том, чтобы спасти «изверга и убийцу», своего брата.

— Он себя мучил, — восклицала она, — он всё хотел уменьшить его вину, признаваясь мне, что он и сам не любил отца и, может быть, сам желал его смерти. О, это глубокая, глубокая совесть! Он замучил себя совестью! Он всё мне открывал, всё, он приходил ко мне и говорил со мной каждый день как с единственным другом своим. Я имею честь быть его единственным другом! — воскликнула она вдруг, точно как бы с каким-то вызовом, засверкав глазами. — Он ходил к Смердякову два раза. Однажды он пришел ко мне и говорит: если убил не брат, а Смердяков (потому что эту басню пустили здесь все, что убил Смердяков), то, может быть, виновен и я, потому что Смердяков знал, что я не люблю отца и, может быть, думал, что я желаю смерти отца. Тогда я вынула это письмо и показала ему, и он уж совсем убедился, что убил брат, и это уже совсем сразило его. Он не мог снести, что его родной брат — отцеубийца! Еще неделю назад я видела, что он от этого болен. В последние дни, он сидя у меня, бредил. Я видела, что он мешается в уме. Он ходил и бредил, его видели так по улицам. Приезжий доктор, по моей просьбе, его осматривал третьего дня и сказал мне, что он близок к горячке, — всё чрез него, всё чрез изверга! А вчера он узнал, что Смердяков умер — это его так поразило, что он

сошел с ума… и всё от изверга, всё на том, чтобы спасти изверга!

О, разумеется, так говорить и так признаваться можно только какой-нибудь раз в жизни — в предсмертную минуту, например, всходя на эшафот. Но Катя именно была в своем характере и в своей минуте. Это была та же самая стремительная Катя, которая кинулась тогда к молодому развратнику, чтобы спасти отца; та же самая Катя, которая давеча, пред всею этою публикой, гордая и целомудренная, принесла себя и девичий стыд свой в жертву, рассказав про «благородный поступок Мити», чтобы только лишь сколько-нибудь смягчить ожидавшую его участь. И вот теперь точно так же она тоже принесла себя в жертву, но уже за другого, и, может быть, только лишь теперь, только в эту минуту, впервые почувствовав и осмыслив вполне, как дорог ей этот другой человек! Она пожертвовала собою в испуге за него, вдруг вообразив, что он погубил себя своим показанием, что это он убил, а не брат, пожертвовала, чтобы спасти его, его славу, его репутацию! И, однако, промелькнула страшная вещь: лгала ли она на Митю, описывая бывшие свои к нему отношения, — вот вопрос. Нет, нет, она не клеветала намеренно, крича, что Митя презирал ее за земной поклон! Она сама верила в это, она была глубоко убеждена, с самого, может быть, этого поклона, что простодушный, обожавший ее еще тогда Митя смеется над ней и презирает ее. И только из гордости она сама привязалась к нему тогда любовью, истерическою и надорванною, из уязвленной гордости, и эта любовь походила не на любовь, а на мщение. О, может быть, эта надорванная любовь и выродилась бы в настоящую, может. Катя ничего и не желала, как этого, но Митя оскорбил ее изменой до глубины души, и душа не простила. Минута же мщения слетела неожиданно, и всё так долго и больно скоплявшееся в груди обиженной женщины разом, и опять-таки неожиданно, вырвалось наружу. Она предала Митю, но предала и себя! И, разумеется, только что успела высказаться, напряжение порвалось, и стыд подавил ее. Опять началась истерика, она упала, рыдая и выкрикивая. Ее унесли. В ту минуту, когда ее выносили, с воплем бросилась к Мите Грушенька со своего места, так что ее и удержать не успели.

— Митя! — завопила она, — погубила тебя твоя змея! Вон она вам себя показала! — прокричала она, сотрясаясь от злобы, суду. По мановению председателя ее схватили и стали выводить из залы. Она не давалась, билась и рвалась назад к Мите. Митя завопил и тоже рванулся

к ней. Им овладели.

Да, полагаю, что наши зрительницы дамы остались довольны: зрелище было богатое. Затем помню, как появился приезжий московский доктор. Кажется, председатель еще и прежде того посылал пристава, чтобы распорядиться оказать Ивану Федоровичу пособие. Доктор доложил суду, что больной в опаснейшем припадке горячки и что следовало бы немедленно его увезти. На вопросы прокурора и защитника подтвердил, что пациент сам приходил к нему третьего дня и что он предрек ему тогда же скорую горячку, но что лечиться он не захотел. «Был же он положительно не в здравом состоянии ума, сам мне признавался, что наяву видит видения, встречает на улице разных лиц, которые уже померли, и что к нему каждый вечер ходит в гости сатана», — заключил доктор. Дав свое показание, знаменитый врач удалился. Представленное Катериной Ивановной письмо было присоединено к вещественным доказательствам. По совещании суд постановил: продолжать судебное следствие, а оба неожиданные показания (Катерины Ивановны и Ивана Федоровича) занести в протокол.

Но уже не буду описывать дальнейшего судебного следствия. Да и показания остальных свидетелей были лишь повторением и подтверждением прежних, хотя все со своими характерными особенностями. Но повторяю, всё сведется в одну точку в речи прокурора, к которой и перейду сейчас. Все были в возбуждении, все были наэлектризованы последнею катастрофой и со жгучим нетерпением ждали поскорее лишь развязки, речей сторон и приговора. Фетюкович был видимо потрясен показаниями Катерины Ивановны. Зато торжествовал прокурор. Когда кончилось судебное следствие, был объявлен перерыв заседания, продолжавшийся почти час. Наконец председатель открыл судебные прения. Кажется, было ровно восемь часов вечера, когда наш прокурор, Ипполит Кириллович, начал свою обвинительную речь.

VI

Речь прокурора. Характеристика

Начал Ипполит Кириллович свою обвинительную речь, весь сотрясаясь нервною дрожью, с холодным, болезненным потом на лбу и висках, чувствуя озноб и жар во всем теле попеременно. Он сам так потом рассказывал. Он считал эту речь за свой chef d'œuvre,[27] за chef d'œuvre всей своей жизни, за лебединую песнь свою. Правда, девять месяцев спустя он и помер от злой чахотки, так что действительно, как оказалось, имел бы право сравнить себя с лебедем, поющим свою последнюю песнь, если бы предчувствовал свой конец заранее. В эту речь он вложил всё свое сердце и всё сколько было у него ума и неожиданно доказал, что в нем таились и гражданское чувство, и «проклятые» вопросы, по крайней мере поскольку наш бедный Ипполит Кириллович мог их вместить в себе. Главное, тем взяло его слово, что было искренно: он искренно верил в виновность подсудимого; не на заказ, не по должности только обвинял его и, взывая к «отмщению», действительно сотрясался желанием «спасти общество». Даже дамская наша публика, в конце концов враждебная Ипполиту Кирилловичу, сознавалась, однако, в чрезвычайном вынесенном впечатлении. Начал он надтреснутым, срывающимся голосом, но потом очень скоро голос его окреп и зазвенел на всю залу, и так до конца речи. Но только что кончил ее, то чуть не упал в обморок.

«Господа присяжные заседатели, — начал обвинитель, — настоящее дело прогремело по всей России. Но чему бы, кажется, удивляться, чего так особенно ужасаться? Нам-то, нам-то особенно? Ведь мы такие привычные ко всему этому люди! В том и ужас наш, что такие мрачные дела почти перестали для нас быть ужасными! Вот чему надо ужасаться, привычке нашей, а не единичному злодеянию того или другого индивидуума. Где же причины нашего равнодушия, нашего чуть тепленького отношения к таким делам, к таким знамениям времени, пророчествующим нам незавидную будущность? В цинизме ли нашем, в раннем ли истощении ума и воображения столь молодого еще нашего общества, но столь безвременно одряхлевшего? В расшатанных ли до основания нравственных началах наших или в том, наконец, что этих нравственных начал, может быть, у нас совсем даже и не имеется? Не разрешаю эти вопросы, тем не менее они мучительны, и всякий гражданин не то что должен, а обязан страдать ими. Наша начинающаяся, робкая еще наша пресса оказала уже, однако, обществу некоторые услуги, ибо никогда бы мы без нее не узнали, сколько-

нибудь в полноте, про те ужасы разнузданной воли и нравственного падения, которые беспрерывно передает она на своих страницах уже всем, не одним только посещающим залы нового гласного суда, дарованного нам в настоящее царствование.* И что же мы читаем почти повседневно? О, про такие вещи поминутно, пред которыми даже теперешнее дело бледнеет и представляется почти чем-то уже обыкновенным. Но важнее всего то, что множество наших русских, национальных наших уголовных дел, свидетельствуют именно о чем-то всеобщем, о какой-то общей беде, прижившейся с нами и с которой, как со всеобщим злом, уже трудно бороться. Вот там молодой блестящий офицер высшего общества, едва начинающий свою жизнь и карьеру, подло, в тиши, безо всякого угрызения совести, зарезывает мелкого чиновника, отчасти бывшего своего благодетеля, и служанку его, чтобы похитить свой долговой документ, а вместе и остальные денежки чиновника: „пригодятся-де для великосветских моих удовольствий и для карьеры моей впереди“. Зарезав обоих, уходит, подложив обоим мертвецам под головы подушки*. Там молодой герой, обвешанный крестами за храбрость, разбойнически умерщвляет на большой дороге мать своего вождя и благодетеля и, подговаривая своих товарищей, уверяет, что „она любит его как родного сына, и потому последует всем его советам и не примет предосторожностей“. Пусть это изверг, но я теперь, в наше время, не смею уже сказать, что это только единичный изверг. Другой и не зарежет, но подумает и почувствует точно так же, как он, в душе своей бесчестен точно так же, как он. В тиши, наедине со своею совестью, может быть, спрашивает себя: „Да что такое честь, и не предрассудок ли кровь?“ Может быть, крикнут против меня и скажут, что я человек болезненный, истерический, клевещу чудовищно, брежу, преувеличиваю. Пусть, пусть, — и боже, как бы я был рад тому первый! О, не верьте мне, считайте меня за больного, но все-таки запомните слова мои: ведь если только хоть десятая, хоть двадцатая доля в словах моих правда, то ведь и тогда ужасно! Посмотрите, господа, посмотрите, как у нас застреливаются молодые люди: о, без малейших гамлетовских вопросов о том:‚Что будет *там*?»,* без признаков этих вопросов, как будто эта статья о духе нашем и о всем, что ждет нас за гробом, давно похерена в их природе, похоронена и песком засыпана. Посмотрите, наконец, на наш разврат, на наших сладострастников. Федор Павлович, несчастная жертва текущего процесса, есть пред иными из них почти

невинный младенец. А ведь мы все его знали, „он между нами жил[*]“… Да, психологией русского преступления займутся, может быть, когда-нибудь первенствующие умы, и наши и европейские, ибо тема стоит того. Но это изучение произойдет когда-нибудь после, уже на досуге, и когда вся трагическая безалаберщина нашей настоящей минуты отойдет на более отдаленный план, так что ее уже можно будет рассмотреть и умнее, и беспристрастнее, чем, например, люди, как я, могут сделать. Теперь же мы или ужасаемся, или притворяемся, что ужасаемся, а сами, напротив, смакуем зрелище как любители ощущений сильных, эксцентрических, шевелящих нашу цинически-ленивую праздность, или, наконец, как малые дети, отмахиваем от себя руками страшные призраки и прячем голову в подушку, пока пройдет страшное видение, с тем чтобы потом тотчас же забыть его в веселии и играх. Но когда-нибудь надо же и нам начать нашу жизнь трезво и вдумчиво, надо же и нам бросить взгляд на себя как на общество, надо же и нам хоть что-нибудь в нашем общественном деле осмыслить или только хоть начать осмысление наше. Великий писатель предшествовавшей эпохи, в финале величайшего из произведений своих[*], олицетворяя всю Россию в виде скачущей к неведомой цели удалой русской тройки, восклицает: „Ах, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал!“ — и в гордом восторге прибавляет, что пред скачущею сломя голову тройкой почтительно сторонятся все народы. Так, господа, это пусть, пусть сторонятся, почтительно или нет, но, на мой грешный взгляд, гениальный художник закончил так или в припадке младенчески невинного прекрасномыслия, или просто боясь тогдашней цензуры. Ибо если в его тройку впрячь только его же героев, Собакевичей, Ноздревых и Чичиковых, то кого бы ни посадить ямщиком, ни до чего путного на таких конях не доедешь! А это только еще прежние кони, которым далеко до теперешних, у нас почище…»

Здесь речь Ипполита Кирилловича была прервана рукоплесканиями. Либерализм изображения русской тройки понравился. Правда, сорвалось лишь два-три клака, так что председатель не нашел даже нужным обратиться к публике с угрозою «очистить залу» и лишь строго поглядел в сторону клакеров. Но Ипполит Кириллович был ободрен: никогда-то ему до сих пор не аплодировали! Человека столько лет не хотели слушать и вдруг возможность на всю Россию высказаться!

«В самом деле, — продолжал он, — что такое это семейство Карамазовых, заслужившее вдруг такую печальную известность по всей даже России? Может быть, я слишком преувеличиваю, но мне кажется, что в картине этой семейки как бы мелькают некоторые общие основные элементы нашего современного интеллигентного общества* — о, не все элементы, да и мелькнуло лишь в микроскопическом виде, „как солнце в малой капле вод*“, но всё же нечто отразилось, всё же нечто сказалось. Посмотрите на этого несчастного, разнузданного и развратного старика, этого „отца семейства“, столь печально покончившего свое существование. Родовой дворянин, начавший карьеру бедненьким приживальщиком, чрез нечаянную и неожиданную женитьбу схвативший в приданое небольшой капитальчик, вначале мелкий плут и льстивый шут, с зародышем умственных способностей, довольно, впрочем, неслабых, и прежде всего ростовщик. С годами, то есть с нарастанием капитальчика, он ободряется. Приниженность и заискивание исчезают, остается лишь насмешливый и злой циник и сладострастник. Духовная сторона вся похерена, а жажда жизни чрезвычайная. Свелось на то, что, кроме сладострастных наслаждений, он ничего в жизни и не видит, так учит и детей своих. Отеческих духовных каких-нибудь обязанностей — никаких. Он над ними смеется, он воспитывает своих маленьких детей на заднем дворе и рад, что их от него увозят. Забывает об них даже вовсе. Все нравственные правила старика — après moi le déluge.*[28] Всё, что есть обратного понятию о гражданине, полнейшее, даже враждебное отъединение от общества: „Гори хоть весь свет огнем, было бы одному мне хорошо“. И ему хорошо, он вполне доволен, он жаждет прожить так еще двадцать тридцать лет Он обсчитывает родного сына и на его же деньги, на наследство матери его, которые не хочет отдать ему, отбивает у него, у сына же своего, любовницу. Нет, я не хочу уступать защиту подсудимого высокоталантливому защитнику, прибывшему из Петербурга. Я и сам скажу правду, я и сам понимаю ту сумму негодования, которую он накопил в сердце своего сына. Но довольно, довольно об этом несчастном старике, он получил свою мзду. Вспомним, однако, что это отец, и один из современных отцов. Обижу ли я общество, сказав, что это один даже из многих современных отцов? Увы, столь многие из современных отцов лишь не высказываются столь цинически, как этот, ибо лучше воспитаны, лучше образованы, а в

сущности — почти такой же, как и он, философии. Но пусть я пессимист, пусть. Мы уж условились, что вы меня прощаете. Уговоримся заранее: вы мне не верьте, не верьте, я буду говорить, а вы не верьте. Но все-таки дайте мне высказаться, все-таки кое-что из моих слов не забудьте. Но вот, однако, дети этого старика, этого отца семейства: один пред нами на скамье подсудимых, об нем вся речь впереди; про других скажу лишь вскользь. Из этих других, старший — есть один из современных молодых людей с блестящим образованием, с умом довольно сильным, уже ни во что, однако, не верующим, многое, слишком уже многое в жизни отвергшим и похерившим, точь-в-точь как и родитель его. Мы все его слышали, он в нашем обществе был принят дружелюбно. Мнений своих он не скрывал, даже напротив, совсем напротив, что и дает мне смелость говорить теперь о нем несколько откровенно, конечно не как о частном лице, а лишь как о члене семьи Карамазовых. Здесь умер вчера, самоубийством, на краю города, один болезненный идиот, сильно привлеченный к настоящему делу, бывший слуга и, может быть, побочный сын Федора Павловича, Смердяков. Он с истерическими слезами рассказывал мне на предварительном следствии, как этот молодой Карамазов, Иван Федорович, ужаснул его своим духовным безудержем. „Всё, дескать, по-ихнему, позволено, что ни есть в мире, и ничего впредь не должно быть запрещено, — вот они чему меня всё учили“. Кажется, идиот на этом тезисе, которому обучили его, и сошел с ума окончательно, хотя, конечно, повлияли на умственное расстройство его и падучая болезнь, и вся эта страшная, разразившаяся в их доме катастрофа. Но у этого идиота промелькнуло одно весьма и весьма любопытное замечание, сделавшее бы честь и поумнее его наблюдателю, вот почему даже я об этом и заговорил: „Если есть, — сказал он мне, — который из сыновей более похожий на Федора Павловича по характеру, так это он, Иван Федорович!“ На этом замечании я прерываю начатую характеристику, не считая деликатным продолжать далее. О, я не хочу выводить дальнейших заключений и, как ворон, каркать молодой судьбе одну только гибель. Мы видели еще сегодня здесь, в этой зале, что непосредственная сила правды еще живет в его молодом сердце, что еще чувства семейной привязанности не заглушены в нем безверием и нравственным цинизмом, приобретенным больше по наследству, чем истинным страданием мысли. Затем другой сын, — о, это еще юноша, благочестивый и смиренный, в

противоположность мрачному растлевающему мировоззрению его брата, ищущий прилепиться, так сказать, к „народным началам“, или к тому, что у нас называют этим мудреным словечком в иных теоретических углах мыслящей интеллигенции нашей.* Он, видите ли, прилепился к монастырю; он чуть было сам не постригся в монахи. В нем, кажется мне, как бы бессознательно, и так рано, выразилось то робкое отчаяние, с которым столь многие теперь в нашем бедном обществе, убоясь цинизма и разврата его и ошибочно приписывая всё зло европейскому просвещению, бросаются, как говорят они, к „родной почве“, так сказать, в материнские объятия родной земли, как дети, напуганные призраками, и у иссохшей груди расслабленной матери жаждут хотя бы только спокойно заснуть и даже всю жизнь проспать, лишь бы не видеть их пугающих ужасов. С моей стороны я желаю доброму и даровитому юноше всего лучшего, желаю, чтоб его юное прекраснодушие и стремление к народным началам не обратилось впоследствии, как столь часто оно случается, со стороны нравственной в мрачный мистицизм, а со стороны гражданской в тупой шовинизм — два качества, грозящие, может быть, еще большим злом нации, чем даже раннее растление от ложно понятого и даром добытого европейского просвещения, каким страдает старший брат его».

За шовинизм и мистицизм опять раздались было два-три клака. И уж конечно, Ипполит Кириллович увлекся, да и всё это мало подходило к настоящему делу, не говоря уже о том, что вышло довольно неясно, но уж слишком захотелось высказаться чахоточному и озлобленному человеку хоть раз в своей жизни. У нас потом говорили, что в характеристике Ивана Федоровича он руководился чувством даже неделикатным, потому что тот раз или два публично осадил его в спорах, и Ипполит Кириллович, помня это, захотел теперь отомстить. Но не знаю, можно ли было так заключить. Во всяком случае, всё это было только введением, затем речь пошла прямее и ближе к делу.

«Но вот третий сын отца современного семейства, — продолжал Ипполит Кириллович, — он на скамье подсудимых, он перед нами. Перед нами и его подвиги, его жизнь и дела его: пришел срок, и все развернулось, все обнаружилось. В противоположность „европеизму“ и „народным началам“ братьев своих, он как бы изображает собою Россию непосредственную — о, не всю, не всю, и боже сохрани, если бы всю! И, однако же, тут она, наша Россеюшка, пахнет ею, слышится

она, матушка! О, мы непосредственны, мы зло и добро в удивительнейшем смешении, мы любители просвещения и Шиллера* и в то же время мы бушуем по трактирам и вырываем у пьянчужек, собутыльников наших, бороденки. О, и мы бываем хороши и прекрасны, но только тогда, когда нам самим хорошо и прекрасно. Напротив, мы даже обуреваемы — именно обуреваемы — благороднейшими идеалами, но только с тем условием, чтоб они достигались сами собою, упадали бы к нам на стол с неба и, главное, чтобы даром, даром, чтобы за них ничего не платить. Платить мы ужасно не любим, зато получать очень любим, и это во всем. О, дайте, дайте нам всевозможные блага жизни (именно всевозможные, дешевле не помиримся) и особенно не препятствуйте нашему нраву ни в чем, и тогда и мы докажем, что можем быть хороши и прекрасны Мы не жадны, нет, но, однако же, подавайте нам денег, больше, больше, как можно больше денег, и вы увидите, как великодушно, с каким презрением к презренному металлу мы разбросаем их в одну ночь в безудержном кутеже. А не дадут нам денег, так мы покажем, как мы их сумеем достать, когда нам очень того захочется. Но об этом после, будем следить по порядку Прежде всего пред нами бедный заброшенный мальчик, на заднем дворе без сапожек», как выразился давеча наш почтенный и уважаемый согражданин, увы, происхождения иностранного! Еще раз повторю — никому не уступлю защиту подсудимого! Я обвинитель, я и защитник. Да-с, и мы люди, и мы человеки, и мы сумеем взвесить то, как могут повлиять на характер первые впечатления детства и родного гнездышка. Но вот мальчик уже юноша, уже молодой человек, офицер, за буйные поступки и за вызов на поединок ссылают его в один из отдаленных пограничных городков нашей благодатной России. Там он служит, там и кутит, и конечно — большому кораблю большое и плавание. Нам надо средств-с, средств прежде всего, и вот, после долгих споров, порешено у него с отцом на последних шести тысячах рублях, и их ему высылают. Заметьте, он выдал документ, и существует письмо его, в котором он от остального почти отрекается и этими шестью тысячами препирание с отцом по наследству оканчивает. Тут происходит его встреча с молодою, высокого характера и развития девушкой. О, я не смею повторять подробностей, вы их только что слышали: тут честь, тут самоотвержение, и я умолкаю. Образ молодого человека,

легкомысленного и развратного, но склонившегося пред истинным благородством, пред высшею идеей, мелькнул перед нами чрезвычайно симпатично. Но вдруг после того, в этой же самой зале суда последовала совсем неожиданно и оборотная сторона медали. Опять-таки не смею пускаться в догадки и удержусь анализировать — почему так последовало. Но, однако, были же причины — почему так последовало. Эта же самая особа, вся в слезах негодования, долго таившегося, объявляет нам, что он же, он же первый и презирал ее за ее неосторожный, безудержный, может быть, порыв, но всё же возвышенный, всё же великодушный. У него же, у жениха этой девушки, и промелькнула прежде всех та насмешливая улыбка, которую она лишь от него одного не могла снести. Зная, что он уже изменил ей (изменил в убеждении, что она уже всё должна вперед сносить от него, даже измену его), зная это, она нарочно предлагает ему три тысячи рублей и ясно, слишком ясно дает ему при этом понять, что предлагает ему деньги на измену ей же: „Что ж, примешь или нет, будешь ли столь циничен“, — говорит она ему молча своим судящим и испытующим взглядом. Он глядит на нее, понимает ее мысли совершенно (он ведь сам сознался здесь при вас, что он всё понимал) и безусловно присвояет себе эти три тысячи и прокучивает их в два дня с своею новою возлюбленной! Чему же верить? Первой ли легенде — порыву ли высокого благородства, отдающего последние средства для жизни и преклоняющегося пред добродетелью, или оборотной стороне медали, столь отвратительной? Обыкновенно в жизни бывает так, что при двух противоположностях правду надо искать посередине; в настоящем случае это буквально не так. Вероятнее всего, что в первом случае он был искренно благороден, а во втором случае так же искренно низок. Почему? А вот именно потому, что мы натуры широкие, карамазовские, — я ведь к тому и веду, — способные вмещать всевозможные противоположности и разом созерцать обе бездны, бездну над нами, бездну высших идеалов, и бездну под нами, бездну самого низшего и зловонного падения. Вспомните блестящую мысль, высказанную давеча молодым наблюдателем, глубоко и близко созерцавшим всю семью Карамазовых, господином Ракитиным: „Ощущение низости падения так же необходимо этим разнузданным, безудержным натурам, как и ощущение высшего благородства“, — и это правда: именно им нужна эта неестественная смесь постоянно и

беспрерывно. Две бездны, две бездны, господа, в один и тот же момент — без того мы несчастны и неудовлетворены, существование наше неполно. Мы широки, широки, как вся наша матушка Россия, мы всё вместим и со всем уживемся! Кстати, господа присяжные заседатели, мы коснулись теперь этих трех тысяч рублей, и я позволю себе несколько забежать вперед. Вообразите только, что он, этот характер, получив тогда эти деньги, да еще таким образом, чрез такой стыд, чрез такой позор, чрез последней степени унижение, — вообразите только, что он в тот же день возмог будто бы отделить из них половину, зашить в ладонку и целый месяц потом иметь твердость носить их у себя на шее, несмотря на все соблазны и чрезвычайные нужды! Ни в пьяном кутеже по трактирам, ни тогда, когда ему пришлось лететь из города доставать бог знает у кого деньги, необходимейшие ему, чтоб увезть свою возлюбленную от соблазнов соперника, отца своего, — он не осмеливается притронуться к этой ладонке. Да хоть именно для того только, чтобы не оставлять свою возлюбленную на соблазны старика, к которому он так ревновал, он должен бы был распечатать свою ладонку и остаться дома неотступным сторожем своей возлюбленной, ожидая той минуты, когда она скажет ему наконец: „Я твоя“, чтоб лететь с нею куда-нибудь подальше из теперешней роковой обстановки. Но нет, он не касается своего талисмана, и под каким же предлогом? Первоначальный предлог, мы сказали, был именно тот, что когда ему скажут: „Я твоя, вези меня куда хочешь“, то было бы на что увезти. Но этот первый предлог, по собственным словам подсудимого, побледнел перед вторым. Поколь, дескать, я ношу на себе эти деньги — „я подлец, но не вор“, ибо всегда могу пойти к оскорбленной мною невесте и, выложив пред нею эту половину всей обманно присвоенной от нее суммы, всегда могу ей сказать: „Видишь, я прокутил половину твоих денег и доказал тем, что я слабый и безнравственный человек и, если хочешь, подлец (я выражаюсь языком самого подсудимого), но хоть и подлец, а не вор, ибо если бы был вором, то не принес бы тебе этой половины оставшихся денег,

а присвоил бы и ее, как и первую половину». Удивительное объяснение факта! Этот самый бешеный, но слабый человек, не могший отказаться от соблазна принять три тысячи рублей при таком позоре, — этот самый человек ощущает вдруг в себе такую стоическую твердость

и носит на своей шее тысячи рублей, не смея до них дотронуться! Сообразно ли это хоть сколько-нибудь с разбираемым нами характером? Нет, и я позволю себе вам рассказать, как бы поступил в таком случае настоящий Дмитрий Карамазов, если бы даже и в самом деле решился зашить свои деньги в ладонку. При первом же соблазне — ну хоть чтоб опять чем потешить ту же новую возлюбленную, с которой уже прокутил первую половину этих же денег, — он бы расшил свою ладонку и отделил от нее, ну, положим, на первый случай хоть только сто рублей, ибо к чему-де непременно относить половину, то есть полторы тысячи, довольно и тысячи четырехсот рублей — ведь всё то же выйдет: „подлец, дескать, а не вор, потому что всё же хоть тысячу четыреста рублей да принес назад, а вор бы все взял и ничего не принес“. Затем еще через несколько времени опять расшил бы ладонку и опять вынул уже вторую сотню, затем третью, затем четвертую, и не далее как к концу месяца вынул бы наконец предпоследнюю сотню: дескать, и одну сотню принесу назад, всё то же ведь выйдет: «подлец, а не вор. Двадцать девять сотен прокутил, а всё же одну возвратил, вор бы и ту не возвратил». И, наконец, уже прокутив эту предпоследнюю сотню, посмотрел бы на последнюю и сказал бы себе: „А ведь и впрямь не стоит относить одну сотню— давай и ту прокучу!“ Вот как бы поступил настоящий Дмитрий Карамазов, какого мы знаем! Легенда же об ладонке — это такое противоречие с действительностью, какого более и представить нельзя. Можно предположить всё, а не это. Но мы к этому еще вернемся».

Обозначив в порядке всё, что известно было судебному следствию об имущественных спорах и семейных отношениях отца с сыном, и еще, и еще раз выведя заключение, что, по известным данным, нет ни малейшей возможности определить в этом вопросе о дележе наследства, кто кого обсчитал или кто на кого насчитал, Ипполит Кириллович по поводу этих трех тысяч рублей, засевших в уме Мити как неподвижная идея, упомянул об медицинской экспертизе.

VII

Обзор исторический

«Экспертиза медиков стремилась доказать нам, что подсудимый не в своем уме и маньяк. Я утверждаю, что он именно в своем уме, но что это-то и всего хуже: был бы не в своем, то оказался бы, может быть, гораздо умнее. Что же до того, что он маньяк, то с этим я бы и согласился, но именно в одном только пункте — в том самом, на который и экспертиза указывала, именно во взгляде подсудимого на эти три тысячи, будто бы недоплаченные ему отцом. Тем не менее, может быть, можно найти несравненно ближайшую точку зрения, чтоб объяснить это всегдашнее исступление подсудимого по поводу этих денег, чем наклонность его к помешательству. С своей стороны, я вполне согласен с мнением молодого врача, находившего, что подсудимый пользуется и пользовался полными и нормальными умственными способностями, а был лишь раздражен и озлоблен. Вот в этом и дело: не в трех тысячах, не в сумме собственно заключался предмет постоянного и исступленного озлобления подсудимого, а в том, что была тут особая причина, возбуждавшая его гнев. Причина эта — ревность!»

Здесь Ипполит Кириллович пространно развернул всю картину роковой страсти подсудимого к Грушеньке. Начал он с самого того момента, когда подсудимый отправился к «молодой особе», чтоб «избить ее», выражаясь его собственными словами, пояснил Ипполит Кириллович, «но вместо того, чтоб избить, остался у ног ее — вот начало этой любви. В то же время бросает взгляд на ту же особу и старик, отец подсудимого, — совпадение удивительное и роковое, ибо оба сердца зажглись вдруг, в одно время, хотя прежде и тот и другой знали же и встречали эту особу, — и зажглись эти оба сердца самою безудержною, самою карамазовскою страстью. Тут мы имеем ее собственное признание: „Я, — говорит она, — смеялась над тем и другим“. Да, ей захотелось вдруг посмеяться над тем и другим; прежде не хотелось, а тут вдруг влетело ей в ум это намерение, — и кончилось тем, что оба пали перед ней побежденные. Старик, поклонявшийся деньгам, как богу, тотчас же приготовил три тысячи рублей лишь за то только, чтоб она посетила его обитель, но вскоре доведен был и до того, что за счастье почел бы положить к ногам ее свое имя и всё свое состояние, лишь бы согласилась стать законною супругой его. На это мы имеем свидетельства твердые. Что же до подсудимого, то трагедия его очевидна, она пред нами. Но такова была „игра“ молодой особы.

Несчастному молодому человеку обольстительница не подавала даже и надежды, ибо надежда, настоящая надежда, была ему подана лишь только в самый последний момент, когда он, стоя перед своею мучительницей на коленях, простирал к ней уже обагренные кровью своего отца и соперника руки: в этом именно положении он и был арестован. „Меня, меня вместе с ним в каторгу пошлите, я его до того довела, я больше всех виновата!“ — восклицала эта женщина сама, уже в искреннем раскаянии, в минуту его ареста. Талантливый молодой человек, взявший на себя описать настоящее дело, — всё тот же господин Ракитин, о котором я уже упоминал, — в нескольких сжатых и характерных фразах определяет характер этой героини: „Раннее разочарование, ранний обман и падение, измена обольстителя-жениха, ее бросившего, затем бедность, проклятие честной семьи и, наконец, покровительство одного богатого старика, которого она, впрочем, сама считает и теперь своим благодетелем. В молодом сердце, может быть заключавшем в себе много хорошего, затаился гнев еще слишком с ранней поры. Образовался характер расчетливый, копящий капитал. Образовалась насмешливость и мстительность обществу“. После этой характеристики понятно, что она могла смеяться над тем и другим единственно для игры, для злобной игры. И вот в этот месяц безнадежной любви, нравственных падений, измены своей невесте, присвоения чужих денег, вверенных его чести, — подсудимый, кроме того, доходит почти до исступления, до бешенства, от беспрерывной ревности, и к кому же, к своему отцу! И главное, безумный старик сманивает и прельщает предмет его страсти — этими же самыми тремя тысячами, которые сын его считает своими родовыми, наследством матери, в которых укоряет отца. Да, я согласен, это было тяжело перенести! Тут могла явиться даже и мания. Не в деньгах было дело, а в том, что этими же деньгами с таким омерзительным цинизмом разбивалось счастье его!»

Затем Ипполит Кириллович перешел к тому, как постепенно зарождалась в подсудимом мысль отцеубийства, и проследил ее по фактам.

«Сначала мы только кричим по трактирам — весь этот месяц кричим. О, мы любим жить на людях и тотчас же сообщать этим людям все, даже самые инфернальные и опасные наши идеи, мы любим делиться с людьми и, неизвестно почему, тут же, сейчас же и требуем,

чтоб эти люди тотчас же отвечали нам полнейшею симпатией, входили во все наши заботы и тревоги, нам поддакивали и нраву нашему не препятствовали. Не то мы озлимся и разнесем весь трактир. (Следовал анекдот о штабс-капитане Снегиреве). Видевшие и слышавшие подсудимого в этот месяц почувствовали наконец, что тут уже могут быть не одни крики и угрозы отцу, но что при таком исступлении угрозы, пожалуй, перейдут и в дело. (Тут прокурор описал семейную встречу в монастыре, разговоры с Алешей и безобразную сцену насилия в доме отца, когда подсудимый ворвался к нему после обеда). Не думаю настойчиво утверждать, — продолжал Ипполит Кириллович, — что до этой сцены подсудимый уже обдуманно и преднамеренно положил покончить с отцом своим убийством его. Тем не менее идея эта уже несколько раз предстояла ему, и он обдуманно созерцал ее — на это мы имеем факты, свидетелей и собственное сознание его. Признаюсь, господа присяжные заседатели, — присовокупил Ипполит Кириллович, — я даже до сегодня колебался оставить за подсудимым полное и сознательное преднамерение напрашивавшегося к нему преступления. Я твердо был убежден, что душа его уже многократно созерцала роковой момент впереди, но лишь созерцала, представляла его себе лишь в возможности, но еще не определяла ни срока исполнения, ни обстоятельств. Но я колебался лишь до сегодня, до этого рокового документа, представленного сегодня суду госпожою Верховцевой. Вы сами слышали, господа, ее восклицание: „Это план, это программа убийства!“ — вот как определяла она несчастное „пьяное“ письмо несчастного подсудимого. И действительно, за письмом этим всё значение программы и преднамерения. Оно написано за двое суток до преступления, и, таким образом, нам твердо теперь известно, что за двое суток до исполнения своего страшного замысла подсудимый с клятвою объявлял, что если не достанет завтра денег, то убьет отца, с тем чтобы взять у него деньги из-под подушки „в пакете с красною ленточкой, только бы уехал Иван“. Слышите: „только бы уехал Иван“, — тут, стало быть, уже всё обдумано, обстоятельства взвешены — и что же: всё потом и исполнено как по писаному! Преднамеренность и обдуманность несомненны, преступление должно было совершиться с целью грабежа, это прямо объявлено, это написано и подписано. Подсудимый от своей подписи не отрицается. Скажут: это писал пьяный. Но это ничего не уменьшает и тем важнее: в пьяном виде

написал то, что задумал в трезвом. Не было бы задумано в трезвом, не написалось бы в пьяном. Скажут, пожалуй: к чему он кричал о своем намерении по трактирам? Кто на такое дело решается *преднамеренно,* тот молчит и таит про себя. Правда, но кричал он тогда, когда еще не было планов и преднамерения, а лишь стояло одно желание, созревало лишь стремление. Потом он об этом уже меньше кричит. В тот вечер, когда было написано это письмо, напившись в трактире „Столичный город“, он, против обыкновения, был молчалив, не играл на биллиарде, сидел в стороне, ни с кем не говорил и лишь согнал с места одного здешнего купеческого приказчика, но это уже почти бессознательно, по привычке к ссоре, без которой, войдя в трактир, он уже не мог обойтись. Правда, вместе с окончательным решением подсудимому должно же было прийти в голову опасение, что он слишком много накричал по городу предварительно и что это может весьма послужить к его уличению и его обвинению, когда он исполнит задуманное. Но уж что же делать, факт огласки был совершен, его не воротишь, и, наконец, вывозила же прежде кривая, вывезет и теперь. Мы на звезду свою надеялись, господа! Я должен к тому же признаться, что он много сделал, чтоб обойти роковую минуту, что он употребил весьма много усилий, чтоб избежать кровавого исхода. „Буду завтра просить три тысячи у всех людей, — как пишет он своим своеобразным языком, — а не дадут люди, то прольется кровь“. Опять-таки в пьяном виде написано и опять-таки в трезвом виде как по писаному исполнено!»

Тут Ипполит Кириллович приступил к подробному описанию всех стараний Мити добыть себе деньги, чтоб избежать преступления. Он описал его похождения у Самсонова, путешествие к Лягавому — всё по документам. «Измученный, осмеянный, голодный, продавший часы на это путешествие (имея, однако, на себе полторы тысячи рублей — и будто, о, будто!), мучаясь ревностью по оставленному в городе предмету любви, подозревая, что она без него уйдет к Федору Павловичу, он возвращается наконец в город. Слава богу! Она у Федора Павловича не была. Он же сам ее и провожает к ее покровителю Самсонову. (Странное дело, к Самсонову мы не ревнивы, и это весьма характерная психологическая особенность в этом деле!) Затем стремится на наблюдательный пост „на задах“ и там — и там узнает, что Смердяков в падучей, что другой слуга болен, — поле чисто, а „знаки“ в руках его — какой соблазн! Тем не менее он все-таки сопротивляется;

он идет к высокоуважаемой всеми нами временной здешней жительнице госпоже Хохлаковой. Давно уже сострадающая его судьбе, эта дама предлагает ему благоразумнейший из советов: бросить весь этот кутеж, эту безобразную любовь, эти праздношатания по трактирам, бесплодную трату молодых сил и отправиться в Сибирь на золотые прииски: „Там исход вашим бушующим силам, вашему романическому характеру, жаждущему приключений“. Описав исход беседы и тот момент, когда подсудимый вдруг получил известие о том, что Грушенька совсем не была у Самсонова, описав мгновенное исступление несчастного, измученного нервами ревнивого человека при мысли, что она именно обманула его и теперь у него, Федора Павловича, Ипполит Кириллович заключил, обращая внимание на роковое значение случая: «успей ему сказать служанка, что возлюбленная его в Мокром, с „прежним“ и „бесспорным“— ничего бы и не было. Но она опешила от страха, заклялась-забожилась, и если подсудимый не убил ее тут же, то это потому, что сломя голову пустился за своей изменницей. Но заметьте: как ни был он вне себя, а захватил-таки с собою медный пестик. Зачем именно пестик, зачем не другое какое оружие? Но, если мы уже целый месяц созерцали эту картину и к ней приготовлялись, то чуть мелькнуло нам что-то в виде оружия, мы и схватываем его как оружие. А о том, что какой-нибудь предмет в этом роде может послужить оружием, — это мы уже целый месяц представляли себе. Потому-то так мгновенно и бесспорно и признали его за оружие! А потому всё же не бессознательно, всё же не невольно схватил он этот роковой пестик. И вот он в отцовском саду — поле чисто, свидетелей нет, глубокая ночь, мрак и ревность. Подозрение, что она здесь, с ним, с соперником его, в его объятиях и, может быть, смеется над ним в эту минуту, — захватывает ему дух. Да и не подозрение только — какие уж теперь подозрения, обман явен, очевиден: она тут, вот в этой комнате, откуда свет, она у него там, за ширмами, — и вот несчастный подкрадывается к окну, почтительно в него заглядывает, благонравно смиряется и благоразумно уходит, поскорее вон от беды, чтобы чего не произошло, опасного и безнравственного, — и нас в этом хотят уверить, нас, знающих характер подсудимого, понимающих, в каком он был состоянии духа, в состоянии, нам известном по фактам, а главное, обладая знаками, которыми тотчас же мог отпереть дом и войти!» Здесь по поводу

«знаков» Ипполит Кириллович оставил на время свое обвинение и нашел необходимым распространиться о Смердякове, с тем чтоб уж совершенно исчерпать весь этот вводный эпизод о подозрении Смердякова в убийстве и покончить с этою мыслию раз навсегда. Сделал он это весьма обстоятельно, и все поняли, что, несмотря на всё выказываемое им презрение к этому предположению, он все-таки считал его весьма важным.

VIII

Трактат о Смердякове

«Во-первых, откуда взялась возможность подобного подозрения? — начал с этого вопроса Ипполит Кириллович. — Первый крикнувший, что убил Смердяков, был сам подсудимый в минуту своего ареста, и, однако, не представивший с самого первого крика своего и до самой сей минуты суда ни единого факта в подтверждение своего обвинения — и не только факта, но даже сколько-нибудь сообразного с человеческим смыслом намека на какой-нибудь факт. Затем подтверждают обвинение это только три лица: оба брата подсудимого и госпожа Светлова. Но старший брат подсудимого объявил свое подозрение только сегодня, в болезни, в припадке бесспорного умоисступления и горячки, а прежде, во все два месяца, как нам положительно это известно, совершенно разделял убеждение о виновности своего брата, даже не искал возражать против этой идеи. Но мы этим займемся особенно еще потом. Затем младший брат подсудимого нам объявляет давеча сам, что фактов в подтверждение своей мысли о виновности Смердякова не имеет никаких, ни малейших, а заключает так лишь со слов самого подсудимого и „по выражению его лица“ — да, это колоссальное доказательство было дважды произнесено давеча его братом. Госпожа же Светлова выразилась даже, может быть, и еще колоссальнее: „Что подсудимый вам скажет, тому и верьте, не таков человек, чтобы солгал“. Вот все фактические доказательства на Смердякова от этих трех лиц, слишком заинтересованных в судьбе подсудимого. И между тем обвинение на Смердякова ходило и держалось, и держится— можно этому поверить, можно это

представить?»

Тут Ипполит Кириллович нашел нужным слегка очертить характер покойного Смердякова, «прекратившего жизнь свою в припадке болезненного умоисступления и помешательства». Он представил его человеком слабоумным, с зачатком некоторого смутного образования, сбитого с толку философскими идеями не под силу его уму и испугавшегося иных современных учений о долге и обязанности, широко преподанных ему практически — бесшабашною жизнию покойного его барина, а может быть и отца, Федора Павловича, а теоретически — разными странными философскими разговорами с старшим сыном барина, Иваном Федоровичем, охотно позволявшим себе это развлечение — вероятно, от скуки или от потребности насмешки, не нашедшей лучшего приложения. Он мне сам рассказывал о своем душевном состоянии в последние дни своего пребывания в доме своего барина, — пояснил Ипполит Кириллович, — но свидетельствуют о том же и другие: сам подсудимый, брат его и даже слуга Григорий, то есть все те, которые должны были знать его весьма близко. Кроме того, удрученный падучею болезнию, Смердяков был „труслив как курица“. „Он падал мне в ноги и целовал мои ноги, — сообщал нам сам подсудимый в ту минуту, когда еще не сознавал некоторой для себя невыгоды в таком сообщении, — это курица в падучей болезни“, — выразился он про него своим характерным языком. И вот его-то подсудимый (о чем и сам свидетельствует) выбирает в свои доверенные и запугивает настолько, что тот соглашается наконец служить ему шпионом и переносчиком. В этом качестве домашнего соглядатая он изменяет своему барину, сообщает подсудимому и о существовании пакета с деньгами, и про знаки, по которым можно проникнуть к барину, — да и как бы он мог не сообщить! „Убьют-с, видел прямо, что убьют меня-с“, — говорил он на следствии, трясясь и трепеща даже перед нами, несмотря на то, что запугавший его мучитель был уже сам тогда под арестом и не мог уже прийти наказать его. „Подозревали меня всякую минуту-с, сам в страхе и трепете, чтобы только их гнев утолить, спешил сообщать им всякую тайну-с, чтобы тем самым невинность мою перед ними видеть могли-с и живого на покаяние отпустили-с“. Вот собственные слова его, я их записал и запомнил: „Как закричит, бывало, на меня, я так на коленки перед ними и паду“. Будучи высокочестным от природы своей молодым человеком и войдя тем в доверенность

своего барина, отличившего в нем эту честность, когда тот возвратил ему потерянные им деньги, несчастный Смердяков, надо думать, страшно мучился раскаянием в измене своему барину, которого любил как своего благодетеля. Сильно страдающие от падучей болезни, по свидетельству глубочайших психиатров, всегда наклонны к беспрерывному и, конечно, болезненному самообвинению. Они мучаются от своей „виновности“ в чем-то и перед кем-то, мучаются угрызениями совести, часто, даже безо всякого основания, преувеличивают и даже сами выдумывают на себя разные вины и преступления. И вот подобный-то субъект становится действительно виновным и преступным от страху и от запугивания. Кроме того, он сильно предчувствовал, что из слагающихся на глазах его обстоятельств может выйти нечто недоброе. Когда старший сын Федора Павловича, Иван Федорович, перед самою катастрофой уезжал в Москву, Смердяков умолял его остаться, не смея, однако же, по трусливому обычаю своему, высказать ему все опасения свои в виде ясном и категорическом. Он лишь удовольствовался намеками, но намеков не поняли. Надо заметить, что в Иване Федоровиче он видел как бы свою защиту, как бы гарантию в том, что пока тот дома, то не случится беды. Вспомните выражение в «пьяном» письме Дмитрия Карамазова: „Убью старика, если только уедет Иван“; стало быть, присутствие Ивана Федоровича казалось всем как бы гарантией тишины и порядка в доме. И вот он-то и уезжает, а Смердяков тотчас же, почти через час по отъезде молодого барина, упадает в падучей болезни. Но это совершенно понятно. Здесь надо упомянуть, что, удрученный страхами и своего рода отчаянием, Смердяков в последние дни особенно ощущал в себе возможность приближения припадков падучей, которая и прежде всегда случалась с ним в минуты нравственного напряжения и потрясения. День и час этих припадков угадать, конечно, нельзя, но расположение к припадку каждый эпилептик ощутить в себе может заранее. Так говорит медицина. И вот только что съезжает со двора Иван Федорович, как Смердяков, под впечатлением своего, так сказать, сиротства и своей беззащитности, идет за домашним делом в погреб, спускается вниз по лестнице и думает: „Будет или не будет припадок, а что, коль сейчас придет?“ И вот именно от этого настроения, от этой мнительности, от этих вопросов и схватывает его горловая спазма, всегда предшествующая падучей, и он летит стремглав без сознания на

дно погреба. И вот, в этой самой естественной случайности ухищряются видеть

какое-то подозрение, какое-то указание, какой-то намек на то, что он *нарочно* притворился больным! Но если нарочно, то является тотчас вопрос: для чего же? Из какого расчета, с какою же целью? Я уже не говорю про медицину; наука, дескать, лжет, наука ошибается, доктора не сумели отличить истины от притворства, — пусть, пусть, но ответьте же мне, однако, на вопрос: для чего ему было притворяться? Не для того ли, чтобы, замыслив убийство, обратить на себя случившимся припадком заранее и поскорее внимание в доме? Видите ли, господа присяжные заседатели, в доме Федора Павловича в ночь преступления было и перебывало пять человек: во-первых, сам Федор Павлович, но ведь не он же убил себя, это ясно; во-вторых, слуга его Григорий, но ведь того самого чуть не убили, в-третьих, жена Григория, служанка Марфа Игнатьева, но представить ее убийцей своего барина просто стыдно. Остаются, стало быть, на виду два человека: подсудимый и Смердяков. Но так как подсудимый уверяет, что убил не он, то, стало быть, должен был убить Смердяков, другого выхода нет, ибо никого другого нельзя найти, никакого другого убийцы не подберешь. Вот, вот, стало быть, откуда произошло это «хитрое» и колоссальное обвинение на несчастного, вчера покончившего с собой идиота! Именно только по тому одному, что другого некого подобрать! Будь хоть тень, хоть подозрение на кого другого, на какое-нибудь шестое лицо, то я убежден, что даже сам подсудимый постыдился бы показать тогда на Смердякова, а показал бы на это шестое лицо, ибо обвинять Смердякова в этом убийстве есть совершенный абсурд.

Господа, оставим психологию, оставим медицину, оставим даже самую логику, обратимся лишь к фактам, к одним только фактам, и посмотрим, что скажут нам факты. Убил Смердяков, но как? Один или в сообществе с подсудимым? Рассмотрим сперва первый случай, то есть, что Смердяков убивает один. Конечно, если убил, то для чего же нибудь, из какой-нибудь выгоды. Но, не имея ни тени мотивов к убийству из таких, какие имел подсудимый, то есть ненависти, ревности и проч., и проч., Смердяков, без сомнения, мог убить только лишь из-за денег, чтобы присвоить себе именно эти три тысячи, которые сам же видел, как барин его укладывал в пакет. И вот, замыслив убийство, он заранее сообщает другому лицу — и к тому же в высочайшей степени

заинтересованному лицу, именно подсудимому, — все обстоятельства о деньгах и знаках: где лежит пакет, что именно на пакете написано, чем он обернут, а главное, главное сообщает про эти „знаки“, которыми к барину можно пройти. Что ж, он прямо, чтоб выдать себя, это делает? Или чтобы найти себе соперника, который, пожалуй, и сам пожелает войти и приобресть пакет? Да, скажут мне, но ведь он сообщил от страху. Но как же это? Человек, не смигнувший задумать такое бесстрашное и зверское дело и потом исполнить его, — сообщает такие известия, которые знает только он в целом мире и о которых, если бы только он об них умолчал, никто и не догадался бы никогда в целом мире. Нет, уж как бы ни был труслив человек, а уж если такое дело задумал, то уже ни за что бы не сказал никому по крайней мере про пакет и про знаки, ибо это значило бы вперед всего себя выдать. Что-нибудь выдумал бы нарочно, что-нибудь налгал бы другое, если уж от него непременно требовали известий, а уж об этом бы умолчал! Напротив, повторяю это, если б он промолчал хоть только об деньгах, а потом убил и присвоил эти деньги себе, то никто бы никогда в целом мире не мог обвинить его по крайней мере в убийстве для грабежа, ибо денег этих ведь никто, кроме него, не видал, никто не знал, что они существуют в доме. Если бы даже и обвинили его, то непременно сочли бы, что он из другого какого-нибудь мотива убил. Но так как мотивов этих за ним никто предварительно не при метил, а все видели, напротив, что он барином любим, почтен бариновою доверенностью, то, конечно бы, его последнего и заподозрили, а заподозрили бы прежде всего такого, который бы имел эти мотивы, кто сам кричал, что имеет эти мотивы, кто их не скрывал, перед всеми обнаруживал, одним словом, заподозрили бы сына убитого, Дмитрия Федоровича. Смердяков бы убил и ограбил, а сына бы обвинили — ведь Смердякову-убийце уж конечно было бы это выгодно? Ну, так вот этому-то сыну Дмитрию Смердяков, замыслив убийство, и сообщает вперед про деньги, про пакет и про знаки — как это логично, как это ясно!

Приходит день замышленного Смердяковым убийства, и вот он летит с ног, *притворившись,* в припадке падучей болезни, для чего? Уж конечно, для того, чтобы, во-первых, слуга Григорий, замысливший свое лечение и, видя, что совершенно некому стеречь дом, может быть, отложил бы свое лечение и сел караулить. Во-вторых, конечно для того, чтобы сам барин, видя, что его никто не караулит, и страшно опасаясь

прихода сына, чего не скрывал, усугубил свою недоверчивость и свою осторожность. Наконец, и главное, конечно для того, чтоб его, Смердякова, разбитого припадком, тотчас же перенесли из кухни, где он всегда отдельно ото всех ночевал и где имел свой особенный вход и выход, в другой конец флигеля, в комнатку Григория, к ним обоим за перегородку, в трех шагах от их собственной постели, как всегда это бывало, спокон века, чуть только его разбивала падучая, по распоряжениям барина и сердобольной Марфы Игнатьевны. Там, лежа за перегородкой, он, вероятнее всего, чтоб вернее изобразиться больным, начнет, конечно, стонать, то есть будить их всю ночь (как и было, по показанию Григория и жены его), — и всё это, всё это для того, чтоб тем удобнее вдруг встать и потом убить барина!

Но скажут мне, может быть, он именно притворился, чтоб на него, как на больного, не подумали, а подсудимому сообщил про деньги и про знаки именно для того, чтоб тот соблазнился и сам пришел, и убил, и когда, видите ли, тот, убив, уйдет и унесет деньги и при этом, пожалуй, нашумит, нагремит, разбудит свидетелей, то тогда, видите ли, встанет и Смердяков, и пойдет — ну, что же делать пойдет? А вот именно пойдет в другой раз убить барина и в другой раз унести уже унесенные деньги. Господа, вы смеетесь? Мне самому стыдно делать такие предположения, а между тем, представьте себе это, именно ведь подсудимый это самое и утверждает: после меня, дескать, когда я уже вышел из дому, повалив Григория и наделав тревоги, он встал, пошел, убил и ограбил. Уж я и не говорю про то, как бы мог Смердяков рассчитать это всё заранее и всё предузнать как по пальцам, то есть что раздраженный и бешеный сын придет единственно для того только, чтобы почтительно заглянуть в окно и, обладая знаками, отретироваться, оставив ему, Смердякову, всю добычу! Господа, я серьезно ставлю вопрос: где тот момент, когда Смердяков совершил свое преступление? Укажите этот момент, ибо без этого нельзя обвинять.

„А может быть, падучая была настоящая. Больной вдруг очнулся, услыхал крик, вышел“ — ну и что же? Посмотрел да и сказал себе: дай пойду убью барина? А почему он узнал, что тут было, что тут происходило, ведь он до сих пор лежал в беспамятстве? А впрочем, господа, есть предел и фантазиям.

„Так-с, — скажут тонкие люди, — а ну как оба были в согласии, а

ну как это они оба вместе убили и денежки поделили, ну тогда как же?“

Да, действительно, подозрение важное, и во-первых — тотчас же колоссальные улики, его подтверждающие: один убивает и берет все труды на себя, а другой сообщник лежит на боку, притворившись в падучей, — именно для того, чтобы предварительно возбудить во всех подозрение, тревогу в барине, тревогу в Григории. Любопытно, из каких мотивов оба сообщника могли бы выдумать именно такой сумасшедший план? Но, может быть, это было вовсе не активное сообщество со стороны Смердякова, а, так сказать, пассивное и страдальческое: может быть, запуганный Смердяков согласился лишь не сопротивляться убийству и, предчувствуя, что его же ведь обвинят, что он дал убить барина, не кричал, не сопротивлялся, — заранее выговорил себе у Дмитрия Карамазова позволение пролежать это время как бы в падучей, „а ты там убивай себе как угодно, моя изба с краю“. Но если и так, то так как и опять-таки эта падучая должна была произвести в доме переполох, предвидя это, Дмитрий Карамазов уж никак не мог бы согласиться на такой уговор. Но я уступаю, пусть он согласился; так ведь все-таки вышло бы тогда, что Дмитрий Карамазов убийца, прямой убийца и зачинщик, а Смердяков лишь пассивный участник, да и не участник даже, а лишь попуститель от страха и против воли, ведь суд-то это бы уже непременно мог различить, и вот, что же мы видим? Только что арестовали подсудимого, как он мигом сваливает всё на одного Смердякова и его *одного* обвиняет. Не в сообщничестве с собой обвиняет, а его одного: один, дескать, он это сделал, он убил и ограбил, его рук дело! Ну что это за сообщники, которые тотчас же начинают говорить один на другого, — да этого никогда не бывает. И заметьте, какой риск для Карамазова: он главный убийца, а тот не главный, тот только попуститель и пролежал за перегородкой, и вот он сваливает на лежачего. Так ведь тот, лежачий-то, мог рассердиться, и из-за одного только самосохранения поскорее объявить правду истинную: оба, дескать, участвовали, только я не убивал, а лишь дозволил и попустил, от страху. Ведь он же, Смердяков, мог понять, что суд тотчас бы различил степень его виновности, а стало быть, мог и рассчитать, что если его и накажут, то несравненно ничтожнее, чем того, главного убийцу, желающего всё свалить на него. Но тогда, стало быть, уж поневоле сделал бы признание. Этого мы, однако же, не видали. Смердяков и не заикнулся о сообщничестве, несмотря на то, что убийца

твердо обвинял его и всё время указывал на него как на убийцу единственного. Мало того: Смердяков же и открыл следствию, что о пакете с деньгами и о знаках сообщил подсудимому он *сам* и что без него тот и не узнал бы ничего. Если б он был действительно в сообщничестве и виновен, сообщил ли бы он так легко об этом следствию, то есть что это всё он сам сообщил подсудимому? Напротив, стал бы запираться и уж непременно искажать факты и уменьшать их. Но он не искажал и не уменьшал. Так может делать только невинный, не боящийся, что его обвинят в сообщничестве. И вот он, в припадке болезненной меланхолии от своей падучей и от всей этой разразившейся катастрофы, вчера повесился. Повесившись, оставил записку, писанную своеобразным слогом: „Истребляю себя своею волей и охотой, чтобы никого не винить“. Ну что б ему прибавить в записке: убийца я, а не Карамазов. Но этого он не прибавил: на одно совести хватило, а на другое нет?

И что же: давеча сюда, в суд, приносят деньги, три тысячи рублей, — „те самые, дескать, которые лежали вот в этом самом пакете, что на столе с вещественными доказательствами, получил, дескать, вчера от Смердякова“. Но вы, господа присяжные заседатели, сами помните грустную давешнюю картину. Я не возобновлю подробностей, однако же позволю себе сделать лишь два-три соображения, выбирая из самых незначительнейших, — именно потому, что они незначительны, а стало быть, не всякому придут в голову и забудутся. Во-первых, и опять-таки: от угрызения совести Смердяков вчера отдал деньги и сам повесился. (Ибо без угрызений совести он бы денег не отдал). И уж конечно только вчера вечером в первый раз признался Ивану Карамазову в своем преступлении, как объявил и сам Иван Карамазов, иначе зачем бы он молчал до сих пор? Итак, он признался, почему же, опять повторю это, в предсмертной записке не объявил нам всей правды, зная, что завтра же для безвинного подсудимого страшный суд? Одни деньги ведь не доказательство. Мне, например, и еще двум лицам в этой зале совершенно случайно стал известен, еще неделю назад, один факт, именно, что Иван Федорович Карамазов посылал в губернский город для размена два пятипроцентные билета по пяти тысяч каждый, всего, стало быть, на десять тысяч. Я только к тому, что деньги у всех могут случиться к данному сроку и что, принеся три тысячи, нельзя доказать непременно, что это вот те самые деньги, вот именно из того

самого ящика или пакета. Наконец, Иван Карамазов, получив вчера такое важное сообщение от настоящего убийцы, пребывает в покое. Но почему бы ему не заявить об этом тотчас же? Почему он отложил всё до утра? Полагаю, что имею право догадываться почему: уже неделю как расстроенный в своем здоровье, сам признавшийся доктору и близким своим, что видит видения, что встречает уже умерших людей; накануне белой горячки, которая сегодня именно и поразила его, он, внезапно узнав о кончине Смердякова, вдруг составляет себе следующее рассуждение: „Человек мертв, на него сказать можно, а брата спасу. Деньги же есть у меня: возьму пачку и скажу, что Смердяков пред смертью мне отдал“. Вы скажете, это нечестно; хоть на мертвого, но нечестно же лгать, даже и для спасения брата? Так, ну а что, если он солгал бессознательно, если он сам вообразил, что так и было, именно окончательно пораженный в рассудке своем известием об этой внезапной смерти лакея? Вы ведь видели давешнюю сцену, видели, в каком положении был этот человек. Он стоял на ногах и говорил, но где был ум его? За давешним показанием горячечного последовал документ, письмо подсудимого к госпоже Верховцевой, писанное им за два дня до совершения преступления, с подробною программой преступления вперед. Ну так чего же мы ищем программу и ее составителей? Точь-в-точь по этой программе и совершилось, и совершилось не кем другим, как ее составителем. Да, господа присяжные заседатели, „совершилось как по писаному!“ И вовсе, вовсе мы не бежали почтительно и боязливо от отцова окошка, да еще в твердой уверенности, что у того теперь наша возлюбленная. Нет, это нелепо и неправдоподобно. Он вошел и — покончил дело. Вероятно, он убил в раздражении, разгоревшись злобой, только что взглянул на своего ненавистника и соперника, но убив, что сделал, может быть, одним разом, одним взмахом руки, вооруженной медным пестом, и убедившись затем уже после подробного обыска, что ее тут нет, он, однако же, не забыл засунуть руку под подушку и достать конверт с деньгами, разорванная обложка которого лежит теперь здесь на столе с вещественными доказательствами. Я говорю к тому, чтобы вы заметили одно обстоятельство, по-моему прехарактерное. Будь это опытный убийца и именно убийца с целью одного грабежа, — ну, оставил ли бы он обложку конверта на полу, в том виде, как нашли ее подле трупа? Ну будь это, например, Смердяков, убивающий для грабежа, — да он бы

просто унес весь пакет с собой, вовсе не трудясь распечатывать над трупом жертвы своей; так как знал наверно, что в пакете есть деньги — ведь при нем же их вкладывали и запечатывали, — а ведь унеси он пакет совсем, и тогда становится неизвестным, существовало ли ограбление? Я вас спрашиваю, господа присяжные, поступил ли бы так Смердяков, оставил ли бы он конверт на полу? Нет, именно так должен был поступить убийца исступленный, уже плохо рассуждающий, убийца не вор и никогда ничего до тех пор не укравший, да и теперь-то вырвавший из-под постели деньги не как вор укравший, а как свою же вещь у вора укравшего унесший — ибо таковы именно были идеи Дмитрия Карамазова об этих трех тысячах, дошедшие в нем до мании. И вот, захватив пакет, которого он прежде никогда не видал, он и рвет обложку, чтоб удостовериться, есть ли деньги, затем бежит с деньгами в кармане, даже и подумать забыв, что оставляет на полу колоссальнейшее на себя обвинение в виде разорванной обложки. Всё потому, что Карамазов, а не Смердяков, не подумал, не сообразил, да и где ему! Он убегает, он слышит вопль настигающего его слуги, слуга хватает его, останавливает и падает, пораженный медным пестом. Подсудимый соскакивает к нему вниз из жалости. Представьте, он вдруг уверяет нас, что он соскочил тогда к нему вниз из жалости, из сострадания, чтобы посмотреть, не может ли ему чем помочь. Ну такова ли эта минута, чтобы выказать подобное сострадание? Нет, он соскочил именно для того, чтоб убедиться: жив ли единственный свидетель его злодеяния? Всякое другое чувство, всякий другой мотив были бы неестественны! Заметьте, он над Григорием трудится, обтирает ему платком голову и, убедясь, что он мертв, как потерянный, весь в крови, прибегает опять туда, в дом своей возлюбленной — как же не подумал он, что он весь в крови и что его тотчас изобличат? Но подсудимый сам уверяет нас, что он даже и внимания не обратил, что весь в крови; это допустить можно, это очень возможно, это всегда бывает в такие минуты с преступниками. На одно — адский расчет, а на другое не хватает соображения. Но он думал в ту минуту лишь о том, где *она*. Ему надо было поскорее узнать, где она, и вот он прибегает в ее квартиру и узнает неожиданное и колоссальнейшее для себя известие: она уехала в Мокрое со своим „прежним“, „бесспорным“!»

IX

Психология на всех парах.

Скачущая тройка. Финал речи прокурора

Дойдя до этого момента в своей речи, Ипполит Кириллович, очевидно избравший строго исторический метод изложения, к которому очень любят прибегать все нервные ораторы, ищущие нарочно строго поставленных рамок, чтобы сдерживать собственное нетерпеливое увлечение, — Ипполит Кириллович особенно распространился о «прежнем» и «бесспорном» и высказал на эту тему несколько в своем роде занимательных мыслей. «Карамазов, ревновавший ко всем до бешенства, вдруг и разом как бы падает и исчезает перед „прежним“ и „бесспорным“. И тем более это странно, что прежде он совсем почти и не обращал внимания на эту новую для себя опасность, грядущую в лице неожиданного для него соперника. Но он всё представлял себе, что это еще так далеко, а Карамазов всегда живет лишь настоящею минутой. Вероятно, он считал его даже фикцией. Но мигом поняв больным сердцем своим, что, может быть, потому-то эта женщина и скрывала этого нового соперника, потому-то и обманывала его давеча, что этот вновь прилетевший соперник был слишком для нее не фантазией и не фикцией, а составлял для нее всё, всё ее упование в жизни, — мигом поняв эта он смирился. Что же, господа присяжные, я не могу обойти умолчанием эту внезапную черту в душе подсудимого, который бы, казалось, ни за что не способен был проявить ее, высказалась вдруг неумолимая потребность правды, уважения к женщине, признания прав ее сердца, и когда же — в тот момент, когда из-за нее же он обагрил свои руки кровью отца своего! Правда и то, что и пролитая кровь уже закричала в эту минуту об отмщении, ибо он, погубивший душу свою и всю земную судьбу свою, он невольно должен был почувствовать и спросить себя в то мгновение: „Что значит он и что может он значить *теперь* для нее, для этого любимого им больше души своей существа, в сравнении с этим “прежним» и «бесспорным», покаявшимся и воротившимся к этой когда-то погубленной им женщине с новой любовью, с предложениями честными, с обетом возрожденной и уже счастливой жизни. А он, несчастный, что даст он ей *теперь,* что ей предложит?» Карамазов всё это понял, понял, что преступление его

заперло ему все дороги и что он лишь приговоренный к казни преступник, а не человек, которому жить! Эта мысль его раздавила и уничтожила. И вот он мгновенно останавливается на одном исступленном плане, который, при характере Карамазова, не мог не представиться ему как единственным и фатальным исходом из страшного его положения. Этот исход — самоубийство. Он бежит за своими заложенными чиновнику Перхотину пистолетами и в то же время дорогой, на бегу, выхватывает из кармана все свои деньги, из-за которых только что забрызгал руки свои отцовскою кровью. О, деньги теперь ему нужнее всего: умирает Карамазов, застреливается Карамазов, и это будут помнить! Недаром же мы поэт, недаром же мы прожигали нашу жизнь, как свечку с обоих концов. „К ней, к ней, — и там, о, там я задаю пир на весь мир, такой, какого еще не бывало, чтобы помнили и долго рассказывали. Среди диких криков, безумных цыганских песен и плясок мы подымем заздравный бокал и поздравим обожаемую женщину с ее новым счастьем, а затем — тут же, у ног ее, размозжим перед нею наш череп и казним нашу жизнь! Вспомнит когда-нибудь Митю Карамазова, увидит, как любил ее Митя, пожалеет Митю!“ Много картинности, романического исступления, дикого карамазовского безудержу и чувствительности — ну и еще чего-то другого, господа присяжные, чего-то, что кричит в душе, стучит в уме неустанно и отравляет его сердце до смерти; это *что-то* — это совесть, господа присяжные, это суд ее, это страшные ее угрызения! Но пистолет всё помирит, пистолет — единственный выход, и нет другого, а там — я не знаю, думал ли в ту минуту Карамазов, *„что будет там“*, и может ли Карамазов по-гамлетовски думать о том, что там будет? Нет, господа присяжные, у тех Гамлеты, а у нас еще пока Карамазовы!»

Тут Ипполит Кириллович развернул подробнейшую картину сборов Мити, сцену у Перхотина, в лавке, с ямщиками. Он привел массу слов, изречений, жестов, всё подтвержденных свидетелями, — и картина страшно повлияла на убеждение слушателей. Главное, повлияла совокупность фактов. Виновность этого исступленно мятущегося и уже не берегущего себя человека выставилась неотразимо. «Нечего уже ему было беречь себя, — говорил Ипполит Кириллович, — два-три раза он чуть-чуть было не сознался вполне, почти намекал и только разве не договаривал (здесь следовали показания свидетелей). Даже ямщику в дороге крикнул: „Знаешь ли, что

ты убийцу везешь!“ Но договорить все-таки ему нельзя было: надо было попасть сперва в село Мокрое и уже там закончить поэму. Но что же, однако, ожидает несчастного? Дело в том, что почти с первых же минут в Мокром он видит и, наконец, постигает совершенно, что „бесспорный“ соперник его вовсе, может быть, уж не так бесспорен и что поздравлений с новым счастьем и заздравного бокала от него не хотят и не принимают. Но вы уже знаете факты, господа присяжные, по судебному следствию. Торжество Карамазова над соперником оказалось неоспоримым и тут — о, тут начался совсем уже новый фазис в его душе, и даже самый страшный фазис изо всех, какие пережила и еще переживет когда-либо эта душа! Положительно можно признать, господа присяжные, — воскликнул Ипполит Кириллович, — что поруганная природа и преступное сердце — сами за себя мстители полнее всякого земного правосудия! Мало того: правосудие и земная казнь даже облегчают казнь природы, даже необходимы душе преступника в эти моменты как спасение ее от отчаяния, ибо я и представить себе не могу того ужаса и тех нравственных страданий Карамазова, когда он узнал, что она его любит, что для него отвергает своего „прежнего“ и „бесспорного“, что его, его, „Митю“, зовет с собою в обновленную жизнь, обещает ему счастье, и это когда же? Когда уже всё для него покончено и когда уже ничего невозможно! Кстати, сделаю вскользь одну весьма важную для нас заметку для пояснения настоящей сущности тогдашнего положения подсудимого: эта женщина, эта любовь его до самой этой последней минуты, до самого даже мига ареста, пребывала для него существом недоступным, страстно желаемым, но недостижимым. Но почему, почему он не застрелился тогда же, почему оставил принятое намерение и даже забыл, где лежит его пистолет? А вот именно эта страстная жажда любви и надежда ее тогда же, тут же утолить и удержали его. В чаду пира он приковался к своей возлюбленной, тоже вместе с ним пирующей, прелестной и обольстительной для него более, чем когда-либо, — он не отходит от нее, любуется ею, исчезает пред нею. Эта страстная жажда даже могла на миг подавить не только страх ареста, но и самые угрызения совести! На миг, о, только на миг! Я представляю себе тогдашнее состояние души преступника в бесспорном рабском подчинении трем элементам, подавившим ее совершенно: во-первых, пьяное состояние, чад и гам, топот пляски, визг песен, и она, она, раскрасневшаяся от вина, поющая

и пляшущая, пьяная и смеющаяся ему! Во-вторых, ободряющая отдаленная мечта о том, что роковая развязка еще далеко, по крайней мере не близко, — разве на другой только день, лишь наутро придут и возьмут его. Стало быть, несколько часов, это много, ужасно много! В несколько часов можно много придумать. Я представляю себе, что с ним было нечто похожее на то, когда преступника везут на смертную казнь, на виселицу: еще надо проехать длинную-длинную улицу, да еще шагом, мимо тысяч народа, затем будет поворот в другую улицу и в конце только этой другой улицы страшная площадь! Мне именно кажется, что в начале шествия осужденный, сидя на позорной своей колеснице, должен именно чувствовать, что пред ним еще бесконечная жизнь. Но вот, однако же, уходят дома, колесница всё подвигается — о, это ничего, до поворота во вторую улицу еще так далеко, и вот он всё еще бодро смотрит направо и налево и на эти тысячи безучастно любопытных людей, приковавшихся к нему взглядами, и ему всё еще мерещится, что он такой же, как и они, человек. Но вот уже и поворот в другую улицу — о! это ничего, ничего, еще целая улица. И сколько бы ни уходило домов, он всё будет думать:. „Еще осталось много домов“. И так до самого конца, до самой площади. Так, представляю себе, было тогда и с Карамазовым. „Еще там не успели, — думает он, — еще можно что-нибудь подыскать, о, еще будет время сочинить план защиты, сообразить отпор, а теперь, теперь — теперь она так прелестна!“ Смутно и страшно в душе его, но он успевает, однако же, отложить от своих денег половину и где-то их спрятать — иначе я не могу объяснить себе, куда могла исчезнуть целая половина этих трех тысяч, только что взятых им у отца из-под подушки. Он в Мокром уже не раз, он там уже кутил двое суток. Этот старый, большой деревянный дом ему известен, со всеми сараями, галереями. Я именно предполагаю, что часть денег скрылась тогда же, и именно в этом доме, незадолго пред арестом, в какую-нибудь щель, в расщелину, под какую-нибудь половицу, где-нибудь в углу, под кровлей — для чего? Как для чего? Катастрофа может совершиться сейчас, конечно мы еще не обдумали, как ее встретить, да и некогда нам, да и стучит у нас в голове, да и к *ней-то* тянет, ну а деньги? — деньги во всяком положении необходимы! Человек с деньгами — везде человек. Может быть, такая расчетливость в такую минуту вам покажется неестественною? Но ведь уверяет же он сам, что еще за месяц пред тем, в один тоже самый тревожный и

роковой для него момент, он отделил от трех тысяч половину и зашил себе в ладонку, и если, конечно, это неправда, что и докажем сейчас, то всё же эта идея Карамазову знакомая, он ее созерцал. Мало того, когда он уверял потом следователя, что отделил полторы тысячи в ладонку (которой никогда не бывало), то, может быть, и выдумал эту ладонку, тут же мгновенно, именно потому, что два часа пред тем отделил половину денег и спрятал куда-нибудь там в Мокром, на всякий случай, до утра, только чтобы не хранить на себе, по внезапно представившемуся вдохновению. Две бездны, господа присяжные, вспомните, что Карамазов может созерцать две бездны, и обе разом! В том доме мы искали, но не нашли. Может, эти деньги и теперь еще там, а может, и на другой день исчезли и теперь у подсудимого. Во всяком случае, арестовали его подле нее, перед ней на коленях, она лежала на кровати, он простирал к ней руки и до того забыл всё в ту минуту, что не расслышал и приближения арестующих. Он ничего еще не успел приготовить в уме своем для ответа. И он и ум его были взяты врасплох.

И вот он пред своими судьями, пред решителями судьбы своей. Господа присяжные заседатели, бывают моменты, когда, при нашей обязанности, нам самим становится почти страшно пред человеком, страшно и за человека! Это минуты созерцания того животного ужаса, когда преступник уже видит, что всё пропало, но всё еще борется, всё еще намерен бороться с вами. Это минуты, когда все инстинкты самосохранения восстают в нем разом и он, спасая себя, глядит на вас пронизывающим взглядом, вопрошающим и страдающим, ловит и изучает вас, ваше лицо, ваши мысли, ждет, с которого боку вы ударите, и создает мгновенно в сотрясающемся уме своем тысячи планов, но все-таки боится говорить, боится проговориться! Эти унизительные моменты души человеческой, это хождение ее по мытарствам, эта животная жажда самоспасения — ужасны и вызывают иногда содрогание и сострадание к преступнику даже в следователе! И вот мы этому всему были тогда свидетелями. Сначала он был ошеломлен, и в ужасе у него вырвалось несколько слов, его сильно компрометирующих: „Кровь! Заслужил!“ Но он быстро сдержал себя. Что сказать, как ответить — всё это пока ещё у него не готово, но готово лишь одно голословное отрицание: „В смерти отца не виновен!“ Вот пока наш забор, а там, за забором, мы, может быть, еще что и устроим, какую-нибудь баррикаду. Компрометирующие первые

восклицания свои он спешит, предупреждая вопросы наши, объяснить тем, что считает себя виновным лишь в смерти слуги Григория. „В этой крови виновен, но кто же убил отца, господа, кто убил? Кто же мог убить его, *если не* я?“ Слышите это: спрашивает он нас же, нас же, пришедших к нему самому с этим самым вопросом! Слышите вы это забегающее вперед словечко: „если не я“, эту животную хитрость, эту наивность и эту карамазовскую нетерпеливость? Не я убил, и думать не моги, что я: „Хотел убить, господа, хотел убить, — признается он поскорее (спешит, о, спешит ужасно!), — но всё же неповинен, не я убил!“ Он уступает нам, что хотел убить: видите, дескать, сами, как я искренен, ну так тем скорее поверьте, что не я убил. О, в этих случаях преступник становится иногда неимоверно легкомыслен и легковерен. И вот тут, совсем как бы нечаянно, следствие вдруг задало ему самый простодушный вопрос: „Да не Смердяков ли убил?“ Так и случилось, чего мы ожидали: он страшно рассердился за то, что предупредили его и поймали врасплох, когда он еще не успел приготовить, выбрать и ухватить тот момент, когда вывести Смердякова будет всего вероятнее. По натуре своей он тотчас же бросился в крайность и сам начал нас изо всех сил уверять, что Смердяков не мог убить, не способен убить. Но не верьте ему, это лишь его хитрость: он вовсе, вовсе еще не отказывается от Смердякова, напротив, он еще его выставит, потому что кого же ему выставить как не его, но он сделает это в другую минуту, потому что теперь это дело пока испорчено. Он выставит его только, может быть, завтра или даже через несколько дней, приискав момент, в который сам же крикнет нам: „Видите, я сам отрицал Смердякова больше, чем вы, вы сами это помните, но теперь и я убедился: это он убил, и как же не он!“ А пока он впадает с нами в мрачное и раздражительное отрицание, нетерпение и гнев подсказывают ему, однако, самое неумелое и неправдоподобное объяснение о том, как он глядел отцу в окно и как он почтительно отошел от окна. Главное, он еще не знает обстоятельств, степени показаний очнувшегося Григория. Мы приступаем к осмотру и обыску. Осмотр гневит его, но и ободряет: всех трех тысяч не разыскали, разысканы только полторы. И уж конечно, лишь в этот момент гневливого молчания и отрицания вскакивает ему в голову в первый раз в жизни идея об ладонке. Без сомнения, он чувствует сам всю невероятность выдумки и мучится, страшно мучится, как бы сделать ее вероятнее, так сочинить, чтоб уж вышел целый

правдоподобный роман. В этих случаях самое первое дело, самая главная задача следствия — не дать приготовиться, накрыть неожиданно, чтобы преступник высказал заветные идеи свои во всем выдающем их простодушии, неправдоподобности и противоречии. Заставить же говорить преступника можно лишь внезапным и как бы нечаянным сообщением ему какого-нибудь нового факта, какого-нибудь обстоятельства дела, которое по значению своему колоссально, но которого он до сих пор ни за что не предполагал и никак не мог усмотреть. Этот факт был у нас наготове, о, уже давно наготове: это показание очнувшегося слуги Григория об отворенной двери, из которой выбежал подсудимый. Про эту дверь он совсем забыл, а что Григорий мог ее видеть, и не предполагал. Эффект вышел колоссальный. Он вскочил и вдруг закричал нам: „Это Смердяков убил, Смердяков!“ — и вот выдал свою заветную, свою основную мысль, в самой неправдоподобной форме ее, ибо Смердяков мог убить лишь после того, как он поверг Григория и убежал. Когда *же* мы ему сообщили, что Григорий видел отпертую дверь раньше своего падения, а выходя из своей спальни, слышал стонущего за перегородкой Смердякова — Карамазов был воистину раздавлен. Сотрудник мой, наш почтенный и остроумный Николай Парфенович, передавал мне потом, что в это мгновение ему стало его жалко до слез. И вот в это-то мгновение, чтоб поправить дело, он и спешит нам сообщить об этой пресловутой ладонке: так и быть, дескать, услышьте эту повесть! Господа присяжные, я уже выразил вам мои мысли, почему считаю всю эту выдумку об зашитых за месяц перед тем деньгах в ладонку не только нелепицей, но и самым неправдоподобным измышлением, которое только можно было приискать в данном случае. Если б даже искать на пари: что можно сказать и представить неправдоподобнее, — то и тогда нельзя бы было выдумать хуже этого. Тут, главное, можно осадить и в прах разбить торжествующего романиста подробностями, теми самыми подробностями, которыми всегда так богата действительность и которые всегда, как совершенно будто бы незначащая и ненужная мелочь, пренебрегаются этими несчастными и невольными сочинителями и даже никогда не приходят им в голову. О, им в ту минуту не до того, их ум создает лишь грандиозное целое — и вот смеют им предлагать этакую мелочь! Но на этом-то их и ловят! Задают подсудимому вопрос: „Ну, а где вы изволили взять материал для

вашей ладонки, кто вам сшил ее?“-„Сам зашил“. — „А полотно где изволили взять?“ Подсудимый уже обижается, он считает это почти обидною для себя мелочью и, верите ли, искренно, искренно! Но таковы все они. „Я от рубашки моей оторвал“. — „Прекрасно-с. Стало быть, в вашем белье мы завтра же отыщем эту рубашку с вырванным из нее клочком“. И сообразите, господа присяжные, ведь если бы только мы нашли в самом деле эту рубашку (а как бы ее не найти в его чемодане или комоде, если бы такая рубашка в самом деле существовала), — то ведь это уж факт, факт осязательный в пользу справедливости его показаний! Но этого он не может сообразить. — „Я не помню, может, не от рубашки, я в хозяйкин чепчик зашил“. — „В какой такой чепчик?“-„Я у ней взял, у нее валялся, старая коленкоровая дрянь“. — „И вы это твердо помните?“-„Нет, твердо не помню…“ И сердится, сердится, а между тем представьте: как бы это не помнить? В самые страшные минуты человеческие, ну на казнь везут, вот именно эти-то мелочи и запоминаются. Он обо всем забудет, а какую-нибудь зеленую кровлю, мелькнувшую ему по дороге, или галку на кресте — вот это он запомнит. Ведь он, зашивая ладонку свою, прятался от домашних, он должен был помнить, как унизительно страдал он от страху с иглой в руках, чтобы к нему не вошли и его не накрыли; как при первом стуке вскакивал и бежал за перегородку (в его квартире есть перегородка)… Но, господа присяжные, для чего я вам это всё сообщаю, все эти подробности, мелочи! — воскликнул вдруг Ипполит Кириллович. — А вот именно потому, что подсудимый стоит упорно на всей этой нелепице до самой сей минуты! Во все эти два месяца, с той самой роковой для него ночи, он ничего не разъяснил, ни одного объяснительного реального обстоятельства к прежним фантастическим показаниям своим не прибавил; всё это, дескать, мелочи, а вы верьте на честь! О, мы рады верить, мы жаждем верить, хотя бы даже на честь! Что же мы, шакалы, жаждущие крови человеческой? Дайте, укажите нам хоть один факт в пользу подсудимого, и мы обрадуемся, — но факт осязательный, реальный, а не заключение по выражению лица подсудимого родным его братом или указание на то, что он, бия себя в грудь, непременно должен был на ладонку указывать, да еще в темноте. Мы обрадуемся новому факту, мы первые откажемся от нашего обвинения, мы поспешим отказаться. Теперь же вопиет справедливость, и мы настаиваем, мы ни от чего отказаться не можем». Ипполит

Кириллович перешел тут к финалу. Он был как в лихорадке, он вопиял за пролитую кровь, за кровь отца, убитого сыном «с низкою целью ограбления». Он твердо указывал на трагическую и вопиющую совокупность фактов. «И что бы вы ни услышали от знаменитого своим талантом защитника подсудимого, — не удержался Ипполит Кириллович, — какие бы ни раздались здесь красноречивые и трогательные слова, бьющие в вашу чувствительность, всё же вспомните, что в эту минуту вы в святилище нашего правосудия. Вспомните, что вы защитники правды нашей, защитники священной нашей России, ее основ, ее семьи, ее всего святого! Да, вы здесь представляете Россию в данный момент, и не в одной только этой зале раздастся ваш приговор, а на всю Россию, и вся Россия выслушает вас как защитников и судей своих и будет ободрена или удручена приговором вашим. Не мучьте же Россию и ее ожидания, роковая тройка наша несется стремглав и, может, к погибели[*]. И давно уже в целой России простирают руки и взывают остановить бешеную, беспардонную скачку. И если сторонятся пока еще другие народы от скачущей сломя голову тройки, то, может быть, вовсе не от почтения к ней, как хотелось поэту, а просто от ужаса — это заметьте. От ужаса, а может, и от омерзения к ней, да и то еще хорошо, что сторонятся, а пожалуй, возьмут да и перестанут сторониться, и станут твердою стеной перед стремящимся видением, и сами остановят сумасшедшую скачку нашей разнузданности, в видах спасения себя, просвещения и цивилизации! Эти тревожные голоса из Европы мы уже слышали. Они раздаваться уже начинают. Не соблазняйте же их, не копите их всё нарастающей ненависти приговором, оправдывающим убийство отца родным сыном!..»

Одним словом, Ипполит Кириллович хоть и очень увлекся, но кончил-таки патетически — и, действительно, впечатление, произведенное им, было чрезвычайное. Сам он, окончив речь свою, поспешно вышел и, повторяю, почти упал в другой комнате в обморок. Зала не аплодировала, но серьезные люди были довольны. Не так довольны были только одни дамы, но всё же и им понравилось красноречие, тем более что за последствия они совсем не боялись и ждали всего от Фетюковича: «наконец-то он заговорит и, уж конечно, всех победит!» Все поглядывали на Митю; всю речь прокурора он просидел молча, сжав руки, стиснув зубы, потупившись. Изредка только

подымал голову и прислушивался. Особенно, когда заговорили о Грушеньке. Когда прокурор передавал о ней мнение Ракитина, в лице его выразилась презрительная и злобная улыбка, и он довольно слышно проговорил: «Бернары!» Когда же Ипполит Кириллович сообщал о том, как он допрашивал и мучил его в Мокром, Митя поднял голову и прислушивался со страшным любопытством. В одном месте речи как будто хотел даже вскочить и что-то крикнуть, но, однако, осилил себя и только презрительно вскинул плечами. Про этот финал речи, именно про подвиги прокурора в Мокром, при допросе преступника, потом у нас в обществе говорили и над Ипполитом Кирилловичем подсмеивались: «Не утерпел, дескать, человек, чтобы не похвастаться своими способностями». Заседание было прервано, но на очень короткий срок, на четверть часа, много на двадцать минут. В публике раздавались разговоры и восклицания. Я иные запомнил:

— Серьезная речь! — нахмуренно заметил господин в одной группе.

— Психологии навертел уж много, — раздался другой голос.

— Да ведь все правда, неотразимая истина!

— Да, это он мастер.

— Итог подвел.

— И нам, и нам тоже итог подвел, — присоединился третий голос, — в начале-то речи, помните, что все такие же, как Федор Павлович?

— И в конце тоже. Только он это соврал.

— Да и неясности были.

— Увлекся маленько.

— Несправедливо, несправедливо-с.

— Ну нет, все-таки ловко. Долго ждал человек, а вот и сказал, хе-хе!

— Что-то защитник скажет?

В другой группе:

— А петербургского-то он напрасно сейчас задел: «биющих-то на чувствительность» помните?

— Да, это он неловко.

— Поспешил.

— Нервный человек-с.

— Вот мы смеемся, а каково подсудимому?

— Да-с. Митеньке-то каково?

— А вот что-то защитник скажет?

В третьей группе:

— Это какая такая дама, с лорнетом, толстая, с краю сидит?

— Это генеральша одна, разводка, я ее знаю.

— То-то, с лорнетом.

— Шушера.

— Ну нет, пикантненькая.

— Подле нее через два места сидит блондиночка, та лучше.

— А ловко они его тогда в Мокром накрыли, а?

— Ловко-то ловко. Опять рассказал. Ведь он про это здесь по домам уж сколько рассказывал.

— И теперь не утерпел. Самолюбие.

— Обиженный человек, хе-хе!

— И обидчивый. Да и реторики много, фразы длинные.

— Да и пугает, заметьте, всё пугает. Про тройку-то помните? «Там Гамлеты, а у нас еще пока Карамазовы!» Это он ловко.

— Это он либерализму подкуривал. Боится!

— Да и адвоката боится.

— Да, что-то скажет господин Фетюкович?

— Ну, что бы ни сказал, а наших мужичков не прошибет.

— Вы думаете?

В четвертой группе:

— А про тройку-то ведь у него хорошо, это где про народы-то.

— И ведь правда, помнишь, где он говорит, что народы не будут ждать.

— А что?

— Да в английском парламенте уж один член вставал на прошлой неделе, по поводу нигилистов, и спрашивал министерство: не пора ли ввязаться в варварскую нацию, чтобы нас образовать.[*] Ипполит это про него, я знаю, что про него. Он на прошлой неделе об этом говорил.

— Далеко куликам.

— Каким куликам? Почему далеко?

— А мы запрем Кронштадт да и не дадим им хлеба. Где они возьмут?

— А в Америке? Теперь в Америке.

— Врешь.

Но зазвонил колокольчик, всё бросилось на места. Фетюкович взошел на кафедру.

X

Речь защитника. Палка о двух концах

Всё затихло, когда раздались первые слова знаменитого оратора. Вся зала впилась в него глазами. Начал он чрезвычайно прямо, просто и убежденно, но без малейшей заносчивости. Ни малейшей попытки на красноречие, на патетические нотки, на звенящие чувством словечки. Это был человек, заговоривший в интимном кругу сочувствующих людей. Голос у него был прекрасный, громкий и симпатичный, и даже в самом голосе этом как будто заслышалось уже нечто искреннее и простодушное. Но всем тотчас же стало понятно, что оратор может вдруг подняться до истинно патетического — и «ударить по сердцам с неведомою силой»[*]. Говорил он, может быть, неправильнее Ипполита Кирилловича, но без длинных фраз и даже точнее. Одно не понравилось было дамам: он всё как-то изгибался спиной, особенно в начале речи, не то что кланяясь, а как бы стремясь и летя к своим слушателям, причем нагибался именно как бы половиной своей длинной спины, как будто в середине этой длинной и тонкой спины его был устроен такой шалнер, так что она могла сгибаться чуть не под прямым углом. В начале речи говорил как-то раскидчиво, как будто без системы, схватывая факты наразбив, а в конце концов вышло целое. Речь его можно было бы разделить на две половины: первая половина — это критика, это опровержение обвинения, иногда злое и саркастическое. Но во второй половине речи как бы вдруг изменил и тон и даже прием свой и разом возвысился до патетического, а зала как будто ждала того и вся затрепетала от восторга. Он прямо подошел к делу и начал с того, что хотя поприще его и в Петербурге, но он уже не первый раз посещает города России для защиты подсудимых, но таких, в невинности которых он или убежден, или предчувствует ее заранее. «То же самое произошло со мной и в настоящем случае, — объяснил он. — Даже только из одних первоначальных газетных корреспонденции мне уже мелькнуло нечто,

чрезвычайно меня поразившее в пользу подсудимого. Одним словом, меня прежде всего заинтересовал некоторый юридический факт, хотя и часто повторяющийся в судебной практике, но никогда, мне кажется, в такой полноте и с такими характерными особенностями, как в настоящем деле. Факт этот надо бы мне формулировать лишь в финале моей речи, когда я закончу мое слово, но, однако, я выскажу мою мысль и в самом начале, ибо имею слабость приступать прямо к предмету, не припрятывая эффектов и не экономизируя впечатлений. Это, может быть, с моей стороны нерасчетливо, но зато искренно. Эта мысль моя, формула моя — следующая: подавляющая совокупность фактов против подсудимого и в то же время ни одного факта, выдерживающего критику, если рассматривать его единично, самого по себе! Следя далее по слухам и по газетам, я утверждался в моей мысли всё более и более, и вдруг я получил от родных подсудимого приглашение защищать его. Я тотчас же поспешил сюда и здесь уже окончательно убедился. Вот чтобы разбить эту страшную совокупность фактов и выставить недоказанность и фантастичность каждого обвиняющего факта в отдельности, я и взялся защищать это дело».

Так начал защитник и вдруг возгласил: «Господа присяжные заседатели, я здесь человек свежий. Все впечатления легли на меня непредвзято. Подсудимый, буйный характером и разнузданный, не обидел меня предварительно, как сотню, может быть, лиц в этом городе, отчего многие и предупреждены против него заранее. Конечно, и я сознаюсь, что нравственное чувство здешнего общества возбуждено справедливо: подсудимый буен и необуздан. В здешнем обществе его, однако же, принимали, даже в семействе высокоталантливого обвинителя он был обласкан. (Nota bene. При этих словах в публике раздались два-три смешка, хотя и быстро подавленные, но всеми замеченные. Всем у нас было известно, что прокурор допускал к себе Митю против воли, потому единственно, что его почему-то находила любопытным прокурорша — дама в высшей степени добродетельная и почтенная, но фантастическая и своенравная и любившая в некоторых случаях, преимущественно в мелочах, оппонировать своему супругу. Митя, впрочем, посещал их дом довольно редко). Тем не менее я осмелюсь допустить, — продолжал защитник, — что даже и в таком независимом уме и справедливом характере, как у моего оппонента, могло составиться против моего несчастного клиента некоторое

ошибочное предубеждение. О, это так натурально: несчастный слишком заслужил, чтобы к нему относились даже с предубеждением. Оскорбленное же нравственное и, еще пуще того, эстетическое чувство иногда бывает неумолимо. Конечно, в высокоталантливой обвинительной речи мы услышали все строгий анализ характера и поступков подсудимого, строгое критическое отношение к делу, а главное, выставлены были такие психологические глубины для объяснения нам сути дела, что проникновение в эти глубины не могло бы вовсе состояться при сколько-нибудь намеренно и злостно предубежденном отношении к личности подсудимого. Но ведь есть вещи, которые даже хуже, даже гибельнее в подобных случаях, чем самое злостное и преднамеренное отношение к делу. Именно, если нас, например, обуяет некоторая, так сказать, художественная игра, потребность художественного творчества, так сказать, создания романа[*], особенно при богатстве психологических даров, которыми бог оделил наши способности. Еще в Петербурге, еще только собираясь сюда, я был предварен — да и сам знал безо всякого предварения, что встречу здесь оппонентом глубокого и тончайшего психолога, давно уже заслужившего этим качеством своим некоторую особливую славу в нашем молодом еще юридическом мире. Но ведь психология, господа, хоть и глубокая вещь, а все-таки похожа на палку о двух концах (смешок в публике). О, вы, конечно, простите мне тривиальное сравнение мое; я слишком красноречиво говорить не мастер. Но вот, однако *же,* пример — беру первый попавшийся из речи обвинителя. Подсудимый, ночью, в саду, убегая перелезает через забор и повергает медным пестом вцепившегося в его ногу лакея. Затем тотчас же соскакивает обратно в сад и целых пять минут хлопочет над поверженным, стараясь угадать: убил он его или нет? И вот обвинитель ни за что не хочет поверить в справедливость показания подсудимого, что соскочил он к старику Григорию из жалости. „Нет, дескать, может ли быть такая чувствительность в такую минуту; это-де неестественно, а соскочил он именно для того, чтоб убедиться: жив или убит единственный свидетель его злодеяния, а стало быть, тем и засвидетельствовал, что он совершил это злодеяние, так как не мог соскочить в сад по какому-нибудь другому поводу, влечению или чувству“. Вот психология; но возьмем ту же самую психологию и приложим ее к делу, но только с другого конца, и выйдет совсем не

менее правдоподобно. Убийца соскакивает вниз из предосторожности, чтоб убедиться, жив или нет свидетель, а между тем только что оставил в кабинете убитого им отца своего, по свидетельству самого же обвинителя, колоссальную на себя улику в виде разорванного пакета, на котором было написано, что в нем лежали три тысячи. „Ведь унеси он этот пакет с собою, то никто бы и не узнал в целом мире, что был и существовал пакет, а в нем деньги, и что, стало быть, деньги были ограблены подсудимым“. Это изречение самого обвинителя. Ну так на одно, видите ли, не хватило предосторожности, потерялся человек, испугался и убежал, оставив на полу улику, а как вот минуты две спустя ударил и убил другого человека, то тут сейчас же является самое бессердечное и расчетливое чувство предосторожности к нашим услугам. Но пусть, пусть это так и было: в том-то де и тонкость психологии, что при таких обстоятельствах я сейчас же кровожаден и зорок, как кавказский орел, а в следующую минуту слеп и робок, как ничтожный крот. Но если уж я так кровожаден и жестоко расчетлив, что, убив, соскочил лишь для того, чтобы посмотреть, жив ли на меня свидетель или нет, то к чему бы, кажется, возиться над этою новою жертвою моей целых пять минут, да еще нажить, пожалуй, новых свидетелей? К чему мочить платок, обтирая кровь с головы поверженного, с тем чтобы платок этот послужил потом против меня же уликой? Нет, если мы уж так расчетливы и жестокосерды, то не лучше ли бы было, соскочив, просто огорошить поверженного слугу тем же самым пестом еще и еще раз по голове, чтоб уж убить его окончательно и, искоренив свидетеля, снять с сердца всякую заботу? И наконец, я соскакиваю, чтобы проверить, жив или нет на меня свидетель, и тут же на дорожке оставляю другого свидетеля, именно этот самый пестик, который я захватил у двух женщин и которые обе всегда могут признать потом этот пестик за свой и засвидетельствовать, что это я у них его захватил. И не то что забыл его на дорожке, обронил в рассеянности, в потерянности: нет, мы именно отбросили наше оружие, потому что нашли его шагах в пятнадцати от того места, где был повержен Григорий. Спрашивается, для чего же мы так сделали? А вот именно потому и сделали, что нам горько стало, что мы человека убили, старого слугу, а потому в досаде, с проклятием и отбросили пестик, как оружие убийства, иначе быть не могло, для чего же его было бросать с такого размаху? Если же могли почувствовать боль и жалость, что человека

убили, то, конечно, уж потому, что отца не убили: убив отца, не соскочили бы к другому поверженному из жалости, тогда уже было бы иное чувство, не до жалости бы было тогда, а до самоспасения, и это, конечно, так. Напротив, повторяю, размозжили бы ему череп окончательно, а не возились бы с ним пять минут. Явилось место жалости и доброму чувству именно потому, что была пред тем чиста совесть. Вот, стало быть, другая уж психология. Я ведь нарочно, господа присяжные, прибегнул теперь сам к психологии, чтобы наглядно показать, что из нее можно вывесть всё что угодно. Всё дело, в каких она руках. Психология подзывает на роман даже самых серьезных людей, и это совершенно невольно. Я говорю про излишнюю психологию, господа присяжные, про некоторое злоупотребление ею». Здесь опять послышались одобрительные смешки в публике, и всё по адресу прокурора. Не буду приводить всей речи защитника в подробности, возьму только некоторые из нее места, некоторые главнейшие пункты.

XI

Денег не было. Грабежа не было

Был один пункт, даже всех поразивший в речи защитника, а именно полное отрицание существования этих роковых трех тысяч рублей, а стало быть, и возможности их грабежа.

«Господа присяжные заседатели, — приступил защитник, — в настоящем деле всякого свежего и непредубежденного человека поражает одна характернейшая особенность, а именно: обвинение в грабеже и в то же время совершенная невозможность фактически указать на то: что именно было ограблено? Ограблены, дескать, деньги, именно три тысячи — а существовали ли они в самом деле — этого никто не знает. Рассудите: во-первых, как мы узнали, что были три тысячи, и кто их видел? Видел их и указал на то, что они были уложены в пакет с надписью, один только слуга Смердяков. Он же сообщил о сем сведении еще до катастрофы подсудимому и его брату Ивану Федоровичу. Дано было тоже знать госпоже Светловой. Но все эти три лица сами этих денег, однако, не видали, видел опять-таки лишь

Смердяков, но тут сам собою вопрос: если и правда, что они были и что видел их Смердяков, то когда он их видел в последний раз? А что, если барин эти деньги из-под постели вынул и опять положил в шкатулку, ему не сказавши? Заметьте, по словам Смердякова, деньги лежали под постелью, под тюфяком, подсудимый должен был их вырвать из-под тюфяка, и однако же, постель была ничуть не помята, и об этом старательно записано в протокол. Как мог подсудимый совсем-таки ничего не помять в постели и вдобавок с окровавленными еще руками не замарать свежейшего, тонкого постельного белья, которое нарочно на этот раз было постлано? Но скажут нам: а пакет-то на полу? Вот об этом-то пакете и стоит поговорить. Давеча я был даже несколько удивлен: высокоталантливый обвинитель, заговорив об этом пакете, вдруг сам — слышите, господа, сам — заявил про него в своей речи, именно в том месте, где он указывает на нелепость предположения, что убил Смердяков: „Не было бы этого пакета, не останься он на полу как улика, унеси его грабитель с собою, то никто бы и не узнал в целом мире, что был пакет, а в нем деньги, и что, стало быть, деньги были ограблены подсудимым“. Итак, единственно только этот разорванный клочок бумаги с надписью, даже по признанию самого обвинителя, и послужил к обвинению подсудимого в грабеже, „иначе-де не узнал бы никто, что был грабеж, а может быть, что были и деньги“ Но неужели одно то, что этот клочок валялся на полу, есть доказательство, что в нем были деньги и что деньги эти ограблены? „Но, отвечают, ведь видел их в пакете Смердяков“, но когда, когда он их видел в последний раз, вот об чем я спрашиваю? Я говорил с Смердяковым, и он мне сказал, что видел их за два дня пред катастрофой! Но почему же я не могу предположить, например, хоть такое обстоятельство, что старик Федор Павлович, запершись дома, в нетерпеливом истерическом ожидании своей возлюбленной вдруг вздумал бы, от нечего делать, вынуть пакет и его распечатать: „Что, дескать, пакет, еще, пожалуй, и не поверит, а как тридцать-то радужных в одной пачке ей покажу, небось сильнее подействует, потекут слюнки“, — и вот он разрывает конверт, вынимает деньги, а конверт бросает на пол властной рукой хозяина и уж, конечно, не боясь никакой улики. Послушайте, господа присяжные, есть ли что возможнее такого предположения и такого факта? Почему это невозможно? Но ведь если хоть что-нибудь подобное могло иметь место, то ведь тогда обвинение в грабеже само собою уничтожается: не

было денег, не было, стало быть, и грабежа. Если пакет лежал на полу как улика, что в нем были деньги, то почему я не могу утверждать обратное, а именно, что пакет валялся на полу именно потому, что в нем уже не было денег, взятых из него предварительно самим хозяином? „Да, но куда ж в таком случае делись деньги, если их выбрал из пакета сам Федор Павлович, в его доме при обыске не нашли?“ Во-первых, в шкатулке у него часть денег нашли, а во-вторых, он мог вынуть их еще утром, даже еще накануне, распорядиться ими иначе, выдать их, отослать, изменить, наконец, свою мысль, свой план действий в самом основании и при этом совсем даже не найдя нужным докладываться об этом предварительно Смердякову? А ведь если существует хотя бы даже только возможность такого предположения, то как же можно столь настойчиво и столь твердо обвинять подсудимого, что убийство совершено им для грабежа и что действительно существовал грабеж? Ведь мы, таким образом, вступаем в область романов. Ведь если утверждать, что такая-то вещь ограблена, то надобно указать эту вещь или по крайней мере доказать непреложно, что она существовала. А ее даже никто и не видал. Недавно в Петербурге один молодой человек, почти мальчик, восемнадцати лет, мелкий разносчик с лотка, вошел среди бела дня с топором в меняльную лавку и с необычайною, типическою дерзостью убил хозяина лавки и унес с собою тысячу пятьсот рублей денег. Часов через пять он был арестован,* на нем, кроме пятнадцати рублей, которые он уже успел истратить, нашли все эти полторы тысячи. Кроме того, воротившийся после убийства в лавку приказчик сообщил полиции не только об украденной сумме, но и из каких именно денег она состояла, то есть сколько было кредиток радужных, сколько синих, сколько красных, сколько золотых монет и каких именно, и вот на арестованном убийце именно такие же деньги и монеты и найдены. Вдобавок ко всему последовало полное и чистосердечное признание убийцы в том, что он убил и унес с собою эти самые деньги. Вот это, господа присяжные, я называю уликой! Вот тут уж я знаю, вижу, осязаю деньги и не могу сказать, что их нет или не было. Так ли в настоящем случае? А между тем ведь дело идет о жизни и смерти, о судьбе человека. „Так, скажут, но ведь он в ту же ночь кутил, сорил деньгами, у него обнаружено полторы тысячи рублей — откуда же он взял их?“ Но ведь именно потому, что обнаружено было всего только полторы тысячи, а другой половины суммы ни за что не

могли отыскать и обнаружить, именно тем и доказывается, что эти деньги могли быть совсем не те, совсем никогда не бывшие ни в каком пакете. По расчету времени (и уже строжайшему) дознано и доказано предварительным следствием, что подсудимый, выбежав от служанок к чиновнику Перхотину, домой не заходил, да и никуда не заходил, а затем всё время был на людях, а стало быть, не мог отделить от трех тысяч половины и куда-нибудь спрятать в городе. Вот именно это соображение и было причиною предположения обвинителя, что деньги где-то спрятаны в расщелине в селе Мокром. Да уж не в подвалах ли Удольфского замка, господа?* Ну не фантастическое ли, не романическое ли это предположение. И заметьте, ведь уничтожься только это одно предположение, то есть что спрятано в Мокром, — и всё обвинение в грабеже взлетает на воздух, ибо где же, куда же девались тогда эти полторы тысячи? Каким чудом они могли исчезнуть, если доказано, что подсудимый никуда не заходил? И такими-то романами мы готовы погубить жизнь человеческую! Скажут: „Все-таки он не умел объяснить, где взял эти полторы тысячи, которые на нем обнаружены, кроме того, все знали, что до этой ночи у него не было денег“. А кто же это знал? Но подсудимый дал ясное и твердое показание о том, откуда взял деньги, и если хотите, господа присяжные заседатели, если хотите, — никогда ничего не могло и не может быть вероятнее этого показания и, кроме того, более совместного с характером и душой подсудимого. Обвинению понравился собственный роман: человек с слабою волей, решившийся взять три тысячи, столь позорно ему предложенные невестой его, не мог, дескать, отделить половину и зашить ее в ладонку, напротив, если б и зашил, то расшивал бы каждые два дня и отколупывал бы по сотне и таким образом извел бы всё в один месяц. Вспомните, всё это было изложено тоном, не терпящим никаких возражений. Ну *а* что, если дело происходило вовсе не так, а ну как вы создали роман, а в нем совсем другое лицо? В том-то и дело, что вы создали другое лицо! Возразят, пожалуй: „Есть свидетели, что он прокутил в селе Мокром все эти три тысячи, взятые у госпожи Верховцевой, за месяц перед катастрофой, разом, как одну копейку, стало быть, не мог отделить от них половину“. Но кто же эти свидетели? Степень достоверности этих свидетелей на суде уже обнаружилась. Кроме того, в чужой руке ломоть всегда больше кажется. Наконец, никто из этих свидетелей денег этих сам не считал, а лишь

судил на свой глаз. Ведь показал же свидетель Максимов, что у подсудимого было в руках двадцать тысяч. Видите, господа присяжные, так как психология о двух концах, то уж позвольте мне и тут другой конец приложить, и посмотрим, то ли выйдет.

За месяц до катастрофы подсудимому были вверены для отсылки по почте три тысячи рублей госпожою Верховцевой, но вопрос: справедливо ли, что были вверены с таким позором и с таким унижением, как провозглашено было давеча? В первом показании о том же предмете у госпожи Верховцевой выходило не так, совершенно не так; во втором же показании мы слышали лишь крики озлобления, отмщения, крики долго таившейся ненависти. Но уж одно то, что свидетельница раз в первом показании своем показала неверно, дает право нам заключить, что и второе показание могло быть неверно. Обвинитель „не хочет, не смеет“ (его слова) дотрогиваться до этого романа. Ну и пусть, я тоже не стану дотрогиваться, но, однако, позволю себе лишь заметить, что если чистая и высоконравственная особа, какова бесспорно и есть высокоуважаемая госпожа Верховцева, если такая особа, говорю я, позволяет себе вдруг, разом, на суде, изменить первое свое показание, с прямою целью погубить подсудимого, то ясно и то, что это показание ее было сделано не беспристрастно, не хладнокровно. Неужели же у нас отнимут право заключить, что отомщавшая женщина могла многое преувеличить? Да, именно преувеличить тот стыд и позор, с которым были ею предложены деньги. Напротив, они были предложены именно так, что их еще можно было принять, особенно такому легкомысленному человеку, как наш подсудимый. Главное, он имел тогда в виду скорое получение от отца этих должных ему по расчету трех тысяч. Это легкомысленно, но именно по легкомыслию своему он и был твердо уверен, что тот их выдаст ему, что он их получит и, стало быть, всегда может отправить вверенные ему госпожою Верховцевой деньги по почте и расквитаться с долгом. Но обвинитель ни за что не хочет допустить, что он мог в тот же день, в день обвинения, отделить из полученных денег половину и зашить в ладонку: „не таков, дескать, это характер, не мог иметь таких чувств“. Но ведь сами же вы кричали, что широк Карамазов, сами же вы кричали про две крайние бездны, которые может созерцать Карамазов. Карамазов именно такая натура о двух сторонах, о двух безднах, что при самой безудержной потребности кутежа может остановиться, если

что-нибудь его поразит с другой стороны. А ведь другая-то сторона — любовь, именно вот эта новая загоревшаяся тогда как порох любовь, а на эту любовь нужны деньги, и нужнее, о! гораздо нужнее, чем даже на кутеж с этою самою возлюбленною. Скажет она ему: „Твоя, не хочу Федора Павловича“, и он схватит ее и увезет — так было бы на что увезти. Это ведь важнее кутежа. Карамазову ль этого не понять? Да он именно этим и болен был, этою заботой, — что ж невероятного, что он отделил эти деньги и припрятал на всякий случай? Но вот, однако, время уходит, а Федор Павлович трех тысяч подсудимому не выдает, напротив, слышно, что определил их именно на то, чтобы сманить ими его же возлюбленную. „Если не отдаст Федор Павлович, — думает он, — то ведь я перед Катериной Ивановной выйду вором“. И вот у него рождается мысль, что эти же полторы тысячи, которые он продолжает носить на себе в этой ладонке, он придет, положит пред госпожою Верховцевой и скажет ей: „Я подлец, но не вор“. И вот, стало быть, уже двойная причина хранить эти полторы тысячи как зеницу ока, отнюдь не расшивать ладонку и не отколупывать по сту рублей. Отчего откажете вы подсудимому в чувстве чести? Нет, чувство чести в нем есть, положим неправильное, положим весьма часто ошибочное, но оно есть, есть до страсти, и он доказал это. Но вот, однако же, дело усложняется, мучения ревности достигают высшей степени, и всё те же, всё прежние два вопроса обрисовываются всё мучительнее и мучительнее в воспаленном мозгу подсудимого: „Отдам Катерине Ивановне: на какие же средства увезу я Грушеньку?“ Если он безумствовал так, и напивался, и бушевал по трактирам во весь этот месяц, то это именно, может быть, потому, что самому было горько, невмочь переносить. Эти два вопроса до того наконец обострились, что довели его наконец до отчаяния. Он послал было своего младшего брата к отцу просить у него эти три тысячи в последний раз, но, не дождавшись ответа, ворвался сам и кончил тем, что избил старика при свидетелях. После этого получить, значит, уже не у кого, избитый отец не даст. В тот же день вечером он бьет себя по груди, именно по верхней части груди, где эта ладонка, и клянется брату, что у него есть средство не быть подлецом, но что все-таки он останется подлецом, ибо предвидит, что не воспользуется средством, не хватит силы душевной, не хватит характера. Почему, почему обвинение не верит показанию Алексея Карамазова, данному так чисто, так искренно, неподготовленно

и правдоподобно? Почему, напротив, заставляет меня верить деньгам в какой-то расщелине, в подвалах Удольфского замка? В тот же вечер, после разговора с братом, подсудимый пишет это роковое письмо, и вот это-то письмо и есть самое главное, самое колоссальное уличение подсудимого в грабеже! „Буду просить у всех людей, а не дадут люди, убью отца и возьму у него под тюфяком, в пакете с розовою ленточкой, только бы уехал Иван“ — полная-де программа убийства, как же не он? „Совершилось по написанному!“ — восклицает обвинение. Но, во-первых, письмо пьяное и написано в страшном раздражении; во-вторых, опять-таки о пакете он пишет со слов Смердякова, потому что сам пакета не видал, а в-третьих, написано-то оно написано, но совершилось ли по написанному, это чем доказать? Достал ли подсудимый пакет под подушкой, нашел ли деньги, существовали ли они даже? Да и за деньгами ли подсудимый побежал, припомните, припомните! Он побежал сломя голову не грабить, а лишь узнать, где она, эта женщина, его сокрушившая, — не по программе, стало быть, не по написанному он побежал, то есть не для обдуманного грабежа, а побежал внезапно, нечаянно, в ревнивом бешенстве! „Да, скажут, но все-таки, прибежав и убив, захватил и деньги“. Да, наконец, убил ли он еще или нет? Обвинение в грабеже я отвергаю с негодованием: нельзя обвинять в грабеже, если нельзя указать с точностью, что именно ограблено, это аксиома! Но убил ли еще он, без грабежа-то убил ли? Это-то доказано ли? Уж не роман ли и это?»

XII

Да и убийства не было

«Позвольте, господа присяжные, тут жизнь человеческая, и надо быть осторожнее. Мы слышали, как обвинение само засвидетельствовало, что до самого последнего дня, до сегодня, до дня суда, колебалось обвинить подсудимого в полной и совершенной преднамеренности убийства, колебалось до самого этого рокового „пьяного“ письма, представленного сегодня суду. „Совершилось как по писаному!“ Но опять-таки повторяю: он побежал к ней, за ней, единственно только узнать, где она. Ведь это факт непреложный.

Случись она дома, он никуда бы не побежал, а остался при ней и не сдержал бы того, что в письме обещал. Он побежал нечаянно и внезапно, а о „пьяном“ письме своем он, может быть, вовсе тогда и не помнил. „Захватил, дескать, пестик“ — и помните, как из этого одного пестика нам вывели целую психологию: почему-де он должен был принять этот пестик за оружие, схватить его как оружие, и проч., и проч. Тут мне приходит в голову одна самая обыкновенная мысль: ну что, если б этот пестик лежал не на виду, не на полке, с которой схватил его подсудимый, а был прибран в шкаф? — ведь подсудимому не мелькнул бы он тогда в глаза, и он бы убежал без оружия, с пустыми руками, и вот, может быть, никого бы тогда и не убил. Каким же образом я могу заключать о пестике как о доказательстве вооружения и преднамерения? Да, но он кричал по трактирам, что убьет отца, а за два дня, в тот вечер, когда написал свое пьяное письмо, был тих и поссорился в трактире лишь с одним только купеческим приказчиком, „потому-де, что Карамазов не мог не поссориться“. А я отвечу на это, что уж если замыслил такое убийство, да еще по плану, по написанному, то уж наверно бы не поссорился и с приказчиком, да, может быть, и в трактир не зашел бы вовсе, потому что душа, замыслившая такое дело, ищет тишины и стушевки, ищет исчезновения, чтобы не видали, чтобы не слыхали: „Забудьте-де обо мне, если можете“, и это не по расчету только, апо инстинкту. Господа присяжные, психология о двух концах, и мы тоже умеем понимать психологию. Что же до всех этих трактирных криков во весь этот месяц, то мало ли раз кричат дети али пьяные гуляки, выходя из кабаков и ссорясь друг с другом: „Я убью тебя“, но ведь не убивают же. Да и самое это роковое письмо — ну не пьяное ли оно раздражение тоже, не крик ли из *кабака* выходящего: убью, дескать, всех вас убью! Почему не так, почему не могло быть так? Почему это письмо роковое, почему, напротив, оно не смешное? А вот именно потому, что найден труп убитого отца, потому что свидетель видел подсудимого в саду, вооруженного и убегающего, и сам был повержен им, стало быть, и совершилось всё по написанному, а потому и письмо не смешное, а роковое. Слава богу, мы дошли до точки: „коли был в саду, значит, он и убил“. Этими двумя словечками: коли *был*, *так* уж непременно и *значит*, всё исчерпывается, всё обвинение — „был, так и значит“. А если не *значит*, хотя бы и был? О, я согласен, что совокупность фактов,

совпадение фактов действительно довольно красноречивы. Но рассмотрите, однако, все эти факты отдельно, не внушаясь их совокупностью: почему, например, обвинение ни за что не хочет допустить правдивости показания подсудимого, что он убежал от отцова окошка? Вспомните даже сарказмы, в которые пускается здесь обвинение насчет почтительности и „благочестивых“ чувств, вдруг обуявших убийцу. А что, если и в самом деле тут было нечто подобное, то есть хоть не почтительность чувств, но благочестивость чувств? „Должно быть, мать за меня замолила в эту минуту“, — показывает на следствии подсудимый, и вот он убежал, чуть лишь уверился, что Светловой у отца в доме нет. „Но он не мог увериться чрез окно“, — возражает нам обвинение. А почему же не мог? Ведь окно отворилось же на поданные подсудимым знаки. Тут могло быть произнесено одно какое-нибудь такое слово Федором Павловичем, мог вырваться какой-нибудь такой крик — и подсудимый мог вдруг удостовериться, что Светловой тут нет. Почему непременно предполагать так, как мы воображаем, как предположили воображать? В действительности может мелькнуть тысяча вещей, ускользающих от наблюдения самого тонкого романиста. „Да, но Григорий видел дверь отворенною, а стало быть, подсудимый был в доме наверно, а стало быть, и убил“. Об этой двери, господа присяжные… Видите ли, об отворенной этой двери свидетельствует лишь одно лицо, бывшее, однако, в то время в таком состоянии само, что… Но пусть, пусть была дверь отворена, пусть подсудимый отперся, солгал из чувства самозащиты, столь понятного в его положении, пусть, пусть он проник в дом, был в доме — ну и что же, почему же непременно коли был, то и убил? Он мог ворваться, пробежать по комнатам, мог оттолкнуть отца, мог даже ударить отца, но, удостоверившись, что Светловой нет у него, убежал, радуясь, что ее нет и что убежал, отца не убив. Именно потому, может быть, и соскочил через минуту с забора к поверженному им в азарте Григорию, что в состоянии был ощущать чувство чистое, чувство сострадания и жалости, потому что убежал от искушения убить отца, потому что ощущал в себе сердце чистое и радость, что не убил отца. Красноречиво до ужаса описывает нам обвинитель страшное состояние подсудимого в селе Мокром, когда любовь вновь открылась ему, зовя его в новую жизнь, и когда ему уже нельзя было любить, потому что сзади был окровавленный труп отца его, а за трупом казнь. И однако же,

обвинитель все-таки допустил любовь, которую и объяснил по своей психологии: „Пьяное, дескать, состояние,

252

преступника везут на казнь, еще долго ждать, и проч., и проч.». Но не другое ли вы создали лицо, господин обвинитель, опять-таки спрашиваю? Так ли, так ли груб и бездушен подсудимый, что мог еще думать в тот момент о любви и о вилянии пред судом, если бы действительно на нем была кровь отца? Нет, нет и нет! Только что открылось, что она его любит, зовет с собою, сулит ему новое счастье, — о, клянусь, он должен был тогда почувствовать двойную, тройную потребность убить себя и убил бы себя непременно, если бы сзади его лежал труп отца! О нет, не забыл бы, где лежат его пистолеты! Я знаю подсудимого: дикая, деревянная бессердечность, взведенная на него обвинением, несовместна с его характером. Он бы убил себя, это наверно; он не убил себя именно потому, что „мать замолила о нем“, и сердце его было неповинно в крови отца. Он мучился, он горевал в ту ночь в Мокром лишь о поверженном старике Григории и молил про себя бога, чтобы старик встал и очнулся, чтоб удар его был несмертелен и миновала бы казнь за него. Почему не принять такое толкование событий? Какое мы имеем твердое доказательство, что подсудимый нам лжет? А вот труп-то отца, укажут нам тотчас же снова: он выбежал, он не убил, ну так кто же убил старика?

Повторяю, тут вся логика обвинения: кто же убил, как не он? Некого, дескать, поставить вместо него. Господа присяжные заседатели, так ли это? Впрямь ли, действительно ли уж так-таки совсем некого поставить? Мы слышали, как обвинение перечло по пальцам всех бывших и всех перебывавших в ту ночь в этом доме. Нашлось пять человек. Трое из них, я согласен, вполне невменяемы: это сам убитый, старик Григорий и жена его. Остаются, стало быть, подсудимый и Смердяков, и вот обвинитель с пафосом восклицает, что подсудимый потому указывает на Смердякова, что не на кого больше ему указать, что будь тут кто-нибудь шестой, даже призрак какого-либо шестого, то подсудимый сам бы тотчас бросил обвинять Смердякова, устыдившись сего, а показал бы на этого шестого. Но, господа присяжные, почему бы я не мог заключить совершенно обратно? Стоят двое: подсудимый и Смердяков — почему же мне не сказать, что вы обвиняете моего клиента единственно потому, что вам некого обвинять? А некого лишь

потому, что вы совершенно предвзято заранее исключили Смердякова из всякого подозрения. Да, правда, на Смердякова показывают лишь сам подсудимый, два брата его, Светлова, и только. Но ведь есть же и еще кое-кто из показывающих: это некоторое, хотя и неясное брожение в обществе какого-то вопроса, какого-то подозрения, слышен какой-то неясный слух, чувствуется, что существует какое-то ожидание. Наконец, свидетельствует и некоторое сопоставление фактов, весьма характерное, хотя, признаюсь, и неопределенное: во-первых, этот припадок падучей болезни именно в день катастрофы, припадок, который так старательно принужден был почему-то защищать и отстаивать обвинитель. Затем это внезапное самоубийство Смердякова накануне суда. Затем не менее внезапное показание старшего брата подсудимого, сегодня на суде, до сих пор верившего в виновность брата и вдруг приносящего деньги и тоже провозгласившего опять-таки имя Смердякова как убийцы! О, я вполне убежден вместе с судом и с прокуратурой, что Иван Карамазов — больной и в горячке, что показание его действительно могло быть отчаянною попыткой, замышленною притом же в бреду, спасти брата, свалив на умершего. Но, однако же, все-таки произнесено имя Смердякова, опять-таки как будто слышится что-то загадочное. Что-то как будто тут не договорено, господа присяжные, и не покончено. И может быть, еще договорится. Но об этом пока оставим, это еще впереди. Суд решил давеча продолжать заседание, но теперь пока, в ожидании, я бы мог кое-что, однако, заметить, например, по поводу характеристики покойного Смердякова, столь тонко и столь талантливо очерченной обвинителем. Но, удивляясь таланту, не могу, однако же, вполне согласиться с сущностью характеристики. Я был у Смердякова, я видел его и говорил с ним, он произвел на меня впечатление совсем иное. Здоровьем он был слаб, это правда, но характером, но сердцем — о нет, это вовсе не столь слабый был человек, как заключило о нем обвинение. Особенно не нашел я в нем робости, той робости, которую так характерно описывал нам обвинитель. Простодушия же в нем не было вовсе, напротив, я нашел страшную недоверчивость, прячущуюся под наивностью, и ум, способный весьма многое созерцать. О! обвинение слишком простодушно почло его слабоумным. На меня он произвел впечатление совершенно определенное: я ушел с убеждением, что существо это решительно злобное, непомерно честолюбивое, мстительное и знойно

завистливое. Я собрал кой-какие сведения: он ненавидел происхождение свое, стыдился его и со скрежетом зубов припоминал, что „от Смердящей произошел“. К слуге Григорию и к жене его, бывшим благодетелями его детства, он был непочтителен. Россию проклинал и над нею смеялся. Он мечтал уехать во Францию, с тем чтобы переделаться во француза. Он много и часто толковал еще прежде, что на это недостает ему средств. Мне кажется, он никого не любил, кроме себя, уважал же себя до странности высоко. Просвещение видел в хорошем платье, в чистых манишках и в вычищенных сапогах. Считая себя сам (и на это есть факты) незаконным сыном Федора Павловича, он мог ненавидеть свое положение сравнительно с законными детьми своего господина: им, дескать, всё, а ему ничего, им все права, им наследство, а он только повар. Он поведал мне, что сам вместе с Федором Павловичем укладывал деньги в пакет. Назначение этой суммы, — суммы, которая могла бы составить его карьеру, — было, конечно, ему ненавистно. К тому же он увидал три тысячи рублей в светленьких радужных кредитках (я об этом нарочно спросил его). О, не показывайте никогда завистливому и самолюбивому человеку больших денег разом, а он в первый раз увидал такую сумму в одной руке. Впечатление радужной пачки могло болезненно отразиться в его воображении, на первый раз пока безо всяких последствий. Высокоталантливый обвинитель с необыкновенною тонкостью очертил нам все pro и contra предположения о возможности обвинить Смердякова в убийстве и особенно спрашивал: для чего тому было притворяться в падучей? Да, но ведь он мог и не притворяться вовсе, припадок мог прийти совсем натурально, но ведь мог же и пройти совсем натурально, и больной мог очнуться. Положим, не вылечиться, но всё же когда-нибудь прийти в себя и очнуться, как и бывает в падучей. Обвинение спрашивает: где момент совершения Смердяковым убийства? Но указать этот момент чрезвычайно легко. Он мог очнуться и встать от глубокого сна (ибо он был только во сне: после припадков падучей болезни всегда нападает глубокий сон) именно в то мгновение, когда старик Григорий, схватив за ногу на заборе убегающего подсудимого, завопил на всю окрестность: „Отцеубивец!“ Крик-то этот необычайный, в тиши и во мраке, и мог разбудить Смердякова, сон которого к тому времени мог быть и не очень крепок: он, естественно, мог уже час тому как начать просыпаться. Встав с постели, он

отправляется почти бессознательно и безо всякого намерения на крик, посмотреть, что такое. В его голове болезненный чад, соображение еще дремлет, но вот он в саду, подходит к освещенным окнам и слышит страшную весть от барина, который, конечно, ему обрадовался. Соображение разом загорается в голове его. От испуганного барина он узнает все подробности. И вот постепенно, в расстроенном и больном мозгу его созидается мысль — страшная, но соблазнительная и неотразимо логическая: убить, взять три тысячи денег и свалить всё потом на барчонка: на кого же и подумают теперь, как не на барчонка, кого же могут обвинить, как не барчонка, все улики, он тут был? Страшная жажда денег, добычи, могла захватить ему дух, вместе с соображением о безнаказанности. О, эти внезапные и неотразимые порывы так часто приходят при случае и, главное, приходят внезапно таким убийцам, которые еще за минуту не знали, что захотят убить! И вот Смердяков мог войти к барину и исполнить свой план, чем, каким оружием, — а первым камнем, который он поднял в саду. Но для чего же, с какою же целью? А три-то тысячи, ведь это карьера. О! я не противоречу себе: деньги могли быть и существовать. И даже, может быть, Смердяков-то один и знал, где их найти, где именно они лежат у барина. „Ну, а обложка денег, а разорванный на полу пакет?“ Давеча, когда обвинитель, говоря об этом пакете, изложил чрезвычайно тонкое соображение свое о том, что оставить его на полу мог именно вор непривычный, именно такой, как Карамазов, а совсем уже не Смердяков, который бы ни за что не оставил на себя такую улику, — давеча, господа присяжные, я, слушая, вдруг почувствовал, что слышу что-то чрезвычайно знакомое. И представьте себе, именно это самое соображение, эту догадку о том, как бы мог поступить Карамазов с пакетом, я уже слышал ровно за два дня до того от самого Смердякова, мало того, он даже тем поразил меня: мне именно показалось, что он фальшиво наивничает, забегает вперед, навязывает эту мысль мне, чтоб я сам вывел это самое соображение и мне его как будто подсказывает. Не подсказал ли он это соображение и следствию? Не навязал ли его и высокоталантливому обвинителю? Скажут: а старуха, жена Григория? Ведь она же слышала, как больной подле нее стонал во всю ночь. Так, слышала, но ведь соображение это чрезвычайно шаткое. Я знал одну даму, которая горько жаловалась, что ее всю ночь будила на дворе шавка и не давала ей спать. И однако, бедная собачонка, как известно

стало, тявкнула всего только раза два-три во всю ночь. И это естественно; человек спит и вдруг слышит стон, он просыпается в досаде, что его разбудили, но засыпает мгновенно снова. Часа через два опять стон, опять просыпается и опять засыпает, наконец, еще раз стон, и опять через два часа, всего в ночь раза три. Наутро спящий встает и жалуется, что кто-то всю ночь стонал и его беспрерывно будил. Но непременно так и должно ему показаться; промежутки сна, по два часа каждый, он проспал и не помнит, а запомнил лишь минуты своего пробуждения, вот ему и кажется, что его будили всю ночь. Но почему, почему, восклицает обвинение, Смердяков не признался в посмертной записке? „На одно-де хватило совести, а на другое нет“. Но позвольте: совесть — это уже раскаяние, но раскаяния могло и не быть у самоубийцы, а было лишь отчаяние. Отчаяние и раскаяние — две вещи совершенно различные. Отчаяние может быть злобное и непримиримое, и самоубийца, накладывая на себя руки, в этот момент мог вдвойне ненавидеть тех, кому всю жизнь завидовал. Господа присяжные заседатели, поберегитесь судебной ошибки! Чем, чем неправдоподобно всё то, что я вам сейчас представил и изобразил? Найдите ошибку в моем изложении, найдите невозможность, абсурд? Но если есть хотя тень возможности, хотя тень правдоподобия в моих предположениях — удержитесь от приговора. А тут разве тень только? Клянусь всем священным, я вполне верю в мое, в представленное вам сейчас, толкование об убийстве. А главное, главное, меня смущает и выводит из себя всё та же мысль, что изо всей массы фактов, нагроможденных обвинением на подсудимого, нет ни единого, хоть сколько-нибудь точного и неотразимого, а что гибнет несчастный единственно по совокупности этих фактов. Да, эта совокупность ужасна; эта кровь, эта с пальцев текущая кровь, белье в крови, эта темная ночь, оглашаемая воплем „отцеубивец!“, и кричащий, падающий с проломленною головой, а затем эта масса изречений, показаний, жестов, криков — о, это так влияет, так может подкупить убеждение, но ваше ли, господа присяжные заседатели, ваше ли убеждение подкупить может? Вспомните, вам дана необъятная власть, власть вязать и решить[*]. Но чем сильнее власть, тем страшнее ее приложение! Я ни на йоту не отступаю от сказанного мною сейчас, но уж пусть, так и быть, пусть на минуту и я соглашусь с обвинением, что несчастный клиент мой обагрил свои руки в крови отца. Это только предположение, повторяю,

я ни на миг не сомневаюсь в его невинности, но уж так и быть, предположу, что мой подсудимый виновен в отцеубийстве, но выслушайте, однако, мое слово, если бы даже я и допустил такое предположение. У меня лежит на сердце высказать вам еще нечто, ибо я предчувствую и в ваших сердцах и умах большую борьбу… Простите мне это слово, господа присяжные заседатели, о ваших сердцах и умах. Но я хочу быть правдивым и искренним до конца. Будем же все искренни!..»

В этом месте защитника прервал довольно сильный аплодисмент. В самом деле, последние слова свои он произнес с такою искренне прозвучавшею нотой, что все почувствовали, что, может быть, действительно ему есть что сказать и что то, что он скажет сейчас, есть и самое важное. Но председатель, заслышав аплодисмент, громко пригрозил «очистить» залу суда, если еще раз повторится «подобный случай». Всё затихло, и Фетюкович начал каким-то новым, проникновенным голосом, совсем не тем, которым говорил до сих пор.

XIII

Прелюбодей мысли[*]

«Не совокупность только фактов губит моего клиента, господа присяжные заседатели, — возгласил он, — нет, моего клиента губит, по-настоящему, один лишь факт: это — труп старика отца! Будь простое убийство, и вы при ничтожности, при бездоказательности, при фантастичности фактов, если рассматривать каждый из них в отдельности, а не в совокупности, — отвергли бы обвинение, по крайней мере усумнились бы губить судьбу человека по одному лишь предубеждению против него, которое, увы, он так заслужил! Но тут не простое убийство, а отцеубийство! Это импонирует, и до такой степени, что даже самая ничтожность и бездоказательность обвиняющих фактов становится уже не столь ничтожною и не столь бездоказательною, и это в самом непредубежденном даже уме. Ну как оправдать такого подсудимого? А ну как он убил и уйдет ненаказанным — вот что чувствует каждый в сердце своем почти невольно, инстинктивно. Да,

страшная вещь пролить кровь отца, — кровь родившего, кровь любившего, кровь жизни своей для меня не жалевшего, с детских лет моих моими болезнями болевшего, всю жизнь за мое счастье страдавшего и лишь моими радостями, моими успехами жившего! О, убить такого отца — да это невозможно и помыслить! Господа присяжные, что такое отец, настоящий отец, что это за слово такое великое, какая страшно великая идея в наименовании этом? Мы сейчас только указали отчасти, что такое и чем должен быть истинный отец. В настоящем же деле, которым мы так все теперь заняты, которым болят наши души, — в настоящем деле отец, покойный Федор Павлович Карамазов, нисколько не подходил под то понятие об отце, которое сейчас сказалось нашему сердцу. Это беда. Да, действительно, иной отец похож на беду. Рассмотрим же эту беду поближе — ведь ничего не надо бояться, господа присяжные, ввиду важности предстоящего решения. Мы даже особенно не должны бояться теперь и, так сказать, отмахиваться от иной идеи, как дети или пугливые женщины, по счастливому выражению высокоталантливого обвинителя. Но в своей горячей речи уважаемый мой противник (и противник еще прежде, чем я произнес мое первое слово), мой противник несколько раз воскликнул: „Нет, я никому не дам защищать подсудимого, я не уступлю его защиту защитнику, приехавшему из Петербурга, — я обвинитель, я и защитник!“ Вот что он несколько раз воскликнул и, однако же, забыл упомянуть, что если страшный подсудимый целые двадцать три года столь благодарен был всего только за один фунт орехов, полученных от единственного человека, приласкавшего его ребенком в родительском доме, то, обратно, не мог же ведь такой человек и не помнить, все эти двадцать три года, как он бегал босой у отца „на заднем дворе, без сапожек, и в панталончиках на одной пуговке“, по выражению человеколюбивого доктора Герценштубе. О господа присяжные, зачем нам рассматривать ближе эту „беду“, повторять то, что все уже знают! Что встретил мой клиент, приехав сюда к отцу? И зачем, зачем изображать моего клиента бесчувственным, эгоистом, чудовищем? Он безудержен, он дик и буен, вот мы теперь его судим за это, а кто виноват в судьбе его, кто виноват, что при хороших наклонностях, при благородном чувствительном сердце он получил такое нелепое воспитание? Учил ли его кто-нибудь уму-разуму, просвещен ли он в науках, любил ли кто его хоть сколько-нибудь в его детстве? Мой

клиент рос покровительством божиим, то есть как дикий зверь. Он, может быть, жаждал увидеть отца после долголетней разлуки, он, может быть, тысячу раз перед тем, вспоминая как сквозь сон свое детство, отгонял отвратительные призраки, приснившиеся ему в его детстве, и всею душой жаждал оправдать и обнять отца своего! И что ж? Его встречают одними циническими насмешками, подозрительностью и крючкотворством из-за спорных денег; он слышит лишь разговоры и житейские правила, от которых воротит сердце, ежедневно „за коньячком“, и, наконец, зрит отца, отбивающего у него, у сына, на его же сыновние деньги, любовницу, — о господа присяжные, это отвратительно и жестоко! И этот же старик всем жалуется на непочтительность и жестокость сына, марает его в обществе, вредит ему, клевещет на него, скупает его долговые расписки, чтобы посадить его в тюрьму! Господа присяжные, эти души, эти на вид жестокосердые, буйные и безудержные люди, как мой клиент, бывают, и это чаще всего, чрезвычайно нежны сердцем, только этого не выказывают. Не смейтесь, не смейтесь над моею идеей! Талантливый обвинитель смеялся давеча над моим клиентом безжалостно, выставляя, что он любит Шиллера, любит „прекрасное и высокое“. Я бы не стал над этим смеяться на его месте, на месте обвинителя! Да, эти сердца — о, дайте мне защитить эти сердца, столь редко и столь несправедливо понимаемые, — эти сердца весьма часто жаждут нежного, прекрасного и справедливого, и именно как бы в контраст себе, своему буйству, своей жестокости, — жаждут бессознательно, и именно жаждут. Страстные и жестокие снаружи, они до мучения способны полюбить, например, женщину, и непременно духовною и высшею любовью. Опять-таки не смейтесь надо мной: это именно так всего чаще бывает в этих натурах! Они только не могут скрыть свою страстность, подчас очень грубую, — вот это и поражает, вот это и замечают, а внутри человека не видят. Напротив, все их страсти утоляются быстро, но около благородного, прекрасного существа, этот по-видимому грубый и жестокий человек ищет обновления, ищет возможности исправиться, стать лучшим, сделаться высоким и честным — „высоким и прекрасным“, как ни осмеяно это слово! Давеча я сказал, что не позволю себе дотронуться до романа моего клиента с госпожою Верховцевой. Но, однако, полслова-то можно сказать: мы слышали давеча не показание, а лишь крик исступленной и отмщающей женщины, и не ей, о, не ей укорять бы в измене, потому что

она сама изменила! Если б имела хоть сколько-нибудь времени, чтоб одуматься, не дала бы она такого свидетельства! О, не верьте ей, нет, не „изверг“ клиент мой, как она его называла! Распятый человеколюбец, собираясь на крест свой, говорил: „Аз семь пастырь добрый, пастырь добрый полагает душу свою за овцы, да ни одна не погибнет…*“ Не погубим и мы души человеческой! Я спрашивал сейчас: что такое отец, и воскликнул, что это великое слово, драгоценное наименование. Но со словом, господа присяжные, надо обращаться честно, и я позволю назвать предмет собственным его словом, собственным наименованием: такой отец, как убитый старик Карамазов, не может и недостоин называться отцом. Любовь к отцу, не оправданная отцом, есть нелепость, есть невозможность. Нельзя создать любовь из ничего, из ничего только бог творит. „Отцы, не огорчайте детей своих“, — пишет из пламенеющего любовью сердца своего апостол.* Не ради моего клиента привожу теперь эти святые слова, я для всех отцов вспоминаю их. Кто мне дал эту власть, чтоб учить отцов? Никто. Но как человек и гражданин взываю — vivos voco!*[29] Мы на земле недолго, мы делаем много дел дурных и говорим слов дурных. А потому будем же все ловить удобную минуту совместного общения нашего, чтобы сказать друг другу и хорошее слово. Так и я: пока я на этом месте, я пользуюсь моею минутой. Недаром эта трибуна дарована нам высшею волей — с нее слышит нас вся Россия. Не для здешних только отцов говорю, а ко всем отцам восклицаю: „Отцы, не огорчайте детей своих!“ Да исполним прежде сами завет Христов и тогда только разрешим себе спрашивать и с детей наших. Иначе мы не отцы, а враги детям нашим, а они не дети наши, а враги нам, и мы сами себе сделали их врагами! „В ню же меру мерите, возмерится и вам“* — это не я уже говорю, это Евангелие предписывает: мерить в ту меру, в которую и вам меряют. Как же винить детей, если они нам меряют в нашу меру? Недавно в Финляндии одна девица, служанка, была заподозрена, что она тайно родила ребенка. Стали следить за нею и на чердаке дома, в углу за кирпичами, нашли ее сундук, про который никто не знал, его отперли и вынули из него трупик новорожденного и убитого ею младенца. В том же сундуке нашли два скелета уже рожденных прежде ею младенцев и ею же убитых в минуту рождения, в чем она и повинилась. Господа присяжные, это ли мать детей своих? Да, она их родила, но мать ли она им? Осмелится ли кто из нас произнести над ней священное имя

матери? Будем смелы, господа присяжные, будем дерзки даже, мы даже обязаны быть таковыми в настоящую минуту и не бояться иных слов и идей, подобно московским купчихам, боящимся „металла“ и „жупела“[*]. Нет, докажем, напротив, что прогресс последних лет коснулся и нашего развития и скажем прямо: родивший не есть еще отец, а отец есть — родивший и заслуживший. О, конечно, есть и другое значение, другое толкование слова „отец“, требующее, чтоб отец мой, хотя бы и изверг, хотя бы и злодей своим детям, оставался бы все-таки моим отцом, потому только, что он родил меня. Но это значение уже, так сказать, мистическое, которое я не понимаю умом, а могу принять лишь верой, или, вернее сказать, *на веру*, подобно многому другому, чего не понимаю, но чему религия повелевает мне, однако же, верить. Но в таком случае это пусть и останется вне области действительной жизни. В области же действительной жизни, которая имеет не только свои права, но и сама налагает великие обязанности, — в этой области мы, если хотим быть гуманными, христианами наконец, мы должны и обязаны проводить убеждения, лишь оправданные рассудком и опытом, проведенные чрез горнило анализа, словом, действовать разумно, а не безумно, как во сне и в бреду, чтобы не нанести вреда человеку, чтобы не измучить и не погубить человека. Вот, вот тогда это и будет настоящим христианским делом, не мистическим только, а разумным и уже истинно человеколюбивым делом…»

В этом месте сорвались было сильные рукоплескания из многих концов залы, но Фетюкович даже замахал руками, как бы умоляя не прерывать и чтобы дали ему договорить. Всё тотчас затихло. Оратор продолжал:

«Думаете ли вы, господа присяжные, что такие вопросы могут миновать детей наших, положим, уже юношей, положим, уже начинающих рассуждать? Нет, не могут, и не будем спрашивать от них невозможного воздержания! Вид отца недостойного, особенно сравнительно с отцами другими, достойными, у других детей, его сверстников, невольно подсказывает юноше вопросы мучительные. Ему по-казенному отвечают на эти вопросы: „Он родил тебя, и ты кровь его, а потому ты и должен любить его“. Юноша невольно задумывается: „Да разве он любил меня, когда рождал, — спрашивает он, удивляясь всё более и более, —[*]

разве для меня он родил меня: он не знал ни меня, ни даже пола моего в ту минуту, в минуту страсти, может быть разгоряченной вином, и только разве передал мне склонность к пьянству — вот все его благодеяния… Зачем же я должен любить его, за то только, что он родил меня, а потом всю жизнь не любил меня?» О, вам, может быть, представляются эти вопросы грубыми, жестокими, но не требуйте же от юного ума воздержания невозможного: „Гони природу в дверь, она влетит в окно“, —* а главное, главное, не будем бояться „металла“ и „жупела“ и решим вопрос так, как предписывает разум и человеколюбие, а не так, как предписывают мистические понятия. Как же решить его? А вот как: пусть сын станет пред отцом своим и осмысленно спросит его самого: „Отец, скажи мне: для чего я должен любить тебя? Отец, докажи мне, что я должен любить тебя?“ — и если этот отец в силах и в состоянии будет ответить и доказать ему, — то вот и настоящая нормальная семья, не на предрассудке лишь мистическом утверждающаяся, а на основаниях разумных, самоотчетных и строго гуманных. В противном случае, если не докажет отец, — конец тотчас же этой семье: он не отец ему, а сын получает свободу и право впредь считать отца своего за чужого себе и даже врагом своим. Наша трибуна, господа присяжные, должна быть школой истины и здравых понятий!»

Здесь оратор был прерван рукоплесканиями неудержимыми, почти исступленными. Конечно, аплодировала не вся зала, но половина-то залы все-таки аплодировала. Аплодировали отцы и матери. Сверху, где сидели дамы, слышались визги и крики. Махали платками. Председатель изо всей силы начал звонить в колокольчик. Он был видимо раздражен поведением залы, но «очистить» залу, как угрожал недавно, решительно не посмел: аплодировали и махали платками оратору даже сзади сидевшие на особых стульях сановные лица, старички со звездами на фраках, так что, когда угомонился шум, председатель удовольствовался лишь прежним строжайшим обещанием «очистить» залу, а торжествующий и взволнованный Фетюкович стал опять продолжать свою речь.

«Господа присяжные заседатели, вы помните ту страшную ночь, о которой так много еще сегодня говорили, когда сын, через забор, проник в дом отца и стал наконец лицом к лицу с своим, родившим его, врагом и обидчиком. Изо всех сил настаиваю — не за деньгами он прибежал в ту минуту: обвинение в грабеже есть нелепость, как я уже и

изложил прежде. И не убить, о нет, вломился он к нему; если б имел преднамеренно этот умысел, то озаботился бы по крайней мере заранее хоть оружием, а медный пест он схватил инстинктивно, сам не зная зачем. Пусть он обманул отца знаками, пусть он проник к нему — я сказал уже, что ни на одну минуту не верю этой легенде, но пусть, так и быть, предположим ее на одну минуту! Господа присяжные, клянусь вам всем, что есть свято, будь это не отец ему, а посторонний обидчик, он, пробежав по комнатам и удостоверясь, что этой женщины нет в этом доме, он убежал бы стремглав, не сделав сопернику своему никакого вреда, ударил бы, толкнул его, может быть, но и только, ибо ему было не до того, ему было некогда, ему надо было знать, где она. Но отец, отец — о, все сделал лишь вид отца, его ненавистника с детства, его врага, его обидчика, а теперь — чудовищного соперника! Ненавистное чувство охватило его невольно, неудержимо, рассуждать нельзя было: всё поднялось в одну минуту! Это был аффект безумства и помешательства, но и аффект природы, мстящей за свои вечные законы безудержно и бессознательно, как и всё в природе. Но убийца и тут не убил — я утверждаю это, я кричу про это — нет, он лишь махнул пестом в омерзительном негодовании, не желая убить, не зная, что убьет. Не будь этого рокового песта в руках его, и он бы только избил отца, может быть, но не убил бы его. Убежав, он не знал, убит ли поверженный им старик. Такое убийство не есть убийство. Такое убийство не есть и отцеубийство. Нет, убийство такого отца не может быть названо отцеубийством. Такое убийство может быть причтено к отцеубийству лишь по предрассудку? Но было ли, было ли это убийство в самом деле, взываю я к вам снова и снова из глубины души моей! Господа присяжные, вот мы осудим его, и он скажет себе: „Эти люди ничего не сделали для судьбы моей, для воспитания, для образования моего, чтобы сделать меня лучшим, чтобы сделать меня человеком. Эти люди не накормили и не напоили меня, и в темнице нагого не посетили, и вот они же сослали меня в каторгу. Я сквитался, я ничего им теперь не должен и никому не должен во веки веков. Они злы, и я буду зол. Они жестоки, и я буду жесток“. Вот что *он* скажет, господа присяжные! И клянусь: обвинением вашим вы только облегчите его, совесть его облегчите, он будет проклинать пролитую им кровь, а не сожалеть о ней. Вместе с тем вы погубите в нем возможного еще человека, ибо он останется зол и слеп на всю жизнь. Но хотите ли вы наказать его

страшно, грозно, самым ужасным наказанием, какое только можно вообразить, но с тем чтобы спасти и возродить его душу навеки? Если так, то подавите его вашим милосердием! Вы увидите, вы услышите, как вздрогнет и ужаснется душа его: „Мне ли снести эту милость, мне ли столько любви, я ли достоин ее“, — вот что он воскликнет! О, я знаю, я знаю это сердце, это дикое, но благородное сердце, господа присяжные. Оно преклонится пред вашим подвигом, оно жаждет великого акта любви, оно загорится и воскреснет навеки. Есть души, которые в ограниченности своей обвиняют весь свет. Но подавите эту душу милосердием, окажите ей любовь, и она проклянет свое дело, ибо в ней столько добрых зачатков. Душа расширится и узрит, как бог милосерд и как люди прекрасны и справедливы. Его ужаснет, его подавит раскаяние и бесчисленный долг, предстоящий ему отселе. И не скажет он тогда: „Я сквитался“, а скажет: „Я виноват пред всеми людьми и всех людей недостойнее“. В слезах раскаяния и жгучего страдальческого умиления он воскликнет: „Люди лучше, чем я, ибо захотели не погубить, а спасти меня!“ О, вам так легко это сделать, этот акт милосердия, ибо при отсутствии всяких чуть-чуть похожих на правду улик вам слишком тяжело будет произнести: „Да, виновен“. Лучше отпустить десять виновных, чем наказать одного невинного — слышите ли, слышите ли вы этот величавый голос из прошлого столетия нашей славной истории?[*] Мне ли, ничтожному, напоминать вам, что русский суд есть не кара только, но и спасение человека погибшего! Пусть у других народов буква и кара, у нас же дух и смысл, спасение и возрождение погибших. И если так, если действительно такова Россия и суд ее, то — вперед Россия, и не пугайте, о, не пугайте нас вашими бешеными тройками, от которых омерзительно сторонятся все народы! Не бешеная тройка, а величавая русская колесница торжественно и спокойно прибудет к цели. В ваших руках судьба моего клиента, в ваших руках и судьба нашей правды русской. Вы спасете ее, вы отстоите ее, вы докажете, что есть кому ее соблюсти, что она в хороших руках!»

XIV

Мужички за себя постояли

Так кончил Фетюкович, и разразившийся на этот раз восторг слушателей был неудержим, как буря. Было уже и немыслимо сдержать его: женщины плакали, плакали и многие из мужчин, даже два сановника пролили слезы. Председатель покорился и даже помедлил звонить в колокольчик: «Посягать на такой энтузиазм значило бы посягать на святыню» — как кричали потом у нас дамы. Сам оратор был искренно растроган. И вот в такую-то минуту и поднялся еще раз «обменяться возражениями» наш Ипполит Кириллович. Его завидели с ненавистью: «Как? Что это? Это он-то смеет еще возражать?» — залепетали дамы. Но если бы даже залепетали дамы целого мира, и в их главе сама прокурорша, супруга Ипполита Кирилловича, то и тогда бы его нельзя было удержать в это мгновение. Он был бледен, он сотрясался от волнения; первые слова, первые фразы, выговоренные им, были даже и непонятны; он задыхался, плохо выговаривал, сбивался. Впрочем, скоро поправился. Но из этой второй речи его я приведу лишь несколько фраз.

«…Нас упрекают, что мы насоздавали романов. А что же у защитника, как не роман на романе? Не доставало только стихов. Федор Павлович в ожидании любовницы разрывает конверт и бросает его на пол. Приводится даже, что он говорил при этом удивительном случае. Да разве это не поэма? И где доказательство, что он вынул деньги, кто слышал, что он говорил? Слабоумный идиот Смердяков, преображенный в какого-то байроновского героя, мстящего обществу за свою незаконнорожденность, — разве это не поэма в байроновском вкусе?* А сын, вломившийся к отцу, убивший его, но в то же время и не убивший, это уж даже и не роман, не поэма, это сфинкс, задающий загадки, которые и сам, уж конечно, не разрешит. Коль убил, так убил, а как же это, коли убил, так не убил — кто поймет это? Затеи возвещают нам, что наша трибуна есть трибуна истины и здравых понятий, и вот с этой трибуны „здравых понятий“ раздается, с клятвою, аксиома, что называть убийство отца отцеубийством есть только один предрассудок! Но если отцеубийство есть предрассудок и если каждый ребенок будет допрашивать своего отца: „Отец, зачем я должен любить тебя?“ — то что станется с нами, что станется с основами общества, куда денется семья? Отцеубийство — это, видите ли, только „жупел“ московской купчихи. Самые драгоценные, самые священные заветы в назначении и в будущности русского суда представляются извращенно и

легкомысленно, чтобы только добиться цели, добиться оправдания того, что нельзя оправдать. „О, подавите его милосердием“, — восклицает защитник, а преступнику только того и надо, и завтра же все увидят, как он будет подавлен! Да и не слишком ли скромен защитник, требуя лишь оправдания подсудимого? Отчего бы не потребовать учреждения стипендии имени отцеубийцы, для увековечения его подвига в потомстве и в молодом поколении? Исправляются Евангелие и религия: это, дескать, всё мистика, а вот у нас лишь настоящее христианство, уже проверенное анализом рассудка и здравых понятий. И вот воздвигают пред нами лжеподобие Христа! *В ню же меру мерите, возмерится и вам,* восклицает защитник и в тот же миг выводит, что Христос заповедал мерить в ту меру, в которую и вам отмеряют, — и это с трибуны истины и здравых понятий! Мы заглядываем в Евангелие лишь накануне речей наших для того, чтобы блеснуть знакомством все-таки с довольно оригинальным сочинением, которое может пригодиться и послужить для некоторого эффекта, по мере надобности, всё по размеру надобности![*] А Христос именно велит не так делать, беречься так делать, потому что злобный мир так делает, мы же должны прощать и ланиту свою подставлять, а не в ту же меру отмеривать, в которую мерят нам наши обидчики. Вот чему учил нас бог наш, а не тому, что запрещать детям убивать отцов есть предрассудок. И не станем мы поправлять с кафедры истины и здравых понятий Евангелие бога нашего, которого защитник удостоивает назвать лишь „распятым человеколюбцем“[*], в противоположность всей православной России, взывающей к нему: „Ты бо еси бог наш!..“[*]»

Тут председатель вступился и осадил увлекшегося, попросив его не преувеличивать, оставаться в должных границах, и проч., и проч., как обыкновенно говорят в таких случаях председатели. Да и зала была неспокойна. Публика шевелилась, даже восклицала в негодовании. Фетюкович даже и не возражал, он взошел только, чтобы, приложив руку к сердцу, обиженным голосом проговорить несколько слов, полных достоинства. Он слегка только и насмешливо опять коснулся «романов» и «психологии» и к слову ввернул в одном месте: «Юпитер, ты сердишься, стало быть, ты не прав», чем вызвал одобрительный и многочисленный смешок в публике, ибо Ипполит Кириллович уже совсем был не похож на Юпитера. Затем на обвинение, что будто он разрешает молодому поколению убивать отцов, Фетюкович с глубоким

достоинством заметил, что и возражать не станет. Насчет же «Христова лжеподобия» и того, что он не удостоил назвать Христа богом, а назвал лишь «распятым человеколюбцем», что «противно-де православию и не могло быть высказано с трибуны истины и здравых понятий», — Фетюкович намекнул на «инсинуацию» и на то, что, собираясь сюда, он по крайней мере рассчитывал, что здешняя трибуна обеспечена от обвинений, «опасных для моей личности как гражданина и верноподданного…» Но при этих словах председатель осадил и его, и Фетюкович, поклонясь, закончил свой ответ, провожаемый всеобщим одобрительным говором залы. Ипполит же Кириллович, по мнению наших дам, был «раздавлен навеки».

Затем предоставлено было слово самому подсудимому. Митя встал, но сказал немного. Он был страшно утомлен и телесно, и духовно. Вид независимости и силы, с которым он появился утром в залу, почти исчез. Он как будто что-то пережил в этот день на всю жизнь, научившее и вразумившее его чему-то очень важному, чего он прежде не понимал. Голос его ослабел, он уже не кричал, как давеча. В словах его послышалось что-то новое, смирившееся, побежденное и приникшее.

«Что мне сказать, господа присяжные! Суд мой пришел, слышу десницу божию на себе. Конец беспутному человеку! Но как богу исповедуясь, и вам говорю: „В крови отца моего — нет, не виновен!“ В последний раз повторяю: „Не я убил“. Беспутен был, но добро любил. Каждый миг стремился исправиться, а жил дикому зверю подобен. Спасибо прокурору, многое мне обо мне сказал, чего и не знал я, но неправда, что убил отца, ошибся прокурор! Спасибо и защитнику, плакал, его слушая, но неправда, что я убил отца, и предполагать не надо было! А докторам не верьте, я в полном уме, только душе моей тяжело. Коли пощадите, коль отпустите — помолюсь за вас. Лучшим стану, слово даю, перед богом его даю. А коль осудите — сам сломаю над головой моей шпагу, а сломав, поцелую обломки! Но пощадите, не лишите меня бога моего, знаю себя: возропщу! Тяжело душе моей, господа… пощадите!»

Он почти упал на свое место, голос его пресекся, последнюю фразу он едва выговорил. Затем суд приступил к постановке вопросов и начал спрашивать у сторон заключений. Но не описываю подробности. Наконец-то присяжные встали, чтоб удалиться для совещаний.

Председатель был очень утомлен, а потому и сказал им очень слабое напутственное слово: «Будьте-де беспристрастны, не внушайтесь красноречивыми словами защиты, но, однако же, взвесьте, вспомните, что на вас лежит великая обязанность», и проч., и проч. Присяжные удалились, и наступил перерыв заседания. Можно было встать, пройтись, обменяться накопившимися впечатлениями, закусить в буфете. Было очень поздно, уже около часу пополуночи, но никто не разъезжался. Все были так напряжены и настроены, что было не до покоя. Все ждали, замирая сердцем, хотя, впрочем, и не все замирали сердцем. Дамы были лишь в истерическом нетерпении, но сердцами были спокойны: «Оправдание-де неминуемое». Все они готовились к эффектной минуте общего энтузиазма. Признаюсь, и в мужской половине залы было чрезвычайно много убежденных в неминуемом оправдании. Иные радовались, другие же хмурились, а иные так просто повесили носы: не хотелось им оправдания! Сам Фетюкович был твердо уверен в успехе. Он был окружен, принимал поздравления, перед ним заискивали.

— Есть, — сказал он в одной группе, как передавали йотом, — есть эти невидимые нити, связующие защитника с присяжными. Они завязываются и предчувствуются еще во время речи. Я ощутил их, они существуют. Дело наше, будьте спокойны.

— А вот что-то наши мужички теперь скажут? — проговорил один нахмуренный, толстый и рябой господин, подгородный помещик, подходя к одной группе разговаривавших господ.

— Да ведь не одни мужички. Там четыре чиновника.

— Да, вот чиновники, — проговорил, подходя, член томской управы.

— А вы Назарьева-то, Прохора Ивановича, знаете, вот этот купец-то с медалью, присяжный-то?

— А что?

— Ума палата.

— Да он всё молчит.

— Молчит-то молчит, да ведь тем и лучше. Не то что петербургскому его учить, сам весь Петербург научит. Двенадцать человек детей, подумайте!

— Да помилуйте, неужто не оправдают? — кричал в другой группе один из молодых наших чиновников.

— Оправдают наверно, — послышался решительный голос.

— Стыдно, позорно было бы не оправдать! — восклицал чиновник. — Пусть он убил, но ведь отец и отец! И наконец, он был в таком исступлении… Он действительно мог только махнуть пестом, и тот повалился. Плохо только, что лакея тут притянули. Это просто смешной эпизод. Я бы на месте защитника так прямо и сказал: убил, но не виновен, вот и черт с вами!

— Да он так и сделал, только «черт с вами» не сказал.

— Нет, Михаил Семеныч, почти что сказал, — подхватил третий голосок.

— Помилуйте, господа, ведь оправдали же у нас великим постом актрису, которая законной жене своего любовника горло перерезала.*

— Да ведь не дорезала.

— Всё равно, всё равно, начала резать!

— А про детей-то как он? Великолепно!

— Великолепно.

— Ну, а про мистику-то, про мистику-то, а?

— Да полноте вы о мистике, — вскричал еще кто-то, — вы вникните в Ипполита-то, в судьбу-то его отселева дня! Ведь ему завтрашний день его прокурорша за Митеньку глаза выцарапает.

— А она здесь?

— Чего здесь? Была бы здесь, здесь бы и выцарапала. Дома сидит, зубы болят. Хе-хе-хе!

— Хе-хе-хе!

В третьей группе.

— А ведь Митеньку-то, пожалуй, и оправдают.

— Чего доброго, завтра весь «Столичный город» разнесет, десять дней пьянствовать будет.

— Эх ведь черт!

— Да черт-то черт, без черта не обошлось, где ж ему и быть, как не тут.

— Господа, положим, красноречие. Но ведь нельзя же и отцам ломать головы безменами. Иначе до чего же дойдем?

— Колесница-то, колесница-то, помните?

— Да, из телеги колесницу сделал.

— А завтра из колесницы телегу, «по мере надобности, всё по мере надобности».

— Ловкий народ пошел. Правда-то есть у нас на Руси, господа, али нет ее вовсе?

Но зазвонил колокольчик. Присяжные совещались ровно час, ни больше, ни меньше. Глубокое молчание воцарилось, только что уселась снова публика. Помню, как присяжные вступили в залу. Наконец-то! Не привожу вопросов по пунктам, да я их и забыл. Я помню лишь ответ на первый и главный вопрос председателя, то есть «убил ли с целью грабежа преднамеренно?» (текста не помню). Всё замерло. Старшина присяжных, именно тот чиновник, который был всех моложе, громко и ясно, при мертвенной тишине залы, провозгласил:

— Да, виновен!

И потом по всем пунктам пошло всё то же: виновен да виновен, и это без малейшего снисхождения! Этого уж никто не ожидал, в снисхождении-то по крайней мере почти все были уверены. Мертвая тишина залы не прерывалась, буквально как бы все окаменели — и жаждавшие осуждения, и жаждавшие оправдания. Но это только в первые минуты. Затем поднялся страшный хаос. Из мужской публики много оказалось очень довольных. Иные так даже потирали руки, не скрывая своей радости. Недовольные были как бы подавлены, пожимали плечами, шептались, но как будто всё еще не сообразившись. Но, боже мой, что сталось с нашими дамами! Я думал, что они сделают бунт. Сначала они как бы не верили ушам своим. И вдруг, на всю залу, послышались восклицания: «Да что это такое? Это еще что такое?» Они повскакали с мест своих. Им, верно, казалось, что всё это сейчас же можно опять переменить и переделать. В это мгновение вдруг поднялся Митя и каким-то раздирающим воплем прокричал, простирая пред собой руки:

— Клянусь богом и Страшным судом его, в крови отца моего не виновен! Катя, прощаю тебе! Братья, други, пощадите другую!

Он не договорил и зарыдал на всю залу, в голос, страшно, каким-то не своим, а новым, неожиданным каким-то голосом, который бог знает откуда вдруг у него явился. На хорах, наверху, в самом заднем углу раздался пронзительный женский вопль: это была Грушенька. Она умолила кого-то еще давеча, и ее вновь пропустили в залу еще пред началом судебных прений. Митю увели. Произнесение приговора было отложено до завтра. Вся зала поднялась в суматохе, но я уже не ждал и не слушал. Запомнил лишь несколько восклицаний, уже на крыльце,

при выходе.

— Двадцать лет рудничков понюхает.[*]

— Не меньше.

— Да-с, мужички наши за себя постояли.

— И покончили нашего Митеньку!

Конец четвертой и последней части

Эпилог

I

Проекты спасти Митю

На пятый день после суда над Митей, очень рано утром, еще в девятом часу, пришел к Катерине Ивановне Алеша, чтоб сговориться окончательно о некотором важном для них обоих деле и имея, сверх того, к ней поручение. Она сидела и говорила с ним в той самой комнате, в которой принимала когда-то Грушеньку; рядом же, в другой комнате, лежал в горячке и в беспамятстве Иван Федорович. Катерина Ивановна сейчас же после тогдашней сцены в суде велела перенести больного и потерявшего сознание Ивана Федоровича к себе в дом, пренебрегая всяким будущим и неизбежным говором общества и его осуждением. Одна из двух родственниц ее, которые с ней проживали, уехала тотчас же после сцены в суде в Москву, другая осталась. Но если б и обе уехали, Катерина Ивановна не изменила бы своего решения и осталась бы ухаживать за больным и сидеть над ним день и ночь. Лечили его Варвинский и Герценштубе; московский же доктор уехал обратно в Москву, отказавшись предречь свое мнение насчет возможного исхода болезни. Оставшиеся доктора хоть и ободряли Катерину Ивановну и Алешу, но видно было, что они не могли еще подать твердой надежды. Алеша заходил к больному брату по два раза в день. Но в этот раз у него было особое, прехлопотливое дело, и он предчувствовал, как трудно ему будет заговорить о нем, а между тем он очень торопился: было у него еще другое неотложное дело в это же утро в другом месте, и надо было спешить. Они уже с четверть часа как разговаривали. Катерина Ивановна была бледна, сильно утомлена и в то же время в чрезвычайном болезненном возбуждении: она предчувствовала, зачем, между прочим, пришел к ней теперь Алеша.

— О его решении не беспокойтесь, — проговорила она с твердою настойчивостью Алеше. — Так или этак, а он все-таки придет к этому выходу: он должен бежать! Этот несчастный, этот герой чести и совести

— не тот, не Дмитрий Федорович, а тот, что за этой дверью лежит и что собой за брата пожертвовал, — с сверкающими глазами прибавила Катя, — он давно уже мне сообщил весь этот план побега. Знаете, он уже входил в сношения… Я вам уже кой-что сообщила… Видите, это произойдет, по всей вероятности, на третьем отсюда этапе, когда партию ссыльных поведут в Сибирь. О, до этого еще далеко. Иван Федорович уже ездил к начальнику третьего этапа. Вот только неизвестно, кто будет партионным начальником, да и нельзя это так заранее узнать. Завтра, может быть, я вам покажу весь план в подробности, который мне оставил Иван Федорович накануне суда, на случай чего-нибудь… Это было в тот самый раз, когда, помните, вы тогда вечером застали нас в ссоре: он еще сходил с лестницы, а я, увидя вас, заставила его воротиться — помните? Вы знаете, из-за чего мы тогда поссорились?

— Нет, не знаю, — сказал Алеша.

— Конечно, он тогда от вас скрыл: вот именно из-за этого плана о побеге. Он мне еще за три дня перед тем открыл всё главное — вот тогда-то мы и начали ссориться и с тех пор все три дня ссорились. Потому поссорились, что когда он объявил мне, что в случае осуждения Дмитрий Федорович убежит за границу вместе с той тварью, то я вдруг озлилась — не скажу вам из-за чего, сама не знаю из-за чего… О, конечно, я за тварь, за эту тварь тогда озлилась, и именно за то, что и она тоже, вместе с Дмитрием, бежит за границу! — воскликнула вдруг Катерина Ивановна с задрожавшими от гнева губами. — Иван Федорович как только увидел тогда, что я так озлилась за эту тварь, то мигом и подумал, что я к ней ревную Дмитрия и что, стало быть, всё еще продолжаю любить Дмитрия. Вот и вышла тогда первая ссора. Я объяснений дать не захотела, просить прощения не могла; тяжело мне было, что такой человек мог заподозрить меня в прежней любви к этому… И это тогда, когда я сама, уже давно перед тем, прямо сказала ему, что не люблю Дмитрия, а люблю только его одного! Я от злости только на эту тварь на него озлилась! Через три дня, вот в тот вечер, когда вы вошли, он принес ко мне запечатанный конверт, чтоб я распечатала тотчас, если с ним что случится. О, он предвидел свою болезнь! Он открыл мне, что в конверте подробности о побеге и что в случае, если он умрет или опасно заболеет, то чтоб я одна спасла Митю. Тут же оставил у меня деньги, почти десять тысяч, — вот те самые, про

которые прокурор, узнав от кого-то, что он посылал их менять, упомянул в своей речи. Меня страшно вдруг поразило, что Иван Федорович, всё еще ревнуя меня и всё еще убежденный, что я люблю Митю, не покинул, однако, мысли спасти брата и мне же, мне самой доверяет это дело спасения! О, это была жертва! Нет, вы такого самопожертвования не поймете во всей полноте, Алексей Федорович! Я хотела было упасть к ногам его в благоговении, но как подумала вдруг, что он сочтет это только лишь за радость мою, что спасают Митю (а он бы непременно это подумал!), то до того была раздражена лишь одною только возможностью такой несправедливой мысли с его стороны, что опять раздражилась и вместо того, чтоб целовать его ноги, сделала опять ему сцену! О, я несчастна! Таков мой характер — ужасный, несчастный характер! О, вы еще увидите: я сделаю, я доведу-таки до того, что и он бросит меня для другой, с которой легче живется, как Дмитрий, но тогда… нет, тогда уже я не перенесу, я убью себя! А когда вы вошли тогда и когда я вас кликнула, а ему велела воротиться, то, как вошел он с вами, меня до того захватил гнев за ненавистный, презрительный взгляд, которым он вдруг поглядел на меня, что — помните — я вдруг закричала вам, что это *он, он один* уверил меня, что брат его Дмитрий убийца! Я нарочно наклеветала, чтоб еще раз уязвить его, он же никогда, никогда не уверял меня, что брат — убийца, напротив, в этом я, я сама уверяла его! О, всему, всему причиною мое бешенство! Это я, я и приготовила эту проклятую сцену в суде! Он захотел доказать мне, что он благороден и что пусть я и люблю его брата, но он все-таки не погубит его из мести и ревности. Вот он и вышел в суде… Я всему причиною, я одна виновата!

Еще никогда не делала Катя таких признаний Алеше, и он почувствовал, что она теперь именно в той степени невыносимого страдания, когда самое гордое сердце с болью крушит свою гордость и падает побежденное горем. О, Алеша знал и еще одну ужасную причину ее теперешней муки, как ни скрывала она ее от него во все эти дни после осуждения Мити; но ему почему-то было бы слишком больно, если б она до того решилась пасть ниц, что заговорила бы с ним сама, теперь, сейчас, и об этой причине. Она страдала за свое «предательство» на суде, и Алеша предчувствовал, что совесть тянет ее повиниться, именно перед ним, перед Алешей, со слезами, со взвизгами, с истерикой, с битьем об пол. Но он боялся этой минуты и желал

пощадить страдающую. Тем труднее становилось поручение, с которым он пришел. Он опять заговорил о Мите.

— Ничего, ничего, за него не бойтесь! — упрямо и резко начала опять Катя, — всё это у него на минуту, я его знаю, я слишком знаю это сердце. Будьте уверены, что он согласится бежать. И, главное, это не сейчас; будет еще время ему решиться. Иван Федорович к тому времени выздоровеет и сам всё поведет, так что мне ничего не придется делать. Не беспокойтесь, согласится бежать. Да он уже и согласен: разве может он свою тварь оставить? А в каторгу ее не пустят, так как же ему не бежать? Он, главное, вас боится, боится, что вы не одобрите побега с нравственной стороны, но вы должны ему это великодушно *позволить*, если уж так необходима тут ваша санкция, — с ядом прибавила Катя. Она помолчала и усмехнулась.

— Он там толкует, — принялась она опять, — про какие-то гимны, про крест, который он должен понести, про долг какой-то, я помню, мне много об этом **Иван** Федорович тогда передавал, и если б вы знали, как он говорил! — вдруг с неудержимым чувством воскликнула Катя, — если б вы знали, как он любил этого несчастного в ту минуту, когда мне передавал про него, и как ненавидел его, может быть, в ту же минуту! А я, о, я выслушала тогда его рассказ и его слезы с горделивою усмешкою! О, тварь! Это я тварь, я! Это я народила ему горячку! А тот, осужденный, — разве он готов на страдание, — раздражительно закончила Катя, — да и такому ли страдать? Такие, как он, никогда не страдают!

Какое-то чувство уже ненависти и гадливого презрения прозвучало в этих словах. А между тем она же его предала. «Что ж, может, потому, что так чувствует себя пред ним виноватой, и ненавидит его минутами», — подумал про себя Алеша. Ему хотелось, чтоб это было только «минутами». В последних словах Кати он заслышал вызов, но не поднял его.

— Я для того вас и призвала сегодня, чтоб вы обещались мне сами его уговорить. Или, по-вашему, тоже бежать будет нечестно, не доблестно, или как там… не по-христиански, что ли? — еще с пущим вызовом прибавила Катя.

— Нет, ничего. Я ему скажу всё… — пробормотал Алеша. — Он вас зовет сегодня к себе, — вдруг брякнул он, твердо смотря ей в глаза. Она вся вздрогнула и чуть-чуть отшатнулась от него на диване.

— Меня… разве это возможно? — пролепетала она побледнев.

— Это возможно и должно! — настойчиво и весь оживившись, начал Алеша. — Ему вы очень нужны, именно теперь. Я не стал бы начинать об этом и вас преждевременно мучить, если б не необходимость. Он болен, он как помешанный, он всё просит вас. Он не мириться вас к себе просит, но пусть вы только придете и покажетесь на пороге. С ним многое совершилось с того дня. Он понимает, как неисчислимо перед вами виновен. Не прощения вашего хочет: «Меня нельзя простить», — он сам говорит, а только чтоб вы на пороге показались…

— Вы меня вдруг… — пролепетала Катя, — я все дни предчувствовала, что вы с этим придете… Я так и знала, что он меня позовет!.. Это невозможно!

— Пусть невозможно, но сделайте. Вспомните, он в первый раз поражен тем, как вас оскорбил, в первый раз в жизни, никогда прежде не постигал этого в такой полноте! Он говорит: если она откажет прийти, то я «во всю жизнь теперь буду несчастлив». Слышите: каторжный на двадцать лет собирается еще быть счастливым — разве это не жалко? Подумайте: вы безвинно погибшего посетите, — с вызовом вырвалось у Алеши, — его руки чисты, на них крови нет! Ради бесчисленного его страдания будущего посетите его теперь! Придите, проводите во тьму… станьте на пороге, и только… Ведь вы должны, *должны* это сделать! — заключил Алеша, с неимоверною силой подчеркнув слово «должны».

— Должна, но… не могу, — как бы простонала Катя, — он на меня будет глядеть… я не могу.

— Ваши глаза должны встретиться. Как вы будете жить всю жизнь, если теперь не решитесь?

— Лучше страдать во всю жизнь.

— Вы должны прийти, вы *должны* прийти, — опять неумолимо подчеркнул Алеша.

— Но почему сегодня, почему сейчас?.. Я не могу оставить больного…

— На минуту можете, это ведь минута. Если вы не придете, он к ночи заболеет горячкой. Не стану я говорить неправду, сжальтесь!

— Надо мной-то сжальтесь, — горько упрекнула Катя и заплакала.

— Стало быть, придете! — твердо проговорил Алеша, увидав ее

слезы. — Я пойду скажу ему, что вы сейчас придете.

— Нет, ни за что не говорите! — испуганно вскрикнула Катя. — Я приду, но вы ему вперед не говорите, потому что я приду, но, может быть, не войду… Я еще не знаю…

Голос ее пресекся. Она дышала трудно. Алеша встал уходить.

— А если я с кем-нибудь встречусь? — вдруг тихо проговорила она, вся опять побледнев.

— Для того и нужно сейчас, чтоб вы там ни с кем не встретились. Никого не будет, верно говорю. Мы будем ждать, — настойчиво заключил он и вышел из комнаты.

II

На минутку ложь стала правдой

Он поспешил в больницу, где теперь лежал Митя. На второй день после решения суда он заболел нервною лихорадкой и был отправлен в городскую нашу больницу, в арестантское отделение. Но врач Варвинский по просьбе Алеши и многих других (Хохлаковой, Лизы и проч.) поместил Митю не с арестантами, а отдельно, в той самой каморке, в которой прежде лежал Смердяков. Правда, в конце коридора стоял часовой, а окно было решетчатое, и Варвинский мог быть спокоен за свою поблажку, не совсем законную, но это был добрый и сострадательный молодой человек. Он понимал, как тяжело такому, как Митя, прямо вдруг перешагнуть в сообщество убийц и мошенников и что к этому надо сперва привыкнуть. Посещения же родных и знакомых были разрешены и доктором, и смотрителем, и даже исправником, всё под рукой. Но в эти дни посетили Митю всего только Алеша да Грушенька. Порывался уже два раза увидеться с ним Ракитин; но Митя настойчиво просил Варвинского не впускать того.

Алеша застал его сидящим на койке, в больничном халате, немного в жару, с головою, обернутой полотенцем, смоченным водою с уксусом. Он неопределенным взглядом посмотрел на вошедшего Алешу, но во взгляде все-таки промелькнул как бы какой-то испуг.

Вообще с самого суда он стал страшно задумчив. Иногда по получасу молчал, казалось что-то туго и мучительно обдумывая,

забывая присутствующего. Если же выходил из задумчивости и начинал говорить, то заговаривал всегда как-то внезапно и непременно не о том, что действительно ему надо было сказать. Иногда с страданием смотрел на брата. С Грушенькой ему было как будто легче, чем с Алешей. Правда, он с нею почти и не говорил, но чуть только она входила, всё лицо его озарялось радостью. Алеша сел молча подле него на койке. В этот раз он тревожно ждал Алешу, но не посмел ничего спросить. Он считал согласие Кати прийти немыслимым и в то же время чувствовал, что если она не придет, то будет что-то совсем невозможное. Алеша понимал его чувства.

— Трифон-то, — заговорил суетливо Митя, — Борисыч-то, говорят, весь свой постоялый двор разорил: половицы подымает, доски отдирает, всю «галдарею», говорят, в щепки разнес — всё клада ищет, вот тех самых денег, полторы тысячи, про которые прокурор сказал, что я их там спрятал. Как приехал, так, говорят, тотчас и пошел куролесить. Поделом мошеннику! Сторож мне здешний вчера рассказал; он оттудова.

— Слушай, — проговорил Алеша, — она придет, но не знаю когда, может сегодня, может на днях, этого не знаю, но придет, придет, это наверно.

Митя вздрогнул, хотел было что-то вымолвить, но промолчал. Известие страшно на него подействовало. Видно было, что ему мучительно хотелось бы узнать подробности разговора, но что он опять боится сейчас спросить: что-нибудь жестокое и презрительное от Кати было бы ему как удар ножом в эту минуту.

— Вот что она, между прочим, сказала: чтоб я непременно успокоил твою совесть насчет побега. Если и не выздоровеет к тому времени Иван, то она сама возьмется за это.

— Ты уж об этом мне говорил, — раздумчиво заметил Митя.

— А ты уже Груше пересказал, — заметил Алеша.

— Да, — сознался Митя. — Она сегодня утром не придет, — робко посмотрел он на брата. — Она придет только вечером. Как только я ей вчера сказал, что Катя орудует, смолчала; а губы скривились. Прошептала только: «Пусть ее!» Поняла, что важное. Я не посмел пытать дальше. Понимает ведь уж, кажется, теперь, что та любит не меня, а Ивана?

— Так ли? — вырвалось у Алеши.

— Пожалуй, и не так. Только она утром теперь не придет, — поспешил еще раз обозначить Митя, — я ей одно поручение дал… Слушай, брат Иван всех превзойдет. Ему жить, а не нам. Он выздоровеет.

— Представь себе, Катя хоть и трепещет за него, но почти не сомневается, что он выздоровеет, — сказал Алеша.

— Значит, убеждена, что он умрет. Это она от страху уверена, что выздоровеет.

— Брат сложения сильного. И я тоже очень надеюсь, что он выздоровеет, — тревожно заметил Алеша.

— Да, он выздоровеет. Но та уверена, что он умрет. Много у ней горя…

Наступило молчание. Митю мучило что-то очень важное.

— Алеша, я Грушу люблю ужасно, — дрожащим, полным слез голосом вдруг проговорил он.

— Ее к тебе *туда* не пустят, — тотчас подхватил Алеша.

— И вот что еще хотел тебе сказать, — продолжал каким-то зазвеневшим вдруг голосом Митя, — если бить станут дорогой аль *там*, то я не дамся, я убью, и меня расстреляют. И это двадцать ведь лет! Здесь уж *ты* начинают говорить. Сторожа мне *ты* говорят. Я лежал и сегодня всю ночь судил себя: не готов! Не в силах принять! Хотел «гимн» запеть, а сторожевского тыканья не могу осилить! За Грушу бы всё перенес, всё… кроме, впрочем, побои… Но ее *туда* не пустят.

Алеша тихо улыбнулся.

— Слушай, брат, раз навсегда, — сказал он, — вот тебе мои мысли на этот счет. И ведь ты знаешь, что я не солгу тебе. Слушай же: ты не готов, и не для тебя такой крест. Мало того: и не нужен тебе, не готовому, такой великомученический крест. Если б ты убил отца, я бы сожалел, что ты отвергаешь свой крест. Но ты невинен, и такого креста слишком для тебя много. Ты хотел мукой возродить в себе другого человека; по-моему, помни только всегда, во всю жизнь и куда бы ты ни убежел, об этом другом человеке — и вот с тебя и довольно. То, что ты не принял большой крестной муки, послужит только к тому, что ты ощутишь в себе еще больший долг и этим беспрерывным ощущением впредь, во всю жизнь, поможешь своему возрождению, может быть, более, чем если б пошел *туда*. Потому что там ты не перенесешь и возропщешь и, может быть, впрямь наконец скажешь: «Я сквитался».

Адвокат в этом случае правду сказал. Не всем бремена тяжкие, для иных они невозможны[*]…Вот мои мысли, если они так тебе нужны. Если б за побег твой остались в ответе другие: офицеры, солдаты, то я бы тебе «не позволил» бежать, — улыбнулся Алеша. — Но говорят и уверяют (сам этот этапный Ивану говорил), что большого взыску, при умении, может и не быть и что отделаться можно пустяками. Конечно, подкупать нечестно даже и в этом случае, но тут уже я судить ни за что не возьмусь, потому, собственно, что если б мне, например, Иван и Катя поручили в этом деле для тебя орудовать, то я, знаю это, пошел бы и подкупил; это я должен тебе всю правду сказать. А потому я тебе не судья в том, как ты сам поступишь. Но знай, что и тебя не осужу никогда. Да и странно, как бы мог я быть в этом деле твоим судьей? Ну, теперь я, кажется, всё рассмотрел.

— Но зато я себя осужу! — воскликнул Митя. — Я убегу, это и без тебя решено было: Митька Карамазов разве может не убежать? Но зато себя осужу и там буду замаливать грех вовеки! Ведь этак иезуиты говорят, этак? Вот как мы теперь с тобой, а?

— Этак, — тихо улыбнулся Алеша.

— Люблю я тебя за то, что ты всегда всю цельную правду скажешь и ничего не утаишь! — радостно смеясь, воскликнул Митя. — Значит, я Алешку моего иезуитом поймал! Расцеловать тебя всего надо за это, вот что! Ну, слушай же теперь и остальное, разверну тебе и остальную половину души моей. Вот что я выдумал и решил: если я и убегу, даже с деньгами и паспортом и даже в Америку, то меня еще ободряет та мысль, что не на радость убегу, не на счастье, а воистину на другую каторгу, не хуже, может быть, этой! Не хуже, Алексей, воистину говорю, что не хуже! Я эту Америку, черт ее дери, уже теперь ненавижу. Пусть Груша будет со мной, но посмотри на нее: ну американка ль она? Она русская, вся до косточки русская, она по матери родной земле затоскует, и я буду видеть каждый час, что это она для меня тоскует, для меня такой крест взяла, а *чем* она виновата? А я-то разве вынесу тамошних смердов, хоть они, может быть, все до одного лучше меня? Ненавижу я эту Америку уж теперь! И хоть будь они там все до единого машинисты необъятные какие али что — черт с ними, не мои они люди, не моей души! Россию люблю, Алексей, русского бога люблю, хоть я сам и подлец! Да я там издохну! — воскликнул он вдруг, засверкав глазами. Голос его задрожал от слез.

— Ну так вот как я решил, Алексей, слушай! — начал он опять, подавив волнение, — с Грушей туда приедем — и там тотчас пахать, работать, с дикими медведями, в уединении, где-нибудь подальше. Ведь и там же найдется какое-нибудь место подальше! Там, говорят, есть еще краснокожие, где-то там у них на краю горизонта, ну так вот в тот край, к последним могиканам.[*] Ну и тотчас за грамматику, я и Груша. Работа и грамматика, и так чтобы года три. В эти три года аглицкому языку научимся как самые что ни на есть англичане. И только что выучимся — конец Америке! Бежим сюда, в Россию, американскими гражданами. Не беспокойся, сюда в городишко не явимся. Спрячемся куда-нибудь подальше, на север али на юг. Я к тому времени изменюсь, она тоже, там, в Америке, мне доктор какую-нибудь бородавку подделает, недаром же они механики. А нет, так я себе один глаз проколю, бороду отпущу в аршин, седую (по России-то поседею) — авось не узнают. А узнают, пусть ссылают, всё равно, значит, не судьба! Здесь тоже будем где-нибудь в глуши землю пахать, а я всю жизнь американца из себя представлять буду. Зато помрем на родной земле. Вот мой план, и сие непреложно. Одобряешь?

— Одобряю, — сказал Алеша, не желая ему противоречить.

Митя на минуту смолк и вдруг проговорил:

— А как они в суде-то подвели? Ведь как подвели!

— Если б и не подвели, всё равно тебя б осудили, — проговорил, вздохнув, Алеша.

— Да, надоел здешней публике! Бог с ними, а тяжело! — со страданием простонал Митя.

Опять на минуту смолкли.

— Алеша, зарежь меня сейчас! — воскликнул он вдруг, — придет она сейчас или нет, говори! Что сказала? Как сказала?

— Сказала, что придет, но не знаю, сегодня ли. Трудно ведь ей! — робко посмотрел на брата Алеша.

— Ну еще бы же нет, еще бы не трудно! Алеша, я на этом с ума сойду. Груша на меня всё смотрит. Понимает. Боже, господи, смири меня: чего требую? Катю требую! Смыслю ли, чего требую? Безудерж карамазовский, нечестивый! Нет, к страданию я не способен! Подлец, и всё сказано!

— Вот она! — воскликнул Алеша.

В этот миг на пороге вдруг появилась Катя. На мгновение она

приостановилась, каким-то потерянным взглядом озирая Митю. Тот стремительно вскочил на ноги, лицо его выразило испуг, он побледнел, но тотчас же робкая, просящая улыбка замелькала на его губах, и он вдруг, неудержимо, протянул к Кате обе руки. Завидев это, та стремительно к нему бросилась. Она схватила его за руки и почти силой усадила на постель, сама села подле и, всё не выпуская рук его, крепко, судорожно сжимала их. Несколько раз оба порывались что-то сказать, но останавливались и опять молча, пристально, как бы приковавшись, с странною улыбкой смотрели друг на друга; так прошло минуты две.

— Простила или нет? — пролепетал наконец Митя и в тот же миг, повернувшись к Алеше, с искаженным от радости лицом прокричал ему:

— Слышишь, что спрашиваю, слышишь!

— За то и любила тебя, что ты сердцем великодушен! — вырвалось вдруг у Кати. — Да и не надо тебе мое прощение, а мне твое; всё равно, простишь аль нет, на всю жизнь в моей душе язвой останешься, а я в твоей — так и надо… — она остановилась перевести дух.

— Я для чего пришла? — исступленно и торопливо начала она опять, — ноги твои обнять, руки сжать, вот так до боли, помнишь, как в Москве тебе сжимала, опять сказать тебе, что ты бог мой, радость моя, сказать тебе, что безумно люблю тебя, — как бы простонала она в муке и вдруг жадно приникла устами к руке его. Слезы хлынули из ее глаз.

Алеша стоял безмолвный и смущенный; он никак не ожидал того, что увидел.

— Любовь прошла, Митя! — начала опять Катя, — но дорого до боли мне то, что прошло. Это узнай навек. Но теперь, на одну минутку, пусть будет то, что могло бы быть, — с искривленною улыбкой пролепетала она, опять радостно смотря ему в глаза. — И ты теперь любишь другую, и я другого люблю, а все-таки тебя вечно буду любить, а ты меня, знал ли ты это? Слышишь, люби меня, всю твою жизнь люби! — воскликнула она с каким-то почти угрожающим дрожанием в голосе.

— Буду любить и… знаешь, Катя, — переводя дух на каждом слове, заговорил и Митя, — знаешь, я тебя, пять дней тому, в тот вечер любил… Когда ты упала, и тебя понесли… Всю жизнь! Так и будет, так вечно будет…

Так оба они лепетали друг другу речи почти бессмысленные и

исступленные, может быть даже и неправдивые, но в эту-то минуту всё было правдой, и сами они верили себе беззаветно.

— Катя, — воскликнул вдруг Митя, — веришь, что я убил? Знаю, что теперь не веришь, но тогда… когда показывала… Неужто, неужто верила!

— И тогда не верила! Никогда не верила! Ненавидела тебя и вдруг себя уверила, вот на тот миг… Когда показывала… уверила и верила… а когда кончила показывать, тотчас опять перестала верить. Знай это всё. Я забыла, что я себя казнить пришла! — с каким-то вдруг совсем новым выражением проговорила она, совсем непохожим на недавний, сейчашний любовный лепет.

— Тяжело тебе, женщина! — как-то совсем безудержно вырвалось вдруг у Мити.

— Пусти меня, — прошептала она, — я еще приду, теперь тяжело!..

Она поднялась было с места, но вдруг громко вскрикнула и отшатнулась назад. В комнату внезапно, хотя и совсем тихо, вошла Грушенька. Никто ее не ожидал. Катя стремительно шагнула к дверям, но, поравнявшись с Грушенькой, вдруг остановилась, вся побелела как мел, и тихо, почти шепотом, простонала ей:

— Простите меня!

Та посмотрела на нее в упор и, переждав мгновение, ядовитым, отравленным злобой голосом ответила:

— Злы мы, мать, с тобой! Обе злы! Где уж нам простить, тебе да мне? Вот спаси его, и всю жизнь молиться на тебя буду.

— А простить не хочешь! — прокричал Митя Грушеньке, с безумным упреком.

— Будь покойна, спасу его тебе! — быстро прошептала Катя и выбежала из комнаты.

— И ты могла не простить ей, после того как она сама же сказала тебе: «Прости»? — горько воскликнул опять Митя.

— Митя, не смей ее упрекать, права не имеешь! — горячо крикнул на брата Алеша.

— Уста ее говорили гордые, а не сердце, — с каким-то омерзением произнесла Грушенька. — Избавит тебя — всё прощу…

Она замолкла, как бы что задавив в душе. Она еще не могла опомниться. Вошла она, как оказалось потом, совсем нечаянно, вовсе ничего не подозревая и не ожидая встретить, что встретила.

— Алеша, беги за ней! — стремительно обратился к брату Митя, — скажи ей… не знаю что… не дай ей так уйти!

— Приду к тебе перед вечером! — крикнул Алеша и побежал за Катей. Он нагнал ее уже вне больничной ограды. Она шла скоро, спешила, но как только нагнал ее Алеша, быстро проговорила ему:

— Нет, перед этой не могу казнить себя! Я сказала ей «прости меня», потому что хотела казнить себя до конца. Она не простила… Люблю ее за это! — искаженным голосом прибавила Катя, и глаза ее сверкнули дикою злобой.

— Брат совсем не ожидал, — пробормотал было Алеша, — он был уверен, что она не придет…

— Без сомнения. Оставим это, — отрезала она. — Слушайте: я с вами туда на похороны идти теперь не могу. Я послала им на гробик цветов. Деньги еще есть у них, кажется. Если надо будет, скажите, что в будущем я никогда их не оставлю… Ну, теперь оставьте меня, оставьте, пожалуйста. Вы уж туда опоздали, к поздней обедне звонят… Оставьте меня, пожалуйста!

III

Похороны Илюшечки. Речь у камня

Действительно, он опоздал. Его ждали и даже уже решились без него нести хорошенький, разубранный цветами гробик в церковь. Это был гроб Илюшечки, бедного мальчика. Он скончался два дня спустя после приговора Мити. Алеша еще у ворот дома был встречен криками мальчиков, товарищей Илюшиных. Они все с нетерпением ждали его и обрадовались, что он наконец пришел. Всех их собралось человек двенадцать[*], все пришли со своими ранчиками и сумочками через плечо. «Папа плакать будет, будьте с папой», — завещал им Илюша, умирая, и мальчики это запомнили. Во главе их был Коля Красоткин.

— Как я рад, что вы пришли, Карамазов! — воскликнул он, протягивая Алеше руку. — Здесь ужасно. Право, тяжело смотреть. Снегирев не пьян, мы знаем наверно, *что* он ничего сегодня не пил, а как будто пьян… Я тверд всегда, но это ужасно. Карамазов, если не

задержу вас, один бы только еще вопрос, прежде чем вы войдете?

— Что такое, Коля? — приостановился Алеша.

— Невинен ваш брат или виновен? Он отца убил или лакей? Как скажете, так и будет. Я четыре ночи не спал от этой идеи.

— Убил лакей, а брат невинен, — ответил Алеша.

— И я то же говорю! — прокричал вдруг мальчик Смуров.

— Итак, он погибнет невинною жертвой за правду! — воскликнул Коля. — Хоть он и погиб, но он счастлив! Я готов ему завидовать!

— Что вы это, как это можно, и зачем? — воскликнул удивленный Алеша.

— О, если б и я мог хоть когда-нибудь принести себя в жертву за правду, — с энтузиазмом проговорил Коля.

— Но не в таком же деле, не с таким же позором, не с таким же ужасом! — сказал Алеша.

— Конечно… я желал бы умереть за всё человечество, а что до позора, то всё равно: да погибнут наши имена.* Вашего брата я уважаю!

— И я тоже! — вдруг и уже совсем неожиданно выкрикнул из толпы тот самый мальчик, который когда-то объявил, что знает, кто основал Трою, и, крикнув, точно так же, как и тогда, весь покраснел до ушей, как пион.

Алеша вошел в комнату. В голубом, убранном белым рюшем гробе лежал, сложив ручки и закрыв глазки, Илюша. Черты исхудалого лица его совсем почти не изменились, и, странно, от трупа почти не было запаху. Выражение лица было серьезное и как бы задумчивое. Особенно хороши были руки, сложенные накрест, точно вырезанные из мрамора. В руки ему вложили цветов, да и весь гроб был уже убран снаружи и снутри цветами, присланными чем свет от Лизы Хохлаковой. Но прибыли и еще цветы от Катерины Ивановны, и когда Алеша отворил дверь, штабс-капитан с пучком цветов в дрожащих руках своих обсыпал ими снова своего дорогого мальчика. Он едва взглянул на вошедшего Алешу, да и ни на кого не хотел глядеть, даже на плачущую помешанную жену свою, свою «мамочку», которая всё старалась приподняться на свои больные ноги и заглянуть поближе на своего мертвого мальчика. Ниночку же дети приподняли с ее стулом и придвинули вплоть к гробу. Она сидела, прижавшись к нему своею головой, и тоже, должно быть, тихо плакала. Лицо Снегирева имело вид оживленный, но как бы растерянный, а вместе с тем и ожесточенный. В

жестах его, в вырывавшихся словах его было что-то полоумное. «Батюшка, милый батюшка!» — восклицал он поминутно, смотря на Илюшу. У него была привычка, еще когда Илюша был в живых, говорить ему ласкаючи: «Батюшка, милый батюшка!»

— Папочка, дай и мне цветочков, возьми из его ручки, вот этот беленький, и дай! — всхлипывая попросила помешанная «мамочка». Или уж ей так понравилась маленькая беленькая роза, бывшая в руках Илюши, или то, что она из его рук захотела взять цветок на память, но она вся так и заметалась, протягивая за цветком руки.

— Никому не дам, ничего не дам! — жестокосердно воскликнул Снегирев. — Его цветочки, а не твои. Всё его, ничего твоего!

— Папа, дайте маме цветок! — подняла вдруг свое смоченное слезами лицо Ниночка.

— Ничего не дам, а ей пуще не дам! Она его не любила. Она у него тогда пушечку отняла, а он ей по-да-рил, — вдруг в голос прорыдал штабс-капитан при воспоминании о том, как Илюша уступил тогда свою пушечку маме. Бедная помешанная так и залилась вся тихим плачем, закрыв лицо руками. Мальчики, видя, наконец, что отец не выпускает гроб от себя, а между тем пора нести, вдруг обступили гроб тесною кучкой и стали его подымать.

— Не хочу в ограде хоронить! — возопил вдруг Снегирев, — у камня похороню[*], у нашего камушка! Так Илюша велел. Не дам нести!

Он и прежде, все три дня говорил, что похоронит у камня; но вступились Алеша, Красоткин, квартирная хозяйка, сестра ее, все мальчики.

— Вишь, что выдумал, у камня поганого хоронить, точно бы удавленника, — строго проговорила старуха хозяйка. — Там в ограде земля со крестом. Там по нем молиться будут. Из церкви пение слышно, а дьякон так чисторечиво и словесно читает, что всё до него каждый раз долетит, точно бы над могилкой его читали.

Штабс-капитан замахал наконец руками: «Несите, дескать, куда хотите!» Дети подняли гроб, но, пронося мимо матери, остановились пред ней на минутку и опустили его, чтоб она могла с Илюшей проститься. Но увидав вдруг это дорогое личико вблизи, на которое все три дня смотрела лишь с некоторого расстояния, она вдруг вся затряслась и начала истерически дергать над гробом своею седою головой взад и вперед.

— Мама, окрести его, благослови его, поцелуй его, — прокричала ей Ниночка. Но та, как автомат, всё дергалась своею головой и безмолвно, с искривленным от жгучего горя лицом, вдруг стала бить себя кулаком в грудь. Гроб понесли дальше. Ниночка в последний раз прильнула губами к устам покойного брата, когда проносили мимо нее. Алеша, выходя из дому, обратился было к квартирной хозяйке с просьбой присмотреть за оставшимися, но та и договорить не дала:

— Знамо дело, при них буду, христиане и мы тоже. — Старуха, говоря это, плакала.

Нести до церкви было недалеко, шагов триста, не более. День стал ясный, тихий; морозило, но немного. Благовестный звон еще раздавался. Снегирев суетливо и растерянно бежал за гробом в своем стареньком, коротеньком, почти летнем пальтишке, с непокрытою головой и с старою, широкополою, мягкою шляпой в руках. Он был в какой-то неразрешимой заботе, то вдруг протягивал руку, чтоб поддержать изголовье гроба, и только мешал несущим, то забегал сбоку и искал, где бы хоть тут пристроиться. Упал один цветок на снег, и он так и бросился подымать его, как будто от потери этого цветка бог знает что зависело.

— А корочку-то, корочку-то забыли, — вдруг воскликнул он в страшном испуге. Но мальчики тотчас напомнили ему, что корочку хлебца он уже захватил еще давеча и что она у него в кармане. Он мигом выдернул ее из кармана и, удостоверившись, успокоился.

— Илюшечка велел, Илюшечка, — пояснил он тотчас Алеше, — лежал он ночью, а я подле сидел, и вдруг приказал: «Папочка, когда засыплют мою могилку, покроши на ней корочку хлебца, чтоб воробушки прилетали, я услышу, что они прилетели, и мне весело будет, что я не один лежу».

— Это очень хорошо, — сказал Алеша, — надо чаще носить.

— Каждый день, каждый день! — залепетал штабс-капитан, как бы весь оживившись.

Прибыли наконец в церковь и поставили посреди ее гроб. Все мальчики обступили его кругом и чинно простояли так всю службу. Церковь была древняя и довольно бедная, много икон стояло совсем без окладов, но в таких церквах как-то лучше молишься. За обедней Снегирев как бы несколько попритих, хотя временами все-таки прорывалась в нем та же бессознательная и как бы сбитая с толку

озабоченность: то он подходил к гробу оправлять покров, венчик, то, когда упала одна свечка из подсвечника, вдруг бросился вставлять ее и ужасно долго с ней провозился. Затем уже успокоился и стал смирно у изголовья с тупо-озабоченным и как бы недоумевающим лицом. После Апостола он вдруг шепнул стоявшему подле его Алеше, что Апостола* *не так* прочитали, но мысли своей, однако, не разъяснил. За Херувимской* принялся было подпевать, но не докончил и, опустившись на колена, прильнул лбом к каменному церковному полу и пролежал так довольно долго. Наконец приступили к отпеванию, роздали свечи. Обезумевший отец засуетился было опять, но умилительное, потрясающее надгробное пение пробудило и сотрясло его душу. Он как-то вдруг весь съежился и начал часто, укороченно рыдать, сначала тая голос, а под конец громко всхлипывая. Когда же стали прощаться и накрывать гроб, он обхватил его руками, как бы не давая накрыть Илюшечку, и начал часто, жадно, не отрываясь целовать в уста своего мертвого мальчика. Его наконец уговорили и уже свели было со ступеньки, но он вдруг стремительно протянул руку и захватил из гробика несколько цветков. Он смотрел на них, и как бы новая какая идея осенила его, так что о главном он словно забыл на минуту. Мало-помалу он как бы впал в задумчивость и уже не сопротивлялся, когда подняли и понесли гроб к могилке. Она была недалеко, в ограде, у самой церкви, дорогая; заплатила за нее Катерина Ивановна. После обычного обряда могильщики гроб опустили. Снегирев до того нагнулся, с своими цветочками в руках, над открытою могилой, что мальчики, в испуге, уцепились за его пальто и стали тянуть его назад. Но он как бы уже не понимал хорошо, что совершается. Когда стали засыпать могилу, он вдруг озабоченно стал указывать на валившуюся землю и начинал даже что-то говорить, но разобрать никто ничего не мог, да и он сам вдруг утих. Тут напомнили ему, что надо покрошить корочку, и он ужасно заволновался, выхватил корку и начал щипать ее, разбрасывая по могилке кусочки: «Вот и прилетайте, птички, вот и прилетайте, воробушки!» — бормотал он озабоченно. Кто-то из мальчиков заметил было ему, что с цветами в руках ему неловко щипать и чтоб он на время дал их кому подержать. Но он не дал, даже вдруг испугался за свои цветы, точно их хотели у него совсем отнять, и, поглядев на могилку и как бы удостоверившись, что всё уже сделано, кусочки покрошены, вдруг неожиданно и совсем даже спокойно

повернулся и побрел домой. Шаг его, однако, становился всё чаще и утороплennее, он спешил, чуть не бежал. Мальчики и Алеша от него не отставали.

— Мамочке цветочков, мамочке цветочков! Обидели мамочку, — начал он вдруг восклицать. Кто-то крикнул ему, чтоб он надел шляпу, а то теперь холодно, но, услышав, он как бы в злобе шваркнул шляпу на снег и стал приговаривать: «Не хочу шляпу, не хочу шляпу!» Мальчик Смуров поднял ее и понес за ним. Все мальчики до единого плакали, а пуще всех Коля и мальчик, открывший Трою, и хоть Смуров, с капитанскою шляпой в руках, тоже ужасно как плакал, но успел-таки, чуть не на бегу, захватить обломок кирпичика, красневший на снегу дорожки, чтоб метнуть им в быстро пролетевшую стаю воробушков. Конечно, не попал и продолжал бежать плача. На половине дороги Снегирев внезапно остановился, постоял с полминуты как бы чем-то пораженный и вдруг, поворотив назад к церкви, пустился бегом к оставленной могилке. Но мальчики мигом догнали его и уцепились за него со всех сторон. Тут он, как в бессилии, как сраженный, пал на снег и, биясь, вопия и рыдая, начал выкрикивать: «Батюшка, Илюшечка, милый батюшка!» Алеша и Коля стали поднимать его, упрашивать и уговаривать.

— Капитан, полноте, мужественный человек обязан переносить, — бормотал Коля.

— Цветы-то вы испортите, — проговорил и Алеша, — а «мамочка» ждет их, она сидит плачет, что вы давеча ей не дали цветов от Илюшечки. Там постелька Илюшина еще лежит…

— Да, да, к мамочке! — вспомнил вдруг опять Снегирев. — Постельку уберут, уберут! — прибавил он как бы в испуге, что и в самом деле уберут, вскочил и опять побежал домой. Но было уже недалеко, и все прибежали вместе. Снегирев стремительно отворил дверь и завопил жене, с которою давеча так жестокосердно поссорился.

— Мамочка, дорогая, Илюшечка цветочков тебе прислал, ножки твои больные! — прокричал он, протягивая ей пучочек цветов, померзших и поломанных, когда он бился сейчас об снег. Но в это самое мгновение увидел он перед постелькой Илюши, в уголку, Илюшины сапожки, стоявшие оба рядышком, только что прибранные хозяйкой квартиры, — старенькие, порыжевшие, закорузлые сапожки, с заплатками. Увидав их, он поднял руки и так и бросился к ним, пал на

колени, схватил один сапожок и, прильнув к нему губами, начал жадно целовать его, выкрикивая: «Батюшка, Илюшечка, милый батюшка, ножки-то твои где?»

— Куда ты его унес? Куда ты его унес? — раздирающим голосом завопила помешанная. Тут уж зарыдала и Ниночка. Коля выбежал из комнаты, за ним стали выходить и мальчики. Вышел наконец за ними и Алеша. «Пусть переплачут, — сказал он Коле, — тут уж конечно нельзя утешать. Переждем минутку и воротимся».

— Да, нельзя, это ужасно, — подтвердил Коля. — Знаете, Карамазов, — понизил он вдруг голос, чтоб никто не услышал, — мне очень грустно, и если б только можно было его воскресить, то я бы отдал всё на свете!

— Ах, и я тоже, — сказал Алеша.

— Как вы думаете, Карамазов, приходить нам сюда сегодня вечером? Ведь он напьется.

— Может быть, и напьется. Придем мы с вами только вдвоем, вот и довольно, чтоб посидеть с ними часок, с матерью и с Ниночкой, а если все придем разом, то им опять всё напомним, — посоветовал Алеша.

— Там у них теперь хозяйка стол накрывает, — эти поминки, что ли, будут, поп придет; возвращаться нам сейчас туда, Карамазов, иль нет?

— Непременно, — сказал Алеша.

— Странно всё это, Карамазов, такое горе, и вдруг какие-то блины, как это всё неестественно по нашей религии!

— У них там и семга будет, — громко заметил вдруг мальчик, открывший Трою.

— Я вас серьезно прошу, Карташов, не вмешиваться более с вашими глупостями, особенно когда с вами не говорят и не хотят даже знать, есть ли вы на свете, — раздражительно отрезал в его сторону Коля. Мальчик так и вспыхнул, но ответить ничего не осмелился. Между тем все тихонько брели по тропинке, и вдруг Смуров воскликнул:

— Вот Илюшин камень, под которым его хотели похоронить!

Все молча остановились у большого камня. Алеша посмотрел, и целая картина того, что Снегирев рассказывал когда-то об Илюшечке, как тот, плача и обнимая отца, восклицал: «Папочка, папочка, как он унизил тебя!» — разом представилась его воспоминанию. Что-то как бы

сотряслось в его душе. Он с серьезным и важным видом обвел глазами все эти милые, светлые лица школьников, Илюшиных товарищей, и вдруг сказал им:

— Господа, мне хотелось бы вам сказать здесь, на этом самом месте, одно слово.

Мальчики обступили его и тотчас устремили на него пристальные, ожидающие взгляды.

— Господа, мы скоро расстанемся. Я теперь пока несколько времени с двумя братьями, из которых один пойдет в ссылку, а другой лежит при смерти. Но скоро я здешний город покину, может быть очень надолго. Вот мы и расстанемся, господа. Согласимся же здесь, у Илюшина камушка, что не будем никогда забывать — во-первых, Илюшечку, а во-вторых, друг об друге. И что бы там ни случилось с нами потом в жизни, хотя бы мы и двадцать лет потом не встречались, — все-таки будем помнить о том, как мы хоронили бедного мальчика, в которого прежде бросали камни, помните, там у мостика-то? — а потом так все его полюбили. Он был славный мальчик, добрый и храбрый мальчик, чувствовал честь и горькую обиду отцовскую, за которую и восстал. Итак, во-первых, будем помнить его, господа, во всю нашу жизнь. И хотя бы мы были заняты самыми важными делами, достигли почестей или впали бы в какое великое несчастье — всё равно не забывайте никогда, как нам было раз здесь хорошо, всем сообща, соединенным таким хорошим и добрым чувством, которое и нас сделало на это время любви нашей к бедному мальчику, может быть, лучшими, чем мы есть в самом деле. Голубчики мои[*],— дайте я вас так назову — голубчиками, потому что вы все очень похожи на них, на этих хорошеньких сизых птичек, теперь, в эту минуту, как я смотрю на ваши добрые, милые лица, — милые мои деточки, может быть, вы не поймете, что я вам скажу, потому что я говорю часто очень непонятно, но вы все-таки запомните и потом когда-нибудь согласитесь с моими словами. Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю

жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение. Может быть, мы станем даже злыми потом, даже пред дурным поступком устоять будем не в силах, над слезами человеческими будем смеяться и над теми людьми, которые говорят; вот как давеча Коля воскликнул: «Хочу пострадать за всех людей», — и над этими людьми, может быть, злобно издеваться будем. А все-таки как ни будем мы злы, чего не дай бог, но как вспомним про то, как мы хоронили Илюшу, как мы любили его в последние дни и как вот сейчас говорили так дружно и так вместе у этого камня, то самый жестокий из нас человек и самый насмешливый, если мы такими сделаемся, все-таки не посмеет внутри себя посмеяться над тем, как он был добр и хорош в эту теперешнюю минуту! Мало того, может быть, именно это воспоминание одно его от великого зла удержит, и он одумается и скажет: «Да, я был тогда добр, смел и честен». Пусть усмехнется про себя, это ничего, человек часто смеется над добрым и хорошим; это лишь от легкомыслия; но уверяю вас, господа, что как усмехнется, так тотчас же в сердце скажет: «Нет, это я дурно сделал, что усмехнулся, потому что над этим нельзя смеяться!»

— Это непременно так будет, Карамазов, я вас понимаю, Карамазов! — воскликнул, сверкнув глазами, Коля. Мальчики заволновались и тоже хотели что-то воскликнуть, но сдержались, пристально и умиленно смотря на оратора.

— Это я говорю на тот страх, что мы дурными сделаемся, — продолжал Алеша, — но зачем нам и делаться дурными, не правда ли, господа? Будем, во-первых и прежде всего, добры, потом честны, а потом — не будем никогда забывать друг об друге. Это я опять-таки повторяю. Я слово вам даю от себя, господа, что я ни одного из вас не забуду; каждое лицо, которое на меня теперь, сейчас, смотрит, припомню, хоть бы и чрез тридцать лет. Давеча вот Коля сказал Карташову, что мы будто бы не хотим знать, «есть он или нет на свете?» Да разве я могу забыть, что Карташов есть на свете и что вот он не краснеет уж теперь, как тогда, когда Трою открыл, а смотрит на меня своими славными, добрыми, веселыми глазками. Господа, милые мои господа, будем все великодушны и смелы, как Илюшечка, умны, смелы и великодушны, как Коля (но который будет гораздо умнее, когда подрастет), и будем такими же стыдливыми, но умненькими и милыми,

как Карташов. Да чего я говорю про них обоих! Все вы, господа, милы мне отныне, всех вас заключу в мое сердце, а вас прошу заключить и меня в ваше сердце! Ну, а кто нас соединил в этом добром хорошем чувстве, об котором мы теперь всегда, всю жизнь вспоминать будем и вспоминать намерены, кто как не Илюшечка, добрый мальчик, милый мальчик, дорогой для нас мальчик на веки веков! Не забудем же его никогда, вечная ему и хорошая память в наших сердцах, отныне и во веки веков!

— Так, так, вечная, вечная, — прокричали все мальчики своими звонкими голосами, с умиленными лицами.

— Будем помнить и лицо его, и платье его, и бедненькие сапожки его, и гробик его, и несчастного грешного отца его, и о том, как он смело один восстал на весь класс за него!

— Будем, будем помнить! — прокричали опять мальчики, — он был храбрый, он был добрый!

— Ах как я любил его! — воскликнул Коля.

— Ах, деточки, ах, милые друзья, не бойтесь жизни! Как хороша жизнь, когда что-нибудь сделаешь хорошее и правдивое!

— Да, да, — восторженно повторили мальчики.

— Карамазов, мы вас любим! — воскликнул неудержимо один голос, кажется Карташова.

— Мы вас любим, мы вас любим, — подхватили и все. У многих сверкали на глазах слезинки.

— Ура Карамазову! — восторженно провозгласил Коля.

— И вечная память мертвому мальчику! — с чувством прибавил опять Алеша.

— Вечная память! — подхватили снова мальчики.

— Карамазов! — крикнул Коля, — неужели и взаправду религия говорит, что мы все встанем из мертвых, и оживем, и увидим опять друг друга*, и всех, и Илюшечку?

— Непременно восстанем, непременно увидим и весело, радостно расскажем друг другу всё, что было, — полусмеясь, полу в восторге ответил Алеша.

— Ах, как это будет хорошо! — вырвалось у Коли.

— Ну, а теперь кончим речи и пойдемте на его поминки. Не смущайтесь, что блины будем есть. Это ведь старинное, вечное, и тут есть хорошее, — засмеялся Алеша. — Ну пойдемте же! Вот мы теперь и

идем рука в руку.

— И вечно так, всю жизнь рука в руку! Ура Карамазову! — еще раз восторженно прокричал Коля, и еще раз все мальчики подхватили его восклицание.

Приложение

(Вступительное слово, сказанное на литературном утре в пользу студентов С.-Петербургского Университета 30 декабря 1879 г. Перед чтением главы «Великий инквизитор»)

Один страдающий неверием атеист в одну из мучительных минут своих сочиняет дикую, фантастическую поэму, в которой выводит Христа в разговоре с одним из католических первосвященников — Великим инквизитором. Страдание сочинителя поэмы происходит именно оттого, что он в изображении своего первосвященника с мировоззрением католическим, столь удалившимся от древнего апостольского православия, видит воистину настоящего служителя Христова. Между тем его Великий инквизитор есть, в сущности, сам атеист. Смысл тот, что если исказишь Христову веру, соединив ее с целями мира сего, то разом утратится и весь смысл христианства, ум несомненно должен впасть в безверие, вместо великого Христова идеала созиждется лишь новая Вавилонская башня. Высокий взгляд христианства на человечество понижается до взгляда как бы на звериное стадо, и под видом *социальной* любви к человечеству является уже не замаскированное презрение к нему. Изложено в виде разговора двух братьев. Один брат, атеист, рассказывает сюжет своей поэмы другому.

Незаконченные повествовательные произведения, наброски и планы

Новые идеи романов, драм, повестей

1

23 ноября.[30]
Идея повести, которую, впрочем, можно сделать началом романа.

Весенняя любовь

Знатный М. Г.*, богатый и его пришлепник, будущий писатель, ездят. В маленьком городке писатель попросил князя остановиться, тут его отец и родные. Князь согласен и сам. Знакомится с обществом, где его принимают подобострастно. Князь производит фурор, корчит человек<а> с направлением и проч. Тут одна девочка, невеста, *без своих слов*, пристально всматривается в князя. Она его и любит, и боится. (Но писателя она более пугается за его образован<ие>, громкие слова). Князь заиграл с нею (зная, что она невеста безобразного чиновника с состоянием). Она робко отдается. Заходит к нему и без возражений отдается ему. Потом пишет к нему письмо и просит, чтоб он женился на ней, говоря, что и отдалась ему, чтоб только не быть женою чиновника. (NB. Она ничего не просит у князя, полагая, что ему и жениться нельзя на ней, так он ее выше). Но князь не хочет потерять своей карьеры, литератор узнает это, идет и женится на ней.

2-й варьянт. Литератор имеет нравственное влияние над князем, а тот над ним физическое, денежное (и мстит ему за нравственное влияние бессознательно). В сущности, они ненавидят друг друга, а на деле они даже сами себя уверяют, что друзья. Литератор первый имел ее. Князь, у которого не было своих слов, был немного влюблен в нее, потом больше и очень; но стыдился признаться. Литератор, имев ее, злорадно отмстил красавчику князю и прямо объявил князю, что имел ее, зная про себя, что князь ее любит. Литератор рассказал князю всю историю и из-за чего она ему предалась. Князь (который ее поцеловал еще прежде) был в негодовании, сначала тихо, потом более и более.

Имеет с ней сношения. Она ему объяснил(а), что его боялась и оттого его не выбрала, что он высоко над ней и не женился бы на ней. Оказывается, что поэт имел с ней переписку, писал ей письма, уговаривал не выходить за чиновника, а на словах предлагал к себя, князя же назвал пустым.

Князь грустит и плачет вместе с нею, влюблен больше чем когда-нибудь, называет того подлецом, умоляет жениться. Тот выводит ему всю глупость его предложения, говорит о своей карьере, наконец говорит ему: «Женись-ка! (ты с направлением!)».

Князь горячится, хочет жениться, доводит ее до благоговения в любви, она хочет быть достойна его, учится, расспрашивает и т. д. Князь имеет ее, пугается скандала и уезжает. *Она пишет ему последнее письмо.* Чиновник (объяснение с князем). Оба, князь и литератор, уезжают, чувствуя, что оба подлецы. Князь дает литератору пощечину на станции. Они расстаются со злобой и т. д.

3-й варьянт. Или князь женится.

Князь говорит: «Ведь женился же прошлого года граф К. на бог знает ком[*]».

Или 4-й варьянт.

Она литератору не отдалась, а он просто наклеветал к князю: ибо имел средства (письма) клеветать. Князь нашел ее невинной. Думал, что поступил благородно, но чиновник развязал его; князь бросил ее и уехал.

NB. Во всё продолжение *весенней* любви князя *лит<ератор>* ведет себя хорошо, но смотрит язвительно. Он подозревает, шпионит, но не расспрашивает.

Князю и очень бы хотелось выгнать его; но он боится скандала за нее. 2-е) Лит<ератор> всё еще имеет на него влияние и без зазрения ест его обеды и распоряжается.

NB). В разговорах лит<ератор> соглашаетс<я>, что он с ней поступил *подло*, по-*донжуановски* и т. д.

Чиновник, объясняющий и берущий с князя взятку, на вопрос князя: «Да ведь она не выйдет за вас» — говорит: «Выйдет-с. Всё шито-крыто будет, не посмеет не выйти, отец (бешено строгий), мать, оскорбленье семье… нельзя-с, не выдержит. Ну, а обо мне не

беспокойтесь. Она будет доброй женой. Женясь, я тотчас же приму необходимые меры, — не беспокойтесь, — самые благоразумные меры<?>».

Она делает вот как: она обращается наконец, в восторге любви, к чиновнику, сознается ему в обожании к князю и что она *не невинна,* и сознается письменно. Чиновник идет к князю, просит вознаграждения и обещает поправить дело.

Князь, который мучился: что ему делать? — уехал, пощечина на станции.

NB. Добрая тетка, у ней свидания.

NB. Сцена капитальная: где он предлагает ей руку, а она как дитя плачет и говорит: «Я не гожусь, я не *достойна*». *Но князь возвышает ее, сказал ей несколько горячих и убедительных слов, и она, будучи унижена княз<ем>, понимает это все и гордится князем и открывает ему, что она сама это думала, но не смела сказать, и все это тут<?> дать<?>.

NB. Литератор сделал так: он ей обещался жениться; ее же уверил, что чиновник постыдится жениться на опозоренной (сладострастное существо), и ее прочил *уже своей женой* князю.

NB. 7 *генваря.*

Когда князь получил свое, то есть имел ее, то он тоже, придя домой и встретив дома приятеля, литер<атора>, которого до сих пор делал вид, что не замечает, он вдруг, теперь, начал хвалиться, форсить и дал ему знать, что имел ее.

Тот тотчас же воспользовался откровенностью князя и взял над ним власть (говоря ему, что *она* из таких и ее можно оставить — уехать). Князь вышел на воздух, на крыльцо, и мысленно дает себе пощечину; но, не выдержав, бросился на постель и заплакал и потом побежал к ней каяться.

2

23 ноября.

План трагедии «Фатум».

План комедии: барыня сажает в карцер женатого учителя за то, что он женат.

Развить.

3

В 1860-й год

1) Миньона.
2) Весенняя любовь.
3) Двойник (переделанный)[*].
4) Записки каторжника (отрывки).
5) Апатия и впечатления.

«Брак» (Роман, вместо «Совр<еменного> человека»)

Ч. умер, дети. Катя. Выходи хоть за писаря, аудитора. Он перебивает.

Брак. Она не подходит, не сходятся, неужели ж жизнь убил?

Начинает ее любить (характер княжны Кати), вся противуречье и насмешка. Звезда в городе. Губернатор за ней. Насмешки над мужем. Он ее тиранизирует. Она пробует быть женой; хозяйничает.

Молодой князь. Непосредственное чувство. На горах поцелуй при всех. Отличилась! Она дома, обратилась было к нему, не слушает; убей; дуэль не состоялась, любит ее безумно (под замок), падает пред ней. Она рыдает. Высказывает ему же его добродетели и сколько она ему обязана и как он хорош, начнет патетически со слезами, а кончит насмешкой над ним же.

Наконец она бежала. Открыто разъезжает с ним. Он один со своей злобой. В цепи! Губернатор и все держат руки ей и князю. Князь увозит ее. (Губернаторская дочь). Он один. Мать, которую он согнал для нее, та умирает. Он посмешище для всех. Тоска очищает его. Полтора года спустя идет в Петербург.

Во что вырождается князь.

2-я часть. Ищет ее, находит (роман в этом, в приключениях). Она прячется, в доверенность. Она ветреничает. Тоска ее. Эксцентричность. Ей скучно. Он у ней и при ней христианин. Она сходит с ума. В больнице. Ходит к ней, воскресает. Обновилась в новой жизни. Умерла любя. Он *один <нрзб.>*.

Или судя по развитию:

3-я часть, где добил и умерщвляет ее.

Она ревнует его умирая (грациозно). Умирает с словом ему: «живи».

Ростовщик

Два дурака (взаимно застрелиться).
(артист).
Данилов, О. П.[31]
Офицер, Перебас.
Старший хромой.

Один Граф (Сол<логу>б) просит у него денег, даже угрожает. Тот долго над ним смеется и его мучает, *ломается*. Потом предлагает, что он даст денег, если он введет его в *высшее* общество. Граф соглашается и находит случай уладить дело. Несмотря на всё *его* презрение и разочарование, на золотого царя Ротшильда, на близость самоубийства, он так взволнован, что учится перед *зеркалом*, как входить и проч. Вечер, fiasko. Vielgors<kij>. На другой день он не хочет давать денег графу. Смеется, дает ему 100 руб. и проч.

<роман о помещике>

Роман. Помещик. Отца убили. Спорное поле. С помещиком. Куплено с уступкой. Чтение Апокалипсиса. Аягузский священник. Образование детей. Воля. Мировые посредники поспорили. Умер помещик. Крестьяне хоронили.

План для рассказа (В «зарю»)

Рассказ вроде пушкинского (краткий и без объяснений, психологически откровенный и простодушный).

Умирает богатая Барыня. У ней Воспитанница (в институте). Потом подле Барыни. У Воспитанницы темное семейство, мать пьет, так что при жизни Барыни ей велено чуждаться. Ей обещаны в таком случае 20 000 или в приданое, или по завещанию. Но старуха умирает, не сделав завещания, и 20 000 лопнули. Оказывается законным наследником старший Племянник, о котором и не слыхивала прежде *она* и о котором покойная Барыня относилась как о бесчестившем род. Но ему досталось. В доме остались старые старухи, родственницы-дамы (одна из них держит сторону Племянника, ибо ближе к нему сродни и рада за него. Она приживалка и добродушно заважничала над другими приживалками. Он же ее потом первую и погнал и взял в тиски). Старухи и тетка уговаривают Воспитанницу не возвращаться покамест в семейство, а подождать приезда наследника (может-де, он и спечалуется и *наградит* ее (20000). Всего более уговаривает старуха, родственница Племянника, расхваливая его, другие же не расхваливают, а, напротив, качают головами и боятся его прибытия: много уж слишком об нем дурных слухов идет. NB. Странно то, что в этих дурных слухах нет ничего определенного. *Чем именно* дурен? Скупец, мститель, ростовщик, и вдруг слухи совсем противные. В гусарах бывши, имение прокутил и проч. Слух о трусовстве.

Впрочем, Воспитаннице оставаться в дому довольно прилично: она ходит за одной сильно прихворнувшей старой теткой-приживалкой. (NB, NB. Отец у ней *изящный* человек, приживальщик за границей. *Дуров*[*]*).*

Но является и он: странный, озирающийся, подозрительный, смотрящий на ночь за шкапами и за постелями (трус), недоверчивый, язвительный. Язвительно и недоверчиво принимает наследство, считает. Огорошил старуху родственницу, сдававшую ему дом, и взял в *ключницы* другую, бойкую, задорную и ему с виду противуречившую (но льстивую). Родственница оттого стала больна. Задорная насплетничала ему на Воспитанницу и что та ожидает *награды.* «А вот мы посмотрим; теперь еще некогда». Он, впрочем, *ее* видел мельком;

она его поразила. Отнесся двусмысленно, подозрительно и с насмешкой. Но оставил объяснение и знакомство (что именно оставил? *не определил;* какое-то как будто решение судьбы Воспитанницы, так что старухи удивляются). Дело — в бесконечности долгов, документов и заемных писем. Покойная Барыня все прощала (кстати: любила *выдавать* замуж), но сохраняла документы. Наследник решает преследовать, горячо, горько и язвительно обращается с умоляющими кредиторами, посещает их семейства (дома бука, неразговорчив, боится, когда кто к нему входит нечаянно, отделал сарказмами доктора, — иногда вдруг очень остроумен. Встреча с калекой (?), девочкой 12 лет швейцара. Враждебность отношений к девочке). Несколько возмутительных сцен недоверия, жадности и жестокосердия к кредиторам. Воспитанница замечает, что в нем как бы о<с>корблено тщеславие. Однажды только в антрактах послал за ней и попросил спеть (и то по поводу оценки дорогого фортепиано, купленного для Воспитанницы). Несколько колких слов его по поводу покупки и легкий, короткий, остроумно-язвительный и загадочный разговор *с* Воспитанницей.

Между тем он вдруг идет в дом Воспитанницы и знакомится (или эстетик Дуров, или артиллерийск<ий> полковник, или полная гадость с эстетиком). Призывает наконец Воспитанницу вечером. Разговор с его стороны недоверчивый, даже обидный и о 20 000-х. Но поражен *явно* неподклонностию с ее стороны, нельстивостию, хотя и робостию, мало-помалу вдруг доверяется.

Вообще это *тип.* Главная черта — мизантроп, но с подпольем. Это сущность, но главная черта: потребность довериться, выглядывающая из страшной мизантропии и из-за враждебной оскорбительной недоверчивости. (NB. Он наивен и угловат, резок от какого-то *намеренного распущения,* но, странно, когда надо — чрезвычайно развязен и светский (гусар), так что даже весь переменяется. Но это только минуты). Эта потребность — судорожна и нетерпелива, так что он с страшною наивностью (горькою, сожаления достойною, даже трогательною наивностью) бросается вдруг на людей и, разумеется, получает щелчки, но, получив щелчок раз, не прощает, ничего не забывает, страдает, обращает в трагедию.

Она его мало-помалу пленяет, доверяет (и вдруг опять отпор, мизантропическая злоба и насмешки), но наконец почти совсем

прояснел. Обещает 20 000 (но осторожно, скуп) и говорит: «Будет, будет и на нашей улице праздник».

Рассказывает ей жизнь свою, бия себя в грудь, отучает ее от доверчивости, рассказывает, как с ним поступили.

Но наконец прояснел; эпизоды: прогулка в одиночку, испугался и заподозрил ребенка (эпизод, ее удививший), боится, чтоб его не отравили.

Она с ним робка, он ее поразил трагичностью своих приемов, но возбудил симпатию, прогулки (сон Обломова, полная доверчивость). Она доверяется, ободряется и говорит ему о должниках, чтоб их защитить.

К удивлению узнает, что он многим кредиторам простил, многих облагодетельствовал, но «вот как они со мною поступили».

Сцена любви между ними, и вдруг недоверчивость.

Он ее испытывает.

Он даже подслушивает.

Прежние проченные ей женихи. Чиновник солидный (его испытывает), *Молодой человек.*

Молодого человека ревнует. Между ними почти разрыв.

NB. (NB. *Мимоходом.* Тут множество эпизодов с семействами кредиторов и с ее семейством, эстетик, брат).

(Являются разные лица из его прежней жизни, гости к нему, один Граф, он ревнует *ее.* И наивен в подозрениях и благородно горд — все вместе).

Прекрасен, правдив, чист до крайности — и не может высказаться, чтоб быть понятным и любимым, не понимает этого и страдает.

Слишком грубо смотрит на мир, потому что требует от него чрезвычайной чистоты и не прощает ничего.

Христианин, но нетерпим христиански.

«Я все прощаю, но оставьте меня в покое, я в подполье».

Наконец он ее надорвал, ей тяжело, между ними слезы и проч.

NB. *Главное.* Он совершенно влюблен, и как бы решено жениться, но ни разу он не был настолько доверчив, чтоб сделать предложение.

На *нее* наговаривают даже ее родные, и он так подл, что слушает, идет исследовать разные фантастичные эпизоды, верит ужасным подлостям и глубоко страдает за свою подлость, когда видит, что вздор.

Но насколько подозрителен, настолько и доверчив.

Кается во грехах. «Грешен, многогрешен». Ей рассказывает. Раз она заговорила о трусости (о пощечине), он заподозрил и замолк — и затем страдание, мрак и холодность.

Затем они как бы сходятся и мирятся.

Является вдруг в Москву, знатный дом — барыня, друг (но не родня) покойной Барыне (мать крестная Воспитаннице).

Дела у них с ним. Требуют Воспитанницу; та с радостью пошла к ним. (Варя с отцом).

Новый для нее мир, балы, светскость.

Он является (прежде у него о высшем обществе часто юмор) в общество во фраке, его страдания.

У него мысль, что она хочет его ревностию заставить высказаться.

Эпизод с пощечиной. Он переносит пощечину (или перенес еще прежде).

Она влюбляется в Графа, или только так. С ней делают у барыни светской подлость ужасную.

Он за нее заступился, получил плюху, стрелялся, но не стрелял (сам был вызван).

Но девушка ушла в семейство. Его отвергла, не вынесла, хотя бесконечно любит (или он не может простить, а она знает, что он не может простить).

Вообще как-нибудь трагически, но и беспрерывный комизм, веселый, разнообразный и тонкий.

NB. (Можно так: что когда она его оставила и перешла к светской барыне, он к хромой девчонке, чтоб любить, вышла история, ему глубокий щелчок. Вообще ему со всех сторон щелчки).

(Может быть, застрелился).

(Можно так, что хромоногая не выдержала в ненависти, ревности (тщеславной и эгоистической), что он все еще любит ее и хочет возвратить, и бежала от него из дому. Ночью преследование по улицам. Мертвая девочка, из злобы сама себя довела до смерти. Искалеченная от избитости).

Nb

NB. Или милый тип à la O-ff[*], или убийца серьезный из подполья.

Nb

Когда у них были радостные и спознававшиеся минуты, *он ей* рассказывает удивительно веселые и милые истории, где он герой, комизм и двойственность (Марья Степановна).

NB) Есть одна Княжна (великосветская кокетка), которая *еще прежде* имела на него права! Теперь, как он получил наследство, она к нему. (Этого-то он боится и ждет).

Княжна приехала с знатным домом. Она оскорбляет Воспитанницу. *Он* за нее заступается; ему дают пощечину. Дуэль. И, однако, Воспитанницу все-таки изобличают с любовником.

NB. Или так: *она* им пленилась, и характером и даже состраданием. Молодому человеку отказывает. Того берет под покровительство Княжна. Молодой человек на нее же клевещет. Между тем Княжна заставляет-*таки* его на себе жениться. Он дошел до того, что предлагает Воспитаннице даже деньги. Та не берет и бежит к себе. М<олодой> ч<еловек>; клеветавший на нее, топится. Тот в отчаянии; но один из домашних, брат, уговаривает его повенчаться увозом. Венчаются. Он в восторге, что теперь можно не бояться Княжны.

Как только умерла *Барыня, к* Воспитаннице, ждущей наследства с приживалками, мимоходом и совершенно нечаянно заезжает брат, пьяный гусар. Считает деньги, мало. Она выносит ему последние свои 150 р. Тот вытаращил глаза: «Правда? Правда? Даешь? Ну жди ж теперь, отплачу!»

И отплачивает потом тем, что, во-1-х, у него в секундантах и заставляет его драться,

2) на ее признание: люблю его — сначала говорит ей: есть во что, а потом заставляет его жениться увозом.

<Nb. После Библии зарезал>

NB. После Библии зарезал. (Тип подпольный, не перенесший ревности.) NB. Вдовец, 1-я жена умерла. Нашел и выбрал сиротку, нарочно, чтоб было спокойнее. Сам настоящий подпольный, в жизни щелчки. Озлился. Безмерное тщеславие. Зарезал виновную Жену. Долго приготовлялся и пережевывал, как настоящий подпольный. Пасынок или девочка от 1-й жены сдружились с Женой. Бегство ребенка, преследование по улицам ночью. Жена не может не заметить, что он образован, потом увидала, что не очень; всякая насмешка (а он все принимает за насмешку) раздражает его, мнителен. Как увидит, что она и не думала смеяться, ужасно рад. В театр и в собрание по разу. Пригласил общество для разнообразия Жены. Вынес муки. Поссорился с гостем, обращавшимся с ним свысока. Любовник, в доме на дворе, из окна в окошко, выследил. Подслушивает свидание. Выносит при Жене пощечину.

NB важное: у Жены вдруг и внезапно являются покровители. Ее отыскивают, крестная мать, важная барыня, берет даже гостить. Он *должен* уступить.

NB. Одно время даже затеялась у него с Женой настоящая любовь. Но он надорвал ее сердце.

<поиски, повесть>

1) *Поиски,* повесть. 21/9 ноября 1869 года, 11 часов вечера.

2) Глубоко распадающееся существование. Постепенность обеднения. Человек, дающий беспрерывно клятву отмстить гонителям и, когда счастье улыбается ему, отдающий свое последнее. «Что, дескать, отмщать!»

Из повести о молодом человеке

Нашли 3 000, снесли. Тот обругал и дал 25 р. По бедности взял. Не мог *отказаться.* В страшной нужде решают с женой отнести назад. Смял бумажку и бросил в харю.

Смерть поэта (Идея)

очень вкратце.

<1>

Углы. Поэт, 26 лет, бедность, заработался, воспаление в крови и нервы, чистый сердцем, не ропщет, умирает, брюхатая Жена и двое детей. Бегает и кормит, любит. Отец — эстетик. (Найденный бумажник). Попик, Атеист и Доктор-нигилист. Попик — чистый Аввакум en herde[32] — за православие. Поэт заступился за него против Атеиста — Попик чувствует дружбу. Попик бедный, только что поставленный, и без места, из остзейской земли, по сборам с другим, Мать-попадья. Раскольник раз вступился и связывается с Атеистом о свободе и о свободном человеке (NB. по апостолу Павлу)*,— ввязывается, когда уже Попик спасовал, и доказывает, что он понимает лучше свободы. Поэт про обоготворение природы, язычник. Исповедь Поэта вслух — вместо предложенной Попиком по просьбе Жены — милая, изящная и восторженная — кончилось питьем шампанского за все — выпил и Раскольник. За все, за Христа, за цветок, за Жену. Восторженные слова о Жене. Раскольник Попику: «А ты не пей вина» или «Легкомыслен ты и не тверд, млад еще — да сердцем чист — бог тебя и взыщет». Бред, последние мгновения, «Götter Griechenlands*».[33] Смерть, Раскольник хвалит и обнадеживает Жену, хвалит и Попика.

Подсочинить повесть (будет как «Бедные люди», только больше энтузиазма) — в углах совершилась кража, или преступление, или что-нибудь, а может, и нет.

Жена может Раскольнику быть родня — и т. д.

Всего 12 листов maximum.

9 сентября н<ового> с<тиля>.

<2>

Возвратившийся из-за границы Господин. 6 лет. (Виноват, что не выдержал и воротился).

Племянник его завел в углы. С содержателем (NB?) углов и дома у приезжего из-за границы дело.

Нечаев. Кулишов донес на Нечаева. (А может, и сам Хозяин).

Хозяин поддержал Попика и потом — «ничему не верю».

С хозяином Жена Поэта в ладах, но не в связи, Хозяин добивается, но любит Племянника приезжего и ждет. *Он* (т. е. Племянник) ревнует к Хозяину, наблюдает за ним и удивлен, когда дядя сообщил ему, что он, кажется, видел ее у Хозяина.

Последняя исповедь вслух надорвавшегося Поэта (застрелился) — трогательный юмор и высокое художество.

Доктор-нигилист.

Пан Пшепярдовский.

И Б-нов.

Полиция входит и берет.

NB. (У Поэта отчасти стыд, что Жена знает о его потворствах к Хозяину, из-за слабости, за деньги. Поэт должен Хозяину). Дырочкин.

<*3*>

— Откуда взялась фамилья?

— Это уж вопросы нескромные.

— Генерал-фельдмаршал Дырочк<ин>.

— Нельзя не сознаться.

— Лучше всего пойти в разбойники.

— Будьте добродетельны.

— Да что добродетельны. Добродетель не скрасит.

— Оно правда, что не скрасит.

Если б спасти Россию взяли бы Дырочк<ина>.

— Э ну чего; конечно! Тогда бы всякий снимал шляпу — «Это, дескать, Дырочкин».

— Э, нет, чтоб не знали.

Дырочкин.

Никчорыдов.

— Предки брали делами, а вы благозвучностью.
— Послушайте, да ведь это все в старину говорилось.
— А самые люди умные…

(Роман о князе и ростовщике)

<1>

Мысль

Ат<еист> женат. Неизвестно зачем женился, но страшно ревнив и мучает Жену. NB. Описывается жизнь предварительная, так что и вообразить никто не мог, что он женится, и вдруг он привез Жену и запер. Увидать невозможно.

Семейство сначала Жену возненавидели, но потом калека в нее влюбился (хотят переманить ее).

Жена невинная и молоденькая, как дитя; страшно его боится; «убьет». Ей наговорили, что убьет. Наконец решилась и перебежала к ним сверху.

Они действительно ее не хотят выдать (тем и показывается, что они вовсе у него не в рабстве).

Изнасилование влюбленной в него и живущей на дворе Хромоножки. Образованная, дочь пьяного просящего Поручика. Она его ревновала к Жене и ненавидела Жену его, когда он жил с ней и когда привез Жену. Анонимные письма устроила Хромоножка. Вошла в сношения с Кулишовым. Утверждала, что видела, как он бил отца, при свидетелях. А между тем она действительно видела, только не *его, а* Кулишова и Князя. Кулишов же ее и изнасильничал и убил. Опять к воротам. (А с нею, до ее убийства, у него была ссора). Кулишов тем вывертывается. (Свидетель убийства старика есть) Жена тоже показывает, что он часто ходил и тосковал. Кулишов не по фальшивому паспорту, но знает острожников и *старика* Раскольника, доносит.

NB. Кулишов знает виды всего семейства, и что все ему должны (стало быть, будут поддакивать), и что Жена тоже расположена донести.

Кулишов с него денег взять хочет. Сцена торга?

Он, видя, что не оправдаешься, — идет. (Сознается?) Даже рад все бросить. Жена. Есть один татарский Князек, был должен убитому Капитану; по его-то наущению и убил. Кулишов. (Но Князь исчез. У

него векселя на Князе не все).

? NB. (Смерть Кулишова, через Князя)?

Поручик, просящий благородной милостыни, отец Хромоножки, был друг покойному убитому Капитану, одной роты, вместе пьянствовали, поклялся, что найдет убийц. Фразер. Принимаем семейством. Разносит просительные письма.

2) Он думал спастись от отчаяния женитьбой.

Но у него была только ревность и не было страсти.

Рад бы делать преступления.

Так жить нельзя, но куда пойти?

Помешался на самообладании, после мук ревности, и потому не берет Жену, когда та уходит.

Князь ходил к *нему* и в преступлении давно уже признался, чего Кулишов не знает.

А когда Кулишов доказывает, Князь вдруг трусит и не является. Князь в это время получает наследство и хочет жениться.

Мысль о постепенном самосовершенствовании в подвигах святых поражает его (веры нет). Он хочет совершенствоваться. (Берется за подвиг и падает разом). Самосовершенствование помаленьку.

<2>

Переменить роман мальчика (побочный сын семейства).

Ростовщик — товарищ Князя по университету (переменить и думать об этом романе).

Пересочинить Картузова, Графа выгнали (скандальная дуэль).

Ростовщик и Князь знают один за другим какое-то дело. (Какое именно?)

И Князь и он от него зависят. Он побочный сын.

Князь относится гордо.

Попытка идеи

1) Лизав<ета> Кузьминич<на?> и <1 *нрзб.*>

2) Картузов.

3) *Три человека.*

Убит не Отец, а Жена (толстая, на которой женился из-за денег).

В углах муж — «я не верю».

У закладчика — отказался от чужой жены.

Князю намекал о сестре его (из яду).

После объяснений с Невестой и после искренней и глубокой мысли идет на ночь к Максиму Иванову — оргия и убийство.

Хочет застрелиться.

Прощание Поэта с жизнию и «не верю» (блестящая глава).

О боге, природе и жизни Ростовщик.

Невеста — пришла навестить подругу, жену умирающего Поэта-труженика.

Ростовщик говорит Невесте: бросить имение и идти искушаться в страдании, ибо я не атеист, а верую.

Она ему: «Если пойдете, и я с вами».

Тогда он, не веря в награду, если пойдет (ибо атеист), решает расстаться с имением иначе, т. е. застрелиться. Суд за Жену спасает его, и он идет на страдание, в Сибирь, с радостью. (NB. Даже знал, что другой виноват, а не он).

2-й человек. Князь — завистливый, желающий высокого человеческого достоинства даром, гордый без права на то, лицо страдальческое; влюблен в Невесту, которую и отбивает у него Ростовщик. NB. Он сделал брюхо и девушку с брюхом передал Учителю.

Невеста. Усталая, тоскующая и скучающая страдалица, жаждет живой жизни и верит в нее.

3-й человек. Учитель, подкидывание детей, простой, живой и великий подвиг.

— Я признаю существование матерьи, но я совершенно не знаю, материальна ли матерья?

Последняя попытка мысли

2 февраля/21 генваря.

Рос<товщик> — сын первой жены Отца, из бедного семейства, воспитан *aparté*[34] (не родственн<ик>).

Князь сошелся с ним за границей (очень молоденькая Сестра, Мать и Воспитанница).

В Москве у Рос<товщика> дом.

Князь является (во-1-х, потому, что сошелся за границей, как товарищ по университету и по некоторым как бы родственным связям, во-2-х, поражен наклоном ума Рос<товщик>а, в-3-х, необъяснимою связью Рос<товщик>а за границей с Красавицей. «Между ними секрет», — думает он, но, думая, ни за что не может допустить, чтоб между ними могла быть серьезная связь).

Князь делает брюхо Воспитаннице, поручает Рос<товщик>у, который и помещает ее в углах.

(Идея Рос<овщик>а и секрет: «Нужен упорный труд для самовоспитания. Тогда полюбишь природу и найдешь бога». Но Рос<товщик> не любит и покамест ростовщик (но прорывает<ся> благодеяниями). Пост — и вдруг у Максима Иванова).

— Нужен труд ужасный, ибо я страстный ростовщик и сребролюбец.

???

Красавица исследует и узнает, что он делает добрые дела втайне.

— В 2½ часа застрелюсь.

Подбрасывают младенца.

Меж тем Князь и брюхатая Невеста за него.

Выскочил из вагона.

Выпихнул Отца, видел Князь (а может быть, Красавица).

Сам Ростовщик.

С тех пор Красави(ца) следит за ним, и он знает, что она следит.

Но она думает, что ей померещилось.

<Житие великого грешника>

<1>

31-е июля. Флоренция.

Детство.

Дети и отцы, интрига, заговоры детей, поступление в пансион и проч.

<2>

Подпольная идея для «Русского вестника»

14/2 ноября.

Я <?>, семейство, с детских лет, Москва, всё ему обязано. Рост. Чермак, первый — последний, обвинение во всем. Молчит и угрюм, кормит семью. Все от него зависят. Молчит. Все тяготятся. Та, которую он полюбил (раз поговорила с ним по душе), вышла за его брата. Брат вдруг лишился здоровья. Все на него глядят с трепетом. Он молчит и благодетельствует. Ему, например, дали пощечину. Он не вызвал. В семействе не смеют смеяться. Кончить трагедией.

<3>

Житие великого грешника

20/8 декабря.

Накопление богатства.

Зарождающиеся сильные страсти.

Усиление воли и внутренней силы.

Гордость безмерная и борьба с тщеславием.

Проза жизни и страстная вера, беспрерывно ее побеждающая.

«Чтоб все поклонились, а я прощу».

Чтоб ничего не бояться. Жертвы жизнию.

Действие разврата; ужас и холод от него. Желание всех марать.

Поэзия детских лет.

Обучение и первые идеалы.

Тайно выучивается всему.

Один, ко всему приготовиться.

(Всё приготовляется беспрерывно к чему-то; хотя и не знает к чему — и странно — об этом мало заботится *к чему*, как будто совершенно уверен, что само найдется).

Или рабство, или владычество.

Верует. И только. Неверие в первый раз странным эпизодом и только в монастыре организуется.

Хроменькая. Катя. Брат Миша*. Украденные деньги. Претерпел наказание. Бесстрашие. Нива. «Не режь меня, дяденька». Любовь к Куликову.* Иоган. Брутилов*. Француз Пуго. Ругает Брутилова. Учится. Водолаз, Albert. Шибо. Причащение. Albert в бога не верит. Старички. Любит втайне многое и держит про себя. Его называют извергом и держит себя извергом. NB. Страстное желание удивлять всех неожиданно наглыми выходками? Но не из самолюбия. Наедине. Старички. Песни. «Thérèse-philosophe»*. Иоган. Брин*, Брутилов, брат, Albert. Друзья, и мучает друга, отталкивает. Друг, смирный, добрый и чистый, перед которым он краснеет. Воспитание себя мучениями и накопление денег. Humboldt*.

Ему тотчас объявляют, что он им не брат. Сходится с Куликовым. Докторша. Представляется ему в каком-то сиянии. Страстное желание огадиться, опакоститься в ее глазах, а не понравиться. Случилось воровство. Его винят, он не оправдывается, но дело становится ясным. Сведенный брат украл.

Неуважение к окружающим людям, но еще не по рассудку, а *единственно по гадливости к ним.* Сильная и всегдашняя черта. Много гадливости. Ем виноград*. Его бьют и секут за гадливость. Он только заключается в себя и ненавидит еще более. Высокомерное презрение к гонителям и скорость приговоров. Необыкновенная скорость приговоров обозначает сильную страстную исключительность. Начинает чувствовать, что не надо скорых приговоров и что для этого нужно усиление воли.

Начало широкости.

Ложь, mon[35] мушвар*.

Аркашка и французские разговоры.

Аркашка, Брутилов и он особняком.

Матушкины дети у Сушара и у Чермака* (их гадливость от глупости).

NB. У Сушара только Брутилов и его история; всего две главы. Кончено, что побил Сушара. Начало Albert'a.

Пансион. В доме — несправедливое наказание. Экзамен.

В деревне. Самоотвержение. Катя.

В городе и в пансионе удивляет своим зверством. Lambert*.[36]

Подвиги — бежать с Катей. Куликов, с ним. Убийство.

Не прощает ничего ложного и фальшивого и бессмысленно, тотчас же пускается бить.

Долго не верил Кате, потом испытывал ее и наконец испугал срамом.

Сила воли — главное себе поставил.

После Куликова идет тотчас же спрашивать о Хроменькой. Тут-то его и поймали.

В деревне Докторша в него влюбляется.

Поймал ее с любовником.

Докторша, Альфонский* — характеры.

Ничего авторитетного.

Зародыши сильнейших страстей телесных.

Наклонность к безграничному владычеству и вера непоколебимая в свой авторитет. Горы сдвигать. И рад испытывать свою мощь.

Борьба — вторая природа — но спокойная, не бурливая.

Презирает ложь от своей силы.

У старичков. С стариком чтение Карамзина*. Арабские сказки.

О Суворове* и проч., о процентах. Оскорбил молодую старуху. «Проси прощения». — «Не хочу». Запирал их. Смерть. Анна и Василиса бежали*. Продали Василису. Последнее причащение. Первая исповедь. Гадливость: есть ли бог. Библия и чтение.

1 января 1870.

NB. Совершенно обратный тип, чем измельчившийся до свинства отпрыск того благородного графского дома, которого изобразил Т<олстой> в «Детстве» и «Отрочестве». Это просто тип из коренника, бессознательно беспокойный собственною типическою своею силою, совершенно непосредственною и не знающею, на чем основаться. Такие типы из коренника бывают часто или Стеньки Разины, или Данилы Филипповичи*, или доходят до всей хлыстовщины и скопчества. Это необычайная, для них самих тяжелая непосредственная сила, требующая и ищущая, на чем устояться и что взять в руководство, требующая до страдания спокою от бурь и не могущая пока не буревать до времени успокоения. Он уставляется наконец на Христе, но вся жизнь — буря и беспорядок. (Масса народа живет непосредственно и складно,[37] коренником, но — чуть покажется в ней движение, т. е. простое жизненное отправление, — всегда выставляет эти типы). Необъятная сила непосредственная, ищущая спокою, волнующаяся до страдания и с радостию бросающаяся — во время исканий и странствий — в чудовищные уклонения и эксперименты, до тех пор пока не установится на такой сильной идее, которая вполне пропорциональна их непосредственной животной силе, — идее, которая до того сильна, что может наконец организовать эту силу и успокоить ее до елейной тишины.

2 янв<аря>.

Расшиб нарочно зеркало.

Решается молчать и не говорить ни слова.

Св<ятая> мать: «К чему вы из себя выказываете жертву?» (идеальное и странное создание).

Отец Аль<фонски>й. (Речи его сыну и запросы).

Чувство разруш<ения>.

Сладострастие (хочет на этом ждать до денег).

И огромный замысел владычества (непосредств<енность> чувств) сказывается в нем так сильно, что он чувствует себя не в состоянии сам подладиться под этих людей. Сколько надо знать наук (разговаривает с Ванькой).

Сам дивится себе, сам испытывает себя и любит опускаться в бездну.

NB. Бегство с девочкой и разбойник Куликов сейчас по переходе от Сушара к Чермаку. Факт, производящий на него потрясающее действие

и несколько сбивший его самого с толку, так что он чувствует естественную необходимость сжаться внутри себя и пообдумать, чтоб на чем-нибудь установиться. (NB. Устанавливается все-таки на деньгах).

О боге пока *не думает.*

После Куликова он и в семействе и в пансионе *как бы* смирен (чтоб обдумать и найти себя, установиться).

Но нелюдим и необщителен, молчание кончается через полтора года признанием о Куликове, да и не может быть иначе, помня и зная за собой такой ужас и смотря на всех остальных детей, например, как нечто совершенно себе чуждое и от которого он далеко отлетел в сторону, в худую или хорошую. Кровь иногда его мучает. Но и *главное:* не одно это уединяет его от всех, а именно мечты о власти и непомерной высоте над всем. (Увлекается чем-нибудь ужасно, «Гамлетом» н<а>прим<ер>;* «Жители луны»*.

NB. Сбивают его с этой высоты науки, поэзия и проч., т. е. в том смысле, что это выше и лучше и что надо, стало быть, чтоб и в этом он был выше и лучше.

ГЛАВНОЕ. Смысл первой части. Колебание, ненасытимость замысла, только готовит себя, но странно *уверен*, что всё само придет: <де>ньги разрешают *все* вопросы, инстинктивное сознание превосходства, власти и силы. Искание точки твердой опоры. Но во всяком случае человек необыкновенный.

Картины (коровы, тигры, лошади и проч.).

Или лучше: ни одна мечта о том, чем быть и к чему он призван, не мешала накоплению богатств.

Но сомнение разрешает всегда исход денег и накопление богатств.

Насчет взбесившейся лошади или пожара.

(Продает лакеям).

Отец высек его — разрыв: «Я вас не считаю своим отцом».

Продает лакеям — за это в общем презрении, но находит бумажник — уважение, которое и приобретается окончательно экзаменом, — он было поддается.

Но после этого история со срамом Кати и потом адский разгул с Albert'ом, злодейство и кощунство и донос о себе в убийстве с Куликовым — *прямо в бездну.* Монастырь.

Хотя деньги и страшно его устанавливают на известной *твердой*

точке и решают *все* вопросы, но иногда *точка* колеблется (поэзия и много другого), и он не может найти выхода. Это-то состояние *колебания* и составляет роман.

Усиление воли, раны и сожигания — гордость его питают. Ко всему быть готовым хочет.

Деньги положил наживать честным путем. Колебание над бумажником.

NB. Так как многое его иногда *трогает* сердечно, то он в страшном припадке злости и гордости бросается в разгул. (ЭТО ГЛАВНОЕ).

Отчужденности помогало и то, что и все на него смотрели как на эксцентрика с насмешками или со страхом.

Пробитая голова (pantalons en haut),[38] болен. Потом Чермак оставил его. (Манго*).

NB. Достиг, например, процессом мысли, что потому не надо *нечестно,* что, действуя и *честно,* он еще *даже лучше* наживет деньги, потому что богатым все льготы на всякое зло и без того даны.

Albert и он срывают звезду с венца* и бегут удачно (подбил *он),* но когда Albert стал кощунствовать, он стал его бить. А потом сам провозгласил себя перед судом атеистом.

Мысли: что можно еще выше достигнуть власти, льстя, как фон Брин.

«Но нет, — думает он, — хочу достигнуть того же не льстя».

«Я сам бог» — и заставляет Катю себе поклоняться.

Бог знает что с ней делает. «Тогда полюблю, когда всё сделаешь».

В отклонениях фантазии мечты бесконечные, до ниспровержения бога и постановления себя на место его (Кулишов сильно влиял).

Задача, mémento.[39]

1-й акт. Первое де<т>ство. Старик и старуха.

2-й) Семейство, Сушар, бегство и Куликов.

3) Чермак экзамен.

4) Деревня и Катя, разгул с Albert'ом.[40]

20 — дет<ство>,

20 — монаст<ырь>,

40 — до ссылки,

20 — ссылка и сатана,

40 — подвиги.

Гадливость к людям с самого первого детского сознания (из страстности гордой и владычествующей натуры). Из презрения же: «Возьму нахрапом, не стану унижаться до бринской лести и ловкости».

И это тоже от гадливости к людям и от презрения к ним с самых детских лет.

«О, если б я взял на себя роль такого льстеца, как Брин, — чего бы я не достиг!»

И начинает иногда рассуждать: «Не сделаться ли льстецом (об этом с Хроменькой советуется). Это тоже сила духа — *выдержать себя льстецом.* Но нет, не хочу, гадко — к тому же у меня будет оружие — деньги, так что они волей-неволей и хочешь не хочешь подойдут все ко мне и преклонятся».

С Куликовым силу духа выказывает. Тот его не режет, а отпускает, а беглого солдата, разбойника, зарезали вместе.[41]

Если б кто подслушал его мечты, то он бы, кажется, умер; но Хромоножке во всем открывается.

Что ни прочтет, то передает своеобразно Хроменькой.

«Пощечина есть величайшая обида». Кровью.

Первая организовавшаяся мечта и значение денег.

Хроменькая хранит тайну из всего, что он говорит ей, и странно — это делает она сама собою, без его приказания, деликатно поняв, так что он в большей части случаев и не напоминает ей о необходимости хранить тайну.

Хроменькая не соглашается быть атеисткой. Он ее за это не бьет.

Один, но подробный психологический анализ, как действуют на ребенка произведения писателей, н<а>п<ример> «Герой нашего времени».*

Негодование ребенка на приезжающих гостей, на те откровенности и дерзости, которые они себе позволяют (Увар). «Как они смеют?» — думает ребенок.

Падение стариков.

Театр. «Сядь ко мне на колени».*

Секут за гадливость.

Когда переходит с Хроменькой к Ал<ьфонски>м, говорит ей, чтоб об Гоголе и из нашего, о путешествиях, ничего.

Он ужасно много читал (Вальтер Скотт и проч.).*

У Альфонск<ого> — не братья. Ему дают знать.

Представляется грубым, неразвитым и дураком.

С лакеями.

А<льфонска>я возбуждает мысль, чтоб не вместе с детьми.

У Сушара. Альф<онски>й сечет его. Оказывается, напрасно. А<льфонска>я выдумала, бегство. С Куликовым. Поймали.

Гость: позвать его. Экзаменует его. Мысли откровенные.

Гость удивляется.

Дом горит или что-нибудь — болезнь.

А<льфонски>й говорит речи.

У Чермака. Развитие, чтение, экзамен.

После экзамена Альфонск<ий> влюбляет. Альфонский допрашивает. За Хроменькую. С Катей. Нива. Семейные сцены.

Альфонский, его друг, пощечина.

В Москве, Lambert.

О классическом образовании у Чермака. (Гер Тайдер)[*].

24/12 января.

Не от себя ли рассказ?

27 января.

Его поражает, что все эти люди (большие) совершенно верят в свою чепуху и гораздо глупее и ничтожнее, чем кажутся снаружи (один из *ученых* гостей падает, запивается и с цыганками в Марьиной роще).

Полоса неверия в бога. NB. Непременно о том, как действовало на него Евангелие. Согласен с Евангелием.

Главное покамест свое *я* и свои интересы. Философские же вопросы занимают его, насколько его касаются.

ПЕРВЫЕ СТРАНИЦЫ: 1) тон, 2) втиснуть мысли художественно и сжато.

NB. *Тон* (рассказ-*житие* — т. е. хоть и от автора, но сжато, не скупясь на изъяснения, но и представляя сценами. Тут надо гармонию). Сухость рассказа, иногда до «Жиль Блаза»[*]. На эффектных и сценических местах — как бы вовсе этим нечего дорожить.

Но и владычествующая идея жития чтоб видна была — т. е. хотя и не объяснять словами всю владычествующую идею и всегда оставлять ее в загадке, но чтоб читатель всегда видел, что идея эта благочестива,

что житие — вещь до того важная, что стоило начинать даже с ребяческих лет. Тоже — подбором того, об чем пойдет рассказ, всех фактов как бы беспрерывно выставляется что-то и беспрерывно постановляется на вид и на пьедестал будущий человек.

Чтоб в каждой строчке было слышно: я знаю, что я пишу, и не напрасно пишу.

1) Поймали мышь.

Хроменькая.

Старики.

Няня, мытье, орден на шее — и на покой.

Анна и Василиса бежали.

Последнее причащение (итальянец из кармана деньги) — первая мысль.

Учитель (пьяный).

Первая исповедь: что у него там в ящичках и в чаше. Есть ли бог?

Черта обратить.[42]

Битье Хроменькой.

Мертвый у забора. Кильян.

Василису продали.

Проценты и разговоры с гостем.

Чтения. О Суворове. Арабские сказки. Мечты. Умнов и Гоголь* (Хроменькая смеется).

Старик и старуха всё больше и больше слабеют. Запирал их. Напился пьян. Украли вместе с мальчиком. Избил его. *Драться с старшими мальчиками.* Хроменькую бьет, чтоб дралась с мальчиками. Та и выскочила бы, но ее отколотили, и она плакала. Полный разврат. Дразнили барыню, их[43]

Мечты о силе воли. Умнов (подглядывает голых, посягает на Хроменькую).

NB. Когда старики умерли — ему 11 лет, а Хроменькой десять.

Альфонский. Старик и старуха. Смерть. Он к Хроменькой речь, как держать себя.

Прежде того: дразнили барыню — напали, их затащили в дом высечь.

Жаловаться. Струсил. (Струсил сам, а мальчика избил).

Первое столкновение, бросился бить господина с орденом.

«Я никогда не струшу».

«Я выучусь не трусить».

Порезал себя для пробы.

Преподавание от мальчика <->. («Thérèse-philosophe» — избил его за это, а книжку удержал у себя).

Начал собирать деньги.

Копить (сообщает Хроменькой).

Хроменькую взяли в дом А<льфонс>ких раньше. Тот, как пришел, сейчас ее допрашивает. (Наставление ей: об Гоголе не рассказывай и ничего из *нашего).*

1-я часть. Мальчик дикий, но ужасно много о себе думающий.

Главное нотабене: деньги он стал собирать с идеей неясной, но идея эта всё утверждалась и доказывалась ему дальнейшим ходом дела. Главнейший же толчок был — переселенье к Альфонскому.[44]

Об чем он говорит с Хроменькой? Обо всех своих мечтах. «Когда я буду большой». «Я женюсь не на тебе». Так что не надо говорить: он мечтал о том-то, но он шел к Хроменькой и говорил ей то-то.

Об том, чем он будет, и о деньгах. *Бил ее за то, что не нарастали деньги.*

О чтениях Карамзина, сказок и прочее ей говорил. По-французски и по-немецки учили молодая, старушка и проч. Ходили учиться к другим детям (там над ними смеялись).

Что Хроменькая не воспламенялась Карамзиным — он ее бил.

Всю Библию знал — ей говорил.

Всемирная история — из географии плохо.

(Мечты о путешествиях, Кук с Хроменькой)*.

Читали романы.

(NB. Он сильно развит и много кой-чего знает. Гоголя знает и Пушкина*).

Встречается Умнов и доказывает ему, что больше его знает. Воротясь домой, он говорит Хроменькой, что Умнов дурак и ничего не знает, и прибил Хроменькую, а затем увивается за Умновым.

Никогда не нежничает с Хроменькой до самого того времени, как нес ее на руках.

Хроменькая: а я расскажу, как ты говорил, что будешь королем (или что-нибудь смешное), — режет ее за это.

«Сделайте это — обрежьте, я не желаю, чтоб вы учились с моими детьми».

Когда старички очень напивались и валялись, то Хроменькая над ними плакала. Он сначала ее бил, но потом перестал.

Зарезали гуся.

Библия. Иаков поклонился три раза*. Сливает с Библией. Хроменькая смеется.

Привычка ее бить; не хотел поцеловать ее.

(NB. Хроменькая не замерзла. Ее нашли. Но она исчезла из дома Альфонских).

Беспрерывная мысль его, как стал себя помнить: чем я буду и как это всё сделаю.

Потом сомнение: одна ли власть всего стоит и нельзя ли быть рабом всех сильнее.

Стал упражнять силу воли.

Укусили страсти.

Lambert и он — полная картина разврата. Но Lambert упивается им и не находит ничего выше. Национальное легкомыслие.

А *он* входит в разврат хотя и с неотразимым желанием, но и со страхом. Пустота, грязь и нелепость разврата поражают его. Он бросает всё и после ужасных преступлений с горечью предает себя сам.

Лакей Осип* — сначала взят в дом, тешит их рассказами, веселым характером. Засек А<льфонски>й брата Осипова, потом взял Осипа и свез в рекрутское присутствие. Тотчас же Осип бежал (он же и Кулишов). Убили Орлова*. Расстаются. Кулишов (Осип) отпустил его.

Через l½ года мачеха плачет об измене А<льфонско>го. Открыто держит любовницу. Осипова сестра. (Тут-то и засек брата Осипова). А<льфонско>го убивают крестьяне.* (?)

КАНВА РОМАНА. У великосветской жены А<льфонско>го (мачехи героя), еще когда она изнывала, засидевшись в девках, был жених (офицер или кто-то (учитель)). Но она вышла за Аль<фонс>кого. Недовольная и оскорбленная А<льфонски>м (била его любовницу по лицу), она завязала сношения с подвернувшимся прежним любовником. Мальчик видел, как она целовалась с ним. «Можете донести отцу» — и потом просила его не говорить. Мальчик смолчал; но А<льфонски>й знает, что сын знает, что у него рога и что у мачехи любовник. В

деревне поднял шум за Хроменькую. Натешился над Катей. Мать за Катю вышла из себя. В городе с Lambert'ом — и т. д.

Тут NB, NB. (А<льфонско>го, задурившего в деревне, *могли* убить крестьяне, чему мальчик мог быть свидетелем, и[45]

(Можно еще подсочинить о мачехе с любовником и в какой мере и степени мальчик *ввязан* в этот роман).

У А<льфонско>го есть благодетель — и именно первый враг, потому что благодетель. Все благодеяния его унижают его гордость. Тот же не может жить без роли благодетеля, но за вершок благодеяния требует на три сажени благодарности. Оба унижают себя, унижают друг друга и ненавидят друг друга до болезни.

Необычайная гордость мальчика делает то, что он не может ни жалеть, ни презирать этих людей. Он на них и негодовать очень не может. Не может ни отцу, ни матери симпатизировать. На экзамене он нечаянно отличился, — он хотел показаться идиотом. Он глубоко презирает себя за то, что не утерпел и отличился.

Опасная и чрезвычайная мысль, что он будущий человек необыкновенный, охватила им еще с детства. Он беспрерывно думает об этом. Ум, хитрость, образование — всё это он хочет приобресть как будущие средства к необыкновенности. Опять-таки деньги кажутся ему во всяком случае не лишними, везде пригодною силою, и он останавливается на них.

Науки кажутся ужасно трудны.

То опять кажется ему, что если он и не будет необыкновенным, а самый обыкновенный, то деньги дадут ему всё — т. е. власть и право презрения.

И наконец, он кается и мучается совестью в том, что ему так *низко* хочется быть необыкновенным. Впрочем, он сам не знает, чем он будет.

Чистый идеал свободного человека мелькает перед ним иногда; всё это в пансионе.

Подружился с Осипом, о хлыстах, вместе чуть не спят.

Умнов; знает наизусть Гоголя.

<*4*>

Монастырь. «Дай бог доброй ночи нам и всем диким зверям».

(NB. Хорошенько прочесть описания зверей: Гумбольдта, Бюффона, русских).*

Науки — богослужение.

О медведе*.

О первой любви и как он в монахи пошел (целомудрие).

О том, что такое сатана?*

Аникита идет к Чаадаеву усовещевать.* Зовет Тихона, тот идет, спорит и потом прощения просит.

О букашках и о вселенской радости *живой жизни:* вдохновенные рассказы Тихона.

Дружба с мальчиком, который позволяет себе мучить Тихона выходками. (Бес в нем).

Узнал о «Thérèse-philosophe» Тихон.

Благословляет на падение и на восстание.*

Ясные рассказы Тихона о жизни и земной радости. О семье, отце, матери, братьях. Чрезвычайно наивные, а потому трогательные рассказы Тихона о своих прегрешениях против домашних, относительно гордости, тщеславия, насмешек. («Так бы всё переделал это теперь», — говорит Тихон). NB. Уж одно то трогательно, что он с мальчиком связался.

Рассказ Тихона о своей первой любви, о детях. Монахом жить ниже, надо иметь детей, и выше, когда призвание имеешь. «Thérèse-philosophe» смутила Тихона. «А я думал, что уже закалился». Пошел в послушание к мальчику; слушается его.

NB. (Высоко, сильно и трогательно).

Тихон говорит одной барыне, что она и России изменница и детям злодейка. Как они детских образов еще с детства лишаются. Их изучения, хоть и точные (Лев Толстой, Тургенев), как бы чуждую жизнь открывают. Один Пушкин настоящий русский.*

Про Тихона у мальчика иногда низкие мысли: он так смешон, он так ничего не знает, он так слаб и беспомощен, ко мне лезет за советами, но под конец он догадывается, что Тихон коренником крепок, как ребенок чист, мысли дурной иметь не может, смущаться не может и потому все поступки его ясные и прекрасные.

Тихон. О смирении (как могуче смирение). Всё о смирении и о свободной воле.

О прощении непростимого преступника (что это мучение всего мучит сильнее).

<5>

3/15 мая.

главная мысль

После монастыря и Тихона Великий грешник с тем и выходит вновь на свет, чтоб быть *величайшим из людей.* Он уверен, что он будет величайшим из людей. Он так и ведет себя: он гордейший из всех гордецов и с величайшею надменностию относится к людям. При этом неопределенность формы будущего величия, что совершенно совпадает с молодостью. Но он (и это главное) *через Тихона* овладел мыслью (убеждением): что, чтоб победить весь мир, надо победить только себя. Победи себя и победишь мир. Карьера не избрана, но и некогда: он глубоко начинает глядеть за собою. Но рядом с тем и противоречия: 1) золото (накопление) (семейство на руках), накопление внушил Ростовщик, человек ужасный, антитез Тихону; 2) образование (Конт. Атеизм. Товарищи). Образование мучит его, и идеи, и философия, но он овладевает тем, в чем главное дело. Вдруг юношество и разврат. Подвиг и страшные злодейства. Самоотвержение. Безумная гордость. От гордости идет в схимники и в странники. Путешествие по России. (Роман, любовь, жажда смирения) и проч., и т. д., и т. д.

Падание и восставание.

NB. (Канва богатая).

Человек необычайный — но что же он сделал и совершил.

Черты. От гордости и от безмерной надменности к людям он становится до всех кроток и милостив — именно потому, что уже безмерно выше всех.

NB) Застрелиться хотел (подкинули младенца).

Кончает воспитательным домом у себя и Гасом становится.* Всё яснеет.

Умирает, признаваясь в преступлении.

16/28 февраля <18>70.

Великолепная мысль. Иметь в виду

Идея романа.

Романист (писатель). В старости, а главное от припадков, впал в отупение способностей и затем в нищету. Сознавая свои недостатки, предпочитает перестать писать и принимает на бедность. Жена и дочь. Всю жизнь писал на заказ. Теперь уже он не считает себя равным своему прежнему обществу, а в обязанностях перед ними. Критики, которым он, однако, про себя говорит *«подлецам»* (ниже всех будто бы; в результате же выше всех). Эпизоды из своей бывшей жизни, как бы в назидание детям и проч. Публичные лекции. О том, как он много идей выдумал, и литературных, и всяких. Тон как будто насмешки над собой, но про себя: «А ведь это так». Как его и дети, и жены, и М<илюко>вы <?> считают за ничто.* Как подают ему Т<ургене>в, Гончар<ов>, Плещеев, Аксаков, поругался с С<алтыковы>м (?)*. Как про себя вдруг написал превосходное произведение. Слава и деньги. И проч., и проч. NB. Тема богатая. — Ну, положим, с графом Л. Толстым или с г<осподином> Тургеневым (NB. никогда с просто Тургеневым без г<осподина>) не равняю; *даже с* другим графом Толстым не равняю, но реалист Писемский — это другое дело! Ибо это водевиль французский, который выдают нам за русский реализм.

NB. О скоротечности жизни и рассказы — поэтическое представление вроде «Сна Обломова»*, о Христе (и про себя потом: это стоит по 200 руб. с листа, а я им это даром, а они думают, что мне благодетельствуют).

О направлениях и идеях, бывших в литературе.

Мысль на лету

В губернский город приезжает фельдмаршал с беременной любовницей. Прельстить опять мужа. Муж с правилами, самосовершенствование, подкидные дети. Не пленяется, но ровен и любит. Входя в желание обольстить мужа, она обольщается сама. Князь — потерянный человек. Желает она бежать наконец от обольщения, ибо поддалась, князя выводит из себя, тот ревнует к мужу, бьет его по лицу, убивает (но не убил). (NB. Она убить подзадорила, но не говорила словами, а разжигала ревность). Когда же тот выстрелил в мужа — бросила князя и окончательно отдалась мужу. Князь убил себя? NB. Муж принял, но только что принял, так она и соскучилась. С гимназистом, с губернатором.

Пустынник — Мария Египетская.*

Князя заставляет оскорбить свою мать. (Эксперименты над князем поминутно).

NB) Соблазняет мужа до того, что отдается ему.

NB) Она из-за границы, ей хочется посмотреть на нигилиста. Приезжает один учитель-нигилист. (Убийство мужа; князь входит в дружбу и подговаривает (?) нигилистов убить).

Была на казни Тропмана. Описание казни. О том, что он был прелестен.

NB. Или учитель ее отвергает, т. е. не отвергает, но не прельщается (хоть, может быть, и имел). Тогда она мстит ему, и когда отмщает (убивает), тогда плачет.

Князь — трагическая фигура. (В нем *зерно* приключений и происшествий романа).

Жена, бывшая на содержании у фельдмаршала, отданная им с вознаграждением мужу-учителю, кружит ему голову, заставляет его оскорбить его мать, убивает фельдмаршала, заставляет мужа драться на дуэли с оскорбителем (одним молодым князем, любовником ее на минутку), переворачивает всю губернию, умирает наконец при рыдающем муже.

Мысли новых повестей

Настасья — высокая дворовая девушка, даже рябая, тихая, приехал помещик, жил, прижил ребенка, Григорий и Федосья, женился, умерла в родах.

Новые повести

1)

Самоубийства. Чиновник или кто-нибудь, бесталанный, дрянной, которому ничего не удается. Сам знает, что он дрянь. Самолюбие и самомнение до сумасшествия. В знатном доме, куда он ходит по делу, над ним смеются. Его презирают, считают за ничто. Дочь генерала выходит замуж. Он не то что влюблен в невесту, но он завидует. Он хотел было застрелиться, но вдруг мысль: похитить дочь генерала, невесту, накануне свадьбы, завести и обесчестить. Ходил в какой-то клоак (вроде фон Зона). Случайно заманил. Наедине с дочерью. Сцена, развить и т. д. (фантастический колорит, «Пик<овая> дама»).

2)

Дети, брат и сестра, маленькие, убежали от отчима. Странствования по Петербургу. Погибают. (Отчим, характер сообщить Мих<аила> Н<иколаев>ича <?>. Англичанин.

Идея

Чиновник, скучно, «а не поджечь ли?»
Ему дали пощечину. Он поджег (в воображении).
Он убил. Страшные впечатления. Занялся.
Мечты об острове на Балтийском море.
(Пружанская*).
Пустота души нынешнего самоубийцы.*

<заметки, планы, наброски>

Гамлет-христианин.

Повесть о русском сером мужичке Иване Матвеевиче Проходимове.

Апокрифическое евангелие. (NB. Искушение дьяволово, глиняная птица пред нищими духом.* Социалисты и националисты в Иерусалиме. Женщины. Дети).

Дети. Мать, вышедшая вторично замуж. Группа сирот. Сведенные дети. Боец за правду. Смерть измученной матери. Протест детей. Бежать? Идут на улицу. Боец один. Странствия, и т. д.

Школьный учитель, роман (описание эффекта чтений Гоголя, «Тараса Бульбы»*). Враги, волостной писарь (корреспонденцией дозволяются)*.

Фантастическая *поэма-роман:* будущее общество, коммуна, восстание в Париже, победа, 200 миллионов голов*, *страшные язвы,* разврат, истребление искусств, библиотек, замученный ребенок*. Споры, беззаконие. Смерть.

Застрелившийся и бес вроде «Фауста». Можно соединить с *поэмой-романом,* и т. д.

<Драма. В Тобольске…>

13 сент<ября> 74 <г.> Драма. В Тобольске, лет двадцать назад, вроде истории Иль<ин>ского. Два брата, старый отец, у одного невеста, в которую тайно и завистливо влюблен второй брат. Но она любит старшего. Но старший, молодой прапорщик, кутит и дурит, ссорится с отцом. Отец исчезает. Несколько дней ни слуху ни духу. Братья говорят об наследстве. И вдруг власти: вырывают из подполья тело. Улики на старшего (младший не живет вместе). Старшего отдают под суд и осуждают на каторгу. (NB. Ссорился с отцом, похвалялся наследством покойной матери и прочая дурь. Когда он вошел в комнату и даже невеста от него отстранилась, он, пьяненький, сказал: «Неужели и ты веруешь?» Улики подделаны младшим превосходно). Публика не знает наверно, кто убил.

Сцена в каторге. *Его* хотят убить.

Начальство. Он не выдает. Каторжные клянутся ему братством. Начальник попрекает, что отца убил.

Брат через 12 лет приезжает его видеть. Сцена, где *безмолвно* понимают друг друга.

С тех пор еще 7 лет, младший в чинах, в звании, но мучается, ипохондрит, объявляет жене, что он убил. «Зачем ты сказал мне?» Он идет к брату. Прибегает и жена.

Жена на коленях у каторжного просит молчать, спасти мужа. Каторжный говорит: «Я привык». Мирятся. «Ты и без того наказан», — говорит старший.

День рождения младшего. Гости в сборе. Выходит: «Я убил». Думают, что удар.

Конец: тот возвращается. Этот на пересыльном. Его отсылают. Младший просит старшего быть отцом его детей.

«На правый путь ступил!»

<Композитор>

Композитор. Великий музыкант приговорен судом дать оперу.
Дал pastorale.
«Леди, вы меня любили».
И странный эффект.

Козлову

Дрезденская Мадонна[*], Лизав<ета> Кузьминишна. Я, «неровен-то пес навяжется». Страхов. Сватовство. Не устоял перед обедом. Покушал. Не объяснился. Плачет. «Я на вас женюсь»[*]. Хохочет — etc.

Сороковины

Книга странствий

Мытарства 1 (2, 3, 4, 5, 6, и т. д.)

(Сатана. Вы все были обмануты).

М<олодой> человек. Меня всего более бесит, что ко мне приставлен ты.

(Я дезорганизацион…)

Такая пустая и глупая шутка.

— Как ты глуп.

— Да ведь вы и бога принимали в виде чего-то *разлитого* (пролитого).

Отцы и дети

Роман. *Отцы и дети.*

Мысли:

Мальчик сидит в колонии для малолетних преступников*, ненавидит всех и мечтает, когда объявятся его родные (князья и графы). Любит правду.

Муж убил жену; но видел девятилетний сын. Скрыли труп в подполье. Отец и сын обнимаются и трепещут. Сын любит отца, но отец видит, что сын поражен и мучается смертью матери. Оба пока принимают меры спрятать и спрятаться. (Вроде как в «Преступлении и наказании»). Наконец отец решается предать себя для правды и для сына, и для *правды перед сыном.* Перед преданием обнимает сына поминутно (продолжается несколько дней) и всё спрашивает его: будешь или нет любить правду, честь и проч.? Он предает себя, для того чтоб сын продолжал любить его потом, хоть память его. Сыну не говорит, что идет предавать себя, но сын уже это понимает. Идут вместе предавать. Отец доносит на себя, а сын свидетелем.

Отец, оставшись вдовцом после жены, узнает, что сын его, *не его,* а от любовника.* По крайней мере подозревает. Заводит ночью, оставляет где-то на улице на морозе и сам бежит от него. Потом не может найти.

Дети, бежавшие сами от отца.

Дети, в толпе, одолевающие неправду, одерживают победы, торжествуют и т. д.

Тип мечтателя. (Смотри в старых книжках).*

Мальчик три дня у Спаса под престолом.*

Американская дуэль* 2-х гимназистов за Льва Толстого.

Мальчик (отрок) — сокрушитель женских сердец и знаток женщин.

NB. Для жены важно лишь то, чтоб муж оставался ей верным на

деле; мечты же его о других идеалах и женщинах не могут смутить ее нисколько. Самая радикальная измена мужа в мечтах (н<а> пр<имер>, влюблен) значит для жены ничто сравнительно с самой крошечной изменой на деле (в случае какого-нибудь совсем случайного и *нечаянного* совокупления с какой-нибудь летучей женщиной, которая побыла минуту и ушла навеки).

Баня. Аполлонова нога*.

Вся история Кронеберга* в эпизоде романа, и с Сусловой, свидетельствующей о пороках девочки.*

*Митрофания**. И кричит адвокат исступленно-либерально-заимствованно, и ударяет по сердцам исступленно-либеральным-заимствованным— «Не жена, а Прокопия или Агафония*».

Отцы и дети. Рассказ Феди о *Крымске* и о своем брате*. В фребелевской школе*, и новейшие учительницы возбуждают на него целую бурю; стыдят его за ложь, срамят перед товарищами (возбуждая в них же дурные инстинкты ненависти), подвергают насмешкам, возбуждают в нем стыд и ненависть — и приводят его к отчаянию и к падению. Тут отец Кронеберг и т. д.

Жемчужников и «Богородица»*.

Семейство. «Из-за трех целковых». Смерть с этими словами. Память вдовы, детей.

Мечтатель

<1>

Scroudge et Marly[*]. Мечтатель (у него сын, которым он мало занимается физически, но духовно (иногда) воспламеняет его). Жену только воображает, что сжег[*] (мачеха мальчика), но когда еще он воображал, принесли и с оторванными ногами (железо-конная дорога[*]). Она умерла, *прося у него прощения (по-русски).*

<2>

Мечтатель (его биография).

<3>

Мечтатель, приезд и отец его, война и спиритизм[*] — всё от Мечтателя.

<4>

Мечтатель. Раз он вынес позорную ругань от начальника за небрежность.

— Неужели же вы думаете, что я бы мог жить, если б не мечтал. Да я бы застрелился, если б не это. Вот я пришел, лег и намечтал.

— Я вам расскажу одно впечатление моей 1-й молодости, — сказал он *с грустным лицом.*

— Нет, я не очень (п)резираю себя. У меня бывает столько великодушных идей, которые меня так очищают.

Смешливый. Смеется один.

Про отца.

Выдумывает, но это всё же он не выдумал.

Он — он спился, он не вынес. Я — мечтатель, я выношу. Я бы вынес.

<5>

Начало романа. Мечтатель. Два критика.* «Но я не в праве писать роман: за мной две статьи*» <…>

<6>

РОМАН

6-го ноября <18>76.

Мечтатель.

Но в душе всегда, вечно, вопрос (и прежде был) сквозь мечту: быть правдивым и честным, сметь быть правдивым и истинным, осмелиться принять *истину* со всеми последствиями.

Он сознал наконец, что мечта (как *сон* женщины в «Пугачевцах»*) только спасла его от отчаяния и от ригоризма вопросов*.

Сперва только стыд жить при жене, не будучи мужем, *на жаловании,* его мучил.

NB. Женщину мучает вопрос: действительно ли он уверен, что она жила с любовником. Она же *не жила,* но таит от него и делает вид, как бы жила.

Стряхнуть паралич мечтательности и стать человеком. (Выставленный язык, отказ от дуэли*, 100 р. украденных). Он спасался от этого мечтой, в мечте был идеалом благородства.

Когда сошелся потом с женой (т. е. в таинственных украдочных разговорах), то стал вдруг ее другом, и так как он как бы уже оторвался от мира, то и рассказывает ей, как бы он мечтал стать перед ней героем, влюбить ее в себя.*

Это он ей рассказывает: из сего отношения грациозные, дружественные, полные любви. Жена удивляется (история Карла Иванов<ича?> и выбросившейся девушки).

«Я лгу и живу в мечтательном мире, хочу действительного».

Насилует себя стать спасителем ребенка.

Сначала насилует, а потом и непосредственно полюбил и рад, что может жизнь снова начать. Но тут же опять мечтает (и о ребенке), прикрашивая.

Он мечтатель, но не идеалист, а с полным скептицизмом.

— Если б вы знали, какой я скептик.

Он не знает, религиозен ли он, но выдумал небо и верит в него — и тем *утешает* себя в недостатке веры.

Рассказывает, как он мечтал быть Христовым посланником.

Так глаголет господь.

— Самое *бытие* есть наслаждение, единственное (но бытие не вечно, я бегу этого вопроса и затыкаю уши мечтами).

Натура художественная (говорит ему жена). Но ничего не пишет. Игривое и грациозное объяснение его, почему он не пишет.

Между тем отношения между женою и им всё больше закрепляются. Она любит его ужасно.

А параллельно идет действительная жизнь (NB. придумать) и его втягивает и ее. Он всё *портит*, всякую действительность мечтами.

Но и *не портит, а* делает ее, да так еще, как ни един из людей, но, доделав, не привязывается к делу, а как будто с плеч долой, «оставьте в покое» и мечтать.

Страсть к жене. Жена обманывает его ложным романом, чтоб возбудить ревность. Он чувствует страдание, но отпускает ее. Хочет убить себя.

Она открывается ему во всем — и в любви, *и что верна была*, и берет его как он есть.

Но он убивает себя. (Одна из болезней века).

<7>

— Говори, Христа бога моего, говори!

— Ну, Христа бога моего.

— А хоть ты и не веришь, хоть ты и говоришь с улыбкой (да только с доброй), он, Христос, тебя и простит — и тебя, и меня. Сам сказал: «Хулу на меня прощу, лишь на Духа хула не прощается».

— А что такое Дух?

— А Дух то, что теперь между нами и почему у тебя лицо стало добрее, то, почему ты плакать захотел, потому что у тебя дрожали губы, — врешь, не гордись, дрожали, я видел. Дух то, что тебя из Америки привело в этот день вспомнить елку Христову в родительском доме.* Вот что Дух.

— Ну и пусть.

— Ее только нет, вот что худо.

— А знаешь, отец, славный ты малый, вот что!

В повесть Некрасову

<1>

Современный человек. И мстит за все обиды, которые никто ему не сделал и не думал делать.

<2>

Некрасову.

«Я-то дурак, да и родился так, а вы…» и т. д.

<3>

НЕКРАСОВУ.

— Живите со мной по дружбе.

— Трудно ужиться-то с тобой, вот что. С тобой и супруга не ужилась. (NB. Супругу ревнует к мировому посреднику).

Баба. Что ты, Савельич дурак. Ангел он, ангел!

— Так ведь я, Харитовна, и говорю ему, ровно ангелу. Ан ангел-то меня за это в рожу бы побил.

<Слесарек>

Слесарек-то придет, чайку напьется, а полковник-то пойдет да сядет там в карты и проиграет.

— Дура.
— От дуры слышала.
— Только то и умеешь, слышала от других.
— А вы против начальства говорите, которое нас здесь призревает.

Полковник-то опоздает, а слесарек-то прежде придет.

«Вот ты сказала, что бог справедлив, ан вот и нет».

— Еще когда-то его (полковника) придавит, а этот коленку сшиб.
— А зато он, может, в раю будет, а полковник-то нет. Во аде будет.
— Это за то, что карету-то нанял.
— Это в каком же таком раю?
— Эх ты, глупая, мне-то пускай за то, что я верой не верую, а тебе-то за что: вот ты веруешь, а ведь и ты без кофею?
— А это мне за тебя же страдать пришлось. Зато я в раю буду.
— Это за кофей-то? Это за то, что кофею не напилась?
— Да, за то, что не напилась. И буду, на зло тебе буду.
— Еще когда-то будешь, а теперь сиди без кофею.
— Оно хоть правда, что без кофею, да всё же не серди ты меня, Прохоровна, отстань, злой язык человеческий.
— Дура.
— От дуры слышала.

— Эх вы, бабушки, попотчевали бы гостью, заварили бы нового.

«Один воздух — синь. Это всё узнали».

«Лукерьюшка, *понимала я* это так».

— Ты-то внизу, во аде, а я на тебя буду сверху глядеть.

— Всё это один разговор.

«И богатый человек, и в мундире, а все-таки опоздает, а слесарек-то, и бедненький, а идет да идет».

«Вот ты сказал, что бог справедлив, ан вот и нет — богатый всегда прежде богатеет».

— Ах ты, Прохоровна, да он, может, на погибель свою поскакал, а этот хоть и упал, да тем самым, может, его бог сохранил, честный, дескать.

— А все-таки он коленку сшиб.

— А за то он в рай попадет.

<История Карла Ивановича>

— Кто же пожелат переменить голову с один товаришь на другого, тот платит еще 10 руб. за раз.

И голову поставил с большим сбережением и сказаль его другу: «Ложить-с». И его друг смотрель и весь дрожаль и сказаль: «Я очень боюсь, Карл Иваныч». Тогда я длинный минут на него всё смотрель и сказаль: «Ви измениль ваш друг». И он мне сказаль: «Потому что я очень боюсь, Карл Иванович», и я сказаль:

— Так друг ваш и останется без вашей головы, а ви остались с вашей фальшивой головой.

И он всё дрожаль, и я его прогналь.

<отрывки>

<1>

Однако с этим шутить нельзя. Подумал, подумал да, проходя по Литейной, и завернул к Николаю Ивановичу. Доктор он, но не практикует, а по ученой части, где по министерству состоит и мундир вроде военного, с эполетами такими, носит. Человек мрачный и отрывистый, и давно я его не видал.

— Я ведь не практикую, чего ж ко мне лезете, — так прямо и оборвал, а добрейший ведь человек.

— Да вы выслушайте, говорю, — и объяснил ему что и как.

— Ну, так что же, очень вас больно искусал?

— Да нет же, не кусал! (Это он нарочно спросил, из досады; отрывистый человек!) Он только мне руку жал, говорю; так вот, думаю, не пристало бы от руки-то? Потная такая рука.

— Пристанет непременно (сам по комнате ходит).

— Как!!? — так я тут и закричал благим матом, со стула вскочил.

— Непременно взбеситесь, на девятый день.

— Господи! Николай Иванович. И неужели нет спасительных средств <?>

— Я вам анекдот расскажу.

<2>

Какова я собою, чтобы всё устроилось.

Поглядела на него с удивлением.

— Я ведь только для того, чтоб не вышел скандал, так как это дело, так сказать, семейное.

<3>

Столкнулись трое лбами

Да я и не думал думать
Всё это старая музыка

<перечни тем>

<1>

Мечтатель*.
Великий Инквизитор и Павел.
Великий Инквизитор со Христом.
В Барселоне поймали черта.*
Тайный совет*, кн<язь> Д. Обол<енски>й, три звезды на фраке, встреча с учительницами, дело в части, бежавший сумасшедший.

<2>

24 декабря (18)77 г.
Mémento.[46] На всю жизнь.
1) Написать русского Кандида.
2) Написать книгу о Иисусе Христе.
3) Написать свои воспоминания.
4) Написать поэму «Сороковины».
NB. (Всё это, кроме последнего романа и предполагаемого издания «Дневника», т. е. minimum на 10 лет деятельности, а мне теперь 56 лет).

Стихотворения и стихотворные наброски

На европейские события в 1854 году

С чего взялась всесветная беда?
Кто виноват, кто первый начинает?
Народ вы умный, всякой это знает,
Да славушка пошла об вас худа!
Уж лучше бы в покое дома жить
Да справиться с домашними делами![*]
Ведь, кажется, нам нечего делить
И места много всем под небесами.
К тому ж и то, коль всё уж поминать:
Смешно французом русского пугать!

Знакома Русь со всякою бедой!
Случалось ей, что не бывало с вами.
Давил ее татарин под пятой,
А очутился он же под ногами.
Но далеко она с тех пор ушла!
Не в мерку ей стать вровень даже с вами;
Заморский рост она переросла,
Тянуться ль вам в одно с богатырями!
Попробуйте на нас теперь взглянуть,
Коль не боитесь голову свихнуть!

Страдала Русь в боях междоусобных,
По капле кровью чуть не изошла,
Томясь в борьбе своих единокровных;
Но живуча святая Русь была!
Умнее вы, — зато вам книги в руки!
Правее вы, — то знает ваша честь!
Но знайте же, что и в последней муке
Нам будет чем страданье перенесть!
Прошедшее стоит ответом вам, —
И ваш союз давно не страшен нам[*]!

Спасемся мы в годину наваждений,

Спасут нас крест, святыня, вера, трон!
У нас в душе сложился сей закон,
Как знаменье побед и избавлений!
Мы веры нашей, спроста, не теряли
(Как был какой-то западный народ);
Мы верою из мертвых воскресали,
И верою живет славянский род.
Мы веруем, что бог над нами может,
Что Русь жива и умереть не может!

Писали вы, что начал ссору русской[*],
Что как-то мы ведем себя не так,
Что честью мы не дорожим французской,
Что стыдно вам за ваш союзный флаг,
Что жаль вам очень Порты златорогой,
Что хочется завоеваний нам,
Что то да се… Ответ вам дали строгой,
Как школьникам, крикливым шалунам.
Не нравится, — на то пеняйте сами,
Не шапку же ломать нам перед вами!

Не вам судьбы России разбирать!
Неясны вам ее предназначенья!
Восток — ее! К ней руки простирать
Не устают мильоны поколений.

И властвуя над Азией глубокой,
Она всему младую жизнь дает,
И возрожденье древнего Востока
(Так бог велел!) Россией настает.
То внове Русь, то подданство царя,
Грядущего роскошная заря!

Не опиум, растливший поколенье,
Что варварством зовем мы без прикрас,
Народы ваши двинет к возрожденью
И вознесет униженных до вас!

То Альбион, с насилием безумным
(Миссионер Христовых кротких братств!),
Разлил недуг в народе полуумном,
В мерзительном алкании богатств!
Иль не для вас всходил на крест господь
И дал на смерть свою святую плоть?

Смотрите все — он распят и поныне,
И вновь течет его святая кровь!
Но где же жид, Христа распявший ныне,
Продавший вновь Предвечную Любовь?
Вновь язвен он, вновь принял скорбь и муки,
Вновь плачут очи тяжкою слезой,
Вновь распростерты божеские руки
И тмится небо страшною грозой!
То муки братии нам единоверных
И стон церквей в гоненьях беспримерных!

Он телом божьим их велел назвать,
Он сам, глава всей веры православной!
С неверными на церковь воевать,
То подвиг темный, грешный и бесславный!
Христианин за турка на Христа!
Христианин — защитник Магомета![*]
Позор на вас, отступники креста,
Гасители божественного света!
Но с нами бог! Ура! Наш подвиг свят,
И за Христа кто жизнь отдать не рад!

Меч Гедеонов в помощь угнетенным,[*]
И в Израили сильный Судия!
То царь, тобой, всевышний, сохраненный,
Помазанник десницы твоея!
Где два иль три для господа готовы,
Господь меж них, как сам нам обещал.
Нас миллионы ждут царева слова,
И наконец твой час, господь, настал!

Звучит труба, шумит орел двуглавый
И на Царьград несется величаво!

На первое июля 1855 года

Когда настала вновь для русского народа
Эпоха славных жертв двенадцатого года
И матери, отдав царю своих сынов,
Благословили их на брань против врагов,
И облилась земля их жертвенною кровью,
И засияла Русь геройством и любовью,
Тогда раздался вдруг твой тихий, скорбный стон,*
Как острие меча, проник нам в душу он,
Бедою прозвучал для русского тот час,
Смутился исполин и дрогнул в первый раз.

Как гаснет ввечеру денница в синем море,
От мира отошел супруг великий твой.
Но веровала Русь, и в час тоски и горя
Блеснул ей новый луч надежды золотой…
Свершилось, нет его! Пред ним благоговея,
Устами грешными его назвать не смею.
Свидетели о нем — бессмертные дела.
Как сирая семья, Россия зарыдала;
В испуге, в ужасе, хладея, замерла;
Но ты, лишь ты одна, всех больше потеряла!

И помню, что тогда, в тяжелый, смутный час,
Когда достигла весть ужасная до нас,
Твой кроткий, грустный лик в моем воображеньи
Предстал моим очам, как скорбное виденье,
Как образ кротости, покорности святой,
И ангела в слезах я видел пред собой…
Душа рвалась к тебе с горячими мольбами,
И сердце высказать хотелося словами,
И, в прах повергнувшись, вдовица, пред тобой,
Прощенье вымолить кровавою слезой.

Прости, прости меня, прости мои желанья;

Прости, что смею я с тобою говорить.
Прости, что смел питать безумное мечтанье
Утешить грусть твою, страданье облегчить.
Прости, что смею я, отверженец унылой,
Возвысить голос свой над сей святой могилой.
Но боже! нам судья от века и вовек!
Ты суд мне ниспослал в тревожный час сомненья,
И сердцем я познал, что слезы — искупленье,
Что снова русской я и — снова человек!

Но, думал, подожду, теперь напомнить рано,
Еще в груди ее болит и ноет рана…
Безумец! иль утрат я в жизни не терпел?
Ужели сей тоске есть срок и дан предел?
О! Тяжело терять, чем жил, что было мило,
На прошлое смотреть как будто на могилу,
От сердца сердце с кровью оторвать,
Безвыходной мечтой тоску свою питать,
И дни свои считать бесчувственно и хило,
Как узник бой часов, протяжный и унылый.

О нет, мы веруем, твой жребий не таков!
Судьбы великие готовит провиденье…
Но мне ль приподымать грядущего покров
И возвещать тебе твое предназначенье?
Ты вспомни, чем была для нас, когда он жил!
Быть может, без тебя он не был бы, чем был!
Он с юных лет твое испытывал влиянье*;
Как ангел божий, ты была всегда при нем;
Вся жизнь его твоим озарена сияньем,
Озлащена любви божественным лучом.

Ты сердцем с ним сжилась, то было сердце друга.
И кто же знал его, как ты, его супруга?
И мог ли кто, как ты, в груди его читать,
Как ты, его любить, как ты, его понять?
Как можешь ты теперь забыть свое страданье!

Все, все вокруг тебя о нем напоминанье;
Куда ни взглянем мы — везде, повсюду он.
Ужели ж нет его, ужели то не сон!
О нет! Забыть нельзя, отрада не в забвеньи,
И в муках памяти так много утешенья!!

О, для чего нельзя, чтоб сердце я излил
И высказал его горячими словами!
Того ли нет, кто нас, как солнце, озарил
И очи нам отверз бессмертными делами?
В кого уверовал раскольник и слепец,
Пред кем злой дух и тьма упали наконец!
И с огненным мечом, восстав, архангел грозный,
Он путь нам вековой в грядущем указал…
Но смутно понимал наш враг многоугрозный
И хитрым языком бесчестно клеветал…

Довольно!.. Бог решит меж ними и меж нами!
Но ты, страдалица, восстань и укрепись!
Живи на счастье нам с великими сынами
И за святую Русь, как ангел, помолись.
Взгляни, он весь в сынах, могущих и прекрасных;
Он духом в их сердцах, возвышенных и ясных;
Живи, живи еще! Великий нам пример,
Ты приняла свой крест безропотно и кротко…
Живи ж участницей грядущих славных дел,
Великая душой и сердцем патриотка!

Прости, прости еще, что смел я говорить,
Что смел тебе желать, что смел тебя молить!
История возьмет резец свой беспристрастный,
Она начертит нам твой образ светлый, ясный;
Она расскажет нам священные дела;
Она исчислит все, чем ты для нас была.
О, будь и впредь для нас как ангел провиденья!
Храни того, кто нам ниспослан на спасенье!
Для счастия его и нашего живи

И землю русскую, как мать, благослови.

<На коронацию и заключение мира>

Умолкла грозная война![*]
Конец борьбе ожесточенной!..
На вызов дерзкой и надменной,
В святыне чувств оскорблена,
Восстала Русь, дрожа от гнева,
На бой с отчаянным врагом
И плод кровавого посева
Пожала доблестным мечом.
Утучнив кровию святою
В честном бою свои поля,
С Европой мир, добытый с боя,
Встречает русская земля.

Эпоха новая пред нами.
Надежды сладостной заря
Восходит ярко пред очами…
Благослови, господь, царя!
Идет наш царь на подвиг трудный
Стезей тернистой и крутой;
На труд упорный, отдых скудный,
На подвиг доблести святой,
Как тот гигант самодержавный,[*]
Что жил в работе и трудах,
И, сын царей, великий, славный,
Носил мозоли на руках!

Грозой очистилась держава,
Бедой скрепилися сердца,
И дорога родная слава
Тому, кто верен до конца.
Царю вослед вся Русь с любовью
И с теплой верою пойдет
И с почвы, утученной кровью,
Златую жатву соберет.

Не русской тот, кто, путь неправый
В сей час торжественный избрав,
Как раб ленивый и лукавый,
Пойдет, святыни не поняв.

Идет наш царь принять корону…*
Молитву чистую творя,
Взывают русских миллионы:
Благослови, господь, царя!
О ты, кто мгновеньем воли
Даруешь смерть или живишь,
Хранишь царей и в бедном поле
Былинку нежную хранишь:
Созижди в нем дух бодр и ясен,
Духовной силой в нем живи,
Созижди труд его прекрасен
И в путь святой благослови!

К тебе, источник всепрощенья,
Источник кротости святой,
Восходят русские моленья:
Храни любовь в земле родной!
К тебе, любивший без ответа
Самих мучителей своих,
Кто обливал лучами света
Богохулителей слепых,
К тебе, наш царь в венце терновом,
Кто за убийц своих молил
И на кресте, последним словом,
Благословил, любил, простил!*

Своею жизнию и кровью
Царю заслужим своему;
Исполни ж светом и любовью
Россию, верную ему!
Не накажи нас слепотою,
Дай ум, чтоб видеть и понять

И с верой чистой и живою
Небес избранника принять!
Храни от грустного сомненья,
Слепому разум просвети
И в день великий обновленья
Нам путь грядущий освети!

Шуточные стихи, пародии, эпиграммы

Эпиграмма на баварского полковника

Я лечу, лечу обратно,
Я хочу упасть назад,
Так на свете всё превратно:
Нынче шах, а завтра мат.

<Описывать все сплошь одних попов…>

Описывать всё сплошь одних попов,
По-моему, и скучно, и не в моде;
Теперь ты пишешь в захудалом роде;
Не провались, Л<еск>ов.

<Борьба нигилизма с честностью (Офицер и нигилистка.)>

<От редакции «Последней странички»[47]>

1

В нашу Редакцию, как и во всякую, вместе с статьями удовлетворительными часто присылается авторами самый безрассудный хлам. Сочинители бывают странные. И все обидчиво требуют, чтобы их напечатали с гонораром. Хлам, конечно, нельзя печатать; но дурачество доходит иногда до гениальности. Одну из таких статей, да еще в стихах, помещаем ниже, надеясь удивить читателя. Чтоб быть добросовестными, мы снеслись с автором, не утаив истины, то есть что если и печатаем произведение его, то не иначе как верх нелепости. Он с гордостию дозволил — до того доходит иногда страстишка видеть себя напечатанным. Впрочем, он, наверно, надеется, что публика с нашим мнением не согласится. Скажем прямо: стихи нелепые. Мысль отчасти верна, но глупо выражена. Действительности никакой, ибо нигде не бывает таких портиков. А между тем как будто что-то и верно. Нигилистка объясняется хоть и глупо, но вполне по Дарвину[*]. Офицер тоже выдерживает характер: эстетик и отличается позорною слабостью к полу (le sexe). Так что если б не было так глупо, то было бы, может быть, и умно. Вообще это произведение бездарности, одушевленной благородными чувствами. Впрочем, вот вся эта сцена в стихах с ее ретроградным заглавием.

Борьба нигилизма с честностью

(Сцена почище комедии)

Действующие.

Офицер, впрочем отставной и из Костромы, 40 лет, собой как и все; капельку толст. Со шпагой и при своем капитале. Желает исполнить закон. Но слышал о нигилистах и, прежде чем выбрать невесту, желает истребить их всех до единого. С этой целью прибыл в столицу. Читал не много, слышал не ясно. О фиктивном браке не имеет понятия, что и составляет фатум статьи. Губит себя излишним благородством души, хотя заметно неостроумен. Пылок. Поражается умом. При всякой новой идее стоит как баран, увидавший новые ворота; но, раскусив противуречие, мигом весь краснеет как индийский петух и сердится. Вообще глупая смесь бараньего и петушьего. Любит сладкое. Замечательно добрый человек.

Нигилистка, 22 года, стрижена. Особа путешествующая. Слушала лекции; делала ответы, видала виды. Хитра и пронырлива. Фанатична. Брюнетка, стройна, недурна очень и знает это. Напоминает осу. Любит горькое. Пропагандирует *где* попало, даже на лестницах.

Занавес подымается

Дрянной кирпичный портик, старый и выкрашенный желтою краскою. Двенадцать обколотых узеньких ступенек. **Офицер** с неопущенною шпагой наголо бежит вверх по ступенькам, кричит и желает истребить всех нигилистов. Навстречу ему медленно спускается **нигилистка**. Их взгляды встречаются. **Офицер** поражен; останавливается.

Нигилистка

Куда стремишься, офицер?

Офицер

Стремлюсь освободить Россию!

Нигилистка *(с вывертом)*

Давно ль, мой милый «командер»,
Ты влопался в сию стихию?

Офицер *(со строгостию)*

Давно ль власы остригла ты?

Нигилистка *(полузакрывая ресницы)*

С тех пор как о вопросе женском
Познала первые мечты.

Офицер *(пораженный снова)*

Служив в просторе деревенском
Среди природной простоты,
Не мог познать я сих вопросов.
Во всем полку один лишь Носов,
Поручик, «Сына» получал.
Но о вопросах «Сын» молчал.*
Спрошу тебя как верный Росс,
Что значит женский сей вопрос?

Нигилистка

Мне кажется, что ты не рос.

Офицер

Я Росс!!

Нигилистка

Но ты меня не понял.
Я говорю, что ты не рос,
Лишь в смысле том, что не дорос.

Офицер

Твой каламбур меня не пронял.

Нигилистка

Но я сейчас тебя пройму.
Представь, что, снова в Кострому
В фиктивном браке возвратясь
И уж на церкви не крестясь,
Ты приступил со мной скорей
К распространению идей…

Офицер *(ослабевая от удовольствия)*

Как? Я с тобой в фиктивном браке!

Нигилистка

Что нужды? Костроме в пример!

Офицер *(задумчиво)*

В фиктивном браке близко к драке.

Нигилистка

Ты заврался, мой офицер!
Но слушай дальше: начиная
И пропаганду и протест,
Мы первым делом натаскаем
Мешок лягушек со всех мест.

Офицер *(быстро краснеет. Он никогда не слыхал о лягушках)*

Лягушек? Слушай, нигилистка:
Смеешься надо мной ты низко!
Смотри! Хошь ты «прекрасный пол»…

(Показывает кулак)
Нигилистка

Какой ты дичи напорол!

Офицер *(приставляя ко лбу перст, в полном недоумении)*

В фиктивно-брачную квартиру
Мешок лягушек— на смех миру!..
Чтоб квакали у нас всё лето.
Скажи к чему нам пакость эта?!

Нигилистка *(с учетверенным достоинством)*

К тому, чтоб всех костромитянок
Стащить бездействия с лежанок!

Офицер *(пораженный вновь)*

А! вот что!.. Но должна яснее
Ты выражаться бы сама…

(Невольно вкладывает шпагу в ножны)
Нигилистка

За гнев свой глупенький краснея

И неразвитие ума,
Пойми, что резать им лягушек
И этим обществу служить
Полезней, чем лишь для ватрушек
На кухне время проводить
Затем, внушив идею эту,
И чтобы время не терять,
Нам надо тотчас, в это ж лето,
Начать семейство разрушать!

Офицер

Гм, гм! Постой: имея теток,
Дядей и множество кузин,
Могу ль, в домах их быв короток,
Не почитать их именин?

Нигилистка *(со всем пылом пропаганды, отчего делается очень хорошенькою)*

Стыдись! долгов ненужных бремя
Ты на себя наворотил!
Чего ты ждал, теряя время?
Какие мысли проводил?
Ну где увидишь ты в природе
Семейных уз, семейный гнет?
Кто узы брака в нашем роде
Меж рыб, зверей и птиц найдет?
Ну есть ли у коров кузины?
Иль — предрассудку послужа
Пойдет ли гусь на именины?
Ну есть ли тетка у ежа?*

Офицер *(окончательно пораженный)*

Да, правда, у ежа нет теток!

Нигилистка

Ты поражен, ты пристыжен!

Офицер *(в ужасной борьбе с честностью)*

Касаться щекотливых ноток
Души перстам свободных жен
Легко не дам я! Вздор и враки!!
Скорей: как смотришь ты на браки?

Нигилистка *(мигом подобравшись)*

Вы нас учили рукодельям,
И танцевать, и приседать,*
И ретроградно, от безделья,
Вам каждый год детей рождать, —*
Не верю я всем этим штукам!
Из нас вы сделали тетерь!
Поверь естественным наукам
И Благосветлову поверь!*

Офицер

Но в чем? Скорее резюмируй!
Он дом купил и про квартиры
Статью лихую накатал.*
Я с удовольствием читал
И понял плод либерализма…
Статьи доходны нигилизма!
Особенно ж в статье о браке
Зимуют все прогресса раки!

О нигилистка! Слушай: лжешь ты!
В фиктивный брак меня зовешь ты?
Но ложа брачного закон
В «фиктивном» лучше ль огражден?
Свобода! Полезай кто хочет!

Нигилистка

О нет, как женщина захочет.

Офицер

Ну вот! А я-то тут при чем?
Я ж муж!..

Нигилистка

В фиктивном браке
Живут втроем

Офицер

Как три собаки!
Довольно, слушай, нигилистка,
Не подходи ко мне ты близко!
Не то я шпагу обнажу
И всю в тебя ее вонжу!..

Нигилистка *(видя, что уже ничего не возьмешь, срывает маску)*

Ага! сказался ретроград!
О, крепостничества Марат!
В «законном» счастье видишь ты!

В «законном» все твои мечты!
Тебе бы только под венец,
Эстетик, тряпка, леденец!

Офицер

Юпитер! Можно ль это слушать!

Нигилистка

Иди домой, пора покушать
Нет, лучше выслушай еще —
Вкусней покамест горячо:
Когда к твоей законной женке
Придет приятель пошалить,
Тебе ль тогда, с твоей шпажонкой,
Права свои огородить!
Колпак! раскиснешь, не поверишь;
Сидеть тут будешь и уверишь
Себя же сам, что видел сон
Что не они — она и он!
Они заснут — сам дверь притворишь
И, чтобы милых не будить,
Пойдешь, будь ночь или ненастье,
Мечтая о законном счастье,
На двор смиренно побродить…
Устанешь, сядь тогда на стул.

Офицер *(не своим голосом)*

О нигилистка! Караул!

Нигилистка бежит и, подобно тигрице, с хохотом прыгает со ступенек портика. Вот тут-то **офицер** и хотел было окончательно

заколоть ее, но эстетика опять помешала делу: легкокрылая грациозность прыжка и обаятельная прелесть мелькнувшей из-под платья пяточки вдруг и сразу останавливают его столбом на месте и красного, подобно воротнику.*

На горизонте показывается тень как бы Андрея Краевского*.

Занавес опускается

<Крах конторы Баймакова…>

Крах конторы Баймакова,
Баймакова и Лури,
В лад созрели оба кова,
Два банкрутства — будет три!
Будет три, и пять, и восемь,
Будет очень много крахов
И на лето, и под осень,
И уж пишет критик Страхов
В трех статьях о спиритизме,
Из которых две излишних,
О всеобщем ерундизме[*]
И о гривенниках лишних.[*]

<Дорого стоят детишки…>

Дорого стоят детишки,
Анна Григорьевна, да,
Лиля да оба мальчишки —
Вот она наша беда!

<Не разбойничай, Федул…>

Не разбойничай, Федул,
Не кричи во всю ты глотку
Ты хоть губы и надул,
Да не пьян, не пьешь же водку.
Не визжи и ты, Лилюк,
Будь хорошенькой девчонкой,
Будь ты общий всем нам друг,
А не злющей собачонкой.
Не сердись и ты мама…

Примечания

В десятом томе Собрания сочинений Достоевского печатается окончание (четвертая часть и эпилог) романа «Братья Карамазовы». Кроме того, в данном томе публикуются наброски и планы романов, повестей и рассказов, которые Достоевский задумывал в разные годы жизни, но которые не были им осуществлены (или в ходе дальнейшей творческой работы замыслы их претерпели существенную эволюцию, в результате чего их темы, образы и ситуации были использованы писателем в модифицированном виде в других его романах и повестях). [48] Особый раздел составляют немногочисленные стихотворения, сатирические и шутливые наброски Достоевского.

В качестве добавления к «Братьям Карамазовым» вслед за текстом романа помещено вступительное слово, произнесенное Достоевским 30 декабря 1879 г. перед публичным чтением главы «Великий инквизитор» и представляющее собой комментарий автора к этой главе «Карамазовых».

Текст «Братьев Карамазовых» и примечания к роману подготовлены В. Е. Ветловской. В подготовке остальных текстов и комментировании их принимали участие: А. В. Архипова („В повесть Некрасову“, <Слесарек>, <Отрывки. 2,3>), И. А. Битюгова (<Роман о помещике>, „План для рассказа (в „Зарю“), <Поиски, повесть>, „Из повести о молодом человеке“, „Великолепная мысль <..> Идея романа. Романист…“, „Мысль на лету. В губернский город приезжает фельдмаршал…“, „Мысли новых повестей“, „Новые повести“, „Идея. Чиновник, скучно…“, <Композитор>, „Сороковины“. <Отрывки. 1>. <Перечни тем>, <Борьба нигилизма с честностью (Офицер и нигилистка)>, <Описывать все сплошь одних попов…>, <Крах конторы Баймакова…>), Е. И. Кийко (<„Вступительное слово Достоевского к главе “Великий инквизитор»»>, „Брак“, „Ростовщик“, „Эпиграмма на баварского полковника“, „Скажи, зачем ты так разорил…“), Т. А. Лапицкая (<Житие Великого грешника>, текст и § 2), И. З. Серман („Новые идеи романов, драм, повестей“, <NB После Библии зарезал>), Г. М. Фридлендер („Смерть поэта (Идея)“, <Роман о князе и ростовщике>, <Житие Великого грешника>, § 1, „Козлову“, „Отцы и

дети“, „Мечтатель“, (История Карла Ивановича), И. Д. Якубович (<Заметки, планы, наброски…>, <Драма в Тобольске…>, „На Европейские события в 1854 году“, „На первое июля 1855 года“, <На коронацию и заключения мира>). Техническая подготовка тома к печати С. А. Ипатовой. Редакторы тома И. А. Битюгова и Г. М. Фридлендер.

Вступительное слово

Главу «Великий инквизитор» на литературном утре в пользу студентов С.-Петербургского университета 30 декабря 1879 г. Достоевский прочитал по печатному оттиску из «Русского вестника» (ч. 2, кн. 5. гл. 5) На тексте, предназначенном для чтения, писатель сделал ряд помет. Кроме того, вместо строк: «Пленник уходит.

— А старик?

— Поцелуй горит на его сердце, но старик в прежней идее» — Достоевский вписал: «Пленник уходит, и хоть поцелуй горит на сердце несчастного старика, но он гордо остается в прежнем своем убеждении» (XIV, 389). Присутствовавшая на литературном утре А. Г. Достоевская сообщает, что «чтение имело необыкновенный успех, и публика много раз заставляла автора выйти на ее аплодисменты».[49] 21 марта 1880 г. вспоминая об этом событии, Достоевский писал В. П. Гаевскому: «Сам попечитель присутствовал на чтении. Но после чтения он мне объявил, что, судя по произведенному впечатлению, он впредь мне его запрещает читать. Таким образом, «Инквизитора» безусловно нельзя теперь читать» (XXX, кн. 1, 145).

Незаконченные повествовательные произведения, наброски и планы

Новые идеи романов, драм, повестей

Еще на каторге Достоевский задумал большой роман, «с страстным элементом», («мое главное произведение», как выражается о нем Достоевский в письме к А. Н. Майкову от 18 января 1856 г.): «Я создал <…> в голове большую окончательную мою повесть. Я боялся чтобы 1-ая любовь к моему созданию не простыла, когда минут годы и когда настал бы час исполнения, — любовь, без которой и писать нельзя. Но я ошибся; характер, созданный мною и который есть основание всей повести, потребовал нескольких лет развития, и я уверен, я бы испортил все, если б принялся сгоряча, неприготовленный» (XXVIII, кн.1, 209).

Из цитированного письма к Майкову можно сделать вывод, что большой роман автор скорее всего еще не писал, а только обдумывал. Из другого, позднейшего, письма — к Е. И. Якушкину от 1 июня 1857 г. — можно получить некоторое представление и о том, каким виделся Достоевскому его будущий большой роман: «Объясню Вам, что именно я пишу, хотя, конечно, не буду рассказывать Вам содержанье. Это длинный роман, приключенья одного лица, имеющие между собой цельную, общую связь, а между тем состоящие из совершенно отдельных друг от друга и законченных само по себе эпизодов. Каждый эпизод составляет часть. Так что я, н(а)прим(ер), очень могу помещать по эпизоду, и это составит отдельное приключенье или повесть. Разумеется, мне бы желалось поместить все по порядку. Скажу вам еще, что роман состоит из 3-х книг каждая листов в 20 печатных, и из нескольких частей. Написана только 1-ая книга в 5 частях. Остальные две книги напишутся не теперь, а когда-нибудь, ибо, во 1-х, они составляют хотя продолжение приключений того же лица, но в другом виде и характере и несколько лет спустя. 1-я же книга есть сама по себе полный и совершенно отдельный роман в 5 частях. Вся она написана, но еще не отделана, и потому я примусь теперь отделывать ее по частям и по частям буду доставлять Вам» (там же, 281)

Замысел романа, который охватил бы несколько эпох жизни «одного лица», не был Достоевским осуществлен, хотя возникал у него неоднократно и позднее. Как роман о нескольких эпохах жизни одного героя было задумано «Житие великого грешника»; за «Братьями Карамазовыми» должно было последовать их продолжение, где главным героем стал бы младший брат— Алеша.

О том, что писание романа скорее всего остановилось на первоначальной стадии обдумывания и планировки, видно из переписки с М. М. Достоевским. Последний стал требовать от брата в конце 1857 г присылки «готовой», как он полагал, первой части романа, и Ф. М. Достоевскому, чтобы оправдать свой отказ, пришлось пуститься в длинные объяснения, так как дальше первоначальных набросков работа над «главным произведением» к этому времени не продвинулась: «Что же касается до моего романа, — писал он 3 ноября 1857 г., — то со мной и с ним случилась история неприятная, и вот отчего: я положил и поклялся, что теперь ничего необдуманного, ничего незрелого, ничего на срок (как прежде) из-за денег не напечатаю, что художественным произведением шутить нельзя, что надобно работать честно и что если я напишу дурно, что, вероятно, и случится много раз, то потому, что талантишка нет, а не от небрежности и легкомыслия. Вот почему, видя, что мой роман принимает размеры огромные, что сложился он превосходно, а надобно, непременно надобно (для денег) кончать его скоро, — я призадумался. Ничего нет грустнее этого раздумья во время работы. Охота, воля, энергия — все гаснет. Я увидел себя в необходимости испортить мысль, которую три года обдумывал, к которой собрал бездну материалов (с которыми даже и не справлюсь — так их много) и которую уже отчасти исполнил, записав бездну отдельных сцен и глав. Более половины работы было готово вчерне. Но я видел, что я не кончу и половины к тому сроку, когда мне деньги будут нужны дозарезу. Я было думал (и уверил себя), что можно писать и печатать по частям, ибо каждая часть имела вид отдельности, но сомнение все более меня мучило. Я давно положил за правило, что если закрадывается сомнение, то бросать работу <…> Но жаль было бросать» (там же, 288–289).

Иначе, чем в письме к брату, Достоевский рисует историю работы над романом и степень его готовности в письме М. Н. Каткову от 11 января 1858 г.: «Роман мой я задумал на досуге, во время пребывания

моего в г. Омске. Выехав из Омска года три назад, я мог иметь бумагу и перо и тотчас же принялся за работу. Но работой я не торопился; мне приятнее было обдумывать все, до последних подробностей, составлять и соразмерять части, записывать целиком отдельные сцены и главное— собирать материалы. В три года такой работы я не охладел к ней, а напротив, пристрастился. Обстоятельства к тому же были такие, что систематически, усидчиво заниматься я решительно не мог. Но в мае м(есяц)е прошлого года я сел работать начисто. Начерно почти вся 1-я книга и часть 2-й были уже написаны. Несмотря на то, я до сих пор не успел еще кончить даже 1-ю книгу; но, впрочем, работа идет беспрерывно. Роман мой разделяется на три книги, но каждая книга (хотя и может делиться на части, но я отмечаю только главы) <…> есть сама по себе вещь совершенно отдельная» (там же, 295).

Однако письмо издателю «Русского вестника» писалось с особой целью. Предлагая ему роман для печатания в журнале и желая получить за него аванс, в котором он в это время крайне нуждался, автор хотел убедить Каткова, что работа над романом (или, по крайней мере, его первой книгой) близка к окончательной стадии и что рукопись вскоре может быть отослана в редакцию. В действительности, как мы знаем из письма к брату от 3 ноября 1857 г., роман в это время уже был отложен в сторону.

О причинах, заставивших его приостановить работу над большим романом и сосредоточиться на повестях, Достоевский писал позднее (18 января 1858 г.) брату, М. М. Достоевскому: «Роман мой (большой) я оставляю до времени. Не могу кончать на срок! Он только бы измучил меня. Он уж и так меня измучил. Оставляю его до того времени, когда будет спокойствие в моей жизни и оседлость. Этот роман мне так дорог, так сросся со мною, что я ни за что не брошу его окончательно. Напротив, намерен из него сделать мой chef-d'oeuvre. Слишком хороша идея и слишком много он мне стоил, чтобы бросить его совсем» (там же, 299).

Откладывая работу над романом, Достоевский не хотел окончательно расстаться со столь дорогим ему замыслом. Еще 8 февраля 1858 г. он писал Якушкину, что надеется «крепко» заняться им в конце года (там же, 303). Но весной 1858 г. в письмах к М. М. Достоевскому возобновление работы над романом связывается уже с возвращением в европейскую Россию: «Роман же я отложил писать до

возвращения в Россию. Это я сделал по необходимости. В нем идея довольно счастливая, характер новый, еще нигде не являвшийся. Но так как этот характер, вероятно, теперь в России в большом ходу, в действительной жизни, особенно теперь, судя по движению и идеям, которыми все полны, то я уверен, что я обогачу мой роман новыми наблюдениями, возвратясь в Россию» (там же, 311). Через год, 9 мая 1859 г., Достоевский снова пишет брату, что на роман ему нужно полтора года и хотя бы скромная обеспеченность (там же, 325).

Во время свидания в Твери в конце августа 1859 г. Федор Михайлович изложил брату, как это видно из письма к нему от 9 октября, изустно то, о чем ранее сообщал ему в письмах. Вернувшись в Петербург, Михаил Михайлович высказал в письме от 21 сентября 1859 г. свои соображения о том, как следует вести работу над романом: «Вот ты теперь и колеблешься между двумя романами, и я боюсь, что много времени погибнет в этом колебании. Зачем ты мне рассказывал сюжет? Майков раз как-то давно-давно сказал мне, что тебе стоит только рассказать сюжет, чтобы не написать его. Милейший мой, я, может быть, ошибаюсь, но твои два большие романа будут нечто вроде «Lehrjahre und Wanderungen[50] Вильгельма Мейстера». Пусть же они и пишутся, как писался «Вильгельм Мейстер», отрывками, исподволь, годами. Тогда они и выйдут так же хороши, как и два Гетевы романа <…> Мне бы очень хотелось, чтоб в Твери ты написал что-нибудь хорошее, из ряду вон».[51]

О том, что к моменту встречи с братом задуманный Достоевским большой роман существовал лишь в воображении автора, можно заключить из более позднего письма М. М. Достоевского от 26 октября 1859 г., в котором он пишет о своем разговоре с Краевским по поводу того, над чем в данное время работает Ф. М. Достоевский: «Краевский в субботу сильно интересовался тем, пишешь ли ты теперь и что? Я сказал о «М(ертвом) доме» и о романе. О последнем я сказал, что ты уже давно его пишешь и что, судя по отрывкам, которые ты мне читал, это будет вещь из ряду вон». Однако постскриптум М. М. Достоевского к тому же письму свидетельствует, что он сознательно, в интересах брата, мистифицировал Краевского, так как никаких «отрывков» в действительности еще не существовало: «P.S. Ты, кажется, еще ни за что не принимался» (там же, 257). Несколько раньше, 9 октября 1859 г., в ответ на настояния брата, убеждавшего его приняться за роман, Ф. М.

Достоевский написал, что «роман тот уже уничтожен» (XXVIII, кн.1, 348).

Желание выступить в литературе с новым большим произведением, значительным по содержанию и новизне идей, не оставляет, однако, Достоевского. В цитированном выше письме, где говорится об уничтожении большого романа, писатель излагает два новых замысла, из которых один в какой-то мере предвосхищает проблематику и принципы художественной разработки, примененные через несколько лет в «Записках из подполья»: «В декабре я начну роман (но не тот — м<олодой> человек, которого высекли и который попал в Сибирь). Нет. Не помнишь ли, я тебе говорил про одну *«Исповедь»* — роман, который я хотел писать после всех, говоря, что еще самому надо пережить. На днях я совершенно решил писать его немедля. Он соединился с тем романом (страстн<ый> элемент), о котором я тебе рассказывал. Это будет, во 1-х, эффектно, страстно, а во 2-х, все сердце мое с кровью положится в этот роман. Я задумал его на каторге, лежа на парах, в тяжелую минуту грусти и саморазложения. Он *естественно* разделится романа на 3 (разные эпохи жизни), каждый роман листов печатных 12. В марте или в апреле, в каком-нибудь журнале, я напечатаю 1-й роман. Эффект будет сильнее «Бедных людей» (куда!) и «Неточки Незвановой». Я ручаюсь <…> *«Исповедь»* окончательно утвердит мое имя» (там же, 351). Очевидно, наиболее привлекательной литературной формой Достоевскому теперь снова представлялась та, которую он уже разрабатывал в 1840-х годах, форма романа-исповеди с повествованием от первого лица. Ею Достоевский воспользовался в романе «Неточка Незванова», где каждая часть изображает одну из эпох жизни героини. Подобное деление романа Достоевскому могла подсказать и трилогия Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность», к этому времени уже полностью напечатанная.

Еще один из литературных замыслов Достоевского 1850-х годов явился непосредственным отражением семипалатинского периода. Об этом замысле не раз упоминает в своих письмах к Достоевскому Александр Егорович Врангель (род. 1833), в 1854–1855 гг. — областной прокурор в Семипалатинске. Юрист по образованию А. Е. Врангель по окончании лицея и службы в министерстве юстиции просил о назначении в Сибирь, и в 1854 г. был назначен прокурором во вновь созданную Семипалатинскую область. К Достоевскому Врангель питал

глубокое уважение и искреннее сочувствие; очевидец казни петрашевцев, он по приезде в Семипалатинск (ноябрь 1854 г.) сразу познакомился с Достоевским, расположил его к себе и был некоторое время самым близким к нему человеком, а по возвращении в Петербург деятельнейшим образом хлопотал за ссыльного писателя.[52]

Несмотря на разницу лет, между Достоевским и Врангелем в Семипалатинске установились искренние дружеские отношения. Уехав в Петербург, Врангель писал Достоевскому 25 октября 1859 г.: «С нетерпением жду появления Вашего романа. Помнится, хотели Вы еще в Семипалатинске описать наши сибирские мучения и выставить мне напоказ мой характер».[53] И позднее Врангель настойчиво спрашивал Достоевского о судьбе этого, ему хорошо известного замысла: «Жду с нетерпением появления Вашего романа, не узнаю ли в нем знакомые личности, помните, как в Сибири Вы собирались все описать, и себя, и Х., и меня — да, жду наших портретов» (письмо от 9 ноября 1859 г. — там же). В письме к А. Н. Майкову от 18 января 1856 г. Достоевский очертил характер Врангеля, высказав свое доброжелательное к нему отношение: «Письмо это доставит вам Александр Егорович, барон Врангель, человек очень молодой, с прекрасными качествами души и сердца, приехавший в Сибирь прямо из лицея с *великодушной* мечтой узнать край, быть полезным и т. д. Он служил в Семипалатинске; мы с ним сошлись, и я полюбил его очень <…> дам вам два слова о его характере: чрезвычайно много доброты, никаких особенных убеждений, благородное сердце, есть ум, — но сердце слабое, нежное, хотя наружность с 1-го взгляда имеет некоторый вид недоступности <…> Круг полуаристократический, или на 3/4 аристократический, баронский, в котором он вырос, мне не совсем нравится, да и ему тоже, ибо он с превосходными качествами, но многое заметно из старого влияния <…>. Добра он мне сделал множество. Но я его люблю и не за одно добро, мне сделанное. В заключение: он немного мнителен, очень впечатлителен, иногда скрытен и несколько неровен в расположении духа <…>. Но, повторяю вам, я его очень люблю» (XXVIII, кн.1, 207).

Врангель должен был явиться, по-видимому, прототипом героя задуманного Достоевским романа, а основой сюжета — стать две одновременно развивавшиеся любовные истории: Достоевского и М. Д. Исаевой, и очень напряженные, мучительные для Врангеля отношения с той женщиной, которую он и Достоевский в своей переписке, боясь

огласки и компрометации ее, называют «Х». А. С. Долининым было высказано предположение, по-видимому, справедливое, что «Х» — это Екатерина Иосифовна Гернгросс, жена главного начальника Алтайского округа генерала А. Р. Гернгросса.[54] В позднейших воспоминаниях Врангель бегло говорит о своем семипалатинском романе: «…героиня моя была на пятнадцать лет старше меня, имела шесть человек детей, что, впрочем, не мешало ей пускать пыль в глаза выписываемыми ею парижскими туалетами и из поклонников своих вить веревки».[55] В письмах к своему молодому другу Достоевский дает подробную характеристику возлюбленной Врангеля, с которой он познакомился в Барнауле: «…Вы думали искать в ней постоянства, верности и всего того, что есть в *правильной* и полной любви. А мне кажется, что она на это неспособна. Она способна только подарить одну минуту наслаждения и полного счастья, но только одну минуту; далее она и обещать не может, а ежели обещала, то сама ошибалась и в этом винить ее нельзя; а потому примите эту минуту, будьте ей бесконечно благодарны и — только. Вы ее сделаете счастливою, если оставите в покое. Я уверен, что она сама так думает. Она любит наслажденье больше всего, любит сама *минуту*, и кто знает, может быть сама заранее рассчитывает, когда эта минута кончится. Одно дурно, что она играет сердцем других; но знаете ли, до какой степени простирается *наивность* этих созданий? Я думаю, что она уверена, что она ни в чем не виновата! Мне кажется, она думает: «Я дала ему счастье; будь же доволен тем, что получил; ведь не всегда и это найдешь, а разве дурно то, что *было;* чем же он недоволен». Если человек покоряется и доволен, то эти созданья способны питать к нему (по воспоминаниям) навеки бесконечную, искреннюю дружбу, даже повторить любовь при встрече» (XXVIII, кн.1, 271).

Тщательность анализа психологии в этом письме свидетельствует о том, что Достоевского Е. И. Гернгросс заинтересовала не только в силу его сочувствия страданиям Врангеля, к этому времени отвергнутого, но и сама по себе, как вариация «хищного типа», по классификации Аполлона Григорьева. Из позднейшего письма Врангеля видно, что «роман», где предметом изображения должна была стать «наша семипалатинская жизнь», до 1865 г. Достоевским еще написан не был. Не был он написан и позже — во всяком случае в том виде, в каком рисовался Врангелю. Можно предположить, однако, что в образе

Натальи Власовны Трусоцкой, героини «Вечного мужа» (1869), отразились некоторые черты личности и поведения «Х» (см. об этом: наст. изд. Т. 8).

Осуществлением замысла не написанного в 1850-х годах «большого романа» со «страстным элементом» явились «Униженные и оскорбленные» (см. наст. изд. Т. 4).

1

Наброски планов повести, получившей название «Весенняя любовь», записаны в разное время. Переделка первоначальной даты «23 июня» на «23 ноября» вызвана была, по-видимому, тем, что основная часть записей была сделана 23 ноября и 7 января (другими чернилами), а 23 июня был зафиксирован только самый первоначальный проект плана

Хотя в рукописи год не указан, определяется он точно. Характеристика героини будущей повести «без своих слов» восходит непосредственно к роману Тургенева «Дворянское гнездо», где в тридцать шестой главе Лиза Калитина говорит: «А я думала, что у меня, как у моей горничной Насти, своих слов нету», а в главе тридцать пятой эта характеристика и с тем же выделением, что и у Достоевского в плане, применена прямо, от автора, к Лизе Калитиной: «…у ней не было «своих слов», но были свои мысли, и шла она своей дорогой».[56]

Таким образом, самая ранняя запись не могла быть сделана до 9 мая 1859 г, когда Достоевский прочел «Дворянское гнездо», по его словам, «наконец» (XXVIII, кн.1, 325). Роман Тургенева, так понравившийся Достоевскому и неизменно его восхищавший, стал для него в какой-то мере эталоном романа о любви, но продолжать разработку плана повести с героиней «без своих слов», по-видимому, Достоевскому помешала подготовка к отъезду из Семипалатинска, занявшая у него май-июнь 1859 г.

В ноябре 1859 г. Достоевский вернулся к разработке планов «Весенней любви»; вместе с другими его беллетристическими и публицистическими замыслами, предназначенными для журнала, повесть эта перечислена в записи, публикуемой под № 3. Часть заметок, сделанных в основном на полях, относится к 7 января 1860 г. и касается

отдельных сцен будущей повести.

Положенная в основу повести психологическая коллизия — сложные отношения дружбы и соперничества между «князем» и «литератором» — восходит, возможно, к отношениям между Достоевским и его молодым семипалатинским другом, бароном А. Е. Врангелем. Однако более точных данных об отражении в этих набросках повести каких-либо реальных событий или наблюдений писателя у нас нет.

Биографический материал послужил Достоевскому для создания исходной ситуации. Дальнейшее ее осмысление, поиски новых вариантов развития сюжета о любовном соперничестве (отношения между князем, литератором и героиней «без своих слов») являются самостоятельной разработкой психологической проблематики, в это время привлекшей внимание писателя.

Замысел «Весенней любви», как можно судить по ее планам, возник у Достоевского в результате размышлений над проблемой эмансипации женщины, возможностью уравнения ее в правах с мужчиной, — проблемой, усиленно обсуждавшейся в русской публицистике конца 1850-х годов.

К самому значительному выступлению русской критики 1859 г. о романе Тургенева, статье П. В. Анненкова «Наше общество в «Дворянском гнезде» Тургенева»,[57] восходят название будущей повести — «Весенняя любовь» — и отчасти проблематика ее. Характеризуя внутренний трагизм Лизы Калитиной, Анненков писал: «Не для жизни даны ей были молодость, красота, высокие предчувствия истины и блага; все погибло в цвете, застигнутое неожиданным морозом среди весны, и притом той чудной весны, какая восстает всегда под пером г. Тургенева».

Статья Анненкова могла подсказать Достоевскому и одну из нравственных коллизий «Весенней любви» — столкновение чистой душою и сердцем девушки с низкими побуждениями и фальшивыми речами «князя» и «литератора». Анненков говорит, что «высоконравственные характеры» «могут явиться (и часто являются) в годины полной духовной тьмы <…> при совершенном отсутствии моральных убеждений, еще не добытых или уже потерянных окружающим их миром». И далее Анненков высказывает мысль, которая очень сходна по смыслу с основной коллизией планов

«Весенней любви»: «Даже глубоко нравственные характеры <…> учатся правде в виду господствующего произвола, сознанию обязанностей своих — на духовном и телесном растлении близких людей, порядку, справедливости и снисхождению — на общей распущенности и на диких порывах животного существования».

Замысел «Весенней любви» не был осуществлен из-за того, что Достоевский с середины 1860 г. обратился к работе над большим социальным романом («Униженные и оскорбленные»), куда из планов повести перешли любовная тема и коллизия «князя» и «литератора».

Брак

Датируется концом 1864 — началом 1865 г. по месту положения в тетради

Героиня романа, как указал Достоевский, должна была быть похожей на княжну Катю из «Неточки Незвановой» (см. наст. изд. Т. 2).

Ростовщик

Датируется началом 1866 г. по соседним датам в тетради.

Прототипами героев, очевидно, должны были стать граф В. А. Сологуб и М. Ю. Виельгорский. Над фамилией одного из персонажей, Данилова, указан, очевидно, его прототип, фамилию которого, дополнив, можно прочитать и как Чернышевский, и как Чернышев.

С Владимиром Александровичем Соллогубом (1814–1882), беллетристом, близким в 1840-х годах к кругу Белинского, Достоевский познакомился в 1846 г. В «Воспоминаниях» В. А. Соллогуба содержится краткий рассказ о посещении его литературного салона Достоевским

Салон известного музыканта-дилетанта Михаила Юрьевича Виельгорского Достоевский посещал в 1840-х годах в Петербурге. В начале 1846 г. на вечере у Виельгорских с Достоевским случился припадок, что послужило темой для эпиграммы И. С. Тургенева и Н. А. Некрасова «Послание Белинского к Достоевскому».

Тема ростовщичества всегда волновала Достоевского. Она

затрагивалась в романе «Преступление и наказание», работа над которым заканчивалась в том же 1866 г., в первой черновой редакции «Идиота» (1867), в неосуществленном замысле, условно названном «Роман о князе и ростовщике» (1870), в романе «Подросток» (1875) и др.

<роман о помещике>

Датируется маем — июнем 1868 г. Запись сделана в направлении, обратном основному тексту набросков к «Идиоту» от 20 марта н. ст. 1868 г. Но среди заметок к «Идиоту», датируемых концом мая — началом июня, на с. 132 той же записной тетради встречается близкая по содержанию запись: «Видел одного священника. Толковал Апокалипсис. Купил поле». В романе эта заметка была использована в преобразованном виде.

В наброске (Роман о помещике) мотивы черновой заметки из подготовительных материалов к «Идиоту» развиты и выделены в тему особого произведения. В нем должны были, по-видимому, отразиться и некоторые юношеские воспоминания. Автобиографический характер имеют мотивы убийства отца — помещика — крестьянами и покупки поля, которое стало затем предметом спора. Первый из них связан с насильственной смертью отца писателя,[58] второй — с приобретением его родителями в 1831 г. у помещика И. П. Хотяинцева сельца Даровое в Тульской губернии Каширского уезда и с возникновением тяжбы между старым и новыми владельцами по поводу спорной земли и ее оценки. Упоминание об аягузском священнике связано с впечатлениями поры пребывания Достоевского в Семипалатинске, недалеко от которого находился г. Аягуз (на реке Аягуз).

План для рассказа (В «зарю»)

Датируется с большой вероятностью февралем — первой половиной марта 1869 г. Возникновение же замысла должно быть отнесено, по свидетельству Достоевского, к 1864 г.

После завершения в последних числах января 1869 г. романа

«Идиот» Достоевский через Н. Н. Страхова вступил в переписку с редакцией журнала «Заря», который в конце 1868 г он обещал поддержать своим участием. Переписка эта заключает в себе некоторые противоречия: в письме к Страхову от 26 февраля (10 марта) 1869 г. писатель сообщал, что он собирается доставить в «Зарю» к сентябрю «повесть, т. е. роман», «величиною в «Бедных людей» или в 10 печатных листов», и просил редактора журнала В. В. Кашпирева выслать ему во Флоренцию аванс (XXIX, кн. 1, 20–21). Когда же Страхов написал, что Кашпирев в денежном отношении «в настоящую минуту <…> ничего сделать не может» и предлагает рассрочить уплату, у Достоевского возникла новая идея. 18 (30) марта 1869 г. он писал Страхову, что *«вместо прежних* условий» может выслать «Заре» «один рассказ, весьма небольшой, листа в 2 печатных, может быть несколько более (в «Заре», может быть, займет листа 3 или даже 3 1/2)». «Этот рассказ, — продолжал Достоевский в том же письме, — я еще думал написать четыре года назад в год смерти брата, в ответ на слова Ап. Григорьева, похвалившего мои «Записки из подполья» и сказавшего мне тогда «ты в этом роде и пиши». Но это не «Записки из подполья»; это совершенно другое по форме, хотя сущность — та же, моя всегдашняя сущность, если только Вы, Николай Николаевич, признаете и во мне как у писателя некоторую свою, особую сущность. Этот рассказ я могу написать очень скоро, — так как нет ни одной строчки и ни единого слова, не ясного для меня в этом рассказе. При том же много уже и *записано* (хотя еще ничего не написано). Этот рассказ я могу кончить и выслать в редакцию гораздо раньше первого сентября (хотя, впрочем, думаю, вам раньше и не надо; не в летних же месяцах будете вы меня печатать!). Одним словом, я могу его выслать даже через *два* месяца» (XXIX, кн.1, 32). Меньше чем через месяц Достоевский снова пишет Страхову, что решил сесть как можно скорее за роман на будущий год для «Русского вестника», повести в 10–12 печатных листов писать не будет, а что касается «Зари», то ей он может предложить небольшой рассказ в 2–3 печатных листа («Вечный муж»).

Подтверждением того, что «План для рассказа (в «Зарю»)» к середине марта 1869 г был письменно зафиксирован, служит признание Достоевского в письме от 18 (30) марта 1869 г. о том, что «много уже и *записано* (хотя еще ничего не написано) «. Что касается «Вечного мужа», то в августовских письмах 1869 г. к А. Н. Майкову и С. А.

Ивановой Достоевский сообщал, что повесть для «Зари» он писать не начинал (XXIX, кн.1, 51–58).

В приведенном выше письме к Страхову Достоевский вспоминал, что замысел рассказа явился «в ответ» на отзыв А. А. Григорьева о «Записках из подполья». Но, как писатель тут же подчеркивал, он задумал произведение, отличающееся от «Записок» по форме. С этими словами перекликается в плане характеристика племянника умершей Барыни: «Вообще это тип Главная черта — мизантроп, но с подпольем. Это сущность, но главная черта, потребность довериться, выглядывающая из страшной мизантропии и из-за враждебной оскорбительной недоверчивости». Изображение ухода героя в «подполье», мучающего его сознания одиночества и одновременно тяготения его к людям, борьбы в его душе взаимоисключающих чувств — все эти мотивы определились в «Записках из подполья». Но теперь Достоевский стремится вставить характер героя в рамки «краткого» рассказа, «вроде пушкинского», дать его в действии, «без объяснений», тон повествования выдержать «откровенный и простодушный», вероятно, по образцу пушкинских же «Повестей Белкина». Возможно, что «пушкинские» ассоциации, которые вызывал у Достоевского задуманный рассказ, в какой-то мере поддерживались образом героини, положение которой как «воспитанницы» «богатой барыни» сближало ее с Лизой из «Пиковой дамы».

Ряд образов и ситуаций данного плана (герой — Племянник, о котором до конца не известно, кто он — «милый тип à la O — ff или убийца серьезный из подполья»; доверительные взаимоотношения его с Воспитанницей; положение его между Воспитанницей и Княжной; любовная история с хроменькой девочкой, которая «из злобы сама себя довела до смерти», а он, «может быть, застрелился»; наконец, переходящие из одного замысла этого времени в другой мотивы пощечины без ответа и дуэли без выстрела) получили в дальнейшем оригинальное претворение в других, позднейших набросках, в подготовительных материалах к роману «Бесы» («Зависть») и в самом этом романе.

<Nb. После Библии зарезал>

Датируется предположительно сентябрем-октябрем 1869 г., периодом интенсивной работы Достоевского над повестью «Вечный муж», среди подготовительных материалов к которой находится данный отрывок.

Мотив убийства из ревности восходит к «Идиоту», законченному в начале 1869 г., но в данном замысле главный персонаж («муж») варьирует тот характер, который в «Вечном муже» воплощен в Трусоцком.

Не осуществленный в ближайшие годы, этот замысел был реализован в повести «Кроткая» (1876).

В замысле отразились некоторые впечатления от новейшей французской романистики: в частности, эпизод «Любовник, в доме на дворе, из окна в окошко, выследил. Подслушивает свидание» напоминает гл. LXVII из романа Э. Фейдо «Фанни» (1859), где любовник, подсматривая с балкона в окно, убеждается в неверности своей любовницы.

<поиски, повесть>

Датируется по автографу 9 (21) ноября 1869 г.

Из повести о молодом человеке

Датируется предположительно концом 1869 — началом 1870 г., периодом подготовительной работы над романом «Бесы». Запись сделана на отдельной странице, предшествующей наброскам «Зависть», которые она напоминает по почерку; от более поздних заметок к «Бесам» в этой же тетради— она отделена тремя чистыми страницами.

Мотив оскорбленного самолюбия, близкий реакции героя данного наброска — бедного «молодого человека» — на нравственное унижение, разрабатывался Достоевским ранее в «Преступлении и наказании» и «Идиоте», в образах Раскольникова и Ипполита; позднее он получил развитие в образе капитана Снегирева в «Братьях Карамазовых».

Смерть поэта (Идея)

Датируется временем с 9 сентября н. ст. 1869 г. (дата, проставленная автором под планом № 1) по декабрь 1869— январь 1870 г.

План повести «Смерть поэта» (№ 1) записан Достоевским в той же рабочей тетради, где содержатся часть подготовительных материалов к «Идиоту», планы рассказа (о Воспитаннице) в «Зарю» и «поэмы» «Император», а также черновые записи к повести о Картузове.

Заметки, печатаемые под № 2, представляют собой ряд приписок, сделанных, по-видимому, позднее — в конце 1869 — начале 1870 г, в момент, когда Достоевский, закончив и отослав в Петербург повесть «Вечный муж», вернулся к обдумыванию темы романа для «Русского вестника» и колебался между накопившимися у него различными замыслами и заготовками. Поскольку в этих записях, являющихся дальнейшей трансформацией прежнего замысла, упоминается в качестве действующего лица С. Г. Нечаев, они вряд ли могли быть сделаны ранее того времени, когда Достоевский в Дрездене, узнав из газет о совершенном в Москве 21 ноября 1869 г. по указанию С. Г. Нечаева убийстве студента Петровской академии И. И. Иванова (оказавшего Нечаеву неповиновение), заинтересовался личностью Нечаева. Психологический анализ этого убийства писатель вскоре положил в основу романа «Бесы»; в комментарии к последнему см. характеристику Нечаева и анализ истории знакомства Достоевского с различными материалами о нем. Убийство Иванова было обнаружено 26 ноября 1869 г.[59] Но заметки Достоевского скорее всего относятся не к декабрю 1869 г., а к январю 1870 г.: упоминаемый в них Кулишов, фигурирующий в планах «Жития Великого грешника» сначала под именем Куликова, во второй половине января в заметках «Мысль» превращается в Кулишова.

В диалоге, печатаемом под № 3 и предположительно отнесенном к «Смерти поэта», обыгрывается фамилия «Дырочкин», которой завершается план № 2. Таким образом, диалог этот либо написан до плана № 2 и Достоевский позднее предполагал связать его с замыслом «Смерть поэта», либо представляет собой дальнейшее развитие последнего пункта названного плана.

Вернувшись в декабре 1869-январе 1870 г. к «Смерти поэта», автор попытался в это время видоизменить и конкретизировать первоначальный план повести, записанный в сентябре предыдущего года. Но уже вскоре, в начале февраля, у него возникает новый план. Поэт, который ранее был задуман как главный герой особой, самостоятельной повести, теперь становится действующим лицом одного из эпизодов («блестящей главы») (Романа о Князе и Ростовщике) — вторичного ответвления «Жития великого грешника». В свою очередь, из этого плана в процессе дальнейшего обдумывания рождается один из первоначальных планов «Бесов» (озаглавленный «Зависть»). После февраля 1870 г. Достоевский, занятый работой над «Бесами», к плану «Смерти поэта», по-видимому, уже не возвращался, по крайней мере в дошедших до нас его рабочих тетрадях не сохранилось позднейших записей, которые можно было бы сколько-нибудь уверенно связать с разработкой этого сюжета. Как видно из планов «Смерти поэта», первоначальный замысел повести возник в тесной связи с вынашивавшимися Достоевским в 1869–1870 гг. планами романа «Атеизм» (см. наст. том. С. 395). На первом этапе (ему соответствует план № 1) сердцевиной повести должен был стать спор между Атеистом, Попиком — горячим ревнителем православия, по чистоте сердца и темпераменту родственным Аввакуму, Раскольником и Поэтом — «язычником», обоготворяющим природу, «о свободе и о свободном человеке». Лишь охарактеризовав это основное философско-идеологическое зерно повести и очертив характеры четырех участников спора, автор начинает размышлять о сюжете: *«Подсочинить повесть* <…> в углах совершилась кража, или преступление, или что-нибудь…». Как место действия обозначены «углы», герой — бедняк-энтузиаст, умирающий в 26 лет и оставляющий после себя без средств двух детей и беременную жену; это вызывает у писателя ассоциации с «Бедными людьми» — с судьбой Покровского, Горшкова, Девушкина.

В плане № 2 автор приступает к «сочинению» «повести», т. е. разработке фабулы. Вводится новый персонаж, от лица которого, по-видимому, романист теперь хочет вести повествование-возвратившийся в Россию из-за границы после 6 лет отсутствия Господин. Племянник приводит его в углы; к содержателю их у приезжего есть поручение от Нечаева (или от кого-то из эмигрантов, связанных с Нечаевым). Здесь же живут Поэт с женой, любящей Племянника и преследуемой

хозяином углов, а также Попик и Доктор-нигилист. Раскольник исчезает, зато автором намечены новые, по-видимому, гротескно-комические персонажи — пан Пшепярдовский, Б — нов (под последним мог иметься в виду петербургский книгопродавец и владелец типографии А. Ф. Базунов, с которым Достоевский поддерживал деловые связи с начала 1860-х годов) и Дырочкин. Перед всеми этими лицами «надорвавшийся» Поэт должен произнести вслух «последнюю исповедь» и застрелиться (как пытался поступить после чтения своей исповеди Ипполит в «Идиоте»). После самоубийства Поэта в углы врывается полиция. Фамилия «Никчорыдов» в наброске № 3 завершает перечисление гротескных фамилий обитателей углов, которое начато в плане № 2. Отрывки сатирического диалога между Дырочкиным и его собеседником стилистически близки к позднейшим аналогичным по характеру записям в подготовительных материалах к «Дневнику писателя» за 1876 г.

В последующих заметках Поэт, Ростовщик и Князь стали персонажами одного большого произведения. Теперь жена Поэта — подруга невесты Князя. Последняя, оказавшись в одном из эпизодов в углах, куда пришла навестить прежнюю подругу, становится свидетельницей «прощания Поэта с жизнию», его предсмертного отречения от веры («не верю») и смерти.

Персонаж, обозначенный в планах «Смерти поэта» как Попик, фигурирует позднее в подготовительных материалах к «Бесам».

<Роман о князе и ростовщике>

Датируется концом 1869 — февралем 1870 г. на основании авторской даты и по связи с набросками повести «Смерть поэта», а также планами «Жития Великого грешника» и первоначальных набросков к «Бесам».

Три фрагмента, условно объединенные под названием (Роман о Князе и Ростовщике), представляют собой промежуточное звено между планом «Жития Великого грешника» и замыслом романа «Бесы» (вторая половина января — февраль 1870 г.). Начав 8 (20) декабря 1869 г. разрабатывать план «Жития Великого грешника», Достоевский продолжал заниматься им в январе-феврале 1870 г. Но работа эта, как

постепенно убеждался автор, затягивалась; между тем Достоевского мучила мысль о взятом им на себя обязательстве доставить в начале 1870 г. в «Русский вестник» начало романа, тем более что часть денег была взята вперед. В результате у Достоевского возникла мысль, прежде чем ему удастся приступить к писанию задуманного романа о детстве героя-атеиста («Великого грешника»), попробовать написать роман из жизни того же или психологически близкого героя, взятого на одной из более поздних стадий его жизненного пути. Отражением этого замысла являются заметки «Мысль» (№ 1) и «Последняя попытка мысли» (№ 3). К ним по содержанию тесно примыкает ряд записей (№ 2) в той же тетради, заключительная часть которых подготавливает видоизменение замысла, зафиксированного во фрагменте № 1, и связывает его с планом № 3.

В заметке «Мысль» содержится первый вариант сюжетной коллизии будущего романа. Герой его — Атеист, как и в задумывавшемся в 1868–1869 гг. «Атеизме» и продолжающем его «Житии Великого грешника». Но он сразу же является перед читателем взрослым: «предварительная» его жизнь отнесена в экспозицию, кратко излагаемую на первых страницах. У Атеиста «молоденькая» и «невинная» жена. Сюда же из планов «Жития великого грешника» перенесена Хроменькая, получившая теперь имя Хромоножки (прообраз будущей Марьи Тимофеевны Лебядкиной в «Бесах» и в то же время девочки Матреши из «Исповеди Ставрогина»). Влюбленная в Князя Хромоножка, изнасилованная и брошенная им, становится жертвой беглого каторжника Кулишова (упоминается в планах «Жития Великого грешника; он же— прообраз Федьки-каторжного в «Бесах»; ср. упоминания этой фамилии выше в набросках «Смерть поэта»). Постепенно формируется сложный психологический портрет, кое в чем напоминающий, с одной стороны, будущего Ставрогина («думал спастись от отчаяния женитьбой», «не было страсти», «Так жить нельзя, но куда пойти?» и т. д.), а с другой — героя «жития» (мечты о «самосовершенствовании», испытание себя «подвигами святых»). В плане и приписках к нему фигурирует и Князь, пока еще только как лицо, запутанное в темные махинации и связанное с каторжником-убийцей Кулишовым.

Заметки, печатаемые под № 2, сделаны не в один, а в несколько приемов и относятся одновременно к ряду замыслов, обдумывавшихся

Достоевским параллельно в конце 1869 — начале 1870 г. Но большая их часть продолжает план романа, зафиксированный в наброске № 1.

Заметки открываются фразой «Переменить роман мальчика…» Слова эти, по-видимому, связаны с обдумыванием плана «Жития Великого грешника». Но вслед за этим автор сразу же возвращается мысленно к занимающему его новому замыслу. Теперь его герой — Князь. Намечается и второй главный персонаж — Ростовщик — образ, возникающий в более раннем наброске 1869 г. и получающий дальнейшее развитие в «Подростке» (1874–1875) и «Кроткой» (1876). Ростовщик (как и «мальчик» в упомянутой выше первой записи) — «побочный сын». От него зависят Князь — его бывший товарищ по университету— и Невеста, «усталая, тоскующая <…> страдалица», жаждущая «живой жизни». Тут же у автора возникает, по-видимому, мысль— объединить новый замысел с другими своими замыслами — повестью о Картузове и «Смертью поэта». В пользу первого предположения говорит заметка «Пересочинить Картузова, графа выгнали (скандальная дуэль)» и последующее, вторичное, упоминание имени Картузова.[60] В дальнейшем повесть о Картузове (трансформировавшемся в капитана Лебядкина) стала эпизодом «Бесов». Что же касается намерения автора объединить сюжетные коллизии <Романа о Князе и Ростовщике> со <Смертью поэта>, то оно не вызывает сомнений (см. намеченную в плане «блестящую главу»). Для философского монолога Поэта (а может быть, и Ростовщика) заготовляется «ключевая» фраза, предполагаемый лейтмотив: «Я признаю существование матерьи, но я совершенно не знаю, материальна ли матерья?». Намечается развязка, предвосхищающая «Братьев Карамазовых»: второй герой — не Ростовщик, а сын Ростовщика, в дальнейшем обвиненный в отцеубийстве. Затем эта мысль видоизменяется: «убит не Отец, а Жена»; «суд за Жену спасает его, и он идет на страдание, в Сибирь, с радостию» (NB «Даже знал, что другой виноват, а не он»). Здесь в какой-то мере предвосхищено также психологическое состояние Мити Карамазова после обвинения в убийстве отца. Ростовщика в Сибирь сопровождает Невеста, увлеченная его отказом от атеизма, жаждой веры и желанием очиститься страданием и искупить свой грех. Попутно в набросках возникает еще один мотив, отдаленно напоминающий сцены в Мокром в «Братьях Карамазовых»: «После объяснений с Невестой и после искренней и

глубокой мысли идет на ночь к Максиму Иванову— оргия и убийство». Упоминаемый здесь Максим Иванов — глава шайки убийц, содержатель притона в Москве, убивший 8 ноября 1869 г. вместе со своими сообщниками чиновника фон Зона (об этом убийстве упоминается также в «Подростке» и «Братьях Карамазовых»; в последнем романе имя фон Зона получило в устах Федора Павловича Карамазова нарицательное значение). Убийство фон Зона содержателем притона Максимом Ивановым широко обсуждалось русскими газетами в конце 1869 — начале 1870 г.

Последнее лицо, возникающее в конце заметок, — Учитель (характеристика его подготовлена рядом более ранних замыслов, вошедших в данный том) — отдаленный прообраз Шатова в «Бесах». Лицо это переходит в набросок «Зависть», а затем в позднейшие заметки к «Бесам», где оно приобретает сперва имя Голубева, а затем Шатова.

Упоминание имени Максима Иванова подтверждает дополнительно, что Роман о Князе и Ростовщике обдумывался не ранее конца 1869 г.

Заметка, озаглавленнная автором «Последняя попытка мысли». (№ 3), наиболее поздняя из трех, относящихся к Роману о Князе и Ростовщике, хотя отдельные записи в них могли делаться параллельно: здесь Ростовщик — товарищ Князя по университету (как и было намечено во фрагменте, печатаемом под № 2). Заметка датирована «2 февраля) 21 генваря». Эта дата относится к 1870 г., что подтверждается расположенной над ней на той же странице автографа записью дрезденского адреса: «Badergasse, 19» (зиму 1868–1869 гг. Достоевский провел во Флоренции).

В новом плане романа те же три, что и в записях, напечатанных под № 2, главных персонажа — Князь, Ростовщик и Красавица. Рядом с ними появляется четвертый — Воспитанница («брюхатая Невеста»), ждущая ребенка от Князя (образ, расщепившийся в дальнейшем на Дарью и Марию Шатовых в «Бесах»; ср. более ранний план рассказа для журнала «Заря» на с. 302–306 данного тома). Характер Ростовщика психологически углублен: он — «страстный ростовщик и сребролюбец», но в душе лелеет мысль об «упорном труде для самовоспитания» — труде, в результате которого «полюбишь природу и найдешь бога». Его характер и поступки противоречивы: «Пост — и

вдруг у Максима Иванова» (т. е. в публичном доме). Заинтригованная загадочностью поведения Ростовщика Красавица следит за ним; при этом она узнает, «что он делает добрые дела втайне», но он же «выпихнул Отца» из вагона (или это «ей померещилось»). Изложение оборвано: дальнейший план развития действия остается неясным, как и развязка романа, мыслившаяся автором на данной стадии формирования замысла.

Основные действующие лица планов № 2 и 3 — Князь, Красавица, Воспитанница, Учитель — были в январе — феврале 1870 г. перенесены Достоевским в разрабатывавшийся параллельно план «Зависть», непосредственно предваряющий замысел «Бесов». Из персонажей, намеченных ранее, сюда не был введен лишь Ростовщик — образ, получивший художественную реализацию не в «Бесах», но в «Подростке» и «Кроткой». В том же плане «Зависть», а затем в «Бесах» была осуществлена и мысль о сюжетном объединении мотивов Романа о Князе и Ростовщике и повести о Картузове, отраженная в заметках № 2, образ же умирающего Поэта, намеченный первоначально в планах повести «Смерть поэта» и затем вошедший в Роман о Князе и Ростовщике, слился в процессе работы над «Бесами» с образом Грановского, сыграв определенную роль в подготовке глав, посвященных последним дням жизни Степана Трофимовича Верховенского.

<Житие великого грешника>

1

Еще не успев завершить работу над четвертой частью «Идиота», 11 (23) декабря 1868 г. Достоевский писал из Флоренции поэту А. Н. Майкову: «Здесь же у меня на уме теперь: 1) огромный роман, название ему «Атеизм» (ради бога, между нами), но прежде чем приняться за который мне нужно прочесть чуть не целую библиотеку атеистов, католиков и православных. Он поспеет, даже при полном обеспечении в работе, не раньше как через два года. Лицо есть: русский человек нашего общества, и *в летах*, не очень образованный, но и не необразованный, не без чинов, — *вдруг*, уже в летах, теряет веру в бога.

Всю жизнь он занимался одной только службой, из колеи не выходил и до 45 лет ничем не отличался. (Разгадка психологическая: глубокое чувство, человек и русский народ). Потеря веры в бога действует на него колоссально. (Собственно — действие в романе, обстановка — очень большие.) Он шныряет по новым поколениям, по атеистам, по славянам и европейцам, по русским изуверам и пустынножителям, по священникам; сильно, между прочим, попадается на крючок иезуиту, пропагатору, поляку; спускается от него в глубину хлыстовщины — и под конец обретает и Христа н русскую землю, русского Христа и русского бога. (Ради бога, не говорите никому; а для меня так: написать этот последний роман, да хоть бы и умереть — весь выскажусь…)» (XXVIII, кн. 2, 329).

Сообщая Майкову о новом своем «огромном» замысле, писатель тут же оговаривался, что приступить к осуществлению его сможет лишь после того, как освободится от долгов и будет иметь хотя бы необходимые средства для жизни. ««Атеизм» на продажу не потащу (а о католицизме и об иезуите у меня есть что сказать сравнительно с православием)», — замечал он. До того как углубиться в работу над «Атеизмом», Достоевский считал нужным осуществить отдельное издание «Идиота», и написать «большую повесть», «идея» которой, как он писал Майкову, была у него готова (один из замыслов, отраженных в его заметках, которые напечатаны выше). Лишь подготовив таким образом на время необходимые условия для спокойного, сосредоточенного труда, Достоевский рассчитывал взяться за писание «Атеизма».

К изложению того же проекта — и в связи с этим к теме финансовых затруднений — Достоевский вернулся в письме к С. А. Ивановой из Флоренции от 25 января (6 февраля) 1869 г., через неделю после окончания и отсылки в Россию последних двух глав «Идиота»: «Теперь у меня в голове мысль огромного романа, который во всяком случае, даже и при *неудаче* моей, должен иметь эффект, — собственно по своей теме. Тема — *Атеизм.* (Это не обличение современных убеждений, это другое и — поэма настоящая). Это *поневоле* должно завлечь читателя. Требует большого изучения предварительно. Два-три лица ужасно хорошо сложились у меня в голове, между прочим, католического энтузиаста-священника (вроде St François Xavier)».[61]

Но — указывает здесь же Достоевский — мысль его могла быть

осуществлена только после возвращения в Россию, так как для этого были нужны свежие впечатления русской жизни. Между тем долги и запутанные денежные обстоятельства приковывали писателя к заграничному существованию и заставляли искать другой, срочной, работы: «Но написать его («Атеизм». — *Ред.*) здесь нет возможности. Вот это я продам 2-м изданием и выручу много; но когда? Через 2 года. (Впрочем, не передавайте тему никому.) Придется писать другое покамест, чтоб существовать. Все это скверно. Надо, чтоб обернулись обстоятельства иначе. А как они обернутся?». Излагая другие свои литературные идеи (проекты журнала типа будущего «Дневника писателя», ежегодной «настольной книги» для чтения и т. д.), Достоевский в заключение писал: «Но все-таки главная из них — мой будущий большой роман. Если я не напишу его, то он меня замучает. Но здесь писать невозможно. А возвратиться, не уплатив по крайней мере 4 000 и не имея 3 000 для себя на первый год (итого 7000), невозможно» (XXIX), кн. 1, 11–12).

Писатель вернулся к характеристике «Атеизма» еще раз в письме к С. А. Ивановой от 8 (20) марта 1869 г.[62] Декларируя здесь, что его цель «не в достижении славы и денег, а в достижении выполнения синтеза моей художественной и поэтической идеи, т. е. в желании высказаться в чем-нибудь по возможности вполне, прежде чем умру», Достоевский писал: «Ну вот я и задумал теперь одну мысль, в форме романа. Роман этот называется «Атеизм»; мне кажется, я весь выскажусь в нем. И представьте же, друг мой: писать его здесь я не могу; для этого мне нужно быть в России непременно, видеть, слышать и в русской жизни участвовать непосредственно; надо, наконец, писать его два года. Здесь же я этого не могу и потому должен писать другое». В последний раз об «Атеизме» из дошедших до нас писем говорится в письме Достоевского к А. Н. Майкову из Флоренции от 15 (27) мая 1869 г.: «Писал я Вам или нет о том, что у меня есть одна литературная мысль (роман, *притча об атеизме)*, пред которой вся моя прежняя литературная карьера — была только дрянь и введение и которой я всю мою жизнь будущую посвящаю? Ну так мне ведь нельзя писать ее здесь; никак; непременно надо быть в России. Без России не напишешь».

Около 5 августа н. ст. 1869 г. Достоевский с женой выехали из Флоренции в Прагу. Невыносимая жара, стоявшая в это время во Флоренции, на которую писатель жаловался в письмах к Н. Н. Страхову

от 14 (26) августа и к С. А. Ивановой от 29 августа (10 сентября), и хлопоты, связанные с беременностью жены, мешали Достоевскому в это время приняться за новую литературную работу. Однако заметка, публикуемая под № 1, свидетельствует, что еще до отъезда из Флоренции замысел, изложенный в цитированных письмах Достоевского, претерпел известную метаморфозу.

Названная заметка находится в тетради Достоевского с записями к «Идиоту» и датирована «31 июля. Флоренция». В июле 1868 г. Достоевский жил в Швейцарии, в Веве, а не во Флоренции. 31 же июля ст. ст. 1869 г. (т. е. 12 августа н. ст.) он находился уже в Дрездене. Таким образом, интересующая нас запись могла быть сделана лишь 19 (31) июля 1869 г.

Содержание записи № 1 («Детство. Дети и отцы, интрига, заговоры детей, поступление в пансион и проч.») дает основание полагать, что к июлю 1869 г. у Достоевского возникла мысль осуществить замысел, изложенный им зимой 1868 и весной 1869 г. в письмах к А. Н. Майкову и С. А. Ивановой под названием «Атеизм», не в одном романе, а в цикле из нескольких романов или повестей. Планом первого из них, который писатель на этой стадии обозначил для себя как «Детство»,[63] и является, по-видимому, заметка № 1.

Причины и существо тех изменений, которые планы Достоевского претерпели к лету 1869 г., помогает понять письмо к Н. Н. Страхову от 18 (30) марта. Писатель сообщает здесь, что, поскольку он не получил денег от редакции «Зари», с которой при посредстве Страхова вел переговоры, ему «теперь» выгоднее «сесть, и сесть как можно скорее, за роман на будущий год в «Русский вестник»…» (XXIX, кн. 1. 32). Так как замысла романа «Бесы», который в конце концов и был отдан Достоевским М. Н. Каткову, еще не существовало, приходится предположить, что роман о детстве героя-«атеиста», выделившийся из прежнего, более обширного, замысла и являвшийся в это время, в глазах автора, первым подступом к нему, как раз и предназначался в это время Достоевским для «Русского вестника». Это предположение подтверждают последующие письма романиста, относящиеся к осенним и зимним месяцам 1869 г., а также набросок, печатаемый под № 2 и по содержанию являющийся осложненным развитием плана № 1.

После переезда Достоевского в Дрезден название «Атеизм» исчезает из его писем. До рождения дочери 14 (26) сентября 1869 г. у

писателя не было времени для работы, после же этого он был вынужден заняться писанием «Вечного мужа». Лишь один раз в осенних письмах 1869 г., а именно в письме к С. А. Ивановой от 29 августа (10 сентября), Достоевский упоминает о прежнем, дорогом ему замысле: «Есть у меня идея, которой я предан всецело; но я не могу, не должен приниматься за нее, потому что еще к ней не готов: не обдумал и нужны матерьялы. Надобно, стало быть, натуживаться, чтоб изобретать новые рассказы; это омерзительно. Что со мной будет теперь и как я улажу дела свои — понять не могу!» (Там же, 58). Но характерно, что заглавия «Атеизм» в этом письме уже нет. Это дает основание полагать, что к июлю — августу 1869 г. автор уже не называл так задуманный им роман (или цикл романов).

Через три дня после рождения дочери, 17 (29) сентября, Достоевский сообщил Майкову, что, всецело занятый пока повестью в «Зарю» (т. е. «Вечным мужем»), он все же «замыслил вещь в «Русский вестник». Она, — пишет автор, — «очень волнует меня, но боюсь усиленной работы».[64] Под задуманной «вещью» и следует понимать, по-видимому, роман о детстве героя-«атеиста», первое обращение к которому документируется записью № 1. Следующие приводимые далее упоминания о романе для «Русского вестника» в письмах относятся к декабрю.[65] Но еще раньше, 2 (14) ноября 1869 г., до окончания затянувшейся работы над «Вечным мужем», Достоевский заносит в рабочую тетрадь заметку, которая публикуется выше. Старое название («Атеизм») на этой стадии отброшено, другого еще не появилось. Отсюда условное обозначение заметки — «Подпольная идея для «Русского вестника». Обозначение это связывает замысел романа о детстве героя-«атеиста» с «Вечным мужем» и рядом других замыслов 1869 г., печатаемых в данном томе, где Достоевский возвращается к занимавшей его еще в 1860-х годах теме психологического «подполья», стремясь дать ряд новых вариаций типа озлобленного и внутренне раздвоенного героя-неудачника, мучающегося этой раздвоенностью.

О том, что в конце 1869 г. Достоевский предполагал дать в «Русский вестник» именно первую часть того обширного замысла, который в письмах конца 1868 — первой половины 1869 г. именовался «Атеизм», с полной очевидностью свидетельствуют декабрьские письма, «…через три дня сажусь за роман в «Русский вестник», — писал Достоевский А. Н. Майкову 7 (19) декабря. — И не думайте, что я

блины пеку: как бы ни вышло скверно и гадко то, что я напишу, но мысль романа и работа его — все-таки мне-то, бедному, то есть автору, дороже всего на свете! Это не блин, а самая дорогая для меня идея и давнишняя. Разумеется, испакощу, но что же делать!» А в письме к С. А. Ивановой от 14 (26) декабря 1869 г., сообщая, что, занятый работой над «Вечным мужем», не смог, как предполагал, написать и выслать редакции «Русского вестника» для январской книжки 1870 г. начало обещанного романа, и выражая надежду выполнить это обязательство к февралю, Достоевский говорил: «Я думаю, в «Русском вестнике» рассердятся на меня за это и будут отчасти правы. Но что же мне было делать? Я не знал, что так обернется, а написанную в «Зарю» повесть не мог переслать в «Русский вестник»; я ему назначаю нечто поважнее. Это — роман, которого первый отдел только будет напечатан в «Русском вестнике». Весь он кончится разве через 5 лет и разобьется на три, отдельные друг от друга, повести. Этот роман — все упование мое и вся надежда моей жизни — не в денежном одном отношении. Это главная идея моя, которая только теперь в последние два года во мне высказалась. Но чтоб писать— не надо бы спешить. Не хочу портить. Эта идея — все, для чего я жил. Между тем, с другой стороны, чтоб писать этот роман — мне надо бы быть в России. Например, вторая половина моей первой повести происходит в монастыре. Мне надобно не только видеть (видел много), но и пожить в монастыре. Тяжело мне поэтому за границей, невозможно не вернуться».

Из цитированных писем видно, что, отказавшись от первоначального намерения отложить осуществление своей «главной» идеи (т. е. обширного романа, в более ранних письмах носившего название «Атеизм») на два года, Достоевский, вынужденный к этому изменившимися обстоятельствами (важнейшими из которых были невозможность из-за материальных затруднений вернуться весной в Россию и необходимость погасить долг в «Русский вестник»), решил теперь же приступить к написанию произведения, соответствующего «первому отделу» его замысла и посвященного детским годам героя, отдав это произведение в «Русский вестник». Так выясняется единство «Атеизма», планов, обозначенных нами № 1 и 2, и ряда последующих этапов развития того же замысла, получившего вскоре другое название — «Житие великого грешника».

Следующим звеном в развитии интересующей нас авторской идеи

и является начало подробного плана «Жития Великого грешника» (№ 3). Оно набросано в рабочей тетради Достоевского, в основной своей части занятой подготовительными материалами к роману «Бесы» и относящейся к декабрю 1869-маю 1870 г. Большинство записей в ней датировано автором. Первая из них — от 8 (20) декабря 1869 г. — сразу дает новое название «Житие Великого грешника». Последующие заметки датированы 1, 2 и 12 (24) января 1870 г. К ним примыкает ряд дальнейших записей, первая из которых имеет авторскую дату 27 января. Указания на то, какому стилю, старому или новому, соответствуют даты 1, 2 и 27 января, в автографе отсутствуют. Но, по-видимому, они проставлены по новому стилю и их следует соответственно интерпретировать как 20 декабря (1 января), 21 декабря (2 января) 1869 г. и 15 (27) января 1870 г.

На с. 14 автографа есть запись с перечнем дат: «27 января, 10 февраля; 15 (февраля), 22 февр<аля>, 22 февраля начать высылать». По-видимому, она отражает очень недолгую уверенность Достоевского в том, что работа над «Житием» пойдет быстро и уже 10 (22) февраля он сможет отправить какую-то часть рукописи в редакцию «Русского вестника».

Несмотря на очевидную преемственность между замыслом «Атеизма», изложенным Достоевским в цитированных письмах к А. Н. Майкову от 11 (23) декабря 1868 г. и к С. А. Ивановой от 25 января (6 февраля) 1869 г., и планом «Жития Великого грешника», сложившимся к январю 1870 г., между ними есть и существенное различие. Перед нами не один, а скорее два замысла, связанных друг с другом, но в то же время и во многом несходных.

Как уже говорилось выше, замысел «Атеизма» сформировался во время работы над последней частью «Идиота». И как нетрудно видеть из обоих названных писем, замысел возник как непосредственное продолжение той дискуссии о русском человеке и его метаниях, об атеизме и католицизме, которая вспыхивает в главе VII четвертой части романа.

«…католичество римское, — восклицает здесь князь в ответ на возражение одного из гостей, собравшихся у Епанчиных, — даже хуже самого атеизма, таково мое мнение! <…> Атеизм только проповедует нуль, а католицизм идет дальше: он искаженного Христа проповедует, им же оболганного и поруганного, Христа противоположного! Он

антихриста проповедует, клянусь вам, уверяю вас! <…> Папа захватил землю, земной престол и взял меч; с тех пор все так и идет, только к мечу прибавили ложь, пронырство, обман, фанатизм, суеверие, злодейство, играли самыми святыми, правдивыми, простодушными, пламенными чувствами народа, все, все променяли за деньги, за низкую земную власть. И это не учение антихристово?! Как же было не выйти от них атеизму?» (см.: Наст. изд. Т. 6. С. 543–544).

Далее Мышкин заявляет: «Вы вот дивитесь на Павлищева, вы все приписываете его сумасшествию или доброте, но это не так! И не нас одних, а всю Европу дивит в таких случаях русская страстность наша: у нас коль в католичество перейдет, то уж непременно иезуитом станет, да еще из самых подземных; коль атеистом станет, то непременно начнет требовать искоренения веры в бога насилием, то есть, стало быть, и мечом! <…> Не из одного ведь тщеславия, не все ведь от одних скверных, тщеславных чувств происходят русские атеисты и русские иезуиты, а и из боли духовной, из жажды духовной, из тоски по высшему делу, по крепкому берегу, по родине, в которую веровать перестали, потому что никогда ее и не знали! Атеистом же так легко сделаться русскому человеку, легче чем всем остальным во всем мире! И наши не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как бы в новую веру, никак и не замечая, что уверовали в нуль. Такова наша жажда! <…> Ведь подумать только, что у нас образованнейшие люди в хлыстовщину даже пускались…» (там же. С. 545–546).

В этих словах намечена основная проблематика «Атеизма» на той первой ступени развития замысла, который отражен в письмах к Майкову и Ивановой от конца 1868-начала 1869 г. В центре их — тип охарактеризованного Мышкиным русского «атеиста», «шныряющего» по России и Европе, томимого духовным голодом и колеблющегося между неуемным отрицанием и столь же горячей жаждой веры. В качестве главного его идейного антагониста воображение автора в это время рисует образ непоколебимо твердого в своем фанатизме, готового насаждать веру огнем и мечом католического священника-иезуита, представителя того западного догматического христианства, которое, по словам Мышкина, «хуже самого атеизма» и проповедует «оболганного и поруганного» Христа.

Иное мы видим в планах «Жития Великого грешника». Здесь уже

нет «поляка» — «иезуита, пропагатора», к которому герой «попадается на крючок», как нет и фанатического «энтузиаста-священника», близкого по умонастроению к основателям иезуитского ордена. Оставлено первоначальное намерение изобразить героя уже на первых страницах романа человеком «в летах» и начать рассказ о нем с момента духовного кризиса, в результате которого он «вдруг» «теряет веру в бога». Вместо этого автор решил начать повествование о Великом грешнике с детства и последовательно изобразить в цикле связанных между собой романов всю историю его духовного развития от рождения до смерти. Ее стержень — постоянно углубляющаяся, принимающая на каждом новом этапе жизни героя новые формы борьба добра и зла, веры и безверия в его душе. Различные внешние влияния, люди, с которыми сталкивается Великий грешник, снова и снова обостряют эту борьбу. В результате каждый новый фазис его жизни, по замыслу автора, приводит героя к новому «падению», но в то же время приближается и к диалектически связанному с этими «падениями» конечному духовному возрождению.

Набросав в декабре 1869-январе 1870 г. подробный план первой части, которая должна повествовать о детских годах жизни героя — до того, как его за совершенные проступки отдают на воспитание в монастырь, — Достоевский прервал работу над «Житием». Вернулся к ней он лишь в мае 1870 г. (уже после длительного периода работы над «Бесами»). В это время возникли два последних наброска к «Житию». В первом из них (№ 4) очерчена жизнь Великого грешника в монастыре, куда он поступает в качестве послушника, охарактеризованы его беседы с Тихоном Задонским, сжато обрисованы образ самого Тихона и влияние его на героя. Эта часть плана не датирована, но тесная связь ее с наброском № 5, представляющим по содержанию ее прямое продолжение и датированным 3 (15) мая, позволяет предположить, что она набросана в тетради незадолго до указанной даты. Последняя заметка к «Житию» (№ 5), озаглавленная «Главная мысль», намечает общие контуры последующей жизни Великого грешника «после монастыря и Тихона». В ней намечается новое лицо — Ростовщик, злой гений героя, перенесенный в планы «Жития» из планов Романа о Князе и Ростовщике (см С. 309–312). Под влиянием Ростовщика герой отдается «накоплению», его кумиром становится «золото». В борьбе живущих в нем противоположных побуждений он совершает «подвиг и

страшные злодейства», «идет в схимники и в странники», но и теперь гордыня не оставляет его: живя внешне для других, Грешник по-прежнему испытывает «безмерную надменность к людям». В конце концов он становится филантропом и «умирает, признаваясь в преступлении».

Начав роман «Бесы», писатель не отказался от мысли вернуться к «Житию Великого грешника». Первоначально он полагал, что уже к осени сможет закончить роман «Бесы» и затем погрузиться в работу над «Житием», замысел которого продолжал долгое время считать важнейшим из всего, им задуманного «…я работаю одну вещь в «Русский вестник» («Бесы». — *Ред.*), — пишет он по этому поводу Страхову 24 марта (5 апреля) 1870 г…. кончу скоро и за роман сяду с наслаждением. Идея этого романа существует во мне уже три года, но прежде я боялся сесть за него за границей, я хотел для этого быть в России. Но за три года созрело много, весь план романа, и думаю, что за первый отдел его (т. е. тот, который назначаю в «Зарю») могу сесть и здесь, ибо действие начинается много лет назад. Не беспокойтесь о том, что я говорю о *«первом отделе»*. Вся идея потребует большого размера объемом, по крайней мере такого же, как роман Толстого («Война и мир». — *Ред.)*. Но это будет составлять пять отдельных романов, и до того отдельных, что некоторые из них (кроме двух средних) могут появляться даже в разных журналах, как совсем отдельные повести, или быть изданы отдельно как совершенно законченные вещи. Общее название, впрочем, будет: «Житие Великого грешника», при особом названии отдела. Каждый отдел (т. е. роман) будет не более 15 листов. Для второго романа я уже должен быть в России; действие во втором романе будет происходить в монастыре, и хотя я знаю русский монастырь превосходно, но все-таки хочу быть в России <…> из этой идеи я сделал цель всей моей будущей литературной карьеры, ибо нечего рассчитывать жить и писать далее как лет 6 или 7» (XXIX, кн. 1, 111–112).

Цитированное письмо к Страхову можно рассматривать как отражение следующей по сравнению с январскими планами и наметками ступени в развитии замысла «Жития Великого грешника». Письмо к А. Н. Майкову от 25 марта (6 апреля) 1870 г дает наиболее подробное, целостное изложение всего замысла «Жития», как он вырисовывался перед Достоевским в это время: «…в «Зарю» я обещаю

вещь хорошую и хочу сделать хорошо. Эта вещь в «Зарю» уже два года как зреет в моей голове. Эта та самая идея, об которой я Вам уже писал. Это будет мой последний роман. Объемом в «Войну и мир» и идею Вы бы похвалили — сколько я по крайней мере соображаюсь с нашими прежними разговорами с Вами. Этот роман будет состоять из пяти больших повестей (листов 15 в каждой; в 2 года план у меня весь созрел). Повести совершенно отдельны одна от другой, так что их можно даже пускать в продажу отдельно. Первую повесть я и назначаю Кашпиреву. Тут действие еще в сороковых годах. (Общее название романа есть: *Житие Великого грешника*, но каждая повесть будет носить название отдельно). Главный вопрос, который проведется во всех частях, — тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, — существование божие. Герой в продолжение жизни то атеист, то верующий, то фанатик и сектатор, то опять атеист. 2-я повесть будет происходить в монастыре. На эту 2-ю повесть я возложил все мои надежды. Может быть, скажут наконец, что не все писал пустяки. Вам одному исповедуюсь, Аполлон Николаевич: хочу выставить во 2-й повести главной фигурой Тихона Задонского,[66] конечно под другим именем, но тоже архиерей, будет проживать в манастыре, на спокое. 13-летний мальчик, участвовавший в совершении уголовного преступления, развитый и развращенный (я этот тип знаю) <…> будущий герой всего романа, посажен в монастырь родителями и для обучения. Волчонок и нигилист-ребенок сходится с Тихоном (Вы ведь знаете характер и все лицо Тихона). Тут же в монастыре посажу Чаадаева (конечно, под другим тоже именем). Почему Чаадаеву не просидеть года в монастыре? <…> К Чаадаеву могут приехать в гости и другие, Белинский, например, Грановский, Пушкин даже. (Ведь у меня же не Чаадаев, я только в роман беру этот тип). В монастыре есть и Павел Прусский, есть и Голубов, и инок Парфений. (В этом мире я знаток и монастырь русский знаю с детства). Но главное, Тихон и мальчик <…> Авось выведу величавую, *положительную,* святую фигуру. Это уж не Костанжогло-с и не немец (забыл фамилию) в «Обломове» <…> я ничего не создам, я только выставлю действительного Тихона, которого я принял в свое сердце давно с восторгом. Но я сочту, если удастся, и это для себя уже важным подвигом. Не сообщайте же никому. Но для 2-го романа, для монастыря, я должен быть в России. Ах, кабы удалось! Первая же

повесть — детство героя: разумеется, не дети на сцене; роман есть. И вот, благо я могу написать это за границей, предлагаю «Заре» (там же. С. 117–118).

В письмах к Страхову и Майкову замысел «Жития» существенно обогащен по сравнению с более ранними наметками. Биография Великого грешника, история его душевной борьбы и исканий, которая до сих пор излагалась автором как история отдельной личности, вводится теперь в определенную историко-культурную перспективу: действие первой части романа начинается по новому замыслу в 1840-х годах; в последующих же частях жизнь героя должна быть доведена до современного момента, — план, непосредственно предвосхищающий более поздний замысел «Братьев Карамазовых». Но дело не только в желании романиста попытаться исторически распределить этапы формирования личности героя во времени, связав их более или менее отчетливо с различными моментами исторической жизни русского общества. Важнее другое. До начала работы над «Бесами», т. е. до января — февраля 1870 г., замысел «Атеизма», а затем обдумывание «Жития» в определенной мере подготовляли Достоевского к работе над этим романом. После же оформления замысла «Бесов», как свидетельствует письмо к Майкову, по-видимому, начинается воздействие того нового творческого метода, который сложился у автора в работе над «Бесами», на замысел «Жития» Задумав художественно воссоздать в «Бесах» черты Т. Н. Грановского, С. Г. Нечаева и других исторических лиц в качестве обобщенных олицетворений определенных широких исторических явлений русской жизни, Достоевский теперь распространяет это новое художественное решение также на «Житие». Так рядом с фигурами вымышленных героев или лиц, имена и характеры которых родились в воображении романиста в результате творческого переосмысления реальных образов его биографии (брат Миша, Сушар, Альфонский, Чермак, Ламберт, Куликов и др. — см. об этом ниже), в замыслах «Жития» появляются исторические образы-обобщения: Чаадаев, Белинский, Грановский, Пушкин, инок Парфений, Тихон Задонский и др. Возникает идея превратить монастырь, куда действие должно перенестись во второй части эпопеи, в обобщенное, условное место действия, где должны собраться— под другими именами — несходные по своим взглядам деятели русской истории и культуры, выступавшие в разные времена и

на различном поприще — литературном, университетском, религиозном и т. д., — для того чтобы помериться силами в споре по важнейшим вопросам русской жизни и человеческого бытия вообще. Идея подобного своеобразного «собора» различных русских мыслителей XVIII–XIX веков поражает своей оригинальностью даже в творчестве Достоевского, — определенные аналогии ей могут быть отысканы скорее у Данте в «Божественной комедии», а также в средневековой литературе и живописи или на фресках мастеров эпохи Возрождения («Диспут» и «Афинская школа» Рафаэля), чем в реалистическом романе XIX в. С другой стороны, идея эта предвосхищает самые смелые опыты жанра философского романа XX в.

Достоевский сообщал Майкову, что собирается построить задуманный роман «из пяти больших повестей». Попытка реконструкции содержания каждой из них на основе письма к Майкову и планов «Жития» была предложена Л. П. Гроссманом: 1. Детство; 2. Монастырь, встреча с Тихоном; 3. Молодость (атеизм, влияние ростовщика и накопление золота, кульминация греховности); 4. Кризис (схимничество, странствия, жажда смирения); 5. Духовное перерождение, признание в преступлении и смерть. Однако реконструкция эта в отношении частей 3–5 спорна, так как планы «Жития» в письме к Майкову отражают не одну и ту же, но во многом различные, идеологические и сюжетно не вполне сходные стадии развития замысла.

Первоначальное намерение Достоевского, быстро закончив роман «Бесы», освободиться от него к осени 1870 г. для работ над «Житием» не осуществилось. Тем самым писание «Жития» постепенно отодвигалось в более или менее отдаленное будущее. Все больше уходя в работу над «Бесами», автор осознает, что ему не удастся в ближайшее время вернуться к «Житию», и спешит хотя бы кратко закрепить для памяти в тетради основные линии задуманной эпопеи. Записав 3 (15) мая 1870 г. последний план «Жития», формулирующий его сквозную, «главную мысль», Достоевский несколько дней спустя, 7 (19) мая 1870 г., сообщает С. А. Ивановой: «У меня, например, и задуман роман (в успех которого я верую вполне); но писать его здесь я совершенно не решаюсь и отложил» (там же. С. 122). Через несколько дней, 2 (14) июля 1870 г., писатель сообщал ей же, что в этом году ему не кончить «Бесов» и он раскаивается, что взялся за этот роман. «Я бы не о том

хотел писать», — замечает он тут же, имея в виду «Житие» (там же. С. 130). Не представляя себе пока сколько-нибудь определенно, когда он сможет приняться за «Житие», Достоевский в течение лета и осени 1870 г., вплоть до конца декабря, все-таки не оставлял мысли о работе над ним с будущего года (см. письма к В. В. Кашпиреву от первой половины августа ст. ст. и Н. Н. Страхову от 2 (14) декабря 1870). В последнем из указанных писем романист с горечью писал: «Повестей задуманных и хорошо записанных у меня есть до шести <…> Но если б я был свободен, т. е. если б не нуждался поминутно в деньгах, то ни одну бы не написал из всех шести, а сел бы прямо за мой будущий роман. Этот будущий роман уже более трех лет как мучит меня, но я за него не сажусь, ибо хочется писать его не на срок, а так, как пишут Толстые, Тургеневы и Гончаровы. Пусть хоть одна вещь у меня свободно и не на срок напишется. Этот роман я считаю последним словом в литературной карьере моей. Писать его буду во всяком случае несколько лет. Название его: *Житие Великого грешника.* Он дробится *естественно* на целый ряд повестей. И не знаю, смогу ли начать его в этом году, если даже к июлю кончу в «Р(усский) вестник»(там же. С. 151). А в письме к А. Н. Майкову от 15 (27) декабря 1870 г. Достоевский признавался: «Оторваться от «Русского вестника» до срока не могу. Да и, начав одно, нельзя перейти к другому» (там же. С. 154). На этом упоминания о «Житии» в письмах Достоевского обрываются; замысел этот воскресает в сознании романиста в новой, преображенной форме лишь в 1874 г. при обращении к работе над «Подростком» (наст. изд. Т. 8), вобравшим в себя ряд мотивов первой части «Жития».

«Житие Великого грешника» мыслилось автором как величественная художественная композиция, состоящая из ряда драматических фресок, как своеобразная грандиозная эпопея, по значению и объему равная «Войне и миру» (см.: XXIX, кн. 1, 112, 117).

Сопоставление в письмах Достоевского замысла «Жития великого грешника» с «Войной и миром» нельзя признать случайным. Писатель лучше, чем кто-нибудь из его современников, понял, что с выходом «Войны и мира» русская литература обрела новые масштабы, неизвестные ей в 1850-х годах. Правда, в письме к Страхову от 24 марта (5 апреля) 1870 г., споря с его оценкой «Войны и мира», Достоевский настаивал: «…явиться <…> с «Войной и миром» — значит явиться после <…> *нового слова*, уже высказанного Пушкиным, и это во *всяком*

случае, как бы далеко и высоко ни пошел Толстой в развитии уже сказанного в первый раз, до него, гением нового слова» (там же. С. 114). И все же эпопея Л. Н. Толстого явно побуждала Достоевского к творческому соревнованию с ним.[67] «Житием» писатель и надеялся сказать свое новое слово (см.: XXVIII, кн. 2, 334), одержать художественную победу над Толстым и Тургеневым, которых, несмотря на постоянную полемику с ними, он тем не менее признавал авторами «первых вещей» в тогдашней русской литературе (см. письмо к С. А. Ивановой от 8 (20) марта 1869 г.).

Исторической эпопее Толстого Достоевский в «Житии Великого грешника» намеревался противопоставить эпопею внутренней борьбы и духовных исканий современного русского человека, а излюбленному толстовскому герою, молодому человеку из среды «русского родового дворянства» с «законченными формами чести и долга», — члена «случайного семейства», одного из представителей того «беспорядка» и «хаоса», в котором, по диагнозу Достоевского, пребывала жизнь огромного большинства уголков русской действительности после реформы (см. об этом заключительную главу романа «Подросток» — наст. изд. Т. 8; Дневник писателя. 1876. Январь. Гл. 1. § 2).

Достоевский отдавал себе отчет в трудности поставленной задачи. Отсюда особая забота о стилистическом выражении своего нового замысла, отразившаяся в планах «Жития»: «Чтоб в каждой строчке было слышно: я знаю, что я пишу, и не напрасно пишу». Романист видел свою цель в том, чтобы «втиснуть» мысли «художественно и сжато», т. е. пронизать все изложение одной «владычествующей идеей», сделав его кратким, порою даже сухим, но при необходимости, «не скупясь на изъяснения».

Достоевский не случайно дал новому произведению на заключительном этапе обдумывания замысла название «Жития». Писатель стремился подчеркнуть этим глубоко национальный характер избранного им жанра и его основной этической проблематики, органическую связь своего замысла с определившимися в русской литературе еще со времен средневековья поэтическими традициями и моральными исканиями.

Обращению Достоевского к жанру жития, излюбленному в русской литературе XI–XVII вв., по-видимому, способствовала начавшаяся в России в 1850-1860-х годах усиленная деятельность по изданию

памятников и разработке истории древнерусской литературы. В это время появляются многочисленные труды Ф. И. Буслаева, А. Н. Пыпина, Н. С. Тихонравова и других ученых, посвященные культуре, литературе, искусству Древней Руси. В 1862 г. было издано «Житие протопопа Аввакума», поразившее современников и оказавшее глубокое влияние на умы. Но и более старинная агиографическая и учительная литература Древней Руси не могла не волновать писателя, [68] которому она была близка своим этическим пафосом, высокой требовательностью к человеку, живым ощущением красоты окружающего мира, активным отношением к добру и злу.[69] В «Житии Великого грешника» Достоевский воспользовался традиционной канвой «жития», в центре которого неизменно находилась столь остро занимавшая его проблема добра и зла, для того чтобы насытить его глубоко современным психологическим и философским содержанием

2

Возникновение нового замысла было подготовлено всем предшествующим творчеством Достоевского, тесно связано с «Записками из Мертвого дома», «Игроком», «Преступлением и наказанием», «Идиотом».

Герой «Жития» — человек горячий и страстный, он «не прощает ничего ложного и фальшивого» в людях. Обстоятельства же, в которых протекает его детство, очень скоро доказывают ему грязь и безобразие «больших», учат презрению к ним: пьянство и «падение» старичков, гостей, учителя; несправедливое обращение с ним развратного отца, его жестокость по отношению к крестьянам; любовные дела мачехи, о которых мальчик узнает случайно и в которые как-то оказывается «ввязан». В нем крепнет «инстинктивное сознание превосходства, власти и силы», своей необыкновенности, просыпается «чувство разрушения». Он находит наслаждение в том, чтобы преступать принятые нормы морали. Краткое указание на чувства, испытываемые им при этом («Сам дивится себе, сам испытывает себя и любит опускаться в бездну»), может быть прокомментировано подробным рассуждением из «Записок из Мертвого дома»: «Точно опьянеет человек, точно в горячечном бреду. Точно, перескочив раз через

заветную для него черту, он уже начинает любоваться на то, что нет для него больше ничего святого; точно подмывает его перескочить разом через всякую законность и власть и насладиться самой разнузданной и беспредельной свободой, насладиться этим замиранием сердца от ужаса, которого невозможно, чтобы он сам к себе не чувствовал» (наст. изд. Т. 3. С. 305). Герой «Жития» еще мальчиком проходит через разврат, святотатство, убийство. «Гордая и владычествующая натура» — так определяет его автор. Его, как и Раскольникова в «Преступлении и наказании», мучает кровь, он тоже признается в убийстве («молчание кончается через полтора года признанием о Куликове»); после же монастыря, куда его отдают на исправление, он совершает еще много «страшных злодейств».

«Огромный замысел владычества» после долгих колебаний приобретает конкретную форму: герой «устанавливается <…> на деньгах». Но в отличие от героя «Игрока» Великий грешник хладнокровно обдумывает, способны ли деньги быть «точкой твердой опоры», начинает с воспитания «воли и внутренней силы» («Сила воли — главное себе поставил»), ибо понимает всю трудность задачи «вынести» деньги, «выдержать себя» в роли накопителя. Идея утверждения себя через богатство присутствует и в романе «Идиот» (Ганя Иволгин, Птицын). В «Житии», однако, тема денег получает более широкую социально-психологическую разработку. В том же аспекте она затем развивается в «Подростке» и формулируется в «Дневнике писателя»: «…человек всегда и во все времена боготворил материализм и наклонен был видеть и понимать свободу лишь в обеспечении себя <…> деньгами. Но никогда эти стремления не возводились так откровенно и так поучительно в высший принцип, как в нашем девятнадцатом веке» (Дневник писателя. 1877. Март. Гл. II, § 3).

Гордый, своевольный герой-разрушитель, одержимый идеей денежного могущества, «кончает воспитательным домом *у* себя и Гасом становится». В «Житии» Достоевский вернулся к задаче, намеченной в «Преступлении и наказании» и прямо поставленной в первоначальных планах «Идиота» (см. об этом: IX, 342–350; наст. изд. Т. 6. С. 622–624), — показать, как «самоотвержение» одерживает в душе человека победу над «безумной гордостью». Герой «Жития», в котором акцентированы сознание своей исключительности, гордость, «гадливость» к людям, стремление господствовать над ними, не всегда

находится во власти разрушительных сторон своей натуры. «Многое его иногда *трогает* сердечно»: сострадание к Хроменькой, «друг, смирный, добрый и чистый, перед которым он краснеет». Он «кается и мучается совестью в том, что ему так *низко* хочется быть необыкновенным». Тяжелое и некрасивое детство все-таки оставляет в нем теплые воспоминания («поэзия детских лет», «первые идеалы», «страстная вера»). Все это — залог его будщего духовного перерождения. При этом тема любви к людям, побеждающей высокомерие и ненависть, сопрягается, скрещивается с глубоко личной для Достоевского темой религиозных сомнений. Писатель намеревался сделать живым и убедительным воплощением одного из двух противоборствующих начал души героя Тихона Задонского; второе, антихристианское, начало должен был символизировать «антитез Тихону» — Ростовщик, «человек ужасный», внушивший герою идею накопления. Процесс религиозно-нравственной борьбы, совершающийся в герое, Достоевский рассматривал как черту типично национальную (ср. запись от 1 января 1870 г. о типе из коренника).[70] С «Житием», таким образом, было тесно связано развитие представлений писателя о русском человеке и его характере.

Личность и сочинения Тихона Задонского (в миру Тимофея Савельевича Соколова (Соколовского), 1724–1793), воронежского и елецкого епископа, с 1769 г. удалившегося в Задонский монастырь, могли заинтересовать Достоевского еще в Сибири или, что более вероятно, в начале 1860-х гг.,[71] когда вышло в свет пятнадцатитомное собрание его произведений, а затем несколько его жизнеописаний. Об устойчивости интереса писателя к Тихону свидетельствуют и его признание в письме к А. Н. Майкову от 25 марта (6 апреля) 1870 г. о том, что Тихона он «принял в свое сердце давно с восторгом» (XXIX, кн. 1, 118), и его более позднее высказывание: «А кстати: многие ли знают про Тихона Задонского? Зачем это так совсем не знать и совсем дать себе слово не читать? Некогда, что ли? Поверьте, господа, что вы, к удивлению вашему, узнали бы прекрасные вещи» (Дневник писателя. 1876. Февраль. Гл. I, § 2).

Жизнеописанием Тихона подсказан выбор для второй части «Жития» ситуации: Тихон и ребенок. Тихон преподавал в Новгородском духовном училище и в Тверской семинарии. Став воронежским епископом, он основал ряд школ, которые нередко посещал. В

Задонском монастыре, по утверждению биографов, его много раз видели окруженным детьми, которых он стремился приохотить к посещению церковных служб. Христианское воспитание детей было частой темой проповедей Тихона. Переживания героя «Жития» не случайно оказались близки и понятны ему. Во всех жизнеописаниях Тихона говорится, что он знал приступы тоски, отчаяния, сомневался в своем религиозном подвиге, боролся *с* природными вспыльчивостью и гордостью. В планах «Жития» получил также отражение факт, относящийся к последнему периоду жизни Тихона: выйдя из себя, его противник в споре, богатый дворянин, знаток французской и английской философии, дал Тихону пощечину, тот в ответ низко поклонился и попросил прощения у своего врага.[72] В «Житие» вошел и еще один характерный для легендарной биографии Тихона эпизод: «Тихон говорит одной барыне, что она и России изменница и детям злодейка». По преданию, Тихон очень часто не допускал к себе разрумяненных и напудренных дам, говоря: «Смертное свое тело убирают и украшают, а о доброте душ своих едва ли когда вспомнят». [73]

По учению Тихона, зло необходимо, неизбежно для рождения добра, истинного и неподдельного. Победи себя, призывал он, победи «смирением гордость, гнев кротостию и терпением, ненависть любовию».[74] Человек должен быть признателен судьбе за искушения, беды и страдания: именно благодаря им он может познать себя и узнать зло, которое кроется в его сердце. Лишь на трудном и горестном пути открываются цели упорной работы над собой, которая дает ценность и смысл человеческому существованию. Возможность просветления и очищения, по убеждению Тихона, открыта любому человеку, какие бы преступные деяния ни отягощали его совесть: «Прииде сын божий грешники спасти, не такие и такие, но всякие, какие бы они ни был и…».[75] Тихон не раз говорил о прощении и обращении *великого грешника,* о *житии* нераскаянном и *житии* новом (курсив наш. — *Ред.),* например: «И уже прежнее твое житие скаредное и скверное не повредит тебе, как тьма вышедшему на свет. Тьма — нераскаянное житие и заблуждение; свет — покаяние и исправление Ты, отрекшися прежнего своего жития и начнеши новое, как из тьмы на свет вышел…». [76]

В своих сочинениях Тихон настойчиво возвращается к мысли о

победе над собой, как бы опасаясь возможности ее ложного истолкования. Тезис этот у Тихона направлен против гордости и самолюбия. Великий же грешник находит в нем опору своей мечте «быть *величайшим из людей*». Герой «Жития» стремится одолеть страсти и победить слабости, которые могут отвлечь его от главной цели — подчинить себе людей и владычествовать. Он далек от истинного смирения («смирения в сердце»).

По мысли Тихона, напрасно считает, что победил себя, и тот, кто, отвергая чины и титулы мирские, хочет, чтобы его почитали за святость, и тот, кто, называя себя «паче всех грешником», не позволяет другим сказать о себе что-нибудь подобное: «…как серп сличенную выю носят, но внутрь ум возносят», — пишет он.[77] Подлинное смирение означает высшую духовную свободу. Этот пункт учения Тихона привлек внимание Достоевского своей созвучностью его идеям. «Все о смирении и о свободной воле» — одна из тем бесед героя и Тихона, указанных в рукописи «Жития».[78] Интерес к теме смирения и свободы, как она разработана у Тихона, не ослабел у Достоевского и впоследствии (ср. в романе «Братья Карамазовы»).

Победив себя и обретя через смирение духовную свободу, человек, по Тихону, получает способность полного, светлого, яркого восприятия природы. Человека и мир он рассматривал рожденными не для враждебного противостояния, но для радостного слияния друг с другом Чувство единства вещей и явлений в боге (в качестве источника своего настроения Тихон указывает на псалмы царя Давида) пронизывает его вдохновенные гимны красоте природы. В «Житии» Достоевский находит очень точное определение («вселенская радость *живой жизни*») для обозначения этого глубоко импонировавшего ему чувства, которое уже после «Жития» в полную силу прозвучало в «Подростке» и особенно в «Братьях Карамазовых».

Среди «противоречий» влиянию старца, которые Великому грешнику предстоит преодолеть, названы идеи О. Конта («… образование (Конт, Атеизм. Товарищи). Образование мучит его, и — идеи, и философия, но он овладевает тем, в чем главное дело»). Это первое упоминание имени французского философа в творчестве Достоевского. Процитированную запись от 3(15) мая 1870 г. дополняет и поясняет заметка в черновых материалах к «Бесам»: «Все эти философские системы и учения (позитивизм и Конт и проч.) являлись

не раз (новый факт и возрождение) и ужасно скоро, бесследно и почти неприметно ни для кого вдруг исчезали. И не потому, что их опровергали, о, нет, — просто потому, что они никого не удовлетворяли… Тогда как другие идеи (христианство и пр.) вдруг расходились по всей земле, овладевали миром, и вовсе не потому, что были доказаны, а просто потому, что всех удовлетворяли…» (XI, 144). Позитивистская теория выступает, таким образом, как антитеза христианству, наиболее яркое воплощение безверия.

Имя основоположника позитивизма было известно Достоевскому, вероятно, еще с 1840-х гг. Его сочинения были в библиотеке петрашевцев;[79] на собрании зимою 1848 г. Н. С. Кашкиным была прочитана «Речь о задачах общественных наук», учитывавшая и точку зрения Конта.[80] П. П. Семенов-Тян-Шанский рассказывает в своих воспоминаниях, что Контом увлекался в пору своего пребывания во Франции Спешнее, а также, что среди прочитанных Достоевским — участником кружка Петрашевского французских сочинений был и «Cours de philosophie positive» О. Конта.[81] В 1857 г. Конт умер, но влияние позитивизма на Западе продолжало расти. В 1860-х гг. эта философия широко распространилась и в России. Начиная с 1865 г. ведущие журналы («Современник», «Русское слово», «Отечественные записки» и др.) помещали статьи о Конте и его учении. В 1867 г. в Петербурге вышла книга «Огюст Конт и положительная философия: Изложение и исследование Г. Г. Льюиса и Дж. С. Милля/Пер. под ред. Н. Неклюдова и Н. Тиблена», и П. Л. Лавров напечатал пространную рецензию на нее.[82] Ряд публикаций, посвященных Конту, появился и в 1869 г.[83] Часть этих журнальных материалов могла быть известна Достоевскому. Они знакомили со вторым этапом деятельности философа, когда Конт писал свою «Système de politique positive», посвященную вопросам социального и политического переустройства общества. Внимание Достоевского прежде всего должны были привлечь контовская постановка проблемы любви к человеку и вопрос о пересоздании мира на началах разума и опыта. Конт руководствовался мыслью об общем интересе человечества. Считая недостаточным евангельский принцип «возлюби ближнего как самого себя» и провозглашая принцип «люблю тебя больше, чем себя, и себя люблю только ради тебя», он объявил постыдной и преступной всякую заботу о себе. Успешного искоренения эгоистических инстинктов, подчинения

их социальным чувствам Конт мечтал добиться путем позитивного воспитания, основанного на строжайшей регламентации. При этом он не просто сбрасывал со счетов эгоистическое, своевольное начало в человеке, — говоря словами Достоевского, в его системе «натура» вообще не бралась «в расчет» (VI, 197). Французский мыслитель исходил из идеи о бесцветности, ничтожности людского большинства, которое для его же блага следует заставить жить по программе. Контовский способ осчастливить человечество не мог не вызвать неприятие Достоевского. Писателю могли показаться любопытными и представления Конта о так называемой духовной власти в обществе, устроенном на началах позитивизма (власти, направляющей цуховное развитие, в отличие от светской, занимающейся производством и распределением). Конт много и дифирамбически писал об устройстве католической церкви. Он считал, что усовершенствование ее с помощью позитивных принципов даст образцовую организацию власти в будущем обществе. Пытаясь практически решить вопрос, Конт обращался к ордену иезуитов с предложением создать религиозно-политический союз для совместных действий. В этих взглядах Конта Достоевский мог найти подтверждение своей мысли о возможности объединения клерикалов и «обладателей» рационалистических рецептов облагодетельствования общества, в первом приближении сформулированной в «Идиоте» («Ведь и социализм — порождение католичества и католической сущности!» — наст. изд. Т. 6. С. 544). Конт не был утопическим социалистом, но был учеником Сен-Симона и сам выступал в качестве автора проекта социального переустройства общества. Именно с этой стороны он и мог заинтересовать Достоевского.[84]

Одним из эпизодов биографии героя «Жития» должен был стать эпизод увлечения хлыстовщиной. У Достоевского были серьезные причины для того, чтобы заставить Великого грешника в поисках подлинной веры преодолеть соблазн именно этого учения. Писатель, вообще следивший за изданиями по истории раскола (см.: VII, 393–395), по-видимому, знал литературу, посвященную хлыстам и скопцам. Его интерес к ней мог зародиться еще в юношестве, в пору обучения в Инженерном училище, когда он слышал рассказы старшего писаря Игумнова об «Инженерном замке, о жительстве в нем в 20-х годах секты «людей божиих», об их курьезных радениях. «[85] В поле зрения

Достоевского должна была попасть часть публиковавшихся во второй половине 1860-х гг. научных трудов, газетных и журнальных материалов о хлыстах, которые иногда носили информационный характер, но нередко заключали в себе и попытки осмыслить причины их успешной деятельности или давали обстоятельный анализ их учения. [86] Не прошло, вероятно, мимо Достоевского и нашумевшее «плотицынское дело», т. е. начавшийся в январе 1869 г процесс купца М. К. Плотицына, главы тамбовских скопцов, хранителя общественного скопческого капитала; процесс этот подробно освещался в «Современных известиях», «Голосе», «С.-Петербургских ведомостях» и других газетах. Подтверждением того, что Достоевский читал какие-то из названных статей, книг, корреспонденции, является упоминание в повести «Вечный муж» «хлыстовской богородицы», которая «в высшей степени сама верует в то, что она и в самом деле богородица» (по поводу характеристики Натальи Васильевны Трусоцкой — IX, 27). Рассуждения о хлыстовщине в связи с осмыслением проблемы национального характера оставили след и на страницах «Идиота». Исступленная духовная жажда, страстность поисков нравственной истины приводили к тому, что «… у нас образованнейшие люди в хлыстовщину даже пускались… — говорит здесь Достоевский устами князя Мышкина. — Да и чем, впрочем, в таком случае хлыстовщина хуже, чем нигилизм, иезуитизм, атеизм? Даже, может, и поглубже еще!» (наст. изд. Т. 6. С. 546). В том же направлении работала мысль писателя и при обдумывании планов «Атеизма», а затем «Жития». В последнем его мысли приняли уже форму выводов: «Это просто тип из коренника, бессознательно беспокойный собственною типическою своею силою, совершенно непосредственною и не знающею, на чем основаться. Такие типы из коренника бывают часто или Стеньки Разины, или Данилы Филипповичи или доходят до всей хлыстовщины и скопчества».

В хлыстовском учении Достоевского несомненно должны были заинтересовать идеи обожествления человека, абсолютной власти «Христов» и «пророков» хлыстовского корабля над рядовыми его членами. По учению хлыстов, Христом может объявить себя каждый (если он достиг высшей, по хлыстовским понятиям, ступени нравственного совершенства — так называемого таинственного воскресения). Дерзко объявляли себя богами и внушали фанатическую веру в себя хлыстовский Саваоф Данила Филиппович, «Христос» Иван

Тимофеевич Суслов (при котором состояли 12 апостолов и богородица) и их последователи — Прокофий Лупкин, Андрей Селиванов, Василий Радаев. «Я сам бог», — заявляет в духе хлыстов герой «Жития» Хроменькой. Он подвергает ее кротость и терпение бесконечным испытаниям, не в силах преодолеть соблазна полной власти над душой и телом жертвы: «Тогда полюблю, когда все сделаешь». «В отклонениях фантазии» его— «мечты бесконечные, до ниспровержения бога и постановления себя на место его». Почва для таких «отклонений» подготовлена рассказами лакея Осипа («Подружился с Осипом, о хлыстах, вместе чуть не спят»). Психологическая загадка власти двух родственных сект — хлыстовской и скопческой — над русскими умами продолжала волновать Достоевского также в «Бесах» (наст. изд. Т. 7. С. 396) и «Братьях Карамазовых» (наст. изд. Т. 9. С. 101, 109).

Идейная насыщенность замысла «Жития» объясняет его особое место в творчестве Достоевского. «Житие» явилось своеобразным арсеналом идей и образов для последующих трех романов писателя. Так, углубление, обогащение замысла романа «Бесы», задуманного как тенденциозное, памфлетное произведение, было определено тем, что некоторые черты Великого грешника Достоевский передал Князю — Ставрогину, занявшему в романе подобающее ему центральное место. [87] Записи, публикуемые под № 4, послужили материалом для создания образа Тихона в этом же романе (см.: XI, 5-30). Из «Жития» перешла в «Бесы» и Хроменькая, преобразившаяся в Марью Тимофеевну Лебядкину.

Заглавием своего неосуществленного замысла, в несколько измененном, правда, виде («Подросток. Исповедь великого грешника, писанная для себя»), писатель предполагал воспользоваться в один из начальных моментов работы над следующим романом, названным в конце концов «Подросток» (см.: XVI, 48). Главный персонаж этого произведения тоже в значительной мере является сколком с Великого грешника: он горд, ожесточен унижениями, перенесенными в пансионе, страстен. Выстраданная им идея накопления не может целиком завладеть его сознанием. История отклонений от нее, колебаний, которая некогда должна была составить первую часть романа, посвященного детским и юношеским годам Великого грешника, нашла свое воплощение в «Подростке». Тем самым частично была решена поставленная в «Житии» задача — написать историю души, изобразить

становление личности.[88]

С образом Великого грешника генетически связаны главные герои последнего романа писателя. К Дмитрию Карамазову ведут записи: «начало широкости», «сладострастие», «разгул»; в характере Ивана отражена богоборческая линия «Жития»; в характере Алексея — мотив послушничества. Тема монастыря и старчества, намеченная в «Житии» как одна из самых главных, получила в «Братьях Карамазовых» углубленное развитие. Тихон Задонский стал одним из прототипов Зосимы. «Монастырскими» записями «Жития» в какой-то степени предопределена композиция шестой книги второй части романа. Соотносится с «Житием» и тема детей и детской психологии в «Братьях Карамазовых»: образы Коли Красоткина— «прелестной натуры, хотя и извращенной», и Лизы Хохлаковой, в которой есть «что-то злобное и в то же время что-то простодушное» (наст. том. С. 53, 79). Детская дружба прикованной к креслу Лизы и Алеши Карамазова — новый вариант отношений героя «Жития» и Хроменькой.[89]

Как свидетельствуют письма Достоевского А. Н. Майкову, Н. Н. Страхову, С. А. Ивановой от конца 1868— конца 1870 г., замысел «Жития» был очень дорог писателю. Однако цикл романов под общим названием «Житие великого грешника» так и не был написан. Рукопись Жития» помогает уяснить причины «обреченности» замысла. Внимательный анализ ее свидетельствует о том, что писателю упорно не давалась идея «преодоления греховности». По справедливому наблюдению А. Л. Бема в планах «Жития» «преступный лик героя вырисован четко и психологически убедительно, лик просветленный рисуется смутно»; даже встреча с Тихоном «скорее укрепляет грешника в его ложном пути, чем ведет его на путь просветления», а в одной из заключительных записей о «не побежденном в своей гордости, не способном на подлинный акт смирения и раскаяния» герое говорится: «Застрелиться хотел…». Таким образом, «почти до конца герой «Жития» пребывает в своей гордыне, пути преодоления которой в сохранившемся плане не даны».[90] Достоевскому не удавалось в соответствии со своим замыслом убедительно изобразить духовный переворот, эволюцию от мрачного преступления к подвигу и деятельности на благо людей.

Великолепная мысль. Иметь в виду

(Идея романа. Романист…)

Запись датирована 16 (28) февраля 1870 г. «Идея романа» возникла в период, когда обдумывались планы первой части «Жития великого грешника» и начиналась работа над «Бесами». В наброске обобщены наблюдения Достоевского над современными писателю литературными кругами, в какой-то мере находят отражение его представления о себе самом и о состоянии тогдашней беллетристики.

Как раз в январе-феврале 1870 г., судя по записям в рабочей тетради к «Бесам», Достоевский страдал от усилившихся приступов эпилепсии. Из мучительных обстоятельств собственной писательской жизни отнесено к ««романисту» и то, что он «всю жизнь писал на заказ».

С И. С. Тургеневым, И. А. Гончаровым, А. Н. Плещеевым Достоевский был знаком еще с 1840-х годов. Отношения между ним и этими писателями, так же как и с упоминаемым в плане романа М. Е. Салтыковым, были сложны: наряду с постоянным интересом друг к другу были периоды идеологической и творческой полемики, охлаждения (это можно сказать даже о дружбе с А. Н. Плещеевым, который как участник собраний петрашевцев стоял 22 декабря 1849 г. рядом с Достоевским на Семеновском плацу, позднее же был связан с лагерем «Современника» и «Отечественных записок»). Писатели эти, а также Л. Н. Толстой и И. С. Аксаков (как и во многих письмах Достоевского, где он говорит о себе), противопоставлены в данном наброске «роману», впавшему в нищету вследствие того, что они пользуются большей материальной обеспеченностью и независимым положением, что обусловливает и отличие их мироощущения

Высказывает «романист» и близкое к авторскому суждение об А. Ф. Писемском. После выхода «Тысячи душ» Достоевский в письме к брату Михаилу от 31 мая ст ст. 1858 г. критически отозвался об этом романе: «Это все старые темы на новый лад. Превосходная клейка по чужим образцам…» (XXVIII, кн. 1, 312).

Мысль на лету

Основанием для датировки служит упоминание казни Тропмана, на которой «была» героиня. Жан-Батист Тропман, убивший с целью ограбления семью Кинков, был казнен в Париже 7 (19) января 1870 г. Откликом на эту казнь в русской периодической печати явился очерк присутствовавшего на ней И. С. Тургенева «Казнь Тропмана», опубликованный в июньском номере «Вестника Европы» за 1870 г. В письме к Н. Н. Страхову от 11 (23) июня 1870 г. Достоевский изложил свои впечатления от чтения тургеневского очерка (XXIX кн. 1 127–129) Вероятно, вскоре после этого и был сделан данный набросок, так как в памяти Достоевского в это время еще были свежи детали казни и портрета преступника, воспроизведенные Тургеневым. В словах набросках Описание казни. О том, что он был прелестен» Достоевский явно исходил здесь из обрисовки Тропмана Тургеневым. См.: *Тургенев И. С.* Поли собр. соч.: В 28 т. М.; Л, 1967. Т. 14. С. 161–163.

Мысли новых повестей

Записаны в рабочей тетради Достоевского, включающей подготовительные материалы к «Бесам» которые датируются маем 1870 июлем 1871 г Можно предположить, что и данная заметка была сделана в указанный период. Сюжетная ситуация о дворовой девушке, помещике и их незаконном ребенке получит развитие в романе «Подросток».

Новые повести

Замыслы двух «новых повестей» датируются (по следующим за ними пометам Достоевского о долгах) скорее всего январем 1872 г. В наброске к первой из них упомянут фон Зон, содержатель петербургского притона, жертва уголовного преступления, совершенного в Петербурге 8 ноября 1869 г и получившего широкую огласку в конце 1869 начале 1870 г

Герой первой из повестей чиновник (или другой неудачник),

«Бесталанный дрянной», подстрекаемый самолюбием и самомнением, который то пытается застрелиться, то хочет обесчестить дочь генерала накануне ее свадьбы. План ее перекликается с «идеей» задуманного несколько месяцев спустя произведения о чиновнике, колеблющемся от скуки, после «пощечины», между желаниями поджечь, убить или удалиться от людей на необитаемый остров (см. наст. том. с. 328)

Сюжет второй повести — «странствование» по Петербургу убежавших от отчима детей составляет промежуточное звено между рядом аналогичных по теме набросков к «Идиоту» и «Подростку» в дальнейшем ставших зерном нового неосуществленного романа об отцах и детях (см. с. 330).

С 327. *Наедине с дочерью. Сцена, развить и т. д. (фантастический колорит. «Пик<овая> дама»).* — Достоевский высоко ценил «Пиковую даму» Пушкина, видя в ней гениальное осуществление близкого себе взгляда на роль фантастического элемента в искусстве. 15 июня 1880 г. он писал Ю. Ф. Абаза. «Фантастическое должно до того соприкасаться с реальным, что Вы должны почти поверить ему Пушкин, давший нам почти все формы искусства, написал «Пиковую даму» — верх искусства фантастического. И вы верите, что Германн действительно имел видение, и именно сообразное с его мировоззрением, а между тем в конце повести, т. е. прочтя ее, Вы не знаете как решить: вышло ли это видение из природы Германна, или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с другим миром, злых и враждебных человечеству духов» (XXX, кн. 1, 192).

Идея

(Чиновник, скучно)

Запись датируется по расположению среди набросков к «Бесам» 1872 г.

Намеченная в наброске сюжетная ситуация — чиновник, который, перенеся оскорбление («пощечину») и совершив убийство, мечтает об уединенном «острове на Балтийском море», — варьирует мотивы, фигурировавшие в черновиках «Преступления и наказания», где упомянуты Жан Сбогар, а также морской разбойник граф Унгерн-

Штернберг В рукописях «Подростка» властелином необитаемого острова (наподобие того же Унгерна) будет воображать себя Аркадий Долгорукий. В тексте названного романа получила развитие упомянутая в наброске сцена предполагаемого, но не состоявшегося «поджога». Мотив «пощечины» — один из давних, повторяющийся во многих замыслах Достоевского и разработанный в «Идиоте» и «Бесах», — должен был варьироваться и в произведении о чиновнике, в душе которого назревает бунт против мелочности и скуки жизни.

<заметки, планы, наброски>

Датируются первой половиной 1874 г. Записи тематически связаны с «Дневником писателя» за 1873 г., с проблематикой романа «Бесы» и неоконченным замыслом романа «Житие великого грешника». Они отражают характер первоначальных поисков писателя, его размышлений в период созревания замысла нового романа, в частности, на подступах к роману «Подросток». В заметках появляется тема «случайного семейства», впервые обозначившаяся уже в «Игроке». Образ «школьного учителя» — борца за правду — восходит к князю Мышкину и к «идеальному учителю» задуманной в пору формирования «Бесов» повести «Зависть». «Мать, вышедшая вторично замуж», «сведенные дети», уходящие из семьи, — связаны с неосуществленным замыслом «Отцы и дети», а тема «замученного ребенка» получит свое развитие в «Братьях Карамазовых».

<Драма в Тобольске…>

Набросок датирован 13 сентября 1874 г. — временем работы над романом «Подросток». История мнимого отцеубийцы Д. Н. Ильинского и глубоко поразившая Достоевского судебная ошибка, повлекшая за собой осуждение невинного, рассказаны писателем в «Записках из Мертвого дома». Из военносудного дела Ильинского видно, что первый акт его драматической истории разыгрался в Тобольске в 1845 г Отец прапорщика Дмитрия Ильинского бесследно исчез, и лишь через 10 месяцев труп его был обнаружен в яме под домом. Из сохранившихся

материалов дела видно, что у Дмитрия был старший брат Александр. В момент пропажи отца он находился на службе в Омске. Подозрения в убийстве пали на второго сына, который был арестован. Следственное дело велось пристрастно. Показания, свидетельствующие против Дмитрия, принимались на веру, все же заявления подсудимого считались ложными. Среди архивных документов до сих пор не обнаружено сведений об истинных виновниках преступления. Не найдено и дело об оправдании Ильинского и его освобождении, о чем мы знаем лишь из «Записок из Мертвого дома». Набросок — первый по времени, где предвосхищена главная сюжетная линия «Братьев Карамазовых».

<Композитор>

Запись датируется 9 марта 1875 г. — датой, проставленной автором перед планом цикла «Странные сказки» (перечнем тем публицистически-сатирического характера, возможно, заготовленных для будущего «Дневника писателя» на 1876 г.), с которым она находится на одной странице записной тетради в верхнем ее углу, отделенная от других записей этой страницы чертою.

Исследователями отмечено, что ситуация, в которую попадает «великий музыкант», во многом типична. Так, Д. Верди дважды был обязан по суду дать театральной дирекции к сроку оперы «Симон Бокканегра» и «Трубадур» (1856); аналогично было в 1860-х годах положение и самого Достоевского по отношению к его издателю Ф. Т. Стелловскому. Слова: «Леди, вы меня любили» — парафраз начала арии Лионеля из оперы Ф. Флотова (1812–1883) «Марта» (1847).

Замысел проясняет сопоставление с либретто «Марты», которая в 1850-х годах прочно вошла в русский театральный репертуар. Сюжет «Марты» — переодевание знатной леди и ее подруги Нанси в платье служанок, любовь к ним фермера Плункетта и его воспитанника Лионеля (который впоследствии оказывается графом Дерби) — с благополучным, идиллическим завершением, вполне подходит к наименованию «pastorale». Сочинение «великим музыкантом» по приговору суда именно такой оперы могло создавать, по замыслу автора, «странный эффект» и явиться кульминацией задуманного

произведения.

Козлову

Датируется мартом 1875 г. Набросок повести (или рассказа) для «Литературного сборника», который намеревался издать Павел Алексеевич Козлов (1841–1891) — поэт, переводчик Байрона, А. де Мюссе, Ю. Словацкого и др. Достоевский познакомился с ним и его женой Ольгой Алексеевной (урожд. Барышниковой) не позднее января 1873 г. Об этом свидетельствует запись, сделанная писателем 31 января 1873 г. в альбом О. А. Козловой.

Кроме данного наброска, с планами повести или рассказа, предназначавшихся для Козлова, связаны две другие записи в тетрадях, содержащих подготовительные материалы к роману «Подросток»:

1) «Против этих людей есть другой несносный тип, для художественных чистая казнь, тип, не менее необразованный и малосведущий (чем), как и «художественные», но зато необычайно точный. Ему до поэтической сущности рассказа нет дела, и не заметит даже ее медведь Собакевич, не умилится, подлец, а не пропустит и не даст соврать, привяжется: где, когда, в котором году, да тогда и не было Суворова, да это и не Александр Иванович, а Павел Игнатьевич, да тот и не служил в таком-то году, а, напротив, был директором соляных дел и проч.» — с припиской на полях: «Может быть, для повести Козлову» (XVI, 41).

2) «ЛИЦО: (тип). *Мечтатель о* том, как он едет в вагоне, говорит, и все дамы благодарят его. Или о том, как он поступает с женой, обманувшей его. Всегда, после страшных жестокостей, оказывается, что он прощает всех и все счастливы. Фельдмаршал. Унгерн-Штернберг (подробнейше описать) — с припиской на левом поле: «В рассказ Козлову Февр<аль> (Там же. С. 49).

Задуманная повесть не была осуществлена Достоевским, да и самый «Литературный сборник» Козлова не состоялся.

Сороковины

Замысел зафиксирован в записной тетради 1872–1875 гг. Позднее Достоевский включает «Сороковины» в план предстоящих ему работ в декабре 1877 г. Замысел остался неосуществленным; он нашел отражение в «Братьях Карамазовых», где показано «хождение души по мытарствам» Дмитрия Карамазова (книга девятая, главы III–V) и разработан диалог Ивана Карамазова с чертом (книга одиннадцатая, глава IX).

Отцы и дети

Планы эпизодов, предназначенные для неосуществленного романа «Отцы и дети», занесены в рабочую тетрадь среди заготовок для мартовского выпуска «Дневника писателя» за 1876 г. По положению в тетради датируются 12–13 марта 1876 г.

В заметках художественно обобщены факты и ситуации, извлеченные автором из «текущей» газетной хроники конца 1875 — начала 1876 г. и привлекавшие к себе в это время пристальное внимание Достоевского как художника и как публициста — издателя «Дневника писателя». Но отраженный в них романический замысел — одновременно и важный этап в истории разработки одной из центральных, «сквозных» тем творчества Достоевского.

Писатель не случайно в 1862 г. чутко оценил значение тургеневских «Отцов и детей»: обе главные— переплетающиеся — темы романа Тургенева: тема «нигилизма» и тема идеологического и нравственного столкновения «отцов» и «детей» с начала 1860-х годов занимали самого Достоевского. Вскоре в «Преступлении и наказании» (1866) Достоевский дал свою, отличную от тургеневской, трактовку близких общественных проблем. Здесь, в эпизодах, рисующих отношения Раскольникова и Дуни с матерью, можно видеть один из подступов Достоевского, в 1860-х годах, к трактовке темы «отцов» и «детей» (так или иначе занимавшей его уже в 1840-х годах — в «Бедных людях» и «Неточке Незвановой», а затем получившей еще более широкое отражение в «Униженных и оскорбленных»).

В несколько иной интерпретации тема «отцов» и «детей» поставлена в «Идиоте» (1868; ср.: родители и дочери Епанчины; Рогожин и его отец; Ипполит, Бурдовский, Коля Иволгин; Лебедев и его

племянник и т. д.) и особенно в подготовительных материалах к нему, где более широко, чем в окончательном тексте романа, развита проблема взаимоотношений детей и взрослых, в том числе Мышкина (см.: IX, 206–209, 218–242). В дальнейшем детская тема и мотив нравственно-идеологической преемственности и борьбы поколений на общественной арене у Достоевского раздваиваются: детская тема в собственном смысле слова получает свое развитие в «Вечном муже» (1870) и планах первой части «Жития великого грешника» (1869–1870), а общественно-идеологический аспект взаимоотношений между поколениями на грани 1860-1870-х годов разрабатывается в «Бесах» (1871–1872) (см.: XII, 171–176). Новое объединение и трактовку этих тем, внушенную впечатлениями от русской молодежи после возвращения Достоевского в Россию в 1871 г., дает «Подросток» (1875). [91]

Закончив «Подростка», Достоевский рассматривал это произведение как первый приступ к замыслу своих «Отцов и детей». Об этом он печатно заявил в нервам (январском) выпуске «Дневника писателя» за 1876 г., посвященного той же теме:

«Я давно уже поставил себе идеалом написать роман о русских теперешних детях, ну и, конечно, о теперешних их отцах, в теперешнем взаимном их соотношении. Поэма готова и создалась прежде всего, как и всегда должно быть у романиста. Я возьму отцов и детей по возможности из всех слоев общества и прослежу за детьми с их самого первого детства.

Когда, полтора года назад, Николай Алексеевич Некрасов приглашал меня написать роман для «Отечественных записок» я чуть было не начал тогда моих «Отцов и детей», но удержался, и слава богу: я был не готов. А пока я написал лишь «Подростка» — эту первую пробу моей мысли».

В качестве персонажей задуманного романа «Отцы и дети» намечены «мальчик», сидящий в колонии для малолетних преступников, муж, убивший свою жену на глазах у «девятилетнего сына», мальчик-подкидыш, «дети, бежавшие… от отца». В одном из эпизодов Достоевский намеревался художественно пересказать «всю историю Кронеберга» (отца, истязавшего свою малолетнюю дочь), процессу которого писатель посвятил ряд страниц «Дневника» за 1876 г.; далее он хотел ввести в роман сцены во фребелевской школе,

критическую характеристику новейших учительниц и т. д.

«В замысле Достоевского, — справедливо пишут исследователи, — несколько сюжетов развиваются параллельно и вместе создают картину всеобщей неустроенности: социальной, семейной, трагического существования отцов и детей <…> Основной фон будущего романа, как и в «Преступлении и наказании», — жизнь обездоленных людей большого города, где не только взрослые, но и дети несчастны, а некоторые, те, что постарше, иногда и порочны».[92]

План романа складывается из набросков отдельных сюжетов, ситуаций, иногда из простого номинального обозначения будущих персонажей. Несколько сюжетов, организующих большой материал, сцепляются в целое единством темы: исследуется одна социально-этическая проблема — отношения между отцами и детьми в рамках шаткой семьи. Характерная и общая черта всех типов отношений — в том, что «дети» берутся в самом прямом смысле слова — это маленькие дети, школьники, гимназисты, которые пока не стали еще символом нового, художественным выражением будущей России. На первых ступенях замысла «Отцов и детей» молодое поколение, силы грядущей России, предстает в очень неразвитом состоянии, как прямой объект родительской воли. Но взятые со своей пассивной стороны «абстрактные» образы маленьких беспомощных детей могут получить громадный общественный и философско-обобщающий смысл. Вспомним, какие разные значения получает этот образ в системе романа «Братья Карамазовы» — и дети из исповеди Ивана, и «дитё» Мити, и обратившееся в покорных детей несчастное бунтующее племя Великого инквизитора, — и нам станет ясно, о чем идет речь. С другой стороны, и образ «отцов» может быть так же осмыслен в разных ассоциативных планах. Это, разумеется, родители в прямом смысле, но это и понятие, вызывающее представление об иерархическом строе общества, об авторитарных ценностях, восходящих к первоистокам, к древним патриархальным временам. С другой стороны, «отцы» и «дети» — символ представлений о причинно-следственных связях между прошлым, настоящим и будущим в историческом процессе, представлений о сдерживающих силах прошлого и об ответственности людей перед будущим.

Как в «Преступлении и наказании», в планах «Отцов и детей» совершается акт устранения героем нравственного принципа, а вслед за

тем осознание им собственной вины. Но в отличие от Раскольникова «отец» из набросков об отцах и детях, осознав свою вину, ищет прощения не у сообщества людей, вынужден раскаяться не перед человечеством вообще, но прежде всего перед одним существом, близким ему, принадлежащим ему и имеющим в то же время особую власть над ним. Раскаиваясь в преступлении, он беспокоится не столько о нарушении им основ человеческого общежития, и, возможно, не столько о том, как погасить муки собственной совести, сколько о нравственных последствиях свершившегося для его сына. Герой «Отцов и детей» тяготится, видимо, не тем, что совершенное им преступление исключает его из сообщества людей (то, что знают о нем люди, его не так заботит, как то, как его запомнят, как его поступок отзовется в будущем).

Осенью 1876 г. Достоевский, по-видимому, думал вернуться к замыслу «Отцы и дети», о чем свидетельствует запись в рабочей тетради в октябре 1876 г.: «Текущее. Октябрь — ноябрь. Осмотреть старый материал сюжетов повестей (Из романа, Дети, Девушка с образом)». Но осуществлен в это время был лишь последний из перечисленных сюжетов — «Кроткая».

Роман «Отцы и дети» не был написан, но главные его социальные и этические проблемы трансформировались в романе «Братья Карамазовы».

Мечтатель

Записи в рабочей тетради разбросаны среди заметок для «Дневника писателя» 1876 г. Датируется по положению в тетради временем с марта — апреля 1876 г. по январь 1877 г.

Тема «Мечтателя» — одна из центральных, сквозных в творчестве Достоевского. Впервые обобщенная характеристика мечтателя дается им в фельетонах «Петербургская летопись» (1847); автор уделяет здесь особое внимание социально-психологическому истолкованию типа петербургского интеллигентного мечтателя как явления, характерного для общественной жизни России 1840-х годов. Вскоре после этого создаются «Белые ночи» (1848) с центральной фигурой рассказчика — Мечтателя (наст. изд. Т. 2), во многом предвосхищающей тип героев

позднейших повестей и романов 1860-х годов (Иван Петрович в «Униженных и оскорбленных», Человек из подполья, Раскольников и т. д.) «Мы <…> такие мечтатели. Без практической деятельности человек поневоле станет мечтателем», — пишет Достоевский в 1861 г. в написанной совместно с братом статье «Вопрос об университетах» (Время. 1861. № 12, С. 99). Тему «мечтательства» разрабатывает и несколько более ранний фельетон «Петербургские сновидения в стихах и прозе».

Уже в 1860-х годах, в частности в «Ряде статей о русской литературе» (1861) и в разговорах Порфирия Петровича с Раскольниковым в «Преступлении и наказании», тема «мечтательства» получает для Достоевского отчетливое философско-историческое истолкование. «Мечтательство» осмысляется здесь как одна из характерных черт представителя послепетровского, «петербургского», периода русской истории — оторванного от народа, одинокого дворянского или разночинного интеллигента, противостоящего господствующей, жестокой и бесчеловечной системе социальных отношений, мысль которого вследствие оторванности образованных классов от «почвы» способна стать вместилищем самых «фантастических» и неожиданно парадоксальных идей. Как на литературный прообраз типа петербургских мечтателей Достоевский в «Подростке» (1875) указывает на пушкинского Германна (из «Пиковой дамы»), ведя от него родословную собственных своих «фантастических» героев — мечтателей и парадоксалистов, мучеников идеи, «заблудившихся» (по его словам из рабочей тетради 1876 г.) в собственном сознании.

В период работы над «Подростком» Достоевский набрасывает в записной книжке среди характеристик других типов, задуманных для романа, характеристику мечтателя, которого он был намерен «подробнейше описать» (XVI, 49). Позднее он собирался использовать ее в работе над незавершенным романом «Отцы и дети», обдумывание которого непосредственно предшествовало замыслу особого романа «Мечтатель», возникшему (о чем свидетельствует рабочая тетрадь) в качестве ответвления одной из сюжетных линий ненаписанных «Отцов и детей».

Помимо печатаемых в настоящем томе фрагментов, о замысле романа «Мечтатель» мы знаем из письма С. В. Ковалевской к

Достоевскому 1876–1877 гг. Ковалевская пишет здесь, что во время болезни ей «вспомнился» один «рассказ» Достоевского из будущего романа, и предлагает писателю свой вариант развития его идеи:

«У меня как-то на днях тоже была лихорадка; я долго не могла успокоиться, и мне все вспоминался один ваш рассказ из вашего будущего романа о «Мечтателе». Я даже мысленно все развивала вашу идею, и мне бы ужасно хотелось, чтобы вы написали что-нибудь в этом роде. Я представляю себе так: человека бедного, живущего очень уединенно, сосредоточенною жизнью и состарившегося на какой-нибудь машинально умственной работе (например, хоть счетчика при обсерватории). Вследствие каких-нибудь внешних обстоятельств в нем развивается непреодолимое желание разбогатеть во что бы то ни стало. Он начинает выслеживать способ для этого с тою же терпеливою одностороннею последовательностью, с которою всю жизнь вычислял пути планет. И вот ему на ум приходит что-нибудь в роде адских часов Томаса.[93] Целые годы придумывает он и усовершенствует детали своей машины; наконец она готова, и он пускает ее в дело. При этом мысль о его жертвах, о тех людях, которые должны погибнуть от его машины, совсем ему как-то в голову не приходит. Даже мысль о богатстве отступает на второй план. Он просто влюблен в свою машину, его математическую, помешанную голову пленяет именно та точность, с которою она действует; ему нравится, что он может вычислить минута в минуту, когда корабль пойдет ко дну Корабль *с* машиною отплывает, старик как-то совершенно успокаивается. В самый вечер катастрофы он даже ни разу не вспоминает о машине; вдруг он чувствует внутреннее сотрясение; смотрит на часы— настала минута. И вот тут ему вдруг отвратительно ясно становится что, он сделал. Старик, конечно, сходит с ума. Но дальше фантазия моя уже нейдет».[94]

В заметках из записных тетрадей отражено несколько последовательных этапов развития замысла романа «Мечтатель». Как видно из первой тетради, тема «мечтателя» вначале переплеталась в сознании писателя с замыслом ранее задуманного романа «Отцы и дети» (см. выше, с. 330); в мартовском наброске (фрагмент № 1) Мечтатель, воспитывающий сына после смерти жены и «мало занимающийся» им, но «духовно» воспламеняющий его, — член неустроенной семьи, история которой вплетается в клубок других подобных же историй, намеченных для разработки в романе «Отцы и

дети». Через несколько дней Достоевский начинает обдумывать состав ближайшего, апрельского номера «Дневника писателя» и набрасывает два варианта его оглавления:

1) «Состав апрельского номера. — Чурила. — Сборник казанский. — Иванище. — Спиритизм. — Мечтатель. — Герцеговинцы (1) и восточный вопрос <…>»;

2) «Чурила. — Казанский сборник. — Иванище. — Спиритизм. — Мечтатель. — Воспитатель(ный) дом или что-нибудь сенсационное».

В конце той же тетради находим перечень тем: «Мечтатель». «Великий инквизитор и Павел». «Великий инквизитор со Христом» и т. д. Состав апрельского номера 1876 г. уточняется во второй тетради:

1) «Состав № апрельского. — Высунутый язык. — Авсеенко. — О войне. — Спиритизим. — Мечтатель…».

2) «Окончательный состав апрельского №. 1) Авсеенко с обширностью. Кстати о славянстве. 2) Спиритизм. 3) Мечтатель (его биография). 4) Надо бы герцеговинцев. 5) Откуда явятся лучшие люди? 6) И о войне».

«18 апреля, просто: Авсеенко и Мечтатель, без Спиритизма. Мечтатель, приезд и отец, война и спиритизм — все от Мечтателя».

Из приведенных записей извлечены печатаемые в настоящем томе фрагменты № 2 и 3.

Фрагмент № 4, как видно из его положения в тетради и из контекста, представляет собой дальнейшую разработку пункта программы апрельского номера «Дневника», обозначенного во всех приведенных перечнях словом «Мечтатель».

Не написав биографии Мечтателя для апрельского выпуска «Дневника», Достоевский возвращается к обдумыванию эпизода о нем в конце апреля, при планировании следующего выпуска журнала:

1) «Майский № <…> Мечтатель. — Язык и отец…».

2) «Воспитательный дом, аффект. 1) Мечтатель. 2) Каирова». И далее: «Начало романа. Мечтатель».

Ни в апрельском, ни в майском номере «Дневника писателя» эпизод «Начало романа. Мечтатель» не появился. Но начиная с апрельского выпуска «Дневника» за 1876 г. в нем появилось другое лицо— Парадоксалист, носитель своеобразной остро отточенной иронической диалектики, ставший с этого времени постоянным собеседником и оппонентом автора. Причем при внимательном чтении

апрельского выпуска «Дневника» обнаруживается, что задуманный Достоевским Мечтатель и Парадоксалист из «Дневника писателя» — если не одно и то же лицо, то во всяком случае мыслились автором как психологические двойники. В специальной подглавке второй главы «Дневника» за апрель 1876 г. озаглавленной «Парадоксалист», где впервые фигурирует этот персонаж, автор представляет его читателю в следующих словах: «Кстати, насчет войны и военных слухов. У меня есть один знакомый парадоксалист. Я его давно знаю. Это человек совершенно никому не известный и характер странный: он мечтатель. Об нем я непременно поговорю подробнее. Но теперь мне припомнилось, как однажды, впрочем уже несколько лет тому назад, он раз заспорил со мной о войне. Он защищал войну вообще и, может быть, единственно из игры в парадоксы. Замечу, что он «статский» и самый мирный и незлобивый человек, какой только может быть на свете и у нас в Петербурге» (XXII, 122)

И далее, закончив свой спор с Парадоксалистом, защищающим вслед за Кантом, Гегелем и Прудоном войну как стимул общественного развития, Достоевский заключает: «Я, конечно, перестал спорить. С мечтателями спорить нельзя» (там же).[95]

В первом из приведенных отрывков Парадоксалист прямо назван «мечтателем», причем здесь же романист обещает в будущем вернуться к этому персонажу на страницах «Дневника» и поговорить о нем «подробнее». Обещание это ведет к замыслу «начала романа» о Мечтателе при обдумывании следующего, майского выпуска «Дневника» с намерением выполнить данное слово. Однако оно тут же берется назад, так как автор «не вправе писать роман» из-за необходимости выполнить другие обещания, касающиеся состава майского номера «Дневника», данные в конце первой главы апрельского выпуска (подглавка 4, заключение). Лишь осенью, в начале ноября 1876 г., Достоевский возвращается к замыслу романа «Мечтатель», собираясь, по-видимому, поместить начало его в ноябрьском номере «Дневника». Но, набросав 6 ноября план № 6, Достоевский через несколько дней начинает работу над «фантастическим рассказом» «Кроткая», который и появляется в ноябрьском номере вместо ранее задуманного «Мечтателя», причем некоторые из психологических черт, первоначально закрепленных за образом Мечтателя, в измененном и переакцентированном виде переходят к герою «Кроткой» Последний

набросок, по-видимому, связанный с работой над романом «Мечтатель», — диалог между отцом и его сыном (Мечтателем) (фрагмент № 7). Диалог этот помечен: «январь» (1877 г.). Позднее Достоевский к замыслу романа уже не возвращался.

В романе «Мечтатель» Достоевский, судя по наброскам, намеревался показать (возвращаясь в этом отношении в какой-то мере к проблематике «Белых ночей») осознание трагедии мечтательства самим героем. Его герой остро воспринимает зло и несправедливость жизни; из-за них он, по собственному признанию, «застрелился бы», «если б не мечтал». Но «мечтательство» героя — не только сила его, но и проклятие: помогая ему снести тяжесть жизни и спасая его «от отчаяния» мечты уводят его в мир фантазии, смягчая для него трагизм бытия тем самым они свидетельствуют о слабости героя, который «не осмеливается принять истину со всеми последствиями» Из-за склонности героя к мечтам живущая в его душе вечная, неутолимая потребность «быть правдивым и честным» не получает осуществления. После ряда попыток вырваться из «мечтательного мира» в «действительный», «стряхнуть паралич мечтательности и стать человеком» герой наброска — жертва «одной из болезней века», по заключительной оценке автора, — кончает с собой, так и не освободившись от своей болезни и не найдя пути, ведущего к воссоединению даже с самыми близкими ему людьми женой и сыном

В повесть Некрасову

Записи относятся к 1876–1877 гг. и объединены в тетради близкими по характеру пометами: «В повесть Некрасову» и «Некрасову». Две из них (фрагменты 1 и 2) расположены среди подготовительных записей к июльско-августовскому и сентябрьскому выпускам «Дневника писателя» 1876 г. и датируются приблизительно летом 1876 г. Фрагмент 1 представляет характеристику замысла в целом и намечает общий тип героя будущего произведения. Возможно, что в какой-то степени замысел этот был реализован в майско— июльском выпуске «Дневника писателя» 1877 г., в очерке «План обличительной повести из современной жизни».

Фрагмент 2 содержит заготовки речи одного из персонажей для

того же произведения. Что касается фрагмента 3, то его положение в тетради вслед за январскими записями 1877 г. позволяет предположить, что он создан позднее, чем фрагменты 1 и 2, скорее всего — в январе 1877 г. Хотя в тетради он находится на странице, предшествующей записям 1 и 2, это не может служить контраргументом: Достоевский, как мы знаем, вел свои записи не последовательно от первой страницы к последней, а хаотически, в разных местах тетради. По своему характеру фрагмент 3 представляет набросок каких-то двух диалогов, первый из которых имеет фразеологическое сходство с диалогом фрагмента 7, отнесенного предположительно к числу набросков романа «Мечтатель» (см. выше), второй — с диалогами, объединенными фигурой Слесарька (см. выше).

Мы не можем с уверенностью утверждать, что все три фрагмента — элементы одного произведения. Быть может, перед нами — наброски различных замыслов. Важнее всего то, что, как мы теперь знаем, после окончания «Подростка», в конце 1876-начале 1877 г., Достоевский предполагал написать новую повесть для некрасовских «Отечественных записок» и таким образом продолжить свое сотрудничество в этом демократическом органе.

<Слесарек>

По расположению в рабочей тетради приблизительно датируется второй половиной 1876 г. Диалог представляет собой фрагмент неизвестного художественного произведения, действующие лица которого принадлежат к мещанской среде.

<История Карла Ивановича>

Датируется (по содержанию других заметок на том же листке, а также на основании упоминания «Истории Карла Иванов<ича> в плане романа «Мечтатель») временем с апреля по октябрь 1876 г.

Имя рассказчика «Истории» — Карла Ивановича, по-видимому, не случайно совпадает с именем немца-учителя из «Детства» (1852) и «Отрочества» (1854) Л. Н. Толстого, — повестей, с которыми

Достоевский познакомился впервые в 1855 г. и которые не раз перечитывал позднее, работая над «Подростком» и над «Дневником писателя» (см.: Дневник писателя, 1877. Январь. Гл. II. Подглавка 5: «Именинник»). Как видно из отрывка, Достоевский в какой-то мере имитировал в нем приметы стиля устного автобиографического рассказа этого толстовского персонажа (см.: «Отрочество», гл. VIII: «История Карла Ивановича»), стремясь воссоздать психологически близкий тип старого чудака-немца, коверкающего русский язык и обставляющего свой рассказ фантастическими подробностями.[96] Из плана романа «Мечтатель», датированного 6 ноября 1876 г., видно, что рассказ был задуман до этого времени: работая над планом романа о Мечтателе, Достоевский намеревался ввести в него «Историю Карла Ивановича» в виде особосо эпизода.

Кроме настоящей заметки, сюжет с «переменой голов» дважды зафиксирован в записных тетрадях Достоевского в 1874–1875 гг.

(Отрывки)

(1)

Отрывок следует предположительно датировать временем после 1873 г. Запись от лица персонажа, обратившегося к врачу из боязни «взбеситься» после пожатия чьей-то — видимо, «бешеного» человека, — потной руки, чем он вызвал саркастический вопрос врача, больно ли он искусан. Замысел имеет сатирический, пародийно-иронический характер. Возник скорее всего в пору редактирования Достоевским «Последней странички «Гражданина»«, для которой иногда и сам писал заметки. В определенной мере центральный мотив его может быть поставлен в связь со следующей гневно-сатирической заметкой в герценовском «Колоколе» — «Распространение антропофагии в России»: «Давно ли газеты рассказывали о попе, изгрызшем под волка убитого им солдата, а теперь нам пишут, что городничий в каком-то городе Московской губернии искусал купца. Мы сильно сомневаемся в этом развитии готентотских вкусов. Неужели оттого, что скоро помещикам нельзя будет высасывать кровь

мужиков, — духовенство и полиция примутся кусать прочие сословия? Если этот факт справедлив, просим имя городничего и купца» (Колокол. 1860. 15 авг. № 79. С. 662).

<2>

Наброски диалога к художественному произведению. Фрагментарность записи не дает возможности ее датировать и связать определенно с каким-то замыслом.

<3>

Запись характерных выражений, которые могли быть использованы в художественных произведениях. Аналогичные записи встречаются и в других рабочих тетрадях Достоевского. Первая фраза использована в тексте «Братьев Карамазовых».

<перечни тем>

<1>

Датируется (по положению в рабочей тетради) декабрем 1876 — январем 1877 г.

<2>

Перечисленные в данной записи замыслы (кроме «воспоминаний», которые Достоевским написаны не были) влились в его «последний роман» «Братья Карамазовы».

Стихотворения и стихотворные наброски

Отдел открывают три стихотворения, написанные в 1854–1855 гг. в традиционном одическом жанре. Ими Достоевский, только что отбывший четырехлетний срок каторги в Омском остроге и после этого в соответствии с вынесенным ему по делу петрашевцев приговором проходивший солдатскую службу в Семипалатинске, пытался привлечь внимание правительства к своей судьбе, чтобы добиться хотя бы некоторого облегчения своей участи. Позднее Достоевский никогда не вспоминал об этих стихах, вызванных страстным желанием вернуться к литературной деятельности при почти полном отсутствии надежд на это до вступления на престол Александра I, вернувшего из Сибири декабристов и петрашевцев.

Иной характер имеют стихотворные замыслы и наброски 60-70-х годов.

Как свидетельствуют дошедшие до нас рукописи позднего Достоевского, дневник жены писателя и воспоминания его племянницы М А Ивановой, Достоевский любил импровизировать шуточные стихи. Публицистический же элемент, присущий таланту Достоевского, постоянная оглядка писателя в процессе обдумывания своих произведений на текущую злобу дня, на литературных друзей и врагов получили выражение наряду с его повествовательным художественным творчеством и публицистикой в полемических набросках стихотворного характера — пародиях и эпиграммах, которыми испещрены страницы его записных тетрадей.

Не имея самостоятельного художественного значения (и несоизмеримые в этом смысле с основным творчеством Достоевского — повествователя и романиста), его стихотворные шутки, пародии и эпиграммы интересны как своеобразная лаборатория, из которой впоследствии вышли генетически подготовленные ими гротескно-иронические «абсурдные» стихи капитана Лебядкина в «Бесах».

Некоторые наброски-пародии, эпиграммы, три рукописные редакции незавершенного стихотворного фельетона «Борьба нигилизма с честностью (Офицер и нигилистка)» (1864–1874) расширяют наше представление о Достоевском карикатуристе, сатирике, полемисте. Стихотворные послания к жене и детям — биографический источник,

ценный при обрисовке быта семьи Достоевских в 70-х годах.

На европейские события в 1854 году

Стихотворение написано в апреле 1854 г. в Семипалатинске, куда, после отбытия четырехлетнего срока каторги Достоевский прибыл в марте 1854 г для прохождения солдатской службы в 7 Сибирском линейном батальоне. Оно было представлено 1 мая 1854 г. командиром батальона полковником Беликовым в Штаб отдельного Симбирского корпуса с ходатайством автора «о дозволении поместить оное в «С.-Петербургских ведомостях»«. В свою очередь, начальник штаба генерал-лейтенант Яковлев 26 июня 1854 г. препроводил стихотворение управляющему III отделением е. и. в. канцелярии Л. В. Дубельту. Разрешения от III отделения на печатание не последовало. Автограф стихотворения так и остался в деле III отделения «Об инженер-поручике Федоре Достоевском»

Создавая стихи, Достоевский преследовал прежде всего цель убедить правительственные сферы в своей благонадежности и сделать попытку напечататься. Они написаны в связи с обострившимся конфликтом между Россией, с одной стороны, и Англией и Францией — с другой, после того как Англия и Франция объявили России войну. 11 апреля 1854 г. в России был обнародован официальный манифест о войне. Непосредственным поводом к войне послужил спор с Турцией о «святых местах» в Иерусалиме и нежелание Англии и Франции поддержать в этом споре Россию. Газеты регулярно освещали ход событий, в частности «С.-Петербургские ведомости» имели постоянную рубрику «Восстание христиан на Востоке». Как установил Л. П. Гроссман, разрабатывая в стихотворении «На европейские события в 1854 году» тему Восточной войны, Достоевский перенес в него ряд образов, общих для патриотической поэзии 1854 г. Таковы стихотворения Ф. Глинки «Ура» (Сев. пчела. 1854. 4 янв. № 2), Н. Арбузова «Врагам России» (Там же 1 янв. № 25), Н. Леваршева «Святая брань» (Там же. 8 марта. № 54). Позднее Достоевский благосклонно отзывался о поэме А. Н. Майкова «Клермонский собор» из его сборника «1854-й год» (СПб., 1854), говоря о своем патриотическом воодушевлении в эпоху Крымской войны и о роли России «в

нравственном» освобождении славян (XXVIII, кн. 1, 208). Несомненно, что писатель был захвачен общим патриотическим воодушевлением, которое переживали широкие слои русского общества; возможно, что именно в это время сложилось его убеждение об особой роли России в борьбе за освобождение славянских народов от турецкого владычества, которое позднее, в 1876–1877 гг., получило свое выражение на страницах его «Дневника писателя». Можно отметить также, что Достоевский обсуждал с братом возможность хлопот об его переводе на Кавказ (XXVIII, кн. 1, 173).

В своем стихотворении Достоевский вспоминал политическую ситуацию в Европе в 1831–1832 гг., русско-польский конфликт, о котором писал и Пушкин («Клеветникам России»). Мысли о славянско-русском единстве, гордость при воспоминаниях о событиях 1812 г. сближают оба эти произведения.[97] Желание Достоевского подражать оде «Клеветникам России» особенно очевидно во второй половине стихотворения. Обращаясь по примеру Пушкина к западным дипломатам и журналистам, он отвечает здесь на обвинения, вызванные восточной политикой тогдашней России («Писали вы, что начал ссору русский…»).[98]

Поэты-славянофилы в первые месяцы после начала военных действий были склонны рассматривать войну как испытание, нужное России для ее возрождения, и вместе с тем как средство для освобождения славянских народов из-под власти Турции и для будущего торжества православного Востока над католическим Западом.[99]

Вскоре отношение большей части славянофилов к войне изменилось: под влиянием поражений и сдачи Севастополя в их среде, как и во всем русском обществе, резко усилилось недовольство военной политикой Николая I.

На первое июля 1855 года

Стихотворение написано в конце июня 1855 г. ко дню рождения вдовствующей императрицы Александры Федоровны (1798–1860). В связи со смертью в феврале 1855 г. Николая I у Достоевского, по свидетельству А. Е. Врангеля, «воскресла надежда на перемену <…>

участи— на амнистию».[100] В марте 1855 г. в ознаменование начала царствования Александра II был обнародован «высочайший манифест», дававший право на производство Достоевского в унтер-офицерский чин.[101] В начале июля 1855 г. в Семипалатинск с ревизией прибыл генерал-губернатор Западной Сибири и командующий отдельным Сибирским корпусом генерал Г. Х. Гасфорт. По воспоминаниям А. Е. Врангеля, он на обеде у Гасфорта говорил с ним о Достоевском и просил представить императрице стихи «На первое июля 1855 года». Гасфорт отказал ему, добавив: «За бывших врагов правительства никогда я хлопотать не буду; если же в Петербурге сами вспомнят, то противодействовать я не буду».[102] В июле 1855 г. А. Е. Врангель переслал стихотворение в Петербург, и оно через принца П. Г. Ольденбургского было передано императрице.[103] В сентябре в Военное министерство поступило ходатайство от Г. Х. Гасфорта от 13 августа о производстве писателя в унтер-офицеры, к ходатайству было приложено стихотворение «На первое июля 1855 года».[104] 27 октября 1855 г. Инспекторский департамент Военного министерства «испрашивает» разрешение у военного министра на производство Достоевского в унтер-офицерский чин и запрашивает: «повелено ли будет» прилагаемые стихи «представить императрице Александре Федоровне».[105] На этом представлении 18 ноября 1855 г. появилась резолюция военного министра князя Долгорукова «Всемилостивейше повелено: рядового Достоевского произвести в унтер-офицеры», строки доклада, касающиеся стихов, зачеркнуты рукою Долгорукова.[106]

Осенью в Петербурге среди литераторов распространились слухи о написании Достоевским верноподданнических стихов,[107] что вызвало возмущение в радикально настроенных кругах. В конце 1855 г. в «Современнике» появился фельетон И. И. Панаева «Литературные кумиры, дилетанты и проч.», где Достоевский был обрисован в карикатурных тонах.[108]

О несовершенстве стихов откровенно писал брату М. М. Достоевский: «Читал твои стихи и нашел их очень плохими. Стихи не твоя специальность».[109]

Стихотворение «На первое июля 1855 года» написано в жанре философских од и элегий: Достоевскому могли служить образцами ода Г. Р. Державина на смерть графини Румянцевой (1791), его же

стихотворение «На кончину графа Орлова» (1796), элегия В. А. Жуковского «На кончину ее величества королевы Виртембергской» (1819). В соответствии с образцами Достоевский, восхваляя Россию, прославлял ее будущее, которое связывал с предстоящими политическими переменами. Однако акцент в стихотворении лежит не столько на событиях, переживаемых Россией, сколько на личной судьбе автора: Достоевский напоминает императрице о Себе, призывая простить его и других подобных ему «отверженцев» перед лицом постигших ее и всю Русь испытаний.

<На коронацию и заключение мира>

Стихотворение написано весной 1856 г., когда Достоевский начал хлопоты о производстве в прапорщики в связи с «высокоторжественным днем коронации государя императора». Кроме того, в ходатайстве Достоевского, переданном генералом Э. И. Тотлебеном военному министру Н. О. Сухозанету 2-му, присутствовала просьба «дозволить ему литературные занятия с правом печатания, на узаконенных основаниях» (см.: XXVIII, кн. 1, 471). А. Е. Врангель извещал писателя о ходе хлопот. В письме от 23 мая 1856 г Достоевский писал Врангелю: «О, дай бог, чтоб моя судьба поскорее устроилась. Вы мне пишете прислать что-нибудь. Посылаю стихи на коронацию и заключение мира. Хороши ли, дурны ли, но я послал здесь по начальству с просьбою позволить напечатать <…> Просить же официально (прошением) позволения печатать, не представив в то же время сочинения, по-моему, неловко. Потому я начал с стихотворения. Прочтите его, перепишите и постарайтесь, чтоб оно дошло к монарху» XXVIII, кн. 1, 232). Далее Достоевский обсуждает с Врангелем возможность передачи стихотворения официальным путем, через Г. Х. Гасфорта, который едет в Петербург. Писарская копия стихотворения «На коронацию и заключение мира» была приложена к письму Г. Х. Гасфорта к Н. О. Сухозанету от 2 июня 1856 г. Как следует из документов Военного министерства, хлопоты Тотлебена и Гасфорта были успешными лишь частично: «его величество, согласившись на производство Достоевского в прапорщики, приказал учредить за ним секретное наблюдение впредь до совершенного удостоверения в его

благонадежности и затем уже ходатайствовать о дозволении ему печатать свои литературные труды».[110] Стихотворение Достоевского было принято «к сведению» (XXVIII, кн. 1, 472), но так и осталось ненапечатанным в делах военного ведомства.

Шуточные стихи, пародии, эпиграммы

Эпиграмма на баварского полковника

Датируется серединой 1864 г., так как записана рядом с набросками к «Крокодилу» (см. наст. изд. Т. 4). Эпиграмма задумана как пародия на стихи, печатавшиеся в 1860-х годах в газете А. А. Краевского «Голос». Ее текст находится в тетради среди ряда других полемических заметок, направленных против этой газеты. По-видимому, «автор» эпиграммы был задуман как тип «русского за границей», который «теряет употребление русского языка и русских мыслей».[111]

<Описывать все сплошь одних попов..>

Эпиграмма на Н. С. Лескова написана в 1873–1874 гг., в пору завершения им или публикации романа «Захудалый род. Хроника князей Протозановых…» (Рус. вести. 1874. № 7, 8 и 10), упомянутого Достоевским в третьей строке («теперь ты пишешь в захудалом роде»).

<Борьба нигилизма с честностью (Офицер и нигилистка)>

Датируется 1864–1873 гг. В середине 1864 г. Достоевский записал в тетради название будущего произведения, характеристику его героини — «нигилистки» и наметил некоторые детали. Две записи — каламбур, основанный на игре слов «Росс — рос», и эпизод, обозначенный словами «Голенькая ножка», — получат развитие в позднейших более развернутых разработках этого сюжета, относящихся — первая ко второй половине 1864 — началу 1865 г., а вторая — к последним месяцам 1873 г. Приписанная героине попытка восстать против «родительской власти» и «наказать ее гласностью», направив корреспонденцию в газету «Волос» (в «Голос» А. А. Краевского), объединяет заметки с рассказом «Крокодил», в черновиках и в основном тексте которого также содержатся выпады против «Голоса» и его

издателя. Предварительные наброски к «Крокодилу» свидетельствуют, что Достоевский собирался включить стихи об офицере и нигилистке в состав рассказа. После иронического определения понятия «нигилизм», сущность которого, по словам одних, будто бы состоит «в стрижении женских волос», а по мнению других — «в отрицании всего существующего», в планах «Крокодила» следует запись: «Достал стишки: «Офицер и нигилистка». — С учением соглашаюсь» (V, 326). Возможно, что и в проекте «Главы 3» (с описанием встречи друга проглоченного чиновника с его женою и ее «увлечения» этим другом) под названием «стихи на нигилистов» мыслились те же «стишки». Одно время предполагалось, что нигилистка будет фигурировать в рассказе как особый персонаж: она явится к крокодилу, чтобы обсудить с чиновником вопросы женской эмансипации и вопрос о боге. Среди черновых заметок к «Крокодилу» есть следующая: «Если у гусей нет теток, стало быть, тетки — предрассудок» (V, 327). Смысл этой сентенции проясняется при сопоставлении с соответствующими стихотворными строками «Офицера и нигилистки».

Как и «Крокодил», фельетон «Офицер и нигилистка» вплетается в полемику, которую вели журналы братьев Достоевских «Время», а позднее «Эпоха» с различными общественно-литературными течениями русской журналистики тех лет, в том числе с «Современником» и «Русским словом».

В начале следующего 1865 г. в «Эпохе» Достоевский намеревался продолжить начатую на страницах журнала полемику, но работа над фельетоном не была доведена им до конца, а вскоре прекратилось издание «Эпохи».

О своем замысле Достоевский вспомнил вновь во второй половине 1873 или в начале 1874 г., в пору участия в «Гражданине». В те годы в связи с открытием высших женских курсов в Петербурге и Москве вновь возрос интерес к женскому вопросу. Под редакцией Г. Е. Благосветлова с 1866 г. начал выходить журнал «Дело», продолжавший традиции «Русского слова» и также популяризировавший труды по естествознанию и физиологии Т. Г. Гексли, Я. Молешотта, М. Фарадея, Д. Тиндаля, А. Баркера и др. О Ч.Дарвине и его учении в конце 60-х-начале 70-х годов в «Деле» неоднократно писал известный публицист В. О. Португалов. Журнал часто помещал и «хронику женского дела» — тема, которая получила специальное развитие в статьях Благосветлова

«На что нам нужны женщины?» (Дело. 1869. № 7), «Женский труд и вознаграждение его» (Дело. 1870. № 2), в серии статей С. С. Шашкова «Исторические судьбы женщины» (Дело. 1869. № 9-12; 1871. № 1–4), в работе А. П. Щапова «Положение женщины в России по допетровскому воззрению» (Дело. 1873. № 4, 6) и т. д. «Гражданин» вступил в полемику с демократической журналистикой по этим вопросам еще до прихода в него Достоевского. В статьях В. В. Мещерского (Гражданин. 1872. № 9, 10 и 31) отстаивался тезис о том, что «женщина призвана быть второю, нераздельною от мужчины, половиною человека, в неразрывном с ним единении осуществляющею свое назначение в обществе: рождать и воспитывать детей».[112] Позиция Достоевского, судя по «Двум заметкам редактора» в № 27 «Гражданина» за 1873 г., предисловию к статье Л. Ю. Кохновой и корреспонденции «Наши студентки» в № 13 и 22 «Гражданина» за тот же год, была иной. В первой из названных заметок по крайней мере отстаивается тезис, согласно которому «всеобщее образование женщины внесет новую, великую интеллигентную и нравственную силу в судьбы общества и человечества».[113]

Новая редакция фельетона возникла в середине 1873 г. и предназначалась для «Последней странички» «Гражданина», но не появилась в ней.

<Крах конторы Баймакова…>

Два варианта этого стихотворного наброска датируются декабрем 1876 г. Поводом к их написанию послужило банкротство двух петербургских банкирских контор Баймакова и Лури, происшедшее в конце 1876 г., в частности, о несостоятельности «Товарищества на вере Ф. П. Баймаков и К^{О}» сообщалось в «Биржевых ведомостях» от 4 декабря 1876 г. (№ 335). В той же тетради, в которую занесен второй вариант стихов, содержится непосредственный отклик Достоевского на указанное событие, помеченный 5 декабря. О прожектерстве Ф. М. Баймакова (1831–1907), бывшего в 1875–1877 гг. арендатором «С.-Петербургских ведомостей», писал в декабре 1876 г. во «Внутреннем обозрении» «Отечественных записок» и Г. З. Елисеев, отмечая, что Баймаков, не имея «никаких собственных капиталов», «спокойно и

светло смотрел в будущее, не верил возможности своего крушения», ибо «не допускал и мысли, чтобы правительство могло попустить рушиться его учреждению», и «смотрел на себя <…> не как на биржевого афериста, спекулянта и игрока, а как на благодетеля для людей с маленькими капиталами» (Отеч. зап 1876 № 12. С. 256).

Как «знаменья времени» наряду с «крахом» Баймакова и Лури в стихах упоминается увлечение спиритизмом, которое охватило широкие круги русского общества в середине 1870-х годов и было подкреплено авторитетами профессоров Петербургского университета — зоолога Н. П. Вагнера и известного химика А. М. Бутлерова. В январском, мартовском и апрельском выпусках «Дневника писателя» за 1876 г. Достоевский уделил внимание спиритизму Успех спиритизма автор «Дневника» объяснял тем, что в силу охватившего русское общество «беспокойства» «метаний», «искания» нравственной опоры, «каждая самая беспутная даже идейка, если только в ней предчувствуется хоть малейшая надежда что-нибудь разрешить, может надеяться на несомненный успех».

В стихах упомянуты полемические статьи Н. Н. Страхова, опубликованные под общим названием «Три письма о спиритизме» в № 41–42, 43 и 44 «Гражданина» за 1876 г. от 15, 22 и 29 ноября (перепеч. в кн.: *Страхов Н.* О вечных истинах (Мой спор о спиритизме). СПб., 1887)

<Дорого стоят детишки…>

Шуточное стихотворение 1876–1877 гг., обращенное к жене писателя А. Г. Достоевской.

<Не разбойничай, Федул…>

Шуточные стихи обращены к сыну, дочери и жене, записаны на обороте второго листа почтовой бумаги. На первой странице того же листа — записи, связанные с романом «Братья Карамазовы» и предназначавшиеся для письма от 2 декабря 1879 г. к издателю «Русского вестника». Этим временем, вероятно, следует датировать и

данные стихи.

---

notes

Примечания

1

непременное условие *(лат).*

2

Дело женщины — вязанье *(франц).*

З

эта очаровательная особа *(франц.).*

вы понимаете, это дело и ужасная смерть вашего отца *(франц.)*.

о мыслях не спорят *(лат, шутливое).*

6

«под пятьдесят» *(франц).*

7

Это восхитительно *(франц.)*.

это благородно, это прекрасно *(франц.)*.

9

это по-рыцарски *(франц.)*.

10

Я сатана, и ничто человеческое мне не чуждо *(лат.)*.

11

Это ново, не правда ли? *(франц.)*.

12

Какая идея! *(франц.)*.

дьявола-то больше не существует *(франц.)*.

14

Я мыслю, следовательно, я существую *(франц.)*.

15

О святая Мария *(лат.)*.

16

Ах, мой отец *(франц.)*.

17

Это доставляет ему такое удовольствие, а мне так мало труда! *(франц.).*

18

Ах, но это же глупо, наконец! *(франц.).*

19

Известно ли мсье, какая стоит погода? В такую погоду и собаку на двор не выгоняют… *(франц.).*

20

Отгадка в том *(франц.)*.

21

Заметь особо *(лат.)*.

22

Бог отец *(нем.)*.

23

Бог отец. — Бог сын *(нем.)*.

24

Бог сын. — Бог дух святой *(нем.)*.

25

защиты *(франц.)*.

26

Дьявола-то больше не существует! *(франц.).*

27

шедевр, образцовое произведение *(франц.)*.

28

после меня хоть потоп *(франц.)*

29

призываю живых! *(лат.).*

30

Было: июня

31

Над строкой: Черн(ышевский?) или Черн(ышев?).

в зародыше *(франц.)*.

33

«Боги Греции» *(нем.)*.

34

на стороне *(франц.)*.

35

мой *(франц.)*.

36

Было: Куликов.

37

Незачеркнутый вариант: тихо

38

засученные брюки *(франц.)*.

39

помни *(лат.)*.

40

На полях вдоль текста: Задача, mémento. — разгул с Albert' ом. — *запись:* Найти общий пропорционал.

41

На полях рядом с текстом: С Куликовым — зарезали вместе. — *запись*:

13
2
[27]
12
35

___
35 лет назад — родился в 1835 году.

42

Текст: Няня — Черта обратить. — *объединен фигурной скобкой; рядом запись:* Когда я буду большой.

43

Фраза не закончена.

44

На полях запись: Всё это втискать в 4 листа (maximum).

45

Фраза не закончена.

46

Помни *(лат.)*.

47

Просят не смешивать с редакцией «Гражданина». Иногда (но не всегда) редакция «Последней странички» поручается другой посторонней редакции, соответственно к тому предназначенной.

48

Два аналогичных наброска: „Одна мысль (поэма), тема под названием “Император»» и „Идея. Юродивый (присяжный поверенный)“ напечатаны в качестве приложения к т. 6 настоящего издания (с. 662–663), а наброски к повести „Зависть“ как один из ранних подступов к роману „Бесы“ даны в качестве приложения к т. 7 настоящего издания.

49

Достоевская А. Г. Воспоминания. М. 1971. С. 340.

50

Ученические годы и странствия *(нем.)*.

51

Ф. М. Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1935, С. 515.

52

См.: *Врангель А. Е.* Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири. 1854–1856 гг. СПб., 1912.

53

Гроссман Л. П. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского… М.; Л., 1935. С. 340.

54

Достоевский Ф. М. Письма. М. Л., 1928. Т. 1. С. 533, 537

55

Врангель А. Е. Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири… СПб., 1912. С. 53.

56

Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Соч. М.; Л., 1964. Т. 7 С. 211, 243.

57

Рус. вести. 1859. № 8. С. 508–532; перепеч.: *Анненков П. В.* Воспоминания и критические очерки… СПб., 1879. С. 194–221.

58

Запись рассказа крестьян с. Даровое Данилы Макарова и Андрея Саввушкина об убийстве М. А. Достоевского см.: *Нечаева В.* Из литературы о Достоевском (Поездка в Даровое) // Новый мир. 1926 № 3. С. 132.

59

Голос. 1873. № 13. 13 янв. С. 3.

60

Граф — персонаж повести о Картузове, соперник главного героя. Мотив «скандальной дуэли» («дуэли без выстрела») перенесен в наброски к «Бесам», а затем получил видоизмененное отражение в эпизоде дуэли Ставрогина с Гагановым («Бесы», ч. II, гл. III, § 2, «Поединок»).

61

Имеется в виду миссионер, проповедник католицизма на Дальнем Востоке, один из сотрудников основателя ордена иезуитов Игнатия Лойолы Франциск Ксаверий (1506–1552), канонизированный католической церковью.

62

Несколько раньше, в письме к Н. Н. Страхову от 26 февраля (10 марта) 1869 г., Достоевский упоминал, что *у* него есть «три идеи», в том числе «большой роман», который он собирается предложить редакции «Русского вестника» (Там же, 20).

63

По примеру Л. Н. Толстого, своеобразная полемика с которым входила, как видно из позднейших записей, в замысел нового произведения Достоевского.

64

Что надо «начинать большую вещь в «Р(усский) вестник» «Достоевский писал Майкову и 14 (26) августа, жалуясь: «8 месяцев уже не писал ничего» (там же, 50).

65

В письме к С. А. Ивановой от 29 августа (10 сентября) 1869 г. читаем: «В «Русский вестник», к январской книжке, непременно нужно доставить хоть начало романа <…> Между тем я еще ничего не начинал…» (там же, 58).

66

О епископе Тихоне Задонском и причинах, вызвавших интерес к нему Достоевского, см. т. 7 наст. изд.

67

О значении эпопеи Толстого в творческой истории «Жития Великого грешника» см. в кн.: *Апостолов Н. Н.* Лев Толстой и его спутники. М., 1928. С. 144–146.

68

В 1877 г. он писал, что в «рассказах про святые места», в историях мучеников, отшельников и подвижников, знакомых русскому человеку с детства, по его твердому убеждению, «заключается для русского народа <…> нечто покаянное и очистительное»: слушая их, «даже худые, дрянные люди, барышники и притеснители, получали нередко странное и неудержимое желание идти странствовать, очиститься трудом, подвигом» (Дневник писателя. 1877. Июль-август. Гл. III. § 3).

69

О максимализме требований к человеческой личности и к отношениям между людьми, привлекавшем Достоевского в житийной литературе, см.: *Бурсов Б.* Национальное своеобразие русской литературы. 2-е изд. Л, 1967 С. 51.

70

В размышлениях его на этот счет могло сыграть определенную роль стихотворение Некрасова «Влас» (см.: *Гин М. М.* Достоевский и Некрасов: Два восприятия. Петрозаводск, 1985. С. 109–116).

71

См.: *Плетнев Р.* Сердцем мудрые: (О старцах у Достоевского) // О Достоевском Сб. статей / Под ред. А. Л. Бема. Прага, 1933. Вып. 2. С 75.

72

См.: *Игнатий, архимандрит.* Краткие жизнеописания русских святых. СПб., 1875. С. 70 (раздел «XVIII век»).

73

Там же. С. 68.

74

Сочинения преосвященного Тихона, епископа воронежского и елецкого. 2-е изд. М., 1860. Т. 1. С. 188.

75

Там же. Т. 10. С. 36.

76

Там же. Т. 12. С. 73.

77

Там же. Т. 6. С. 91.

78

Ср.: Там же. Т. 9. С. 115–120; Т. 12. С. 152–153.

79

См.: *Семевский В. И.* М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы. М., 1922. Ч. 1. С. 169–170. Значение философии Конта для петрашевцев отмечено А. И. Герценом: «Петрашевцы <…> прямо из немецкой философии шли в фалангу Фурье, в последователи Конта» *(Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 10. С. 344).

80

См.: Философские и общественно-политические произведении петрашевцев. М., 1953. С. 653–660, 792.

81

См.: Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964 Т. 1. С. 206, 209.

82

Современное обозрение. 186R. № 5.

83

См., например, полемику об отношении позитивизма к науке того времени между Р. Конгревом и Гексли (Космос. 1869. № 4, 5).

84

Об отношении Достоевского к учению Конта см.: *Шкуринов П. С.* Позитивизм в России XIX века. М., 1980; *Белопольский В. Н.* Достоевский и философская мысль его эпохи: Концепция человека. Ростов-на-Дону, 1987.

85

Савельев А. И Воспоминания о Ф. М. Достоевском // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 102.

86

См., например: *Мельников П. И.* 1) Тайные секты // Рус. вести. 1868 № 5; 2) Белые голуби // Там же. 1869. № 3, 5.

87

См.: *Комарович В.* Ненаписанная поэма Достоевского // Ф. М. Достоевский: Статьи и материалы./ Под ред. А. С. Долинина. Пб., 1922. Сб. 1. С. 203–207; *Пономарева Г. Б.* Замысел «Жития великого грешника» и Ставрогин в «Бесах»: (В творческой лаборатории Достоевского конца 1860-х-начала 1870-х годов) // Учен. зап. Моск. обл. пед. ин-та им. Н. К. Крупской. 1967. Т. 186, вып. 11. *С.* 264–281.

88

См.: *Долинин А. С.* Последние романы Достоевского. М.; Л., 1963. С. 33–34. О некоторых действующих лицах, сценах, мотивах, которыми роман «Подросток» обязан «Житию», см.: *Комарович В.* Генезис романа «Подросток» // Лит. мысль. Л., 1925. Кн. 3. С. 366–387; XVII, 256.

89

О мотивах и темах «Жития» в «Братьях Карамазовых» см.: *Чулков Г.* Как работал Достоевский. М» 1939. С. 195–197, 208; *Комарович В.* Ненаписанная поэма Достоевского. С. 203–207; XV, 400–401, 404.

90

Бем А. Л. Эволюция образа Ставрогина: (К спору об «Исповеди Ставрогина») //Труды V съезда русских академич. организаций за границей. София, 1931. Т. 1. С. 190, 187–188.

91

См. также формулу «отцы и дети» в подготовительных материалах к роману: XVI, 5–6, 41 и 45.

92

Зильберштейн И. С., Розенблюм Л. М. Наедине с самим собою // Огонек. 1971. № 46. С. 13.

93

В «Новом времени» за вторую половину марта и апрель 1876 г. печаталось объявление о том, что в музее И. Б. Гасснера в Пассаже показывается адская часовая машина убийцы Томаса. Демонстрация этого музейного экспоната вызвана была историей, происшедшей 11 декабря 1875 г. в порту города Бремергафен (Германия). Американец Томас устроил начиненную динамитом адскую машину, которая должна была в определенный момент в открытом море взорвать пароход с застрахованным Томасом на большую сумму грузом (хлопком). Американец надеялся разбогатеть на страховой премии на свой груз. Но Томас плохо рассчитал завод машины, взорвавшейся при погрузке парохода. От взрыва погибло много людей, в том числе сам Томас (по другой версии, он застрелился).

94

Ковалевская С. В. Воспоминания и письма. М., 1961. С. 245, 495, 496

95

Позднее, намечая в записной тетради 1876–1877 гг программу августовского выпуска «Дневника» за 1876 г., где вновь должен был по первоначальному его плану появиться Парадоксалист, Достоевский замечает, возвращаясь к характеристике его как «мечтателя»: «Глава 3-я. Разговор с парадоксалистом. Я сказал, что он был мечтатель. Я объясню, какого рода были его мечты. — «А ведь я был два раза влюблен». Вместо главы третьей Парадоксалист со своими мечтами появился в четвертой главе печатного текста июльско-августовского номера «Дневника».

96

Более ранний сходный опыт передачи немецкого акцента в речи персонажа — в рассказе «Крокодил» (см.: наст. изд. Т. 4).

97

См. об этом: *Мочульский К.* Достоевский: жизнь и творчество. Париж, 1947. С. 137–138.

98

Впервые опубликовано стихотворение «На европейские события в 1854 году» было лишь в 1881 г. в «Литературном приложении» к *№* 1 «Гражданина».

99

См.: *Тарле Е. В.* Крымская война. М.; Л., 1950. Т. 1. С. 449–452.

100

Врангель А. Е. Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири. 1854–1856 гг. СПб, 1912. С. 39–40.

101

Рус. инвалид. 30 марта. № 68. С. 318.

102

Врангель А. Е. Воспоминания… СПб., 1912. С. 78.

103

Там же. С. 79.

104

Литературное наследство. М., 1935. Т. 22–24. С. 708.

105

Там же. С. 715.

106

См.: *Некрасов Н. А.* Поли. собр. соч. и писем: В 12 т. М., 1949. Т. 6. С. 576–578

107

Опубликовано стихотворение было только в наши дни; см.: Литературное наследство. Т. 22–24. С. 709–710.

108

См.: Современник. 1855. № 12. С. 235–243; ср.: *Панаев И. И.* Литературные воспоминания. М., 1950. С. 438.

109

Достоевский Ф. М. Письма. М.; Л., 1928. Т. 1 С. 529.

110

Литературное наследство. Т. 22–24. С. 722 (здесь же впервые опубликовано и само стихотворение — см. с. 719–721)

111

Литературное наследство. М., 1971. Т. 83. С. 215

112

Гражданин. 1872. 4 дек. № 31. С. 449–450.

113

Там же. 1873. 2 июля. № 27 С. 762.

comments

Комментарии

1

…*ветер „сухой и острый“*… — Цитата из стихотворения Некрасова „Перед дождем“ (1846).

2

…воспитанию этого своего нещечка… — Нещечко (обл.) здесь: сокровище, любимое существо.

3

…*задать „экстрафеферу“*… — От *нем.* extra — особый и Pfeffer — перец, т. е. сильно распечь, дать хорошую взбучку.

4

Вакации (лат. vacatio — освобождение) — каникулы.

5

…„*Кто основал Трою?*“ И далее: *Коля же вычитал об основателях Трои у Смарагдова…;* а также с. 46: *Трою основали Тевкр, Дардан, Иллюс и Трос…* — В „Кратком начертании всеобщей истории для первоначальных училищ“ С. Н. Смарагдова (СПб., 1845) сведений об основателях Трои нет. В другом учебнике того же автора (тоже имевшемся в нескольких изданиях) в качестве основателей Трои (Илиона) названы Трои и сын его Ил (см.: *Смарагдов С.* Руководство к познанию древней истории для средних учебных заведений. СПб., 1840. С. 144).

6

Сиверкое (обл.) — здесь: холодное с сыростью.

7

Ох, дети, дети, как опасны ваши лета. — Начало басни И. И. Дмитриева „Петух, кот и мышонок“ (1802). В оригинале.

О дети, дети! как опасны ваши лета!

Возможно, что слова эти, как и басня в целом, по авторскому замыслу, скорее имеют отношение к самому Коле, чем к детям, которым они здесь адресованы. Литературные параллели к образу Коли Красоткина см.: *Гроссман Л. П.* Последний роман Достоевского. С. 27–28.

8

…*ишь пупырь!* — В просторечии — наименование ребенка, то же, что пупырышек, прыщик.

9

…щеночка ему принесет, настоящего меделянского… — Меделянские собаки — порода догов (от Mediolanum, латинского названия города Милан).

10

…а религия и все законы как кому угодно… — Возможно, намек на название небольшого цикла М. Е. Салтыкова-Щедрина „Как кому угодно. Рассказы, сцены, размышления и афоризмы“, впервые опубликованного в „Современнике“ (1863. № 8). Название этого цикла было упомянуто Достоевским в резко полемическом контексте в „Записках из подполья“ (1864). Достоевский возвращается к нему и в черновых записях 1863–1864 гг.: „Как кому угодно“ <…> Учитесь милые дети. Нет, не дается нигилизм г-ну Щедрину, не дается» и т. д. О цикле Щедрина „Как кому угодно…“ и полемике с ним в „Записках из подполья“ и при веденной черновой записи см.: *Борщевский С.* Щедрин и Достоевский. С. 76 и сл.; *Розенблюм Л. М.* Творческие дневники Достоевского С. 42–43.

11

…выдержать на фербанте… — *(нем.* Verbannung — ссылка, изгнание) — выдержать на расстоянии.

12

О, все мы эгоисты, Карамазов! — Намек на теорию разумного эгоизма, развитую Н. Г. Чернышевским в романе „Что делать?“ и популярную среди оппозиционно настроенной революционно-демократической молодежи.

13

Рекреация (лат. recreatio — буквально: восстановление) — перемена, промежуток между уроками.

14

…выменял ему на книжку — „Родственник Магомета, или Целительное дурачество“. Сто лет книжке, забубенная, в Москве вышла… — Коля говорит о книге: „Родственник Магомета, или Целительное дурачество“. Сочинение нравственное, с приобщением гравированных фигур. Ч. 1–2. Перевод с французского. Печатан с дозволения Управы благочиния. Иждивением С. Петрова. В Москве, в вольной типографии Пономарева, 1785 года. В этой книжке, рассказанной от лица героя — француза, волею случая попавшего в Константинополь, повествуется о его разнообразных любовных приключениях. Характеристика, которую дает книжке Коля, соответствует ее содержанию.

15

Мы отстали от народа — это аксиома — Я верю в народ и всегда рад отдать ему справедливость… — Коля повторяет, невольно пародируя, штампы демократической и либеральной печати 1860-1870-х годов, эпохи создания народнических теорий и массового хождения в народ.

16

…да и вообще всемирную историю не весьма уважаю — Изучение ряда глупостей человеческих, и только. — Ср. слова Т. Н. Грановского в одном из писем Герцену 1849 г.: „…обнимаю детей ваших. Учить их истории более не хочу, не стоит. Довольно им знать, что это глупая, ни к чему не ведущая вещь“ (Полярная звезда на 1859 год. Кн. 5. С. 218).

17

Я уважаю одну математику и естественные… — Слова Коли отражают увлечение естественными и точными науками, характерное для молодежи 1860-1870-х годов и получившее особенно сильный отзвук в статьях Д. И. Писарева (1840–1868). Ср. также рассуждения Герцена в „Былом и думах“: „Без естественных наук нет спасения современному человеку; без этой здоровой пищи, без этого строгого воспитания мысли фактами, без этой близости к окружающей нас жизни, без смирения перед ее независимостью — где-нибудь в душе остается монашеская келья и в ней мистическое зерно, которое может разлиться темной водой по всему разуменью“ (Полярная звезда на 1856 год. Кн. 2. С. 134).

18

— *Классические языки — это полицейская мера…* — Насаждение классических языков в гимназиях министром народного просвещения Д. А. Толстым (1823–1889) было продиктовано желанием оторвать учащуюся молодежь от современных запросов и растущего революционного движения. Вопрос о реальном и классическом образовании широко обсуждался в печати 1860-1870-х годов. Его не обошел и журнал братьев Достоевских „Время“ (см.: *Нечаева В. С.* Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских „Время“. 1861–1863. М., 1972. С. 125–154). В споре „реалистов“ и „классиков“ Достоевский оставался на стороне „классиков“, полагая, что узкое техническое образование не способно формировать действительно образованного человека (см. записную тетрадь 1872–1875 годов, а также „Дневник писателя“ за 1876 г., июль-август, гл. 3, II,—XXI, 268; XXIII, 82).

19

…ведь классики все переведены на все языки — говорил вслух — сам преподаватель Колбасников… — Этот довод против изучения классических языков тоже раздавался в тогдашней печати. См., например: Голос. 1879. 10 окт. № 280.

20

Я слышал, вы мистик и были в монастыре — Прикосновение к действительности вас излечит… — По мнению Г. Чулкова, Достоевский в данном случае пародирует некоторые идеи Белинского, высказанные в „Письме к Н. В. Гоголю“ (1847). См. об этом: *Чулков Г.* Последнее слово Достоевского о Белинском // Достоевский. (Сборник статей). М., 1928 С.68. Письмо Белинского к Гоголю Достоевский читал в кружке Петра шевского. Это обстоятельство следственная комиссия по делу петрашевцев поставила ему в особую вину. Впоследствии Достоевский, исходя из своей „почвеннической“ программы, не раз полемизировал с идеями, высказанными критиком в письме к Гоголю.

21

…бог есть только гипотеза — и если б его не было, то надо бы его выдумать… — Коля повторяет слова Вольтера (см.: наст. изд. Т. 9 примеч. к с. 263).

22

…можно ведь и не веруя в бога любить человечество, как вы думаете? Вольтер же не веровал в бога, а любил человечество? Рассуждения Коли — перифраза слов Белинского в „Письме к Н. В. Гоголю“ (см.: *Белинский В. Г.* Поли. собр. соч. М., 1956. Т. 10. С. 214–215) Ср.: *Чулков Г.* Последнее слово Достоевского о Белинском. С. 68.

23

Я, впрочем, „Кандида“ читал, в русском переводе… в старом, уродливом переводе, смешном… — „Кандид, или Оптимизм“ — философская повесть Вольтера (1759), высмеивающая философию оптимизма немецкого математика и философа Лейбница (1646–1716). Об отношении Достоевского к Вольтеру см.: *Гроссман Л. П.* „Русский Кандид“ (К вопросу о влиянии Вольтера на Достоевского) // Вести. Европы. 1914. № 5; *Rammelmeyer A.* Dostojevskij und Voltaire // Zeitschrift für slavische Philologie. 1958. Bd 26, H. 2. S. 252–278.

24

Я социалист, Карамазов, я неисправимый социалист… — По наблюдению Г. А. Вялого, Коля цитирует здесь слова Герцена „Разумеется, моя хоругвь — не ваша, я неисправимый социалист…“ из „Письма к императору Александру Второму“, опубликованного в „Полярной звезде на 1855 год“. Кн. 1. С. 11–14.

25

…вам еще только тринадцать лет, кажется? — не тринадцать, а четырнадцать, через две недели четырнадцать… — Аналогичные объяснения между героями (взрослым и ребенком) происходят в повести Вс. Крестовского (1840–1895) „Бесенок“ (1860), посвященной Достоевскому (см.: Светоч. 1861. Кн. 1. С. 58).

26

…христианская вера послужила лишь богатым и знатным, чтобы держать в рабстве низший класс, не правда ли? — Коля пересказывает мысли Белинского из „Письма к Н. В. Гоголю“. См. об этом: *Чулков Г.* Последнее слово Достоевского о Белинском. С. 68–69.

27

…я не против Христа. Это была вполне гуманная личность, и живи он в наше время, он бы прямо примкнул к революционерам — Это еще старик Белинский тоже, говорят, говорил. — Белинский в „Письме к Н. В. Гоголю“ писал: „…но Христа-то зачем Вы примешали тут? Что Вы нашли общего между ним и какою-нибудь, а тем более православною церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения <…> смысл учения Христа открыт философским движением прошлого века“. И дальше: „Кто способен страдать при виде чужого страдания, кому тяжко зрелище угнетения чуждых ему людей, — тот носит Христа в груди своей…“ *(Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т.10. С.218). Такое отношение к евангельскому учению разделялось многими революционно настроенными молодыми людьми 1860-1870-х годов (см., например: *Чарушин Н. А.* О далеком прошлом. Из воспоминаний о революционном движении 70-х годов XIX века. 2-е изд. М., 1973. С. 65). Г. Чулков сближает слова Коли со словами Белинского в разговоре с Достоевским, о котором последний вспоминал в „Дневнике писателя“ за 1873 г. (II. „Старые люди“). См.: *Чулков Г.* Последнее слово Достоевского о Белинском. С. 69, 71, 77–78.

28

…место о Татьяне, зачем она не пошла с Онегиным, я читал. — В девятой статье о Пушкине Белинский писал: „Вот истинная гордость женской добродетели! Но я другому отдана — отдана, а не отдалась! Вечная верность — кому и в чем? Верность таким отношениям, которые составляют профанацию чувства и чистоты женственности, потому что некоторые отношения, не освящаемые любовию, в высшей степени безнравственны“ *(Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М, 1955. Т. 7. С. 501). Эту же мысль Белинский повторил и в письме к В. П. Боткину от 4 апреля 1842 г. (Там же. Т. 12. С. 94). Анализируя в 1880 г. в речи о Пушкине характер Татьяны и причины ее отказа последовать за Онегиным, Достоевский в отличие от Белинского усматривает в решении пушкинской героини проявление ума и высокого нравственного чувства, которое не позволяет ей строить личное счастье на страдании других людей (см.: XXVI, 140–143).

29

Я тоже, например, считаю, что бежать в Америку из отечества — низость, хуже низости — глупость. Зачем в Америку, когда и у нас можно много принести пользы для человечества? — Здесь, вероятно, имеется в виду роман Н. Г. Чернышевского „Что делать?“, один из главных героев которого, Лопухов, эмигрирует в Америку. Об Америке и жизни в ней переселенцев много писалось в различных периодических и непериодических изданиях 1860-1870-х годов. Достоевский коснулся этой темы в „Бесах“. В „Дневнике писателя“ за 1873 г. (XVI. „Одна из современных фальшей“) Достоевский, повторив сообщение Волжско-Камской газеты о трех гимназистах третьего класса, собравшихся бежать в Америку, заметил: „Двадцать лет назад известие о каких-то бегущих в Америку гимназистах из 3-го класса гимназии показалось бы мне сумбуром <…> Я знаю, что это не первые гимназисты, что уже бежали раньше их и другие, а те потому, что бежали старшие братья и отцы их <…> Винить ли таких маленьких детей, этих трех гимназистов, если и их слабыми головенками одолели великие идеи о “свободном труде в свободном государстве» и о коммуне, и об общеевропейском человеке; винить ли за то, что вся эта дребедень кажется им религией, а абсентизм и измена отечеству — добродетелью?». В № 2 „Гражданина“ за 1873 г. в разделе „Библиография“ рекомендовалась книга Э. Циммермана „Соединенные Штаты Северной Америки. Из путешествий 1857-58 и 1869-70 годов“ (М., 1873). Как факт, который особенно заинтересует русского читателя в этой книге, отмечалось большое и все увеличивающееся количество русских эмигрантов, переселяющихся в Америку (см.: Гражданин. 1873. № 2. С. 55).

30

Я совсем не желаю попасть в лапки Третьего отделения и брать уроки у Цепного моста… — III Отделение собственной его императорского величества канцелярии в Петербурге в 1838 г. помещалось у Цепного моста (ныне мост Пестеля), Фонтанка, 16. Здание сохранилось в перестроенном виде.

31

Будешь помнить здание / У Цепного моста! — Коля цитирует первую часть стихотворения „Послания“ („Из Петербурга в Москву“), опубликованного в „Полярной звезде“:

У царя, у нашего,
Верных слуг довольно,
Вот хоть у Тимашева
Высекут пребольно.
Влепят в наказание,

Так, ударов со сто,
Будешь помнить здание
У Цепного моста

(Полярная звезда на 1861 год. Кн. 6. С. 214). См.: *Иванов Г. В.* Из комментария к произведениям русских писателей. «Здание у Цепного моста» (Об источнике одной цитаты в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы») // Рус. лит. 1972. № 3. С. 183–184. Вторая часть цитируемого Колей стихотворения («Из Москвы в Петербург»), опубликованная в «Полярной звезде» вслед за первой, иронически развивает ту же тему. Именно вторая часть стихотворения (а не его начало, которое цитирует Коля) была напечатана в № 221 «Колокола» от 1 июня 1866 г., в разделе «Смесь» (с. 1812):

У царя, у нашего,
Все так политично,
Что и без Тимашева
Высекут отлично;

И к чему тут здание
У Цепного моста?
Выйдет приказание —

Отдерут и просто.

Опубликованное в «Полярной звезде» стихотворение в то время было широко известно и перепечатывалось в русских заграничных изданиях. Приведенный текст полностью воспроизведен, например, в «Лютне» (см.: Лютня: Собрание свободных русских песен и стихотворений. С. 160–161; ср. также с. 190).

32

…у меня в отцовском шкафу всего только и есть один этот нумер «Колокола»… — «Колокол» — революционная газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева, печатавшаяся в 1857–1867 гг. за границей и нелегально распространявшаяся в России. «Колокол» сыграл важнейшую роль в воспитании демократически настроенной прогрессивной русской интеллигенции.

33

— *Сиракузы — это в Сицилии…* — Город Сиракузы расположен на юго-восточном побережье острова Сицилия. Путешествие в Италию, Францию, Швейцарию в лечебных целях нередко предписывалось врачами богатым пациентам, но оно требовало средств, которых не могло быть у Снегиревых. Подобные «гигиенические советы» высмеивались в русской печати. Это же делает в данном случае и Достоевский.

34

…похорони ты меня у нашего большого камня, к которому мы с тобой гулять ходили, и ходи ко мне туда с Красоткиным, вечером… — Камень, о котором здесь и дальше идет речь, имеет символическое значение, как первый камень здания будущей гармонии, уже теперь закладываемого Алешей и мальчиками, его учениками.

35

— *Аще забуду тебе, Иерусалиме, да прильпнет…* — Стих из известного псалма, начинающегося словами «При реках Вавилона — там сидели мы и плакали…»: «Если я забуду тебя, Иерусалим, — забудь меня десница моя; прильпни язык мой к гортани моей…» (Псалом 136, ст. 5–6).

36

Феня и ее мать, кухарка Грушеньки… — Ранее было сказано, что кухарка Грушеньки приходилась Фене бабушкой (см.: наст. изд. Т. 9. С. 435).

37

Адвокат Фетюкович больше бы взял… — Фамилия адвоката образована по созвучию с фамилией известного юриста, адвоката В. Д. Спасовича (1829–1906), с которым Достоевский резко полемизировал по поводу дела С. Л. Кронеберга. О гонорарах Спасовича Достоевский писал в записной тетради 1875–1876 гг. в связи с делом Овсянникова и др., обвинявшихся в умышленном поджоге для получения страховой субсидии (см.: XXIV, 82). В то же время образ Фетюковича имеет собирательное значение. Так, по мнению Л. П. Гроссмана, прототипом защитника в «Братьях Карамазовых» был не только Спасович, но и адвокат П. А. Александров (1836–1893), защищавший Веру Засулич 31 марта 1878 г. (см. об этом: *Гроссман Л. П.* 1) Последний роман Достоевского. С. 24; 2)Достоевский и правительственные круги 1870-х годов. С. 102–103).

38

Дезабилье (франц. déshabillé) — домашнее платье, которое обычно не носят при посторонних.

39

Будуар (франц. boudoir) — небольшая дамская гостиная.

40

Вот здесь в газете «Слухи», в петербургской. Эти «Слухи» стали издаваться с нынешнего года… — По предположению М И. Тульского, высказанному в дипломной работе «Пушкинские торжества в 1880 году» (ЛГУ, 1969), Достоевский пародирует название и содержание некоторых статей газеты «Молва», которая издавалась в Петербурге в 1879–1881 гг. Насмешки Достоевского могли быть вызваны полемическими выпадами этой газеты против его речи о Пушкине.

41

…Из Скотопригоньевска (увы, так называется наш городок… — В обрисовке Скотопригоньевска сказались впечатления Достоевского от разных провинциальных городков России, главным образом — от Старой Руссы. См. об этом: *Рейнус Л. М.* Достоевский в Старой Руссе. Л., 1971. С. 53–63.

42

Извещалось лишь, что преступник — отставной армейский капитан, нахального пошиба, лентяй и крепостник — Игривая корреспонденция эта, как и следует, заканчивалась благородным негодованием насчет безнравственности отцеубийства и бывшего крепостного права. — Пародия на сенсационные известия и обличительные штампы в корреспонденциях газет и журналов либерального направления 1860-1870-х гг. См. об этом: *Дороватовская-Любимова В. С.* Достоевский и шестидесятники («Искра», «Современник», Чернышевский) // Достоевский. (Сборник статей). М., 1928. С. 33–34. Ряд литературных параллелей к образу Ракитина-журналиста приводит Л. П. Гроссман (см.: *Гроссман Л. П.* Последний роман Достоевского. С. 26–27, а также: *Гроссман Л. П.* Достоевский и правительственные круги 1870-х годов. С. 104–107).

43

Эта ножка, эта ножка / Разболелася немножко… — См. ниже, примеч. к с. 90.

44

Вашему Пушкину за женские ножки монумент хотят ставить… — Еще в 1862 г. в печати был поднят вопрос о памятнике Пушкину. Подписка на памятник была открыта в 1871 г., в связи с чем появился ряд статей в газетах и журналах. «Гражданин», редактируемый Достоевским, поместил на своих страницах несколько заметок о проектах московского памятника поэту (см.: Гражданин. 1873. № 14, 17 и др.). Открытие памятника состоялось 6 июня 1880 г. и сопровождалось праздничными торжествами. 8 июня на втором публичном заседании Общества любителей российской словесности Достоевский произнес речь о Пушкине (см.: *Гроссман Л. П.* Жизнь и труды… С. 301–302; Пушкин: Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966. С. 78–79).

45

— Судебный аффект. Такой аффект, за который всё прощают. — Аффект — болезненное душевное потрясение, при котором человек лишается способности осознания своих действий и самообладания. По уголовному праву пореформенной России, ссылка на аффект служила обстоятельством, снижающим наказание или устраняющим его вовсе, если состояние аффекта означало полную невменяемость. В процессах 1860-1870-х годов, за которыми Достоевский внимательно следил, защита нередко указывала на аффект для смягчения или отмены обвинительного приговора. Злоупотребление этими указаниями вызывало протесты Достоевского-публициста. Однако и сам он ссылался на аффект, защищая Корнилову, молодую женщину, которая в болезненном состоянии выбросила из окна четвертого этажа свою шестилетнюю падчерицу, и добился пересмотра и благополучного исхода ее дела (см. об этом «Дневник писателя» за 1876 г., май, гл. I, V; октябрь, гл.1, 1; за 1877 г., апрель, гл. 2, декабрь, гл.1, I).

46

Фраппировало (франц. frapper — ударять) — поразило.

47

Монструозно (франц. monstrueux) — чудовищно.

48

Бесенок. — Название этой главы перекликается с названием повести Вс. Крестовского «Бесенок» (см. выше, примеч. к с. 50.). В центре внимания Крестовского здесь также находится анализ противоречивой психологии девочки-подростка.

49

Кубарь — то же, что и волчок.

50

Есть даже дети, лет по двенадцати, которым очень хочется зажечь что-нибудь… — Достоевский вспоминает дело Ольги Умецкой, вызвавшее в 1860-х годах самое пристальное его внимание и отразившееся в творческой истории романа «Идиот».

51

— Вот у меня одна книга — а потом распял на стене… — Как было отмечено Гроссманом, Достоевский в данном случае пользуется материалами текущей печати, в частности «сведениями об убийстве евреями христиан», которые печатал «Гражданин». См. об этом: *Гроссман Л. П.* 1) Последний роман Достоевского. С. 30–32; 2) Достоевский и правительственные круги 1870-х годов. С. 110–114.

52

«…пропал, как швед, от пьянства и беспорядка!» — Часть поговорки: «Пропал, как швед под Полтавой».

53

Апокрифические евангелия — повествования о жизни Христа, не признаваемые церковью.

54

Эфика. Это что такое эфика? — Имеется в виду этика (или, устар., ифика; *греч.* ἔθος; — обычай) — учение о нравственности.

55

Клод Бернар (1813–1878) — французский естествоиспытатель, физиолог и патолог. По своим философским убеждениям сторонник позитивизма. Особое значение К. Бернар придавал эксперименту, полагая, что только таким путем вырабатываются точные знания. К. Бернара, среди прочего, интересовала деятельность центральной нервной системы; он стремился найти общие принципы, равно руководящие жизнью животных и растений. В лаборатории Бернара работали русские ученые, в том числе И. М. Сеченов (1829–1905). Труды К. Бернара были хорошо известны в России, и в 1860-1870-е годы они не раз переводились на русский язык. Одна из основных работ К. Бернара — «Введение в изучение экспериментальной медицины» — в 1866 г. была переведена Н. Н. Страховым. Имя К. Бернара как авторитетного ученого одобрительно упоминает Н. Г. Чернышевский в романе «Что делать?» (глава 5. «Новые лица и развязка», III). Идеи К. Бернара имели большое значение для теории экспериментального романа Золя (1840–1902). О К. Бернаре, Золя и Достоевском см.: *Реизов Б. Г.* Борьба литературных традиций в «Братьях Карамазовых» // *Реизов Б. Г.* Из истории европейских литератур. Л., 1970. С. 148–158.

56

…де мыслибус non est disputandum. — Перефразировка известного латинского изречения; De gustibus non est disputandum (О вкусах не спорят).

57

«Все, говорит, так теперь пишут, потому что такая уж среда».. Среды боятся. — См.: наст. изд. Т. 9, примеч. к с. 87.

58

«В первый раз, говорит, руки мараю, стихи пишу, для обольщения, значит, для полезного дела. — Отголосок полемики Достоевского 1860-х годов с теорией утилитаризма в эстетике (Г. — бов и вопрос об искусстве // Время. 1861 № 2). См. об этом: *Дороватовская-Любимова В. С.* Достоевский и шестидесятники… С. 18.

59

Уж какая ж эта ножка — Чтоб головка понимала. — Стихи Ракитина вызваны пародией «Обличительного поэта» (Д. Д. Минаева, 1835–1889) на стихотворение Пушкина о Петербурге («Город пышный, город бедный…»):

Я от ножек сам в угаре
И за них-то ноет грудь:
Ведь на наших тротуарах
Их легко себе свихнуть…

Стихи Ракитина являются ответом Достоевского на пародию Минаева, причем объектом насмешки здесь становятся сами «обличительные поэты». См. об этом: *Дороватовская-Любимова В. С.* Достоевский и шестидесятники… С. 17–18.

60

Что же мне о смердящем этом псе говорить — Не хочу больше о смердящем, сыне Смердящей! — Выражения, употребленные здесь Митей, возможно, восходят к некоторым вариантам народного стиха о богатом и убогом Лазаре. Ср., например:

Ах ты смердин, смердин, смердящий ты сын,
Да как же ты смеешь к окну подходить?
Да как же ты смеешь братом называть? и т. д.

(Якушкин П. И. Русские песни. СПб., 1860. С.45).

61

«Ты — о расширении гражданских прав человека хлопочи лучше али хоть о том, чтобы цена на говядину не возвысилась — Я ему на это — сам еще на говядину цену набьешь, коль под руку попадет, и наколотишь рубль на копейку». — По-видимому, ответ на критику речи Достоевского о Пушкине в газете «Молва», которая писала: «Если, вращаясь в атмосфере полицейского участка, мы можем помышлять об уничтожении «европейской тоски» и за обедом Московской думы примиряться с тем, что «наша земля нищая в экономическом отношении»; если мы помышляем теперь о том, какой «исход указать» Европе, а не о том, как бы нам самим избавиться от гнетущей тоски, как бы освободить и окрылить полную умственную работу, прекратить насильственное вторжение в сферу совести; если мы не заботимся по крайней мере о том, чтобы хотя цены на мясо не делали его малодоступным даже для среднего класса населения и четверть пшеницы не достигала 17 рублей, — то какого же добра ждать от оживления «добрых чувств», которым служила муза чествуемого поэта?» (Что же дальше? // Молва. 1880. 10 июня. № 161). См. выше, примеч. к с. 71.

62

До конца отплатит, последний кодрант. Не хочу ее жертвы. — Кодрант — мелкая медная римская монета. Слова героя напоминают следующие стихи из Нагорной проповеди: «…если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта» (Евангелие от Матфея, гл. 5, ст. 23–26). Евангельская параллель подчеркивает гордыню Катерины Ивановны, «надрыв» в той жертве, которую она собирается принести (и затем на суде приносит).

63

…*Цезаря не замарает!* — Гай Юлий Цезарь (100-44 до н. э.) — древнеримский государственный деятель, полководец и писатель. Имя Цезаря здесь употреблено в значении: великий человек.

64

…ведь убей они, то тогда всех прав дворянства лишатся, чинов и имущества, и в ссылку пойдут-с. — См. ниже, примеч. к с. 272.

65

….а я только вашим приспешником был, слугой Личардой верным… — Смердяков уже называл себя «слугой Личардой», но по отношению к Мите (см.: наст. изд. Т. 9. С. 303). Ирония сказанного заключается в том, что литературный прообраз Смердякова «любезный слуга Личарда» из Повести о Бове-Королевиче также одинаково «верно» служил и королю Гвидону, и его злой жене Милитрисе Кирбитовне, когда та задумала своего мужа убить.

66

Подробности, главное подробности. — Как указывает А. Г. Достоевская, это «любимое выражение Федора Михайловича, если он был чем-либо заинтересован» (см.: *Гроссман Л. П.* Семинарий… С. 69).

67

Частный дом — полицейский участок.

68

Я не доктор, а между тем чувствую, что пришла минута, когда мне решительно необходимо объяснить хоть что-нибудь в свойстве болезни Ивана Федоровича… — Достоевский писал Н. А. Любимову 10 августа 1880 г. о том, что по поводу болезни и галлюцинаций Ивана «справлялся с мнением докторов (и не одного)». Уже после окончания романа в письме А. Ф. Благонравову от 19 декабря 1880 г. Достоевский высказал желание «разъяснить» кошмар и болезнь Ивана в «будущем «Дневнике»«. По мнению В. Чижа, доктора медицины, «психиатр может читать эту главу как часть истории болезни, составленной умелой рукой» *(Чиж В.* Достоевский как психопатолог. М, 1885. С. 18).

69

Это был какой-то господин или, лучше сказать, известного сорта русский джентльмен… — В сниженном изображении черта в «Братьях Карамазовых» можно видеть известную традицию, восходящую к «Ночи перед Рождеством» Гоголя (1832) и «Сказке для детей» Лермонтова (1842). См. об этом: *Бем А. Л.* «Фауст» в творчестве Достоевского // O Dostojevském: Sbornîk stati a materialù. Praha, 1972. S. 194–195.

70

…в вере никакие доказательства не помогают, особенно материальные — Тот свет и материальные доказательства, ай-люли! — В статьях 1876 г. по поводу спиритизма Достоевский развивал подобные мысли от своего имени (см.: «Дневник писателя» за 1876 г., март, гл. 2, III; апрель, гл. 2, III).

71

Фома поверил… — См.: наст. изд. Т. 9, примеч. к с. 31.

72

Вот, например, спириты… я их очень люблю… — Достоевский присутствовал на спиритическом сеансе 14 февраля 1876 г. (см.: *Гроссман Л. П.* Жизнь и труды… С. 245) и несколько раз полемизировал со сторонниками спиритизма в «Дневнике писателя» (см.: «Дневник писателя» за 1876 г., январь, гл. 3, II; март, гл. 2, III; апрель, гл. 2, III). Записные тетради Достоевского 1875–1876, 1876–1877 гг. содержат многочисленные замечания на ту же тему. Ср.: *Волгин И. Л., Рабинович В. Л.* Достоевский и Менделеев: антиспиритический диалог // Вопросы философии. 1971. № 11. С. 103–115.

73

Сатана sum et nihil humanum a me alienum puto. — Перефразировка стиха из комедии Теренция (ок.185–159 до н. э.) «Самоистязатель» (поставлена в 163 г. до н. э.), акт I, сц. I, ст. 25: «Homo sum, humani nihil a me alienum puto» («Я человек, ничто человеческое мне не чуждо»).

74

…иногда видит человек такие художественные сны, такуюсложную и реальную действительность — что, клянусь тебе, Лев Толстой не сочинит… — Это психологическое явление давно привлекало внимание Достоевского. Рассуждение о снах, имеющих столь полное сходство с действительностью, что «их и не выдумать наяву этому же самому сновидцу, будь он такой же художник, как Пушкин или Тургенев», писатель вводит в текст «Преступления и наказания».

75

…в воде-то этой, яже бе над твердию… — Цитата из Библии: «И создал бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая стала над твердью. И стало так. И назвал бог твердь небом» (Бытие, гл. 1, ст. 7–8).

76

…Гатцук внесет в календарь… — *А.* А. Гатцук (1832–1891) в 1870-1880-х годах издавал в Москве «Газету А. Гатцука. Политико-литературную, художественную и ремесленную» и «Крестный календарь» на предстоящий год с еженедельным иллюстрированным приложением.

77

Ты — решительно ждешь от меня чего-то великого, а может быть, и прекрасного; см. также с. 153: *…не требуй от меня «всего великого и прекрасного»…* — Выражение, из «Разбойников» Фр. Шиллера (д. I, сц. I; см.: *Шиллер.* Драматические соч. в пер. рус. писателей. Т. 3. С. 6–7).

78

Совсем, совсем я тебе скажу, исчез прежний доктор — я вам, скажет, только правую ноздрю могу вылечить, потому что левых ноздрей не лечу, это не моя специальность… — Вариация мотива из философской повести Вольтера «Задиг, или Судьба» (1748): «…нарыв, образовавшийся на раненом глазе, возбуждал серьезные опасения. Послали даже в Мемфис за великим врачом Гермесом, который приехал с многочисленной свитой. Он осмотрел больного, объявил, что тот потеряет глаз, и предсказал даже день и час этого злополучного события. «Будь это правый глаз, — сказал врач, — я бы его вылечил, но раны левого глаза неизлечимы». Весь Вавилон сожалел о судьбе Задига и удивлялся глубине познаний Гермеса. Два дня спустя нарыв прорвался сам собою, и Задиг совершенно выздоровел» *(Вольтер.* Задиг, или Судьба: Восточная повесть // *Вольтер.* Орлеанская девственница. Магомет. Философские повести. М., 1971. С. 329). В записной тетради Достоевского 1875–1876 гг. замечено: «Специализация доктор<ов>, так что не знаешь, кого позвать полечиться…» И далее: «Специальности врачей, специализировались, — один лечит нос, а другой переносицу. У одного всё от болезней матки» (XXIV, 72, 79).

79

…*мальц-экстракт* — Солодовый экстракт, употребляемый в диетических целях.

80

…*«я ведь тоже разные водевильчики»*. — Слова Хлестакова из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (1836; д. 3, явл. 6).

81

…надо, чтоб «осанна»-то эта переходила через горнило сомнений… — Эти слова Достоевский повторяет в записной тетради 1880–1881 гг., собираясь возражать одному из своих критиков: «Инквизитор и глава о детях. Ввиду этих глав вы бы могли отнестись ко мне хотя и научно, но не столь высокомерно по части философии, хотя философия и не моя специальность. И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла, как говорит у меня же, в том же романе, черт» (XXVI! 86).

82

Je pense donc je suis — Афоризм, принадлежащий французскому философу Р. Декарту (1596–1650). В «Рассуждении о методе» (1637, ч. IV) эти слова служат одним из основных положений, на которых строится рационалистическая философия этого ученого.

83

…у нас ведь тоже есть такое одно отделение… — Намек на III Отделение собственной его величества канцелярии — орган политического сыска и следствия, созданный Николаем I в 1826 г. и упраздненный в 1880 г. Достоевский познакомился с деятельностью III Отделения, будучи привлеченным по делу Петрашевского.

84

…*«всё отвергал, законы, совесть, веру»*… — Слова Репетилова из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (18.24; д. 4, явл. 4).

85

Это тоже от вас завелось, от «смягчения ваших нравов». — Вопрос о том, происходит ли постепенное «смягчение нравов» (словосочетание, в XIX в. уже ставшее штампом) в связи с прогрессом человечества, развитием наук, ремесел и искусства, чрезвычайно занимал французских просветителей XVIII в. В отличие от Руссо Вольтер отвечал на него положительно. К благам, которыми обладают современные нации (писал он, например, в «Рассуждении о древней и новой трагедии»), следует «причислить и процветание изящной словесности, благодаря которому мало-помалу смягчились жестокие и грубые нравы наших северных народов и мы можем ныне гордиться нашей цивилизованностью, нашими усладами и нашей славой» *(Вольтер.* Эстетика. М., 1974. С. 100).

86

…пророка Ионы, будировавшего во чреве китове три дня и три ночи… — Согласно библейскому рассказу, пророк Иона по велению бога должен был отправиться в Ниневию и проповедовать там, убеждая людей не делать зла. Но Иона ослушался и, убегая «от лица господня», сел на корабль, отплывавший в другую страну. Когда корабль был в пути, на море поднялась буря, и только после того, как корабельщики бросили Иону в волны, «утихло море от ярости своей». Тогда по воле бога большой кит поглотил Иону, «и был Иона во чреве кита три дня и три ночи» (Книга пророка Ионы, гл. 2, ст.1).

87

Как тысячи вещей припоминаются иногда бессознательно, даже когда казнить везут… — Отражение собственного опыта писателя, когда он привлеченный по делу Петрашевского, был приговорен к смертной казни (1849). Сходные мотивы звучат в «Преступлении и наказании» и романе «Идиот».

88

…в «отцы пустынники и в жены непорочны» пожелаешь вступить. — Из стихотворения Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны…» (1836), являющегося поэтическим переложением молитвы Ефрема Сирина (IV в.).

89

…как говорит актер Горбунов. — И. Ф. Горбунов (1831–1896) — актер, писатель, талантливый рассказчик-импровизатор. Его устные миниатюры пользовались неизменным успехом. Будучи лично знаком с И. Ф. Горбуновым, Достоевский участвовал вместе с ним в литературных чтениях (об одном из таких чтений 16 декабря 1879 г. вспоминает А. Г. Достоевская: *Достоевская А. Г.* Воспоминания. С. 340) и встречался с ним по воскресеньям у А. С. Суворина осенью 1880 г. Достоевский высоко ценил художественный дар Горбунова. В черновых заметках к первой главе «Дневника писателя», январь, 1876 г. («Елка в клубе художников») Достоевский писал: «Он (Горбунов. — *В. В.*) замечательно талантливый артист и все это знают, но мне всегда казалось, что его хоть и ценят, как артиста, но всё еще мало ценят как литератора-художника. А он стоит того; у него в его сценах много чрезвычайно тонких и глубоких наблюдений над русской душой и над русским народом…». Как вспоминает А. И. Суворина, «особенно любил Ф. М. слушать роль генерала Дитятина и смеялся, как ребенок…» (см.: Достоевский в воспоминаниях А. И. Сувориной // Достоевский и его время / Под ред. В. Г. Базанова и Г. М. Фридлендера. Л., 1971. С.300). Во время Пушкинских праздников, 7 июня 1880 г. на обеде, данном Обществом любителей российской словесности, И. Ф. Горбунов выступил от имени своего героя, «генерала Дитятина», обиженного, что «чествуют какого-то Пушкина, человека штатского, небольшого чина, а он, генерал Дитятин, даже не приглашен» *(Любимов Д. Н.* Из воспоминаний // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 368).

90

…потеряв нос, вы тем самым все же как бы остались с носом… — В основе этого каламбура лежат, по-видимому, стихи эпиграммы Пушкина (1821):

> Лечись — иль быть тебе Панглосом
> Ты жертва вредной красоты —
> И то-то, братец, будешь с носом,
> Когда без носа будешь ты.

О «носологической» традиции в русской литературе и на Западе см *Виноградов В. В.* Натуралистический гротеск: Сюжет и композиция повести Гоголя «Нос» // *Виноградов В. В.* Избранные труды. Поэтика русской литературы. М., 1976. С. 5–44.

91

Что же до исповедальных этих иезуитских будочек, то это воистину, самое милое мое развлечение в грустные минуты жизни. — «В 1783 году, — пишет исследователь, — инквизицией был издан особый указ «в целях искоренения злоупотреблений, допускаемых духовенством против нравственности». Указ предусматривал, что «женщина может исповедоваться только в изолированной (от исповедника, — *В. В.*) исповедальне с отдельным входом, причем духовник должен сообщаться с ней только через решетку, устроенную так, чтобы неумышленно или намеренно духовник не мог коснуться ее ног, а равно она — его ног. Решетка должна быть такой, чтобы через нее нельзя было просунуть палец и тем паче руку». Если же дама совершает обряд в своей домовой церкви, где не имеется исповедальни, то «двери во время исповеди должны оставаться открытыми, и вход должен быть свободен для всех членов семьи и других лиц». Уж если предпринимались такие меры предосторожности, значит, были основания к тому, чтобы беспокоиться за судьбу женщин, приходивших на исповедь» (*Емелях Л. И.* Происхождение христианского культа. С. 139). Любовные плутни священников и монахов-исповедников — традиционный мотив средневековых фаблио и антиклерикальной новеллистики Возрождения и более позднего времени. В записной тетради Достоевского 1864 г. встречается заметка: «Католицизм (сила ада). Безбрачие. Отношение к женщине на исповеди. Эротическая болезнь. Есть тут некоторая тонкость, которая может быть постигнута только самым подпольным постоянным развратом (Marquis de Sade)» (XX, 191).

92

Вот тебе еще один случай, совсем уж на днях — слышу, патер в дырочку ей назначает вечером свидание. — Случай, рассказанный здесь чертом, близок эпизоду исповеди из песни V «Войны богов» Парни (1753–1814). См.: *Парни Э.* Война богов: Поэма в десяти песнях с эпилогом. Л., 1970. С. 83–84. Ср. подобный эпизод в стихотворении «Капуцин» (с итальянского) В. Н.-Д. (В. И. Немировича-Данченко): Гражданин. 1873. № 33. С. 900.

93

Ça lui fait tant de plaisir et à moi si peu de peine! — Острота восходит к эпиграмме на известную французскую актрису Ж.-К. Госсен (1711–1767):

Tendre Gaussin, quoi! si jeune et si belle,
Et votre coeur cède au premier aveu!
— Que voulez-vous, cela leur fait, dit-elle,
Tant de plaisir et me coûte si peu.

(Нежная Госсен, как! Так молода и так прекрасна, и ваше сердце уступило первому признанию! — Что же вы ходите, говорит она, это доставило ему такое удовольствие, а мне стоило так мало).

94

…злишься на меня за то, что я не явился тебе как-нибудь в красном сиянии, «гремя и блистая», с опаленными крыльями… — Ср. апокрифическое «Сказание о Моисее»: «Смотри ж, жидовине, како ти обита въ ня богъ, не гремя, ни блистая, якоже в Синаи, но тихостию, обоживъ собою человечьство» (Памятники старинной русской литературы, издаваемые Гр. Кушелевым-Безбородко. Вып. 3. С. 48).

95

Я вот думал — для шутки предстать в виде отставного действительного статского советника, служившего на Кавказе, со звездой Льва и Солнца на фраке. — Действительный статский советник — один из высших гражданских чинов в дореволюционной России; принадлежал по Табели о рангах к четвертому классу. Орден Льва и Солнца — персидский орден, которым иногда награждались русские чиновники на Кавказе. Ср. позднейший рассказ А. П. Чехова «Лев и солнце» (1887).

96

…а не прицепил по крайней мере Полярную звезду али Сириуса. — Полярная звезда — шведский орден. Здесь — игра словами. Говоря о Полярной звезде, черт намекает на литературный альманах декабристов, издававшийся в 1824–1825 гг. К. Ф. Рылеевым и А. А. Бестужевым, и на «Полярную звезду» — литературный и общественно-политический сборник А. И. Герцена и Н. П. Огарева, выходивший в 1855–1862 и 1869 гг. за границей. Говоря о Сириусе, черт, по-видимому, намекает на Вольтера. Герой философской повести Вольтера «Микромегас» (1752) является «обитателем Сириуса». Смысл насмешки в том, что Иван напрасно предполагал в своем собеседнике некоего революционера и бунтовщика. На самом деле черт придерживается самых консервативных убеждений.

97

Мефистофель, явившись к Фаусту, засвидетельствовал о себе, что он хочет зла, а делает лишь добро — любит истину и искренно желает добра. — Имеются в виду слова Мефистофеля в сцене 3 трагедии Гете «Фауст» (1773–1831), которые в переводе Н. А. Холодковского звучат так:

> Частица силы я,
> Желавшей вечно зла, творившей лишь благое.

(*Гете.* Собр. соч. в пер. рус. писателей. СПб., 1878. Т. 2. С. 44). Слова Мефистофеля, на которые указывает здесь черт, приведены Достоевским и в повести «Кроткая» («Дневник писателя» за 1876 г., ноябрь, гл.1). В записной тетради 1876–1877 гг. Достоевский замечает: «Какая разница между демоном и человеком? Мефистофель у Гете говорит на вопрос Фауста: «Кто он такой» — «Я часть той части целого, которая хочет зла, а творит добро». Увы! человек мог бы отвечать, говоря о себе совершенно обратно: «Я часть той части целого, которая вечно хочет, жаждет, алчет добра, а в результате его деяний — одно лишь злое».

98

Я был при том, когда умершее на кресте Слово восходило в небо, неся на персях своих душу распятого одесную разбойника. — Слово здесь: Христос. По евангельскому преданию, он был распят между двумя разбойниками. Один из них, уже будучи на кресте, хулил Иисуса, другой же попросил: «…помяни меня, господи, когда приидешь в царствие твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю» (Евангелие от Луки, гл. 23, ст. 42–43).

99

…я слышал радостные взвизги херувимов — и громовый вопль восторга серафимов, от которого потряслось небо и все мироздание. — Когда Иисус «испустил дух» свой, «завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись» (Евангелие от Матфея, гл. 27, ст. 50–52; см. также: от Луки, (л. 23, ст.44–45; от Марка, гл. 15, ст. 38. Херувимы *(др. — евр.* Kerubim) и серафимы *(др. — евр.* Seraphim) — ангелы, занимающие высшее место в небесной иерархии. Объясняя названия этих ангелов, Псевдо-Дионисий Ареопагит говорит: «…наименование Серафимов <…> означает или пламенеющих, или горящих, а название Херувимов — обилие познания или излияния мудрости» *(Дионисий Ареопагит.* О небесной иерархии. М., 1839. С. 25).

100

Жить на шаромыжку — жить на чужой счет.

101

…чтобы получить одного только праведного Иова, на котором меня так зло поддели во время оно! — См.: наст. изд. Т. 9, примеч. к с. 327.

102

…эта «осанна»-то в небе — Затем сейчас этот саркастический тон à la Гейне… — По предположению В. Л. Комаровича, здесь, в частности, имеется в виду стихотворение Г. Гейне «Мир» (см.: наст. изд. Т.9, примеч. к с. 280; *Комарович В.* Достоевский и Гейне. С. 104).

103

— *Ну, а «Геологический-то переворот»? Помнишь?* — Мысль о нравственном перевороте, подобном геологическим (ср. книгу Кювье о «геологических переворотах» — «Discours sur les révolutions de la surface du globe…» par M. le Baron G. Cuvier. Paris, 1825,— не раз упоминаемую Герценом в «Былом и думах»), могла быть, в частности, навеяна Ренаном, который писал: «Хотя наши принципы позитивной науки не мирятся с мечтами, проповедуемыми Иисусом, хотя мы знаем историю земли, знаем, что перевороты вроде тех, которые ожидались Иисусом, могут происходить лишь от геологических или астрономических причин и не имеют никакой связи с моральными благами, но чтобы быть справедливыми относительно великих реформаторов, не надо останавливаться на предрассудках, которые они могли разделять» (см.: *Ренан Э.* Жизнь Иисуса. 3-е изд. СПб., б. г. С. 47–48).

104

…разрушить всё и начать с антропофагии. — См.: наст. изд. Т. 9. С. 647.

105

Люди совокупятся, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастия и радости в одном только здешнем мире. — Картина счастья людей на земле и без бога не раз представлялась сознанию героев Достоевского — Ставрогина в «Бесах», Версилова в «Подростке». По мнению В. Л. Комаровича, рассуждение Версилова и его вариант — «поэмка» Ивана «Геологический переворот» — восходят к стихотворению Г. Гейне «Мир» (см.: Комарович В. Достоевский и Гейне. С. 104). Ср. также: «Дневник писателя» за 1877 г., апрель, гл. 2 «Сон смешного человека».

106

Но так как, ввиду закоренелой глупости человеческой… — Насмешка над рационалистическими теориями, согласно которым все несчастья людей заключаются в их непросвещенности и непонимании истинной выгоды. Развернутую полемику с теориями такого типа, в частности с Чернышевским («Что делать?»), Достоевский предложил в «Записках из подполья».

107

…вспомнил Лютерову чернильницу! — Вождь Реформации в Германии Мартин Лютер (1483–1546) верил в существование дьявола. «По мнению его, дьявол вмешивается во все; он изменяет ход природы, причиняет болезни и несчастия; но всего более мутит души людей, вселяя в них сомнения, дурные мысли и уныние. Лютер рассказывал, что сам видел дьявола в виде свиньи, или блуждающих огней, что в Вартбурге ему чудилось, что дьявол грызет орехи и бросает скорлупу на его постель» *(Лихачева Е.* Европейские реформаторы. СПб., 1872. С. 94). Дьявол в галлюцинациях Лютера иногда выступал в качестве противника его учения и серьезного оппонента: «Не раз уже он хватал меня за глотку, но приходилось ему все-таки отпускать меня. Я-то уж по опыту знаю, каково иметь с ним дело. Он часто так донимал меня, что я уже не ведал, жив я или мертв. Бывало, доводил он меня до такого смятения, что я вопрошал себя, есть ли на свете бог, и совсем отчаивался в господе боге нашем» (Лютер. Застольные беседы // Легенда о докторе Фаусте, М.; Л., 1958. С. 21–22). Существует «позднее по своему происхождению апокрифическое сказание, будто дьявол явился искушать Лютера, когда он переводил Библию, скрываясь от преследования папистов в замке Вартбург в Тюрингии, и реформатор бросил в него чернильницей: темное пятно на штукатурке Лютеровой кельи долгое время считалось чернильным пятном и было по кусочкам выскоблено верующими, посещавшими это памятное место» (см.: *Жирмунский В.* Очерки по истории классической немецкой литературы. Л., 1972. С. 70). Как отметил В. Чиж, кошмар Ивана вообще «напоминает известную галлюцинацию Лютера (dialogus cum diabolo), с которою Достоевский был знаком» *(Чиж В.* Достоевский как психопатолог. С. 18).

108

— *Отопри же, отопри ему. На дворе метель, а он брат твой. Monsieur, sait-il le temps qu'il fait? C'est à ne pas mettre un chien dehors…* — Ср. выписку Достоевского в тетради 1876–1877 гг.: «Baptiste, tout de suite ce mot à son adresse». «Tout de suite? Madame ignore peutêtre le temps qu'il fait, c'est à ne pas mettre un chien dehors». «Mais, Baptiste, vous n'êtes pas un chien»(«Батист, тотчас же передайте ему эту записку». — «Тотчас? Госпожа, быть может, не знает, *какая* стоит погода. Собаку на двор не выгонишь». — «Но, Батист, вы ведь не собака») *(Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Т.24. С. 242).

109

Он тебя испугался, тебя, голубя. Ты «чистый херувим». — В христианской символике голубь служит обозначением духа святого. Исчезновение черта с появлением Алеши здесь поставлено в связь с традиционным мотивом исчезновения нечистой силы от лица святости. «Чистый херувим» — возможно, цитата из «Демона» М. Ю. Лермонтова (1839):

> Тех дней, когда в жилище света
> Блистал он, чистый херувим…
> (Ч. 1,1)

Достоевский вспоминает и цитирует «Демона» в «Ряде статей о русской литературе» (Время. 1861. Янв.). Возможно также, что образ восходит и к гимну «К Радости» Фр. Шиллера в переводе А. Н. Струговщикова. Здесь звучит призыв поднять чаши

> В честь того, к кому взывает
> Златокрылый серафим,
> И кого стопу лобзает
> Сердцем чистый херувим!

(см.: *Струговщиков А.* Стихотворения, заимствованные из Гете и Шиллера. Кн. 1. С. 46). Выше Митя уже цитировал в переводе того же Струговщикова стихотворение Гете.

110

Который час? — Скоро двенадцать — это был не сон! — Согласно старинному поверью, полночь — время, когда исчезают призраки и прекращается действие волшебных чар.

111

Раздень его и наверно отыщешь хвост, длинный, гладкий, как у датской собаки, в аршин длиной, бурый… — По народному поверью, нечистая сила может принимать любое обличье; чаще всего она является в образе собаки или кошки.

112

…дело это получило всероссийскую огласку — потрясло всех и каждого — Приехали юристы, приехало даже несколько знатных лиц, а также и дамы. — По наблюдению Л. П. Гроссмана, при описании обстоятельств суда над Митей в ряде бытовых деталей Достоевский отталкивается от процесса Веры Засулич 31 марта 1878 г., на котором писатель присутствовал лично в качестве представителя печати. См. об этом: *Гроссман Л. П.* 1) Последний роман Достоевского. С. 23–24; 2) Достоевский и правительственные круги 1870-х годов. С.101–103. С точки зрения В. Л. Комаровича, описание суда над Митей, как и некоторые другие эпизоды книги «Судебная ошибка», навеяны аналогичными эпизодами романа Жорж Санд «Мопра» (1837). См. об этом: *Komarowitsch W* Dostojewskij und George Sand. S. 214–220.

113

Гетера (греч. ἑταιρα — подруга, любовница) — в древней Греции образованная незамужняя женщина, ведущая свободный образ жизни. Позднее так именовались женщины легкого поведения.

114

На средине залы — стоял столе «вещественными доказательствами» — и прочие многие предметы, которых и не упомню. — Над тем, что в качестве «вещественного доказательства» в судебных процессах 1870-х годов использовалось все, что угодно, нередко иронизировали в русской печати (см., например: Голос. 1878. 11 февр. № 42).

115

…подмарать их нравственную репутацию, а стало быть, само собой подмарать и их показания. — Этот адвокатский прием как один из распространенных приемов защиты Достоевский отмечает у В. Д. Спасовича: «Дневник писателя» за 1876 г., февраль, гл. 2, III.

116

…*старший сын учили.* — Григорий (а затем и прокурор) называет Ивана, а не Митю старшим сыном Федора Павловича Карамазова. О значении этой оговорки см.: *Ветловская В. Е.* Символика чисел в «Братьях Карамазовых». С. 142–144.

117

Шалфей — растение, применяемое для лекарственных настоев.

118

Можно и «райские двери отверзты» увидеть… — Неточная цитата из Апокалипсиса: «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе…» (Откровение Иоанна, гл.4, ст.1).

119

…господин Ракитин, которого брошюру — «Житие в базе почившего старца отца Зосимы», полную глубоких и религиозных мыслей, с превосходным и благочестивым посвящением преосвященному, я недавно прочел… — Этот эпизод из жизни «семинариста-карьериста» заимствован из биографии Г. З. Елисеева, видного сотрудника «Искры» и «Современника», в молодые годы написавшего книги «История жизни первых насадителей и распространителей Казанской церкви святителей Гурия, Варсонофия и Германа» (Казань, 1847) и «Краткое сказание о чудотворных иконах Казанской, Семиозерской, Раифской и Мироносицкой пустыни» (М., 1849). Первая из этих книг была сопровождена благочестивым посвящением «Его высокопреосвященству высокороднейшему Владимиру, архиепископу Казанскому и Свияжскому». В конце 1870-х годов этот факт биографии Г. З. Елисеева был использован правой печатью в целях компрометации писателя. См. об этом: *Дороватовская-Любимова В. С.* Достоевский и шестидесятники. С. 14–16.

120

Оба последние фигурировали тоже и как просто свидетели, вызванные прокурором. — Как установлено В. Д. Раком, эта деталь процесса над Митей представляет собой юридическую ошибку; допущенную в свое время в процессе Корниловой. Согласно 693 ст. Устава уголовного судопроизводства 1864 г. Герценштубе и Варвинский не могли быть опрошены одновременно и в качестве свидетелей, и в качестве экспертов. Юридическая ошибка, по мнению исследователя, была использована писателем сознательно и в дальнейшем развитии сюжета, по-видимому, должна была сыграть свою роль. См.: *Рак В. Д.* Юридическая ошибка в романе «Братья Карамазовы» // Ф. М. Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1976. Т. 2. С. 154–159.

121

…какой-то гернгутер или «моравский брат»… — Гернгутерство— религиозно-общественное движение, возникшее в XVIII в. в местечке Гернгуте в Саксонии и получившее распространение в XVIII–XIX вв. и в России. Учение гернгутеров имело в виду нравственное перевоспитание людей. Своими корнями оно восходило к учению «моравских братьев» — чешской религиозной секты, зародившейся в середине XV в. Учение «моравских братьев» первоначально заключалось в отрицании государства, сословности, имущественного неравенства и проповеди «непротивления злу», но постепенно оппозиционные моменты его сошли на нет, и проповедь примирения и непротивления в нем возобладала.

122

…*начались свидетели à décharge*… — Французский юридический термин, обозначающий свидетелей, которых вызывает защита обвиняемого «для разгрузки», т. е. для ослабления обвинительных заключений.

123

— Я, ваше превосходительство, как та крестьянская девка — «Захоцу — вскоцу, захоцу — не вскоцу». — Ср. фольклорные записи В. И. Даля: «Хоцу— вскоцу, не хоцу— не вскоцу (в старину невеста говорила: хочу — вскочу и, соглашаясь идти замуж, прыгала через положенный кругом пояс или в наставленную юбку)» *(Даль В. И.* Пословицы русского народа. М., 1957. С. 332; впервые вышли в свет в 1861–1862 гг.). Аналогичные мотивы встречаются в русских свадебных песнях.

124

Есть у вас вода или нет, дайте напиться, Христа ради! — Символический мотив, В противоположность «хлебу», материальной силе мира, под водой здесь разумеется «живая вода» христианской истины и любви. См., например: Евангелие от Иоанна, гл. 4, ст. 10; гл. 7, ст. 37–38; Откровение Иоанна, гл. 21, ст. 6; гл. 22, ст. 1, 17.

125

…*завопил неистовым воплем.* — Воплем бесноватого, одержимого злым духом (ср.: Деяния апостолов, гл. 8, ст. 6–7).

126

…залы нового гласного суда, дарованного нам в настоящее царствование. — По судебной реформе 1864 г. в России был введен суд присяжных, который был открытым и гласным. Газеты и журналы 1860-1870-х годов помещали на своих страницах судебные отчеты и речи, произносившиеся в ходе более или менее заметных процессов.

127

Вот там молодой блестящий офицер высшего общества — Зарезав обоих, уходит, подложив обоим мертвецам под головы подушки. — Имеется в виду дело об отставном прапорщике лейб-гвардии саперного батальона Карле Христофорове фон Ландсберге, обвинявшемся в убийстве надворного советника Власова и мещанки Семенидовой. Дело слушалось на заседании петербургского окружного суда 5 июля 1879 г. Дело Ландсберга подробно освещалось в «Голосе» (см.: Голос. 1879. 7-10 июля. № 185–189). Суд приговорил Ландсберга к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу в рудниках на 15 лет. Упоминание о преступлении Ландсберга см. в письме Достоевского Е. А. Штакеншнейдер от 15 июня 1879 г.

128

…о, без малейших гамлетовских вопросов о том: «Что будет там?»… — Имеется в виду монолог Гамлета в трагедии Шекспира «Гамлет» (д. 3, сц.1), начинающийся словами: «Быть, иль не быть? вот в чем вопрос!»: (см.: *Шекспир.* Поли. собр. драматических произведений в пер. рус. писателей. Т. 2. С. 33–34). Мысль о пагубности «индифферентизма» к самым важным вопросам жизни и смерти в связи с явлениями самоубийства Достоевский развивал в «Дневнике писателя» за 1876 г. (декабрь, гл. III «Голословные утверждения»). В январском номере «Дневника писателя» за тот же 1876 г. (гл.1. I) Достоевский, говоря о современных русских самоубийцах, тоже вспоминает слова Гамлета в трагедии Шекспира.

129

он между нами жил»… — Первая строка из стихотворения Пушкина, посвященного А. Мицкевичу (1834).

130

Великий писатель предшествовавшей эпохи, в финале величайшего из произведений своих… — Имеется в виду финал поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души».

131

…в картине этой семейки как бы мелькают некоторые общие основные элементы нашего современного интеллигентного общества… — Ср. со словами Достоевского из неоконченного чернового варианта письма к редактору «Русского вестника»: «Совокупите все эти 4 характера и вы получите, хоть уменьшенное в 1000-ю долю, изображение нашей современной действительности, нашей современной интеллигентной России. Вот почему столь важна для меня задача моя».

132

.как солнце в малой капле вод»… — Цитата из оды Г.Р. Державина «Бог» (1784). Оду Державина Достоевский хорошо знал еще по семейным чтениям: «Из чисто литературно-беллетристических произведений, — писал А. М. Достоевский, — помню, читали Державина (в особенности оду «Бог»)» *(Достоевский А. М.* Воспоминания. С. 69). А. П. Милюков вспоминает, как однажды в кружке Дурова речь зашла о Державине, и кто-то неодобрительно отозвался о поэте, в ответ на это «Ф. М. Достоевский вскочил, как ужаленный, и закричал: «Как? да разве у Державина не было поэтических, вдохновенных порывов? Вот это разве не высокая поэзия?» И он прочел на память стихотворение «Властителям и судиям» с такою силою, с таким восторженным чувством, что всех увлек своей декламацией и без всяких комментарий поднял в общем мнении певца Фелицы» *(Милюков А. П.* Литературные встречи и знакомства. СПб… 1890. С. 179).

133

Все нравственные правила старика — après moi le déluge. — Выражение, приписываемое Людовику XV (королю Франции с 1715 по 1774 г.) или маркизе де Помпадур (1720–1764). У Достоевского встречается впервые в «Зимних заметках о летних впечатлениях».

134

…ищущий прилепиться, так сказать, к «народным началам», или к тому, что у нас называют этим мудреным словечком в иных теоретических углах мыслящей интеллигенции нашей. — И далее: *В нем — выразилось то робкое отчаяние, с которым столь многие теперь в нашем бедном отечестве, убоясь цинизма и разврата его и ошибочно приписывая всё зло европейскому просвещению, бросаются, как говорят они, к «родной почве», так сказать, в материнские объятия родной земли…* — Речь идет о теориях славянофильского толка, в том числе о почвенничестве, основные положения которого были сформулированы в журналах братьев Достоевских «Время» и «Эпоха» и легли в основу последнего публичного выступления писателя — речи о Пушкине. Слова прокурора — форма своеобразной автопародии Достоевского. Однако насмешка звучит только в этом узком контексте (в устах героя), в системе всего романа она снимается.

135

…мы любители просвещения и Шиллера… — Шиллер здесь, как часто у Достоевского, — символ «высокого и прекрасного», нравственной красоты и благородства. См. об этом: *Реизов Б. Г.* Борьба литературных традиций в «Братьях Карамазовых». С. 139–158.

136

…роковая тройка наша несется стремглав и, может, к погибели. — См. выше, примеч. к с. 206.

137

…в английском парламенте уж один член вставал на прошлой неделе — чтобы нас образовать. — Ср.: «Дневник писателя» за 1876 г., сентябрь, гл. I, I.

138

…*«ударить по сердцам с неведомою силой»*. — Из стихотворения Пушкина «Ответ анониму» (1830):

> И выстраданный стих, пронзительно-унылый,
> Ударит по сердцам с неведомою силой.

139

…если нас, например, обуяет некоторая, так сказать, художественная игра, потребность художественного творчества, так сказать, создания романа… И далее, с. 244: *Психология подзывает на роман…;* с.266: *…нас упрекают, что мы насоздавали романов. А что же у защитника, как не роман на романе?* — Этот мотив, вероятно, появился под влиянием аналогичных обвинений в судебной полемике между А. Ф. Кони и В. Д. Спасовичем (см.: *Кони А. Ф.* Приемы и задачи прокуратуры // *Кони А. Ф.* Собр. соч.: В 8 т. М., 1967. Т.4. С. 130).

140

Недавно в Петербурге один молодой человек, почти мальчик, восемнадцати лет — Часов через пять он был арестован… — Имеется в виду дело восемнадцатилетнего крестьянина Зайцева, разбиравшееся 15 января 1879 г. в Петербургском окружном суде. Как сообщал «Голос» в разделе «Судебная хроника», «24-го ноября 1878 года, около трех часов пополудни, на Невском проспекте, в доме № 84, в меняльной лавке купца Лямина, приказчик его, мещанин Красильников, 17-ти лет, найден лежавшим на полу за выручкою, в луже крови, с тяжкими ранами <…> и со слабыми признаками жизни, причем у головы лежал новый средней величины окровавленный топор. Ящики выручки были вынуты и из них похищено более 1500 руб. кредитными билетами, разменною серебряною монетою и ценными бумагами» (Голос. 1879. 16 янв. № 16). О виновнике преступления, Зайцеве, газета писала: «Ему теперь 18 лет. Он невысокого роста, блондин, острижен по-немецки, без усов и бороды, и на вид кажется совершенным мальчиком, так что производит впечатление крайнего недоумения, как такой мальчик мог совершить подобное преступление» (Голос. 1879. 17 янв. № 17). Зайцев был признан виновным в умышленном убийстве с корыстною целью, но заслуживающим снисхождения. Суд приговорил обвиняемого к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжные работы в рудниках на 8 лет. О деле Зайцева см.: Голос. 1879. 16 и 17 янв. № 16 и 17.

141

Да уж не в подвалах ли Удольфского замка, господа? — «Тайны Удольфского замка» (1794) — популярный в России в первой половине XIX в. роман английской писательницы А. Радклиф. В письме Я. П. Полонскому от 31 июля 1861 г. Достоевский говорит о том, что произведения этой писательницы еще в детстве произвели на него глубокое впечатление. Об этом же Достоевский вспоминал и в «Зимних заметках о летних впечатлениях». Об отношении Достоевского к «готическому» («черному») роману и произведениям А. Радклиф см.: *Гроссман Л.* 1) Поэтика Достоевского. М., 1925. С. 21–35; 2) Достоевский-художник. С. 372.

142

…вам дана необъятная власть, власть вязать и решить. — Ср.: Евангелие от Матфея, гл. 18, ст. 18; гл. 16. ст. 19.

143

Прелюбодей мысли — Об этом выражении см.: *Рак В. Д.* Дополнения к комментарию «Полного собрания сочинений» Ф. М. Достоевского // Ф. М. Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1980. Т. 4. С. 184–188.

144

«Аз есмь пастырь добрый, пастырь добрый полагает душу свою за овцы, да ни одна не погибнет…» — Ср.: Евангелие от Иоанна, гл. 10, ст. 11, 14–15.

145

«Отцы, не огорчайте детей своих», — пишет из пламенеющего любовью сердца своего апостол. — Неточная цитата из Послания апостола Павла: «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали» (Послание к колосеянам, гл.3, ст.21). Защитник сознательно опускает слова, непосредственно предшествующие приведенным: «Дети, будьте послушны родителям (вашим) во всем, ибо это благоугодно господу» (Там же, ст. 20; ср. также: Послание к ефесянам, гл. 6, ст. 1–4). Это дает ему возможность придать цитате нужный смысл.

146

…как человек и гражданин взываю — vivos voco! — Vivos voco! — Первые слова эпиграфа Фр. Шиллера к «Песни о колоколе» (1799): «Vivos voco. Mortuos plango. Fulgura frango» («Зову живых. Оплакиваю мертвых. Сокрушаю молнии») (см.: *Шиллер.* Поли. собр. соч. в пер. рус. писателей. Т. 1. С. 87). Слова «Vivos voco!» были лозунгом «Колокола» (1857–1867), газеты А. И. Герцена и Н. П. Огарева.

147

«В ню же меру мерите, возмерится и вам» — это *не я уже говорю, это Евангелие предписывает: мерить в ту меру, в которую и вам меряют.* — Смысл евангельского текста в толковании защитника искажен.

148

Будем смелы — будем дерзки даже, мы даже обязаны быть таковыми — и не бояться иных слов и идей, подобно московским купчихам, боящимся «металла» и «жупела». — Жупел — библейское слово, означающее горящую серу или смолу. Имеется в виду д. 2, явл. 2 драмы А. Н. Островского «Тяжелые дни» (1863) (см.: *Островский А. Н.* Собр. соч. СПб., 1874. Т. 3. С. 352–353; это издание имелось в библиотеке Достоевского, см.: *Гроссман Л. П.* Семинарий… С. 27). Слова защитника о «металле» и «жупеле» — пародия Достоевского на Е. Л. Маркова (1835–1903), либерального писателя и критика, выступавшего против Достоевского и его романа «Братья Карамазовы» в своих критических обозрениях. В одном из них он приветствовал светлые «бюргерские идеалы» и «буржуазность» одного из западных романистов в противоположность мрачному взгляду на мир Достоевского. «Если действительно все, писал Марков, — что не умещается в этой теории отрицания и отчаяния, есть «буржуазность», то мы с гордостью поднимаем знамя подобной «буржуазности». Мы не боимся слов, хотя ими и в наше время, и в литературных сферах, любят стращать наивных, точно мы замоскворецкие купчихи из комедий Островского, которые вздрагивают при одном звуке «жупел» или «металла звон». Право, этот прием несколько напоминает зверообразные маски дикарей, которыми те, за неимением действительных условий силы, стараются, еще без боя, одним впечатлением фантазии, запугивать своих противников. Но эти средства дикаря действуют только на дикарей. Пора бы убедиться в этом» *(Марков Е.* Критические беседы. «Буржуазные идеалы» // Рус. речь. 1879. № 6. С. 238). Достоевский собирался ответить Маркову так же, как и другим критикам, по окончании «Братьев Карамазовых» (см. письмо Достоевского Е. А. Штакеншнейдер от 15 июня 1879 г.), но, не дожидаясь конца печатания, ответил на его упреки уже в самом романе. Непосредственно о Маркове Достоевский сказал в том же письме к Е. А. Штакеншнейдер: «…Евг. Марков есть старое ситцевое платье, уже несколько раз вымытое и давно полинявшее <…> Прибавьте к тому, что Евг. Марков сам в нынешнем году печатает роман с особой претензией

опровергнуть пессимистов и отыскать в нашем обществе здоровых людей и здоровое счастье. Ну и пусть его. Уж один замысел показывает дурака. Значит ничего не понимать в нашем обществе, коли так говорить» (XXX, кн.1, 73). Отрицательного мнения об этом критике Достоевский не переменил (см. письмо К. П. Победоносцеву от 13 сентября 1879 г.). Выражение «металл и жупел» московских купчих» Достоевский использовал еще раз в «Дневнике писателя» за 1881 г. (январь, гл. 2. III).

149

«Он родил тебя, и ты кровь его, а потому ты и должен любить его» — считать отца своего за чужого себе и даже врагом своим. — В связи с делом Кронеберга» и полемикой с защитником Кронеберга В. Д. Спасовичем Достоевский, готовя февральский номер «Дневника писателя» за 1876 г., в записной тетради заметил: ««Я тебя родил». — Ответ Франца Мора. Рассуждение этого развратного человека я считаю правильным. А не знаете, так справьтесь. Шиллер ведь так давно писал, да и драма так давно не дается на сцене» (XXIV, 136). В «Братьях Карамазовых» рассуждение Франца Моора передано Фетюковичу и дано писателем в неодобрительном контексте. Ср.: «Разбойники», д. 1, сц. 1; д. 4, сц. 2 *(Шиллер.* Драматические соч. в пер. рус. писателей. Т. 3. С. 15, 115–116).

150

«Гони природу в дверь, она влетит в окно…» — Цитата из басни Ж. Лафонтена «Кошка, превращенная в женщину», в вольном переводе Н. М. Карамзина, который включил эти два стиха в свой очерк «Чувствительный и холодный. Два характера» (1803):

> Мы вечно то, чем нам быть в свете суждено.
> Гони природу в дверь: она влетит в окно!

(*Карамзин Н. М.* Избр. соч.: В 2 т. Т. 1. М:, Л., 1964. С. 741). Защитник здесь именует естественными такие чувства и рассуждения, которые, по мнению автора романа, глубоко порочны и ненормальны.

151

Лучше отпустить десять виновных, чем наказать одного невинного — слышите ли, слышите ли вы этот величавый голос из прошлого столетия нашей славной истории? — Несколько измененные слова Петра I из его Воинского устава (1716) «Краткое изображение процессов или судебных тяжеб», ч. 2, гл. 5, ст. 9: «Но понеже к свидетельствованию явные и довольные требуются доказы, того ради судье надлежит в смертных делах пристойным наказанием его наказать опасаться… понеже лучше есть 10 винных освободить, нежели одного невинного к смерти приговорить» (см.: Полн. собр. законов Российской империи с 1649 года. СПб., 1830. Т. 5. С. 403). Слова Петра I повторены и в «Своде законов Российской империи…» СПб., 1876. Т. 15, ч. 2: «… лучше освободить от наказания десять виновных, нежели приговорить невинного» (Законы о судопроизводстве по делам о преступлениях и проступках, разд. 3, гл. 3, ст. 346). В одной из статей «Гражданина», редактируемого Достоевским, слова Петра I были приписаны Екатерине II (см.:Гражданин. 1873. № 50. С. 1355, 1356). Ср. слова В. Д. Спасовича в одной из его речей: «Я мог бы заключить мою речь разными пошлостями, вроде той, что лучше оправдать десять виновных, нежели осудить одного невинного. Однако положение мое как защитника графа Моркова вовсе не столь отчаянное, чтобы прибегать к подобным избитым приемам» *(Спасович В. Д.* Собр… соч. 2-е изд. СПб., 1913. Т. 5. С. 66).

152

Слабоумный идиот Смердяков, преображенный в какого-то байроновского героя, мстящего обществу за свою незаконнорожденность, — разве это не поэма в байроновском вкусе? — Возможно, в этих словах содержится не только указание на традиционное представление о байроновском герое-мстителе, но и более прямой намек на поэму Байрона «Паризина» (1816). Ее герой, незаконнорожденный Уго, будучи привлечен к суду, не признает себя виновным и истинным виновником своего преступления называет отца, который обесчестил его мать.

153

…по мере надобности, все по размеру надобности! — Достоевский вкладывает в уста прокурора слова, ранее сказанные им самим об адвокатах (см.: «Дневник писателя» за 1876 г., февраль, гл. 2, VI): «Мне всё представляется какая-то юная школа изворотливости ума и засушения сердца, школа извращения всякого здорового чувства по мере надобности, школа всевозможных посягновений, бесстрашных и безнаказанных, постоянная и неустанная, по мере спроса и требования, и возведенная в какой-то принцип, а с нашей непривычки и в какую-то доблесть, которой все аплодируют». Достоевский писал это в связи с делом С. Л. Кронеберга и защитой В. Д. Спасовича (см.: XXII, 73).

154

…защитник удостаивает назвать лишь «распятым человеколюбцем»… — То есть рассматривает Христа как человека и не признает божественной его природы.

155

в противоположность всей православной России, взывающей к нему: «Ты бо еси бог наш!»… — Слова многих молитв, обращенных к Христу.

156

…ведь оправдали же у нас великим постом актрису, которая законной жене своего любовника горло перерезала. — Имеется в виду дело А. В. Каировой. Достоевский дал подробный анализ этого процесса в майском номере «Дневника писателя» за 1876 г. (гл. I). Речь защитника Каировой, адвоката Е. И. Утина, вызвала ряд неодобрительных замечаний будущего автора «Братьев Карамазовых»: соглашаясь с оправдательным решением присяжных, Достоевский упрекнул адвоката за намерение снять с подсудимой всякую вину и «почти похвалить преступление» (XXIII, 8).

157

— *Двадцать лет рудников понюхает.* — Митя Карамазов в романе осужден на двадцать лет каторжной работы. По предположению Б. Г. Реизова, Достоевский избрал этот срок потому, что к двадцати годам был приговорен прототип Мити, прапорщик Ильинский, как и Митя осужденный по ложному обвинению в отцеубийстве. Достоевскому запомнился этот срок, и он не стал наводить дополнительных справок. На самом деле Митя, который обвинялся в убийстве отца и был признан виновным по всем пунктам; должен быть приговорен по действовавшим в то время законам Российской империи к пожизненной каторге. Каторга на срок была бы лишь в том случае, если бы выяснились по ходу дела и были учтены судом смягчающие обстоятельства. закон 1845 г. о наказаниях отцеубийц гласит: «За умышленное убийство отца или матери виновные подвергаются лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу в рудники без срока. По прибытии их в место каторжной работы они ни в коем случае и ни по каким причинам не переводятся в отряд исправляющихся, увольняются от работы не иначе, как за совершенною к оным от дряхлости неспособностью, и даже тогда не освобождаются от содержания в остроге» *(Реизов Б. Г.* К истории замысла «Братьев Карамазовых». С. 135).

158

Не всем бремена тяжкие, для иных они невозможны… — Ср. слова Христа о книжниках и фарисеях: «…связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плеча людям…» (Евангелие от Матфея, гл. 23, ст. 4; от Луки, гл. II, ст. 46).

159

…в тот край, к последним могиканам. — «Последний из могикан» (1826) — роман американского писателя Ф. Купера (1789 1851) В библиотеке Достоевского было собрание сочинений Купера на фран цузском языке (см.: *Гроссман Л. П.* Семинарий… С. 32).

160

Всех их собралось человек двенадцать… — Намек на двенадцать апостолов.

161

…я желал бы умереть за всё человечество, а что до позора, то всё равно: да погибнут наши имена. — Коля цитирует слова французского политического деятеля, известного оратора, жирондиста Верньо 1753–1793), произнесенные им на одном из заседаний Конвента (1792): «Пусть погибнут наши имена, лишь бы общее дело было спасено!» Эти же слова сочувственно повторяет И. С. Тургенев в очерке «По поводу «Отцов и детей»«(1869) из цикла «Литературные и житейские воспоминания» (см.: *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч. М. 1983. Т. 11. С. 93).

162

…у камня похороню… — См. выше, примеч. к с. 58–59

163

После Апостола он вдруг шепнул стоявшему подле его Алеше, что Апостола не так прочитали… — Апостол (греч. apuotolou — посланец) — здесь: название одной из книг Нового завета, включающей Деяния апостолов, апостольские Послания и Откровение Иоанна.

164

Херувимская— название одного из церковных песнопений.

165

Голубчики мои… — Голубь в христианской символике означал не только духа святого, но и апостола.

166

…неужели и взаправду религия говорит, что мы все встанем из мертвых, и оживем, и увидим опять друг друга… — Ср.: одиннадцатый и двенадцатый догматы Символа веры: «Чаю воскресения мертвых. И жизни будущего века». Ср. также письмо Н. П. Петерсону от 24 марта 1878 г.: «я и Соловьев (имеется в виду Вл. С. Соловьев. — *В. В.)*, по крайней мере, — пишет здесь Достоевский, — верим в воскресение реальное, буквальное, личное, и в то, что оно сбудется на земле» (XXX, кн. 1 14–15).

167

Знатный М. Г… — буквенное обозначение «М.Г.» может быть истолковано двояко— как указание на определенный (неустановленный прототип князя или как сокращение традиционной формулы: м<илостивый> г<осударь>.

168

Ведь женился же прошлого года граф К. на бог знает ком. — Имеется в виду известный богач и меценат, издатель журнала «Русское слово» граф Г. А. Кушелев-Безбородко (1832–1870), женившийся в 1857 г. на красавице-авантюристке Л. И. Кроль.

169

Сцена капитальная: где он предлагает ей руку — я не достойна», — В какой-то мере эта запись предвосхищает эпизод отказа Настасьи Филипповны князю Мышкину в романе «Идиот» (ч. 1, гл. XV, XVI).

170

ПЛАН ТРАГЕДИИ «ФАТУМ»

План комедии

Запись двух замыслов — трагедии и комедии — сделана на том же листе, что и наброски повести «Весенняя любовь», и датируется, как и основная часть этих набросков, 23 ноября 1859 г. (обоснование датировки к «Новым идеям романов, драм, повестей» см. выше).

171

В 1860-й год

Из произведений Достоевского, внесенных в этот список, неизвестны «Миньона» и «Апатия и впечатления». По-видимому, «Миньона» — это первоначальное название того произведения (романа или повести), в котором должна была действовать Нелли из «Униженных и оскорбленных». В разработке этого характера Достоевский в определенной степени отталкивался от образа Миньоны в романе Гете.

«Апатия и впечатления» — по-видимому, один из публицистических замыслов Достоевского (возможно, навеянный романом Гончарова «Обломов»).

172

Двойник (переделанный). — О планах незавершенной переФ.М.Достоевский. Собр. соч. в 15 т. т.1. Двойникработки «Двойника» см. наст. изд. Т. 1.

173

Дуров Сергей Федорович (1816–1869) — поэт, петрашевец. Вместе с Достоевским отбывал каторгу в омской крепости. Последние годы жил в семье своего друга (также бывшего петрашевца) романиста и драматурга А. И. Пальма. Неприязненными отношениями между Достоевским и Дуровым обусловлена ироническая характеристика его в плане рассказа в «Зарю» как «приживальщика» и «эстетика».

174

…*милый тип à la* О— *ff*…— Имеется в виду, очевидно, Н. П. Огарев, с которым писатель сблизился в Женеве в 1867–1868 гг.

175

…о свободе и о свободном человеке (NB по апостолу Павлу)… — Имеются в виду следующие слова из «Первого послания к ко ринфянам» апостола Павла: «…раб, призванный в господе, есть свободный господа; равно и призванный свободным, есть раб Христов» (гл. 7, ст. 22). В подготовительных материалах к «Бесам» Достоевский несколько раз обращается к тем же словам из послания Павла, выражая их смысл в формуле «Будь и раб яко свободный».

176

Götter Griechenlands («Боги Греции»), 1788— философское стихотворение Ф. Шиллера, переведенное М. М. Достоевским (Светоч 1861. № 1).

177

Брат Миша. — Об отношениях Достоевского и его старшего брата Михаила в детские годы А. М. Достоевский вспоминает: «Оба старшие брата были погодки, росли вместе и были чрезвычайно дружны между собою. Дружба эта сохранилась и впоследствии, до конца жизни старшего брата. Но, несмотря на эту дружбу, они были совершенно различных характеров» *(Достоевский А. М.* Воспоминания. Л., 1930. С. 43).

178

Любовь к Куликову. — Куликов (подлинная фамилия — Кулишов) — один из персонажей «Записок из Мертвого дома», арестант особого отделения, человек «живучий, сильный, с чрезвычайными и разнообразными способностями» (наст. изд. Т. 3. С. 468, 541). Куликов — Кулишов встречается также в набросках «Смерти поэта», (Романа о Князе и Ростовщике) и в черновых материалах к роману «Бесы».

179

Брутилов. — Николай Брусилов — товарищ А. А. Альфонского (см. о последнем ниже, с. 418–419).

180

«Thérèse-philosophe». — Полное название данной книги: Thérèse-philosophe, ou Mémoires pour servir à l'histoire du P. Dirrag et de Mademoiselle Eradice. La Haye, [1748]. Эта книга эротического содержания приписывается Ж.-Б. Аржану (1704–1771). Достоевский упоминает ее в романе «Игрок».

181

Брин— возможно, имеется в виду С. Ф. фон Брин (1806–1876), генерал-лейтенант Семеновского полка (с 1849 г.), состоявший в свите императора.

182

Humboldt. — Речь идет об Александре фон Гумбольдте (1769–1859), знаменитом немецком естествоиспытателе, путешественнике и ученом. Достоевский высоко ценил Гумбольдта, уважая в нем «универсальную мысль», «огромное образование», *«знание,* не по одной своей специальности» (см. письмо к А. Ф. Герасимовой от 7 марта 1877 г — XXIX, кн. 2,144). Герой «Жития», мечтающий о власти и «непомерной высоте над всем», задумывается об образовании как об одном из путей достижения своей цели: «Сколько надо знать наук…»; «надо <…> чтоб и в этом (в науке, — *Ред.*) он был выше и лучше». Отсюда его интерес к Гумбольдту (ср. характеристику Гумбольдта у В. С. Печерина: «… он <…> умер в маститой старости с безмятежным спокойствием высокого ума, все постигшего и ничему не покорившегося» — Наше наследие. 1989. Вып. 3 (9). С. 98). Упоминание в «Житии» имени этого ученого связано также с темой человека и природы. Ее решение у Гумбольдта сходно со взглядами на этот счет Тихона Задонского (см. выше, с. 413). Работая над «Космосом», основным своим трудом, ученый стремился создать опыт «физического мирооописания», т. е. «созерцания всего <…> сущего в пространстве <…> как в одно время существующего *целого природы» (Гумбольдт А. фон.* Космос: Опыт физического мирооописания /Пер с нем. Н. Фролова. СПб., 1848. Ч. 1. С. 34). Находясь под обаянием «величавого воззрения на природу», выраженного в 103-м псалме царя Давида и 37-й главе Книги Иова, Гумбольдт с восхищением писал: «Столь же живописно (в них) изображение отдельных явлений, сколь искусно расположение плана целого дидактического творения» (см.: Там же. М., 1851. Ч. 2. С. 39–40).

183

Ем виноград. — Общий смысл записи неясен. Ср. сходный мотив в подготовительных материалах к роману «Идиот»: «…уединил себя от семейства (груши и виноград)» (IX, 140).

184

…*топ мушвар*. — Мушвар *(франц.* mouchoir) — платок.

185

Матушкины дети у Сушара и у Чермака… — Николай Иванович Сушард (Драшусов) — француз, готовивший братьев Достоевских к поступлению в пансион Чермака (см.: *Достоевский А. М.* Воспоминания. С. 64–66). Фигурирует также в черновиках романа «Подросток» (XVI, 74; в окончательном тексте— Тушар). Леонтий Иванович Чермак — содержатель частного пансиона в Москве, в котором старшие мальчики Достоевские учились в 1834–1837 гг., подробно о Л. И. Чермаке см. в статье Г. А. Федорова «Пансион Л. И. Чермака в 1834–1837 гг. (по новым материалам)» (Ф. М. Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1974. Т. 1. С. 241–245). О Достоевском-пансионере его соученик В. М. Каченовский рассказывал: «…это был сериозный, задумчивый мальчик, белокурый, с бледным лицом. Его мало занимали игры: во время рекреаций он не оставлял почти книг, проводя остальную часть свободного времени в разговорах со старшими воспитанниками пансиона…» (Моск. ведомости. 1881, 31 янв. № 31). Вспоминая о времени своего учения у Чермака, Достоевский писал: «Бывая в Москве, мимо дома в Басманной (в котором находился пансион Чермака. — *Ред.*) всегда проезжаю с волнением» (см. письмо к В. М. Каченовскому от 16 октября 1880 г. — XXX, кн. 1, 219).

186

Lambert. — Впервые имя Ламбер (Ламберт) появляется у Достоевского в повести «Крокодил», в качестве эпиграфа к которой взята фраза: «Ohé, Lambert Où est Lambert? As-tu vu Lambert?» («Эй, Ламбер! Где Ламбер? Видел ли ты Ламбера?») (см.: *Алексеев М. П.* Об одном эпиграфе у Достоевского // Проблемы теории и истории литературы. М., 1971. С. 367–372). Евгений Ламберт, «иностранец», поступивший 23 ноября 1832 г., фигурирует в списке пансионеров Л. И. Чермака за 1833 г. Братья Достоевские учились с ним по меньшей мере год (см.: Ф. М. Достоевский: Материалы и исследования. Т. 1. С. 248–249). В «Житии» Ламберт изображен как воплощение злобного, разрушительного начала, которое герой ощущает в самом себе. В той же роли он переходит затем в роман «Подросток».

187

Альфонский… — А. А. Альфонский (1796–1869) — известный московский ученый-медик; с 1817 г. служил вместе с отцом Достоевского ординатором и консультантом в Мариинской больнице для бедных, с 1830 г. — главным врачом в Воспитательном доме; с 1819 г. преподавал в Московском университете хирургию, впоследствии был деканом медицинского факультета, проректором и ректором университета (см.: Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Московского университета… М., 1855. Ч. 1. С. X, XIX, 1–3). Его первая жена была близким другом М. Ф. Достоевской; вторым браком Альфонский был женат, как пишет брат писателя, на «знатной барыне» Е. А. Мухановой (1800–1876), сестре декабриста П. А. Муханова (см.: *Достоевский А. М.* Воспоминания. С. 31). Газетное сообщение о смерти Альфонского 4 января 1869 г. (см., например, некролог: Современные известия, 1869. 2 февр. № 31) могло оживить детские воспоминания Достоевского об этом человеке. В «Житии» отражен, например, такой факт биографии Альфонского, как его вторая женитьба (см. запись: «У великосветской жены А<льфонско>го (мачехи героя)…»). Семья Альфонских упоминается также в черновых рукописях романа «Бесы».

188

…чтение Карамзина. Арабские сказки. — Достоевский, по собственному признанию в письме к Н. Н. Страхову от 2(14) декабря 1870 г., «возрос на Карамзине» (XXVIII, кн. 1, 153). «Бедная Лиза», «Письма русского путешественника», «История государства Российского» входили в круг семейного чтения в доме его родителей. В частности, «История», как отмечает А. М. Достоевский, была для писателя в детстве «настольною книгою, и он читал ее всегда, когда не было чего-либо новенького», тем более что в доме был «свой экземпляр» этого сочинения (см.: *Достоевский А. М.* Воспоминания. С. 68–69). По собственным словам Достоевского, к десяти годам он «уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина…» (Дневник писателя. 1873. Гл. XVI). «Историю» по рекомендации Достоевского читали и его дети (см.: Достоевский в изображении его дочери Л. Достоевской. М.; Пг., 1922. С. 91). Сказки из «Тысячи и одной ночи» (выходили в России с конца 60-х гг. XVIII в. в переводах с французского) рассказывала детям Достоевским «часто гостившая» в доме «старушка Александра Николаевна» (см.: *Достоевский Ф. М.* Поли. собр. соч. СПб., 1883. Т. 1. С. 9).

189

О *Суворове…* — Великого грешника, «упражнявшего» волю («… раны и сожигания…», «порезал себя для пробы»), личность Суворова могла особенно привлечь потому, что этот от природы слабый здоровьем человек обладал несгибаемой волей, огромной силой духа и поразительной, казавшейся современникам таинственной способностью воздействия на людские массы. Достоевскому наверняка были известны некоторые из многочисленных журнальных публикаций и книг о Суворове, выходивших во времена его детства, молодости и в пору его работы над «Житием» (см., например: История генералиссимуса, князя Италийского, графа Суворова — Рымникского, от самого начала вступления его в службу до его кончины… М., 1812. Ч. Ї—2; Анекдоты князя Италийского, графа Суворова — Рымникского / Изд. Е. Фуксом. СПб., 1827; Рус. вести. 1842. № 1–6; Москвитянин. 1842. № 4–6, 12; 1843. № 1–3, 8; 1844. № 1, 5-10; 1845. № 1, 5, 6; *Полевой Н. А.* История князя Италийского, графа Суворова-Рымникского… СПб., 1843; Биография А. В. Суворова, им самим писанная в 1786 году, сообщенная Д. П. Голохвастовым. М., 1848; Рус. архив. 1868. Стб. 1865–1866; 1869, № 2; Русские люди: Жизнеописания соотечественников, прославившихся своими деяниями. СПб.; М., 1866. Т. 1. С. 173–296).

190

Анна и Василиса бежали… — Анна (кухарка) и Василиса (прачка) — крепостные, принадлежавшие родителям Достоевского еще до покупки ими села Дарового. Достоевский-отец считал Василису «подозрительной», обвинял в кражах и пьянстве. Мария Федоровна соглашалась с мужем и хотела поскорее отделаться от неугодной прислуги (см.: *Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских: Письма М. А и М. Ф. Достоевских. М., 1939. С. 96–99, 100, 139). Тем не менее побег Василисы очень огорчил Достоевских, ибо «бросал тень на худое житье» у них «крепостным людям» *(Достоевский А. М.* Воспоминания С. 29).

191

Такие типы из коренника бывают часто или Стеньки Разины, или Данилы Филипповичи… — В «Записках из подполья» Достоевский, вероятно, находясь под впечатлением книги Н. И. Костомарова «Бунт Стеньки Разина» (2-е изд., доп. СПб., 1859), писал о Разине как о «кровопроливце» (наст. изд. Т. 4. С. 468; ср. близкую трактовку Разина в черновых материалах к «Бесам» — XI. 146). Упоминание имени Разина в связи с размышлением о типе из «коренника» («коренник» — коренной, исконный: устаревшее и просторечное) позволяет предположить, что не менее существенной, чем книга Костомарова, была для Достоевского в данном случае статья Н. В. Шелгунова «Русские идеалы, герои и типы» (Дело. 1868. № 6). Полемизируя с автором «Бунта Стеньки Разина» Шелгунов утверждал: «Разин был <… > органический продукт страны, в этом и секрет его изумительной нравственной силы» (с. 90). Данила Филиппович — хлыстовский Саваоф, крестьянин Юрьевецкого уезда Костромской губернии; по преданию, «явился» в 1631 г. во Владимирской губернии, Муромском уезде, Стародубской волости, на горе Городине; проповедовал во Владимирской, Костромской, Нижегородской и Московской губерниях свое учение, заключавшееся в 12 заповедях; в 1700 г. умер («вознесся») в Москве (см.: *Мельников П. И. (Андрей Печерский).* Собр. соч. М., 1963. Т. 6. С. 261–266).

192

(Увлекается чем-нибудь ужасно, «Гамлетом» н<а>прим<ер)>.— Восхищение «Гамлетом» героя «Жития» — замысла, в котором отражены религиозные сомнения Достоевского, связано с интересом Великого грешника к волновавшим писателя темам жизни и смерти, к вопросу о загробном существовании (ср.: Шекспир и русская культура / Под ред. М. П. Алексеева. М.; Л., 1965. С. 590–597)

193

«Жители луны». — Имеется в виду популярная в 1830-х гг. в Европе и России книга «О жителях Луны и о других достопримечательных открытиях, сделанных астрономом сир Джоном Гершелем во время пребывания его на мысе Доброй Надежды» (Пер. с нем. СПб., 1836). Книга эта содержит фантастические сведения о мнимых открытиях Дж. Гершеля, сообщенные его помощником А. Грантом (см. рецензию В. Г. Белинского в № 11 «Молвы» 1836 г. — *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 2. С. 226). Историю этой мистификации см.: Библиотека для чтения. 1836. Т. 16, ч. 2. Отд. 6. С. 66–79.

194

Манго… — Француз Манго, «мужчина лет 45-ти, очень добродушный <…> всегда хладнокровный и обходчивый», был надзирателем в пансионе Л. И. Чермака (см.: *Достоевский А. М.* Воспоминания. С. 99). Упоминается также в «Преступлении и наказании».

195

Albert и он срывают звезду с венца… — Достоевский имел возможность наблюдать лично (см. запись № 76 в Сибирской тетради— наст. изд. Т. 3. С. 546), что «грех святотатства», «в сибирских табелях ссыльных, сделался <…> каким-то видом неизлечимой и постоянной болезни»; ср. статью С. В. Максимова «Народные преступления и несчастия» (Отеч. зап. 1869. № 4. С. 329), с которой Достоевский, возможно, был знаком.

196

Один, но подробный психологический анализ, как действуют на ребенка произведения писателей, н<а>п<ример> «Герой нашего времени». — О воздействии творчества Лермонтова на Достоевского см.: *Гроссман Л.* Библиотека Достоевского: По неизданным материалам. Одесса, 1919. С. 79–82; *Кирпотин В. Я.* Ф. М. Достоевский: Творческий путь (1821–1859). М., 1960. С. 98–105.

197

Театр. «Сядь ко мне на колени». — По-видимому, в этой записи намечен эпизод, напоминающий сцену из рассказа «Маленький герой» между одиннадцатилетним мальчиком и блондинкой-насмешницей.

198

Он ужасно много читал (Вальтер Скотт и проч.). — Упоминание В. Скотта автобиографично. Достоевский очень ценил творчество шотландского романиста. В журнальной редакции «Неточки Незвановой» он писал о нем как о поэте «чувства семейственности», доведенного «до высочайшего исторического значения» и представленного «как условие сохранения всего человечества» (II, 451), а в письме к Н. Л. Озмидову от 18 августа 1880 г. подчеркивал: «Вальтер Скотт <…> имеет высокое воспитательное значение» — и вспоминал: «…12-ти лет я в деревне во время вакаций прочел всего Вальтер Скотта и <…> захватил с собой в жизнь из этого чтения столько прекрасных и высоких впечатлений, что <…> они составили в душе моей большую силу для борьбы с впечатлениями соблазнительными, страстными и растлевающими» (XXX, кн. 1, 212).

199

О классическом образовании у Чермака (Гер Тайдер.) — Карл Тайдер — гувернер в пансионе Л. И. Чермака; значится в списке педагогов пансиона за 1834 г Занимался с воспитанниками немецким языком (см.: Ф. М. Достоевский: Материалы и исследования. Т. 1. С. 248).

200

Сухость рассказа, иногда до «Жиль Блаза». — «Любимым писателем Достоевского был Диккенс, но еще любил он и не раз рекомендовал мне прочесть «Жиль Блаза»…» — писала Е. А. Штакеншнейдер (Ф М. Достоевский в воспоминаниях современников. М, 1964. Т. 2. С. 320) В особенности Достоевского восхищала в «Истории Жиль Блаза из Сантильяны» (1717–1735) сцена между героем и архиепископом Гренадским (см.: XXIV, 30). В указанном выше письме к Н. Л. Озмидову Достоевский советовал включить в круг чтения подростка это произведение А. Р. Лесажа (1668–1747) Приступая к «Житию», Достоевский в какой-то мере ориентировался на характеризующуюся «наивной четкостью» манеру Лесажа (см… *Комарович В.* Ненаписанная поэма Достоевского. С. 199).

201

Умнов и Гоголь…; см. также с. 322: *…говорит Хроменькой, что Умнов дурак…* — Гимназист Ванечка (Иван Гаврилович) Умнов, сын Ольги Дмитриевны Умновой, был дружен с братьями Достоевскими в их детские годы. Он знакомил их со многими новинками литературы: «Домом сумасшедших» А. Ф. Воейкова, «Коньком-Горбунком» П. П. Ершова (см.: *Достоевский А. М.* Воспоминания. С. 43, 70–71) и, как свидетельствует эта запись, произведениями Н. В. Гоголя. М. С. Альтман сопоставляет Разумихина из «Преступления и наказания» и Умнова как людей вовсе неразумных, а всего лишь рассудительных (см… *Альтман М. С.* Достоевский: По вехам имен. Саратов, 1975. С. 191).

202

(Мечты о путешествиях, Кук с Хроменькой). — Достоевский рассказывал, что он «очень любил читать путешествия, и, под влиянием такого чтения, пламенною мечтою его сделалось посетить Венецию, Константинополь и вообще Восток, сильно занимавший его воображение» *(Достоевский Ф М* Полн. собр. соч. СПб., 1883. Т. 1 С 23) Кук Джемс (1728–1779) английский мореплаватель, открывший Новую Зеландию и ряд островов в Тихом океане.

203

…Гоголя знает и Пушкина… — Герой Достоевского, как и он сам, «воспитывался на Пушкине и Гоголе» *(Достоевский Ф. М.* Полн. Собр. соч. СПб, 1883. Т. 1. С. 276; *Достоевский А. М.* Воспоминания. С. 69–70, 78–79).

204

Иаков поклонился три раза. — В Библии Иаков поклонился своему брату Исаву семь раз (см.: Бытие, гл. 33, ст. 3). Незадолго до смерти он поклонился «на возглавие постели», взяв с Иосифа клятву, что тот не похоронит его в Египте (там же, гл. 47, ст. 29–31).

205

Лакей Осип… — Денщик Осип служил в семье Масловичей — дальних родственников Достоевских, и часто бывал в доме родителей писателя (см.: *Достоевский А. М.* Воспоминания. С. 100–101).

206

Убили Орлова; см также с. 318: *С Куликовым силу духа выказывает <…> беглого солдата, разбойника, зарезали вместе.* — «Знаменитый разбойник Орлов, из беглых солдат», — один из арестантов в «Записках из Мертвого дома». Он описан Достоевским как «железный характером человек», «с страшной силой воли и с гордым сознанием своей силы», который «мог повелевать собою безгранично, презирал всякие муки и наказания и не боялся ничего на свете» (см.: наст. изд. Т. 3. С. 255–256).

207

Через 1½ года — А<льфонско>го убивают крестьяне. (?); см. также ниже: *А<льфонско>го задурившего в деревне, могли убить крестьяне…* — Эти строки навеяны обстоятельствами гибели отца писателя. Одним из убийц его был Ефим Максимов — дядя сироты Екатерины Александровой, которая девочкой была взята М. Ф. Достоевской из деревни, выполняла в доме обязанности горничной и которую отец писателя после смерти жены сделал своей наложницей (см.: *Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских. С. 56–59).

208

(NB. *Хорошенько прочесть описания зверей: Гумбольдта, Бюффона, русских).* — В «Картинах природы с научными объяснениями» (Пер. с нем. М., 1855. Ч. 1,2) А. фон Гумбольдт, преследуя одновременно «литературную и чисто научную» цели, пытался дать «изящную обработку предметов естественной истории» (Ч. 1. С. VII, IX), в частности «живые» описания животных Южной Америки (Ч. 1. С. 54–57, 86–90, 141–142, 206–214; ч. 2. С. 28–32, 46–57). В многотомном курсе естественной истории Ж. Бюффона («Histoire naturelle générale et particulière…») описания животных занимают тома 4-15 (Paris, 1753–1768); см. также русские переводы: 1) Всеобщая и частная естественная история графа де Бюффона… СПб., 1789–1808. Ч. 1— 10 (животному миру здесь посвящены ч. 6-10), 2) Бюффон для юношества, или Сокращенная история трех царств природы, сочиненная Петром Бланшардом. М., 1814. Т. 1–5 (описания животных находятся в т. 1–4). Из русских «описаний зверей» Достоевский, вероятно, мог иметь в виду сочинения И. А. Двигубского (Изображения и описания животных Российской империи. М., 1817. Ч. 1-11; Опыт естественной истории всех животных Российской империи. М., 1829–1831. Ч. 1–4) и А. Л. Ловецкого (Краткое начертание естественной истории животных… М., 1825–1827. Ч. 1–2).

209

О медведе. — Эта запись (так же как и несколько более ранняя: «Дай бог доброй ночи нам и всем диким зверям») предвосхищает тему одного из поучений старца Зосимы в романе «Братья Карамазовы». Внушая слушателям мысль о безгрешности незлобивости, доверчивости животных и о том, что «с ними Христос еще раньше нашего», Зосима приводит случай с «великим святым» Сергием Радонежским (ср.: Избранные жития святых, кратко изложенные по руководству Четиих Миней, Сентябрь. М., 1860. С. 136), который в лесной глуши «бесстрашно» вышел навстречу свирепому медведю: зверь взял из его рук кусок хлеба и «отошел» «послушно и кротко» (см.: наст. изд. Т. 9. С. 331).

210

О том, что такое сатана? — Ср.: Сочинения преосвященного Тихона… Т. 15. С. 190–191 (письмо 80: «Успел ли в своем намерении сатана?»).

211

Аникита идет к Чаадаеву усовещевать. — Достоевский предполагал отвести Чаадаеву в «Житии» довольно значительное место, сделав его идейным противником Тихона; см. письмо к А. Н. Майкову от 25 марта (6 апреля) 1870 г. — XXIX, кн. 1, 118.

212

Благословляет на падение и на восстание; см. также с. 325: *Падание и восставание.* — Имеется в виду формула, весьма распространенная в поучениях отцов церкви (например, у Антония Великого: «Если случится кому, по наущению диавола, подвергнуться падению: тот да восстанет покаянием…», у аввы Сисоя Великого: «Брат сказал авве Сисою «Авва! Что делать мне? Я пал». Старец отвечал: «Встань». Брат сказал: «Я встал и опять пал». Старец отвечал: «Снова встань». Брат: «Доколе же мне вставать и падать?» Старец: «До кончины твоей» — см.: Избранные изречения святых иноков и повести из жизни их, собранные епископом Игнатием. СПб, 1870. С. 10, 433). Это же выражение встречается у Иоанна Лествичника (см. об этом: XII, 352). Ср. духовное завещание Тихона Задонского: «Слава богу, яко мене лежащего восставлял!» (см.: Сочинения преосвященного Тихона… Т. 1. Прил. С. 51) и гл. 13, названную «Восстани», из его «Сокровища духовного, от мира собираемого» (см.: там же. Т. 11. С. 39–43).

213

Их изучения, хоть и точные (Лев Толстой, Тургенев), как бы чуждую жизнь открывают. Один Пушкин настоящий русский. — И Толстой, и Тургенев были для Достоевского представителями ставшей уже фактом истории «помещичьей литературы». Будучи самыми талантливыми последователями Пушкина, они, с точки зрения Достоевского, не могли достигнуть целостного понимания народного духа и особого исторического назначения России, ибо «столь ярко» описанная ими «жизнь средневысшего нашего дворянского круга» «есть уже слишком ничтожный и обособленный уголок русской жизни» (Дневник писателя. 1877. Янв. Гл. I, § 5).

О Пушкине как об истинно национальном поэте Достоевский впервые писал в журнале «Время» в 1861 г.: «Дух русский, мысль русская выражались и не в одном Пушкине, но только в нем они явились нам во всей полноте <…> как факт законченный и целый…» (см.: Ряд статей о русской литературе. I. Введение — XVIII, 69). В «Житии» он вернулся к этой мысли, подготовив тем самым содержащееся в «Дневнике писателя» (1877. Июль-август. Гл. II. § 3) и главным образом в Пушкинской речи 1881 г. обоснование особого места Пушкина в русской литературе.

214

Кончает воспитательным домом у себя и Гасом становится. — О Ф. П. Гаазе см. в подготовительных материалах к «Преступлению и наказанию» (VII, 77, 80 и др.), в тексте романа «Идиот» и в комментариях к нему (наст. изд. Т. 6. С. 405–406, 656).

215

Как его — и М<илюко>вы<?> считают за ничто. — Вероятно, имеется в виду семейство критика, историка литературы и педагога А. П. Милюкова (1817–1897). Достоевский был с ним в приятельских отношениях с 1840-х годов, но в 1867 г., в связи с перипетиями личной жизни Милюкова, его деспотизмом по отношению к дочери, писатель отзывается о нем иронически. Об изображении Милюкова в «Бесах» в лице Виргинского см. в примеч. к т. 7. С. 725.

216

…*поругался с* С<алтыковы>м (?) — Идейные расхождения «почвенника» Достоевского с М. *Е.* Салтыковым-Щедриным как одним из руководителей «Современника» резко обозначились к 1862–1863 гг. и отразились в ряде полемических выступлений писателей друг против друга.

217

…поэтическое представление вроде «Сна Обломова» о Христе… Главу «Сон Обломова» (из романа И. А. Гончарова «Обломов») Достоевский встретил с восхищением еще в 1849 г., когда она впервые была опубликована. В черновиках «Преступления и наказания» намечался сон героя о Христе по образцу «Сна Обломова». В «Дневнике писателя» Обломов и Лаврецкий из «Дворянского гнезда» Тургенева определялись как типы, в которых все «вековечное и прекрасное» рождено соприкосновением «с народом». «Они, — писал Достоевский, — заимствовали у него его простодушие, чистоту, кротость, широкость ума и незлобие в противоположность всему изломанному, фальшивому, наносному и рабски заимствованному» (XXII, 44).

218

Пустынник — Мария Египетская. — Мария Египетская (VI в. н. э.) — христианская подвижница; согласно легенде, была в молодости блудницей, присоединилась к паломникам, шедшим в Иерусалим. Обратившись к богоматери, была ею допущена до Креста господня. После этого сорок семь лет провела в покаянии в пустыне Иорданской. О Марии Египетской писатель упоминает в письме к Ю. Ф. Абаза от 15 июня 1880 г., а также в романах «Преступление и наказание», «Подросток», черновиках «Братьев Карамазовых».

219

Пружанская — Мария Орестовна (урожд. Евецкая, род. 1850) — жена И. Х. Пружанского, студента Медико-хирургической академии, принимавшего участие в революционных волнениях 1869 г. и привлекавшегося к следствию по нечаевскому делу. Достоевский мог узнать о ней от Н. П. Сусловой (сестры А. П. Сусловой), связанной с революционным движением того времени, также учившейся в Швейцарии и еще в 1867 г. ставшей первой из женщин доктором медицины в России.

220

Пустота души нынешнего самоубийцы. — Фраза эта приписана на полях. Вопрос о самоубийствах и их причинах чрезвычайно волновал писателя: Начиная со второй половины 60-х и в начале 70-х годов волна их нарастала. Достоевский специально обратился к теме самоубийства и как художник — в «Бесах», «Подростке» и «Кроткой», и как публицист — в «Дневнике писателя».

221

Апокрифическое евангелие. (NB. Искушение дьяволово, глиняная птица перед нищими духом…) Евангельский сюжет об искушении Христа (Евангелие от Матфея, гл. 4, ст. 1 —11, от Луки, гл. 4, ст 1-13) встречается в произведениях Достоевского многократно. О значении его в творчестве писателя см. в примечаниях к роману «Идиот» (IX, 398, 464). Тему первого искушения Христа — «превращение камней в хлебы» — Достоевский связывает с идеей социализма. В первой главе второй части романа «Подросток» Версиловым дается развернутое обоснование этой «великой», но «второстепенной» идеи. В письме к В. А. Алексееву от 7 июня 1876 г Достоевский идее «превращения камней в хлебы» противопоставляет идеал жизни духовной, идеал Красоты, понимаемой писателем как «самопожертвование своим добром ради ближнего». (XXIX, кн. 2, 85). В «Братьях Карамазовых» тема дьяволова искушения стала основой поэмы «Великий инквизитор». Сюжет об ожившей птице, вылепленной Христом в детстве, восходит к апокрифическому (т. е. не вошедшему в церковный канон) Евангелию от Фомы. «Нищие духом» — выражение из Евангелия от Матфея (гл. 5, ст. 3).

222

…(описание эффекта чтений Гоголя, «Тараса Бульбы»). — Это автобиографический мотив (см.: *Достоевский Ф. М.* Поли. собр. соч. СПб, 1883. Т. 1. С. 49).

223

…волостной писарь (корреспонденцией дозволяется). — В записной тетради Достоевского 1874–1875 гг. также имеется запись о волостном писаре, «высекшем бабу», со ссылкой на корреспонденцию в «С.-Петербургских ведомостях», где сообщался следующий факт: «В одно волостное правление вызвана была крестьянка для разбирательства по поводу мелочной домашней ссоры. Несчастная не успела вымолвить слова в свое оправдание, как грозный писарь (нижний воинский чин) крикнул: «Розог». Беззащитную женщину <…> повалили на пол и наказали двадцатью пятью ударами. По окончании операции женщину вытолкали за дверь. Муж наказанной дерзнул спросить, за что наказали жену его. За свою дерзость и муж поплатился тем же: и его наказали 25 ударами за грубость пана писаря» (С. — Петербургские ведомости. 1874. 1 мая. № 118).

224

…200 миллионов голов… — Мысль о возможности гибели миллионов людей ради дела революции присутствовала в разговорах «нигилистов» уже в романе «Бесы» — см.: наст. изд. Т. 7. С. 92

225

..замученный ребенок. — Ср. в «Братьях Карамазовых» слова Ивана в главе «Бунт»: «…от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка» (наст. изд. Т. 9. С. 275).

226

Дрезденская Мадонна, Лизав<ета> Кузьминишна. — Сходная запись («Лизавета Кузьминична и дрезденская Мадонна») содержится в позднейшей рабочей тетради Достоевского (№ 15) конца 1875— первой половины 1876 г. в перечне тем для мартовского выпуска «Дневника писателя» за 1876 г. Возможно, что в обеих записях имеется в виду не «Сикстинская мадонна» Рафаэля, а дрезденская копия с картины Г. Гольбейна младшего «Мадонна с семьей бюргермейстера Я. Мейера», упоминаемая в романе «Идиот». Лизавета Кузьминична — очевидно, дрезденская знакомая Достоевских (возможно, их служанка или няня Л. Ф. Достоевской).

227

Страхов. Сватовство — Я на вас женюсь. — По-видимому, героем полуанекдотического рассказа, отраженного в данной записи, должен был стать философ и критик Н. Н. Страхов (1828–1896), а сюжетом — история несостоявшегося его сватовства, в какой-то мере, хотя и отдаленно сходная с историей подобного же несостоявшегося сватовства Кознышева в «Анне Карениной» Л. Толстого (ч. VI, гл. 4–5): после сытного обеда старый холостяк Страхов по нерешительности не смог подавить своих колебаний и «не объяснился» с невестой, на которой его хотели женить хозяева дома, пригласившие их для этой цели к обеду.

Указанный эпизод «Анны Карениной» был опубликован впервые в журнале «Русский вестник» (1877, № 1) через два года после того, как сюжет был зафиксирован Достоевским. Оба замысла возникли, таким образом, независимо друг от друга, да и герои их имели разных прототипов: по предположению мемуаристов и биографов Толстого, в основу истории несостоявшегося объяснения Кознышева с Варенькой лег скорее всего эпизод из биографии брата писателя С. Н. Толстого, не решившегося сделать предложение сестре С. А. Толстой, Т. А. Берс (впоследствии по мужу Кузьминской).

Впрочем, еще в подготовительных материалах к «Бесам» (1870) встречается наметка эпизода: «как хотел жениться и не женился Гр<ановски>й» (XI, 92).

228

Мальчик сидит в колонии для малолетних преступников… — 27 декабря 1875 г Достоевский в сопровождении А. Ф Кони посетил колонию для малолетних преступников в Петербурге, за Охтой, близ Пороховых заводов, желая познакомиться с содержавшимися там детьми и условиями их жизни. Посещение это Достоевский описал в январском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. (гл. II, § 3). Сохранился рассказ об этом посещении А. Ф. Кони *(Кони А. Ф.* Собр. соч. М., 1968. Т. 8. С. 38).

229

Отец — узнает, что сын его не его, а от любовника. — Мотив, близкий к повести «Вечный муж» (1870). Здесь Трусоцкий также узнает после смерти жены из ее писем, что Лиза — дочь Вельчанинова.

230

Тип мечтателя. (Смотри в старых книжках). — Имеется в виду запись, находящаяся среди подготовительных материалов к «Подростку» «ЛИЦО — (тип) *Мечтатель* () подробнейше описать»

231

Мальчик три дня у Спаса под престолом. Сюжет, несколько раз записанный в рабочей тетради этого времени. По-видимому, извлечен из газет за 1876 г.

232

Американская дуэль… — Дуэль на пари с обязательством проигравшего покончить с собой. Ср. другую заметку Достоевского в той же рабочей тетради: «Американская дуэль; *какая* низость, *какая* мерзость!»

233

Аполлонова нога. — Заметку, прояснявшую смысл данной записи, находим в подготовительных материалах к «Подростку» «Баня. Аполлонова нога. Зачем вам жениться. Может на содержание пойти». В древнегреческой мифологии Аполлон — идеал юношеской красоты.

234

…*история Кронеберга.* — Дело С. Кронеберга (Кроненберга), обвинявшегося в жестоком истязании своей дочери Марии, слушалось в первом отделении Петербургского окружного суда в январе 1876 г. Отчет об этом деле, закончившемся оправданием отца-истязателя, публиковался в газете «Голос», № 24–29 от 24–29 января (5-10 февраля н. ст.) 1876 г. Взволнованное изложение и глубокий психологический анализ дела Кронеберга Достоевский дал в главе второй февральского выпуска «Дневника писателя» за 1876 г. Речь защитника Кронеберга В. Д. Спасовича, который казуистически оправдывал обвиняемого мнимой порочностью его семилетнего ребенка, Достоевский рассматривал как характерный образчик либерально-адвокатской софистики; Достоевский пародировал его позднее в речи адвоката Мити — Фетюковича в романе «Братья Карамазовы».

235

…с Сусловой, свидетельствующей о пороках девочки. — Имеется в виду Надежда Прокофьева Суслова-Эрисман, одна из первых в России женщин-врачей, с которой писатель был знаком и которую считал своим другом.

236

Митрофания. — См. наст. изд., т. 8. С.809

237

Не жена, а Прокопия или Агафония. — Женские имена, образованные по аналогии с именем «Митрофания», принадлежащие соответствующим католическим святым (или одноименным православным великомученикам).

238

Рассказ Феди о Крымске и о своем брате. — Под Федей здесь имеется в виду, по-видимому, племянник и крестник Достоевского, сын его старшего брата, Федор Михайлович «младший» (1842–1906), пианист, ученик А. Г. Рубинштейна. Он имел двух младших братьев — Михаила (1846–1896) и умершего в возрасте около полутора лет Николая (1854–1856). Крымск — город на Северном Кавказе.

239

В фребелевской школе… — Фребелевские школы (от имени немецкого педагога, последователя Песталоцци Фридриха Вильгельма Августа Фребеля (1782–1852), отца «детских садов», стремившегося создать систему воспитания, основанную на соединении обучения с заботой о развитии активности ребенка, были в 1870-х годах новым для России явлением, часто привлекавшим к себе внимание печати. В 1871 г. в С.-Петербурге было основано Фребелевское общество.

240

Жемчужников и «Богородица» — О поэте А. Н. Жемчужникове (1821–1908) см. т. XVII, с. 417. «Богородица» — название православной молитвы. Смысл данной записи, за отсутствием других проясняющих ее смысл материалов, расшифровать не удалось.

241

Scroudge et Marly. — Скрудж и Марлей — купцы-компаньоны, персонажи «Рождественской песни в прозе» (рус. Пер. — 1844) Ч. Диккенса.

242

Жену только воображает, что сжег… Подобный сюжет намечен в черновиках к «Подростку» См. XVII, с. 94, 409

243

…железо-конная дорога. — Более обычное наименование: конно-железная дорога, имеющая железные (или стальные) рельсы, по которым тяга вагонов осуществляется лошадьми. В России первые конно-железные дороги появились в 1830-1840-х годах. Пассажирское конно-железное движение в Петербурге было открыто в 1862 г. О несчастных случаях на конно-железной дороге нередко сообщалось в 1870-х годах в петербургских газетах, в хронике происшествий.

244

…война и спиритизм — все от Мечтателя. — Темы, намеченные Достоевским для разработки в апрельском номере «Дневника писателя» за 1876 г. Из них была осуществлена «от мечтателя» («Парадоксалиста») главка о войне. Следующий же раздел (подглавка 3, «Опять только одно словцо о Спиритизме») написан не от лица парадоксалиста, а от лица автора «Дневника», который в начале этого раздела предупреждает: «Опять у меня не осталось места для «статьи» о спиритизме, опять отлагаю до другого №».

245

Два критика. — По-видимому, эта запись представляет программу задуманного фрагмента, не вошедшего в печатный текст майского номера «Дневника писателя» за 1876 г. и фигурирующего в рабочей тетради также под другим обозначением — «Ответ критикам L. Преступление и наказание».

246

…за мной две статьи. — Первая — о «несостоятельности» элитарной дворянско-аристократической культуры и о «народных началах», вторая — о спиритизме. Ср.: Дневник писателя, 1876, апрель, гл. I, подглавка 4 и гл. II, подглавка 3, где в следующем номере «Дневника» обещаны обе эти статьи.

247

…как сон женщины в «Пугачевцах»… — «Пугачевцы» (1873–1874) — исторический роман русского писателя-беллетриста графа Е. А. Салиаса де Турнемир (1840–1908), о «легкомыслии» которого Достоевский, лично знавший его как сотрудника «Гражданина» презрительно пишет в своей записной тетради 1875–4876 гг., причисляя его к числу несимпатичных ему деятелей, примкнувших к «консервативной части общества» и характеризуемых писателем как «подлецы». В XXI главе шестой части романа Салиаса рассказывается о «случайно забредшей в голову героини» мечте повторить подвиг Юдифи и убить Пугачева: «Параня стала припоминать, что она видела во сне светлого юношу в серебряной одежде, такого, какой он написан на южных вратах алтаря <…> И для девушки, истомленной голодом и молитвой, мечта стала долгом» *(Салиас Е.* Пугачевцы. М., 1874. Т. 3. С. 208, 209).

248

…*спасла его от отчаянья и от ригоризма вопросов* — Ср. запись о Петре I в записной тетради Достоевского за май 1876 г.: «Петр Великий хлопотал о ближайшей пользе, но мы не знаем его предчувствия. В жизни его мечтательн<ость>, ригоризм (?), с вопросами философскими он не мог быть знаком…»

249

…*отказ от дуэли*.. — Сходный мотив встречается в ряде набросков и планов Достоевского 1870-х годов и использован в повести «Кроткая» (Дневник писателя. 1876. Ноябрь).

250

…как бы он мечтал стать перед ней героем, влюбить ее в себя. — Этот мотив также использован в «Кроткой».

С. 333. *…история Карла Иванов<ича?> и выбросившейся девушки.* — Сохранившийся фрагмент «Истории Карла Ивановича» см. выше. Газетное сообщение о выбросившейся из окна с образом в руках девушке — швее Марии Борисовой (Новое время. 1876. 3 окт. № 215), сразу же привлекшее внимание Достоевского и несколько раз упоминаемое в его записной тетради за октябрь — ноябрь 1876 г., легло в основу повести «Кроткая» (Дневник писателя. 1876. Ноябрь).

251

…что тебя из Америки привело вспомнить елку Христову в родительском доме. — Заинтересовавшая Достоевского еще в начале 1870-х годов тема об устремлении части радикальной русской молодежи в поисках свободы в Америку и о возвращении ее на родину после глубокого разочарования в американских буржуазных порядках получила отражение ранее в романе «Бесы» (1871–1872) и подготовительных материалах к нему (X, 111–112; XII, 291, ср. XXI, 133).

252

Мечтатель. — См. выше заметки для этого неосуществленного романа.

253

Великий инквизитор и Павел — В Барселоне поймали черта. — Записи эти предвосхищают замысел глав «Великий инквизитор» и «Черт. Кошмар Ивана Федоровича» в романе «Братья Карамазовы».

254

Тайный совет… — План неосуществленного «фантастического» рассказа, вероятно, по замыслу автора, близкого в жанровом отношении к более раннему рассказу «Бобок» (1873) или позднейшей повести «Сон смешного человека» (1876). По положению в тетради датируется, с наибольшей вероятностью, ноябрем 1875 г. (не ранее начала этого месяца и не позднее апреля 1876 г.).

Как можно предполагать, рассказ должен был строиться на анекдоте о «бежавшем сумасшедшем», нацепившем три «звезды» на фрак и выдававшем себя за князя, члена Государственного совета, товарища министра государственных имуществ в 1870–1872 гг. Дмитрия Александровича Оболенского (1822–1881). Д. А. Оболенский был также сотрудником «Русской старины» и «Русского архива». Заведя на улице разговор с «учительницами», мнимый тайный советник пристает к ним (или к одной из них) и за что попадает в «часть» (полицию), где его в конце концов разоблачают.

255

Уж лучше бы — с домашними делами! — Имеется в виду внутренняя политика Наполеона III, объявившего себя 2 декабря 1852 г. императором Франции.

256

И ваш союз давно не страшен нам. — 12 марта 1854 г. Англия и Франция заключили с Турцией союзный договор, обязуясь поддерживать ее в войне с Россией, и вскоре состоялось дипломатическое соглашение с правительством Австрии и Пруссии о их неучастии в войне.

257

Писали вы, что начал ссору русский… — Обострение отношений между Россией и Францией провоцировалось Наполеоном III и правительством Австрии, Пруссии и Англии, однако и политика Николая I на Востоке также была направлена на разжигание войны (см.: *Тарле Е. В.* Крымская война. Т. 1. С. 117–145).

258

Христианин — защитник Магомета! — Почти дословное суждение официальной прессы. См., например: Санктпетербургские ведомости. 1854. 4 февр. № 28: статья «Турецкие дела».

259

Меч Гедеонов в помощь угнетенным… — Библейский герой Гедеон (в переводе с древнееврейского его имя значит — отважный воин), вступивший в неравную борьбу с врагами (см.: Библия. Книга судей Израилевых, гл. 6–8). Выражение «меч Гедеонов» символизирует борьбу за святое дело.

260

Когда настала вновь для русского народа — Тогда *раздался вдруг твой тихий, скорбный стон.* — Николай I умер 18 февраля 1855 г., в разгар Крымской войны.

261

Он с юных лет твое испытывал влиянье. — Николай I был обручен с дочерью прусского короля принцессой Шарлоттой, принявшей впоследствии (в 1815 г.) имя Александра Федоровна.

262

Умолкла грозная война! — Крымская война закончилась заключением Парижского мира 18(30) марта 1856 г.

263

Как тот гигант самодержавный… — Нового царя в соответствии с каноном жанра ломоносовской оды, которому следовал Достоевский, он называл преемником Петра, тем самым побуждая Александра II действовать в духе великого реформатора.

264

Идет наш царь принять корону. — Коронация Александра II состоялась 26 августа 1856 г. Достоевский писал, что в Семипалатинске, как и по всей России, «день празднования коронации <…> был проведен и торжественно и весело» (XXVIII, кн. 1, 264).

265

К тебе, источник всепрощенья ~ Благословил, любил, простил! — Как о высшем примере для Александра II здесь Достоевский говорит о Христе, простившем на кресте своим мучителям и оставившем человечеству завет всепрощения и любви.

266

Нигилистка объясняется — вполне по Дарвину. — В № 29 «Гражданина» от 6 июля 1873 г. была опубликована рецензия Н. Н. Страхова на третье издание русского перевода книги Ч. Дарвина «О происхождении видов» Отмечая, что труд Дарвина читается «не только специалистами, а массою публики, людьми, питающими притязание на образованность и просвещение», автор подчеркивает, что непонимание теории Дарвина его последователями приводит к извращению мысли ученого, она получает «самый превратный смысл» и в таком виде широко распространяется среди «простодушных читателей». Страхов считал, что последователи Дарвина провозгласили механический взгляд на природу, в то время как сам Дарвин его не придерживался, «а только попытался свести чудесное устройство организмов на случайное приспособление» (с. 810–811). Позднее, в черновых планах к «Братьям Карамазовым» Достоевский сопоставит отношение к учению Дарвина и к богу, рассматривая то и другое как предмет веры (см.: XV, 307).

267

…один лишь Носов, // Поручик «Сына» получал, // Но о вопросах «Сын» молчал… — «Сын отечества» — журнал политический, ученый и литературный, умеренно-либерального направления, издававшийся в Петербурге в 1856-186l гг. А. В. Старчевским.

268

Стыдись! долгов ненужных бремя — есть ли тетка у ежа? — В этой строфе ощущается пародирование Достоевским первого объяснения Онегина с Татьяной («Евгений Онегин», гл. 4, стр. XIII–XVI).

269

Вы нас учили рукодельям — каждый год детей рождать. — Ср.: «Мы все учились понемногу…» («Евгений Онегин», гл. 1, стр. V).

270

И ретроградно, от безделья, // Вам каждый год детей рождать. — Г. Е. Благосветлов писал в 1869 г. в статье «На что нам нужны женщины?»: «…кто, кроме идиота, решится в наше время утверждать, что все земное назначение женщины в том, чтобы родить детей и быть в вечном и безусловном повиновении у своего деспота» (Дело. 1869. *№ 7*. Отд. П. С. 3).

271

Не верю я всем этим штукам~ поверь! — Этот отрывок ассоциативно связан со стихотворением Пушкина «Демон» (1823): «Не верил он любви, свободе…»

272

Он дом купил и про квартиры // Статью лихую накатал. — В записной тетради 1876–1877 гг. Достоевский несколько раз возвращается к теме покупки Благосветловым «на свой либерализм» дома в Петербурге на углу Надеждинской и Манежной. В «Офицере и нигилистке» автор иронически соотносил этот факт со статьей «Квартирный вопрос на Западе и у нас», опубликованной в «Деле» (1873, № 5, 7–8) и подписанной псевдонимом «Н. Н.».

273

…останавливают его столбом на месте и красного, подобно воротнику. — Стоячий красный воротник был принадлежностью мундира полицейских чинов: станового пристава, околоточного надзирателя и городового унтер-офицера.

274

…*показывается тень как* бы *Андрея Краевского.* — «Тень Краевского» — сатирический символ «гласности» в либеральном ее понимании.

275

…*о всеобщем ерундизме*. Н. Н. Страхов в «Письме первом» — «Идолы» — писал «Люди вообще живут легкомысленно, без больших запросов и отчетов; но то легкомыслие, с которым относятся к спиритизму, выходит из ряда вон, превышает обыкновенною меру, и потому его можно выводить из свойств самого спиритизма» (Гражданин. 1876. № 41–42. С. 981).

276

…и о гривенниках лишних. — В третьем письме — «Границы возможного» — Страхов сравнивал спиритический сеанс с «экспериментом» с кучкой гривенников, разбитой на две в 11 и 19 монет. «Смотрите, — писал Страхов, — я их смешиваю в одну кучку и считаю, сколько вышло. Вы думаете, конечно, тридцать; оказывается, 31, т. е. один гривенник лишний» Далее он приводил еще несколько образцов подобных экспериментов с гривенниками, остроумно заключая: «Я могу сослаться на множество причин и могу дать моим опытам большое разнообразие. Например, я устрою у себя музыку и стану наблюдать, как будут складываться и разделяться гривенники под эту музыку…» (Гражданин. 1876. № 44. С. 1057).